ВИКТОР ГЮГО

Собрание сочинений в 10-ти томах. Том 9

Виктор Гюго

Аннотация

Аннотация

В девятый том вошел роман "Человек, который смеется"

Виктор Гюго
Собрание сочинений
Том 9

Человек, который смеется
Перевод: Бенедикт Лившиц

В Англии все величественно, даже дурное, даже олигархия. Английский патрициат — патрициат в полном смысле этого слова. Нигде не было феодального строя более блестящего, более жестокого и более живучего, чем в Англии. Правда, в свое время он оказался полезен. Именно в Англии надо изучать феодальное право, подобно тому как королевскую власть надо изучать во Франции.

Книгу эту собственно следовало бы озаглавить «Аристократия». Другую, которая явится ее продолжением, можно будет назвать «Монархия». Обе они, если только автору суждено завершить этот труд, будут предшествовать третьей, которая замкнет собою весь цикл и будет озаглавлена «Девяносто третий год».

Отвиль-Хауз, 1869

Книга первая. «Море и ночь»

Пролог

1. Урсус

Урсус и Гомо были связаны узами тесной дружбы. Урсус[1]

был человек, Гомо[2]

- волк. Нравом они очень подходили друг к другу. Имя «Гомо» дал волку человек. Вероятно, он же придумал и свое; найдя для себя подходящей кличку «Урсус», он счел имя «Гомо» вполне подходящим для зверя. Содружество человека и волка пользовалось успехом на ярмарках, на приходских праздниках, на уличных перекрестках, где толпятся прохожие; толпа всегда рада послушать балагура и накупить всяких шарлатанских снадобий. Ей нравился ручной волк, ловко, без принуждения исполнявший приказания своего хозяина. Это большое удовольствие — видеть укрощенного строптивца, и нет ничего приятней, чем наблюдать все разновидности дрессировки. Вот почему бывает так много зрителей на пути следования королевских кортежей.

Урсус и Гомо кочевали с перекрестка на перекресток, с площадей Абериствита на площади Иедбурга, из одной местности в другую, из графства в графство, из города в город. Исчерпав все возможности на одной ярмарке, они переходили на другую. Урсус жил в балагане на колесах, который Гомо, достаточно вышколенный для

этого, возил днем и стерег ночью. Когда дорога становилась трудной из-за рытвин, грязи или при подъемах в гору, человек впрягался в лямку и по-братски, бок о бок с волком, тащил возок. Так они вместе и состарились.

На ночлег они располагались где придется — среди невспаханного поля, на лесной прогалине, у перекрестка нескольких дорог, у деревенской околицы, у городских ворот, на рыночной площади, в местах народных гуляний, на опушке парка, на церковной паперти. Когда возок останавливался на какой-нибудь ярмарочной площади, когда с разинутыми ртами сбегались кумушки и вокруг балагана собирался кружок зевак, Урсус принимался разглагольствовать, и Гомо с явным одобрением слушал его. Затем волк учтиво обходил присутствующих с деревянной чашкой в зубах. Так зарабатывали они себе на пропитание. Волк был образованный, человек — тоже. Волк был научен человеком или научился сам всяким, волчьим фокусам, которые повышали сбор.

— Главное, не выродись в человека, — дружески говаривал ему хозяин.

Волк никогда не кусался, с человеком же это порою случалось. Во всяком случае Урсус имел поползновение кусаться. Урсус был мизантроп

и, чтобы подчеркнуть свою ненависть к человеку, сделался фигляром. К тому же надо было как-нибудь прокормиться, ибо желудок всегда предъявляет свои права. Впрочем, этот мизантроп и скоморох, быть может думая таким образом найти себе место в жизни поважнее и работу посложнее, был также и лекарем. Мало того, Урсус был еще и чревовещателем. Он умел говорить, не шевеля губами. Он мог ввести в заблуждение окружающих, с изумительной точностью копируя голос и интонации любого из них. Он один подражал гулу целой толпы, что давало ему полное право на звание «энгастримита». Он так себя и величал. Урсус воспроизводил всякие птичьи голоса: голос певчего дрозда, чирка, жаворонка, белогрудого дрозда — таких же скитальцев, как и он сам; благодаря этому своему таланту он мог по желанию в любую минуту вызвать у вас-впечатление то площади, гудящей народом, то луга, оглашаемого мычанием стада; порою он бывал грозен, как рокочущая толпа, порою детски безмятежен, как утренняя заря. Такое дарование хотя и редко, но все же встречается. В прошедшем столетии некто Тузель, подражавший смешанному гулу людских и звериных голосов и воспроизводивший крики всех

животных, состоял при Бюффоне[3]

в качестве человека-зверинца. Урсус был проницателен, крайне своеобразен и любознателен. Он питал склонность ко всяким россказням, которые мы называем баснями, и притворялся, будто сам верит им, — обычная хитрость лукавого шарлатана. Он гадал по руке, по раскрытой наобум книге, предсказывал судьбу, объяснял приметы, уверял, что встретить черную кобылу — к неудаче, но что еще опаснее услышать, когда ты уже совсем готов в дорогу, вопрос: «Куда собрался?» Он называл себя «продавцом суеверий», обычно говоря: «Я этого не скрываю; вот в чем разница между архиепископом Кентерберийским и мной». Архиепископ, справедливо возмущенный, однажды вызвал его к себе. Однако Урсус искусно обезоружил его преосвященство, прочитав перед ним собственного сочинения проповедь на день рождества Христова, которая так понравилась архиепископу, что он выучил ее наизусть, произнес с кафедры и велел напечатать как свое произведение. За это он даровал Урсусу прощение.

Благодаря своему искусству врачевателя, а может быть, и вопреки ему, Урсус исцелял больных. Он лечил ароматическими веществами. Хорошо разбираясь в лекарственных травах, он умело

использовал огромные целебные силы, заключенные во множестве всеми пренебрегаемых растений — в гордовине, в белой и вечнозеленой крушине, в черной калине, бородавнике, в рамене; он лечил от чахотки росянкой, пользовался, сообразно надобности, листьями молочая, которые, будучи сорваны у корня, действуют как слабительное, а сорванные у верхушки — как рвотное; исцелял горловые болезни при помощи наростов растения, именуемого «заячьим ушком»; знал, каким тростником можно вылечить быка и какой разновидностью мяты можно поставить на ноги больную лошадь; знал все ценные, благотворные свойства мандрагоры, которая, как всем известно, является растением двуполым. У него были лекарства на всякие случаи. Ожоги он исцелял кожей саламандры, из которой у Нерона, по словам Плиния[4]

, была сделана салфетка. Урсус пользовался ретортой и колбой; он сам производил перегонку и сам же продавал универсальные снадобья. Ходили слухи, будто одно время он сидел в сумасшедшем доме; ему оказали честь, приняв его за умалишенного, но вскоре выпустили на свободу, убедившись, что он всего-навсего поэт. Возможно, что этого и не было: каждый из нас

бывал жертвой подобных россказней.

В действительности же Урсус был грамотеем, любителем прекрасного и сочинителем латинских виршей. Он был ученым в двух областях, ибо одновременно шел по стопам и Гиппократа и Пиндара[5]

В знании поэтического ремесла он мог бы состязаться с Раненом и с Видой[6]

Он мог бы сочинять иезуитские трагедии не менее удачно, чем отец Бугур. Благодаря близкому знакомству с прославленными ритмами и размерами древних Урсус в своем обиходе пользовался ему одному свойственными образными выражениями и целым рядом классических метафор. О матери, впереди которой шествовали две дочки, он говорил: «Это дактиль»; об отце, за которым шли два его сына: «Это анапест»; о внуке, шагавшем между дедом и бабушкой: «Это амфимакрий». При таком обилии знаний можно жить только впроголодь. Салернская школа[7]

рекомендует: «Ешьте мало, но часто». Урсус ел мало и редко, выполняя, таким образом, лишь первую половину предписания и пренебрегая второй. Но это уж была вина публики, которая собиралась не каждый день и покупала не слишком часто. Урсус говорил: «Отхаркнешь-

ся поучительным изречением — станет легче. Волк находит утешение в вое, баран — в теплой шерсти, лес — в малиновке, женщина — в любви, философ же — в поучительном изречении». Урсус по мере надобности кропал комедии, которые сам же с грехом пополам и разыгрывал: это помогало продавать снадобья. В числе других творений он сочинил героическую пастораль в честь рыцаря Хью Миддлтона, который в 1608 году провел в Лондон речку. Эта речка спокойно протекала в шестидесяти милях от Лондона, в графстве Гартфорд; явился рыцарь Миддлтон и завладел ею; он привел с собою шестьсот человек, вооруженных заступами и мотыгами, стал рыть землю, понижая грунт в одном месте, повышая его в другом, иногда подымая речку на двадцать футов, иногда углубляя ее русло на тридцать футов, соорудил из дерева наземные водопроводы, построил восемьсот мостов, каменных, кирпичных и бревенчатых, и вот, в одно прекрасное утро, речка вступила в пределы Лондона, который испытывал в то время недостаток в воде. Урсус преобразил эти прозаические подробности в прелестную буколическую сцену между рекою Темзой и речкой Серпантиной. Мощный поток приглашает к себе речку, предлагая ей

разделить с ним ложе. «Я слишком стар, — говорит он, — чтобы нравиться женщинам, но достаточно богат, чтобы оплачивать их». Это был остроумный и галантный намек на то, что сэр Хью Миддлтон произвел все работы за свой счет.

Урсус мастерски владел монологом. Будучи нелюдимым и вместе с тем словоохотливым, не желая никого видеть, но испытывая потребность поговорить с кем-нибудь, он выходил из затруднения, беседуя сам с собою. Кто жил в уединении, знает, до какой степени человеческой природе свойствен монолог. Слово, звучащее внутри нас, вызывает своего рода зуд. Обращаясь в пространство, мы как бы открываем предохранительный клапан. Разговор вслух наедине с собой производит впечатление диалога с богом, которого мы носим в себе. Таково, как всем известно, было обыкновение Сократа. Он произносил речи перед самим собой. Точно так же поступал и Лютер. Урсус брал пример с этих великих мужей. Он обладал способностью, раздваиваясь, быть своей собственной аудиторией. Он задавал себе вопросы и сам отвечал на них; он превозносил себя и осыпал оскорблениями. С улицы слышно было, как он один ораторствует в своем возке. Прохожие, у которых есть свое мерило для оцен-

ки незаурядных людей, говорили: «Вот идиот!» По временам, как мы только что сказали, Урсус бранил самого себя, но бывали моменты, когда он отдавал себе должное. Как-то в одной из тех кратких речей, с которыми он обращался к себе, он с гордостью воскликнул: «Я изучил растение во всех его тайнах, я изучил стебель, почку, чашелистики, лепесток, тычинку, завязь, семяпочку, бурачок, спорангий и апотеций. Я постиг хромацию, осмосию и химосию, иными словами — образование цвета, запаха и вкуса». В этом аттестате, который Урсус выдавал Урсусу, была, несомненно, некая доля бахвальства, но пусть первым кинет в него камень тот, кто не постиг хромации, осмосии и химосии.

К счастью, Урсус никогда не бывал в Нидерландах. Там его, без сомнения, взвесили бы, чтобы определить, обладает ли он должным весом, избыток или недостаток которого свидетельствует о том, что человек — колдун. В Голландии этот должный вес был мудро установлен законом. Это было удивительно просто и остроумно. Вас клали на чашу весов — и все сразу становилось ясным: если вы оказывались слишком тяжелым, вас вешали, если слишком легким — сжигали. Еще теперь можно видеть в Удеватере весы для

взвешивания колдунов, но в наши дни на этих весах взвешивают сыр, — вот во что выродилась религия! Тощему Урсусу, пожалуй, не поздоровилось бы от такого взвешивания. В своих странствиях он избегал Голландии — и хорошо делал. Впрочем, мы полагаем, что он вообще не покидал пределов Англии.

Как бы то ни было, Урсус, человек очень бедный и притом сурового нрава, завязав в лесу знакомство с Гомо, почувствовал влечение к бродяжничеству. Он взял волка себе в товарищи и стал скитаться с ним по дорогам, живя на вольном воздухе жизнью, полной всяких неожиданностей. Урсус был очень изобретателен, всегда себе на уме, весьма искусен во врачебном деле и великий мастер на всякие фокусы. Он пользовался славой хорошего лекаря и хорошего фигляра; само собою разумеется, что его считали и чародеем, но лишь отчасти, ибо (прослыть приятелем черта было в ту пору небезопасно. Говоря по правде, Урсус своим пристрастием к фармакопее и лекарственным растениям мог навлечь на себя подозрение, так как часто уходил собирать травы в угрюмые, непролазные чащи, где произрастает салат Люцифера и где, как это установил советник д'Анкр, рискуешь встретить

в вечернем тумане вышедшего из-под земли человека, «кривого на правый глаз, без плаща, со шпагой на боку и совершенно босого». Но при всех странностях своего характера Урсус был слишком добропорядочным, чтобы насылать град, вызывать привидения, вихрем пляски замучить человека насмерть, внушать безмятежные или, напротив, печальные и полные ужасов сны и заклинаниями выводить из яиц четырехкрылых петухов, — подобных проделок за ним не водилось. Он был неспособен на такие мерзости, как, например, говорить по-немецки, по-древнееврейски или по-гречески, не изучив этих языков, что является признаком либо гнусного коварства, либо природной болезни, вызываемой меланхолией. Если Урсус изъяснялся по-латыни, то только потому, что знал ее. Он не позволил бы себе говорить по-сирийски, так как не знал этого языка; кроме того, доказано, что сирийский язык — язык ведьм. В медицине Урсус не без основания отдавал предпочтение Галену перед Кардано[8]

, ибо Кардано, при всей своей учености, жалкий червь по сравнению с Галеном.

В общем, Урсус не принадлежал к числу тех лиц, которых часто тревожит полиция. Его возок был достаточно длинен и широк, чтобы он

мог лежать в нем на сундуке, хранившем его не слишком роскошные пожитки. Он был обладателем фонаря, нескольких париков, кое-какой утвари, развешанной на гвоздях, а также музыкальных инструментов. Кроме того, у него была медвежья шкура, которую он напяливал на себя в дни больших представлений; он называл это — облачаться в парадный костюм. «У меня две шкуры, — говорил он, — вот эта — настоящая». И он указывал на медвежью шкуру. Передвижной балаган принадлежал ему и волку. Кроме возка, реторты и волка, у него были флейта и виола-да-гамба[9]

, на которых он неплохо играл. Он сам изготовлял эликсиры. Все эти таланты иногда обеспечивали ему возможность поужинать. В потолке его лачуги было отверстие, через которое проходила труба чугунной печки, стоявшей почти вплотную к сундуку, так что деревянная стенка его даже слепка обуглилась. В печке было два отделения: в одном из них Урсус варил свои специи, в другом — картошку. По ночам волк, дружеской рукой посаженный на-цепь, спал под возком. Гомо был черен, Урсус сед; Урсусу было лег пятьдесят, если не все шестьдесят. Его покорность человеческой судьбе была такова, что

он, как выше упомянуто, питался картофелем, который в ту пору считался поганой пищей, годной лишь для свиней да каторжников. Он ел его, негодуя, но подчиняясь своей участи. Ростом он был невысок, но казался долговязым. Он горбился и был всегда задумчив. Согбенная спина старика — это груз прожитых лет. Урсусу на роду было написано быть печальным. Ему стоило труда улыбнуться и никогда не удавалось заплакать. Он не умел находить утешение в слезах и временное облегчение в веселье. Старик — это не что иное, как мыслящая развалина. Урсус и был такой развалиной. Краснобайство шарлатана, худоба пророка, воспламеняемость заряженной мины — таков был Урсус. В молодости он жил в качестве философа у одного лорда.

Все это происходило сто восемьдесят лет назад, в те времена, когда люди были немного более волками, чем в наши дни.

Впрочем, не намного.

Гомо не был обыкновенным волком. Судя по тому, как он набрасывался на кизил и на яблоки, его можно было принять за степного волка; темной окраской шерсти он походил на гиену, а воем, постепенно переходившим в лай, напоминал чилийскую дикую собаку; но зрачок этого

животного еще недостаточно изучен, и, может быть, оно лишь разновидность лисицы, между тем как Гомо был настоящим волком. Длина его равнялась пяти футам, а это немалый рост для волка даже в Литве; он был очень силен; смотрел он исподлобья, но это нельзя было ставить ему в вину; язык у него был мягкий, и он иногда лизал Урсуса; по спинному хребту у него щетинилась узкая полоска короткой шерсти; он был тощ, но это была здоровая худоба лесного зверя. До своего знакомства с Урсусом, когда ему не приходилось еще таскать за собой возок, он легко пробегал по сорок лье за ночь. Урсус, натолкнувшись на него в чаще на берегу ручья, проникся к нему уважением, увидев, как он умно и осторожно ловит раков, и с удовлетворением признал в нем отличный экземпляр подлинного гвианского волка — купара, из породы так называемых собак-ракоедов.

Урсус предпочитал Гомо ослу в качестве вьючного животного. Ему было бы неприятно заставлять осла тащить возок: он слишком уважал это животное. К тому же он заметил, что осел, этот не понятый людьми четвероногий мечтатель, имеет неприятное обыкновение настораживать уши, когда философы изрекают какие-нибудь глупости. Между нами и нашей мыслью осел

оказывается, таким образом, лишним свидетелем, а это стеснительно. Урсус предпочитал Гомо в качестве друга и собаке, так как полагал, что волку дружба с человеком дается труднее.

Вот почему Урсус довольствовался обществом Гомо. Гомо был для него больше, чем другом, — он был его подобием. Похлопывая волка по впалым бокам, Урсус говорил: «Я нашел свое второе издание».

Он говорил также: «Когда я умру, всякому, кто пожелает получить представление обо мне, надо будет только изучить Гомо. Я оставлю его потомству в качестве моей вернейшей копии».

Английский закон, не слишком мягкий по отношению к хищным зверям, мог бы придраться к этому волку и притянуть его к ответу за смелость, с которой он свободно появлялся в городах; но Гомо пользовался неприкосновенностью, дарованной домашним животным одним из статутов Эдуарда IV. «Всякое домашнее животное, — гласит этот статут, — может свободно следовать за своим хозяином». Кроме того, некоторое ослабление строгостей по отношению к волкам явилось результатом моды, распространившейся при последних Стюартах среди придворных дам, которые заводили вместо собак маленьких песцов,

величиной с кошку, выписывая их за большие деньги из Азии.

Урсус передал Гомо часть своих талантов: научил его стоять на задних лапах, умерять свой гнев, заменяя его хмуростью, издавать глухое ворчанье вместо воя и т. д. Волк, со своей стороны, передал человеку часть волчьих познаний, научив его обходиться без крова, без хлеба, без огня и предпочитать голод в лесу рабству во дворце.

Возок Урсуса, своеобразная передвижная хижина, следовал по самым различным направлениям, не выходя, однако, за пределы Англии и Шотландии; он был установлен на четырех колесах и снабжен оглоблями для волка и лямкой для человека. Пристяжкой пользовались только при дурной дороге. Балаган был крепок, хотя и сколочен из тонких досок, обычно идущих на перегородки. Спереди у него была стеклянная дверь с маленьким балконом, своего рода кафедрой или трибуной, с которой Урсус произносил речи, а сзади — глухая дверь с форточкой. Для входа в балаган, на ночь тщательно запиравшийся засовами и замками, служила откидная подножка в три ступеньки, прилаженная на шарнирах к внутренней стороне задней двери. Немало дождей и снега перевидал возок на своем

веку. Когда-то он был окрашен, но теперь уже нельзя было установить, в какой именно цвет, ибо перемены погоды действуют на дорожные возки точно так же, как смены царствований на придворных. Снаружи на стенке возка когда-то можно было разобрать на дощечке надпись черными буквами по белому полю, постепенно расплывшуюся и стершуюся:

«Золото ежегодно теряет от трения одну тысяча четырехсотую часть своего объема; это называется потерей в весе монеты; отсюда следует, что из миллиарда четырехсот миллионов золотом, находящихся в обращении на всем земном шаре, ежегодно пропадает один миллион. Этот миллион золотом распыляется, улетучивается, носится в воздухе мельчайшим прахом, попадает в человеческие легкие, проникает в нашу совесть, приглушает, обременяет, отягчает ее, соединяется с душою богачей, которые становятся от него надменными, и с душою бедняков, которые от него ожесточаются».

Надпись эту, размытую дождями и стершуюся по милости провидения, к счастью, уже нельзя было прочитать, так как весьма вероятно, что это загадочное и вместе с тем довольно прозрачное рассуждение о золоте, проникающем в легкие,

пришлось бы не по вкусу шерифам, прево, маршалам[10]

и прочим носителям париков, стоящим на страже закона. Английское законодательство в ту пору шутить не любило. Быть жестоким считалось в порядке вещей. Беспощадность была исконным свойством судей, а жестокосердие — их второй натурой. Инквизиторы кишмя кишели. Джеффрис[11]

породил целое племя себе подобных.

Внутри возка были еще две надписи. Над сундуком на дощатой, выбеленной известкой стене было выведено от руки чернилами:

«Единственное, что следует знать:

Барон и пэр Англии носит на голове золотой обруч с шестью жемчужинами.

Право на корону начинается с виконта.

Виконт носит корону с неограниченным количеством жемчужин; граф — жемчужную корону, зубцы которой перемежаются с небольшими земляничными листьями; у маркиза — зубцы и листья на одном уровне; у герцога — одни зубцы, без жемчужин; у герцога королевской крови — обруч, составленный из крестов и лилий; у принца Уэльского корона такая же, как у короля, но незамкнутая.

Герцог именуется «светлейшим и могущественнейшим государем»; маркиз и граф — «высокородным и могущественным владетелем», виконт — «благородным и могущественным господином»; барон — «истинным господином».

Обращение к герцогу: «ваша светлость», к остальным пэрам — «ваша милость».

Личность лорда неприкосновенна.

Пэры — это парламент и суд, concilium et curia, законодательство и правосудие.

Most honourable (высокочтимый) значит больше, чем right honourable (досточтимый).

Лорды-пэры признаются лордами по праву рождения, лорды не пэры — лордами из учтивости; только пэры — настоящие лорды.

Лорд никогда не приносит присяги ни королю, ни на суде. Достаточно одного его слова. Он говорит: «Заверяю своей честью».

Члены палаты общин, представляющие народ, будучи вызваны в палату лордов, смиренно обнажают головы перед лордами, сидящими в головных уборах.

Палата общин представляет билли в палату лордов через депутацию из сорока членов, которые при вручении билля отвешивают три глубоких поклона.

Лорды препровождают в палату общин свои билли через простого писца.

В случае разногласия между палатами они совместно совещаются в «расписном зале», причем пэры сидят в шляпах, а члены палаты общин стоят с непокрытой горловой.

По закону, изданному Эдуардом VI, лорды пользуются привилегией непреднамеренного убийства. Лорд, убивший простолюдина, не подлежит преследованию.

Бароны приравниваются по рангу к епископам.

Чтобы быть бароном-пэром, надо получить от короля пожалование per baroniam integram, то есть полным баронским поместьем.

Полное баронское поместье состоит из тринадцати с четвертью дворянских ленов, каждый стоимостью в двадцать фунтов стерлингов, что составляет четыреста марок.

Баронский замок — эта «голова» баронского поместья — caput baroniae — переходит по наследству на тех же основаниях, что и корона Англии, то есть переходит к дочерям лишь при отсутствии детей мужского пола и в таком случае достается старшей дочери; caeteris filiabus aliunde satisfactis.[12]

Бароны носят титул лорда, от саксонского laford (классическое латинское — dominus и вульгарно-латинское — lordus).

Старшие и следующие за ними сыновья виконтов и баронов — первые эсквайры королевства.

Старшие сыновья пэров имеют преимущество перед кавалерами ордена Подвязки; младшие сыновья преимущества не имеют.

Старший сын виконта в процессии следует за баронами и впереди всех баронетов.

Дочь лорда — леди, прочие английские девицы — мисс.

Все судьи признаются ниже пэров. Сержант носит капюшон из шкуры ягненка; судьи — капюшон de minuto vario — из белых шкурок любых мелких зверей, кроме горностая. Горностай носят только пэры и король.

Против лорда не допускается supplicavit.[13]

Лорда нельзя посадить в обычную тюрьму. Он может быть заключен только в лондонский Тауэр.

Лорд, приглашенный в гости к королю, имеет право убить в королевском парке одну или две лани.

Лорду в его владениях предоставляется право баронского суда.

Выйти на улицу в мантии, взяв с собою для сопровождения только двух слуг, — недостойно лорда. Он может появляться лишь с целой свитой приближенных дворян.

Пэры отправляются в парламент в каретах цугом; члены палаты общин этого права не имеют. Некоторые пэры отправляются в Вестминстер в открытых двухместных колясках. Украшенные гербами и коронами коляски и кареты разрешается иметь только лордам: это одна из их привилегий.

Лорд может быть приговорен к штрафу только лордами, и притом в размере не свыше пяти шиллингов; исключение составляет герцог, которого можно оштрафовать на десять шиллингов.

Лорд может иметь у себя в доме шесть иностранцев. Всякий другой англичанин — только четырех.

Лорд может беспошлинно держать у себя в погребе восемь бочек вина.

Только лорд не подлежит явке к окружному шерифу.

Лорд не может быть облагаем податью на содержание войска.

Когда это угодно лорду, он на свои средства набирает полк и предоставляет его в распоряже-

ние короля; так поступают их светлости герцог Атольский, герцог Гамильтон и герцог Нортемберлендский.

Лорд может быть судим только лордами.

В гражданских делах он может требовать пересмотра и отмены решения, если в составе суда не было по крайней мере одного дворянина.

Лорд сам назначает своих капелланов.

Барон назначает трех капелланов, виконт — четырех, граф и маркиз — пять, герцог — шесть.

Лорд не может быть подвергнут пытке даже при обвинении в государственной измене.

Лорд не может быть заклеймен палачом.

Лорд всегда считается ученым человеком, даже если он не умеет читать. Он грамотен по праву рождения.

Герцог появляется под балдахином всюду, за исключением тех мест, где присутствует король; виконт имеет балдахин у себя дома; у барона есть кубок с крышкой для пробы вина, крышку слуга держит под кубком, пока барон пьет; баронесса в присутствии виконтессы имеет право пользоваться услугами одного человека для ношения шлейфа.

Восемьдесят шесть лордов или старших сыновей лордов занимают председательские места

за восемьюдесятью шестью столами на пятьсот приборов каждый, накрываемыми ежедневно в королевском дворце за счет округи, в которой расположена королевская резиденция.

Простолюдину, ударившему лорда, отсекают кисть руки.

Лорд почти то же, что король.

Король почти то же, что бог.

Вся земля — собственность лордов.

Англичане, обращаясь к богу, называют его «милорд».

Против этой надписи можно было прочесть другую, написанную таким же способом. Вот она:

«Утешение, которым должны довольствоваться те, кто ничего не имеет.

Генрих Оверкерк, граф Грентэм, заседающий в палате лордов между графом Джерси и графом Гриничем, имеет сто тысяч фунтов стерлингов ежегодного дохода. Его милости принадлежит дворец Грентэм-Террас, выстроенный из мрамора и знаменитый своим лабиринтом коридоров, представляющим собою настоящую достопримечательность. В этом дворце есть алый коридор из саранколинского мрамора, коридор из астраханской лумачеллы, белый — из ланийского

мрамора, черный — из алабандского мрамора, серый — из старемского мрамора, желтый — из гессенского мрамора, зеленый — из тирольского, красный — наполовину из крапчатого богемского мрамора, наполовину из кордовской лумачеллы, темно-синий — из генуэзского мрамора, фиолетовый — из каталонского гранита, траурный — из сланцев Мурвиедро с белыми и черными прожилками, розовый — из альпийского ципполина, жемчужный — из нонетской лумачеллы и разноцветный коридор, называемый «придворным», — из пестрой брекчии.

Ричард Лаутер, виконт Лонсдейл, имеет в Уэстморленде замок Лаутер; необыкновенно пышный подъезд этого замка как бы приглашает королей посетить его.

Ричард, граф Скарборо, виконт и барон Лэмлей, виконт Уотерфорд в Ирландии, лорд-лейтенант и вице-адмирал графства Нортемберлендского, графства Дерхемского с одноименным городом, владеет двумя поместьями в Стэнстеде, старым и новым, в котором всеобщее внимание привлекает великолепная решетка, охватывающая полукругом бассейн с фонтаном необычайной красоты. Сверх того ему принадлежит замок в Лэмлее.

Роберту Дарси, графу Холдернесу, принадлежит родовой замок Холдернес с баронскими башнями и огромным французским парком, в котором он совершает прогулки в карете, запряженной шестеркой лошадей, с двумя форейторами, как и подобает пэру Англии.

Чарльз Боклерк, герцог Сент-Олбенс, граф Барфорд, барон Хеддингтон, первый сокольничий Англии, рядом с королевским дворцом в Виндзоре владеет дворцом, нисколько не проигрывающим от этого соседства.

Чарльз Бодвилл, лорд Робертс, барон Труро, виконт Бодмин, владеет в Кембридже поместьем Уимпл, где выстроены три дворца с тремя фронтонами, из коих один в виде арки, а два треугольные. Въездная аллея обсажена четырьмя рядами деревьев.

Высокородный и могущественный лорд Филипп Герберт, виконт Кардиф, граф Монтгомери, граф Пемброк, пэр и владетель Кендола, Мармиона, Сент-Квентина и Чарленда, смотритель прудов в графствах Корнуэле и Девоне, наследственный наблюдатель коллегии Иисуса, является собственником чудесного Уилстонского сада, в котором, есть два фонтана, превосходящие красотою версальские фонтаны христианнейше-

го короля Людовика XIV.

Чарльз Сеймур, герцог Сомерсетский, владеет на Темзе виллой Сомерсет-Хауз, ничем не уступающей вилле Памфили в Риме. На величественном камине обращают на себя внимание две китайские фарфоровые вазы эпохи Юаньской династии, оцениваемые в полмиллиона на французские деньги.

В Йоркшире Артур, лорд Ингрэм, виконт Ирвин, владеет дворцом Темпл-Ньюшем, к которому подъезжают через триумфальную арку; широкие и плоские крыши этого дворца похожи на мавританские террасы.

Роберту, лорду Феррерс-Чартлею, Борчиру и Ловену, принадлежит в Лестершире замок Стаунтон-Гарольд с парком, имеющим форму храма с фронтоном; большая церковь с четырехугольной колокольней, высящаяся на берегу пруда, входит в состав поместья.

В графстве Нортгемптон Чарльз Спенсер, граф Сандерленд, член тайного совета его величества, владеет поместьем Олтроп, в которое въезжают через кованые железные ворота на четырех столбах, украшенных мраморными группами.

Лоуренсу Хайду, графу Рочестеру, принадлежит в Серрее поместье Нью-Парк, с замком, украшен-

ным художественно изваянным акротерионом[14]
, с обсаженной деревьями круглой лужайкой и дубравами, на опушке которых высится искусно закругленная горка, увенчанная большим, издалека видным дубом.

Филипп Стенхоп, граф Честерфилд, владеет в Дербишире поместьем Бредби, в котором есть великолепный павильон с часами, соколиный двор, кроличьи садки и прелестные пруды, четырехугольные и овальные, в том числе один в форме зеркала, с двумя фонтанами, бьющими очень высоко.

Лорду Корнуэлу, барону Ай, принадлежит Бром-Холл — дворец четырнадцатого века.

Высокородный Олджернон Кейпл, виконт Молден, граф Эссекс, владеет в Гартфордшире замком Кешиобери, имеющим форму буквы Н, и лесными угодьями, изобилующими дичью.

Лорду Чарльзу Оссалстоуну принадлежит в Миддлсексе замок Доули, окруженный садами в итальянском вкусе.

Джемс Сесил, граф Солсбери, в семи лье от Лондона владеет дворцом Гартфилд-Хауз, с четырьмя господскими павильонами, с дозорной башней в центре и парадным двором, выложенным белыми и черными плитами, как в Сен-Жермене.

Дворец этот, занимающий по фасаду двести семьдесят два фута, был выстроен в царствование Иакова I государственным казначеем Англии, прадедом нынешнего владельца. Кровать одной из графинь Солсбери стоит несметных денег: она целиком сделана из бразильского дерева, признанного вернейшим средством от змеиного укуса, которое называется milhombres, что значит «тысяча мужчин». На этой кровати золотыми буквами выведена надпись: «Honni soit qui mal y pense».[15]

Эдуард Рич, граф Уорик и Холленд, — собственник замка Уорик-Касл, где камины топят целыми дубами.

В приходе Севн-Оукс Чарльзу Секвиллу, барону Бекхерсту, виконту Кренфилду, графу Дорсету и Миддлсексу, принадлежит поместье Ноул, по величине не уступающее городу; в нем выстроены параллельно друг другу три дворца, длинных, как линии пехоты; на главном здании с лицевой стороны — десять ступенчатых щипцов, а над воротами замковая башня, окруженная четырьмя малыми башнями.

Томас Тинн, виконт Уэймет, барон Уорминстер, — собственник дворца Лонг-Лит, в котором почти столько же каминов, фонарей, беседок,

арок, павильонов, башенок круглых, башенок со шпилями, сколько и в замке Шамбор во Франции, принадлежащем королю.

Генри Ховард, граф Сэффолк, владеет в двенадцати лье от Лондона, в Миддлсексе, дворцом Одлейн, почти не уступающим размерами и величественностью Эскуриалу испанского короля.

В Бедфордшире Рест-Хауз-энд-Парк, обнесенный рвами и стенами, — целая округа с лесами, реками, холмами, — составляет собственность маркиза Генри Кента.

В Гартфорде Гемптон-Корт с огромной зубчатой башней и садом, который отделен от леса прудом, принадлежит Томасу, лорду Конингсби.

Графу Роберту Линдсею, лорду и наследственному владельцу Уолхемского леса, принадлежит в Линкольншире замок Гримсторф с длинным фасадом, украшенным высокими башенками в виде частокола, с парками, прудами, фазаньими дворами, овчарнями, лужайками, рощами, площадками для игр, высокоствольными деревьями, узорными цветниками, разбитыми на квадраты и ромбы и похожими на большие ковры, с полянами для состязаний в верховой езде и с величественной круговой аллеей, служащей въездом в замок.

В Сессексе высокочтимому Форду, лорду Грею, виконту Глендейлу и графу Танкарвиллу, принадлежит большой квадратный замок с двумя симметрически расположенными по обеим сторонам парадного двора флигелями, над которыми высятся дозорные башни.

Дворец Ньюхем Пэдокс, в Уорикшире, со стеклянным четырехскатным щипцом и с двумя четырехугольными рыбными садками в парке, составляет собственность графа Денби, который в Германии носит еще титул графа Рейнфельден.

Замок Уайтхем в графстве Берк с французским парком, в котором сооружены четыре грота из тесаного камня, с его высокой зубчатой башней, подпираемой двумя крепостного типа контрфорсами, принадлежит лорду Монтегю, графу Эбингдону, который является также собственником баронского замка Райкот, над въездными воротами которого красуется девиз: Virtus ariete fortior.[16]

Уильям Кавендиш, герцог Девонширский, владеет шестью замками, и в том числе двухэтажным Четсуортом, отлично выдержанным в греческом стиле; кроме того, его светлости принадлежит в Лондоне дворец с фигурой льва, обращенной спиною к королевскому дворцу.

Виконт Кинелмики, ирландский граф Корк, владеет в Пикадилли дворцом Барлингтон-Хауз, с обширными садами, простирающимися за пределы Лондона. Ему также принадлежит дворец Чизуик, состоящий из девяти великолепных зданий, и Ландсборо, где рядом со старым дворцом выстроен новый.

Герцог Бофорт — собственник Челси, состоящего из двух дворцов в готическом стиле и одного во флорентийском; ему же принадлежит в Глостере дворец Бедмингтон, от которого лучами расходятся во все стороны прекрасные широкие аллеи. Высокородный и могущественный принц Генри, герцог Бофорт, носит также титул маркиза и графа Уостера, барона Раглана, барона Пауэра и барона Герберт-Чипстоу.

Джон Холле, герцог Ньюкасл и маркиз Клер, владеет замком Болсовер, четырехугольная дозорная башня которого производит величественное впечатление, а также замком Хоутон в Ноттингеме, где есть бассейн с круглой пирамидой в центре, наподобие вавилонской башни.

Лорд Вильям Кревен, барон Кревен-Хемпстед, имеет в Уорикшире свою резиденцию — Комб-Эбей, с самым красивым фонтаном в Англии, а в Беркшире два баронских замка: Хемпстед-Мар-

шал с фасадом, украшенным пятью стеклянными балконами в готическом стиле, и Эсдоун-Парк, выстроенный в лесу на скрещении двух дорог.

Лорд Линней Кленчарли, барон Кленчарли-Генкервилл, маркиз Корлеоне Сицилийский, владеет замком Кленчарли, выстроенным в 914 году Эдуардом Старым для защиты от датчан; ему же принадлежат дворцы: Генкервилл-Хауз в Лондоне и Корлеоне-Лодж в Виндзоре, а также восемь кастелянств: в Брукстоне на Тренте, с правом разработки алебастровых копей, затем Гемдрайт, Хомбл, Морикемб, Тренуордрайт, Хелл-Кертерс с замечательным источником, Пиллинмор с торфяными болотами, Рикелвер близ старинного города Уайнкаунтон на горе Мойл-Энли; затем девятнадцать небольших городков и деревень с правом феодального суда над населением, а также вся округа Пенснет-Чейз, что в совокупности приносит его милости сорок тысяч фунтов стерлингов годового дохода.

Сто семьдесят два пэра, облеченных властью в царствование Иакова II, получают в совокупности миллион двести семьдесят две тысячи фунтов стерлингов годового дохода, что составляет одиннадцатую часть доходов Англии».

Сбоку, против последнего имени, лорда Линнея

Кленчарли, рукою Урсуса была сделана пометка:

«Мятежник; в изгнании; имущество, земли и поместья под секвестром. И поделом».

Урсус восхищался Гомо. Мы восхищаемся тем, что нам близко. Это — закон.

Внутренним состоянием Урсуса была постоянная глухая ярость; его внешним состоянием была ворчливость. Урсус принадлежал к числу тех, кто недоволен мирозданием. В системе природы он выполнял роль оппозиции. Он видел мир с его дурной стороны. Никто и ничто на свете не удостаивалось его одобрения. Для него сладость меда не оправдывала укуса пчелы; распустившаяся на солнце роза не оправдывала желтой лихорадки или рвоты желчью, вызванных тем же солнцем. Возможно, что наедине с самим собой Урсус резко осуждал господа. Он говорил: «Очевидно, дьявола надо держать на привязи, и вина бога, что он спустил его с цепи». Он одобрял только владетельных особ, но выказывал это одобрение довольно своеобразно. Однажды, когда Иаков II принес в дар богоматери ирландской католической часовни тяжелую золотую лампаду, Урсус, как раз проходивший мимо этой часовни с Гомо, который, впрочем, относился к таким событиям более равнодушно, стал во всеуслышание выра-

жать свой восторг. «Несомненно, — воскликнул он, — богородица гораздо больше нуждается в золотой лампаде, чем вот эта босоногая детвора — в башмаках!»

Такие доказательства «благонамеренности» Урсуса и его очевидное уважение к властям предержащим, вероятно, немало содействовали тому, что власти довольно терпимо относились к его кочевому образу жизни и необычайному союзу с волком. Иногда вечерком он по дружеской слабости разрешал Гомо немного поразмяться и побродить на свободе вокруг возка. Волк был бы неспособен злоупотребить доверием — и в «обществе», то есть на людях, вел себя смирнее пуделя. Однако попадись он в дурную минуту на глаза полицейским, не миновать бы неприятностей; вот почему Урсус старался как можно чаще держать ни в чем не повинного волка на цепи.

С точки зрения политической его надпись насчет золота, ставшая совсем неразборчивой, да к тому же малопонятная по существу, представлялась простой мазней на фасаде балагана и не навлекала на Урсуса никаких подозрений. Даже после Иакова II и в «досточтимое» царствование Вильгельма и Марии возок Урсуса спокойно разъезжал по глухим городкам английских графств.

Урсус исколесил всю Великобританию, продавая свои чудодейственные зелья и снадобья и проделывая с помощью волка шарлатанские фокусы странствующего лекаря; он легко ускользал от сетей полиции, раскинутых в ту пору по всей Англии для очистки страны от бродячих шаек и главным, образом для задержания «компрачикосов».

В сущности это было справедливо. Урсус не принадлежал ни к какой бродячей шайке. Урсус жил вдвоем с Урсусом, и только волк, осторожно просовывая между ними свою морду, нарушал эту беседу с самим собой. Пределом мечтаний Урсуса было родиться караибом[17]

Но так как это было вне его власти, он стал отшельником. Отшельничество — это та слабо выраженная форма дикарства, которую соглашается терпеть цивилизованное общество. Чем дольше мы скитаемся по свету, тем более мы одиноки. Этим объяснялись постоянные странствования Урсуса. Долгое пребывание в одном каком-нибудь месте казалось ему переходом от свободного состояния к неволе. Вся его жизнь прошла в скитаниях. При виде города в нем возрастала тяга к чаще, к лесным дебрям, к пещерам в скалах. В лесу он был у себя дома. Но глухой гул

толпы на площадях не смущал его, так как напоминал ему шум лесных деревьев. В известной мере толпа удовлетворяет склонности к отшельничеству. Если что и не нравилось Урсусу в его повозке, то только дверь и окно, придававшие ей сходство с настоящим домом. Он достиг бы своего идеала, если бы мог поставить на колеса пещеру и путешествовать в ней.

Мы уже говорили, что Урсус не улыбался; он только смеялся — временами даже часто; но это был горький смех. В улыбке всегда есть некие начала примирения, тогда как смех часто выражает собою отказ примириться.

Главной особенностью Урсуса была ненависть к роду человеческому. В этой ненависти он был неумолим. Он пришел к твердому убеждению, что человеческая жизнь отвратительна; он заметил, что существует своего рода иерархия бедствий: над королями, угнетающими народ, есть война, над войною — чума, над чумою — голод, а над всеми бедствиями — глупость людская; удостоверившись, что уже самый факт существования является в какой-то мере наказанием, и видя в смерти избавление, он тем не менее лечил больных, которых к нему приводили. У него были укрепляющие лекарства и снадобья для продле-

ния жизни стариков. Он ставил на ноги калек и потом язвительно говорил им: «Ну вот, ты снова на ногах. Можешь теперь вволю мыкаться в этой юдоли слез». Увидев нищего, умирающего от голода, он отдавал ему все деньги, какие у него были, и сердито ворчал: «Живи, несчастный! Ешь! Старайся протянуть подольше! Уж только не я сокращу сроки твоей каторги». Затем, потирая руки, он приговаривал: «Я делаю людям все зло, какое только в моих силах».

Через окошечко в задней стене балагана прохожие имели возможность прочитать на потолке его надпись углем крупными) буквами: «Урсус-философ».

2. Компрачикосы

Кому в наши дни известно слово «компрачикосы»? Кому понятен его смысл?

Компрачикосы, или компрапекеньосы, представляли собой необычайное и гнусное сообщество бродяг, знаменитое в семнадцатом веке, забытое в восемнадцатом и совершенно неизвестное в наши дни. Компрачикосы, подобно «отраве для наследников», являются характерной подробностью старого общественного уклада. Это деталь древней картины нравственного уродства человечества. С точки зрения истории, сводящей

воедино разрозненные события, компрачикосы представляются ответвлением гигантского явления, именуемого рабством. Легенда об Иосифе, проданном братьями, — одна из глав повести о компрачикосах. Они оставили память о себе в уголовных кодексах Испании и Англии. Разбираясь в темном хаосе английских законодательных актов, — кое-где наталкиваешься на следы этого чудовищного явления, как находишь в первобытных лесах отпечаток ноги дикаря.

«Компрачикос», так же как и «компрапекеньос», — составное испанское слово, означающее «скупщик детей».

Компрачикосы вели торговлю детьми.

Они покупали и продавали детей.

Но не похищали их. Кража детей — это уже другой промысел.

Что же они делали с этими детьми?

Они делали из них уродов.

Для чего же?

Для забавы.

Народ нуждается в забаве. Короли — тоже. Улице нужен паяц; дворцам нужен гаер. Одного зовут Тюрлюпен, другого — Трибуле.[18]

Усилия, которые затрачивает человек в погоне за весельем, иногда заслуживают внимания

философа.

Что должны представлять собою эти вступительные страницы?

Главу одной из самых страшных книг, книги, которую можно было бы озаглавить: «Эксплуатация несчастных счастливыми».

Ребенок, предназначенный служить игрушкой для взрослых, — такое явление не раз имело место в истории. (Оно имеет место и в наши дни.) В простодушно-жестокие эпохи оно вызывало к жизни особый промысел. Одной из таких эпох был семнадцатый век, называемый «великим». Это был век чисто византийских нравов; простодушие сочеталось в нем с развращенностью, а жестокость с чувствительностью — любопытная разновидность цивилизации! Он напоминает жеманничающего тигра. Это век мадам де Севинье[19]

, мило щебечущей о костре и колесовании. В этот век эксплуатация детей была явлением обычным: историки, льстившие семнадцатому столетию, скрыли эту язву, но им не удалось скрыть попытку Венсена де Поля[20]

залечить ее.

Чтобы сделать из человека хорошую игрушку, надо приняться за дело заблаговременно.

Превратить ребенка в карлика можно, только пока он еще мал. Дети служили забавой. Но нормальный ребенок не очень забавен. Горбун куда потешнее.

Отсюда возникает настоящее искусство. Существовали подлинные мастера этого дела. Из нормального человека делали уродца. Человеческое лицо превращали в харю. Останавливали рост. Перекраивали ребенка наново. Искусственная фабрикация уродов производилась по известным правилам. Это была целая наука. Представьте себе ортопедию наизнанку. Нормальный человеческий взор заменялся косоглазием. Гармония черт вытеснялась уродством. Там, где бог достиг совершенства, восстанавливался черновой набросок творения. И в глазах знатоков именно этот набросок и был совершенством. Такие же опыты искажения естественного облика производились и над животными: изобрели, например, пегих лошадей. У Тюренна[21]

был пегий конь. А разве в наши дни не красят собак в голубой и зеленый цвет? Природа — это канва. Человек искони стремился прибавить к творению божьему кое-что от себя. Он переделывает его иногда к лучшему, иногда к худшему. Придворный шут был не чем иным,

как попыткой вернуть человека к состоянию обезьяньи. Прогресс вспять. Изумительный образец движения назад. Одновременно бывали попытки превратить обезьяну в человека. Герцогиня Барбара Кливленд, графиня Саутгемптон, держала у себя в качестве пажа обезьяну сапажу. У Франсуазы Сеттон, баронессы Дадлей, жены мэра, занимавшего восьмое место на баронской скамье, чай подавал одетый в золотую парчу павиан, которого леди Дадлей называла «мой негр». Екатерина Сидлей, графиня Дорчестер, отправлялась на заседание парламента в карете с гербом, на запятках которой торчали, задрав морды кверху, три павиана в парадных ливреях. Одна из герцогинь Мединасели, при утреннем туалете которой довелось присутствовать кардиналу Полу, заставляла орангутанга надевать ей чулки. Обезьян возвышали до положения человека, зато людей низводили до положения скотов и зверей. Это своеобразное смешение человека с животным, столь приятное для знати, ярко проявлялось в традиционной паре: карлик и собака; карлик был неразлучен с огромной собакой. Собака была неизменным спутником карлика. Они ходили как бы на одной сворке. Это сочетание противоположностей запечатлено во множестве

памятников домашнего быта, в частности, на портрете Джеффри Гудсона, карлика Генриеты Французской, дочери Генриха IV, жены Карла I.

Унижение человека ведет к лишению его человеческого облика. Бесправное положение завершалось уродованием. Некоторым операторам того времени превосходно удавалось вытравить с человеческого лица образ божий. Доктор Конкест, член Аменстритской коллегии, инспектировавший торговлю химическими товарами в Лондоне, написал на латинском языке книгу, посвященную этой хирургии наизнанку, изложив ее основные приемы. Если верить Юстусу Каррик-Фергюсу, основоположником этой хирургии является некий монах по имени Авен-Мор, что по-ирландски значит «Большая река».

Карлик немецкого властительного князя — уродец Перкео (кукла, изображающая его, — настоящее страшилище, — выскакивает из потайного ящика в одном из гейдельбергских погребков) — был замечательным образчиком этого искусства, чрезвычайно разностороннего в своем применении.

Оно создавало уродов, для которых закон существования был чудовищно прост: им разрешалось страдать и вменялось в обязанность служить

предметом развлечения.

Фабрикация уродов производилась в большом масштабе и охватывала многие разновидности.

Уроды нужны были султану; уроды нужны были папе. Первому — чтобы охранять его жен; второму — чтобы возносить молитвы. Это был особый вид калек, неспособных к воспроизведению рода. Эти человекоподобные существа служили и сладострастию и религии. Гарем и Сикстинская капелла[22]

были потребителями одной и той же разновидности уродов: первый — свирепых, вторая — пленительных.

В те времена умели делать многое, чего не умеют делать теперь; люди обладали талантами, которых у нас уже нет, — недаром же благомыслящие умы кричат об упадке. Мы уже не умеем перекраивать живое человеческое тело: это объясняется тем, что искусство пытки нами почти утрачено. Раньше существовали виртуозы этого дела, теперь их уже нет. Искусство пытки упростили до такой степени, что вскоре оно, быть может, совсем исчезнет. Отрезая живым людям руки и ноги, вспарывая им животы, вырывая внутренности, проникали в живой организм человека; и это приводило к открытиям. От по-

добных успехов, которыми хирургия обязана была палачу, нам теперь приходится отказаться.

Операции эти не ограничивались в те давние времена изготовлением диковинных уродов для народных зрелищ, шутов, увеличивающих собою штат королевских придворных, и кастратов — для султанов и пап. Они были чрезвычайно разнообразны. Одним из высших достижении этого искусства было изготовление «петуха» для английского короля.

В Англии существовал обычай, согласно которому в королевском дворце держали человека, певшего по ночам петухом. Этот полуночник, не смыкавший глаз в то время, как все спали, бродил по дворцу и каждый час издавал петушиный крик, повторяя его столько раз, сколько требовалось, чтобы, заменить собою колокол. Человека, предназначенного для роли петуха, подвергали в детстве операции гортани, описанной в числе других доктором Конкестом. С тех пор как в царствование Карла II герцогиню Портсмутскую чуть не стошнило при виде слюнотечения, бывшего неизбежным результатом такой операции, к этому делу приставили человека с неизуродованным горлом, но самую должность упразднить не решились, дабы не ослабить блеска короны.

Обычно на столь почетную должность назначали отставного офицера. При Иакове II ее занимал Вильям. Самсон Кок[23]

, получавший за свое пение девять фунтов два шиллинга шесть пенсов в год.

В Петербурге, менее ста лет тому назад, — об этом упоминает в своих мемуарах Екатерина II, — в тех случаях, когда царь или царица бывали недовольны каким-нибудь вельможей, последний должен был в наказание садиться на корточки в парадном вестибюле дворца и просиживать в этой позе иногда по нескольку дней, то мяукая, как кошка, то кудахтая, как наседка, и подбирая на полу брошенный ему корм.

Эти обычаи отошли в прошлое. Однако не настолько, как это принято думать. И в наши дни придворные квохчут в угоду властелину, лишь немного изменив интонацию. Любой из них подбирает свой корм если не из грязи, то с полу.

К счастью, королям не свойственно ошибаться. Благодаря этому противоречия, в которые они впадают, никого не смущают. Всегда одобряя их действия, можно быть уверенным в своей правоте, а такая уверенность приятна. Людовик XIV не пожелал бы видеть в Версале ни офицера, поющего петухом, ни вельможу, изображающего

индюка. То, что в Англии и в России поднимало престиж королевской и императорской власти, показалось бы Людовику Великому несовместимым с короной Людовика Святого. Всем известно, как он быт недоволен, когда Генриета, герцогиня Орлеанская, забылась до того, что увидала во сне курицу, — поступок, в самом деле весьма непристойный для особы, приближенной ко двору. Тот, кто принадлежит к королевскому двору, не должен интересоваться двором птичьим. Боссюэ[24]

, как известно, разделял возмущение Людовика XIV.

Торговля детьми в семнадцатом столетии, как уже было упомянуто, дополнялась особым промыслом. Этой торговлей и этим промыслом занимались компрачикосы. Они покупали детей, слегка обрабатывали это сырье, а затем перепродавали его.

Продавцы бывали всякого рода, начиная с бедняка-отца, освобождавшегося таким способом от лишнего рта, и кончая рабовладельцем, выгодно сбывавшим приплод от принадлежащего ему человеческого стада. Торговля людьми считалась самым обычным делом. Еще и в наши дни право на нее отстаивали с оружием в руках. Достаточно только вспомнить, что меньше столетия назад

курфюрст Гессенский продавал[25]

своих подданных английскому королю, которому нужны были люди, чтобы посылать их в Америку на убой. К курфюрсту Гессенскому шли как к мяснику. Он торговал пушечным мясом. В лавке этого государя подданные висели, как туши на крюках. Покупайте — продается!

В Англии во времена Джеффриса, после трагической авантюры герцога Монмута[26]

, было обезглавлено и четвертовано немало вельмож и дворян: жены и дочери их, оставшиеся вдовами и сиротами, были подарены Иаковом II его супруге — королеве. Королева продала этих леди Вильяму Пенну[27]

Возможно, что король получил комиссионное вознаграждение и известный процент со сделки!. Но удивительно не то, что Иаков II продал этих женщин, а то, что Вильям Пенн их купил. Впрочем, эта покупка, находит себе если не оправдание, то объяснение в том, что, будучи поставлен перед необходимостью заселить целую пустыню, Пенн нуждался в женщинах. Женщины были как бы частью живого инвентаря.

Эти леди оказались недурным источником дохода для ее королевского величества. Молодые были проданы по дорогой цене. Не без смущения

думаешь о том, что старых герцогинь Пенн, по всей вероятности, приобрел за бесценок.

Компрачикосы назывались также «чейлас» — индусское слово, означающее «охотники за детьми».

Долгое время компрачикосы находились почти на легальном положении. Иногда темные стороны самого общественного строя благоприятствуют развитию преступных промыслов; в подобных случаях они особенно живучи. В наши дни в Испании такое сообщество, возглавлявшееся бандитом Рамоном Селлем, просуществовало с 1834 по 1866 год; в течение тридцати лет оно держало в страхе три провинции: Валенсию, Аликанте и Мурсию.

Во времена Стюартов к компрачикосам при дворе относились довольно снисходительно. При случае правительство прибегало к их услугам. Для Иакова II они были почти instrumentum regni.[28]

Это были времена, когда пресекали существование целых родов, проявивших непокорность или являвшихся почему-либо помехой, когда одним ударом уничтожали целые семьи, когда насильственно устраняли наследников. Иногда обманным образом лишали законных прав одну

ветвь в пользу другой. Компрачикосы обладали умением видоизменять наружность человека, и это делало их полезными целям политики. Изменить наружность человека лучше, чем убить его. Существовала, правда, железная маска, но это было слишком грубое средство. Нельзя ведь наводнить Европу железными масками[29]

, между тем как уроды-фигляры могут появляться на улицах, не возбуждая ни в ком подозрения; кроме того, железную маску можно сорвать, чего с живой маской сделать нельзя. Сделать навсегда маской собственное лицо человека — что может быть остроумнее этого? Компрачикосы подвергали обработке детей так, как китайцы обрабатывают дерево. У них, как мы уже говорили, были свои секретные способы. У них были свои особые приемы. Это искусство исчезло бесследно. Из рук компрачикосов выходило странное существо, остановившееся в своем росте. Оно вызывало смех; оно заставляло призадуматься. Компрачикосы с такой изобретательностью изменяли наружность ребенка, что родной отец не узнал бы его. Иногда они оставляли спинной хребет нетронутым, но перекраивали лицо. Они вытравляли природные черты ребенка, как спарывают метку с украденного носового платка.

У тех, кого предназначали для роли фигляра, весьма искусно выворачивали суставы; казалось, у этих существ нет костей. Из них делали гимнастов.

Компрачикосы не только лишали ребенка его настоящего лица, они лишали его и памяти. По крайней мере в той степени, в какой это было им доступно. Ребенок не знал о причиненном ему увечье. Чудовищная хирургия оставляла след на его лице, но не в сознании. В лучшем случае он мог припомнить, что однажды его схватили какие-то люди, затем — что он заснул и что потом его лечили. От какой болезни — он не знал. Он не помнил ни прижигания серой, ни надрезов железом. На время операции компрачикосы усыпляли свою жертву при помощи какого-то одурманивающего порошка, слывшего волшебным средством, устраняющим всякую боль. Этот порошок издавна был известен в Китае; им пользуются также и в наши дни. Китай задолго до нас знал книгопечатание, артиллерию, воздухоплавание, хлороформ. Но в то время как в Европе открытие сразу оживает, развивается и творит настоящие чудеса, в Китае оно остается в зачаточном состоянии и сохраняется в мертвом виде. Китай — это банка с заспиртованным в ней

зародышем.

Раз мы уже заговорили о Китае, остановимся еще на одной подробности. В Китае с незапамятных времен существовало искусство, которое следовало бы назвать отливкой живого человека. Двухлетнего или трехлетнего ребенка сажали в фарфоровую вазу более или менее причудливой формы, но без крышки и без дна, чтобы голова и ноги проходили свободно. Днем вазу держали в вертикальном положении, а ночью клали на бок, чтобы ребенок мог спать. Дитя росло, таким образом, только в ширину, заполняя своим стиснутым телом и искривленными костями все полые места внутри сосуда. Это выращивание в бутылке длилось несколько лет. По истечении известного времени жертва оказывалась изуродованной непоправимо. Убедившись, что эксперимент удался и что урод вполне готов, вазу разбивали, и из нее выходило человеческое существо, принявшее ее форму.

Это очень удобно: можно заказать себе карлика какой угодно формы.

Иаков II относился к компрачикосам терпимо. У него были на то уважительные причины: он сам не раз пользовался их услугами. Не всегда пренебрегают тем, что презирают. Этот низ-

кий промысел, бывший весьма на руку тому высокому промыслу, который именуется политикой, обрекался на жалкое существование, но не преследовался. Никакого надзора за ним не было, однако из виду его не упускали. Он мог пригодиться. Закон закрывал один глаз, король открывал другой.

Иногда король доходил до того, что сознавался в соучастии. Таково бесстыдство монархической власти! Иногда жертву клеймили королевскими лилиями; с нее снимали печать, наложенную богом, и заменяли клеймом короля. В семье Иакова Эстли, родовитого дворянина и баронета, владельца замка Мелтон и констебля графства Норфолк, был такой проданный ребенок, на лбу которого правительственный чиновник выжег каленым железом королевскую лилию. В некоторых случаях, когда по каким-либо причинам хотели удостоверить, что изменение в судьбе ребенка произошло не без участия короля, прибегали именно к этому средству. Англия всегда оказывала нам честь, пользуясь для своих собственных надобностей цветком лилии.

Компрачикосы в некоторых отношениях напоминали «душителей» индусской секты — конечно, принимая во внимание разницу

между людьми, промышлявшими преступным ремеслом, и фанатиками-изуверами; они дробились на шайки и занимались, между прочим, скоморошеством, но делали это для отвода глаз. Это облегчало им свободный переход с места на место. Они кочевали, появлялись то здесь, то там, но, отличаясь строгими правилами и религиозностью, были неспособны на воровство и ничем не походили на другие бродячие шайки. Народ долгое время неосновательно смешивал их с «испанскими и китайскими маврами». «Испанскими маврами» назывались фальшивомонетчики, а «китайскими» — мошенники. Совсем иное дело компрачикосы. Это были честные люди. Можно быть о них какого угодно мнения, но они порой бывали честны до щепетильности. Они стучались в дверь, входили, покупали ребенка, платили деньги и уносили его с собой. Сделка совершалась так, что покупателей ни в чем нельзя было упрекнуть.

Среди компрачикосов были люди различных национальностей. Это название объединяло англичан, французов, кастильцев, немцев, итальянцев. Такое тесное содружество обычно возникает в результате общности образа мыслей, общности суеверий, занятия одним и тем же ремеслом. В

этом братстве бандитов левантинцы представляли Восток, а уроженцы западного побережья Европы — Запад. Баски свободно объяснялись с ирландцами: баск и ирландец понимают друг друга, ибо оба говорят на древнем пуническом наречии; кроме того, здесь играла роль тесная связь между католической Ирландией[30]

и католической Испанией. Эти дружеские отношения завершились даже повешением в Лондоне гаэльского лорда Брани, который был почти королем Ирландии, что послужило поводом к созданию Литримского графства.

Компрачикосы были скорее сообществом, чем племенем, но скорее сбродом, чем сообществом. Это была голь, собравшаяся со всего света и превратившая преступление в ремесло. Это было лоскутное племя, скроенное из пестрых отрепьев. Каждый новый человек был здесь как бы еще одним лоскутом, пришитым к нищенским лохмотьям.

Бродяжничество было законом существования компрачикосов, — они появлялись, потом опять исчезали. Тот, кого едва терпят, не может надолго осесть на одном месте. Даже в тех королевствах, где их промысел имел спрос при дворе и служил при случае подспорьем королевской власти, с

ними порой обходились весьма сурово. Короли прибегали к их мастерству, а затем ссылали этих мастеров на каторгу. Такая непоследовательность объясняется непостоянством королевских прихотей. Таково уж свойство «высочайшей воли».

Кочевой промысел — что катящийся камень: он не обрастает мохом. Компрачикосы были бедны. Они могли бы сказать о себе то же, что сказала однажды изможденная, оборванная колдунья, увидев зажженный для нее костер: «Игра не стоит свеч». Очень возможно и даже вполне вероятно, что их главари, оставшиеся неизвестными и производившие торговлю детьми в крупных размерах, были богаты. Теперь, по прошествии двух столетий, трудно выяснить это обстоятельство.

Мы уже говорили, что компрачикосы были своего рода сообществом. У них были свои законы, своя присяга, свои обычаи. У них была, можно сказать, своя каббалистика. Если кому-нибудь в наши дни захотелось бы основательно познакомиться с компрачикосами, ему следовало бы съездить в Бискайю или в Галисию. Среди них было много басков, и поэтому там, в горах, и теперь еще сохранились легенды о них. Еще в наше время о компрачикосах вспоминают в Оярсуне, в

Урбистондо, в Лесо, в Астигаре. «Aguardate, nino, que voy allamar al comprachicos!»[31]

- пугают в тех местах матери своих детей.

Компрачикосы, подобно цыганам, устраивали сходбища; время от времени их вожаки собирались, чтобы посовещаться. В семнадцатом столетии у них было четыре главных пункта для таких встреч. Один — в Испании, в ущелье Панкорбо; второй — в Германии, на лесной прогалине, носившей название «Злая женщина», близ Дикирха, где находятся два загадочных барельефа, изображающих женщину с головой и мужчину без головы; третий — во Франции, на холме, где высилось колоссальное изваяние Палицы Обещания, в старинном священном лесу Борво-Томона, близ Бурбон-ле-Бена; четвертый — в Англии, за оградой сада, принадлежавшего Вильяму Челонеру, джисброускому эсквайру, в Кливленде, в графстве Йорк, между четырехугольной башней и стеной со стрельчатыми воротами.

Английские законы, направленные против бродяг, всегда отличались крайней суровостью. Казалось, в своем средневековом законодательстве Англия руководилась принципом: Homo errans fera errante pejor[32]

Один из специальных статутов характеризует человека, не имеющего постоянного местожительства, как существо более опасное, чем аспид, дракон, рысь и василиск» (atrocior aspide, dracone, lynce et basilico). Цыгане, от которых Англия хотела избавиться, долгое время причиняли ей столько же хлопот, сколько волки, которых ей удалось совсем истребить.

В этом отношении англичанин отличается от ирландца, который молится святым о здравии волка и величает его своим «крестным».

Однако английское законодательство, смотревшее, как мы только что видели, сквозь пальцы на прирученного волка, ставшего чем-то вроде собаки, относились так же терпимо к бродягам, кормящимся каким-нибудь ремеслом. Никто не преследовал ни скомороха, ни странствующего цирюльника, ни лекаря, ни разносчика, ни скитающегося алхимика, если только у них было какое-либо ремесло, доставлявшее им средства к жизни. Но и с этой оговоркой и за этими исключениями вольный человек, каким являлся каждый бродяга, уже внушал опасение закону. Всякий праздношатающийся представлял собою угрозу общественному спокойствию. Характерное для нашего времени бесцельное шатание по белу

свету было тогда явлением неизвестным: знали только существовавшее испокон веков бродяжничество. Достаточно было только иметь тот особый вид, который принято называть «подозрительным», — хотя никто не может объяснить, что значит это слово, — чтобы общество схватило такого человека за шиворот: «Где ты проживаешь? Чем занимаешься?» И если он не мог ответить на эти вопросы, его ожидало суровое наказание. Железо и огонь были средствами воздействия, предусмотренными уголовным кодексом. Закон боролся с бродяжничеством прижиганиями.

Отсюда, как прямое следствие, вытекал неписаный «закон о подозрительных лицах», применявшийся на всей английской территории к бродягам (которые, надо сознаться, легко становились преступниками) и, в частности, к цыганам, изгнание которых неосновательно сравнивали с изгнанием евреев и мавров из Испании и протестантов из Франции. Что же касается нас, мы не смешиваем облавы с гонением.

Компрачикосы, повторяем, не имели ничего общего с цыганами. Цыгане составляли определенную народность; компрачикосы же были смесью всех наций, как мы уже говорили, отбросами их, отвратительной лоханью с помоями.

Компрачикосы, в противоположность цыганам, не имели собственного наречия; их жаргон был смесью самых разнообразных наречий; они изъяснялись на каком-то тарабарском языке, заимствовавшем свои слова из всех языков. Они в конце концов сделались, подобно цыганам, племенем, кочующим среди других племен; но их связывало воедино сообщество, а не общность происхождения. Во все исторические эпохи в необъятном океане человечества можно наблюдать такие отдельные потоки вредоносных людей, распространяющие вокруг себя отраву. Цыгане составляли племя, компрачикосы же были своего рода масонским обществом; но это масонское общество не преследовало высоких целей, а занималось отвратительным промыслом. Наконец, было между ними различие и в религии. Цыгане были язычниками, компрачикосы — христианами, и даже хорошими христианами, как подобает братству, хотя и состоявшему из представителей всех народностей, но возникшему в благочестивой Испании.

Они были больше чем христианами — они были католиками, и даже больше чем католиками — они были рьяными почитателями папы. Притом они столь ревностно охраняли чистоту своей

веры, что отказались соединиться с венгерскими кочевниками из Пештского комитата, во главе которых стоял некий старец, имевший вместо жезла посох с серебряным набалдашником, украшенным двуглавым австрийским орлом. Правда, эти венгры были схизматиками и даже праздновали 27 августа успение — омерзительная ересь!

В Англии при Стюартах компрачикосы, по указанным нами причинам, пользовались некоторым покровительством властей. Иаков II, пламенный ревнитель веры, преследовавший евреев и травивший цыган, по отношению к компрачикосам был добрым государем. Мы уже знаем, почему: компрачикосы были покупателями человеческого товара, которым торговал король. Они весьма искусно устраивали внезапные исчезновения. Такие исчезновения иной раз требовались «для блага государства». Стоявший кому-нибудь поперек дороги малолетний наследник, попав к ним в руки и будучи подвергнут ими определенной операции, становился неузнаваемым. Это облегчало конфискацию имущества, это упрощало передачу родовых поместий фаворитам. Кроме того, компрачикосы были крайне сдержанны и молчаливы: обязавшись хранить безмолвие, они твердо блюли данное слово, что

совершенно необходимо в государственных делах. Почти не было примера, чтобы они выдали королевскую тайну. Правда, это соответствовало их же собственным интересам: если бы король потерял к ним доверие, им грозила бы немалая опасность. Итак, с политической точки зрения они были подспорьем власти. Сверх того, эти мастера на все руки поставляли певчих святейшему отцу. Благодаря им можно было исполнять «Miserere»[33]

Аллегри. Особенно чтили они деву Марию. Все это нравилось папистам Стюартам. Иаков II не мог неприязненно относиться к людям, благочестие которых простиралось до того, что они фабриковали кастратов для церковных капелл. В 1688 году в Англии произошла смена династии. Стюарта вытеснил принц Оранский. Место Иакова II занял Вильгельм III.

Иаков II скончался в изгнании, и на его могиле совершилось чудо: его останки исцелили от фистулы епископа Отенского — достойное воздаяние за христианские добродетели низложенного монарха.

Вильгельм Оранский, не разделявший образа мыслей Иакова II и придерживавшийся в своей деятельности других принципов, сурово отнесся

к компрачикосам. Он положил немало труда, чтобы уничтожить этот тлетворный сброд.

Статут, изданный в самом начале царствования Вильгельма III и Марии, обрушился со всей силой на сообщества компрачикосов. Это было для них жестоким ударом, от которого они уже никогда не смогли оправиться. В силу этого статута члены шайки, изобличенные в преступных действиях, подлежали клеймению: каленым железом у них выжигалась на плече буква R, что значит rogue, то есть мошенник, на левой руке — буква T, означающая thief, то есть вор, и на правой руке — буква M, означающая manslay, то есть убийца. Главари, «предположительно богатые люди, хотя с виду и нищие», подвергались collistrigium, то есть стоянию у позорного столба (pilori), и на лбу у них выжигали букву P; их имущество подлежало конфискации, а деревья в их угодьях вырубались, и пни выкорчевывались. Виновные в недоносительстве на компрачикосов карались как их сообщники конфискацией имущества и пожизненным заключением в тюрьме. Что же касается женщин, входивших в состав шаек, то они подлежали наказанию, носившему название cucking-stool, — это была своего рода западня, а самый термин образовался из соединения фран-

цузского слова coquine (непотребная женщина) и немецкого слова stuhl (стул). Английские законы отличаются необыкновенной долговечностью: в английском уголовном кодексе это наказание сохранилось еще до сих пор для «сварливых женщин». Cucking-stool подвешивают над рекой или прудом, сажают в него женщину и погружают в воду. Эта операция повторяется трижды, «чтобы охладить злобу провинившейся», как поясняет комментатор Чемберлен.

Часть первая. Ночь не так черна, как человек

1. Южная оконечность Портленда

В продолжение всего декабря 1689 года и января 1690 года на европейском материке непрерывно дул упорный северный ветер, в особенности неистовствуя в Англии. Это он вызвал те страшные по своим последствиям холода, которые сделали эту зиму «памятной для бедных», как об этом записано на полях старинной библии в пресвитерианской лондонской часовне Non Jurors[34]

Благодаря исключительной прочности старинного королевского пергамента, употреблявшегося для официальных актов, длинные списки бедняков, найденных мертвыми от голода и холода, можно еще и теперь без труда разобрать во

многих местных реестрах, особенно в приходских записях Клинк-Либерти-Корта в городке Саутворке, Пай-Паудер-Корта (что означает «Двор запыленных ног») и Уайт-Чепел-Корта в деревне Стэпней, где церковным ктитором был местный бальи. Темза стала, что случается реже одного раза в столетие, так как морские приливы препятствуют образованию на ней льда. По замерзшей реке ездили на повозках; на Темзе открылась ярмарка с палатками, с боями медведей и быков; тут же, на льду, зажарили целого быка. Такой толщины лед держался два месяца. Тяжелый 1690 год превзошел холодами даже знаменитые зимы начала семнадцатого века, тщательно изученные доктором Гедеоном Делоном, которого, как аптекаря короля Иакова I, город Лондон почтил постановкой памятника — бюста на цоколе.

Однажды вечером, к концу одного из самых морозных январских дней 1690 года, в одной из многочисленных негостеприимных бухточек Портлендского залива происходило нечто необычайное. Всполошившиеся чайки и морские гуси с криком кружились у входа в бухточку, не отваживаясь вернуться в нее.

В этой маленькой бухте, самой опасной из всех бухт залива, когда дуют некоторые ветры, а следо-

вательно, самой пустынной и наиболее удобной для судов, укрывающихся от нежелательных взоров, почти вплотную к берегу — место было глубокое — стояло небольшое суденышко, причалившее к выступу скалы. Мы делаем ошибку, говоря: «ночь опускается на землю»; следовало бы говорить: «ночь поднимается от земли», ибо темнота надвигается на небо снизу. Внизу, у подножия скалы, уже наступила ночь; вверху был еще день. Если бы кто-нибудь подошел поближе к стоявшему на причале суденышку, он узнал бы в нем бискайскую урку.

Солнце, скрывавшееся весь день в тумане, только что село. В сердце уже начинало проникать то мрачное беспокойство, которое можно было бы назвать тоской по исчезнувшему светилу.

Ветер с моря улегся, и в бухте было тихо.

Это было счастливым исключением, в особенности зимой. Доступ в большинство портлендский бухт прегражден мелями. В бурную погоду волнение в них очень сильно, и нужны немалая ловкость и опыт, чтобы благополучно довести судно до берега. Эти крошечные гавани хороши только с виду, на самом же деле они сплошь и рядом оказывают дурную услугу. Войти в них опасно, выйти — страшно. Однако в этот вечер,

вопреки обыкновению, бухта не таила в себе никакой угрозы.

Бискайская урка — старинное судно, вышедшее ныне из употребления. Этот тип судна, в свое время принесший известную пользу военному флоту, отличался крепким корпусом и по размерам соответствовал барке, а по прочности — кораблю. Урки входили в состав Армады[35]

; военные урки, правда, имели большое водоизмещение; так, «Большой грифон», капитанское судно, которым командовал Лопе де Медина, было вместимостью в шестьсот пятьдесят тонн и имело на борту сорок пушек; торговая же и контрабандистская урки были значительно меньших размеров. Моряки ценили и уважали это утлое суденышко. Тросы такелажа на нем были из пеньковых стренд, некоторые из ник — со вплетенной внутрь железной проволокой, что свидетельствовало, быть может, о намерении, хотя научно и не совсем обоснованном, обеспечить правильное действие компаса при магнитных бурях; оснастка урки состояла не только из этих тонких тросов, но и из толстых перлиней, из кабрий испанских галер и камелов римских трирем. Румпель был очень длинным: это имело то преимущество, что увеличивалась сила рычага,

но и ту дурную сторону, что уменьшался угол поворота; два шкива в двух шкивгатах на конце румпеля исправляли этот недостаток и до известной степени уменьшали потерю силы. Компас помещался в нактоузе правильной четырехугольной формы и сохранял устойчивое равновесие благодаря двум медным ободкам, вставленным один в другой и утвержденным горизонтально на маленьких стержнях, как в лампах Кардана[36]

Конструкция урки свидетельствовала о том, что строитель ее обладал известными знаниями и смекалкой; но это были знания невежды и смекалка дикаря. Урка была так же примитивна по своему устройству, как прама и пирога; она обладала устойчивостью, первой и быстроходностью второй и, подобно всем судам, созданным инстинктом пирата и рыбака, отличалась высокими мореходными качествами. Такое судно было одинаково пригодно для плавания в закрытых и открытых морях; его чрезвычайно своеобразная парусная оснастка, включавшая в себя и стакселя, позволяла ему идти тихим ходом в закрытых бухтах Астурии, напоминающих собою бассейны, как, например, Пасахес, и полным ходом в открытом море; на нем можно было совершать путешествия и по озеру и вокруг

света, — оригинальное судно, предназначенное для плавания и по спокойным водам пруда и по бурным океанским волнам. Среди кораблей урка была то же, что трясогузка среди пернатых — меньше всех и смелей всех; усевшись на камыш, трясогузка только чуть-чуть сгибает его, а вспорхнув — может перелететь через океан.

Бискайские урки, даже самые бедные, были позолочены и раскрашены. Такая татуировка совсем в духе басков, этого очаровательного, но несколько дикого народа. Чудесные краски Пиренейских гор, покрытых белым снегом и зелеными пастбищами, пробуждают в их обитателях неодолимую страсть ко всякого рода украшениям. Баски великолепны в своей нищете: над входом в их хижины намалеваны гербы; у них есть крупные ослы, которых они увешивают бубенцами, и рослые быки, которым они сооружают головной убор из перьев; их телеги, за две мили дающие знать о себе скрипом колес, всегда ярко расписаны, покрыты резьбою и убраны лентами. Над дверью башмачника — барельеф, высеченный из камня: изображение св. Крепина[37]

и башмак. Их куртки обшиты кожаным галуном, на изношенной одежде вместо заплат вышивка. Даже в минуты самого непосредствен-

ного веселья баски величавы. Они, подобно грекам, — дети солнца. В то время как сумрачный сын Валенсии набрасывает на голое тело рыжую шерстяную хламиду с отверстием для головы, жители Галисии и Бискайи наряжаются в красивые рубашки из выбеленного на росе холста. Из-за маисовых гирлянд в окнах и на порогах их хижин приветливо выглядывают белокурые головки и свежие личики. Жизнерадостная и гордая ясность духа находит свое отражение в их незамысловатом искусстве, в ремеслах, в обычаях, в нарядах их девушек, в их песнях. Каждая гора, эта исполинская растрескавшаяся лачуга, в Бискайе насквозь пронизана светом: солнечные лучи проникают во все ее расщелины. Суровый Хаискивель — сплошная идиллия. Бискайя — краса Пиренеев, как Савойя — краса Альп. В опасных бухтах, близ Сан-Себастьяна, Лесо и Фуэнтарабии, в бурную погоду, под небом, затянутым тучами, среди всплесков пены, перехлестывающей через скалы, среди яростных волн и воя ветра, среди ужаса и грохота можно увидеть лодочниц-перевозчиц в венках из роз. Кто хоть раз видел страну басков, тот захочет увидеть ее вновь. Благословенный край! Две жатвы в год, веселые, шумные деревни, горделивая бедность;

по воскресеньям целый день звон гитар, пляска, кастаньеты; любовь, опрятные светлые хижины да аисты на колокольнях.

Но возвратимся в Портленд, к неприступной морской скале.

Полуостров Портленд на карте имеет вид птичьей головы, обращенной клювом к океану, а затылком к Уэймету; перешеек кажется горлом.

В наши дни Портленд, в ущерб своей первобытной прелести, стал промышленным центром. В середине восемнадцатого века на берегах Портленда появились каменоломни и печи для обжигания гипса. С той поры из портлендского мергеля вырабатывают так называемый романский цемент — весьма полезное производство, которое обогащает страну, но уродует ландшафт. Двести лет назад скалистые берега залива подмывало только море, теперь же их разрушает рука каменолома; волна отхватывает целые пласты, кирка откалывает лишь небольшие куски; пейзаж от этого сильно проигрывает. На смену величественному разгулу океана пришел кропотливый труд человека. Этот труд совершенно уничтожил маленькую бухту, в которой стояла на причале бискайская урка. Следы этой разрушенной гавани надо искать на восточном берегу

полуострова, у самой его оконечности, по ту сторону Фолли-Пира и Дердл-Пайера, и даже дальше Уэкхема, между Черч-Хопом и Саутвелем.

Бухта, сжатая со всех сторон отвесными берегами, Превосходящими своей высотой ее ширину, с каждой минутой все больше погружалась в темноту; мутный туман, обычно подымающийся к ночи, все сгущался; становилось темно, как в глубоком колодце; узкий выход из бухты в море выделялся беловатой полоской на фоне почти ночного сумрака, оживленного мерным плеском прибоя. Только подойдя совсем близко, можно было заметить урку, причалившую к прибрежным скалам и как бы укрывшуюся огромным плащом их тени. С берегом ее соединяла доска, перекинутая с борта на низкий и плоский выступ утеса — единственное место, куда можно было поставить ногу; по этому шаткому мостику сновали во мраке черные фигуры, очевидно готовясь к отплытию.

Благодаря скале, возвышавшейся в северной части бухты; и игравшей роль заслона, здесь было теплее, чем в открытом море; тем не менее люди дрожали. Они торопились.

В сумерках очертания предметов кажутся как бы изваянными резцом. Можно было ясно

различить лохмотья, служившие одеждой отъезжающим и свидетельствовавшие о том, что их обладатели принадлежат к разряду населения, именуемого в Англии the ragged, то есть оборванцами.

На фоне скалы смутно виднелись извивы узкой тропинки. Девушка, небрежно бросающая через спинку кресла корсет, длинные шнурки которого петлями спускаются до полу, сама того не подозревая, воспроизводит извивы горных троп. К площадке, с которой была переброшена доска на судно, вела зигзагами такая тропинка, скорее пригодная для коз, чем для человека. Дороги в скалах своею, крутизной способны испугать пешехода; с них легче скатиться, чем сойти; это не спуски, а обрывы. Тропинка, о которой идет речь, по всей вероятности была ответвлением какой-нибудь дороги, пролегавшей по равнине, но шла так отвесно, что на нее страшно было смотреть. Снизу было видно, как она ползет змеей к вершине утеса, а оттуда, через обвалы и через, расщелину в скале, выбирается на выше расположенное плато. Должно быть, по этой тропе спустились и люди, которых урка ожидала в бухте.

Кроме людей, торопливо готовящихся к отплы-

тию, несомненно под влиянием страха и тревоги, в бухте никого не было; вокруг царили тишина и спокойствие. Не слышно было ни шума шагов, ни голосов, ни дуновения ветра. По ту сторону рейда, у входа в Рингстедскую бухту, можно было с трудом, разглядеть флотилию судов для ловли акул, сбившуюся, по всей видимости, с дороги. Прихотью моря эти полярные суда загнало сюда из датских вод. Северные ветры иногда подшучивают таким образом над рыбаками. Суда эти укрылись в Портлендской гавани, что было признаком надвигавшейся непогоды и опасности, угрожавшей в открытом море. Они намеревались стать на якорь. На однообразно белесом море четко выступал черный силуэт головного судна, стоявшего, по древнему обычаю норвежских флотилий, впереди остальных судов; виден был весь его такелаж, а на носу ясно можно было различить снаряды для ловли акул: всякого рода багры и гарпуны, предназначенные для охоты на seymnus glacialis, squalus acanthias и на squalus spinax niger[38]

, а также неводы для ловли крупного селаха. За исключением этих судов, теснившихся в одном углу гавани, на всем обширном горизонте Портленда не было ни живой души. Ни жилого

строения, ни корабля. Побережье в ту пору было еще необитаемо, а рейд в это время года обычно пустовал.

Однако, что бы ни сулила им погода, люди, собиравшиеся отчалить на бискайской урке, судя по всему, и не думали) откладывать свой отъезд. Они копошились на берегу и с озабоченным и растерянным видом быстро сновали взад и вперед. Отличить их друг от друга было трудно. Нельзя было и рассмотреть, стары они или молоды. Вечерние сумерки затушевывали и заволакивали их фигуры. Тень маской ложилась на лица. Во мраке вырисовывались только силуэты. Их было восемь, в том числе, вероятно, одна или две женщины, но они почти не отличались от мужчин: жалкие лохмотья, в которые все они были закутаны, не походили ни на мужскую, ни на женскую одежду. Отрепья не имеют пола.

Среди этих движущихся силуэтов был один поменьше. Он мог принадлежать карлику или ребенку.

Это был ребенок.

2. Брошенный

Присмотревшись поближе, можно было заметить следующее.

Все эти люди были в длинных плащах с капю-

шонами, рваных, в заплатах, но очень широких, закрывавших их в случае необходимости до самых глаз, одинаково защищавших и от непогоды и от любопытных взоров. Плащи эти ничуть не стесняли их быстрых движений. У большинства из них вокруг головы был повязан платок — испанский головной убор, из которого потом образовалась чалма. В Англии этот убор не был редкостью. В ту пору Юг был на Севере в моде. Быть может, это происходило оттого, что Север побеждал Юг; восторжествовав над ним, он приносил ему дань восхищения. После разгрома Армады кастильское наречие стало считаться изысканнейшим языком при дворе Елизаветы. Говорить по-английски в покоях королевы Англии было почти неприличным. Перенимать, хотя бы отчасти, нравы тех, для кого он стал законодателем, сделалось обычаем, победителя-варвара по отношению к побежденному народу более высокой культуры; монголы внимательно присматривались к китайцам и подражали им. Вот почему и кастильские моды проникали в Англию, зато английские товары проложили себе дорогу в Испанию.

Один из группы, готовившейся к отплытию, имел вид главаря. Он был обут в альпаргатьи;

его рваная одежда была разукрашена золотым галуном, а жилет, расшитый крупными блестками, отсвечивал из-под плаща, как рыбье брюхо. У другого широкополая шляпа, вроде сомбреро, была надвинута на самые глаза. В шляпе не было обычного отверстия для трубки; это указывало, что владелец ее — человек ученый.

Куртка взрослого человека может служить для ребенка плащом; по этой причине ребенок был закутан поверх отрепьев в матросскую парусиновую куртку, доходившую ему до колен. Судя по росту, это был мальчик лет десяти — одиннадцати. Он был бос.

Экипаж урки состоял из владельца судна и двух матросов.

Урка, по всей вероятности, пришла из Испании и возвращалась туда же. Совершая рейсы между двумя берегами, она, несомненно, выполняла какое-то тайное дело.

Люди, собиравшиеся отплыть на ней, переговаривались между собой шепотом.

Изъяснялись они на какой-то сложной смеси наречий. То слышалось испанское слово, то немецкое, то французское, порою — валлийское, порою — баскское. Это был язык простонародья, если не воровской жаргон.

Казалось, они принадлежали к разным нациям, но были членами одной шайки.

Экипаж судна, по всей видимости, состоял из их сообщников; и он принимал живое участие в приготовлениях к отплытию.

Этот разношерстный сброд можно было принять и за тесную приятельскую компанию и за шайку соумышленников.

Будь немного посветлее, можно было бы, вглядевшись пристальней, заметить на этих людях четки и ладанки, наполовину скрытые лохмотьями. На одной из этих фигур, в которой угадывалась женщина, четки почти не уступали величиною зерен четкам дервиша; в них нетрудно было узнать ирландские четки, какие носят в Ланимтефри, называемом также Ланандифри.

Если бы не было так темно, можно было бы также увидеть на носу урки позолоченную статую богородицы с младенцем на руках. Это была, вероятно, баскская мадонна, нечто вроде панагии древних кантабров[39]

Под этой фигурой, заменявшей обычное скульптурное украшение на носу корабля, висел фонарь, в эту минуту не зажженный: предосторожность, свидетельствовавшая о том, что эти люди хотели укрыться от посторонних взоров. Фонарь,

вероятно, имел двойное назначение: когда его зажигали, он горел вместо свечи перед изображением богоматери и в то же время освещал море, — он одновременно был судовым фонарем и церковным светильником.

Длинный, изогнутый и острый водорез, начинавшийся сразу под бушпритом, полумесяцем выдавался вперед. В самом верху водореза, у ног богородицы, прислонившись к форштевню, стоял коленопреклоненный ангел со сложенными крыльями и смотрел на горизонт в подзорную трубу. Ангел был позолочен, так же как и богоматерь.

В водорезе были проделаны отверстия и просветы, через которые проходила ударявшая волна; это было еще одним поводом украсить его позолотой и арабесками.

Под изображением богородицы прописными золотыми буквами было выведено название судна: «Матутина», но его в эту минуту нельзя было прочесть из-за темноты.

У подножия утеса, сваленный как попало, лежал груз, который увозили с собою эти люди; по доске, служившей сходней, они быстро переправляли его с берега на судно. Мешки с сухарями, бочонок соленой трески, ящик с сухим бульоном, три бочки — одна с пресной водой,

другая с солодом и третья со смолой, четыре или пять больших бутылей эля, старый, затянутый ремнями дорожный мешок, сундуки, баулы, тюк пакли для факелов и световых сигналов — таков был этот груз. У оборванцев были чемоданы, и это указывало на то, что они вели кочевой образ жизни. Бродяги вынуждены иметь кое-какой скарб; они порою и рады бы упорхнуть, как птицы, но не могут сделать этого, чтобы не остаться без средств к пропитанию. Каков бы ни был их кочевой промысел, им необходимо всюду таскать с собой орудия своего ремесла. И эти люди тоже не могли расстаться со своими пожитками, уже не однажды служившими им помехой.

Им, вероятно, нелегко было спустить ночью свой скарб к подножию скалы. Однако-они спустили его, что доказывало решение немедленно покинуть эти края.

Они не теряли времени: шло беспрерывное движение с судна на берег и с берега на судно; все принимали участие в погрузке; один тащил мешок, другой ящик. Женщины — если они здесь были (об этом можно было только догадываться) — работали как и все остальные. Ребенка обременяли непосильной ношей.

Сомнительно, чтобы у ребенка были среди этих

людей отец и мать. Никто к нему не обращался. Его заставляли работать — я только. Он производил впечатление не ребенка в своей семье, а раба среди чуждого ему племени. Он помогал всем, но никто с ним не заговаривал.

Впрочем, он тоже торопился и, подобно всей темной шайке, к которой он принадлежал, казалось, был поглощен одною только мыслью — поскорее уехать. Отдавал ли ребенок себе отчет в происходившем? Вероятно, нет. Он торопился бессознательно, видя, как торопятся другие.

Урка была палубным судном. Всю кладь быстро уложили в трюм, пора было выходить в открытое море. Последний ящик был уже поднят на палубу, оставалось только погрузить людей. Двое из них, чем-то напоминавшие женщин, уже были на борту; шестеро же, в том числе и ребенок, находились еще на нижнем уступе скалы. На судне началась суета, предшествующая отплытию; владелец урки взялся за руль, один из матросов схватил топор, чтобы обрубить причальный канат. Рубить канат — признак спешки: когда есть время, канат отвязывают. «Andamos»[40]

, - вполголоса произнес один из шести, одетый в лохмотья с блестками и казавшийся главарем. Ребенок стремительно кинулся к доске, чтобы

взбежать первым. Но не успел он поставить на нее ногу, как к доске ринулись двое мужчин, едва не сбросив его в воду; за ними, отстранив ребенка плечом, прыгнул третий, четвертый оттолкнул его кулаком и последовал за третьим, пятый — это был главарь — одним прыжком очутился на борту и каблуком спихнул доску в воду; взмахнув топором, обрубили причал, руль повернулся, судно отчалило от берега — и ребенок остался на суше.

3. Один

Ребенок замер на скале, пристально глядя им вслед. Он даже не крикнул. Никого не позвал на помощь. Все, что произошло, было неожиданностью для него, но он не проронил ни звука. На корабле тоже царило молчание. Ни единого вопля не вырвалось у ребенка вслед этим людям, ни одного слова не сказали эти люди ему на прощанье. Обе стороны молча мирились с тем, что расстояние между ними возрастало с каждой минутой. Это напоминало расставание теней на берегу подземной реки Стикса[41]

Ребенок, словно пригвожденный к скале, которую уже начал омывать прилив, смотрел на удалявшееся судно. Можно было подумать, что он понимает. Что именно? Что понимал он? Не-

постижимое.

Мгновение спустя урка достигла пролива, служившего выходом из бухты, и вошла в него. На светлом фоне неба над раздавшимися скалистыми массивами, между которыми, как между двумя стенами, извивался пролив, еще виднелась верхушка мачты. Некоторое время она скользила над скалами, затем, точно врезавшись в них, совершенно пропала из виду. Все было кончено. Урка вышла в море.

Ребенок следил за ее исчезновением.

Он был удивлен, он что-то обдумывал.

К чувству недоумения, которое он испытывал, присоединялось какое-то мрачное сознание действительности. Казалось, это существо, лишь недавно вступившее в жизнь, уже обладает каким-то опытом. Быть может, в нем уже пробуждался судья? Иногда, под влиянием слишком ранних испытаний, в тайниках детской души возникает нечто вроде весов, грозных весов, на которых эта беспомощная детская душа взвешивает деяния бога.

Не сознавая за собой никакой вины, он безропотно принял совершившееся. Ни малейшей жалобы. Безупречный не упрекает.

Неожиданное изгнание, которому его под-

вергли, не вызвало у него ни одного движения. Внутренне он словно окаменел. Но ребенок не склонился под неожиданным ударом судьбы, как будто желавшей положить конец его существованию на самой заре его жизни. Он мужественно вынес этот удар.

Всякому, кто увидел бы его изумление, в котором не было ничего общего с отчаянием, стало бы ясно, что среди этих бросивших его людей никто не любил его и никто не был им любим.

Погруженный в раздумье, он забыл про стужу. Вдруг волной ему залило ноги: нарастал прилив; холодное дыхание коснулось его волос; поднимался северный ветер. Он вздрогнул. Дрожь охватила его с ног до головы — он очнулся.

Он посмотрел вокруг.

Он был один.

До этого дня для него во всем мире не существовало других людей, кроме тех, которые в эту минуту находились на урке. Эти люди только что скрылись.

Добавим, что, как это ни странно, единственные люди, которых он знал, были ему неизвестны.

Он не мог бы сказать, кто они такие.

Его детство протекло среди них, но он не сознавал себя принадлежащим к их среде. Он жил бок

о бок с ними, только и всего.

Теперь они покинули его.

У него не было ни денег, ни обуви, лохмотья едва прикрывали его тело, в кармане не было ни куска хлеба.

Стояла зима. Был вечер. Чтобы добраться до человеческого жилья, надо было пройти несколько лье.

Ребенок не знал, где он.

Он ничего не знал, кроме того, что люди, пришедшие с ним на берег моря, уехали без него.

Он почувствовал себя выброшенным из жизни.

Он почувствовал, что теряет мужество.

Ему было десять лет.

Ребенок был в пустыне, между бездной, откуда поднималась ночь, и бездной, откуда доносился рокот волн.

Он поднял худые ручонки, потянулся и зевнул.

Затем резким движением, как человек, сделавший окончательный выбор, он вдруг стряхнул с себя оцепенение и с проворством белки или, быть может, клоуна повернулся спиной к бухте и смело стал карабкаться вверх по скале. Он стал взбираться по тропинке, потом сошел с нее, но снова на нее вернулся, полный решимости. Он

торопился теперь уйти отсюда. Можно было подумать, что у него есть определенное намерение. Между тем он сам не знал, куда идет.

Он спешил без цели; это было какое-то бегство от судьбы.

Человеку свойственно подниматься, животному — карабкаться; он и поднимался и карабкался. Портлендские скалы своими отвесными склонами обращены к югу, и на тропинках почти совсем не было снега. Однако сильный мороз превратил и этот снег в ледяную пыль, идти было очень скользко. Но ребенок продолжал идти. Надетая на нем куртка взрослого человека была ему слишком широка и стесняла движения. Он часто натыкался на обледенелые бугры или попадал в расщелины утеса и падал. Иногда он несколько мгновений висел над пропастью, уцепившись за сухую ветку или за выступ скалы. Один раз он ступил на жилу крапчатого мрамора, который внезапно осыпался под ним, увлекая его за собой. Такие обвалы довольно опасны. Несколько секунд ребенок скользил вниз, как черепица по крыше; он скатился до самого края пропасти и спасся только тем, что во-время ухватился за кустик сухой травы. Он не вскрикнул при виде бездны, как не вскрикнул, увидев, что люди бро-

сили его; он собрался с силами и снова молча стал карабкаться вверх. Склон был очень высок. Ребенку еще не раз пришлось преодолевать такие препятствия. В темноте пропасть казалась бездонной. Отвесной скале не было конца. Она как будто все отступала, исчезая где-то вверху. По мере того как он поднимался, утес, казалось, вырастал. Продолжая карабкаться, ребенок вглядывался в черный карниз, точно преграда стоявший между ним и небом. Наконец он достиг вершины.

Он прыгнул на площадку. Можно было бы сказать: он ступил на землю, ибо он выбрался из бездны.

Едва он очутился наверху, как его охватила дрожь. Точно острое жало ночи, почувствовал он на своем лице ледяное дыхание зимы. Дул резкий северо-западный ветер. Ребенок плотнее запахнул на груди парусиновую матросскую куртку.

Это была хорошая, плотная одежда. Моряки называют ее «непромокайкой», потому что такая куртка не боится дождей.

Добравшись до верхней площадки, ребенок остановился; он твердо стал босыми ногами на мерзлую почву и оглянулся вокруг.

Позади него — море, впереди — земля, над го-

ловою — небо.

Но небо было беззвездно. Густой туман скрывал от глаз небесный свод.

С вершины утеса он увидел перед собою землю и стал всматриваться в даль. Перед ним расстилалось бескрайное, плоское и обледенелое, покрытое снегом плоскогорье. Кое-где вздрагивали на ветру кустики вереска. Ни следа дороги. Ничего. Не было даже хижины пастуха. В нескольких местах кружились беловатые спирали снежной пыли, вихрем уносившейся ввысь. Волнообразная гряда холмов, пропадая в тумане, сливалась с горизонтом. Огромная голая равнина исчезала в белесой мгле. Глубокое безмолвие. Все вокруг казалось беспредельным и молчало, как могила.

Ребенок обернулся к морю.

Море, как и земля, было сплошь белое: земля — от снега, море — от пены. Трудно представить себе что-либо более печальное, чем отсветы, порожденные этой двойной белизной. Иногда световые эффекты ночного пейзажа отличаются замечательной определенностью: море казалось стальным, утесы — изваянными из черного дерева.

С высоты, где находился ребенок, Портлендский залив, тускло мерцавший среди полукружия

утесов, имел почти тот же вид, что и на географической карте; было нечто фантастическое в этой ночной картине; это напоминало серп луны, кажущийся иногда темнее, чем, охватываемый им округлый клочок неба. На всем берегу, от одного мыса до другого, не было ни одного огонька, указывающего на близость горящего очага, ни одного освещенного окна, ни одного человеческого жилища. Густая тьма и на земле и на небе; ни одного светильника внизу, ни одной звезды наверху. Кое-где широкая гладь залива внезапно вздымалась волнами. Ветер возмущал и морщил эту водную пелену. В заливе была еще видна уходившая на всех парусах урка.

Теперь это был черный треугольник, скользивший по бледно-свинцовой поверхности.

Вдали, в зловещем полумраке беспредельности, волновалось водное пространство.

«Матутина» быстро убегала. Она уменьшалась с каждой минутой. Нет ничего быстрее исчезновения судна в морской дали. Вскоре на носу урки зажегся фонарь; вероятно, сгущавшаяся вокруг нее темнота побудила кормчего осветить волны. Эта блестящая точка, мерцание которой заметно было издалека, сообщала что-то зловещее высокому и длинному силуэту судна. Оно было похоже

на блуждающее по морю привидение в саване, со звездою в руке.

В воздухе чувствовалось приближение бури. Ребенок не отдавал себе в этом отчета, но будь на его месте моряк, он содрогнулся бы. Это была минута того тревожного предчувствия, когда кажется, будто стихии станут сейчас живыми существами и на наших глазах произойдет таинственное превращение ветра в ураган. Море разольется в океан, слепые силы природы преобразятся в волю, и то, что мы принимаем за вещь, окажется наделенным душою. Кажется, что все это предстоит увидеть воочию. Вот чем объясняется наш ужас. Душа человека страшится встречи с душою вселенной.

Еще минута — и все будет объято хаосом. Ветер, разгоняя туман и нагромождая на заднем плане тучи, устанавливал декорации ужасной драмы, действующими лицами которой являются морские волны, и зима и которая называется снежной бурей.

4. Вопросы

Что же это была за шайка, которая, бросив ребенка, спасалась бегством?

Быть может, то были компрачикосы?

Выше мы обстоятельно изложили, какие ме-

ры принимались Вильгельмом III с одобрения парламента против преступников обоего пола, именуемых компрачикосами, компрапекеньосами и чейласами.

Некоторые законодательные акты вызывают настоящую панику. Закон, направленный против компрачикосов, обратил в повальное бегство не только их самих, но и всякого рода бродяг. Они наперебой спешили скрыться и покинуть берега Англии. Большинство компрачикосов вернулись в Испанию. Среди них, как мы уже упоминали, было много басков.

Закон, взявший на себя защиту детей, имел на первых порах довольно странные последствия: сразу же возросло число брошенных детей.

Немедленно после обнародования этого уголовного статута появилось много найденышей, то есть подкинутых детей. Дело объяснялось крайне просто. Всякая бродячая шайка, в которой был ребенок, навлекала на себя подозрений; уже самый факт наличия ребенка в ее среде становился уликой против нее. «Это, по всей вероятности, компрачикосы» — такова была первая мысль, приходившая в голову шерифу, прево, констеблю. Затем начинались аресты и допросы. Обыкновенные нищие, которых нужда заставляла скитаться

и просить подаяния, дрожали от страха, что их могут принять за компрачикосов, хотя они не имели с ними ничего общего; но бедняк никогда не огражден от возможных ошибок правосудия. Кроме того, бродячие семьи живут в постоянной тревоге. Компрачикосов обвиняли в том, что они промышляют покупкой и продажей чужих детей. Но нищета и сопряженные с нею бедствия создают иногда условия, при которых отцу и матери бывает трудно доказать, что ребенок, находящийся при них, — их родное дитя. Откуда у вас этот ребенок? Как доказать, что он — твой? Иметь при себе ребенка становилось опасно; от него старались отделаться. Бежать без него было много легче. Взвесив все, отец и мать оставляли ребенка в лесу или на берегу моря, а то и просто бросали его в колодец.

В водоемах находили утопленных детей.

Прибавим, что компрачикосов, по примеру Англии, стали преследовать по всей Европе. Первый толчок к гонению на них был дан. Во всяком деле главное — почин. Теперь полиция всех стран стала состязаться в погоне за компрачикосами, и испанские альгвазилы выслеживали их с не меньшим рвением, чем английские констебли. Всего двадцать три года назад можно было прочи-

тать на камне у ворот Отеро неудобопереводимую надпись — закон в выборе выражений не стесняется, — из которой явствовало, что в отношении кары между покупателями и похитителями детей проводилась резкая грань. Вот эта надпись на несколько варварском кастильском наречии: «Aqui quedan las orejas de los comprachicos, y las bolsas de los robaninos, mientras que se van ellos al trabajo de mar».

Мы видим, что отрезание ушей и прочее отнюдь не избавляло от ссылки на галеры. Такие меры вызвали паническое бегство всякого рода бродяг. Они удирали в испуге и добирались до места, дрожа от страха. На всем побережье Европы прибывающих беглецов выслеживала полиция. Ни одна шайка не желала везти с собой ребенка, потому что высадиться с ним был делом опасным.

Гораздо легче было сбыть ребенка с рук.

Кем же был покинут ребенок, которого мы только что видели на сумрачном пустынном берегу Портленда?

Судя по всему, компрачикосами.

5. Дерево, изобретенное людьми

Было, вероятно, около семи часов вечера. Ветер убывал — признак того, что он скоро должен был

снова усилиться. Ребенок находился на краю плоскогорья южной оконечности Портленда.

Портленд — полуостров. Но ребенок не знал, что такое полуостров, и даже не слыхал слова «Портленд». Он знал только одно: что можно идти до тех пор, пока не свалишься. Представление об окружающем служит нам вожатым; у ребенка не было этого представления. Они привели его сюда и бросили здесь. «Они» и «здесь» — в этих двух загадочных словах заключалась вся его судьба: «они» — это был весь человеческий род, «здесь» — вся вселенная. Здесь, в этом мире, у него не было никакой иной точки опоры, кроме клочка земли, по которому ступали теперь его босые ноги, — такой каменистой и такой холодной земли. Что ожидало этого ребенка в огромном сумрачном мире, открытом всем ветрам? Ничто.

Он шел навстречу этому Ничто.

Вокруг него простирались безлюдные места. Вокруг него простиралась пустыня.

Он пересек по диагонали первую площадку, затем вторую, третью… В конце каждой площадки ребенок наталкивался на обрыв; спуск бывал иногда очень крутым, но всегда коротким. Высокие голые равнины оконечности Портленда похожи на огромные плиты, наполовину налегающие

одна на другую, подобно ступеням лестницы; южным краем каждая площадка плоскогорья как бы уходила под верхнюю равнину, возвышаясь северным краем над нижней. Эти уступы ребенок преодолевал без труда. Время от времени он замедлял шаг и, казалось, советовался сам с собою. Становилось все темнее, пространство, на котором можно было что-то различить, все сокращалось, и ребенок теперь мог видеть только в нескольких шагах от себя.

Вдруг он остановился, на минуту прислушался, еле заметно с удовлетворением, кивнул головой, быстро повернулся и направился к небольшой возвышенности, смутно вырисовывавшейся справа, в том конце равнины, который примыкал к скале. На этой возвышенности виднелись смутные очертания чего-то, казавшегося в тумане деревом. Оттуда и слышал он только что шум, не похожий ни на шум ветра, ни на шум моря. Это не был также и крик животного. Ребенок решил, что там кто-то есть.

Сделав несколько шагов, он очутился у подножия холма.

Там действительно кто-то был.

То, что издали смутно виднелось на вершине холма, теперь вырисовывалось вполне отчет-

ливо.

Это было нечто, похожее на огромную руку, торчавшую прямо из земли. Кисть руки была согнута в горизонтальном направлении, и вытянутый вперед указательный палец подпирался снизу большим. Мнимая рука с указательным и большим пальцами приняла на фоне неба очертания угломера. От того места, где соединялись эти странные пальцы, свешивалось что-то вроде веревки, на которой болтался какой-то черный бесформенный предмет. Веревка, раскачиваемая ветром, издавала звук, напоминавший звон цепей.

Этот звук и слышал ребенок.

Вблизи веревка оказалась цепью, как и можно было предположить по ее лязгу, — корабельной цепью из крупных стальных звеньев.

В силу таинственного закона слияния впечатлений, который во всей природе как бы наслаивает кажущееся на действительное, все здесь — место, время, туман, мрачное море, смутные образы, возникавшие на самом краю горизонта, — сочеталось с этим силуэтом и сообщало ему чудовищные размеры.

Бесформенный предмет, висевший на цепи, имел сходство с футляром. Он был спеленут, как

младенец, но длиною равнялся росту взрослого человека. В верхней части его виднелось что-то круглое, вокруг чего обвивался конец цепи. Внизу футляр был разодран, и из него торчали лишенные мяса кости.

Легкий ветерок колыхал цепь, и то, что висело на ней, тихо покачивалось из стороны в сторону. Эта безжизненная масса подчинялась малейшим колебаниям воздуха; в ней было нечто, внушавшее панический страх; ужас, обычно изменяющий действительные пропорции предмета, скрадывал его истинные размеры, сохраняя лишь его контуры; это был сгусток мрака, принявший какие-то очертания; тьма была кругом, тьма была внутри; она вобрала в себя нараставшую вокруг нее могильную жуть; сумерки, восходы луны, исчезновения созвездий за утесами, сдвиги воздушных пространств, тучи, роза ветров — все в конце концов вошло в состав этого призрака; этот обрубок, висевший в воздухе, своим безличием походил на морскую даль и на небо, и мрак поглощал последние черты того, что было некогда человеком.

Это было нечто, ставшее ничем.

Превратиться в останки — для обозначения этого состояния в человеческом языке нет надле-

жащих слов. Не жить и вместе с тем продолжать существовать, находиться в бездне и в то же время вне ее, умереть и не быть поглощенным смертью — во всем этом, несмотря на несомненную реальность, есть что-то неестественное и потому невыразимое. Это существо — можно ли было назвать его существом? — этот черный призрак был останками, и притом останками ужасающими. Останками чего? Прежде всего природы, а затем общества. Это было ничто и все.

Он находился здесь во власти безжалостных стихий. Глубокое забвение пустыни окружало его. Он был оставлен на произвол неведомого. Он был беззащитен против мрака, который делал с ним все, что хотел. Он должен был терпеть все. И он терпел. Ураганы обрушивались на него. Мрачная задача, выполняемая ветрами!

Этот призрак был здесь добычей всех разрушительных сил. Его обрекали на чудовищную участь — разлагаться на открытом воздухе. Для него не существовало закона погребения. Он подвергся уничтожению, но не обрел вечного покоя. Летом он покрывался слоем, пыли, осенью обрастал корою грязи. Смерть должна быть прикрыта покровом, могила — стыдливостью. Здесь не было стыдливости, не было покрова.

Гниение, цинично открытое взору каждого. Есть что-то бесстыдное в зрелище смерти, орудующей на глазах у всех. Она наносит оскорбление безмятежному спокойствию небытия, работая вне своей лаборатории — вне могилы.

Этот труп был выпотрошен. В его костях уже не было мозга, в его животе не было внутренностей, в его гортани не было голоса. Труп — это карман, который смерть выворачивает наизнанку и вытряхивает. Если у него когда-либо было свое «я», где оно было теперь? Быть может, еще здесь, — страшно подумать. Что-то, витающее вокруг чего-то, прикованного к цепи. Можно ли представить себе во мраке образ более скорбный?

На земле существуют явления, открывающие какой-то доступ к неведомому; мысль ищет выхода в этом направлении, и сюда же устремляется гипотеза. Догадка имеет свое compelle intrare[42]

В иных местах и перед иными предметами мы невольно останавливаемся в раздумье и пытаемся проникнуть в их сущность. Иногда мы наталкиваемся на полуоткрытую неосвещенную дверь в неведомый мир. Кого не навел бы на размышления вид этого мертвеца?

Огромная сила распада бесшумно подтачивала этот труп. В нем была кровь — ее выпили, на

нем была кожа — ее изглодали, было мясо — его растащили по кускам. Ничто не прошло мимо, не взяв у него чего-нибудь. Декабрь позаимствовал у него холод его тела, полночь — ужас, железо — ржавчину, чума — миазмы, цветок — запахи. Его медленное разложение было пошлиной, которую труп платил шквалу, дождю, росе, пресмыкающимся, птицам. Все темные руки ночи обшарили этого мертвеца.

Это был странный обитатель ночи. Он находился на холме посреди равнины, и в то же время его там не было. Он был доступен осязанию и вместе с тем не существовал. Он был тенью, дополнявшей ночную тьму. Когда угасал дневной свет, он зловеще сливался со всем окружающим в беспредельном безмолвии ночи. Одно его присутствие здесь усиливало мрачную ярость бури и спокойствие звезд. Все то невыразимое, что есть в пустыне, было, как в фокусе, сосредоточено в нем. Жертва неведомого рока, он усугублял собою угрюмое молчание ночи. Его тайна смутно отражала в себе все, что есть загадочного в мире.

Близ него чувствовалось как бы убывание жизни, уходящей куда-то в бездну. Все в окружавшем его пространстве утрачивало постепенно спокойствие и уверенность в себе. Трепет кустарников и

трав, безнадежная грусть, мучительная тревога, которая, казалось, находила свое оправдание, — все это трагически сближало пейзаж с черной фигурой, висевшей на цепи. Присутствие призрака в поле зрения отягчает одиночество.

Он был лишь призраком. Колеблемый никогда не утихавшими ветрами, он был неумолим. Вечная дрожь делала его ужасным. Он казался — страшно вымолвить — средоточием окружавшего пространства и служил опорой чему-то необъятному. Чему? Как знать? Быть может, той неясно сознаваемой и оскорбляемой нами справедливости, которая выше нашего правосудия. В его пребывании вне могилы была месть людей и его собственная месть. В этой сумрачной пустыне он выступал как грозный свидетель. Для того чтобы мертвая материя вызывала в нас тревогу, она в свое время должна была быть одухотворена. Он обличал закон земной перед лицом закона небесного. Повешенный здесь людьми, он ожидал бога. Над ним, принимая расплывчато-извилистые очертания туч и волн, реяли исполинские видения мрака.

За этим призраком стояла какая-то непроницаемая, роковая преграда. Этого мертвеца окружала беспредельность, не оживляемая ничем — ни

деревом, ни кровлей, ни прохожим. Когда перед нашим взором смутно возникают тайны бытия — небо, бездна, жизнь, могила, вечность, — в такие мгновения все ощущается нами как нечто недоступное, запретное, огражденное от нас стеной. Когда разверзается бесконечность, все двери в мир оказываются запертыми.

6. Битва смерти с ночью

Ребенок стоял перед темным силуэтом, безмолвно, удивленно, пристально глядя на него.

Для взрослого человека это была бы виселица, для ребенка это было привидение. Там, где взрослый увидел бы труп, ребенок видел призрак.

Он ничего не понимал.

Бездна таит в себе все разновидности приманок; одна из них находилась на вершине этого холма. Ребенок сделал шаг, другой. Он стал взбираться выше, испытывая желание спуститься, и приблизился, желая отступить назад.

Весь дрожа, он в то же время решительно подошел к самой виселице, чтобы получше рассмотреть призрак. Очутившись под виселицей, он поднял голову и стал внимательно разглядывать его.

Призрак был покрыт смолою и местами блестел. Ребенок различал черты лица. Оно тоже

было обмазано смолою, и эта маска, казавшаяся липкой и вязкой, четко выступала в сумраке ночи. Ребенок видел дыру на том месте, где прежде был рот, дыру на месте носа и две черных ямы на месте глаз. Тело было как бы запеленуто в грубый холст, пропитанный нефтью. Ткань истлела и расползлась. В одном месте обнажилось колено. В другом видны были ребра. Одни части тела были еще трупом; другие уже стали скелетом. Лицо было цвета чернозема, ползавшие по нему слизняки оставили на нем тусклые серебристые полосы. Под холстом, прилипшим к костям, обрисовывались выпуклости, как под платьем на статуе. Череп треснул и, распавшись на две половины, напоминал собою гнилой плод. Зубы остались целы и скалились в подобии смеха. В зияющей дыре рта, казалось, замер последний крик. На щеках можно было заметить несколько волосков бороды. Голова, наклоненная вниз, как будто к чему-то прислушивалась.

Его, невидимому, недавно подновляли. Лицо было заново вымазано смолой, так же как и выступавшие из прорех колено и ребра. Внизу из-под холста торчали обглоданные ступни. Прямо под ними, в траве, видны были два башмака, утратившие от снега и дождей всякую форму.

Они свалились с ног мертвеца.

Босой ребенок смотрел на эти башмаки.

Ветер, становившийся все резче и резче, иногда внезапно спадал, как будто собирался с силами, чтобы разразиться бурей; на несколько минут он даже совсем стих. Труп уже не качался. Цепь висела неподвижно, как шнурок отвеса с гирькой на конце.

Как у всякого существа, только что вступившего в жизнь, но отдающего себе отчет в своей тяжкой участи, у ребенка, несомненно, начиналось пробуждение мучительных мыслей — мыслей еще неясных, детских, но уже стучащих в мозг, подобно птичьему клюву, долбящему скорлупу яйца; но все, чем в эту минуту было полно его младенческое сознание, повергало его лишь в оцепенение. Как излишек масла гасит огонь, так избыток ощущений гасит мысль. Взрослый задал бы себе тысячу вопросов, ребенок только смотрел.

Обмазанное смолой лицо мертвеца казалось мокрым. Капли смолы, застывшие в пустых глазницах, были похожи на слезы. Однако смола значительно замедляла разложение трупа: разрушительная работа смерти была задержана, насколько это оказалось возможным. То, что

ребенок видел перед собой, было предметом, о котором заботились. По-видимому, человек этот представлял какую-то ценность. Его не захотели оставить в живых, но старались сохранить мертвым. Виселица была старая, вся в червоточинах, но прочная и стояла здесь уже давно.

В Англии с незапамятных времен существовал обычай смолить контрабандистов. Их вешали на берегу моря, обмазывали смолой и оставляли висеть; преступника, в назидание прочим, следует подвергать казни у всех на виду, и если его просмолить, он на долгие годы будет служить острасткой. Трупы смолили из чувства человеколюбия, полагая, что благодаря этому можно будет реже обновлять виселицы. Виселицы расставляли на берегу на определенном расстоянии одна от другой, как ставят в наше время фонари. Повешенный заменял собою фонарь. Он по-своему светил своим сотоварищам-контрабандистам. Контрабандисты издали, еще находясь в море, замечали виселицы. Вот одна — первое предостережение, а там другая — второе предостережение. Это нисколько не мешало им заниматься контрабандой, но таков порядок. Этот обычай продержался в Англии до начала нашего столетия. Еще в 1822 году перед Дуврским замком

можно было видеть трех повешенных, облитых смолой. Впрочем, такой способ сохранения трупа преступника применялся не к одним только контрабандистам. Англия пользовалась им также по отношению к ворам, поджигателям и убийцам. Джон Пейнтер, совершивший поджог морских складов в Портсмуте, был в 1776 году повешен и засмолен. Аббат Койе, называющий Джона Пейнтера Jean le Peintre (Жаном Живописцем), видел его вторично в 1777 году. Джон Пейнтер висел на цепи над развалинами сожженных им складов, в время от времени его снова покрывали смолой. Этот труп провисел, — можно бы сказать, прожил, — почти четырнадцать лет. Еще в 1788 году он служил правосудию. Однако в 1790 году его пришлось заменить новым. Египтяне чтили мумии своих фараонов; оказывается, мумия простого смертного также может быть полезной.

Ветер, с особенной силой разгулявшийся на холме, смел с него весь снег. Во многих местах виднелась трава, кое-где выглядывал чертополох. Холм был одет тем густым и низким приморским дерном, благодаря которому вершины скал кажутся покрытыми зеленым сукном. Только под виселицей, под самыми ногами казненного, росла высокая густая трава — явление неожидан-

ное на этой бесплодной почве. Объяснялось это тем, что тела повешенных разлагались здесь на протяжении нескольких веков. Земля питается прахом человека.

Какие-то мрачные чары удерживали ребенка на холме. Он стоял на месте как вкопанный. Один только раз он наклонил голову: крапива больно обожгла ему ноги, и он принял это за укус животного. Затем он выпрямился и, закинув голову, снова стал смотреть прямо в лицо повешенному, который тоже смотрел на него. У мертвеца не было глаз, и потому казалось, что он смотрит особенно пристально. Это был взгляд рассеянный и вместе с тем невыразимо сосредоточенный; в нем были свет и мрак; он исходил из черепа, из оскала зубов, из черных впадин пустых глазниц. Вся голова мертвеца — сплошной взор, и это страшно. Зрачков нет, но мы чувствуем на себе их взгляд, жуткий взгляд привидения.

Постепенно ребенок сам становился страшен. Он больше не шевелился, как будто оцепенел. Он не замечал, что уже теряет сознание. Он коченел, замерзал. Зима безмолвно предавала его ночи; в зиме есть что-то вероломное. Дитя превратилось почти в изваяние. Каменный холод проникал в его кости; мрак, это пресмыкающееся, заползал в

него. Дремота, исходящая от снега, подкрадывается к человеку, как морской прилив; ребенком медленно овладевала неподвижность, напоминавшая неподвижность трупа. Он засыпал.

На руке сна есть перст смерти.

Ребенок чувствовал, как его хватает эта рука. Он был близок к тому, чтобы упасть под виселицей. Он уже не сознавал, стоит он на ногах или нет.

Неизбежность конца, мгновенный переход от бытия к небытию, зияющий вход в горнило испытаний, возможность в каждое мгновение скатиться в бездну — таково человеческое существование.

Еще минута — и ребенок и мертвец, жизнь, едва зародившаяся, и жизнь, уже угасшая, должны были слиться в общем уничтожении.

Казалось, призрак понял это и не хотел этого. Он вдруг зашевелился, словно предупреждая ребенка. Это был просто новый порыв ветра.

Трудно представить себе что-либо более ужасное, чем этот качающийся покойник.

Подвешенный на цепи труп, колеблемый невидимым дуновением ветра, принимал наклонное положение, поднимался влево, возвращался на прежнее место, поднимался вправо, падал и снова взлетал мерно и угрюмо, как язык колокола.

Зловещее движение взад и вперед. Казалось, качается во тьме ночи маятник часов самой вечности.

Так продолжалось какое-то время. Увидев, что мертвец движется, ребенок очнулся от столбняка, почувствовал страх. Цепь при каждом колебании поскрипывала с чудовищной размеренностью, словно переводила дыхание. Этот звук напоминал стрекотание кузнечика.

Приближение бури вызывает внезапный напор ветра. Ветер вдруг перешел в ураган. Труп задвигался еще порывистее. Это было уже не раскачивание, а резкая встряска. Скрип цепи сменился пронзительным лязгом.

Звук этот, невидимому, был услышан. Если это был призыв, то ему повиновались. Издали, с горизонта, донесся какой-то шум.

То был шум крыльев.

Слеталась стая воронов, как это часто бывает на кладбищах и пустырях, в особенности перед грозой.

Черные летящие точки пробились сквозь тучу, преодолели завесу тумана, приблизились, стали больше, сгрудились, сплотились и с неистовым криком бросились к холму. Это было подобно наступлению легиона. Крылатая нечисть ночи

усеяла всю виселицу.

Ребенок в испуге отступил.

Стаи повинуются команде. Вороны кучками расселись на виселице. Ни один не спустился на мертвое тело. Они перекликались между собою. Карканье воронов вселяет страх. Вой, свист, рев — это голоса жизни, карканье же — радостное приятие тления. В нем чудится звук потревоженного безмолвия гробницы. Карканье — голос ночной тьмы. Ребенок весь похолодел не столько от стужи, сколько от ужаса.

Вороны притихли. Но вот один из них прыгнул на скелет. Это было сигналом. За ним устремились все остальные — целая туча крыльев; еще мгновение — и повешенный исчез под кишащей грудой черных пятен, шевелившихся во мраке. В эту минуту мертвец вдруг дернулся.

Сам ли он вздрогнул? Дунуло ли на него ветром? Но его с устрашающей силой подбросило на цепи. Налетевший ураган пришел ему на помощь. Призрак забился в судорогах. Бурный ветер, разгулявшись в высоте, завладел мертвым телом и принялся швырять его во все стороны. Мертвец стал ужасен. Он бесновался. Чудовищный картонный паяц, висевший не на тонкой веревочке, а на железной цепи! Какой-то злобный шутник

дергал за ее конец и забавлялся пляской этой мумии. Она вертелась и подпрыгивала, угрожая каждую минуту распасться на куски. Вороны шарахнулись в испуге. Покойник точно стряхнул с себя этих омерзительных птиц. Но они снова вернулись. И начался бой.

Казалось, в мертвеце проснулись невероятные жизненные силы. Порывы ветра подбрасывали его кверху, словно собираясь умчать с собою, а он как будто отбивался что было мочи, стараясь вырваться; только железный ошейник удерживал его. Птицы повторяли все его движения, то отлетая, то снова набрасываясь, испуганные, остервенелые. С одной стороны — страшная попытка к бегству, с другой — погоня за прикованным на цепи. Мертвец, весь во власти судорожных порывов ветра, подскакивал, вздрагивал, приходил в ярость, отступал, возвращался, взлетал и стремглав падал вниз, разгоняя черную стаю. Он был палицей, стая — пылью. Крылатые хищники, не желая сдаваться, наступали с отчаянным упорством. Мертвец, словно обезумев при виде этого множества клювов, участил свои бесцельные удары по воздуху, подобные ударам камня, привязанного к праще. Временами на него набрасывались все клювы и все а крылья,

затем все куда-то пропадало; орда рассыпалась, но через мгновение накидывалась еще яростней. Ужасная казнь, продолжавшаяся и за порогом жизни. На птиц, казалось, нашло исступление. Только из недр преисподней могла вырваться подобная стая. Удары когтей, удары клювов, карканье, раздирание в клочья того, что уже не было мясом, скрип виселицы, хруст костей, лязг железа, вой бури, смятение — возможна ли более мрачная картина схватки? Мертвец, борющийся с демонами. Битва призраков.

Временами, когда ветер усиливался, повешенный вдруг начинал вертеться, поворачиваясь лицом во все стороны, как будто хотел броситься на птиц и перегрызть им глотку своими оскаленными зубами. Ветер был за него, цепь — против него, — словно темные божества вели бой вместе с ним. Ураган тоже принимал участие в сражении. Мертвец весь извивался, вороны спиралью кружились над ним. Это был живой смерч.

Снизу доносился глухой и мощный рокот моря.

Ребенок видел наяву этот страшный сон. Вдруг он вздрогнул от головы до пят, трепет пробежал по всему его телу; он заметался, задрожал, еле удержался на ногах и сжал лоб обеими руками, словно это была единственная точка опоры;

ошеломленный, с развевающимися по ветру волосами, зажмурив глаза, сам похожий на призрак, он большими шагами спустился с холма и бросился бежать, оставив позади себя мучительные видения ночи.

7. Северная оконечность Портленда

Он бежал, задыхаясь, несся куда глаза глядят, мчался, не помня себя, по снегу, по равнине, в пространство. Бег согрел его. Это было ему необходимо. Если бы не быстрое движение и не испуг, он был бы уже мертв.

Когда у него захватило дыхание, он остановился; но оглянуться он не посмел. Ему мерещилось, что птицы гонятся за ним, что мертвец, сорвавшись с цепи, следует за ним по пятам, что даже виселица кинулась с холма вслед за покойником. Он боялся обернуться, чтобы не увидеть этого.

Немного передохнув, он снова пустился бежать.

Дети не умеют отдавать себе отчет в происходящем. Затуманенное страхом сознание ребенка воспринимало внешние впечатления без связи, без выводов. Он мчался, сам не зная куда и зачем. Охваченный щемящей тоской, он бежал с трудом, как бегут во сне. За три часа, проведенные им в одиночестве, его стремление идти куда-то вперед,

не став определеннее, изменило, однако, свою первоначальную цель: тогда это были поиски, теперь это было бегство. Он уже не чувствовал ни голода, ни холода; он чувствовал только страх. Один инстинкт вытеснил другой. Все его помыслы свелись к одному — убежать. Убежать от чего? От всего. Жизнь мрачной стеной обступила его со всех сторон. Если бы он мог убежать от всего на свете, он так бы и сделал.

Но детям неведом тот способ взлома тюремной двери, который именуется самоубийством.

Он продолжал бежать.

Сколько времени он мчался так — неизвестно. Но наступает минута, когда и дыхании не хватает и страху приходит конец.

И вдруг, как бы внезапно охваченный приливом энергии и рассудительности, ребенок остановился; ему, видимо, стало стыдно за свое бегство; он выпрямился, топнул ногою, смело поднял голову и обернулся назад.

Ни холма, ни виселицы, ни воронья.

Туман опять окутал весь горизонт.

Ребенок снова пустился в путь.

Теперь он уже не бежал, он медленно шел. Сказать, что встреча с мертвецом сделала его взрослым, значило бы втиснуть в узкие рамки то

сложное и неясное впечатление, которое она на него произвела. Виселица, смутно запечатлевшаяся в его еще зачаточном сознании, оставалась для него лишь видением. Но так как победа над страхом придает нам силы, в нем пробудилась отвага. Будь он в том возрасте, когда человек способен разобраться в себе, он нашел бы тысячу поводов к раздумью; но мышление детей лишено четкости, и ребенок в лучшем случае может ощутить лишь легкую горечь того, пока недоступного ему чувства, которое он, став взрослым, назовет негодованием.

Прибавим к этому, что ребенок одарен способностью быстро забывать свои ощущения. От него ускользают отдаленные, беглые очертания сущности горестного явления. Самым своим возрастом, своей слабостью дитя защищено от слишком сложных душевных волнений. Оно воспринимает события, но почти ничего с ними не связывает. Взрослый доискивается связи между разрозненными явлениями, ребенок же легко удовлетворяется частичным их объяснением. Жизненный процесс как нечто целое возникает перед ним позднее, когда приходит опыт, на который уже можно опереться. Тогда сопоставляются отдельные группы фактов, просветленный

и зрелый рассудок сравнивает их между собой, и воспоминания детского возраста проступают сквозь все пережитое, как палимпсест[43]

из-под новейшего письма; воспоминания оказываются точками опоры для логики, и то, что было в уме ребенка впечатлением, становится силлогизмом в сознании взрослого. Впрочем, опыт бывает различным и обращается на пользу или во вред в зависимости от натуры человека. Хорошая натура созревает, дурная — растлевается.

Ребенок пробежал с добрую четверть лье и еще столько же прошел шагом. Вдруг он почувствовал мучительный голод. Мысль о еде завладела всем его существом, сразу вытеснив из памяти омерзительную картину, которую он видел на холме. В человеке, к счастью, есть животное: оно возвращает его к действительности.

Но что бы поесть? Где бы поесть? Как бы поесть? Мальчик невольно ощупал свои карманы, отлично зная, что они пусты.

Он ускорил шаги. Не зная сам, куда идет, он спешил добраться до какого-нибудь жилья.

Надежда на пристанище в известной мере является источником человеческой веры в провидение. Верить, что для нас всегда найдется

кров, значит верить в бога.

Однако на этой снежной равнине не было видно ничего, похожего на кровлю.

Ребенок шел и шел; перед ним по-прежнему простиралось голое плоскогорье; казалось, ему не будет конца.

На этой возвышенности никогда не было человеческого жилья. Только у подножия утеса, в расселинах скал, ютились в давние времена первобытные обитатели этой страны, у которых не было дерева для постройки хижина оружием им служила праща, топливом — сухой коровий помет, божеством, которому они поклонялись, был идол Чейл, стоявший на лесной прогалине в Дорчестере, весь же их промысел сводился к ловле серого коралла, который валлийцы называют plin, а греки — isidis plocamos.

Ребенок искал дорогу, как умел. Вся наша судьба — перепутье; выбрать надлежащее направление очень трудно, а этому маленькому существу уже на заре его жизни предстояло сделать выбор вслепую. Тем не менее он продолжал идти вперед. Но хотя мышцы ног у него были точно стальные, он начал уставать. На всем пространстве не было ни; одной тропы, а если они и были, их занесло снегом. Безотчетно он продолжал двигаться на

восток. Он изранил ступни об острые камни. Если бы было светло, можно было бы увидеть на следах, оставляемых им на снегу, алые пятна крови.

Местность была ему совсем незнакома. Он пересекал Портлендскую возвышенность с юга на север, а шайка, с которой он сюда попал, вероятно избегая нежелательных встреч, пересекла ее с запада на восток. Невидимому, она бежала в рыбацкой или контрабандистской лодке с какого-нибудь пункта на Эджискомбском побережье, из Сент-Катрин-Чипа или из Суонкри, направляясь в Портленд, где ее ожидала урка, и должна была высадиться в одной из бухт Уэстона, с тем чтобы пересесть на другое судно в одном из заливчиков Истона. Путь этот под прямым углом перекрещивался с направлением, по которому шел теперь ребенок. Потому-то он и не узнавал местности.

На Портлендском плоскогорье сплошь и рядом попадаются высокие холмы, нависающие прямо над берегом и отвесно обрывающиеся к морю. Блуждая, ребенок взобрался на один из таких холмов, остановился и стал всматриваться в даль, надеясь, что с высокого места ему будет виднее. Но перед ним, заслоняя горизонт, расстилалась синеватая туманная мгла. Он стал внимательно всматриваться в нее, и пристальный взгляд его

постепенно начал улавливать в ней какие-то очертания. На востоке, на дне отдаленной лощины, пониже синеватой мглы, которую можно было бы принять за движущийся в мутном сумраке ночи утес, стлались по земле и развевались в воздухе какие-то черные клочья. Синеватая мгла была туман, а черные клочья — дым. Где есть дым, там есть и люди. Ребенок направился в ту сторону.

На некотором расстоянии от себя он увидел спуск и внизу у спуска, среди неясных очертаний скал, окутанных туманом что-то вроде песчаной мели или косы, которая, вероятно, соединяла видневшиеся на горизонте равнины с только что пересеченным им плоскогорьем. Очевидно, надо было идти в этом направлении.

Действительно, он достиг Портлендского перешейка, образованного дилювиальными наносами, который называется Чесс-Хилл.

Он стал спускаться по склону. Скат был трудный и неровный. Это была противоположная сторона той возвышенности, на которую он карабкался, выбираясь из бухты. Правда, спускаться было легче. Всякий подъем вознаграждается спуском. Раньше он карабкался, теперь скатывался кубарем.

Он перепрыгивал с утеса на утес, рискуя вывихнуть себе ногу или свалиться в невидимую пропасть. Чтобы удержаться на льду при спуске со скалы, он хватался руками за тонкие, длинные ветки дикого терна или за усеянные шипами кусты утесника, и колючие иглы их вонзались ему в пальцы. Кое-где скат был не так крут, и тогда ребенок немного отдыхал, но рядом опять начинался обрыв, и снова приходилось рассчитывать каждый шаг. При спуске в пропасть надо быть ловким, иначе грозит смерть; каждое движение — решение задачи. Эту задачу ребенок разрешал с врожденным искусством, которому позавидовали бы обезьяны, и с таким умением, которому подивился бы акробат. Склон был крут и длинен. Тем не менее ребенок уже находился почти внизу.

Мало-помалу приближалась минута, когда он вступит на перешеек, издали представший его взору.

Он то перескакивал, то переползал с утеса на утес и временами вдруг начинал прислушиваться, насторожившись, как чуткая лань. Он различал вдали, налево от себя, слабый протяжный гул, похожий на низкий звук рожка. Действительно, в вышине уже происходили

сдвиги воздушных слоев — предвестники того страшного северного ветра, который каким-то трубным воем дает знать о своем прибытии с полюса. В то же время ребенок почувствовал у себя на лбу, на веках, на щеках нечто, напоминавшее прикосновение к лицу холодных ладоней. Это были крупные хлопья снега, сначала незаметно порхавшие в воздухе и вдруг закружившиеся вихрем. Они предвещали снежную бурю. Ребенок уже был с головы до ног покрыт снегом. Снежная буря, более часа свирепствовавшая на море, захватила теперь и берег. Она постепенно простирала свою власть и на горные равнины. Надвигаясь под косым углом с северо-запада, она готовилась разразиться над Портлендским плоскогорьем.

Часть вторая. Урка в море

1. Законы, не зависящие от человеческой воли

Снежная буря на море — одно из наименее исследованных явлений. Она во всех отношениях должна быть признана самым темным метеорологическим феноменом. Это соединение тумана со штормом, которое и в наше время еще не вполне изучено, вызывает множество бедствий.

Причиною снежной бури считают ветер и вол-

ны. Но ведь в воздухе есть какая-то сила, отличная от ветра, а в воде — сила, отличная от волны. Сила эта, одна и та же и в воздухе и в воде, есть ток. Воздух и вода — две текучих массы, почти тождественные и проникающие одна в другую путем сгущения или разрежения; поэтому дышать — то же самое, что пить. Но только ток по-настоящему текуч. Ветер и волна — это толчки, ток же есть истечение. Ветер становится зримым благодаря облакам, волна — благодаря пене, ток же невидим. Тем не менее время от времени он дает знать о себе: «я здесь». Это «я здесь» — удар грома.

Снежная буря представляется такой же загадкой, как и сухой туман. Если удастся когда-либо пролить свет на сущность явления, именуемого испанцами callina, а эфиопами quobar, то это, конечно, окажется возможным только при условии внимательного наблюдения над свойствами магнитных токов.

Без этого множество фактов останется для нас загадкой. Например, изменением скорости ветра, обычно пробегающего три фута, а в бурю — двести двадцать футов в секунду, объясняется изменение высоты волны, подымающейся с трех дюймов при тихой погоде до тридцати шести футов в шторм. Или, например, горизонтальное

направление ветра даже при шторме объясняет, каким образом вал в тридцать футов высотою может простираться в длину на полторы тысячи футов. Но почему волны Тихого океана в четыре раза выше у берегов Америки, чем у берегов Азии, то есть выше на западе, чем на востоке? Почему в Атлантическом океане мы наблюдаем обратное явление? Почему уровень воды в океане выше всего на экваторе? Чем вызывается изменение высоты волн океана в различных широтах? Все эти явления объясняются только влиянием магнитных токов в связи с вращением земли и притяжением небесных светил.

Не в этом ли таинственном сочетании различных сил следует искать причину внезапных перемен в направлении ветра, идущего, например, через запад от юго-востока к северо-востоку, затем внезапно поворачивающего обратно и возвращающегося назад тем же путем от северо-востока на юго-восток, — таким образом за тридцать шесть часов он описывает на огромном пространстве две дуги общей сложностью в пятьсот шестьдесят градусов, как это имело место перед снежной бурей 17 марта 1867 года.

В Австралии во время бури волны достигают восьмидесяти футов в высоту; это происходит

от близости магнитного полюса. Штормы в этих широтах вызываются не столько перемещением воздушных слоев, сколько продолжительностью подводных электрических разрядов; в 1866 году работа трансатлантического кабеля каждые сутки регулярно нарушалась в продолжение двух часов, с двенадцати до двух часов пополудни, — приступы своеобразной перемежающейся лихорадки. Сложение и разложение некоторых сил имеют своим последствием определенные явления; моряк, желающий избегнуть кораблекрушения, должен непременно принимать их в расчет.

В тот день, когда искусство кораблевождения, продолжающее еще руководствоваться рутинными представлениями о природе, станет наукой, точной как математика; когда начнут доискиваться, почему, например, в наших широтах теплые ветры дуют иногда с севера, а холодные — с юга; когда поймут, что понижение температуры воды прямо пропорционально глубине океана; когда для всех станет очевидным, что земной шар — огромный, поляризованный в бесконечном пространстве магнит с двумя осями — осью вращения и осью магнитной, пересекающимися в центре земли, и что магнитные

полюсы вращаются вокруг полюсов географических; когда люди, рискующие своей жизнью, согласятся рисковать ею лишь во всеоружии научных знаний; когда неустойчивая стихия, с которой приходится иметь дело мореплавателям, будет достаточно изучена; когда капитан будет метеорологом, а лоцман — химиком, — только тогда явится возможность избегнуть многих катастроф. Море в такой же мере стихия магнитная, как и водная; целый океан неведомых сил зыблется в океане воды, иначе сказать — плывет по течению. Видеть в море одну лишь массу воды — значит совсем не видеть моря; в море происходит непрерывное движение токов точно так же, как непрерывное чередование приливов и отливов; законы притяжения имеют для него, быть может, большее значение, чем ураганы; молекулярное сцепление, выражающееся, помимо ряда других явлений, капиллярным притяжением, неуловимое для невооруженного глаза, в океане приобретает грандиозные размеры, зависящие от его огромных пространств, и волны магнитные то усиливают движение воздушных и морских волн, то противодействуют им. Кто не знает законов электричества, тому неизвестны и тесно связанные с ними законы гидравлики. Правда,

нет области знания более трудной и менее разработанной: наука эта имеет столь же близкое отношение к данным опыта, как астрономия — к астрологии. Однако без этой науки немыслимо кораблевождение.

А теперь перейдем к нашему повествованию.

Одно из самых страшных явлений на море — снежная буря. Она в значительной мере вызывается магнитными токами. Подобно северному сиянию, она есть порождение полюса; во мгле снежной бури и в блеске северного сияния — все тот же полюс; и в снежных хлопьях, как и в голубоватых сполохах, очевидно присутствие магнитных токов.

Снежные бури — это нервные припадки и приступы горячки у моря. У моря тоже есть свои мигрени. Бури можно сравнить с болезнями. Одни из них смертельны, другие — нет; от одной болезни выздоравливают, от другой — умирают. Снежная буря считается смертельным бедствием. Один из лоцманов Магеллана[44]

, Харабиха, называл ее «тучей, вышедшей из левого бока дьявола» («una nube sali da del malo lado del diabolo»).

Сюркуф[45]

говорил: «Такая буря точно холера».

В старину испанские мореплаватели называли бурю la nevada, когда падали снежные хлопья, и la helada, когда шел град. По их словам, вместе со снегом падали с неба и летучие мыши.

Снежные бури — явление обычное в полярном поясе. Однако они иногда доходят и до наших широт, вернее, обрушиваются на них — так велики причиняемые ими бедствия.

Как мы уже видели, «Матутина», покинув Портленд, с решимостью устремилась навстречу всем опасностям ночи, еще возросшим благодаря надвигавшейся буре. С трагической смелостью кинула она вызов уже возникшей перед ней угрозе. Но, повторяем, она была достаточно предупреждена об этом.

2. Обрисовка первых силуэтов

Пока урка находилась еще в Портлендском заливе, море было довольно спокойно; волнения почти не чувствовалось. Океан, правда, потемнел, но на небе было еще светло. Ветер чуть надувал паруса. Урка старалась держаться возможно ближе к утесу, служившему для нее прекрасным заслоном.

Их было десять на бискайском суденышке: три человека экипажа и семь пассажиров, в том числе две женщины. В открытом море сумерки всегда

светлее, чем на берегу; теперь можно было ясно различить всех, находившихся на борту судна. К тому же им не было уже надобности ни прятаться, ни стесняться; все держали себя непринужденно, говорили громко, не закрывали лиц; отплыв от берега, беглецы вздохнули свободно.

Эта горсточка людей поражала своей пестротой. Женщины были неопределенного возраста: бродячая жизнь преждевременно старит, а нужда налагает на лица ранние морщины. Одна женщина была баскийка, другая, с крупными четками, — ирландка. У обеих был безучастный вид, свойственный обычно беднякам. Очутившись на палубе, они сразу уселись рядышком на сундуках у мачты. Они беседовали: ирландский и баскский языки, как мы уже говорили, родственны между собой. У баскийки волосы пахли луком и базиликом. Хозяин урки был баск из Гипускоа, один из матросов — тоже баск, уроженец северного склона Пиренеев, а другой — южного, то есть принадлежал к той же национальности, хотя первый был французом, а второй испанцем. Баски не признают официального подданства. «Mi madre se llama montana» («мою мать зовут гора»), — говаривал погонщик мулов Салареус. Из пяти мужчин, ехавших вместе с женщинами,

один был француз из Лангедока, другой — француз-провансалец, третий — генуэзец, четвертый, старик, носивший сомбреро без отверстия в полях для трубки, — невидимому немец; пятый, главарь, был баск из Бискароссы, житель каменистых пустошей. Это он в ту минуту, когда ребенок уже собирался подняться на урку, сбросил мостик в море. Этот крепко сложенный человек, отличавшийся порывистыми, быстрыми движениями и одетый, как уже было упомянуто, в лохмотья, расшитые галунами и блестками, не мог усидеть на месте; он то нагибался, то выпрямлялся, то переходил с одного конца палубы на другой, как будто его тревожило и то, что он только что сделал, и то, что должно было сейчас произойти.

Главарь шайки, хозяин корабля и двое матросов, все четверо баски, говорили то на баскском языке, то по-испански, то по-французски: эти три языка одинаково распространены на обоих склонах Пиренеев. Впрочем, все, за исключением женщин, объяснялись немного на французском языке, который был основою жаргона их шайки. В ту эпоху французский язык начинал входить во всеобщее употребление, так как он представляет собою переходную ступень от северных языков, отличающихся обилием согласных, к южным

языкам, изобилующим гласными. В Европе по-французски говорили торговцы и воры. Многие, верно, помнят, что лондонский вор Джибби понимал Картуша.[46]

Урка, быстроходный парусник, неслась вперед; однако десять человек, да сверх того еще и багаж, были слишком тяжелым грузом для такого утлого суденышка.

Бегство шайки на «Матутине» отнюдь не свидетельствовало о том, что между экипажем судна и его пассажирами существовала постоянная связь. Для такого предприятия было вполне достаточно, чтобы хозяин урки и главарь шайки были оба vascongado[47]

Помогать друг другу — священный долг каждого баска, не допускающий никаких исключений. Баск, как мы уже говорили, не признает себя ни испанцем, ни французом: он баск и потому везде, при любых обстоятельствах, обязан приходить на помощь своему соплеменнику. Таковы узы братства, связывающие всех жителей Пиренеев.

Все время, пока урка находилась в заливе, небо хотя и было пасмурно, однако не сулило ничего страшного, что могло бы встревожить беглецов. Они спасались от преследования, уходили от врага и были безудержно веселы. Один хохотал,

другой распевал песни. Хохот был грубый, но непринужденный, пение — не пленявшее слуха, зато беззаботное.

Уроженец Лангедока орал: «caougagno!»[48]

- «кокань!», что на нарбоннском наречии означает высшую степень удовлетворения. Обитатель приморской деревушки Грюиссан, лепившейся по южному склону Клаппа, он не был настоящим матросом, не был мореходом, а был скорее рыбаком, привыкшим разъезжать в своей душегубке по Бажскому озеру и вытаскивать полный рыбою невод на песчаный берег Сент-Люси. Он принадлежал к тому племени, где носят красный вязаный колпак, крестясь, складывают пальцы особым образом, как это делают испанцы, пьют вино из козьего меха, обгладывают окорок дочиста, становятся на колени, когда богохульствуют, и, обращаясь к своему покровителю с мольбой, грозят ему: «Великий святой, исполни мою просьбу, не то я запущу тебе камнем в голову» (ou te feg' un pic).

В случае нужды он мог оказаться полезным и в роли матроса.

Провансалец в камбузе подкидывал куски торфа под чугунный котел и варил похлебку.

Эта похлебка напоминала собой «пучеро», но

только говядину заменяла в ней рыба; провансалец бросал в кипящую воду горох, маленькие, нарезанные квадратиками, ломтики сала и стручки красного перца, что было уступкой со стороны любителя bouillabaisse[49]

любителям olla podrida[50]

Развязанный мешок с провизией стоял рядом с ним. Провансалец зажег у себя над головой железный фонарь со слюдяными стеклами, подвешенный на крючке к потолку камбуза. Рядом с фонарем болтался на другом крючке зимородок, служивший флюгером. В те времена существовало народное поверье, будто мертвый зимородок, подвешенный за клюв, всегда поворачивается грудью в ту сторону, откуда дует ветер.

Занимаясь стряпней, провансалец то и дело подносил ко рту горлышко фляги и; прихлебывал из нее водку. Фляга была широкая и плоская, с ушками, оплетенная ивняком: такие фляги носили на ремне у пояса, почему они назывались «поясными флягами». Потягивая вино, он мурлыкал себе под нос одну из тех деревенских песенок, которые как будто лишены почти всякого содержания: протоптанная тропинка, изгородь; меж кустами видны на лугу, освещенном лучами заходящего солнца, длинные тени повозки и лошади;

время от времени над изгородью показываются и тотчас же пропадают вилы с охапкой сена. Для незатейливой песенки этого вполне достаточно.

Отъезд, в зависимости от настроения и мыслей, владеющих нами в эту минуту, вызывает либо чувство облегчения, либо горесть. На урке все казались довольными, кроме самого старого члена шайки, человека в сомбреро.

Старика этого скорее всего можно было принять за немца, хотя у него было одно из тех лиц, с которых уже стерлись все признаки какой-либо национальности; он был лыс и держал себя так степенно, что его плешь казалась тонзурой. Проходя мимо изваяния святой девы на носу урки, он всякий раз приподнимал свою войлочную шляпу, и тогда на его черепе видны были вздутые старческие вены. Длинное, похожее на мантию, одеяние из коричневой дорчестерской саржи, потертое и рваное, распахиваясь, приоткрывало кафтан, плотно облегавший его и застегнутый, наподобие сутаны, до самого горла. Его руки, казалось, сами собой складывались на груди косым, крестом, по привычке богомолов. Цвет лица у него был мертвенно бледный: лицо человека всегда отражает его внутренний мир, и ошибочно думать, будто, мысль лишена окраски. Это старческое

лицо отражало странное душевное состояние — результат сложных противоречий, влекущих человека одновременно и в сторону добра и в сторону зла; внимательный наблюдатель разгадал бы, что это существо способно нравственно опуститься до уровня дикого зверя, пасть ниже тигра или возвыситься над обыкновенными людьми. Такой душевный хаос вполне возможен. В этом лице было что-то загадочное. Его таинственность была почти символической. Чувствовалось, что этот человек изведал и предвкушение зла, заранее рассчитывая его последствия, и опустошенность, следующую за его совершением. Его бесстрастие, быть может только кажущееся, носило печать двойной окаменелости: окаменелости сердца, свойственной палачу, и окаменелости мысли, свойственной мандарину. Можно было безошибочно утверждать, — ибо чудовищное тоже бывает в своем роде совершенным, — что он был способен на все, даже на душевный порыв. Всякий ученый немного напоминает труп, а человек этот был ученым. С первого же взгляда бросалась в глаза эта ученость, запечатленная во всех его движениях, даже в складках его плаща. Подвижные морщины на лице этого полиглота порою складывались в гримасу, противоречив-

шую строгому выражению каменных черт. В нем не было лицемерия, но не было и цинизма, — лицо трагического мечтателя, человека, которого преступление привело к глубокому раздумью. Из-под нахмуренных бровей бандита светился кроткий взор архиепископа. Поредевшие седые волосы были на висках совершенно белыми. В нем чувствовался христианин, который фатализмом мог бы перещеголять турка. Костлявые пальцы были искривлены подагрой; высокая, прямая, как жердь, фигура производила смешное впечатление, уверенная поступь выдавала моряка. Ни на кого не глядя, замкнутый и зловещий, он медленно расхаживал по палубе. В глубине его зрачков можно было уловить отблеск души, отдающей себе отчет в окружающем ее мраке и знающей, что такое угрызения совести.

Время от времени главарь шайки, человек грубый и бойкий, быстро носившийся по палубе, подбегал к нему и шептал что-то на ухо. Старик в ответ кивал головой. Казалось, молния совещается о чем-то с ночью.

3. Встревоженные люди на тревожном море

Два человека на судне были озабочены: старик и владелец урки, которого не следует смешивать с главарем шайки; судохозяин был озабочен ви-

дом моря, старик — видом неба. Один не спускал глаз с морских волн, другой сосредоточил все свое внимание на тучах. Состояние моря тревожило владельца урки, старику же внушало опасения то, что происходило на небе. Он пристально наблюдал каждую звезду, показывавшуюся в разрывах туч.

Был тот сумеречный час, когда еще светло, но кое-где в вечерней мгле уже слабо мерцают редкие звезды.

Горизонт выглядел необычно. Туман принимал самые разнообразные формы.

Он сгущался преимущественно над берегом, тучи же скоплялись главным образом над морем.

Еще до выхода из Портлендского залива владелец урки, озабоченный высотою волн, тщательно проверил весь такелаж. Не дожидаясь момента, когда судно обогнет мыс, он подверг осмотру швиц-сарвени, убедился, что переплетка нижних вантов находится в полной исправности и служит надежной опорой путенс-вантам марсов, — предосторожность моряка, собирающегося поставить на судне все паруса.

Урка — в этом заключался ее недостаток — сидела в воде носом на полвары глубже, чем кормой.

Судохозяин то и дело переходил от путевого

компаса к главному, стараясь при помощи обоих диоптров определить по неподвижным предметам на берегу скорость движения судна и румб, под которым оно шло. Сначала это оказался бейдевинд, и владелец урки ничего не имел против этого, хотя боковой ветер и вызывал отклонение на пять пунктов в сторону от намеченного курса. Он сам по возможности стоял все время у румпеля, невидимому не доверяя другим и считая только себя способным извлечь из управления рулем наибольшую скорость хода.

Так как разница между румбом действительным и румбом кажущимся тем значительнее, чем быстрее движется судно, то казалось, что урка идет под большим углом к направлению ветра, чем это было на самом деле. Урка шла не в бакштаг и не в бейдевинд, но настоящее направление ветра можно определить, только когда он дует в корму. Если в облаках видны длинные полосы, спускающиеся к какой-либо точке на горизонте, эта точка и есть то место, откуда дует ветер. Но в этот вечер дуло несколько ветров, румб ветра определить было трудно, и владелец урки сомневался в правильности курса.

Он управлял рулем осторожно и в то же время смело, брасопил реи, следил за всеми отклонени-

ями от курса, старался не допускать их, наблюдал за дрейфом, замечал самые незначительные толчки румпеля, малейшие изменения в скорости хода, постоянно держался на известном расстоянии от берега, мимо которого шло судно; особенно же, принимая во внимание малые размеры путевого компаса, он все время добивался того, чтобы угол, образуемый флюгером и килем, был больше угла раствора парусов. Его взгляд, неизменно устремленный на воду, улавливал все изменения на ее поверхности.

Один только раз он поднял глаза к небу, стараясь найти три звезды, находящиеся в поясе Ориона; эти три звезды носят название Трех волхвов, и в старину испанские лоцманы говаривали: «Кто видит трех волхвов, тому недалеко и до спасителя».

Как раз в то мгновение, когда владелец урки поглядел на небо, на другом конце урки послышалось бормотание старика:

— Не видно ни Полярной звезды, ни Антареса[51]

, несмотря на его ярко-красный цвет. Не различить ни одной звезды.

Остальных беглецов это, казалось, не тревожило.

Однако, когда прошел первый порыв радости, вызванный бегством, все почувствовали на себе ледяное дыхание ветра, напоминавшее им о том, что стоит январь и что они находятся в море. Расположиться в каюте оказалось невозможно: она была слишком мала и к тому же вся загромождена багажом и тюками с товаром. Багаж принадлежал пассажирам, а тюки — экипажу, ибо урка была не яхтой для прогулок, а судном контрабандистов. Пассажирам пришлось разместиться на палубе — лишение в сущности небольшое для этих кочевников. Привычка жить на открытом воздухе устраняет для бродяг всякую заботу о ночлеге. Звездное небо заменяет им кров, на холоде приходит крепкий, а иногда и смертный сон.

Впрочем, в эту ночь, как мы только что сказали, небо было беззвездно.

Уроженец Лангедока и генуэзец в ожидании ужина улеглись, свернувшись клубком, рядом с женщинами у мачты, накрывшись брезентом, который им бросили матросы.

Лысый старик все стоял на носу судна, не трогаясь с места и как будто не чувствуя холода.

Владелец урки, не отходя от руля, издал гортанный звук, похожий на крик птицы, которую

в Америке называют «восклицателем»; на этот зов к нему подошел главарь шайки, и судохозяин обратился к нему:

— Etcheco jauna!

Эти два баскские слова, означающие «горный земледелец», служат у потомков древних кантабрийцев обычным вступлением к разговору, требующему серьезного внимания.

При этом владелец урки пальцем, указал на старика, и беседа продолжалась на испанском языке, не отличавшемся особой правильностью, так как оба изъяснялись на наречии горцев:

— Горный земледелец, что это за человек?

— Человек.

— На каких языках он говорит?

— На всех.

— Что он знает?

— Все.

— Какую страну он считает своей родиной?

— Никакую и рее.

— Кто его бог?

— Бог.

— Как зовешь ты его?

— Безумцем.

— Как, повтори, зовешь ты его?

— Мудрецом.

— Кто он в вашей шайке?
— То, что он есть.
— Главарь?
— Нет.
— Кто же он в таком случае?
— Душа.

Главарь шайки и судохозяин расстались, и каждый снова погрузился в свои мысли, а немного времени спустя «Матутина» вышла из залива.

Началась сильная качка.

Там, где море не было покрыто пеной, оно казалось клейкой массой; в вечернем сумраке волны, утратив четкость очертаний, походили на лужи желчи. В иных местах волны как будто ложились плашмя, и на них виднелись лучеобразные трещины, как на стекле, в которое бросили камнем. В самом центре этих расходившихся лучей, в кружащейся точке, мерцал фосфорический свет, похожий на тот кошачий блеск, которым горят глаза совы.

«Матутина» гордо и отважно миновала полосу опасной зыби над Чембурской мелью. Чембурская мель, заграждающая выход из портлендского рейда, имеет вид не прямой преграды, а амфитеатра. Песчаная круглая арена подводного цирка с симметрически расположенными ступенями,

выбитыми круговоротом волн на поглощенной морем вершине высотою с Юнгфрау, Колизей на дне океана, призрачным видением возникающий перед водолазом в прозрачной глубине морской пучины, — вот что представляет собою Чембурская мель. Чудовищная арена; там сражаются гидры, там бросаются в схватку левиафаны; там, если верить легенде, на дне гигантской воронки покоятся остовы кораблей, схваченных и потопленных исполинским пауком Кракеном, которого называют также «горой-рыбой». Такова страшная тайна моря.

Эта призрачная, неведомая человеку жизнь дает о себе знать на поверхности моря только легкой зыбью.

В девятнадцатом столетии Чембурская мель почти совсем исчезла. Недавно построенный волнорез силою прибоя опрокинул и разрушил это высокое подводное сооружение, подобно тому как плотина, воздвигнутая в 1760 году в Круазике, передвинула время прилива и отлива у берегов его на четверть часа. Между тем приливы и отливы вечны. Но вечность подчиняется человеку гораздо больше, чем полагают.

4. Появление тучи, не похожей на другие

Старик, которого главарь шайки назвал сперва

безумцем, а затем мудрецом, больше не покидал носовой части судна. Как только миновали Чембурскую мель, его внимание разделилось между небом и океаном. Он то опускал глаза, то снова поднимал их; особенно пристально всматривался он в направлении северо-востока.

Судохозяин передал руль одному из матросов, перешагнул через люк канатного ящика, перешел шкафут и очутился на баке.

Приблизившись к старику, он остановился в нескольких шагах позади него и, прижав локти к бокам, расставив руки, склонил голову набок; выкатив глаза, приподняв брови, он улыбнулся одними уголками губ, и лицо его выразило любопытство, находившееся на грани между иронией и уважением.

Старик, потому ли, что он имел привычку беседовать иногда сам с собою, или потому, что чувствовал у себя за спиной чье-то присутствие, вызывающее его на разговор, принялся разглагольствовать, ни к кому не обращаясь и глядя на расстилавшийся перед ним водный простор:

— Меридиан, от которого исчисляется прямое восхождение, в нашем веке обозначен четырьмя звездами: Полярной, креслом Кассиопеи, головой Андромеды и звездой Альгениб, находящейся

в созвездии Пегаса. Но ни одной из них не видать…

Слова эти, прозвучавшие еле слышно, были обронены как будто безотчетно, словно сознание этого человека не принимало никакого участия в их произнесении. Они слетали с его губ и пропадали в воздухе. Монолог — это дым духовного огня, горящего внутри нас.

Владелец урки перебил его:

— Сеньор…

Старик, быть может тугой на ухо, а может быть, глубоко погруженный в свои думы, не расслышал обращения и продолжал:

— Слишком мало звезд, и слишком много ветра. Ветер то и дело меняет направление и устремляется на берег. Он обрушивается на него отвесно. Это происходит оттого, что на суше теплее, чем на море. Воздух над сушею легче. Холодный и тяжелый морской ветер устремляется на землю и вытесняет теплый воздух. Потому-то на большой высоте ветры дуют на землю со всех сторон. Следовало бы делать длинные галсы между параллелью теоретически исчисленной и параллелью предполагаемой. В тех случаях, когда наблюдаемая широта уклоняется от широты предполагаемой не больше, чем на три минуты

на каждые десять лье и на четыре минуты на каждые двадцать лье, можно не сомневаться в правильности курса.

Судохозяин поклонился, но старик по-прежнему не замечал его. Закутанный в какое-то одеяние, похожее на мантию доктора Оксфордского или Геттингенского университета, он стоял неподвижно, не меняя своей надменно-суровой позы, и пристально смотрел на море, как человек, хорошо изучивший и водную стихию и людей. Он вглядывался в волны, как будто собираясь принять участие в их шумной беседе и сообщить им важную весть. В нем было нечто, напоминавшее и средневекового алхимика и авгура древнего Рима[52]

У него был вид ученого, претендующего на знание последних тайн природы.

Он продолжал свой монолог, быть может в расчете на то, что кто-то его слушает.

— Можно было бы бороться, будь у нас вместо румпеля штурвал. При скорости в четыре лье в час давление в тридцать фунтов на штурвал может дать триста тысяч фунтов полезного действия. И даже больше, ибо в некоторых случаях удается выгадать лишних два оборота.

Судохозяин вторично поклонился и произнес:

— Сеньор…

Старик пристально посмотрел на него. Он повернул только голову, не изменив своей позы.

— Называй меня доктором.

— Сеньор доктор, я владелец судна.

— Хорошо, — ответил «доктор».

Доктор, — отныне и мы будем называть его так, — невидимому согласился вступить в разговор.

— Хозяин, есть у тебя английский октант?

— Нет.

— Без английского октанта ты не в состоянии определять высоту ни впереди, ни позади судна.

— Баски, — возразил судовладелец, — умели определять высоту, когда никаких англичан еще на свете не было.

— Берегись приводиться к ветру.

— Я припускаюсь, когда это нужно.

— Ты измерил скорость хода корабля?

— Да.

— Когда?

— Только что.

— Чем?

— Лагом.

— А ты осмотрел деревянный сектор лага?

— Да.

— Песочные часы верно показывают свои тридцать секунд?

— Да.

— Ты уверен, что песок не расширил трением отверстия между двумя склянками?

— Да.

— Проверил ли ты песочные часы при помощи мушкетной пули, подвешенной…

— На ровной нитке из смоченной пеньки? Разумеется.

— Хорошо ли ты навощил нитку, чтобы она не растянулась?

— Да.

— А лаг ты проверил?

— Я проверил песочные часы посредством мушкетной пули и лаг посредством пушечного ядра.

— Каков диаметр твоего ядра?

— Один фут.

— Калибр вполне достаточный.

— Это старинное ядро с нашей старой военной урки «Касс де Паргран».

— Она входила в состав Армады?

— Да.

— На ней было шестьсот солдат, пятьдесят матросов и двадцать пять пушек?

— Про то знает море, поглотившее их.

— А как определил ты силу удара воды об ядро?

— При помощи немецкого безмена.

— Принял ли ты в расчет напор волны на канат, к которому привязано ядро?

— Да.

— Что же у тебя получилось в итоге?

— Сто семьдесят фунтов.

— Иными словами, урка делает четыре французских лье в час.

— Или три голландских лье.

— Но ведь это только превышение скорости хода над быстротою морского течения.

— Конечно.

— Куда ты направляешься?

— В знакомую мне бухту между Лойолой и Сан-Себастьяном.

— Выходи поскорее на параллель, на которой лежит эта бухта.

— Да, надо как можно меньше отклоняться в сторону.

— Остерегайся ветров и течений. Ветры усиливают течения.

— Предатели!

— Не надо ругательств! Море все слышит. Избегай бранных слов. Наблюдай — и только.

— Я наблюдал и наблюдаю. Ветер дует сейчас навстречу поднимающемуся приливу, но скоро, как только начнется отлив, он будет дуть в одном направлении с ним, и тогда мы полетим стрелой.

— Есть у тебя карта?

— Нет. Для этого моря у меня нет карты.

— Значит, ты идешь вслепую?

— Нет. У меня компас.

— Компас — один глаз, а карта — второй.

— И кривой видит.

— Каким образом ты измеряешь угол, образуемый курсом судна и килем?

— У меня есть компас, а остальное — дело догадки.

— Догадка хороша, но знание лучше.

— Христофор Колумб основывался на догадке.

— Когда во время бури стрелка компаса мечется как угорелая, никто уже не знает, за какой ветер следует ухватиться, и дело кончается тем, что теряешь всякое направление. Осел с дорожной картой стоит большего, чем прорицатель с его оракулом.

— Но ветер пока еще не предвещает бури, и я не вижу повода к тревоге.

— Корабли — мухи в паутине моря.

— Сейчас ни волны, ни ветер не внушают никаких опасений.

— Черные точки, качающиеся на волне, — вот что такое люди в океане.

— Я не предвижу ничего дурного этой ночью.

— Берегись, может произойти такая кутерьма, что ты и не выпутаешься из нее.

— Пока все обстоит благополучно.

Взор доктора устремился на северо-восток.

Владелец урки продолжал:

— Только бы добраться до Гасконского залива, а там я отвечаю за все. Еще бы! Там я как у себя дома. Гасконский залив я знаю, как свой карман. Хотя эта лоханка довольно часто бурлит от ярости, но мне известны все ее глубокие и мелкие места, все особенности фарватера: близ Сан-Киприано — ил, близ Сисарки — раковины, у мыса Пеньяс — песок, у Буко-де-Мимисана — мелкие гальки; я знаю, какого цвета каждый камешек.

Он остановился: доктор не слушал его.

Доктор внимательно смотрел на северо-восток. Что-то необычайное появилось вдруг на его бесстрастном лице. Оно выражало ту степень испуга, какую только способна выразить каменная маска. Из его уст вырвалось восклицание:

— В добрый час!

Его глаза, ставшие теперь совершенно круглыми, как у совы, расширились от ужаса при виде еле заметной точки на горизонте.

Он прибавил:

— Это справедливо. Что касается меня, я согласен.

Судовладелец смотрел на него.

Доктор, обращаясь не то к самому себе, не то к кому-то, притаившемуся в морской пучине, повторил:

— Я говорю: да.

Он умолк, шире раскрыл глаза, с удвоенным вниманием вглядываясь в то, что представилось его взору, и произнес:

— Оно надвигается издалека, но отлично знает, что делает.

Часть небосклона, противоположная закату, к которой неотрывно были прикованы и взор и мысль доктора, была освещена, как днем, отблеском заходившего солнца. Этот отрезок, резко очерченный окружавшими его клочьями сероватого тумана, был синего цвета, но скорее свинцового, чем лазурного оттенка.

Доктор, всем корпусом повернувшись к морю и уже не глядя на судовладельца, указал пальцем на эту часть неба:

— Видишь, хозяин?

— Что?

— Вот это.

— Что именно?

— Вон там.

— Синеву? Вижу.

— Что это такое?

— Клочок неба.

— Это для тех, кто думает попасть на небо, — возразил доктор. — Для тех же, кто туда не попадет, это совсем иное.

Он подчеркнул свои загадочные слова странным взглядом, потонувшим в вечернем полумраке.

Наступило молчание.

Владелец урки, вспомнив двойственную характеристику, данную старику главарем шайки, мысленно задал себе вопрос: «Кто же этот человек? Безумец или мудрец?»

Костлявый палец доктора все еще был направлен на мутно-синий край горизонта.

— Синяя туча-хуже черной, — произнес доктор.

И прибавил:

— Это снеговая туча.

— La nube de la nieve, — проговорил хозяин, пе-

реведя эти слова на родной язык, для того чтобы лучше уяснить себе их смысл.

— Знаешь ты, что такое снеговая туча?

— Нет.

— Так скоро узнаешь.

Судовладелец впился взглядом в горизонт. Всматриваясь в тучу, он бормотал сквозь зубы:

— Месяц бурных ветров, месяц дождей, кашляющий январь да плачущий февраль — вот и вся наша астурийская зима. Дождь у нас теплый. Снег у нас выпадает только в горах. Зато там берегись лавины! Лавина ничего не разбирает: лавина — это зверь.

— А смерч — чудовище, — подхватил доктор.

И, помолчав немного, прибавил:

— Вот он надвигается.

Затем продолжал:

— Сразу начинает дуть несколько ветров: порывистый с запада и другой, очень медленный, с востока.

— Восточный — это лицемер, — заметил судовладелец.

Синяя туча все росла.

— Если снег, — продолжал доктор, — страшен, когда он скатывается с горы, сам посуди, каков он, когда обрушивается с полюса.

Глаза его стали совершенно стеклянными; казалось, туча, сгущавшаяся на горизонте, одновременно сгущалась и на его лице.

Он продолжал задумчиво:

— С каждой минутой близится ужасный час. Приподымается завеса над предначертаниями верховной воли.

Владелец урки опять задал себе вопрос: «Не сумасшедший ли это?»

— Хозяин, — снова заговорил доктор, не отрывая взгляда от тучи, — ты много плавал в Ла-Манше?

— Сегодня в первый раз, — ответил тот.

Доктор, поглощенный созерцанием синей тучи, переполненный чувством тревоги, не взволновался от этого ответа, — так губка, пропитавшаяся влагой, уже не способна вобрать в себя ни одной лишней капли. В ответ на слова судохозяина он только слегка пожал плечами:

— Как же так?

— Я, сеньор доктор, обыкновенно плаваю только до Ирландии. Я делаю рейс от Фуэнтарабии до Блек-Харбора или до острова Акиля; называют его «остров», а на деле он состоит из двух островов. Иногда я захожу в Брачипульт, на побережье Уэльса. Но я никогда не спускался до Силлийсиих

островов и этого моря не знаю.

— Плохо дело. Горе тому, кто с трудом разбирает азбуку океана! Ла-Манш — книга, которую надо читать бегло, Ла-Манш — сфинкс. Дно у него коварное.

— Здесь глубина двадцать пять брассов.

— Надо держать курс на запад, где глубина достигает пятидесяти пяти брассов, и не плыть на восток, где она всего лишь двадцать брассов.

— Мы будем бросать лот.

— Помни, Ла-Манш — море особенное. Вода здесь поднимается до пятидесяти футов при высокой воде и до двадцати пяти при низкой. Здесь спад воды — еще не отлив, а отлив — это еще не спад воды… Ага! Ты, кажется, испугался.

— Сегодня ночью будем бросать лот.

— Чтобы бросить лот, нужно остановиться, а это тебе не удастся.

— Почему?

— Не позволит ветер.

— Попробуем.

— Шквал, как шпага, воткнутая в ребра, лишает всякой свободы действий.

— Все равно будем бросать лот, сеньор доктор.

— Тебе не удастся даже поставить судно лагом к ветру.

— Бог поможет.

— Будь осторожен в словах. Не произноси всуе грозного имени.

— А все-таки я буду бросать лот.

— Будь скромнее. Сейчас ветер надает тебе пощечин.

— Я хочу сказать, что постараюсь бросить лот.

— Волны не дадут свинцу опуститься на дно, и линь оборвется. Видно, что ты впервые в этих местах.

— Ну да, я уже говорил вам…

— В таком случае слушай, хозяин…

Это «слушай» было сказано таким повелительным тоном, что судовладелец покорно склонил голову.

— Я слушаю, сеньор доктор.

— Ссади галсы на бакборте и натяни шкоты на штирборте.

— Что вы хотите этим сказать?

— Сворачивай на запад.

— Карамба!

— Сворачивай на запад.

— Невозможно.

— Как хочешь. Я это говорю, чтобы спасти других. Что касается меня, я готов покориться судьбе.

— Но, сеньор доктор, повернуть на запад…

— Да, хозяин.

— Значит идти против ветра.

— Да, хозяин.

— Будет дьявольская качка!

— Выбирай другие слова. Да, качка будет, хозяин.

— Судно встанет на дыбы.

— Да, хозяин.

— Может и мачта сломаться.

— Может.

— Вы хотите, чтобы я взял курс на запад?

— Да.

— Не могу.

— В таком случае справляйся с морем, как знаешь.

— Пусть только ветер переменится.

— Он не переменится всю ночь.

— Почему?

— Он дует на протяжении тысячи двухсот лье.

— Как же идти против такого ветра? Невозможно.

— Возьми курс на запад, говорю тебе.

— Попытаюсь. Но нас все равно отнесет в сторону.

— То-то и опасно.

— Ветер гонит нас на восток.

— Не правь на восток.

— Почему?

— Знаешь, хозяин, как зовут сегодня нашу смерть?

— Нет.

— Ее зовут востоком.

— Буду править на запад.

Доктор посмотрел на судовладельца таким взглядом, как будто хотел запечатлеть в его мозгу какую-то мысль. Он повернулся к нему и, медленно отчеканивая слог за слогом, произнес:

— Если сегодня ночью, когда мы будем в открытом море, до нас долетит звон колокола, судно погибло.

Владелец урки с ужасом уставился на него:

— Что вы хотите этим сказать?

Доктор ничего не ответил. Его взор, оживившийся на мгновение, снова погас. Он опять смотрел куда-то внутрь себя и, казалось, не расслышал вопроса изумленного судохозяина. Его внимание целиком было поглощено тем, что происходило в нем самом. С его губ невольно сорвалась шепотом произнесенная фраза:

— Настало время омыться черным душам.

Судохозяин сделал выразительную гримасу,

от которой его подбородок поднялся чуть не до самого носа.

— Он скорее сумасшедший, чем мудрец, — пробормотал он, отойдя в сторону.

Но все-таки повернул судно на запад.

А ветер крепчал, и волны вздымались все выше.

5. Хардкванон

Туман набухал, поднимался клубами на всем протяжении горизонта, словно какие-то незримые рты раздували мехи бури. Облака начинали принимать зловещие очертания.

Синяя туча заволокла большую часть небосвода. Она уже захватила и запад и восток. Она надвигалась против ветра. Такие противоречия свойственны природе ветров.

Море, за минуту перед тем вздымавшееся граненой, крупной чешуей, тетерь было словно покрыто кожей. Таков этот дракон. Это был уже не крокодил, а боа. Грязно-свинцового цвета кожа казалась толстой и морщилась тяжелыми складками. На ней вздувались круглые пузыри, похожие на нарывы, и тотчас же лопались. Пена напоминала собой струпья проказы.

Как раз в это мгновение урка, которую брошенный ребенок разглядел на горизонте, зажгла

фонарь.

Прошло четверть часа.

Судохозяин стал искать глазами доктора, но его уже не было на палубе.

Как только владелец урки отошел от него, доктор, согнув свой нескладный высокий стан, спустился в каюту. Там он уселся на эзельгофте[53] подле кухонной плиты, вынул из кармана чернильницу, обтянутую шагренью, и большой бумажник из кордовской кожи, достал из бумажника вчетверо сложенный кусок пожелтевшего, пятнистого, исписанного пергамента, развернул его, извлек из футляра перо, примостил бумажник на коленях, положил на него пергамент оборотной стороной вверх и при свете фонаря, выхватывавшего из мрака фигуру повара, принялся писать. Ему мешали удары волн о борт, он медленно выводил букву за буквой.

Занятый этим делом, доктор случайно кинул взгляд на флягу с водкой, к которой провансалец прикладывался каждый раз, когда подбрасывал перцу в котел, как будто советовался с ней насчет приправы.

Доктор обратил внимание на флягу не потому, что это была бутыль с водкой, а потому, что заметил на ее плетенке имя, выведенное красными

прутьями на фоне белых. В каюте было достаточно светло: он без труда прочитал это имя.

Прервав свое занятие, доктор медленно произнес вполголоса:

— Хардкванон.

Затем обратился к повару:

— Я до сих пор как-то не замечал этой фляги. Разве она принадлежала Хардкванону?

— Нашему бедняге Хардкванону? — переспросил повар. — Да.

Доктор продолжал допытываться:

— Фламандцу Хардкванону?

— Да.

— Тому самому, что сидит в тюрьме?

— Да.

— В Четэмской башне?

— Да, это его фляга, — произнес повар, — он был мне приятель. Я храню ее как память. Когда-то мы еще свидимся с ним? Да, это его поясная фляга.

Доктор снова взялся за перо и опять начал с трудом выводить букву за буквой: строчки ложились криво, но он явно старался писать разборчиво. Рука у него тряслась от старости, судно сотрясала качка, и все же он довел до конца свою запись.

Он кончил во-время, ибо как раз а эту минуту налетел шквал.

Волны приступом пошли на урку, и все бывшие на борту почувствовали, что началась та ужасающая пляска, которой корабли встречают бурю.

Доктор встал и, несмотря на сильную качку удерживая равновесие, подошел к плите, высушил, насколько это было возможно, на огне только что написанные строки, снова сложил пергамент, сунул его в бумажник, а самый бумажник вместе с чернильницей спрятал в карман.

Плита благодаря своему остроумному устройству занимала далеко не последнее место среди оборудования урки; она была расположена в части судна, наименее подверженной качке. Однако теперь котел сильно трясло. Провансалец не спускал с него глаз.

— Похлебка из рыбы, — сказал он.

— Для рыбы, — поправил его доктор.

И возвратился на палубу.

6. Они уповают на помощь ветра

Охваченный все возраставшей тревогой, доктор постарался выяснить положение дел. Тот, кто в эту минуту оказался бы рядом с ним, мог бы расслышать сорвавшуюся с его уст фразу:

— Слишком сильна боковая качка и слишком слаба килевая.

И, поглощенный мрачным течением своих

мыслей, он снова погрузился в раздумье, подобно тому как рудокоп спускается в шахту.

Размышления нисколько не мешали ему наблюдать за тем, что происходило на море. Наблюдать море — значит размышлять.

Начиналась жестокая пытка водной стихии, от века терзаемой бурями. Из морской пучины вырывался жалобный стон. На всем безмерном пространстве ее совершались зловещие приготовления. Доктор смотрел на все творившееся у него перед глазами, не упуская ни малейшей подробности. Но его взгляд не был взглядом созерцателя. Нельзя спокойно созерцать ад.

Начинался пока еще мало приметный сдвиг воздушных слоев, однако уже проявивший себя в смятении океана, усиливший ветер и волны, сгустивший тучи. Нет ничего более последовательного и вместе с тем более вздорного, чем океан. Неожиданные прихоти его соприродны его могуществу и составляют один из элементов величия океана. Его волна не ведает ни покоя, ни бесстрастия. Она сливается с другой волной, чтобы тотчас же отхлынуть назад. Она то нападает, то отступает. Ничто не сравнится с зрелищем бушующего моря. Как живописать эти почти невероятные в своей непрерывной смене

провалы и взлеты, эти исполинские зыблющиеся холмы и ущелья, эти едва воздвигнутые и уже рушащиеся подпоры? Как изобразить эти кущи пены на гребнях сказочных гор? Здесь все неописуемо — и эта разверстая бездна, и ее угрюмо-тревожный вид, и ее совершенная безликость, и эта светотень, и низко нависшие тучи, и внезапные разрывы облаков над головой, и их беспрестанное, неуловимое глазом таяние, и зловещий грохот, сопровождающий этот дикий хаос.

Ветер стал дуть прямо с севера. Ярость, с которой он налетал на судно, была как нельзя более кстати, ибо порывы его гнали урку от берегов Англии; владелец «Матутины» решил поднять все паруса. Вся в хлопьях пены, подгоняемая ветром, дувшим прямо в корму, урка неслась как будто вскачь, с бешеным весельем перепрыгивая с волны на волну. Беглецы заливались смехом. Они хлопали в ладоши, приветствуя волны, ветер, паруса, быстроту хода, свое бегство и неведомое будущее. Доктор, казалось, не замечал их; он был погружен в задумчивость.

Померкли последние лучи заката.

Они угасли как раз в ту минуту, когда ребенок, стоя на отдаленном утесе и пристально глядя на

урку, потерял ее из виду. До этого мгновения его взор был прикован к судну. Какую роль в судьбе беглецов сыграл этот детский взор? Когда ребенок не мог уже ничего различить на горизонте, он повернулся и пошел на север, между тем как судно уносилось на юг.

Все потонуло во мраке ночи.

7. Священный ужас

А те, кого уносила на своем борту урка, с чувством радостного облегчения смотрели, как отступает все дальше и уменьшается в размерах враждебная земля. Мало-помалу перед ними, округляясь, все выше вздувалась мрачная поверхность океана, и в сумерках скрывались один за другим Портленд, Пербек, Тайнем, Киммридж и оба Матравера, длинный ряд мглистых утесов и усеянный маяками берег.

Англия скрылась из виду. Только море окружало теперь беглецов.

И вдруг наступила страшная темнота.

Ни расстояния, ни пространства уже не существовало; небо стало совершенно черным и непроницаемой завесой протянулось над судном. Медленно начал падать снег. Закружились первые хлопья. Казалось, это кружатся живые существа. В непроглядном мраке бушевал на

просторе ветер. Люди почувствовали себя во власти стихии. На каждом шагу их подстерегала ловушка.

Именно такой глубокой тьмой обычно начинается в наших широтах полярный смерч.

Огромная бесформенная туча, похожая на брюхо гидры, тяжко нависла над океаном, в иных местах своей серо-свинцовой утробой вплотную соприкасаясь с волнами. Иногда она приникала к нему чудовищными присосками, похожими на лопнувшие мешки, которые втягивали в себя воду и выпускали клубы пара. Они поднимали то там, то здесь на поверхности волн конусообразные холмы пены.

Полярная буря обрушилась на урку, и урка ринулась в самую гущу ее. Шквал и судно устремились друг другу навстречу, словно бросились в рукопашную.

Во время этой первой неистовой схватки ни один парус не был убран, ни один кливер не спущен, не взят ни один риф — до такой степени бегство граничило с безумием. Мачта трещала и перегибалась назад, точно отпрянув в испуге.

Циклоны в нашем северном полушарии вращаются слева направо, в направлении часовой стрелки, и в своем поступательном движении

проходят иногда до шестидесяти миль в час. Хотя урка оказалась всецело во власти яростного вихря, она держалась так, как держится судно при умеренном ветре, стараясь только идти наперерез волне, подставляя нос первому порыву ветра, правый борт — последующим, благодаря чему ей удавалось избегать ударов в корму и в борта. Такая полумера не принесла бы ни малейшей пользы, если бы ветер стал менять направление.

Откуда-то сверху, с недосягаемой высоты, доносился протяжный мощный гул.

Что можно сравнить с ревущей бездной? Это оглушительный звериный вой целого мира. То, что мы называем материей, это непознаваемое вещество, этот сплав неизмеримых сил, в действии которых обнаруживается едва ощутимая, повергающая нас в трепет воля, этот слепой хаос ночи, этот непостижимый Пан иногда издает крик — странный, долгий, упорный, протяжный крик, еще не ставший словом, но силою своей превосходящий гром. Этот крик и есть голос урагана. Другие голоса — песни, мелодии, возгласы, речь — исходят из гнезд, из нор, из жилищ, они принадлежат наседкам, воркующим влюбленным, брачующимся парам; голос же урагана — это голос из великого Ничто, которое есть Все.

Живые голоса выражают душу вселенной, тогда как голосом урагана вопит чудовище, ревет бесформенное. От его косноязычных вещаний захватывает дух, объемлет ужас. Гулы несутся к человеку со всех сторон. Они перекликаются над его головой. Они то повышаются, то понижаются, плывут в воздухе волнами звуков, поражают разум тысячью диких неожиданностей, то разражаясь над самым ухом пронзительной фанфарой, то исходя хрипами где-то вдалеке; головокружительный гам, похожий на чей-то говор, — да это и в самом деле говор; это тщится говорить сама природа, это ее чудовищный лепет. В этом крике новорожденного глухо прорывается трепетный голос необъятного мрака, обреченного на длительное, неизбывное страдание, то приемлющего, то отвергающего свое иго. Чаще всего это напоминает бред безумца, приступ душевного недуга; это скорее эпилептические судороги, чем сила, направленная к определенной цели; кажется, будто видишь воочию бесконечность, бьющуюся в припадке падучей. Временами начинает казаться, что стихии предъявляют своя встречные права и хаос покушается снова завладеть вселенной. Временами это жалобный стон причитающего и в чем-то оправдывающегося

пространства, нечто вроде защитительной речи, произносимой целым миром; в такие минуты приходит в голову, что вся вселенная ведет спор; прислушиваешься, стараясь уловить страшные доводы за и против; иногда стон, вырывающийся из тьмы, неопровержим, как логический силлогизм. В неизъяснимом смущении останавливается перед этим человеческая мысль. Вот где источник возникновения всех родов мифологии и политеизма. Ужас, вызываемый этим оглушительным и невнятным рокотом, усугубляется мгновенно возникающими и столь же быстро исчезающими фантастическими образами сверхчеловеческих существ: еле различимые лики эвменид, облакоподобная грудь фурий, адские химеры[54]

, в реальности которых почти невозможно усомниться. Нет ничего страшнее этих рыданий, взрывов хохота, многообразных возгласов, этих непостижимых вопросов и ответов, этих призывов о помощи, обращенных к неведомым союзникам. Человек теряется, слыша эти жуткие заклинания. Он отступает перед загадкой свирепых и жалобных воплей. Каков их скрытый смысл? Что означают они? Кому угрожают, кого умоляют они? В них чудится бешеная злоба.

Яростно перекликается бездна с бездной, воздух с водою, ветер с волной, дождь с утесом, зенит с надиром, звезды с морскою пеной, несется вой пучины, сбросившей с себя намордник, — таков этот бунт, в который замешалась еще и таинственная распря каких-то злобных духов.

Многоречивость ночи столь же зловеща, как и ее безмолвие. В ней чувствуется гнев неведомого.

Ночь скрывает чье-то присутствие. Но чье?

Впрочем, следует различать ночь и потемки. Ночь заключает в себе нечто единое; в потемках есть известная множественность. Недаром грамматика, со свойственной ей последовательностью, не допускает единственного числа для слова «потемки». Ночь — одна, потемок много.

Разрозненное, беглое, зыбкое, пагубное — вот что представляет собою покров ночной тайны. Земля пропадает у нас под ногами, вместо нее возникает иная реальность.

В беспредельном и смутном мраке чувствуется присутствие чего-то или кого-то живого, но от этого живого веет на нас холодом смерти. Когда закончится наш земной путь, когда этот мрак станет нам светом, тогда и мы станем частью этого неведомого мира. А пока — он протягивает к нам

руку. Темнота — его рукопожатие. Ночь налагает свою руку на нашу душу. Бывают ужасные и торжественные мгновения, когда мы чувствуем, как овладевает нами этот посмертный мир.

Нигде эта близость неведомого не ощущается более явственно, чем на море, во время бури. Здесь ужас возрастает от фантастической обстановки. Древний тучегонитель, по своему произволу меняющий течение людских жизней, располагает здесь всем, что ему требуется для осуществления любой своей причуды: непостоянной, буйной стихией и рассеянными повсюду равнодушными силами. Буря, природа которой остается для нас тайной, только исполняет приказания, ежеминутно повинуясь внушениям чьей-то мнимой или действительной воли.

Поэты всех времен называли это прихотью волн.

Но прихоти не существует.

Явления, повергающие нас в недоумение и именуемые нами случайностью в природе и случаем в человеческой жизни — следствия законов, сущность которых мы только начинаем постигать.

8. Nix et nox — Снег и ночь

Характерным признаком снежной бури является ее чернота. Обычная картина во время

грозы — помрачневшее море или земля и свинцовое небо — резко изменяется: небо становится черным, океан — белым. Внизу — пена, вверху — мрак. Горизонт заслонен стеною мглы, зенит занавешен крепом. Буря напоминает внутренность собора, задрапированную траурной материей. Но никакого освещения в этом соборе нет. Нет ни огней святого Эльма на гребнях волн, нет ни одной искорки, ни намека на фосфоресценцию — куда ни глянь, сплошной мрак. Полярный циклон тем и отличается, между прочим, от циклона тропического, что один из них зажигает все огни, другой гасит их все до последнего. Над миром внезапно вырастает давящий каменный свод. В непроглядной тьме падают с неба, крутясь в воздухе, белые пушинки и постепенно опускаются в море. Пушинки эти не что иное, как снежные хлопья, — они порхают и кружатся в воздухе. Как будто с погребального покрова, раскинутого в небе срываются серебряные блестки и оживши-ми слезами падают одна за другой. Сеется снег, дует яростный северный ветер. Чернота, испещренная белыми точками, беснование во мраке, смятение перед разверзшейся могилой, ураган под катафалком — вот что представляет собою снежная буря.

Внизу волнуется океан, скрывающий страшные, неизведанные глубины.

При полярном ветре, насыщенном электричеством, хлопья снега мгновенно превращаются в градины, и воздух пронизывают маленькие ядра. Обстреливаемая этой картечью, поверхность моря кипит.

Ни одного удара грома. Во время полярной бури молния безмолвствует, и про нее можно сказать то же, что говорят иногда про кошку: «Она способна испепелить взглядом». Это — грозно разверстая пасть, не знающая пощады. Снежная буря — буря слепая и немая. Сплошь и рядом после того, как она пронеслась, корабли тоже становятся слепыми, а матросы немыми.

Выбраться из этой бездны нелегко.

Было бы, однако, ошибкой думать, что в снежную бурю кораблекрушение неизбежно. Датские рыболовы из Диско и Балезена, охотники за черными китами, Хирн, отправившийся к Берингову проливу отыскивать устье реки Медных Залежей, Гудсон, Мекензи, Ванкувер, Росс, Дюмон-Дюрвиль — все они за полярным кругом попадали в полосу страшных снежных бурь и все же остались невредимы.

Навстречу такой буре и устремилась дерзко

урка, распустив все паруса. Безумие против безумия. Когда Монтгомери, спасаясь бегством из Руана, приказал гребцам своей галеры налечь на весла, чтобы с размаху прорвать цепь, загораживающую Сену у Буйля, он действовал с той же отвагой.

«Матутина» летела стрелой. По временам, несясь под парусами, она давала такой ужасный крен, что угол, образуемый ее бортом и поверхностью моря, не превосходил пятнадцати градусов, но ее отличный закругленный киль прилегал к волне, словно приклеенный. Киль противостоял напору урагана. Носовая часть судна освещалась фонарем. Туча, с приближением которой усилился ветер, все ниже нависала над океаном, суживая и поглощая пространство вокруг урки. Ни одной чайки. Ни одной ласточки, гнездящейся на скалах. Ничего, кроме снега. Клочок водной поверхности, освещенный фонарем впереди корабля, внушал ужас. На нем вздымались три-четыре вала исполинских размеров.

Время от времени огромная молния цвета красной меди вспыхивала, рассекая черные напластования тьмы от зенита до горизонта. Прорезанная ее алым сверканием, толща туч казалась еще более грозной. Пламя пожара, вне-

запно охватывавшего ее глубины, озаряя на миг передние облака и хаотическое их нагромождение вдалеке, открывало взорам всю бездну. На этом огненном фоне хлопья казались черными бабочками, залетевшими в пылающую печь. Потом все гасло.

После первого натиска ураган, продолжая подгонять урку, принялся реветь глухим басом. Это — вторая фаза, фаза зловещего замирания грохота. Нет ничего тревожнее такого монолога бури. Этот угрюмый речитатив как будто прерывает на время борьбу таинственных противников и свидетельствует о том, что в мире неведомого кто-то стоит на страже.

Урка по-прежнему с безумной скоростью мчалась вперед. Оба ее главных паруса были напряжены до предела. Небо и море стали чернильного цвета, брызги пены взлетали выше мачты. Потоки воды то и дело захлестывали палубу, и всякий раз, когда в боковой качке судно накренялось то правым, то левым бортом, клюзы, подобно раскрытым ртам, изрыгали пену обратно в море. Женщины укрылись в каюте, но мужчины оставались на палубе. Снежный вихрь слепил им глаза. Волны плевали им прямо в лицо. Все вокруг было охвачено неистовством.

В эту минуту главарь шайки, стоявший на корме, на транце, уцепившись одной рукой за ванты, другой сорвал с головы платок и, размахивая им при свете фонаря, с развевающимися по ветру волосами, с лицом, просиявшим от горделивой радости, опьяненный дыханием бури, крикнул:

— Мы свободны!

— Свободны! Свободны! Свободны! — вторили ему беглецы.

И вся шайка, держась за снасти, выстроилась на палубе.

— Ура! — крикнул вожак.

И шайка проревела в бурю:

— Ура!

Не успел еще замереть этот крик, заглушенный воем ветра, как на противоположном конце судна раздался громкий суровый голос:

— Молчать!

Все повернули головы в ту сторону.

Они узнали голос доктора. Вокруг царила непроглядная тьма; доктор прислонился к мачте, его высокая худая фигура сливалась с нею, его совсем не было видно.

Голос продолжал:

— Слушайте!

Все замолкли.

И тогда во мраке явственно прозвучал звон колокола.

9. Бурное море предостерегает

Владелец урки, державший румпель, разразился хохотом:

— Колокол! Отлично! Мы идем левым галсом. Что означает этот колокол? Только одно: вправо от нас земля.

Медленно выговаривая каждое слово, доктор твердо сказал:

— Вправо от нас нет земли.

— Есть! — крикнул судохозяин.

— Нет.

— Но ведь звон-то доносится с земли.

— Этот звон, — ответил доктор, — доносится с моря.

Даже наиболее бесстрашные из беглецов вздрогнули.

У входа в каюту, словно призраки, вызванные заклинанием, показались испуганные женщины. Доктор сделал шаг вперед, и его высокий черный силуэт отделился от мачты. Звон колокола был явственно слышен во мраке ночи.

— Среди моря, на полпути между Портлендом и Ла-Маншским архипелагом, находится буй, предостерегающий суда об опасности. Буй

этот цепями прикреплен к отмели я плавает на поверхности воды. На буе на железных козлах подвешен колокол. В непогоду море, волнуясь, раскачивает буй, и колокол звонит. Этот колокол вы и слышите теперь.

Доктор выждал, чтобы улегся порыв ветра, и когда снова долетел звон колокола, продолжал:

— Слышать этот звон во время бури, когда дует северный ветер, равносильно смертному приговору. Почему? Сейчас объясню. Если вы слышите звуки колокола, то лишь потому, что их доносит ветер. Ветер дует с запада, а буруны Ориньи лежат на востоке. До вас не долетали бы эти звуки, не находись вы между буем и бурунами. Ветер гонит вас прямо на риф. Вы мчитесь навстречу опасности. Если бы судно не сбилось с курса, вы были бы в открытом море, на значительной глубине, и не слышали бы колокола. Ветер не доносил бы до вас его звона. Вы прошли бы около буя, не подозревая о его существовании. Мы сбились с пути. Колокол — это набат, возвещающий о кораблекрушении. А теперь решайте сами, как быть!

Во время речи доктора удары колокола, лишь слегка раскачиваемого утихшим ветром, стали реже; долетая через правильные промежутки, они как будто подтверждали слова старика. Ка-

залось, в морской пучине раздается похоронный звон.

Задыхаясь от ужаса, беглецы внимали то голосу старика, то звону колокола.

10. Буря — лютая дикарка

Владелец урки схватил рупор.

— Cargate todo, hombres![55]

Отдай шкоты! Тяни виралы! Спускай драйперы у нижних парусов! Забираем на запад! Подальше в море! Правь на буй! Правь на колокол! Там развернемся! Не все еще потеряно!

— Попробуйте, — сказал доктор.

Заметим здесь мимоходом, что этот буй, нечто вроде колокольни, был уничтожен в 1802 году. Старые моряки еще помнят его звон. Он предупреждал об опасности, но немного поздно.

Все кинулись исполнять приказания владельца урки. Уроженец Лангедока взял на себя роль третьего матроса. Работа закипела. Паруса не только убрали, но и закрепили; подтянули сезьни, завязали узлом нок-гордени, бак-гордени и гитовы, накрутили концы на стропы, превратив последние в ванты: наложили шкало на мачту; наглухо забили полупортики, благодаря чему судно оказалось как бы обнесенным стеной. Хотя все это делалось второпях, однако по всем правилам.

Урка приняла вид гибнущего корабля. Но по мере того как она, убирая свой такелаж, уменьшалась в размерах, волны и ветер все свирепей обрушивались на нее. Валы достигали почти такой же высоты, какой бывают они за полярным кругом.

Ураган, словно палач, спешащий прикончить свою жертву, стал рвать урку на части. В мгновение ока она подверглась невероятному опустошению: марсели были сорваны, фальшборт снесен, галс-боканцы выбиты, ванты превращены в клочья, мачта сломана — все это с треском и грохотом разлетелось в разные стороны. Толстые перлини — и те не выдержали.

Магнитное напряжение, сопутствующее обычно снежным бурям, еще более способствовало разрыву снастей. Они лопались столько же от напора ветра, сколько от действия тока. Цепи, соскочив с блоков, больше не поддерживали рей. Скулы в носовой части и корма на всем протяжении от бизань-русленей до гакаборта сплющивались от страшного давления. Первой волною смыло компас вместе с нактоузом; второй унесло шлюпку, подвешенную по старинному астурийскому обычаю к бушприту; третьей сорвало блинда-рей; четвертой — статую богородицы и фонарь.

Уцелел один лишь руль.

Фонарь заменили крупной гранатой, которую повесили на форштевне, наполнив ее горящей смолой и паклей.

Мачта, сломанная пополам, унизанная сверху донизу клочьями парусов, обрывками снастей, остатками блоков и рей, загромождала палубу. Падая, она пробила правый борт.

Судовладелец, не выпускавший ни на минуту румпеля, крикнул:

— Ничего еще не потеряно, пока мы можем управлять судном. Подводная часть совсем не повреждена! Давай сюда топоры! Топоры! Мачту в море! Расчищай палубу!

Экипаж и пассажиры работали с тем лихорадочным возбуждением, какое появляется у людей в самые решительные моменты жизни. Несколько взмахов топора, и дело было сделано.

Мачту выкинули за борт. Палуба была очищена.

— А теперь, — продолжал судохозяин, — возьмите фал и принайтовьте меня к рулю.

Его привязали к румпелю.

Пока его привязывали, он смеялся. Он крикнул морю:

— Реви, старина, реви! Видывал я и почище

бури у мыса Мачичако!

Когда его всего обкрутили канатами, он обеими руками схватился за румпель и заорал в порыве восторга, который вызывает в нас борьба с опасностью:

— Все идет отлично! Слава Буглосской божьей матери! Держим курс на запад!

Внезапно сбоку налетела огромная волна и хлынула на корму. Во время бури не раз поднимается такой свирепый вал: как беспощадный тигр, он сначала крадется по морю ползком, потом с рычанием и скрежетом набрасывается на гибнущий корабль и превращает его в щепы. Вей кормовая часть «Матутины» скрылась под горою пены, и в ту же минуту среди черного хаоса налетевших хлябей раздался громкий треск. Когда пена схлынула и из воды снова показалась корма, на ней не было уже ни судохозяина, ни руля.

Все исчезло бесследно.

Руль вместе с привязанным к нему человеком унесло волной в ревущий водоворот.

Главарь шайки, пристально всматриваясь в окружавшую темноту, воскликнул:

— Te burlas de nosotros?[56]

Вслед за этим негодующим криком раздался другой:

— Бросим якорь! Спасем хозяина!

Кинулись к кабестану. Отдали якорь. На урках бывает только один якорь. Попытка привела к тому, что «Матутина» потеряла своя единственный якорь. Дно было скалистое, волнение неистовое. Канат порвался, как волосок.

Якорь остался на дне морском.

От водореза сохранилась лишь фигура ангела, глядевшего в подзорную трубу.

С этой минуты урка сделалась добычей волн. «Матутина» была безнадежно оголена. Это судно, еще совсем недавно крылатое, можно сказать — грозное в своем стремительном беге, было теперь совершенно беспомощно. Вся оснастка была сорвана и пришла в полную негодность. Точно окаменев, оно без сопротивления подчинилось яростному произволу волн. В несколько мгновений парящий орел превратился в ползающего калеку: такие метаморфозы возможны только на море.

Порывы шторма ежеминутно возрастали, приобретая чудовищную силу. У бури — исполинские легкие. Она беспрестанно нагнетает новый ужас, сгущает мрак, хотя он как будто и не допускает, по самой своей сущности, никаких градаций. Колокол посреди моря отчаянно гудел, словно его

раскачивала чья-то безжалостная рука.

«Матутина» неслась по воле волн. Так носится пробка, перескакивая с гребня на гребень. Она то ныряла, то снова всплывала наверх. Казалось, каждую минуту она может перевернуться, как мертвая рыба, брюхом кверху. Единственное, что спасало урку от гибели, — это прочность корпуса, не давшего ни малейшей течи. Сколько ни трепала ее буря, все доски внутренней обшивки были на месте. Не было ни одной трещины или щели, ни одна капля воды не попала в трюм. Это было чрезвычайно важно, ибо насос испортился и не действовал.

Урка прыгала по волнам в какой-то дикой пляске. Палуба судорожно вздымалась и опускалась, как диафрагма человека, которого тошнит. Казалось, она всячески старается изрыгнуть ютившихся на ней людей. Они же, не в силах ничего предпринять, только цеплялись за безжизненно повисшие снасти, за доски, за краспис, за рустов, за линьки, за обломки вздувшихся переборок, гвоздями раздиравшие им руки, за искривленные ридерсы, за самые незначительные выступы на всем, что еще оставалось после катастрофы. Время от времени они прислушивались. Звон колокола доносился все слабее и слабее.

Казалось, он тоже был в агонии. Его удары напоминали прерывистое хрипение умирающего. Но вот и оно прекратилось. Где же они находились? В каком расстоянии от буя?

Звон колокола испугал их, его молчание повергло их в ужас. Ветер гнал их, быть может, туда, откуда нет возврата. Они чувствовали, что новый яростный шторм мчит их к чему-то страшному. Остов «Матутины» несся неизвестно куда среди непроглядной тьмы. Нет ничего ужаснее стремительного движения навстречу неведомой цели. Со всех сторон — впереди них, сзади них и под ними — зияла бездна. Это не было уже бегом, это было стремительным падением.

Вдруг сквозь оплошную завесу снежной метели мелькнуло что-то красное.

— Маяк! — закричали погибающие.

11. Каскеты

Это был действительно Каскетский маяк.

В девятнадцатом столетии маяк — это высокое конусообразное; каменное сооружение, вверху которого находится осветительный аппарат, устроенный по всем правилам науки. В частности, Каскетский маяк в настоящее время представляет собою тройную башню с тремя вращающимися огнями. Световые приборы,

приводимые в движение при помощи часовых механизмов, совершают оборот вокруг своей оси с такой точностью, что вахтенный, наблюдающий их огни в открытом море, успевает сделать десять шагов по палубе во время проблеска и двадцать пять во время затмения. Вся система построена на строжайшем расчете как фокусных расстояний, так и вращающегося восьмигранного барабана, образованного восемью ступенчатыми плосковыпуклыми стеклами, сверху и снизу которых помещаются диоптрические зеркала; эта тончайшая аппаратура защищена от напора ветра и от прибоя волн литыми миллиметровыми стеклами; однако даже такие стекла иногда разбивают своим клювом морские орлы, налетающие, как огромные ночные мотыльки, на исполинские фонари маяков. Здание, заключающее в себе этот механизм и служащее ему как бы оправой, отличается не меньшей математической точностью устройства. Все в нем просто, соразмерно, целесообразно, строго, стройно. Маяк — это цифра.

В семнадцатом веке маяк был, так сказать, пышным украшением земли на берегу моря. Башня маяка привлекала к себе внимание вычурным великолепием своей архитектуры. Она была перегружена множеством балконов, балюстрад,

башенок, ниш, беседок, флюгеров. Сверху донизу ее усеивали лепные украшения в виде голов, статуи, решетки, завитки, рельефы, фигурки, дощечки с надписями. Pax in bello[57]

— гласил Эддистоунский маяк. Заметим мимоходом, что это провозглашение мира не всегда обезоруживало океан. Уинстенлей воспроизвел эту надпись на маяке, сооруженном им на свои средства в дикой местности близ Плимута. По окончании постройки он поселился в башне, желая лично проверить, как выдержит она бурю. Но буря налетела и унесла в море и маяк и Уинстенлея. Эти чрезмерно затейливые сооружения, со всех сторон открытые ветрам, навлекали на себя ярость ураганов, подобно тому как генералы в цветных, расшитых золотом мундирах оказываются во время битвы наиболее уязвимой целью. Помимо украшений из камня, на маяках были украшения из железа, меди, дерева; металлические части изобиловали рельефами, деревянные — всякого рода выступами. По наружным стенам маяка, вделанные среди арабесок, лепились всевозможные снаряды, годные и непригодные к употреблению: лебедки, тали, блоки, багры, лестницы, грузоподъемные краны, дреки. На самой вершине башни, вокруг фонаря, на кованых,

искусной работы кронштейнах были утверждены огромные железные подсвечники, в которые вставлялись куски просмоленного каната, — этих факелов не мог погасить самый сильный ветер. Вся башня сверху донизу была убрана морскими флагами, вымпелами, флюгарками, знаменами, султанами, наметами, укрепленными на флагштоках и поднимающимися от яруса к ярусу до самого фонаря; эта пестрая смесь разноцветных флагов, гербов различной формы и сигналов во время бури живописной массой лоскутьев весело развевалась вокруг пылавшего пламени. Дерзкий огонь на краю пучины походил на вызов и пробуждал отвагу у мореплавателей, терпевших бедствие в море. Но Каскетский маяк совсем не был похож на эти маяки.

В ту пору это был простой старинный, самого примитивного устройства маяк, воздвигнутый по приказанию Генриха I после гибели «Бланш-Нефа»[58]

: на вершине утеса в железной клетке горел костер — высокая груда углей, обнесенная решеткой, и ветер раздувал языки пламени.

Единственным усовершенствованием, сделанным в этом маяке со времени его сооружения в двенадцатом веке, были кузнечные мехи, приво-

димые в движение зубчатым колесом с каменной гирей; их присоединили к железной клетке в 1610 году.

Для морских птиц эти старинные маяки представляли несравненно большую опасность, чем нынешние. Привлеченные ярким светом, птицы слетались на огонь и попадали прямо в костер; там они прыгали, как адские духи, корчась в предсмертных судорогах; иногда они вырывались из раскаленной клетки и падали на скалу, обугленные, искалеченные, ослепленные, как падает ночная мошкара, обгоревшая в пламени лампы.

Вполне оснащенному судну, повинующемуся воле кормчего, Каскетский маяк нередко оказывает услугу. Он кричит ему: «Берегись!» Он предупреждает его о близости рифа. Но для судна, потерявшего и такелаж и руль, он только страшен. Оголенный остов корабля, беспомощный, бессильный в борьбе с бешеным натиском волн, беззащитный против шторма, — рыба без плавников, бескрылая птица, — он может плыть лишь туда, куда его гонит ветром. Маяк указывает ему роковое место, где его ждет неминуемая гибель, освещает его могилу. Маяк для него — погребальный факел.

Озарять путь к неотвратимому, предупреждать о неизбежном — какая трагическая насмешка!

12. Поединок с рифом

Несчастные, погибавшие на «Матутине», сразу же поняли горькую насмешку судьбы. При виде маяка они сначала приободрились, затем пришли в отчаяние. У них не было выхода, они ничего не могли предпринять. К волнам вполне применимо изречение, относящееся к царям: всякий, кто им подвластен, становится их жертвой. Хочешь не хочешь, надо терпеть все их безрассудства. Ветер гнал урку на Каскеты. Приходилось плыть по воле ветра. Сопротивляться было невозможно. Судно быстро несло на риф. Беглецы чувствовали, что дно мелеет; если бы измерение лотом имело для них какой-либо смысл, они убедились бы, что глубина моря здесь не больше трех-четырех брассов. Они прислушивались к глухому рокоту волн, врывающихся в расщелины подводных скал. Они различали у подножия маяка, между двумя гранитными выступами, темную полоску — узкий пролив, соединявший с океаном страшную бухточку, на дне которой, как можно было предположить, покоилось немало человеческих скелетов и разбитых остовов кораблей. Это был скорее зев пещеры, чем вход в гавань. С верши-

ны маяка доносилось потрескивание костра в железной клетке, его багровые вспышки угрюмо освещали картину бури, пламя, сталкиваясь с градом, разрывало пелену тумана, черная туча, словно змей, сцепившийся со змеем, вступала в схватку с красным дымом, взлетали, подхваченные ветром, мелкие горящие головешки, и снежные хлопья, казалось, обращались в бегство перед внезапным натиском искр. Контуры рифов, вначале еле заметные, теперь выступали совершенно отчетливо — беспорядочное нагромождение скал с их пиками, гребнями и ребрами. Очертания углов обозначались ярко-алыми линиями, а скаты — кровавыми огненными бликами. По мере того как они приближались к рифу, его громада, разрастаясь ввысь и вширь, становилась все более зловещей.

Одна из женщин, ирландка, исступленно перебирала четки.

Обязанности лоцмана, лежавшие на погибшем судохозяине, пришлось взять на себя главарю шайки, который был капитаном. Баски все без исключения отлично знают горы и море. Они не боятся пропастей и не теряются при кораблекрушениях.

Судно подходило к самому рифу — вот-вот

налетит на него. Внезапно северный склон Каскетов оказался так близко, что гранитная их стена сразу заслонила собою маяк. Виден был только утес да свет, пробивавшийся из-за него. Скала, выступавшая из тумана, напоминала женскую фигуру в черном с огненным чепцом на голове.

Эта скала, пользующаяся дурной славой, носит название Библе. Она является крайней северной точкой рифа, ограниченного с юга другим утесом, известным под именем Этак-о-Гильме.

Главарь шайки, окинув взглядом Библе, крикнул:

— Не найдется ли охотника доплыть с перлинем до бурунов? Кто умеет плавать?

Ответа не последовало.

Никто из находившихся на борту не умел плавать, даже матросы, — явление, довольно обычное среди моряков.

Наполовину оторвавшийся от бортовой обшивки лонгкарлинс болтался на скрепах. Главарь шайки схватил его обеими руками и сказал:

— Помогите мне.

Лонг-карлинс оторвали совсем. Теперь им можно было пользоваться как угодно. Из орудия обороны он стал наступательным орудием.

Это было довольно длинное бревно, вырезанное

из сердцевины дуба, крепкое и толстое, одинаково пригодное и для нападения и для упора; оно могло служить и рычагом для подъема груза и тараном для разрушения башни.

— Становись! — крикнул главарь.

Все шестеро, выстроившись в ряд и упершись изо всех сил в обломок мачты, держали лонг-карлинс горизонтально за бортом, как копье, направленное в ребро утеса.

Это был опасный маневр. Атаковать гору — дерзость немалая. Все шестеро могли быть сброшены в воду обратным толчком.

Борьба с бурей чревата неожиданностями. Вслед за штормом — риф. На смену ветру — гранит. Приходится иметь дело то с неуловимым, то с несокрушимым.

Наступила одна из тех минут, когда у людей сразу седеют волосы.

Риф и судно должны были вступить друг с другом в схватку.

Утес терпелив. Он спокойно выжидал этого мгновения.

Набежала волна и положила конец ожиданию. Она подхватила судно снизу, приподняла его на своем гребне и с минуту раскачивала, как праща раскачивает камень.

— Смелей! — крикнул главарь. — Ведь это всего только утес, а мы — люди!

Бревно держали наготове. Все шесть человек как бы срослись с ним. Острые шипы лонг-карлинса врезались им в подмышки, но никто не почувствовал боли.

Волна швырнула урку на скалу.

Столкнувшись, они окрылись в бесформенном облаке пены, которое всегда готово скрыть от взоров такие столкновения.

Когда пенное облако скатилось в море и волна отхлынула от утеса, все шесть человек лежали на палубе; но «Матутина» уже огибала буруны. Бревно выдержало испытание, и толчок повлек за собой изменение курса. В несколько секунд урка, унесенная бешеным течением, оставила Каскеты далеко позади себя. «Матутина» на время оказалась вне опасности.

Такие случаи нередки. Удар бушприта о скалу спас от гибели Вуда де Ларго в устье Тея. В опасном месте, близ мыса Уинтертона, оттолкнувшись ганшпугом от страшного Бранноумского утеса, капитан Гамильтон предотвратил гибель находившегося под его командой судна «Ройял Мери», хотя это был хрупкий фрегат шотландского типа. Волна — сила, подверженная мгновенному спаду,

который делает если не легким, то во всяком случае возможным перемену галса, даже при сильнейшем толчке. В буре есть что-то животное: ураган — как бык: его можно ввести, в обман.

Перейти от движения по секущей к движению по касательной — вот весь секрет того, как избегнуть кораблекрушения.

Именно такую услугу и оказал судну лонг-карлинс. Он сыграл роль весла, он заменил собою руль. Но этим спасительным маневром можно было воспользоваться лишь однажды; повторить его уже было невозможно: бревно унесло в море. Силою толчка оно было выбито из рук людей, переброшено через борт и кануло в волны. Оторвать же второй лонг-карлинс значило бы расшатать самый кузов.

Ураган снова подхватил «Матутину». Через мгновение Каскеты вырисовывались уже на горизонте беспорядочной грудой камней. В подобных случаях у рифов бывает смущенный вид. В природе, еще далеко не изученной нами до конца, зримое как будто находит свое дополнение в незримом, и скалы угрюмо смотрят неподвижным взглядом вам вслед, негодуя, что добыча вырвалась у них из рук.

Именно так выглядели Каскеты, когда от них

убегала «Матутина».

Маяк, отступая назад, бледнел, тускнел, затем пропал из глаз.

Его исчезновение вселило тоску. Густая пелена тумана заволокла растекавшийся во мгле багровый свет. Его лучи растворились в необъятности водной стихии. Пламя побарахталось немного на волнах, пытаясь еще бороться, потом поникло, нырнуло, как будто пошло ко дну. Костер превратился в огарок, еле мерцавший бледным огоньком. Вокруг него расплывалось кольцо мутного сияния, точно на дне пучины мрака кто-то раздавил ногой горящий светильник.

Умолк колокол, звучавший угрозой. Исчез из виду маяк, предостерегавший об опасности. Однако, когда тот и другой остались позади, беглецов объял еще больший ужас. Колокол был голосом, маяк был факелом. В них было нечто человеческое. Без них оставалась одна лишь пучина.

13. Лицом к лицу с мраком ночи

Урку снова захлестнули волны беспредельного мрака. Благополучно миновав Каскеты, «Матутина» теперь перепрыгивала с гребня на гребень бушующих волн. Отсрочка развязки среди хаоса. Урка металась из стороны в сторону, воспроизводя своими движениями безумные взлеты

пенистых валов. Она почти совсем не испытывала килевой качки — грозный признак агонии судна. Потерпевшие аварию суда подвержены лишь боковой качке. Килевая же — судороги борьбы. Только руль может повернуть судно против ветра.

Во время бури, особенно во время снежной бури, море и мрак в конце концов сливаются воедино и образуют одно неразрывное целое. Туман, метель, ветер, бесцельное кружение, отсутствие всякой опоры, невозможность выправить свой курс, сделать хотя бы короткую передышку, падение из одного провала в другой, полное исчезновение видимого горизонта, безнадежное движение вслепую — вот к чему свелось плавание урки.

Выбраться благополучно, из Каскетов, миновать рифы было для несчастных беглецов подлинной победой. Но эта победа повергла их в оцепенение. Они уже не приветствовали ее криками «ура»; в море не позволяют себе дважды такой неосторожности. Бросать вызов там, где не рискуешь бросать лот, — опасно.

Оттолкнуться от рифа значило осуществить невозможное. Это ошеломило гибнущих. Мало-помалу, однако, в их сердцах пробудилась

надежда. Человеческая душа всегда склонна уповать на чудо. Нет такого отчаянного положения, при котором в самый критический момент из глубины души не подымалась бы заря надежды. Несчастные так жаждали сказать себе: «Спасены!» У них уже готово было сорваться это слово.

Но вдруг во мраке ночи с левой стороны судна выросла какая-то чудовищная громада. Из тумана выступила и четко обозначилась высокая черная отвесная скала с прямыми углами — четырехугольная башня, возникшая из бездны.

Они смотрели на нее, пораженные.

Шторм гнал их прямо на нее.

Они не знали, что это такое. Это была скала Ортах.

14. Ортах

Опять начинались рифы. После Каскетов — Ортах. Буря не блещет фантазией: она груба, могуча и прибегает всегда к одним и тем же приемам.

Мрак неисчерпаем. Он вероломно таит в себе неисчислимые ловушки и козни. Человек же быстро расходует все свои средства. Человек выдыхается; бездна неистощима.

Глаза погибающих обратились к главарю, к единственному их защитнику. Но он только пожал плечами с угрюмым презрением к соб-

ственному бессилию.

Ортах — исполинский булыжник, поставленный дыбом посреди океана. Ортахский риф, представляющий собою сплошной массив, возвышается на восемьдесят футов над бушующими волнами. О него разбиваются и морские валы и корабли. Неподвижный гранитный куб отвесно погружает свои прямолинейные грани в бесчисленные змеиные извивы волнующегося моря.

Ночью его можно принять за огромную плаху, придавившую собой складки черного сукна на помосте. В бурю он ждет удара топора, или, что то же, удара грома. Грома, однако, при снежной буре не бывает. Правда, ночная темнота вполне заменяет для корабля повязку на глазах. Его ждет плаха, как осужденного на казнь преступника. Но на молнию, убивающую сразу, он не должен возлагать никаких надежд.

«Матутина», жалкая игрушка волн, понеслась навстречу этому утесу, как незадолго перед тем мчалась к другому рифу. Несчастные, уже считавшие себя спасенными, снова впали в отчаяние. Перед ними вновь возникал призрак кораблекрушения, который они оставили позади. Со дна моря опять вынырнул риф. Оттолкнувшись от скалы, они ничего не добились.

Каскеты — вафельница со множеством углублений; Ортах — сплошная стена. Потерпеть аварию у Каскетов — значит быть растерзанным на части; потерпеть аварию у Ортаха — значит быть расплющенным.

И все-таки у находившихся на борту урки была еще возможность спастись.

От отвесной скалы — а Ортах именно такая скала — волна не отскакивает рикошетом, подобно пушечному ядру. Она соскальзывает вниз. Это похоже на прилив и отлив. Она налетает валом, а отступает зыбью. В подобных случаях вопрос о жизни и смерти решается следующим образом: если вал бросит судно на скалу, оно разобьется вдребезги; если же волна отхлынет раньше, чем корабль достиг скалы, он окажется спасенным.

Сердце сжимала мучительная тревога. Погибавшие уже различали в полумраке приближение девятого вала.

Как далеко он увлечет их? Если волна ударит в борт, их отбросит к самому рифу, и тогда смерть неизбежна. Если же она пройдет под килем…

Волна прошла под килем.

Они облегченно вздохнули.

Но что будет с ними, когда она вернется? Куда умчит их отхлынувшая волна?

Волна умчала их в море.

Несколько минут спустя «Матутина» была уже далеко от рифа. Ортах постепенно скрывался из виду, как перед тем исчезли из виду Каскеты.

Вторая победа. Уже во второй раз урка была на краю гибели и счастливо избежала ее.

15. Portentosum mare — Море ужаса

Между тем густой туман со всех сторон окутал несчастных, носившихся по прихоти волн. Они не знали, где они. Они едва различали, что происходит на расстоянии нескольких кабельтовых от урки. Несмотря на крупный град, заставлявший всех наклонять головы, даже женщины упорно отказывались спуститься в каюту. Всякий, кто терпит бедствие на море, предпочитает погибнуть под открытым небом. Когда смерть так близка, потолок над головой начинает казаться крышкой гроба.

Волны, вздымаясь все выше и выше, вместе с тем становились короче. Нагромождение валов свидетельствует о том, что им приходится прорываться сквозь теснины: такое бурление волн всегда указывает на близость узкого пролива. Действительно, беглецы, сами не догадываясь о том, огибали Ориньи. Между Ортахом и Каскетами на западе и Ориньи на востоке море сжато

двойным рядом утесов. И там, где ему тесно, оно бурлит. Море, как и все на свете, не избавлено от страданий, и в тех местах, где оно испытывает боль, оно особенно яростно. Такой фарватер опасен для судов.

«Матутина» вступила в этот узкий проход.

Представьте себе под водою щит черепахи величиною с Гайд-Парк или с Елисейские Поля, на котором каждая бороздка была бы мелким протоком, а каждая выпуклость — скалой. Таковы подступы к Ориньи с запада. Море прикрывает и прячет эту западню для кораблей. Дробясь об острые грани подводных камней, волны скачут и пенятся. В тихую погоду это лишь плеск, но в бурю это хаос.

Люди на судне почуяли какую-то новую опасность, хотя не сразу могли ее себе объяснить. Вдруг они все поняли. Небо в зените немного посветлело, на море пал бледный тусклый свет, и с левого борта на востоке показалась длинная гряда утесов, на которую гнал урку вновь усилившийся ветер. Эта гряда была Ориньи.

Что представляла собою эта преграда? Они задрожали от ужаса. Они ужаснулись бы гораздо больше, если бы кто-нибудь сказал им, что это Ориньи.

Нет острова более недоступного для человека, чем Ориньи. И над водой и под водой его охраняет свирепая стража, передовым постом которой является Ортах.

На западе — Бюру, Сотерьо, Анфрок, Ниангль, Фон-дю-Крок, Жюмель, Гросс, Кланк, Эгийон, Врак, Фосс-Мальер; на востоке — Сокс, Омо, Флоро, Бринбете, Келенг, Кроклиу, Фурш, Со, Нуар-Пют, Купи, Орбю. Что это за чудовища? Гидры? Да, из породы рифов.

Один из этих утесов называется Бю (цель), словно в знак того, что здесь конец всякому странствованию.

Это нагромождение рифов, слитых воедино мраком и водою, предстало взорам погибающих в виде сплошной черной полосы, как бы перечеркнувшей собою горизонт.

Кораблекрушение — высшая степень беспомощности. Находиться близ земли и не быть в состоянии достигнуть ее; носиться по волнам и не иметь возможности выбрать направление; опираться на нечто кажущееся твердым, но на самом деле зыбкое и хрупкое, быть одновременно полным жизни и полным смерти; быть узником неизмеримых пространств, заточенным между небом и океаном; ощущать над собою бесконеч-

ность сводами темницы; быть окруженным со всех сторон буйным разгулом ветров и быть схваченным, связанным и парализованным — такое состояние подавляет и рождает возмущение. Кажется, слышишь издевательский хохот незримого противника. Тебя сковывает именно то, что помогает птицам расправить крылья, а рыбам свободно двигаться. На первый взгляд это ничто, а между тем это все. Зависишь от того самого воздуха, который колеблешь своим дыханием, от той самой воды, которую можешь зачерпнуть в ладонь. Набери полный стакан этой бурной влаги и выпей ее, и ты ощутишь только горечь во рту. Глоток ее вызывает лишь тошноту, волна же может погубить. Песчинка в пустыне, клочок пены в океане — потрясающие феномены; всемогущая природа не считает нужным скрывать свои атомы; она превращает слабость в силу, наполняет собою ничтожное и из бесконечно малого образует бесконечно великое, уничтожающее человека. Океан сокрушает нас своими каплями. Чувствуешь себя его игрушкой.

Игрушкой — какое страшное слово!

«Матутина» находилась чуть-чуть повыше Ориньи, и это было благоприятным обстоятельством, но ее относило к северной оконечности

гряды, а это угрожало роковой развязкой. Северо-западный ветер гнал урку со стремительностью стрелы, выпущенной из туго натянутого лука. У этого мыса, немного не доходя до гавани Корбеле, есть место, которое моряки Нормандского архипелага прозвали «обезьяной».

«Обезьяна» — swinge — это бешеное течение. Ряд воронкообразных углублений в отмелях вызывает на поверхности океана ряд водоворотов. Только вы выбрались из одного, как вас подхватывает другой. Судно, попав в лапы «обезьяны», вертится, перебрасываемое от спирали к спирали, пока не напорется кузовом на острый утес. Получив пробоину, корабль останавливается, вздернув корму выше волн, носом погрузившись в воду, водоворот кружит его в последний раз, корма скрывается под водой, и пучина засасывает судно. Островок пены расширяется, тает, и вскоре на поверхности моря остается лишь несколько пузырьков, свидетельствующих о том, что люди задохнулись под водой.

Самые опасные водовороты Ла-Манша находятся в трех местах: один по соседству с пресловутой песчаной мелью Гердлер-Сендс, другой возле Джерси, между Пиньонэ и мысом Нуармон, и третий близ Ориньи.

Если бы на борту «Матутины» находился местный лоцман, он предупредил бы об этой новой опасности. За отсутствием лоцмана несчастным приходилось руководствоваться инстинктом: в критические минуты у человека появляется нечто вроде второго зрения. Яростный ветер вздымал на воздух целые каскады пены и разносил их вдоль всего побережья. Это плевалась «обезьяна». Множество судов погибло в этой ловушке. Беглецы с ужасом приближались к этому месту, хотя и не знали, что оно собой представляет.

Как обогнуть грозный мыс? Это невозможно.

Так же, как перед ними ранее выросли, Каскеты, а затем Ортах, теперь им предстали высокие скалы Ориньи. Один великан вслед за другим. Ряд ужасных поединков.

Сцилла и Харибда[59]

- их было только две; Каскеты, Ортах и Ориньи — это три противника.

Та же картина постепенного исчезновения горизонта за скалами повторялась с величавым однообразием, на какое способна только бездна. В битвах с океаном, так же как в гомеровских битвах, встречаются повторения.

С каждой волной, приближавшей их к мысу, громада его, и без того чудовищно разросшаяся в

тумане, становилась выше на двадцать локтей. Расстояние между уркой и утесом сокращалось с угрожающей быстротой. Они уже находились на самой грани водоворота. Первая же струя должна была увлечь их безвозвратно. Еще одна волна, и все было бы кончено.

Вдруг урка отпрянула назад, словно под ударом чудовищного кулака. Волна вздыбилась под килем судна, затем опрокинулась и отшвырнула урку, обдав ее облаком пены. Этим толчком «Матутину» отбросило от Ориньи.

Она снова очутилась в открытом море.

Кто же пришел на помощь урке? — Ветер.

Шторм внезапно изменил направление.

До сих пор беглецы были игралищем волн, теперь они стали игралищем ветра. Из Каскетов они выбрались сами. От Ортаха их спасла волна. От Ориньи их отогнал ветер.

Северо-западный ветер сразу сменился юго-западным.

Течение — это ветер в воде; ветер — это течение в воздухе: две силы столкнулись, и ветру вздумалось вырвать у течения его добычу.

Внезапные причуды океана непостижимы: это бесконечное «а вдруг». Когда всецело находишься в его полной власти, нельзя ни надеяться, ни от-

чаиваться. Он создает и вновь разрушает. Океан забавляется. Этому необъятному угрюмому морю, которое Жан Барт[60]

называл «грубой скотиной», свойственны все черты хищника. Оно то выпускает острые когти, то прячет их в бархатных лапах. Иногда буря топит судно походя, на скорую руку, иногда как бы тщательно обдумывает кораблекрушение, можно оказать — лелеет каждую мелочь. У моря времени достаточно. В этом уже не раз убеждались его жертвы!

Порою, кстати сказать, отсрочка казни знаменует собою предстоящее помилование. Но такие случаи редки. Как бы то ни было, погибающим на море недолго поверить в свое спасение: стоит только буре немного утихнуть, и им уже мнится, что опасность миновала. После того как они считали себя погребенными на дне морском, они с лихорадочной поспешностью хватаются за то, что им еще не даровано: все дурное уже пережито, никаких сомнений, они вполне удовлетворены, они спасены, им уже ничего не нужно от бога. Не следует слишком торопиться с выдачей Неведомому расписок в окончательном расчете с ним.

Юго-западный ветер начался вихрем. Тот, кто оказывает помощь терпящим кораблекруше-

ние, обычно не церемонится. Шквал, ухватив «Матутину» за обрывки парусов, как хватают за волосы утопленницу, стремительно поволок ее в открытое море. Это напоминало великодушие Тиберия, даровавшего свободу пленницам ценой их бесчестья. Ветер беспощадно обрушивался на тех, кого спасал. Он оказывал им эту услугу с бешеной злобой. Это была помощь, не знавшая жалости…

После столь жестокого спасения урка окончательно стала обломком.

Крупные градины, величиною с мушкетную пулю и не уступавшие ей в твердости, казалось, готовы были изрешетить судно. При каждом крене градины перекатывались по палубе, как свинцовые шарики дроби. Урка, терзаемая сверху и снизу водной стихией, чуть виднелась из-под перехлестывавших через нее волн и каскадов пены. На судне каждый думал только о себе.

Люди хватались за что попало. После каждой очередной встряски они с удивлением оглядывались, видя, что никого не унесло в море. У многих лица были исцарапаны разлетавшимися во все стороны щепками.

К счастью, отчаяние во много крат увеличивает силы человека. Рука объятого ужасом ребенка не

слабее руки великана. В минуты смертельного страха пальцы женщин превращаются в настоящие тиски; молодая девушка способна тогда вонзить свои розовые ноготки даже в камень. Погибающие изо всех сил старались удержаться на месте. Но каждая волна грозила смыть их с палубы.

Вдруг они снова вздохнули с облегчением.

16. Загадочное затишье

Ураган внезапно утих.

Ни северного, ни южного ветра уже не было в помине. Смолк бешеный вой бури. Без всякого перехода, без малейшего ослабления смерч в одно мгновение куда-то исчез, точно провалился в бездну. И не сообразить было, куда он девался. Вместо градин в воздухе опять замелькали белые хлопья. Снова начал медленно падать снег.

Волнение улеглось. Море стало гладким, как скатерть.

Снежным бурям свойственно такое внезапное затишье. Как только прекращается электрический ток, все успокаивается, даже волны, которые после обыкновенных бурь некоторое время еще продолжают бушевать. Тут же наоборот — никаких следов недавней ярости. Как труженик после тяжкой работы, море сразу засыпает; это как буд-

то идет вразрез с законами статики, но нисколько не удивляет старых моряков, знающих, что море полно всяких неожиданностей.

Подобные явления — правда, очень редко — имеют место и при обыкновенных бурях. Так, в наши дни во время памятного урагана, разразившегося 27 июля 1867 года над Джерси, ветер, неистовствовавший четырнадцать часов подряд, внезапно сменился мертвым штилем.

Несколько минут спустя вокруг урки простиралась бесконечная пелена сонных вод. Одновременно с этим — ибо последняя фаза бури похожа на первую — наступила полная темнота. Все, что удавалось разглядеть, пока снежные тучи еще клубились в небе, снова стало невидимым, бледные силуэты расплылись, растаяли, и беспредельный мрак опять со всех сторон окутал судно. Эта стена непроглядной ночи, это сплошное черное кольцо, эта внутренность полого цилиндра, ежеминутно сокращавшаяся, окружила «Матутину» и суживалась со зловещей медлительностью замерзающей полыньи. В зените — ни звезды, ни клочка неба: давящий, низко нависший потолок тумана. Урка очутилась как бы на дне глубокого колодца.

В этом колодце море казалось жидким свинцом.

Вода застыла в суровой неподвижности. Никогда океан не бывает так угрюм, как в то время, когда он напоминает собою пруд.

Все было объято безмолвием, тишиной и глубоким мраком.

Тишина в природе бывает нередко грозным безмолвием.

Последние всплески улегшегося волнения изредка докатывались до бортов судна. Палуба, принявшая опять горизонтальное положение, лишь слегка накренялась то в одну, то в другую сторону. Кое-где еле заметно колыхались оборванные снасти. Висевшая вместо фонаря граната, в которой горела просмоленная пакля, уже не раскачивалась на бушприте, и с нее не стекали в море огненные капли. Ветерок, еще разгуливавший в облаках, не производил никакого шума. Густой рыхлый снег падал чуть-чуть косо. Уже не было слышно кипения волн у рифов. Могильная тишина.

После взрывов дикого отчаяния, пережитого несчастными, беспомощно носившимися по волнам, это внезапное затишье казалось невыразимым счастьем. Они решили, что настал конец их испытаниям. Все вокруг них и над ними как будто молча сговорилось спасти их. К ним опять

вернулась надежда. Все, что за минуту перед тем было яростью, стало теперь спокойствием. Они сочли это верным признаком того, что мир заключен. Измученные люди вздохнули, наконец, полной грудью. Они могли теперь выпустить из рук обрывок каната или обломок доски, за которые до сих пор цеплялись, могли подняться, выпрямиться, стоять, ходить, двигаться. Неизъяснимое чувство покоя овладело ими. Во мраке бездны бывают иногда такие мгновения райского блаженства, служащие лишь подготовлением к чему-то иному. Было очевидно, что людям больше не угрожали ни шторм, ни пенящиеся валы, ни бешеные порывы ветра, — от всего этого они уже избавились.

Отныне все им благоприятствовало. Часа через три-четыре забрезжит заря, их заметит и подберет какое-нибудь встречное судно. Самое страшное осталось позади. Они возвращались к жизни. Самое важное достигнуто: им удалось продержаться на воде до прекращения бури. Они говорили себе: «Теперь уже конец».

Вдруг они убедились, что действительно пришел конец.

Один из матросов, уроженец Северной Бискайи, по имени Гальдеазун, спустился за канатом в

трюм и, вернувшись, объявил:

— Трюм полон.

— Чего? — спросил главарь.

— Воды, — ответил матрос.

Главарь закричал:

— Что же это значит?

— Это значит, — ответил Гальдеазун, — что еще полчаса, и мы потонем.

17. Последнее средство

В днище оказалась пробоина. Судно дало течь. Когда это произошло? Никто не мог бы ответить на этот вопрос. Случилось ли это, когда их пригнало к Каскетам? Или когда они находились вблизи Ортаха? Или, может быть, когда их едва не затянуло в водоворот, к западу от Ориньи? Вероятнее всего, они вплотную подошли к «обезьяне», и там судно напоролось на острие подводного камня. Они не заметили толчка, так как их в это время швыряло ветром из стороны в сторону. В состоянии столбняка не чувствуешь уколов.

Другой матрос, уроженец Южной Бискайи, которого звали Аве-Мария, тоже спустился в трюм и, вернувшись, сообщил:

— Воды в трюме на два вара.

Это около шести футов.

Аве-Мария прибавил:

— Через сорок минут мы пойдем ко дну.

В каком именно месте днище дало течь? Пробоины не было видно, ее скрывала вода, наполнявшая трюм, она находилась под ватерлинией, где-то глубоко в подводной части урки. Отыскать ее было невозможно. Невозможно было ее и заделать. Где-то была рана, а перевязать ее было нельзя. Впрочем, вода прибывала не слишком быстро.

Главарь крикнул:

— Надо выкачивать воду!

Гальдеазун ответил:

— У нас больше нет насосов.

— Тогда, — воскликнул главарь, — надо плыть к берегу!

— А где он, берег?

— Не знаю.

— И я не знаю.

— Но где-нибудь да должен быть?

— Конечно.

— Пусть кто-нибудь ведет нас к берегу, — продолжал главарь.

— У нас нет лоцмана, — возразил Гальдеазун.

— Берись ты за румпель.

— У нас больше нет румпеля.

— Сделаем из первой попавшейся балки. Гвоз-

дей! Молоток! Инструмент! Живо!

— Весь плотничный инструмент в воде, нет ничего.

— Все равно, будем как-нибудь править.

— Чем же править?

— Где шлюпка? В шлюпку! Будем грести!

— Нет шлюпки.

— Будем грести на урке.

— Нет весел.

— Тогда пойдем на парусах.

— У нас нет ни парусов, ни мачт.

— Сделаем мачту из лонг-карлинса, а парус из брезента. Выберемся отсюда, положимся на ветер.

— И ветра нет.

Действительно, ветер совсем улегся. Буря унеслась прочь, но затишье, которое они сочли своим спасением, было для них гибелью. Если бы юго-западный ветер продолжал дуть с прежней яростью, он пригнал бы их к какому-нибудь берегу раньше, чем трюм наполнился водою, или, быть может, выбросил бы их на песчаную отмель до того, как судно начало тонуть. Шторм помог бы им добраться до суши. Но не было ветра, не было и надежды. Они погибали, потому что ураган утих.

Положение становилось безвыходным.

Ветер, град, шквал, вихрь — необузданные противники, с которыми можно справиться. Над бурей удается одержать верх, ибо она недостаточно вооружена. С врагом, который беспрестанно сам разоблачает свои намерения, мечется без толку и зачастую допускает промахи, всегда можно найти средства борьбы. Но против штиля нет никакого орудия. Тут не за что ухватиться.

Ветры — это налет диких всадников; держитесь стойко, и ватага рассеется. Штиль — это клещи палача.

Вода, тяжелая и неодолимая, медленно, но безостановочно прибывала в трюме, и, по мере того как она поднималась, урка все глубже погружалась. Это совершалось очень медленно.

Находившиеся на «Матутине» чувствовали, как мало-помалу на них надвигается ужаснейшая гибель, гибель без борьбы. Ими овладела зловеще-спокойная уверенность в неизбежном торжестве слепой стихии. В воздухе не было ни малейшего дуновения, на воде — ни малейшей ряби. В неподвижности кроется что-то неумолимое. Пучина поглощала их в полном безмолвии. Сквозь слой немотствующей воды безгневно, бесстрастно, бесцельно, безотчетно и безучастно их

притягивал к себе центр земного шара. Пучина засасывала их среди полного затишья. Уже не было ни разверстой пасти волн, ни злобно угрожавших челюстей шквала и моря, ни зева смерча, ни валов, вскипавших пеной в предвкушении добычи; теперь несчастные видели перед собой черное зияние бесконечности. Они чувствовали, что погружаются в спокойную глубину, которая была не что иное, как смерть. Расстояние от борта до воды постепенно уменьшалось — только и всего. Можно было точно рассчитать, через сколько минут оно исчезнет совсем. Это было зрелище, прямо противоположное зрелищу наступающего прилива. Не вода поднималась к ним, а они опускались к ней. Они сами рыли себе могилу. Их могильщиком была их собственная тяжесть.

Им готовилась казнь не по людским законам, но по законам природы.

Снег все шел, и так как тонущее судно не двигалось, эта белая корпия пеленой ложилась на палубу, точно саваном покрывая урку.

Трюм постепенно наполнялся водой. Не было никаких средств остановить течь. У них не было даже черпака, который, впрочем, не мог бы принести никакой пользы — урка была палубным судном. Тремя-четырьмя факелами, воткнутыми

куда попало, осветили трюм. Гальдеазун принес несколько старых кожаных ведер; решили отливать воду из трюма, образовали цепь. Но ведра оказались никуда не годными: одни расползлись по швам, у других было дырявое дно, и вода выливалась из них по дороге. Несоответствие между количеством воды прибывавшей и вычерпываемой казалось прямым издевательством. Прибывала целая бочка, убывал один стакан. Все старания не приводили ни к чему. Это напоминало усилия скупца, который пытается израсходовать миллион, тратя ежедневно по одному су.

Главарь сказал:

— Нужно облегчить судно.

Во время бури несколько сундуков, находившихся на палубе, канатами привязали к мачте. Они так и остались принайтовленными к ее обломку. Теперь найтовы развязали и столкнули сундуки в воду через брешь в обшивке борта. Один из этих сундуков принадлежал уроженке Бискайи: у бедной женщины вырвалось горестное восклицание:

— Ах, ведь там мой новый плащ на красной подкладке! И мои кружевные чулки! И серебряные сережки, в которых я ходила к обедне в

богородицын день!

Палубу очистили, оставалась каюта. Она была доверху загромождена. В ней, как помнит читатель, находился багаж пассажиров и тюки, принадлежавшие матросам.

Багаж вытащили и выкинули за борт через ту же брешь.

Тюки также столкнули в море.

Принялись до конца опоражнивать каюту. Фонарь, эзельгофт, бочонки, мешки, баки, бочки с пресной водой, котел с похлебкой — все полетело в воду.

Отвинтили гайки у чугунной печки, уже давно потухшей, сняли ее с цементной подставки, подняли на палубу, дотащили до бреши и бросили за борт.

Выкинули в море все, что можно было оторвать от внутренней обшивки, выбросили ридерсы, ванты, обломки мачты и реи.

Время от времени главарь шайки брал факел и освещал цифры на носу урки, показывающие глубину осадки, стараясь определить, сколько еще продержится судно.

18. Крайнее средство

Избавившись от груза, «Матутина» стала погружаться немного медленнее, но все же продолжала

погружаться.

Положение было отчаянное: ни на что уже не приходилось надеяться. Последнее средство было исчерпано.

— Нет ли там еще чего, что можно было бы бросить в море? — выкрикнул главарь.

Доктор, о котором все теперь позабыли, вышел из рубки и сказал:

— Есть.

— Что именно? — спросил начальник.

Доктор ответил:

— Наше преступление.

Все вздрогнули и в один голос воскликнули:

— Аминь!

Доктор весь вытянулся, мертвенно бледный, и, указав рукой на небо, произнес:

— На колени!

Они качнулись, собираясь пасть ниц.

Доктор продолжал:

— Бросим а море наши преступления. Они — наша главная тяжесть. Из-за них судно идет ко дну. Нечего больше думать о спасении жизни, подумаем лучше о спасении души. Слушайте, несчастные: тяжелее всего наше последнее преступление — то, которое мы сейчас совершили, или, вернее, довершили. Нет более дерзкого ко-

щунства, как искушать пучину, имея на совести предумышленное убийство. То, что содеяно против ребенка, — содеяно против бога. Уехать было необходимо, знаю, но это была верная погибель. Тень, отброшенная нашим черным делом, навлекла на нас бурю. Так и должно быть. Впрочем, жалеть нам не о чем. Тут, неподалеку от нас, в этой непроглядной тьме, Вовильские песчаные отмели и мыс Гуг. Это — Франция. Для нас оставалось только одно убежище — Испания. Франция для нас не менее опасна, чем Англия. Избежав гибели на море, мы попали бы на виселицу. Либо потонуть, либо быть повешенным — другого выбора у нас не было. Бог сделал выбор за нас. Возблагодарим же его. Он дарует нам могилу в пучине моря, которая смоет с нас грехи. Братья мои, это было неизбежно. Подумайте, ведь мы сами только что сделали все от нас зависящее, чтобы погибло невинное существо, ребенок, и, быть может, в эту самую минуту в небе, над нашими головами, его чистая душа обвиняет нас перед лицом судии, взирающего на нас. Воспользуемся же последней отсрочкой. Постараемся, если только это еще возможно, исправить в пределах, нам доступных, содеянное нами зло. Если ребенок нас переживет, придем ему на помощь. Если

он умрет, приложим все усилия к тому, чтобы заслужить его прощение. Снимем с себя тяжесть преступления. Освободимся от бремени, гнетущего нашу совесть. Постараемся, чтобы наши души не были отвергнуты богом, ибо это было бы самой ужасной гибелью. Наши тела тогда достались бы рыбам, а души — демонам. Пожалейте самих себя! На колени, говорю вам! Раскаяние — ладья, которая никогда не идет ко дну. У вас нет больше компаса? Вы заблуждаетесь. Ваш компас — молитва.

Волки превратились в ягнят. Такие превращения происходят в минуты безысходного отчаяния. Бывают случаи, что и тигры лижут распятие. Когда приоткрывается дверь в неведомое, верить — трудно, не верить — невозможно. Как бы ни были несовершенны попытки существовавших и существующих религий измыслить картину загробного мира, но даже и тогда, когда вера человека носит неопределенный характер и предлагаемые ему догматы никак не согласуются с его смутными представлениями о вечности, все-таки в последнюю минуту невольный трепет овладевает его душой. За порогом жизни нас ждет что-то неведомое. Это и угнетает нас перед лицом смерти.

Час смерти — время расплаты. В это роковое мгновение люди чувствуют всю тяжесть лежащей на них ответственности. То, что было, усложняет собою то, чему предстоит совершиться. Прошедшее возвращается и вторгается в будущее. Все изведанное предстоит взору такой же бездной, как и неизведанное, и обе эти пропасти, одна — исполненная заблуждений, другая — ожидания, взаимно отражаются одна в другой. Это слияние двух пучин повергает в ужас умирающего.

Беглецы утратили последнюю надежду на спасение здесь, в земной жизни. Потому-то они и повернулись в противоположную сторону. Только там, во мраке вечной ночи, они еще могли уповать на что-то. Они это поняли. Это было скорбным просветлением, за которым сразу же снова последовал ужас. То, что постигаешь в минуту кончины, похоже на то, что видишь при вспышке молнии. Сначала — все, затем — ничего. И видишь, и вместе с тем не видишь. После смерти наши глаза опять откроются, и то, что было молнией, станет солнцем.

Они воскликнули, обращаясь к доктору:

— Ты! Ты! Ты один теперь у нас. Мы исполним все, что ты велишь. Что нужно делать? Говори!

Доктор ответил:

— Нужно перешагнуть неведомую бездну и достигнуть другого берега жизни, по ту сторону могилы. Я знаю больше всех вас, и наибольшая опасность угрожает мне. Вы поступаете правильно, предоставляя выбор моста тому, кто несет на себе самое тяжелое бремя.

И он прибавил:

— Сознание содеянного зла гнетет совесть.

Потом спросил:

— Сколько времени нам еще остается?

Гальдеазун взглянул на цифры, показывающие глубину осадки, и ответил:

— Немного больше четверти часа.

— Хорошо, — промолвил доктор.

Низкая крыша рубки, на которую он облокотился, представляла собою нечто вроде стола. Доктор вынул из кармана чернильницу, перо и бумажник, вытащил из него пергамент, тот самый, на котором несколько часов назад он набросал строк двадцать своим неровным, убористым почерком.

— Огня! — распорядился он.

Снег, падавший безостановочно, как брызги пены водопада, погасил один за другим все факелы, кроме одного. Аве-Мария выдернул этот факел из гнезда и, держа его в руке, стал рядом

с доктором.

Доктор спрятал бумажник в карман, поставил на крышу рубки чернильницу, положил перо, развернул пергамент и сказал:

— Слушайте.

И вот среди моря, на неуклонно оседавшем остове судна, похожем на шаткий настил над зияющей могилой, доктор с суровым лицом приступил к чтению, которому, казалось, внимал весь окружавший их мрак. Осужденные на смерть, склонив головы, обступили старика. Пламя факела подчеркивало бледность их лиц. То, что читал доктор, было написано на английском языке. Временами, поймав на себе чей-либо жалобный взгляд, молча просивший разъяснения, доктор останавливался и переводил только что прочитанное на французский, испанский, баскский или итальянский языки. Слышались сдавленные рыдания и глухие удары в грудь. Тонущее судно продолжало погружаться в воду.

Когда чтение было окончено, доктор разложил пергамент на крыше рубки, взял перо и на оставленном для подписей месте под текстом вывел свое имя: «Доктор Гернардус Геестемюнде».

Затем, обратившись к людям, окружавшим его, сказал:

— Подойдите и подпишитесь.

Первой подошла уроженка Бискайи, взяла перо и подписалась: «Асунсион».

Затем передала перо ирландке, которая, будучи неграмотной, поставила крест.

Доктор рядом с крестом приписал: «Барбара Фермой, с острова Тиррифа, что в Эбудах».

Потом протянул перо главарю шайки.

Тот подписался: «Гаиздорра, капталь».

Генуэзец вывел под этим свое имя: «Джанджирате».

Уроженец Лангедока подписался: «Жак Катурз, по прозванию Нарбоннец».

Провансалец подписался: «Люк-Пьер Капгаруп, из Магонской каторжной тюрьмы».

Под этими подписями доктор сделал примечание:

«Из трех человек, составлявших экипаж урки, судовладельца унесло волною в море, остальные два подписались ниже».

Оба матроса проставили под этим свои имена. Уроженец Северной Бискайи подписался: «Гальдеазун». Уроженец Южной Бискайи подписался: «Аве-Мария, вор».

Покончив с этим делом, доктор кликнул:

— Капгаруп!

— Есть, — отозвался провансалец.

— Фляга Хардкванона у тебя?

— Да.

— Дай-ка ее мне.

Капгаруп выпил последний глоток водки и протянул флягу доктору.

Вода в трюме прибывала с каждой минутой. Судно все больше и больше погружалось в море.

Скошенная к краям палуба медленно затоплялась плоской, постепенно возраставшей волной.

Все сбились в кучу на изгибе палубы.

Доктор просушил на пламени факела еще влажные подписи, сложил пергамент тонкой трубкой, чтобы он мог пройти в горлышко фляги, и всунул его внутрь. Потом потребовал:

— Пробку!

— Не знаю, где она, — ответил Капгаруп.

— Вот обрывок гинь-лопаря, — предложил Жак Катурз.

Доктор заткнул флягу кусочком несмоленого троса и Приказал:

— Смолы!

Гальдеазун отправился на нос, погасил пеньковым тушилом догоревшую в гранате паклю, снял самодельный фонарь с форштевня и принес его доктору: граната была до половины наполнена

кипящей смолой.

Доктор погрузил горлышко фляги в смолу, затем вынул его оттуда. Теперь фляга, заключавшая в себе подписанный всеми пергамент, была закупорена и засмолена.

— Готово, — сказал доктор.

И в ответ из уст всех присутствующих вырвался невнятный разноязыкий лепет, походивший на мрачный гул катакомб:

— Да будет так!

— Mea culpa![61]

— Asi sea![62]

— Aro rai![63]

— Amen![64]

Восклицания потонули во мраке, подобно угрюмым голосам строителей Вавилонской башни, испуганных безмолвием неба, отказывавшегося внимать им.

Доктор повернулся спиною к своим товарищам по преступлению и несчастью и сделал несколько шагов к борту. Подойдя к нему вплотную, он устремил взор в беспредельную даль и с чувством произнес:

— Со мной ли ты?

Он обращался, вероятно, к какому-то призраку.

Судно оседало все ниже и ниже.

Позади доктора все стояли, погруженные в свои думы. Молитва — неодолимая сила. Они не просто склонились в молитве, они словно сломились под ее тяжестью. В их раскаянии было нечто непроизвольное. Они беспомощно никли, как никнет в безветрие парус, и мало-помалу эти сбившиеся в кучу суровые люди с опущенными головами и молитвенно сложенными руками принимали, хотя и по-разному, сокрушенную позу отчаяния и упования на божью милость. Быть может, то было отсветом разверзавшейся перед ними пучины, но на эти разбойничьи лица теперь легла печать спокойного достоинства.

Доктор снова подошел к ним. Каково бы ни было его прошлое, этот старик в минуту роковой развязки казался величественным. Безмолвие черных пространств, окружавших корабль, хотя и занимало его мысли, но не повергало в смятение. Этого человека нельзя было застигнуть врасплох. Спокойствия его не мог нарушить даже ужас. Его лицо говорило о том, что он постиг величие бога.

В облике этого старика, этого углубленного в свои мысли преступника, была торжественность

пастыря, хотя он об этом и не подозревал.

Он промолвил:

— Слушайте!

И, посмотрев с минуту в пространство, прибавил:

— Пришел наш смертный час.

Взяв факел из рук Аве-Марии, он взмахнул им в воздухе.

Стая искр оторвалась от пламени, взлетела и рассеялась во тьме.

Доктор бросил факел в море.

Факел потух. Последний свет погас, воцарился непроницаемый мрак. Казалось, над ними закрылась могила.

И в этой темноте раздался голос доктора:

— Помолимся!

Все опустились на колени.

Теперь они стояли уже не на снегу, а в воде.

Им оставалось жить лишь несколько минут.

Один только доктор не преклонил колея. Снежные хлопья падали, усеивая его фигуру белыми, похожими на слезы, звездочками и выделяя ее на черном фоне ночи. Это была говорящая статуя мрака.

Он перекрестился и возвысил голос, меж тем как палуба у него под ногами уже начала вздра-

гивать толчками, предвещающими близость момента окончательного погружения судна в воду. Он произнес:

— Pater noster qui es in coelis.[65]

Провансалец повторил это по-французски:

— Notre pere qui etes aux cieux.

Ирландка повторила на своем языке, понятном уроженке Бискайи:

— Ar nathair ata ar neamh.

Доктор продолжал:

— Sanctificetur nomen tuum.[66]

— Que votre nom soit sanctifie, — перевел провансалец.

— Naomhthar hainm, — сказала ирландка.

— Adveniat regnum tuum[67]

, - продолжал доктор.

— Que votre regne arrive, — повторил провансалец.

— Tigeadh do rioghachd, — подхватила ирландка.

Они стояли на коленях, и вода доходила им до плеч.

Доктор продолжал:

— Fiat voluntas tua.[68]

— Que votre volonte soil faite, — пролепетал

провансалец.

У обеих женщин вырвался вопль:

— Deuntar do thoil ar an Hhalamb!

— Sicut in coelo, et in terra[69]

, - произнес доктор.

Никто не отозвался.

Он посмотрел вниз. Все головы были под водой. Никто не встал. Стоя на коленях, они без сопротивления дали воде поглотить себя.

Доктор взял в правую руку флягу, стоявшую на крышке рубки, и поднял ее над головой.

Судно шло ко дну.

Погружаясь в воду, доктор шепотом договаривал последние слова молитвы.

С минуту над водой виднелась еще его грудь, потом только голова, наконец лишь рука, державшая флягу, как будто он показывал ее бесконечности.

Но вот исчезла и рука. Поверхность моря стала гладкой, как у оливкового масла, налитого в бочку. Все падал и падал снег.

Какой-то предмет вынырнул из пучины и во мраке поплыл по волнам. Это была засмоленная фляга, державшаяся на воде благодаря плотной ивовой плетенке.

Часть третья. Ребенок во мраке

1. Чесс-Хилл

На суше буря свирепствовала не меньше, чем на море.

Та же дикая ярость окружала и покинутого ребенка. Слабым и неискушенным приходится самим изыскивать способы борьбы с бешеным разгулом слепой стихии; мрак не делает различий; природа вовсе не так милосердна, как это предполагают.

Правда, на берегу почти не чувствовалось ветра; в холоде была какая-то странная неподвижность. Града не было. Но шел невероятно густой снег.

Град бьет, колотит, ранит, оглушает, разрушает, но снежные хлопья хуже града. Мягкие неумолимые снежинки делают свое дело втихомолку. Если до них дотронуться — они тают. Их чистота — то же, что искренность лицемера. Ложась слой за слоем, снежинки вырастают в лавину; нагромождая обман на обман, лицемер доходит до преступления.

Ребенок продолжал идти вперед в сплошном тумане. Туман на первый взгляд представляется легко преодолимым препятствием, но в этом-то и заключается его опасность: он отступает, но не рассеивается; так же как в снеге, в тумане

есть нечто предательское. Ребенку, которому по странной прихоти судьбы приходилось бороться со всеми этими опасностями, удалось достигнуть конца спуска и выйти на Чесс-Хилл. Сам того не зная, он находился теперь на перешейке; по обеим сторонам от него простирался океан: достаточно было ему в ночном тумане и снежной метели сделать несколько неверных шагов, и он, ступив направо, упал бы в глубокие воды залива, а свернув налево — в бушующие волны открытого моря. Он шел, не подозревая о том, что идет между двумя безднами.

В те времена Портлендский перешеек имел необычайно суровый и дикий вид. Теперь этот перешеек уже ничем не напоминает то, чем он был прежде. С тех пор как из портлендского камня стали делать романский цемент, всю скалу изрыли сверху донизу, совершенно изменив этим ее первоначальный вид. Правда, там и в наши дни еще попадаются известняки нижнеюрской формации, сланцы и траппы, выступающие из пластов смешанных пород, точно зубы из десен; но кирка разрыла и сровняла с землей эти остроконечные каменистые холмы, на которых вили свои безобразные гнезда стервятники. Нет уже вершин, куда могли бы слетаться поморники и

хищные чайки, любящие, подобно завистливым людям, грязнить все высокое. Напрасно стали бы там искать и исполинский монолит, прозванный Годольфином, что на древневаллийском языке означает «белый орел». Летом на этой изрытой и пористой, как губка, почве еще находят розмарин, мяту, дикий иссоп, морокой укроп, настой которого служит хорошим укрепляющим средством, и узловатую траву, растущую прямо на песке и употребляемую для изготовления циновок; но там уже не увидишь ни серой амбры, ни черного олова, ни трех разновидностей сланца — зеленого, голубого и цвета шалфейных листьев. Исчезли лисицы, барсуки, выдры, куницы; на скалистых уступах Портленда, так же как и на высотах Корнуэла, водились прежде серны; теперь их больше нет. В некоторых местах еще ловят палтусов и сардин. Но вспугнутые лососи уже не поднимаются в период между днем св. Михаила и рождеством к верховьям Уэя, чтобы метать там икру. Сюда уже не прилетают, как в старину, во времена Елизаветы, те неизвестные птицы величиною с ястреба, что расклевывали яблоко пополам и съедали только семена. Не видно тут и тех коварных желтоклювых ворон, называемых по-английски cornish dough, а по-латыни pyrrocarax, которые

сбрасывали на соломенные крыши горящие прутья виноградных лоз. Не видно больше и переселившегося сюда с шотландского архипелага колдуна-буревестника, выпускавшего из клюва какой-то жир, который островитяне жгли в своих светильнях. Не встретить больше вечером в лужах, оставленных морским приливом, древней легендарной птицы со свиными ногами, мычавшей теленком. Приливом уже не выбрасывает на песок острозубую усатую нерпуху с загнутыми ушами, ползающую на ластах. На Портленде, ставшем в наши дни неузнаваемым, никогда не водились соловьи, потому что там не было лесов, но соколы, лебеди и морские гуси перевелись на нем сравнительно недавно. У теперешних портлендских овец жирное мясо и тонкое руно; но у тех немногочисленных иизкорослых овец, которые паслись здесь два века назад, питаясь соленой прибрежной травой, мясо было жесткое, а шерсть грубая; так и подобало кельтскому скоту, который стерегли во время оно пастухи, евшие много чеснока, жившие по сто лет и на расстояний полумили пробивавшие латы своими аршинными стрелами. Где не возделана земля, там и шерсть груба. Нынешний Чесс-Хилл ничем не напоминает прежнего Чесс-Хилла: до такой

степени все здесь преображено человеком и бешеными ветрами, разрушающими даже камень.

В наши дни по этой узкой косе проходит железная дорога, доходящая до Чезлтона, в котором новенькие дома расположены а шахматном порядке. Есть и станция «Портленд». Там, где когда-то ползали тюлени, теперь катятся вагоны.

Двести лет назад Портлендский перешеек представлял собою двухсторонний скат со скалистым хребтом посредине.

Опасности, угрожавшие ребенку, не исчезли, только стали иными. При спуске самым страшным для него было сорваться и упасть к подножию утеса; на перешейке же он на каждом шагу рисковал провалиться в какую-нибудь рытвину. Раньше он имел дело с пропастью; теперь ему пришлось иметь дело с трясиной. На берегу моря все оказывается ловушкой: утесы — скользки, песок — зыбуч. Что ни изберешь точкой опоры — все обманчиво. Ходишь точно по стеклу. В любую минуту почва может раздаться у вас под ногами, и вы исчезнете бесследно. Берег океана, как хорошо оборудованная сцена, имеет свои многоярусные люки.

Высокие гранитные склоны, в которые упираются оба ската перешейка, почти совсем

недоступны. На них с трудом можно отыскать то, что на театральном языке называется выходом на сцену. Человек не должен рассчитывать на гостеприимство океана: ни скалы, ни волны не окажут ему радушного приема. Море заботится лишь с птицах и о рыбах. Перешейки всегда обнажены и каменисты. Волны, размывающие и подрывающие их с двух сторон, придают им резкие очертания. Всюду — острые выступы, гребни, пилообразные хребты, ужасные осколки треснувших глыб, впадины с зазубренными краями, напоминающие усеянную острыми зубами челюсть акулы, волчьи ямы, прикрытые влажным мхом, крутые обрывы скал, нависших над пенящимся прибоем. Человек, задавшийся целью перейти по хребту перешейка, встречает на каждом шагу уродливые, величиною с дом, громады, имеющие форму берцовых или тазовых костей, лопаток, позвонков — омерзительную анатомию оголенных утесов. Пешеход с риском свернуть себе шею пробирается через груды этих обломков. Это почти то же самое, что ходить по костяку исполинского скелета.

Представьте же себе ребенка, совершающего этот Геркулесов подвиг.

При ярком дневном свете идти все-таки было

бы легче, ко вокруг царила тьма. Здесь необходим проводник, а ребенок был один. И взрослому человеку здесь пришлось бы немало потрудиться, а у него были только слабые силы ребенка. Проводника могла бы, на худой конец, заменить тропинка. Но тропинок здесь не было. Инстинктивно он избегал цепи острых утесов и старался держаться как можно ближе к берегу. Но на этом пути ему попадались рытвины. Их было три разновидности: одни — наполненные водой, другие — снегом, третьи — песком. Последняя разновидность всего страшнее, ибо песок засасывает.

Опасность, которую ждешь заранее, внушает тревогу; опасность неожиданная внушает ужас. Ребенок боролся с неведомыми ему опасностями. Он то и дело вслепую приближался к тому, что могло стать его могилой.

У него не было колебаний. Он огибал скалы, обходил провалы, чутьем угадывал расставленные мраком ловушки, преодолевал одно препятствие за другим и смело двигался вперед. Не имея возможности идти прямо, он все-таки шел уверенно.

В случае надобности он мгновенно отступал. Он вовремя выбирался из трясины зыбучих песков. Он стряхивал с себя снег. Не раз оказывался он по

колено в воде, и его мокрые лохмотья сразу же замерзали на сильном ночном морозе. Он шел быстро в своей обледеневшей одежде. При этом он как-то умудрился сохранить свою матросскую куртку сухой и теплой на груди. Голод по-прежнему мучил его.

Нет предела неожиданностям, кроющимся в бездне: тут все возможно, даже спасение. Исхода из нее не видно, но он существует. Каким образом ребенок, застигнутый снежной метелью, от которой у него захватывало дыхание, заблудившийся на узком подъеме между двумя разверстыми пропастями, не видя дороги, все-таки одолел перешеек, он и сам не мог бы объяснить. Он скользил, карабкался, падал, поднимался, нащупывал дорогу и упорно шел вперед — вот и все. В этом тайна всякой победы. Не прошло и часа, как он почувствовал, что поднимается в гору: он достиг другого конца перешейке, он оставил позади себя Чесс-Хилл, он стоял уже на твердой почве.

Моста, соединяющего теперь Сендфорд-Кэс со Смолмоус-Сендом, в ту пору не существовало. Возможно, что ребенок, руководясь верным инстинктом, добрался до гребня, высящегося как раз напротив Уайк-Реджиса, где тогда пролегала песчаная коса — природное шоссе, пересекавшее

Ист-Флит.

Он избегнул гибели, грозившей ему на перешейке, но все еще находился лицом к лицу с бурей, с зимою, с ночью.

Перед ним снова простиралась во мгле необъятная равнина.

Он посмотрел на землю, отыскивая тропинку.

Вдруг он наклонился.

Он заметил на снегу что-то, похожее на след.

В самом деле это был след, след человеческой ноги. Ее отпечаток совершенно явственно виднелся на белой пелене снега. Ребенок стал рассматривать его. След был оставлен босой ступней; нога была меньше мужской, но больше детской.

Вероятно, это была нога женщины.

За первым следом был второй, за ним третий, следы шли на расстоянии шага один от другого и уклонялись вправо по равнине. Следы были еще свежие, слегка припорошенные снегом. Здесь несомненно прошла недавно женщина.

Она, невидимому, направилась в ту сторону, где ребенок разглядел дым.

Не спуская глаз с этих следов, ребенок пошел по ним.

2. Действие снега

Некоторое время он шел по этим следам. К

несчастью, они становились все менее и менее отчетливыми. Снег так и валил. Это было как раз то время, когда «Матутина» под тем же снегопадом шла к своей гибели в открытом море.

Ребенок, боровшийся, так же как и судно, со смертью, хотя она и предстала ему в ином облике, не видел в окружавшей его со всех сторон непроглядной тьме ничего, кроме этих следов на снегу, и он ухватился за них, как за путеводную нить.

Вдруг — потому ли, что их окончательно замело снегом, или по другой причине — следы пропали. Все вокруг опять стало гладким, плоским, ровным, без единого пятнышка. Земля была сплошь затянута белой пеленой, небо — черной.

Можно было подумать, что женщина, проходившая здесь, улетела.

Выбившийся из сил ребенок наклонился к земле и стал приглядываться. Увы, тщетно.

Не успел он выпрямиться, как ему почудился какой-то непонятный звук, но у него не было уверенности, что он не ослышался. Звук был похож на голос, на вздох, на неуловимый лепет, и, казалось, исходил скорее от человека, чем от животного. Однако в нем было что-то замогильное, а не живое. Это был звук, какой нам слышится иногда сквозь сон.

Он посмотрел вокруг, но ничего не увидел.

Перед ним расстилалась бесконечная, голая, мертвенная пустыня. Он прислушался. Звук прекратился. Быть может, это ему только почудилось? Он прислушался еще раз. Все было тихо.

Очевидно, в густом тумане что-то вызывало слуховую галлюцинацию. Он снова двинулся в путь.

Он брел теперь наугад.

Едва прошел он несколько шагов, как звук возобновился. На этот раз он уже не мог сомневаться. Это был стон, почти рыдание.

Звук вновь повторился.

Если души, находящиеся в чистилище, могут стонать, то, вероятно, они стонут именно так.

Трудно представить себе что-либо более трогательное, душераздирающее и вместе с тем более слабое, чем этот голос. Ибо это был голос — голос, принадлежавший человеческому существу. В этом жалобном и, казалось, безотчетном стенании чувствовалось биение чьей-то жизни. Это молило о помощи живое страдание, не сознающее того, что оно страждет и молит. Этот стон, бывший, может быть, первым, может быть, последним вздохом, в равной мере напоминал предсмертный хрип и крик новорожденного.

Кто-то дышал, кто-то задыхался, кто-то плакал. Глухая мольба, доносившаяся неизвестно откуда.

Ребенок зорко посмотрел во все стороны: вдаль, вблизи себя, вверх, вниз. Никого и ничего.

Он напряг слух. Звук раздался еще раз. Он явственно услыхал его. Голос немного напоминал блеяние ягненка.

Тогда ему стало страшно, ему захотелось убежать.

Стон повторился. Уже четвертый раз. В нем была невероятная мука и жалоба. Чувствовалось, что это — последнее усилие, скорее невольное, чем сознательное, и что сейчас этот крик, вероятно, умолкнет навсегда. Это была мольба о помощи, безотчетно обращенная умирающим в пространство, откуда должно было прийти спасение; это был предсмертный лепет, взывавший к незримому провидению. Ребенок пошел в ту сторону, где слышался голос.

Он по-прежнему ничего не видел.

Чутко прислушиваясь, он сделал еще несколько шагов.

Стенание не прекращалось. Из нечленораздельного и еле внятного оно сделалось теперь явственным и громким. Это было где-то совсем близко. Но где именно?

Кто-то рядом жалобно взывал. Эти дрожащие звуки раздавались возле него. Человеческий стон, носившийся где-то в пространстве, — вот что слышал ребенок в непроглядном мраке. Таково по крайней мере было его впечатление, смутное, как густой туман, в котором он блуждал.

Колеблясь между безотчетным желанием бежать и безотчетным желанием остаться, он вдруг заметил на снегу, в нескольких шагах от себя, волнообразное возвышение размером с человеческое тело, невысокий бугорок, продолговатый и узкий, нечто вроде белой могильной насыпи на заснеженном кладбище.

В эту минуту стон перешел в крик.

Он доносился из-под этого холмика.

Ребенок нагнулся, присел на корточки перед снежным сугробом и принялся торопливо разгребать его обеими руками.

По мере того как он расчищал снег, перед ним стали обрисовываться очертания человеческого тела, и вдруг в вырытом углублении показалось бледное лицо.

Но кричало не это существо. Нет, глаза его были закрыты, а рот хотя и открыт, но полон снега.

Лицо было неподвижно. Оно не дрогнуло, когда ребенок дотронулся до него рукой. Ребенок,

обморозивший себе кончики пальцев, отпрянул, ощутив холод этого лица. Это была голова женщины. В разметавшиеся волосы набился снег. Женщина была мертва.

Ребенок снова принялся разгребать снег. Показалась шея покойницы, потом верхняя часть туловища, прикрытая лохмотьями, сквозь которые виднелось голое тело.

Вдруг он почувствовал под своими руками легкое движение. Что-то маленькое шевелилось под снежным сугробом. Мальчик быстро раскидал снег и увидел на обнаженной груди матери жалкое тельце крошечного, совершенно голого младенца, хилого, посиневшего от холода, но еще живого.

Это была девочка.

Рваные пеленки, в которые ее завернули, были, должно быть, короткими, и она, ворочаясь, выбилась из них. Тепло, исходившее от ее щуплого тельца и от ее дыхания, растопило вокруг нее немного снега. Кормилица дала бы ей на вид месяцев пять-шесть, но ей было, вероятно, около года: ведь нищета ведет детей к рахитизму и задерживает их рост. Как только лицо малютки показалось из-под снега, горький плач ее сменился резким криком. Мать несомненно была мертва,

если этот отчаянный вопль не мог разбудить ее.

Мальчик взял малютку на руки.

Эта мать, застывшая на снегу, производила страшное впечатление. Казалось, ее лицо светится каким-то призрачным светом. Ее отверстый бездыханный рот как будто готовился отвечать на невнятном языке теней на вопросы, предлагаемые там, в незримом мире, мертвецам. На лице ее лежал тусклый отпечаток белеющих кругом снежных просторов. Виднелось юное чело, обрамленное темными волосами, почти негодующе нахмуренные брови, сжатые ноздри, закрытые веки, слипшиеся от инея ресницы и спускавшиеся от углов глаз к концам губ следы обильных слез. Снег бросал бледный отблеск на это мертвое лицо. Зима и могила отнюдь не враждебны друг другу. Труп — это обледеневший человек. В наготе груди было нечто возвышенно-трогательное. Она исполнила свое назначение. Лежавшая на ней трагическая печать увядания свидетельствовала о том, что это безжизненное существо дало жизнь другому существу: девственную чистоту сменило величие материнства. На одном соске белела жемчужина. Это была замерзшая капля молока.

Поясним сразу, что по тем же самым равнинам, по которым шел покинутый мальчик, незадолго

до него брела в поисках крова заблудившаяся нищенка с младенцем у груди. Окоченев от холода, она свалилась под бурным порывом ветра и не могла уже подняться. Ее замело вьюгой. Из последних сил она прижала к себе ребенка и так умерла.

Малютка пыталась прильнуть губами к этому мрамору. В бессознательной доверчивости, с которой она искала себе пищи, не было ничего противного законам природы, ибо мать, только что испустившая последний вздох, по-видимому еще способна накормить грудью ребенка.

Но ротик младенца не мог найти соска, на котором застыла похищенная смертью капля молока, и малютка, более привыкшая к колыбели, чем к могиле, закричала под снегом.

Покинутый мальчик услыхал вопль погибавшей крошки.

Он вырыл ее из сугроба.

Он взял ее на руки.

Почувствовав, что ее держат на руках, она перестала кричать. Лица двух детей соприкоснулись, и посиневшие губы младенца прильнули к щеке мальчика, как к материнской груди.

Малютка была близка к тому состоянию, когда застывающая кровь останавливает биение серд-

ца. Мать уже успела приобщить ее в какой-то мере к своей смерти; холод трупа распространяется на окружающее: ножки и ручки малютки были словно скованы этим ледяным холодом. Мальчик тоже почувствовал на себе его дыхание.

Из всей одежды на нем осталась сухой и теплой только матросская куртка. Положив крошку на грудь умершей, он снял с себя куртку, закутал в нее девочку, снова взял ее на руки и, сам теперь полуголый, ничем почти не защищенный от бушующей вьюги, держа малютку в объятиях, опять тронулся в путь.

Снова отыскав щеку мальчика, младенец прильнул к ней губами, и, согревшись, уснул. Это было первым поцелуем двух детских душ, встретившихся во мраке.

Мать осталась лежать в снегу; лицо ее было обращено к ночному небу. Но в ту минуту, когда мальчик снял с себя куртку, чтобы завернуть в нее малютку, покойница, быть может, увидела это из беспредельности, где уже была ее душа.

3. Тягостный путь еще тяжелее от ноши

Прошло более четырех часов с того момента, как урка покинула воды Портлендской бухты, оставив мальчика одного на берегу. За те долгие часы, когда он, брошенный всеми, брел куда глаза

глядят, ему повстречались здесь, в человеческом обществе, в которое ему, быть может, предстояло вступить, лишь трое: мужчина, женщина и ребенок. Мужчина — тот, что был на холме; женщина — та, что лежала в снегу; ребенок — девочка, которую он нес на руках.

От усталости и голода он еле держался на ногах. Но он шел вперед еще решительнее, чем прежде, хотя теперь у него прибавилась ноша, а сил убавилось. Он был почти совсем раздет. Еле прикрывавшие его лохмотья, обледенев на морозе, подобно стеклу резали тело и обдирали кожу. Он замерзал, зато девочка согревалась. То, что терял он, не пропадало даром, а шло на пользу малютке. Он ощущал это тепло, возвращавшее ее к жизни, и упорно шел вперед.

Время от времени, стараясь не выронить ноши, он нагибался, захватывал полную горсть снега и растирал себе ступни, чтобы не дать им закоченеть.

Порою же, когда у него пересыхало в горле, он набирал в рот немного снегу и сосал его; это ненадолго утоляло жажду, но вызывало озноб. Мимолетное облегчение лишь усиливало страдания.

Вьюга, разбушевавшись, уже не знала пределов

своему неистовству, — в природе наблюдаются явления, которые следовало бы назвать снежными потопами. Это и было таким потопом. Беснуясь, буря обрушилась не только на океан: она свирепствовала и на побережье. Вероятно, как раз в это время урка, беспомощно носясь по волнам, теряла в поединке с рифами последние остатки такелажа.

Двигаясь сквозь вьюгу на восток, ребенок пересек широкие снежные пространства. Он не имел представления, который мог быть час. Уже давно не различал он никакого дыма. Такие приметы исчезают во мраке ночи довольно скоро, не говоря уже о том, что час был поздний и огни давно были потушены; в конце концов он, может быть, просто ошибся, и в той стороне, куда он направлялся, не было ни города, ни селения.

Но эти сомнения нисколько не ослабили его решимости.

Два-три раза малютка принималась кричать. Не останавливаясь, он укачивал ее на ходу; она успокаивалась и умолкала. Наконец она заснула крепким, безмятежным сном. Сам дрожа от холода, он чувствовал, что ей тепло.

Он то и дело запахивал плотнее куртку вокруг шейки малютки, чтобы в разошедшиеся складки

не забился иней и чтобы к тельцу ребенка не было ни малейшего доступа таявшему снегу.

Поверхность равнины была волнистой. В ложбинах, где она понижалась, ветром намело такие сугробы, что мальчик утопал в них чуть не по грудь и с трудом прокладывал себе дорогу, расталкивая снег коленями.

Выбравшись из лощины, он попал на плоскогорье, со всех сторон открытое ветрам, где снег лежал лишь тонким слоем. Там была гололедица.

Теплое дыхание девочки, касаясь его щеки, согревало его на мгновение, но увлажненные волосы на виске тотчас же превращались в сосульку.

Он отдавал себе отчет, насколько усложнилась его задача: ему уже нельзя было упасть. Он чувствовал, что, упав, он больше не подымется. Он изнемогал от усталости, и мрак немедленно придавил бы его своей свинцовой тяжестью к земле, а мороз заживо приковал бы его к ней, как ту покойницу. До сих пор он уже не раз висел над пропастью, но спускался благополучно; не раз спотыкался, попадая ногою в ямы, но выбирался из них невредимым; теперь же всякое падение было равносильно смерти. Неверный шаг раз-

верзнул бы перед ним могилу. Ему нельзя было поскользнуться: у него не хватило бы сил даже привстать на колени. А между тем поскользнуться можно было на каждом шагу: все пространство вокруг покрылось ледяной корой.

Девочка, которую он нес, страшно мешала ему идти; это была не только тяжесть, непосильная при его усталости и истощении, это была еще и помеха. Обе руки у него были заняты, между тем при гололедице именно руки служат пешеходу необходимым естественным балансиром.

Надо было обходиться без этого балансира.

Он и обходился без него и шел, не зная, как ему управиться с ношей.

Малютка оказалась каплей, переполнившей чашу его бедствий.

Он продвигался вперед, ставя ноги как на туго натянутом канате, проделывая чудеса равновесия, которых никто не видел. Впрочем, повторяем, быть может на этом скорбном пути за ним из мрака бесконечности следили открывшиеся глаза матери да око божие.

Он шатался, оступался, но удерживался на ногах, все время заботясь о малютке, закутывая ее поплотнее в куртку, покрывая ей головку, опять оступался, но продолжал идти, скользил и снова

выпрямлялся. У ветра же хватало низости еще подталкивать его.

Он, вероятно, много плутал. Судя по всему, он находился на тех равнинах, где позднее выросла Бинкливская ферма, на полпути между нынешними Спринг-Гарденсом и Персонедж-Хаузом. В настоящее время там — фермы и коттеджи, тогда же там была пустошь. Нередко меньше, чем за столетие, голая степь превращается в город.

Вдруг слепившая ему глаза и пронизывавшая холодом метель на минуту затихла, и он заметил невдалеке от себя занесенные снегом крыши и трубы — целый город, выступавший белым пятном на черном фоне горизонта, так оказать, силуэт наизнанку, нечто вроде того, что теперь называют негативом.

Кровли, жилища, ночлег! Он, значит, куда-то добрался! Он почувствовал неизъяснимый прилив бодрости, какой пробуждает в человеке надежда. Вахтенный на сбившемся с курса судне, кричащий своим спутникам: «Земля!», переживает подобное же волнение. Ребенок ускорил шаги.

Он, наконец, нашел людей. Он сейчас увидит живые лица. Куда девался страх! Он чувствовал себя в безопасности, и от одного этого сознания кровь быстрей потекла в его жилах. С тем, что ему

только что пришлось пережить, было, значит, покончено навсегда. Не будет больше ни ночи, ни зимы, ни вьюги. Ему казалось, что все самое страшное теперь позади. Малютка уже нисколько не обременяла его. Он почти бежал.

Его глаза были прикованы к этим кровлям. Там, под ними, была жизнь. Он не сводил с них взгляда. Так смотрел бы мертвец на мир, представший ему сквозь приоткрытую крышку гроба. Это были те самые трубы, дым которых он видел издалека.

Теперь ни одна из них не дымилась.

Он быстро дошел до первых домов. Он вступил в предместье, представлявшее собою открытый въезд в город. В ту эпоху уже отмирал обычай загораживать улицы на ночь.

Улица начиналась двумя домами. Однако в них не было видно ни одной горящей свечи, ни одной лампы, так же как и во всей улице и во всем городе — нигде не было ни одного огонька.

Дом направо был похож скорее на сарай, чем на жилое строение, до того он был невзрачен; стены были глинобитные, крыша соломенная и по сравнению со стенами несоразмерно велика. Большой куст крапивы, разросшийся у стены, доходил чуть не до застрехи. В лачуге была одна только дверь, похожая на кошачью лазейку, и лишь одно

крошечное окошко под самой кровлей. Все было заперто. Рядом, в хлеву, глухо хрюкала свинья; это свидетельствовало о том, что и дом обитаем.

Дом слева был высоким, длинным каменным зданием с аспидной крышей. Палаты богача, выросшие против лачуги бедняка.

Мальчик, не колеблясь, направился к большому дому. Тяжелая дубовая двустворчатая дверь с узором из крупных шляпок гвоздей не вызывала сомнения в том, что она заперта на несколько крепких засовов и замков; снаружи висел железный молоток.

Ребенок не без труда поднял молоток — его окоченевшие руки были скорее обрубками, чем руками. Он постучал.

Никакого ответа.

Он постучал еще раз, теперь в два удара.

В доме не слышно было ни малейшего движения.

Он постучал в третий раз. Никто не откликнулся.

Он понял, что хозяева либо опят, либо не желают подняться с постели.

Тогда он подошел к бедному дому. Разыскав в снегу булыжник, он постучал им в низенькую дверь.

Никакого ответа.

Привстав на носки, он стал барабанить камнем в окошечко — достаточно осторожно, чтобы не разбить стекла, но достаточно громко, чтобы его услышали.

Никто не отозвался, никто не шевельнулся, никто не зажег свечи.

Он понял, что здесь тоже не хотят вставать.

И в каменных палатах и в крытой соломой хижине люди были одинаково глухи к мольбам обездоленных.

Мальчик решил идти дальше и направился в тянувшийся прямо перед ним узкий переулок, настолько мрачный, что его можно было скорее принять за ущелье между скалами, чем за городскую улицу.

4. Иного рода пустыня

Поселок, в который он попал, назывался Уэймет.

Тогдашний Уэймет не был нынешним почтенным и великолепным Уэйметом.

В старинном Уэймете не было, подобно теперешнему Уэймету, безукоризненной, прямой, как стрела, набережной со статуей Георга III и гостиницей, носящей имя того же короля. Это объясняется тем, что Георга III в то время еще

не было на свете. По той же причине на зеленом склоне холма, к востоку от Уэймета, еще не красовалось занимающее теперь чуть ли не целый арпан[70]

и сделанное из подстриженного дерна, уложенного на обнаженной почве, изображение некоего короля верхом на белом коне с развевающимся хвостом, обращенным, в честь того же Георга III[71]

, в сторону города. Впрочем, почести эти были заслужены: Георг III, лишившийся в старости рассудка, которым он не обладал и в молодости, не ответственен за бедствия, происшедшие в его царствование. Это был дурачок. Почему бы не воздвигнуть памятник и ему?

Сто восемьдесят лет тому назад Уэймет отличался приблизительно той же симметричностью, что и сваленная в беспорядке куча бирюлек. Легендарная Астарот иногда прогуливалась по земле с мешком за плечами, в котором было все решительно, включая и домики с добрыми хозяйками. Груда домишек, выпавшая из этой дьявольской котомки, могла бы дать точное представление о хаотической разбросанности уэйметских жилищ и даже о добрых уэйметских хозяйках. Образцом его построек может служить

сохранившийся доныне Дом музыкантов. Множество деревянных хижин, украшенных резьбою; уродливые, покосившиеся на сторону строения, из коих одни опирались на столбы, а другие прислонялись к соседним домишкам, чтобы не свалиться под напором морского ветра, узкие, кривые, извилистые проходы, переулки, перекрестки, часто затопляемые морским приливом, ветхие лачуги, лепившиеся вокруг старинной церкви, — вот что представлял собой в ту пору Уэймет. Уэймет был чем-то вроде древнего нормандского поселка, выброшенного волнами на английский берег.

Путешественник, заходивший в таверну, на месте которой стоит ныне гостиница, вместо того чтобы потребовать жареной камбалы и бутылку вина и с королевской щедростью заплатить двадцать пять франков, скромно съедал за два су тарелку рыбной похлебки, впрочем отменно вкусной. Все это было очень убого.

Покинутый ребенок, неся на руках найденную им девочку, прошел одну улицу, затем другую, третью. Он смотрел вверх, надеясь найти хоть одно освещенное окно, но все дома были наглухо заперты я темны. Иногда он стучался в какую-нибудь дверь. Никто не отзывался. Теплая постель

обладает способностью превращать человеческое сердце в камень. Стук и толчки разбудили в конце концов малютку. Он заметил это потому, что она принялась сосать его щеку. Она не кричала, так как думала, что лежит на руках у матери.

Быть может, ему пришлось бы долго кружить и блуждать по лабиринту переулков Скрамбриджа, где в то время было больше огородов, чем домов, и больше изгородей из кустов терновника, чем жилых строений, если бы по счастливой случайности он не забрел в узкий проход, существующий еще и в наши дни возле школы Троицы. Этот проход вывел его к отлогому берегу, где было сооружено некое подобие набережной с парапетом. Направо от себя он увидел мост.

Мост этот, переброшенный через Уэй, был тот самый, что и теперь соединяет Уэймет с Мелкомб-Реджисом, — мост, под пролетами которого гавань сообщается с рекой, прегражденной плотиной.

Уэймет был еще в те времена предместьем портового города Мелкомб-Реджиса. Теперь Мелкомб-Реджис — один из приходов Уэймета. Предместье поглотило город, чему в значительной степени помог мост. Мосты — это своеобразные насосы, перекачивающие население из одной

местности в другую и иногда способствующие росту какого-нибудь прибрежного селения за счет его соседа на противоположном берегу.

Мальчик направился к мосту, который представлял собой в те времена просто крытые деревянные мостки. Он прошел по этим мосткам.

Благодаря крыше на настиле моста не было снега. Ступая босыми ногами по сухим доскам, он испытал на минуту блаженное ощущение.

Перейдя мост, он очутился в Мелкомб-Реджисе.

Здесь деревянных домиков было меньше, чем каменных. Это было уже не предместье, это был город. Мост упирался в довольно красивую улицу св. Фомы. Мальчик пошел по ней. По обеим сторонам улицы стояли высокие дома с резным щипцом, там и сям попадались окна лавок. Он снова стал стучаться в двери. У него уже не было сил ни звать, ни кричать.

Никто не откликался в Мелкомб-Реджисе, так же, как это было и в Уэймете. Все двери были крепко заперты на замок. Окна были закрыты ставнями, как глаза веками. Были приняты все меры предосторожности против внезапного, всегда неприятного пробуждения.

Маленький скиталец испытал на себе не выразимое никакими словами влияние спящего

города. Безмолвие такого оцепеневшего муравейника способно вызвать головокружение. Кошмары тяжелого сна, что толпой теснятся в мозгу неподвижно распростертых человеческих тел, как будто исходят от них клубами дыма. Смутная мысль спящих реет над ними то легким туманом, то тяжким угаром и сливается с несбыточными их мечтами, которые, пожалуй, тоже витают в пространстве, где-то на грани сна и действительности. Отсюда вся эта путаница наших снов. Грезы, наплывая облаком, порою плотным, порою прозрачным, заслоняют собою звезду, имя которой разум. За сомкнутыми веками глаз, где зрение вытеснено сновидением, проносятся призрачные силуэты, распадающиеся образы, совсем живые, но неосязаемые, и кажется, что рассеянные где-то в иных мирах таинственные существования сливаются с нашей жизнью на том рубеже смерти, который называется оном. Этот хоровод призраков и душ кружится в воздухе. Даже тот, кто не спит, чувствует, как давит его эта среда, исполненная зловещей жизни. Окружающие его химеры, в которых он угадывает нечто реальное, не дают ему покоя. Бодрствующий человек проходит по спящим улицам точно сквозь мглу чужих сновидений, безотчетно сопротивля-

ясь натиску наступающих на него призраков; он испытывает (или во всяком случае ему кажется, будто он испытывает) ужас соприкосновения с незримыми и враждебными существами; каждое мгновение он сталкивается с чем-то неизъяснимым, что сейчас же пропадает бесследно. В этом ночном странствии среди летучего хаоса сонных грез есть нечто общее с блужданием в дремучем лесу.

Это и есть то состояние, которое называют беспричинным страхом.

У ребенка это чувство проявляется еще сильнее, чем у взрослых.

Ужас, внушаемый мальчику ночным безмолвием и зрелищем как будто вымерших домов, усугублял тяжесть бедственного его положения.

Войдя в Коникер-лейн, он увидел в конце этого переулка запруженную реку и принял ее за океан; он уже не мог бы сказать, в какой стороне находится море; он возвратился на прежнее место, свернул влево по Мейдн-стрит и пошел назад по Сент-Олбенс-роу.

Там он стал уже без разбора громко стучать в первые попавшиеся дома. Беспорядочно сыпавшиеся отрывистые удары, в которые он влагал свои последние силы, повторялись через опре-

деленные промежутки все с большей и большей яростью. Это билось в двери его иссякшее терпение.

Наконец раздался ответный звук.

Ответили часы.

На старинной колокольне церкви св. Николая медленно пробило три часа ночи.

Затем все снова погрузилось в безмолвие.

Может показаться невероятным, что ни один из жителей города не приоткрыл даже окошка. Однако это находит некоторое объяснение. Надо сказать, что в январе 1690 года только что улеглась довольно сильная вспышка чумы, свирепствовавшей в Лондоне, и боязнь впустить к себе в дом какого-нибудь больного бродягу вызвала во всей стране, упадок гостеприимства. Не решались даже слегка приотворить окно, чтобы не вдохнуть зараженного воздуха.

Холодность людей была для ребенка еще страшнее, чем холод ночи. В ней ведь всегда чувствуется преднамеренность. Сердце у него болезненно сжалось: он впал в большее уныние, чем там, в пустыне. Он вступил в общество себе подобных, но продолжал оставаться одиноким. Это было мучительно. Безжалостность пустыни была ему понятна, но беспощадное равнодушие города

казалось ему чудовищным. Мерные звуки колокола, отбивающего истекшие часы, повергли его в еще большее отчаяние. Порою ничто не производит такого удручающего впечатления, как бой часов. Это — откровенное признание в полном безразличии. Это — сама вечность, заявляющая громогласно: «Какое мне дело?»

Он остановился. Как знать, может быть в эту горькую минуту он задал себе вопрос: не лучше ли лечь прямо на улице и умереть? Но в это время девочка склонила головку к нему на плечо и опять заснула. Инстинктивная доверчивость малютки побудила его идти дальше.

Он, вокруг которого все рушилось, почувствовал, что сам является чьей-то опорой. При таких обстоятельствах в человеке пробуждается голос долга.

Но ни эти мысли, ни состояние, в котором он находился, не соответствовали его возрасту. Возможно, что все это было выше уровня его понимания. Он действовал бессознательно. Он поступал так, не отдавая себе отчета.

Он направился к Джонсон-роу.

Он уже не шел, а еле волочил ноги.

Оставив по левую руку от себя Сент-Мери-стрит, он миновал несколько кривых переулков

и, пробравшись через узкий извилистый проход между двумя лачугами, очутился на довольно обширном незастроенном поле. Этот пустырь находился приблизительно в том месте, где теперь Честерфилдская площадь. Здесь дома кончались. Направо виднелось море, налево — редкие хижины предместья.

Как быть? Опять начиналась голая равнина. На востоке простирались покрытые пеленою снега широкие склоны Редипола.

Что делать? Идти дальше? Уйти снова в безлюдье? Вернуться назад на городские улицы? Что предпочесть: безмолвие снежных полей или глухой, бездушный город? Которое выбрать из этих двух зол?

Существует якорь спасения, существует и взгляд, молящий о спасении. Именно такой взгляд кинул вокруг себя отчаявшийся ребенок.

Вдруг он услышал угрозу.

5. Причуды мизантропа

Какой-то странный, пугающий скрежет донесся до него из темноты.

Тут было от чего попятиться назад. Однако он пошел вперед.

Тому, кого удручает безмолвие, приятно даже рычание.

Эта свирепо разверстая пасть ободрила его. Угроза сулила какой-то выход. Здесь, неподалеку, было живое, не погруженное в сон существо, хотя бы и дикий зверь. Он пошел в ту сторону, откуда доносилось рычание.

Он повернул за угол и при мертвенно-тусклых отсветах снега увидел какое-то темное сооружение, приютившееся у самой стены: не то повозку, не то хижину. Оно стояло на колесах, — значит, повозка. Но у него была крыша, как у дома, — значит, людское жилье. Над крышей торчала труба, из трубы шел дым. Дым был красноватого цвета, что свидетельствовало о жарко горящем очаге. Петли, приделанные снаружи на стене, указывали на то, что здесь устроена дверь, а сквозь четырехугольное отверстие в середине двери виден был свет, горевший в хижине. Ребенок подошел ближе.

Существо, издававшее рычание, почуяло его. Когда он приблизился к повозке, угрожающие звуки стали еще яростнее. Это уже было не глухое ворчанье, а громкий вой. Он услыхал лязг натянувшейся цепи, и внезапно между задними колесами повозки, под самой дверью, блеснул двойной ряд острых белых клыков.

В ту же минуту, как между колесами показалась

звериная морда, в четырехугольное отверстие двери просунулась чья-то голова.

— Молчать! — крикнула голова.

Вой прекратился.

Голова спросила:

— Есть тут кто-нибудь?

Ребенок ответил:

— Да.

— Кто?

— Я.

— Ты? Кто ты? Откуда ты?

— Я устал, — сказал ребенок.

— А который теперь час?

— Я озяб.

— Что ты там делаешь?

— Я голоден.

Голова возразила:

— Не всем же быть счастливыми, как лорды. Убирайся прочь!

Голова скрылась. Форточка захлопнулась.

Ребенок опустил голову, прижал к себе спящую малютку и собрал последние силы, чтобы снова тронуться в путь. Он уже отошел на несколько шагов от возка.

Но в то самое время, как закрылась форточка, распахнулась дверь, и опустилась подножка.

Голос, только что говоривший с мальчиком, сердито окликнул его из глубины возка:

— Ну, что ж ты не входишь?

Ребенок обернулся.

— Входи же, — продолжал голос. — И откуда это еще взялся на мою беду такой негодяй? Голоден, озяб, а входить не хочет.

Ребенок, которого одновременно прогоняли и звали, стоял не двигаясь.

Голос продолжал:

— Говорят тебе, входи, бездельник!

Мальчик, наконец, решился и уже занес ногу на первую ступеньку лестницы.

Но в эту минуту под тележкой послышалось рычанье.

Он отступил. Из-под возка опять показалась разинутая пасть.

— Молчать! — крикнул человеческий голос.

Пасть исчезла. Рычанье прекратилось.

— Влезай! — продолжал человек.

Ребенок с трудом поднялся по трем ступенькам лестницы. Его движениям мешала девочка, которую он держал на руках; она вся закоченела, хотя так плотно была закутана в куртку, что ее совсем не было видно: это был какой-то бесформенный сверток.

Одолев все три ступеньки, мальчик остановился на пороге.

В домике не горело ни одной свечи — вероятно, из нищенской экономии. Он был освещен лишь красноватым отблеском, вырывавшимся из дверцы чугунной печки, где потрескивал торф. На печке стояла дымившаяся миска и горшок, в котором, невидимому, готовилось какое-то кушанье. От него шел приятный запах. Все убранство домика состояло из сундука, скамьи и подвешенного к потолку незажженного фонаря. По стенам, на подставках, было укреплено несколько полок и вбит ряд крюков, на которых висела разная утварь. На полках и отдельно, на гвоздях, поблескивала стеклянная и медная посуда, перегонный куб, колба, похожая на сосуд для плавления воска, и множество странных предметов, назначения которых ребенок не мог себе объяснить и которые составляют кухню химика. Домик имел продолговатую форму; печь помещалась в самой глубине. Это была даже не клетушка, а деревянный ящик не слишком больших размеров. Снаружи домик был освещен снегом сильнее, чем изнутри — печкой. Полумрак, наполнявший каморку, скрадывал все очертания. Тем не менее благодаря отсвету пламени можно было прочи-

тать на потолке слова, написанные крупными буквами: «Урсус, философ».

В самом деле, ребенок очутился в жилище Гомо и Урсуса. Рычание, которое мы только что слышали, было рычанием Гомо, а голос — голосом Урсуса.

Переступив порог, ребенок увидел около печки высокого пожилого мужчину, худощавого и гладко выбритого; он был одет во что-то серое и стоял, упираясь лысым черепом в самый потолок. Человек этот не мог приподняться на носки: каморка была высотою как раз в его рост.

— Входи, — сказал человек. Это был Урсус.

Ребенок вошел.

— Узелок положи вон туда.

Ребенок, боясь испугать и разбудить малютку, бережно опустил на сундук свою ношу.

Мужчина продолжал:

— Что это ты так осторожно кладешь? Мощи там у тебя, что ли? Уж не боишься ли ты разорвать свое тряпье? Ах, мерзкий бездельник! В такой час слоняться по улицам! Кто ты? Отвечай! Впрочем, не надо никаких разговоров! Сперва проделаем самое неотложное: ты прозяб, ступай погрейся.

И, взяв мальчика за плечи, он толкнул его к печке.

— Ну и промок же ты! Ну и замерз же ты! И в таком-то виде ты смеешь являться в чужой дом? Ну-ка, сбрасывай поскорее с себя всю эту ветошь, негодяй!

И с лихорадочной поспешностью он одной рукой сорвал с него лохмотья, которые от одного прикосновения рвались на клочья, а другою снял с гвоздя мужскую рубашку и вязаную фуфайку.

— Ну, напяливай на себя!

Выбрав из вороха тряпок шерстяной лоскут, он принялся растирать перед огнем руки и ноги нагого, остолбеневшего от неожиданности и близкого к обмороку ребенка, которому в эту минуту блаженного тепла показалось, что он попал на небо. Растерев мальчику все тело, человек ощупал его ступни.

— Ну, кощей, ничего у тебя не отморожено. А я-то, дурень, боялся, не отморозил ли он себе передние или задние лапы! На этот раз ты еще не калека! Одевайся!

Ребенок натянул на себя рубашку, а поверх нее старик накинул на него фуфайку.

— Теперь…

Он пододвинул ногою скамью, толкнул на нее ребенка и пальцем показал на миску, от которой шел пар. В этой миске ребенку снова явилось

небо, на этот раз в виде картошки с салом.

— Раз голоден, так ешь!

Достав с полки черствую горбушку хлеба и железную вилку, он протянул их ребенку; тот не решался взять.

— Уж не прикажешь ли накрыть для тебя стол? — заворчал мужчина.

И он поставил миску мальчику на колени.

— Лопай все это!

Голод взял верх над изумлением. Ребенок принялся за еду. Бедняжка не ел, а пожирал убогую снедь. В каморке слышался веселый хруст жестких корок, которые он уплетал. Хозяин ворчал:

— И куда это ты торопишься, обжора! Ну и жаден же, негодяй! Эти голодные канальи едят так, что тошно становится. То ли дело лорды: любо посмотреть, как они кушают. Мне случалось видеть герцогов за столом. Они совсем ничего не едят; вот что значит благородное воспитанта. Правда, они пьют… Ну, ешь до отвала, поросенок!

Голодное брюхо к ученью глухо; ругательства, которыми хозяин осыпал своего гостя, не производили на него особого впечатления, тем более что они явно противоречили той доброте, которую проявил к нему Урсус. К тому же все внимание ребенка было всецело поглощено двумя

желаниями: согреться и поесть.

Продолжая негодовать, Урсус между тем ворчал себе под нос:

— Я видел, как ужинал сам король Иаков; это было в Банкетинг-Хаузе, где по стенам висят картины знаменитого Рубенса[72]

; его величество даже не притронулся ни к чему. А этот нищий знай набивает себе живот! Недаром «живот» и «животное» — слова одного корня. И дернула же меня нелегкая забраться в этот Уэймет, чтоб ему провалиться! С самого утра ничего не продал, краснобайствовал перед снегом, играл на флейте для урагана, не заработал ни одного фартинга, а вечером тут как тут — нищие! Ну и гнусный край! Только и знаешь, что с дураками прохожими состязаться, кто кого надует! Они стараются отделаться от меня жалкими грошами, а я стараюсь всучить им какое-нибудь целительное снадобье. Но сегодня, как назло, — ничего, решительно ничего! Ни одного болвана на перекрестке, ни одного пенни в кассе! Ешь, исчадие ада! Уплетай за обе щеки, грызи, глотай! Мы живем в такое время, когда ничто не может сравниться с наглостью лизоблюдов. Жирей на мой счет, паразит! Это не голодный ребенок, а людоед! Это не аппетит, а звериная жадность.

Тебя, видно, разъедает изнутри какая-то зараза. Кто знает? Уж не чума ли? У тебя чума, разбойник? Что, если она перебросится на Гомо? Ну нет, подыхай один, подлое отродье, не хочу я, чтоб умер мой волк. Однако я и сам проголодался. Надо прямо сказать, пренеприятный случай. Сегодня я проработал до глубокой ночи. Бывают такие обстоятельства в жизни, когда человеку нужно что-нибудь до зарезу. Нынче вечером мне во что бы то ни стало надо было поесть. Сижу я здесь один, развел огонь; всего-то припасов у меня две картошки, горбушка хлеба, ломтик сала да капля молока; ставлю я все это подогреть и думаю: ладно, попробую как-нибудь этим насытиться. Трах! Надо же было, чтобы этот крокодил свалился мне на голову! Ни слова не говоря, становится между мной и моей пищей. И вот в моей трапезной хоть шаром покати! Ешь, щука, ешь, акула! Хотелось бы знать, во сколько рядов зубы у тебя в пасти? Жри, волчонок! Нет, беру это слово назад — из уважения к волкам. Глотай мой корм, удав! Работал, работал, а в желудке пусто, горло пересохло, в поджелудочной железе боль, все кишки свело; трудился до поздней ночи — и вот моя награда: смотрю, как ест другой. Что ж, так и быть, разделим ужин пополам. Ему — хлеб, картошка и сало,

мне — молоко.

В эту минуту каморка огласилась протяжным и жалобным криком. Урсус насторожился.

— И еще кричишь, мошенник? Чего ты орешь?

Мальчик повернулся к нему. Было очевидно, что кричит не он. Рот у него был полон.

Крик не прекращался.

Урсус направился к сундуку.

— Да это твой сверток орет! Долина Иосафата! Вот уж и свертки стали горланить. Чего это он раскаркался?

Он развернул куртку. Из нее показалась головка младенца, надрывавшегося от крика.

— Это еще кто там? — спросил Урсус. — Что это такое? Еще один! Этому конца не будет! Караул! В ружье! Капрал, взвод вперед! Вторичная тревога! Что это ты мне принес, бандит! Разве ты не видишь, что она хочет пить? Значит, надо ее напоить. Ничего не поделаешь, придется, видно, остаться и без молока.

Он выбрал из кучи хлама, лежавшего на полке, несколько ветошек, губку и пузырек, продолжая все время яростно ворчать:

— Проклятый край!

Потом осмотрел малютку.

— Девчонка. Можно по визгу узнать. Эта тоже

насквозь промокла.

Он сорвал с нее, так же как с мальчика, тряпье, в которое она была укутана, и завернул ее в обрывок грубого толста, дырявый, но чистый и сухой. Внезапное и быстрое переодевание окончательно растревожило малютку.

— Ну и мяучит! Пощады нет! — промолвил он.

Он откусил зубами продолговатый кусок губки, оторвал от тряпки четырехугольный лоскут, вытянул из него нитку, снял с печки горшок с молоком, перелил молоко в пузырек, наполовину воткнул губку в горлышко, прикрыл ее лоскутом, обвязал холст ниткой, приложил пузырек к щеке, чтобы убедиться, что он не слишком горяч, и взял подмышку спеленутого младенца, продолжавшего неистово кричать.

— На, поужинай, негодная тварь! Вот тебе соска!

И он сунул ей в рот горлышко пузырька.

Малютка стала с жадностью сосать.

Он поддерживал склянку в наклонном положении, продолжая ворчать:

— Все они на один образец, негодные! Как только преподнесешь, чего им хочется, так и замолкают.

Малютка глотала молоко так торопливо и с та-

кой жадностью впилась в искусственную грудь, протянутую ей этим ворчливым провидением, что закашлялась.

— Да ты захлебнешься, — сердито буркнул Урсус. — Смотри-ка, тоже обжора хоть куда!

Он отнял у нее губку, выждал, пока прошел кашель, затем снова сунул ей в рот пузырек, говоря:

— Соси, дрянь ты этакая!

Тем временем мальчик положил вилку. Он смотрел, как малютка сосет молоко, и забыл о еде. За минуту до этого, когда он утолял свой голод, в его взгляде было только удовлетворение; теперь же этот взгляд выражал признательность. Он смотрел на возвращавшуюся к жизни малютку. Окончательное воскрешение девочки, вырванной из объятий смерти, исполнило его взор неизъяснимо радостным блеском. Урсус продолжал сердито ворчать сквозь зубы. По временам мальчик поднимал на него глаза, влажные от слез: бедное создание, хоть его и осыпали руганью, было глубоко растрогано, но не умело выразить словами волновавших его чувств.

Урсус гневно накинулся на него:

— Будешь ты есть, наконец!

— А вы? — дрожа всем телом, спросил ребенок,

в глазах которого стояли слезы. — Вам ничего не останется?

— Ешь все, говорят тебе, дьявольское отродье! Здесь и тебе одному еле хватит, если для меня было мало.

Ребенок взял вилку, но не решался есть.

— Ешь! — заорал Урсус. — При чем тут я? Кто тебя просит заботиться обо мне? Говорю тебе, ешь все, босоногий причетник Безгрошового прихода! Раз ты попал сюда, так надо есть, пить и спать. Ешь, не то я вышвырну тебя за дверь вместе с твоей негодницей.

Услышав эту угрозу, мальчик снова принялся за еду. Ему не пришлось слишком много трудиться, чтобы уничтожить то, что еще оставалось в миске.

Урсус пробормотал:

— Постройка не из важных: от окон так и несет холодом.

В самом деле, оконце в двери было разбито не то от тряски, не то камнем шалуна. Урсус залепил дыру бумагой, но она отставала. Через это отверстие проникал холодный ветер.

Урсус присел на самый край сундука. Малютка, которую он, обхватив обеими руками, держал у себя на коленях, с наслаждением сосала свою

соску, впав в то состояние блаженной дремоты, в котором находятся херувимы перед ликом божьим и младенцы у материнской груди.

— Наелась, — промолвил Урсус.

И прибавил:

— Проповедуйте-ка после этого воздержание!

Ветром сорвало со стекла наложенную Урсусом заплатку; клочок бумаги, взлетев на воздух, закружился по всей каморке, но такой пустяк не мог отвлечь внимания детей от занятия, возвращавшего их обоих к жизни.

Пока девочка пила, а мальчик ел, Урсус продолжал брюзжать:

— Пьянство начинается с пеленок. Стоит ли после этого быть епископом Тиллотсоном и метать громы и молнии на пьяниц! Вот отвратительный сквозняк! Да и печка того гляди развалится. Такой дым, что глаза ест. Не сладить ни с холодом, ни с огнем. Да и темновато. Эта тварь злоупотребляет моим гостеприимством, а я еще не разглядел его рожи. Да, до роскоши здесь далеко. Клянусь Юпитером, я умею ценить утонченное пиршество в теплом зале, где тебя не продувает насквозь. Я изменил своему призванию: я рожден для чувственных удовольствий. Величайший из мудрецов — Филоксен[73]

: он выразил желание иметь журавлиную шею, чтобы подольше наслаждаться хорошей трапезой. Сегодня ни гроша не заработал! За весь день ничего не продал! Катастрофа. Пожалуйте, горожане, слуги, мещане, вот лекарь и вот лекарства! Напрасно стараешься, старина. Убери-ка свою аптеку. Здесь все здоровы. Что за проклятый город, где нет ни одного больного! Одни лишь небеса страдают поносом. Вон какой снег! Анаксагор[74]

учил, что снег черного цвета. Он был прав: холод — это чернота. Лед — это ночь. Ну и вьюга! Представляю себе, как приятно сейчас в море. Ураган — это хоровод дьяволов, это бешеная свистопляска вампиров, все они скачут галопом и кувыркаются у нас над головой. Они мелькают в тучах: у одного — хвост, у другого — рога, у третьего вместо языка во рту пламя, у этого — крылья с когтями, у того — брюхо лорд-канцлера, а вон у того — башка академика. Каждого из них можно распознать по особому, им одним издаваемому звуку. Что ни порыв ветра, то новый адский дух; слышишь и видишь в одно и то же время, ибо этот грохот принимает зрительные формы. Черт возьми, а ведь в море, наверно, есть люди! Друзья мои, управляйтесь с бурей как-нибудь без меня, а мне и самому-то нелегко управиться с жизнью.

Что я вам, содержатель харчевни, что ли? С какой это стати ко мне прут путешественники? Всемирная нужда перехлестывает через порог моего убогого жилища. Омерзительные брызги человеческой нищеты летят прямо ко мне в хижину. Я жертва алчности всяких проходимцев. Я их добыча. Добыча околевающих с голоду. Зима, ночь, картонный домишко, под ним — несчастный друг; снаружи со всех сторон — буря, в каморке — картошка, жалкий огонь в печке, попрошайки, ветер, свистящий во все щели, ни гроша в кармане и впридачу — свертки, которые вдруг начинают выть. Разворачиваешь его, а там — маленькая нищенка! Ну и жизнь! Не говоря уже о том, что здесь налицо явное нарушение закона. Ах ты, бродяга, гнусный карманник, преступный недоносок! Шатаешься по улицам после того, как погасили огни. Если бы наш добрый король узнал об этом, он мигом законопатил бы тебя в какое-нибудь подземелье, чтобы проучить как следует: шутка ли сказать, молодчик прогуливается по ночам со своей девицей! В пятнадцатиградусный мороз без шапки и босиком! Да ведь это запрещено, на сей счет существуют особые правила и указы, мятежник ты этакий! Ты разве не знаешь, что все бродяги подлежат наказанию, тогда как

благонамеренные люди, имеющие свои дома, пользуются охраной и покровительством закона: недаром же короли — отцы народа. Я, например, человек оседлый! Если бы тебя поймали, тебя выпороли бы кнутом на площади, и отлично бы сделали. В благоустроенном государстве нужен порядок. Напрасно я сразу же не донес на тебя констеблю. Но так уж я создан: знаю, что хорошо, а поступаю дурно. Ах ты, мерзавец! Явился ко мне в таком виде! Я и не заметил сперва, сколько снегу ты нанес. А теперь все растаяло. Лужи во всех углах. Настоящее наводнение. Придется сжечь уйму угля, чтобы осушить это озеро. А уголь-то стоит двенадцать фартингов мерка! Как же мы поместимся втроем в этой хибарке? Конечно, отныне я завожу у себя питомник — в моих руках будущее всей английской голи, которую мне придется вскармливать на свой счет. Моим занятием, обязанностью и назначением в жизни будет воспитание недоносков великой мошенницы — нищеты, наведение лоска на малолетних висельников, превращение молодых плутов в философов! И подумать только, что если бы меня тридцать лет кряду не объедали такие твари, как эти, я был бы богачом, Гомо нагулял бы жиру, у меня был бы врачебный кабинет со всякими ди-

ковинками и хирургическими инструментами, как у доктора Лайнекра, хирурга короля Генриха Восьмого, с чучелами разных зверей, египетскими мумиями и тому подобным. Я был бы членом Докторской коллегии, имел бы право пользоваться библиотекой, выстроенной в тысяча шестьсот пятьдесят втором году знаменитым Гарвеем[75]

, и работал бы под стеклянным куполом, откуда открывается вид на весь Лондон. Я мог бы продолжать заниматься вычислением солнечных затмений и доказал бы, что от этого светила исходит неуловимый глазом пар. Таково мнение Иоганна Кеплера[76]

, который родился за год до Варфоломеевской ночи и был придворным математиком императора. Солнце — это очаг, который иногда дымит, как моя печка. Она не лучше солнца. Да, я нажил бы себе состояние, был бы совсем другим человеком — не пошляком, унижающим достоинство науки на всех перекрестках. Народ не заслуживает, чтобы его просвещали, ибо народ — это сборище безумцев обоего пола, беспорядочная смесь возрастов, нравов, общественных положений, чернь, которую мудрецы всех времен открыто презирали, сумасбродство и ярость которой справедливо ненавидят даже самые умеренные из

них. Ах, мне надоело все на свете! С такими чувствами долго не проживешь. Говорят, что жизнь человеческая коротка. А я уже ею сыт по горло. Чтобы мы не впали в полное отчаяние, чтобы заставить нас добровольно влачить это глупое существование, чтобы мы не воспользовались великолепным случаем повеситься на первой попавшейся веревке и гвозде, природа нет-нет да и прикинется, будто она не прочь и позаботиться о человеке, — я не говорю об этой ночи. Она, эта угрюмая природа, взращивает хлебные колосья, наливает соком виноград, заставляет петь соловья. Порою луч зари или стакан джина вызывает у нас обманчивые мечты о счастье. Узенькая полоска добра окаймляет огромный саван зла. Наша судьба целиком соткана дьяволом, а бог только подшил рубец. Ах ты, воришка: пока я тут разглагольствовал, ты проглотил весь мой ужин!

Между тем у малютки, которую он осторожно держал на руках и, несмотря на высказываемое негодование, старался не беспокоить, начинали смыкаться глазки — знак того, что она вполне удовлетворена. Взглянув на пузырек, Урсус буркнул:

— Все вылакала, бессовестная!

Поддерживая крошку левой рукой, он встал, приподнял правой рукой крышку сундука и из-

влек оттуда медвежью шкуру, которую он, как помнит читатель, называл своей «настоящей шкурой».

Проделывая все это, он искоса поглядывал на другого ребенка, еще занятого едой.

— Туго придется мне, если надо будет кормить этого обжору. Это будет подлинный солитер во чреве моего промысла.

Свободной рукой он старательно разостлал медвежью шкуру на сундуке, помогая себе локтем другой руки и следя за каждым своим движением, чтобы не потревожить засыпавшую малютку. Затем положил ее на мех, поближе к огню.

Покончив с этим, он поставил пустой пузырек на печку и воскликнул:

— Смерть как хочется пить!

Заглянув в горшок, где оставалось еще несколько глотков молока, он поднес этот горшок к губам. Но в эту минуту его взгляд упал на девочку. Он поставил горшок обратно на печку, взял пузырек, вылил в него остатки молока, снова вложил губку в горлышко, обернул ее лоскутком и завязал ниткой.

— А все-таки хочется и есть и пить, — продолжал он.

И прибавил:

— Когда нет хлеба, пьют воду.

За печкой стоял безносый кувшин.

Он взял его и подал мальчику.

— Пей!

Ребенок напился и снова принялся за еду.

Урсус схватил кувшин и поднес его ко рту. Вода в нем, благодаря соседству в печкой, нагрелась неравномерно. Он сделал несколько глотков и скорчил гримасу.

— О ты, якобы чистая вода, ты похожа на мнимых друзей. Сверху ты теплая, а на дне — холодная.

Между тем мальчик покончил с ужином. Миска была не только опорожнена: она была вылизана дочиста. О чем-то задумавшись, мальчик подбирал и доедал последние крошки хлеба, упавшие к нему на колени.

Урсус повернулся к нему.

— Это еще не все. Теперь потолкуем. Рот дан человеку не только для того, чтобы есть, но и для того, чтобы говорить. Ты согрелся, нажрался и теперь смотри, животное, берегись: тебе придется отвечать на мои вопросы. Откуда ты пришел?

Ребенок ответил:

— Не знаю.

— Как это не знаешь?

— Сегодня вечером меня оставили одного на берегу моря.

— Ах, негодяй! Как же тебя зовут? Хорош гусь, если от него даже родители отказались.

— У меня нет родителей.

— Ты должен считаться с моими вкусами: имей в виду, что я терпеть не могу вранья. Раз у тебя есть сестра, значит есть и родители.

— Она мне не сестра.

— Не сестра?

— Нет.

— Кто же она такая?

— Эту девочку я нашел.

— Нашел?

— Да.

— Где? Если ты лжешь, я тебя убью.

— На мертвой женщине в снегу.

— Когда?

— Час тому назад.

— Где?

— В одном лье отсюда.

Урсус сурово сдвинул брови, что характерно для философа, охваченного волнением.

— Так эта женщина умерла? То-то счастливица. Надо ее так и оставить в снегу. Ей там хорошо. А где ж она лежит?

— Как идти к морю.

— Ты переходил мост?

— Да.

Урсус открыл форточку в задней стене и посмотрел, что делается на дворе. Погода нисколько не стала лучше. Все так же падал густой, наводивший уныние снег.

Он захлопнул форточку.

Подойдя к разбитому стеклу, он заткнул дыру тряпкой, подбросил в печку торфу, разостлал как можно шире медвежью шкуру на сундуке, взял лежавшую в углу толстую книгу, пристроил ее в изголовье вместо подушки и положил на нее головку уснувшей малютки.

Затем повернулся к мальчику:

— Ложись сюда.

Ребенок послушно растянулся во всю длину рядом с девочкой. Урсус плотно закутал обоих детей в медвежью шкуру и подоткнул ее края им под ноги.

Он достал с полки и надел на себя холщовый пояс с большим карманом, в котором, вероятно, были хирургические инструменты и склянка со снадобьями.

Потом отцепил висевший над потолком фонарь, зажег его. Фонарь был потайной. Свет от

него не падал на лица детей.

Урсус приоткрыл дверь и, уже стоя на пороге, сказал:

— Я ухожу. Не бойтесь. Я скоро вернусь. Спите.

Спуская подножку, он позвал:

— Гомо!

Ему ответило ласковое ворчание.

Урсус с фонарем в руке сошел вниз, подножка поднялась, дверь снова закрылась. Дети остались одни.

Снаружи донесся голос Урсуса; он спрашивал:

— Мальчик, съевший мой ужин, ты еще не спишь?

— Нет, — ответил ребенок.

— Ну так вот: если она заревет, дай ей остальное молоко.

Послышался лязг отвязываемой цепи и постепенно удалявшийся шум шагов человека и зверя.

Несколько минут спустя дети спали глубоким сном.

Их дыхание смешалось, и в этом была неизъяснимая чистота. Реявшие над ними детские сны перелетали от одного к другому, под закрытыми веками их глаза, быть может, сияли звездами; если слово «супруги» в этом случае

будет допустимо, то они были супругами в том смысле, в каком могут быть ими ангелы. Такая невинность в таком мраке жизни, такая чистота объятий, такое предвосхищение небесной любви возможно только в детстве, и все, что есть на свете великого, меркнет перед величием младенцев. Из всех бездн это самая глубокая. Ни чудовищный жребий висевшего на цепи мертвеца, ни бешеное неистовство, с которым разъяренный океан топит корабль, ни белизна снега, заживо погребающего человека под своей холодной пеленой, — ничто не может сравниться с трогательным зрелищем божественного соприкосновения детских уст, которое не имеет ничего общего с поцелуем. Быть может, это обручение? Быть может — предчувствие роковой развязки? Над этими спящими детьми нависло неведомое. Это зрелище очаровательно. Но кто знает — не страшно ли оно? Сердце невольно замирает. Невинность выше добродетели. Невинность — плод святого неведения. Они спали. Им было спокойно. Им было тепло. Нагота их прижавшихся друг к другу тел была так же целомудренна, как их невинные души. Они были здесь как в гнездышке, повисшем над бездной.

6. Пробуждение

День начинался зловещей хмурью. В каморку проник бледный, печальный свет. Занялась ледяная заря. Белесоватые ее лучи постепенно обрисовывали угрюмые очертания предметов, ночью казавшихся призраками, но не разбудили детей; они продолжали спать, прижавшись друг к дружке. В каморке было тепло. Слышно было дыхание спящих детей; оно напоминало ровные всплески двух чередующихся волн. Ураган затих. Рассвет неторопливо захватывал одну полосу небосвода за другой. Созвездия гасли, как потушенные свечи. Только несколько крупных звезд упорно продолжали мерцать. С моря доносился бесконечный, глухой, протяжный гул.

Печка не совсем еще потухла. Утренние сумерки постепенно переходили в дневной свет. Мальчик спал не так крепко, как девочка. Он и во сне, казалось, бодрствовал над нею и охранял ее. Как только первый яркий луч проник в окно, он открыл глаза. До окончательного своего пробуждения ребенок обычно бывает некоторое время погружен в забытье. Мальчик в дремоте не отдавал себе отчета, ни где он, ни кто лежит рядом с ним, и не старался припомнить что бы то ни было; глядя в потолок, он мечтательно рассматривал надпись «Урсус-философ», не понимая

ее смысла, потому что он не умел читать.

Щелканье ключа в замке заставило его приподнять голову.

Дверь отворилась, подножка откинулась наружу. Вошел Урсус. Он поднялся по ступенькам, держа в руке потушенный фонарь.

Одновременно, послышался мягкий топот четырех лап, легко взбиравшихся по подножке. Это был Гомо, возвращавшийся домой вслед за Урсусом.

Мальчик, окончательно проснувшись, вздрогнул.

Волк, вероятно проголодавшийся к утру, раскрыл пасть, ощерив ослепительно белые клыки.

Стоя на подножке, он положил передние лапы на порог, позой напоминая проповедника, облокотившегося на кафедру. Он издали обнюхал сундук, на котором не привык видеть никого постороннего. В прямоугольном проеме двери верхняя часть его туловища вырисовывалась черным силуэтом на фоне светлеющего неба. Наконец он решился и вошел.

Увидев в каморке, волка, мальчик вылез из-под медвежьей шкуры и встал на ноги, заслонив собою малютку, спавшую крепким сном.

Урсус повесил фонарь на крюк, вбитый в пото-

лок. Молча, не спеша, привычным движением снял и положил на полку пояс с инструментами. Он не смотрел по сторонам и как будто ничего не замечал. Глаза у него казались стеклянными. По-видимому, он был чем-то глубоко взволнован. Наконец его мысль прорвалась наружу, как всегда, быстрым потоком слов:

— Вот счастливица! Мертва, совсем мертва!

Он присел на корточки, подбросил в печку выпавший из нее шлак и, помешивая торф, бормотал:

— Нелегко было отыскать ее. Какая-то злая сила запрятала ее на два фута под снег. Не будь со мною Гомо, чутье которого ведет его так же хорошо, как в свое время разум вел Христофора Колумба, я до сих пор вязнул бы там в сугробах, играя в прятки со смертью. Диоген днем с фонарем искал человека, а я ночью с фонарем искал покойницу; поиски Диогена привели его к сарказму, мои привели меня к зрелищу смерти. Какая она была холодная! Я дотронулся до ее руки — настоящий камень. Какое безмолвие в ее глазах! Как это глупо — умирать, зная, что оставляешь после себя ребенка! Не очень-то удобно будет нам втроем в этой коробке. Ну и неприятность! Выходит, я обзавелся семьей. Девочкой и мальчиком.

Пока Урсус произносил эту тираду, Гомо прокрался к печке. Ручка спящей малютки свешивалась между печкой и сундуком. Волк стал лизать ручку.

Он лизал ее так осторожно, что девочка даже не шевельнулась.

Урсус повернулся к волку.

— Ладно, Гомо. Я буду отцом, а ты — дядей.

Не прерывая своего монолога, он с философским глубокомыслием снова принялся помешивать торф в печке.

— Значит, усыновляю. Это дело решенное. Да и Гомо не прочь.

Он выпрямился.

— Любопытно было бы знать, кто повинен в этой смерти? Люди? Или…

Он устремил взор куда-то ввысь и еле внятно докончил:

— Или ты?

И в тяжелом раздумье Урсус поник головой.

— Ночь взяла на себя труд умертвить эту женщину, — сказал он.

Когда он снова поднял голову, его взгляд упал на лицо мальчика, который совсем проснулся и прислушивался к его словам. Урсус резко спросил его:

— Ты чему смеешься?

Мальчик ответил:

— Я не смеюсь.

Урсус вздрогнул и, пристально посмотрев на него, сказал:

— В таком случае ты ужасен.

Ночью в лачуге было настолько темно, что Урсус не разглядел лица мальчика. Теперь, при дневном свете, он увидел его впервые.

Положив обе руки на плечи ребенка, он со все возраставшим вниманием всматривался в его черты и, наконец, крикнул:

— Да перестань же смеяться!

— Я не смеюсь! — сказал мальчик.

По всему телу Урсуса пробежала дрожь.

— Ты смеешься, говорю тебе!

И, тряся ребенка с яростной силой, не то от гнева, не то от жалости, он накинулся на него:

— Кто же так над тобою поработал?

Ребенок ответил:

— Я не понимаю, о чем вы говорите.

Урсус продолжал допытываться:

— С каких это пор ты так смеешься?

— Я всегда был такой, — ответил мальчик.

Урсус повернулся лицом к сундуку и произнес вполголоса:

— Я думал, что этого уже не делают.

Осторожно, чтобы не разбудить спящей малютки, он вытащил у нее из-под головки книгу, которую положил ей вместо подушки.

— Посмотрим, что говорится на этот счет у Конкеста, — пробормотал он.

Это был толстый фолиант в мягком пергаментном переплете. Урсус полистал большим пальцем трактат, отыскивая нужную страницу, разложил книгу на печке и прочел:

— …«De denasatis»[77]

Это здесь.

— И продолжал:

— «Bucca fissa usque ad aures, genzivis denudatis, nasoque murdridato, masca eris, et ridebis semper[78]

Да, именно так.

Он водворил книгу на полку, бормоча себе под нос:

— Случай, в смысл которого было бы вредно углубляться. Останемся на поверхности явления. Смейся, малыш!

Девочка проснулась. Ее утренним приветствием был крик.

— Ну, кормилица, дай-ка ей грудь, — сказал Урсус.

Малютка приподнялась на своем ложе. Урсус

достал с печки пузырек и сунул его в рот девочки.

В эту минуту взошло солнце. Оно только что всплыло над горизонтом. Алые его лучи, проникнув в окно, ударили прямо в лицо малютки, повернувшейся в ту сторону. В зрачках ее, как в двух зеркалах, отразился пурпурный диск светила. Зрачки не сократились, и веки не дрогнули.

— Что ж это, — вскрикнул Урсус, — она слепа!

Книга вторая. «По приказу короля»

Часть первая. Прошлое не умирает; в людях отражается человек

1. Лорд Кленчарли

В те времена существовал человек, который был живым осколком прошлого.

Этим осколком был лорд Линней Кленчарли.

Барон Линней Кленчарли, современник Кромвеля[79]

, был одним из тех, спешим прибавить — немногочисленных, пэров Англии, которые в свое время признали республику. Это признание имело свои причины и в конце концов вполне объяснимо, поскольку республика на короткое время восторжествовала. Так что не было ничего удивительного в том, что лорд Кленчарли пребывал в партии республиканцев, пока республика

была победительницей. Но лорд Кленчарли продолжал оставаться республиканцем и после того, как окончилась революция и пал парламентский режим. Высокородному патрицию нетрудно было бы вернуться во вновь восстановленную палату лордов, ибо при реставрациях монархи всегда очень охотно принимают раскаявшихся и Карл II[80]

был милостив к тем, кто возвращался к нему. Однако лорд Кленчарли совершенно не понял, чего требовали от него события. И в то время, как в Англии радостными кликами встречали короля, вновь вступавшего во владение страной, как верноподданные единодушно приветствовали монархию и династия восстанавливалась среди всеобщего торжественного отречения от прошлого, в то время, как прошлое становилось будущим, а будущее — прошлым, лорд Кленчарли не пожелал покориться. Он не захотел видеть этого ликования и добровольно покинул родину. Он мог стать пэром, а предпочел стать изгнанником. Так протекали годы; так он и состарился, храня верность мертвой республике. Такое ребячество сделало его всеобщим посмешищем.

Он удалился в Швейцарию. Он поселился в высоком полуразвалившемся доме на берегу Же-

невского озера. Он выбрал себе жилище в самом глухом месте побережья — между Шильоном, где был заключен Бонивар, и Веве, где похоронен Ледло[81]

Его окружали овеваемые ветрами и одетые тучами суровые, сумрачные Альпы; он жил здесь, затерянный, в глубокой тени, отбрасываемой горами. Его редко встречал прохожий. Этот человек жил вне своей страны, почти вне своей эпохи. В то время каждый, кто был в курсе событий и разбирался в них, понимал, что всякое сопротивление установившемуся порядку не имело оправдания. Англия была счастлива; реставрация — своего рода примирение супругов: король и нация возвращаются на свое брачное ложе; можно ли представить себе что-либо более приятное и радостное? Великобритания сияла от счастья; иметь короля — это уже много, а тем более такого очаровательного короля. Карл II был любезен, умел и пожить в свое удовольствие и управлять государством, напоминая своим величием Людовика XIV. Это был джентльмен и дворянин; подданные восхищались им; он вел войну с Ганновером и, конечно, хорошо знал зачем, хотя только он один это и знал; он продал Дюнкерк Франции[82]

- дело высокого политического значения. У демократически настроенных пэров, про которых Чемберлен сказал: «Проклятая республика заразила своим тлетворным дыханием даже некоторых аристократов», хватило здравого смысла очень быстро примениться к обстоятельствам, не отстать от своего времени и занять свои места в палате лордов; для этого им достаточно было лишь принести присягу королю.

Когда люди думали обо всем этом — об этом прекрасном царствовании, об этом превосходном короле, об этих августейших принцах, возвращенных народу божественным милосердием; о том, что такие значительные особы, как Монк[83]

и позднее Джеффрис, примирились с троном и были справедливо вознаграждены за верность и усердие самыми почетными должностями и самыми доходными местами; о том, что лорд Кленчарли не мог не знать, что от него одного зависело торжественно занять между ними подобающее ему место и разделить сыпавшиеся на них почести; о том, что Англия, благодаря своему королю, вознесена на вершину процветания, что в Лондоне одно празднество сменяется другим, что все кругом богатеют и преисполнены восторга, что королевский двор галантен, весел и

пышен, — и при этом случайно возникал в памяти образ изгнанника, прозябающего вдали от всего этого великолепия, этого, старика в одежде простолюдина, бледного, согбенного, вероятно уже близкого к могиле, который стоит в эту минуту над озером в печальном полумраке, не замечая холода и непогоды, или шагает по его берегу без цели, с неподвижным взором, с развевающимися на ветру седыми волосами, молчаливый, одинокий, погруженный в свои думы, — трудно было удержаться от улыбки.

Этот старик был олицетворением безумия.

Улыбка, являвшаяся у людей при мысли о том, чем мог быть лорд Кленчарли и чем он стал, несомненно была проявлением их снисходительности. Иные смеялись открыто. Были и такие, что негодовали.

Понятно, что людей положительных коробила такая вызывающая отчужденность.

Вину лорда Кленчарли смягчало только то, что он никогда не блистал умом. Таково было общее мнение.

Неприятно видеть людей упорствующих. Подражатели Регула не пользуются симпатией, и общественное мнение относится к ним с иронией. Подобное упрямство походит на упрек, и

здравомыслящие люди правы, когда смеются над этим.

И в конце концов разве такое упорство, такая непреклонность — добродетель? Разве в чрезмерном подчеркивании своей самоотверженности и честности нет большой доли тщеславия? Это просто-напросто рисовка. К чему такие крайности, как добровольное одиночество и изгнание? Ничего не преувеличивать — вот правило мудреца. Можете возражать, осуждать, если вам угодно, но делайте это благопристойно и не переставая возглашать: «Да здравствует король!» Подлинная добродетель — это рассудительность. То, что падает, должно было упасть, то, что преуспевает, должно было преуспеть. У провидения свои цели: оно награждает того, кто этого достоин. Неужели вы мните себя способным разобраться в этом лучше, чем оно? Когда обстоятельства совершенно ясно определились, когда один режим сменил другой, когда самим успехом установлено, где правда и где ложь, где катастрофа, а где торжество, — не может уже быть места никаким сомнениям; порядочный человек присоединяется к той стороне, которая одержала верх, и будь это даже выгодно ему и его родне, он, конечно, вовсе не из этих соображений, а исключительно

во имя общественного блага предоставляет себя целиком в распоряжение победителя.

Что стало бы с государством, если бы никто не согласился служить? Все остановилось бы. Всякий благоразумный гражданин должен оставаться на своем месте. Умейте поступаться своими сокровенными симпатиями. Должности существуют для того, чтобы их занимали. Надо жертвовать собой. Не изменять общественным обязанностям — вот истинная верность. Самовольный уход чиновников парализовал бы государство. Вы добровольно отправляетесь в ссылку? Очень жаль. Вы хотите показать пример? Какое тщеславие! Вы бросаете вызов? Какая наглость! Кем же вы себя возомнили? Знайте, что мы не хуже вас. Но мы не покидаем своего поста. При желании мы тоже могли бы быть несговорчивы и непокорны и натворить еще худших дел, чем вы. Но мы предпочитаем благоразумие. Только потому, что я Тримальхион, вы считаете меня неспособным быть Катоном?[84]

Какие глупости!

Никогда еще положение вещей не было таким ясным и определенным, как в 1660 году. Никогда еще линия поведения благонамеренного человека не намечалась сама собой с такой от-

четливостью.

Англия избавилась от Кромвеля. Много неправомерного было совершено во время республики. Британия приобрела первенство в Европе; в результате Тридцатилетней войны была покорена Германия; с помощью Фронды[85]

ослаблена Франция, с помощью герцога Браганцкого умалена Испания. Кромвель подчинил себе Мазарини[86]

; во всех договорах протектор Англии ставил свою подпись выше подписи французского короля; на Соединенные провинции была наложена контрибуция в восемь миллионов; Алжир и Тунис подверглись притеснениям; покорили Ямайку; усмирили Лиссабон; в Барселоне подогрели соперничество Испании и Франции, а в Неаполе восстание Мазаньелло[87]

; присоединили к Англии Португалию; от Гибралтара до Кандии очистили море от берберийцев; утвердили морское владычество двумя способами: силой оружия и торговлей; 10 августа 1653 года английский флот разбил Мартина Гапперца Тромпа[88]

, человека, выигравшего тридцать три сражения, старого адмирала, именовавшего себя «дедушкой матросов», победителя испанского

флота. Англия отняла Атлантический океан у испанцев, Великий — у голландцев. Средиземное море — у венецианцев и по навигационному акту[89]

установила свое господство на побережьях всех морей; захватив океан, она держала в руках весь мир; голландский флаг смиренно приветствовал в море флаг английский; Франция в лице своего посла Манцини преклонила колени перед Оливером Кромвелем, а Кромвель, как мячами, играл Кале и Дюнкерком; он заставил трепетать весь континент, он диктовал мир, объявлял войну; повсюду развевался английский флаг; один только закованный в латы полк протектора внушал Европе больший ужас, чем целая армия; Кромвель говорил: «Я хочу, чтобы английскую республику уважали так, как уважали республику римскую»; не оставалось ничего святого; слово было свободно, печать была свободна; на улице говорили все, что хотели, все печатали без всякого контроля и цензуры; престолы зашатались; весь монархический порядок Европы, частью которого были Стюарты, пришел в расстройство. Но вот, наконец, Англия свергла этот ненавистный режим и получила прощение.

Снисходительный Карл II даровал Бредскую

декларацию[90]

Он дал Англии возможность забыть о том времени, когда сын гентингдонского пивовара попирал пятой голову Людовика XIV.

Англия покаялась в своих тяжких прегрешениях и вздохнула свободно. Радость, как мы уже говорили, объяла все сердца, и воздвигнутые виселицы цареубийц только усиливали ликование. Реставрация — это улыбка, но несколько виселиц не портят впечатления: надо же успокоить общественную совесть. Дух неповиновения рассеялся, восстанавливалась преданность монарху. Быть добрыми верноподданными — к этому сводились отныне все честолюбивые стремления. Все опомнились от политического безумия, все поносили теперь революцию, издевались над республикой и над тем удивительным временем, когда с уст не сходили громкие слова «Право, Свобода, Прогресс»; над их высокопарностью теперь смеялись. Возврат к здравому смыслу был зрелищем; достойным восхищения. Англия стряхнула с себя тяжкий сон. Какое счастье — избавиться от этих заблуждений. Возможно ли что-нибудь более безрассудное? Что было бы, если бы каждого встречного и поперечного наделили всеми правами? Вы представляете себе? Вдруг все стали бы

правителями? Мыслимо ли, чтобы страна управлялась гражданами? Граждане — это упряжка, а упряжка — не кучер. Решать вопросы управления голосованием — разве это не то же, что плыть по воле ветра? Неужели вы хотели бы сообщить государственному строю зыбкость облака? Беспорядок не создает порядка. Если зодчий — хаос, строение будет Вавилонской башней[91]

И потом, эта пресловутая свобода — сущая тирания. Я хочу веселиться, а не управлять государством. Мне надоело голосовать, я хочу танцевать. Какое счастье, что есть король, который всем этим занимается. Право, как великодушен король, что берет на себя весь этот труд. Кроме того, его этому учили, он умеет справляться с этим. Это его ремесло. Мир, война, законодательство, финансы — какое до всего этого дело народу? Конечно, необходимо, чтобы народ платил, чтобы он служил, и он должен этим довольствоваться. Ведь ему предоставлена возможность участвовать в политике: из его недр выходят две основные силы государства — армия и бюджет, Платить подати и быть солдатом — разве этого мало? Чего ему еще надо? Он — опора военная, и он же — опора казны. Великолепная роль. А за него царствуют. Должен же он платить за такую

услугу. Налоги и цивильный лист[92]

- это жалованье, которое народы платят королям за их труды. Народ отдает свою кровь и деньги для того, чтобы им правили. Какая нелепая идея — самим управлять собою. Народу необходим поводырь. Народ невежествен, а стало быть, слеп. Ведь есть же у слепца собака. А у народа есть король — лев, который соглашается быть для своего народа собакой. Какая доброта! Но почему народ невежествен? Потому что так надо. Невежество — страх добродетели. У кого нет никаких надежд, у того нет и честолюбия. Невежда пребывает в спасительном мраке, который, лишая его возможности видеть, лишает его вместе с тем всяких вожделений. Отсюда — неведение. Кто читает, тот мыслит, а кто мыслит, тот рассуждает. А зачем, спрашивается, народу рассуждать? Не рассуждать — это его долг и в то же время его счастье. Эти истины неоспоримы. На этом зиждется общество.

Таким образом в Англии снова восторжествовали здоровые социальные доктрины. Так вернула себе нация утраченную честь. Одновременно возродился интерес к изящной литературе. Стали презирать Шекспира и восхищаться Драйденом. «Драйден — величайший поэт Англии и своего

века», — говорил Эттербери, переводчик «Ахитофела». Это было время, когда Гюэ, епископ Авраншский, писал Сомезу, оказавшему своими нападками и бранью честь автору «Потерянного рая»: «Как можете вы заниматься таким ничтожеством, как этот Мильтон[93]

« Все возрождалось; все опять становилось на свое место: Драйден вверху, Шекспир внизу. Карл II на троне, Кромвель на виселице. Англия старалась загладить позор и сумасбродство минувших лет. Великое счастье для нации, когда монархия восстанавливает порядок в государственных делах и воспитывает хороший литературный вкус.

Трудно поверить, что можно не оценить такие благодеяния. Отвернуться от Карла II, заплатить неблагодарностью за то, что он великодушно воссел на восстановленный трон, — не гнусно ли это? Лорд Кленчарли причинил большое огорчение всем порядочным людям. Как это возмутительно — досадовать на счастье своей родины!

Известно, что в 1650 году парламент установил следующий текст присяги: «Обещаю хранить верность республике, без короля, без монарха, без государя». Лорд Кленчарли на том основании, что он принес эту чудовищную присягу, жил вне пределов королевства и на фоне всеобщего благо-

получия и привольной жизни считал себя вправе быть печальным. Он хранил скорбную память о том, что погибло. Странная привязанность к несуществующему!

Ему не было оправдания; даже самые благожелательные к нему люди отвернулись от него. Друзья долго оказывали ему честь, считая, что он вступил в ряды республиканцев лишь для того, чтобы поближе увидеть слабые стороны республики, и позднее, когда настанет время, вернее поразить ее, защищая священные интересы короля. А такое выжидание удобного момента для нападения на врага с тыла и есть одно из проявлений лояльности. Именно такой лояльности и ожидали от лорда Кленчарли, и были склонны истолковывать в лучшую сторону его поведение. Но перед лицом его странной приверженности к республике пришлось поневоле изменить это доброе мнение. Очевидно, лорд Кленчарли был верен своим убеждениям, то есть глуп.

Снисходительные люди колебались, не зная, чем объяснить его образ действий — ребяческим ли упрямством, или старческим упорством.

Люди строгие, справедливые шли дальше. Они клеймили отступника. Тупоумие в человеке допустимо, но оно должно иметь и границы. Можно

быть грубияном, но нельзя быть бунтовщиком. В конце концов кто такой этот лорд Кленчарли? Перебежчик. Он покинул стан аристократии, чтобы примкнуть к стану противоположному — к народу. Следовательно, этот стойкий приверженец республики — изменник. Правда, он изменил более сильному и остался верен более слабому. Правда, стан, им покинутый, был победителем, а стан, к которому он примкнул, был побежденным; правда, при этом «предательстве» он потерял все: свои политические привилегии и свой домашний очаг, свое пэрство и свою родину. А что он выиграл? Прослыл чудаком и вынужден жить в изгнании. А что это доказывает? Да то, что он глупец! Это — бесспорно.

Предатель и в то же время простак — это бывает.

Будь дураком сколько хочешь, но не подавай дурного примера. От дураков не требуется ничего, кроме благонамеренности, и тогда они могут считать себя опорой монархии. Этот Кленчарли был невероятно ограниченным человеком. Он был по-прежнему ослеплен революционными фантазиями. Он прельстился республикой и из-за этого выброшен за борт. Он обесчестил свою страну. Позиция, занятая им, была настоящим

вероломством. Его отсутствие было оскорблением. Он, словно от чумы, бежал от счастья своих соотечественников. В его добровольном изгнании был какой-то протест против всеобщего довольства. Он, видимо, считал королевскую власть заразой. На фоне веселья, вызванного торжеством монархии, он был чем-то мрачным и зловещим, как черный флаг над чумным бараком. Как? Напускать на себя угрюмый вид перед лицом восстановленного порядка, воспрянувшей нации, восторжествовавшей религии! Набрасывать тень на эту безмятежность! Негодовать на счастливую Англию! Быть темным пятном в безбрежном голубом небе! Напоминать собою угрозу! Противиться желанию нации! Говорить «нет», когда столько людей говорят «да»! Это было бы гнусно, если бы не было смешно. Этот Кленчарли не понял, что можно заблуждаться вместе с Кромвелем, но что следует вернуться вместе с Монком. Посмотрите на Монка. Он командовал республиканской армией; Карл II, находясь в изгнании и зная о его тайной преданности престолу, написал ему; Монк, умея сочетать доблесть с хитростью, сначала скрывал свои намерения, потом неожиданно ринулся во главе войска на мятежный парламент, возвел на престол короля

и за спасение общества получил титул герцога Олбемарльского. Он приобрел богатство, навеки прославил свое время и в качестве кавалера ордена Подвязки может рассчитывать на то, что его похоронят в Вестминстерском аббатстве. Такова слава истинно верноподданного англичанина. Лорд Кленчарли не мог подняться до столь тонкого понимания долга. Он предпочел всему бездейственное изгнание. Он удовольствовался пустыми фразами. Его сковала гордость. Слова «совесть», «достоинство» и тому подобное в конце концов только слова. Надо смотреть глубже.

Вот этого-то умения смотреть глубже не было у лорда Кленчарли, — он был близорук; прежде чем принять участие, в каком-нибудь деле, он всегда хотел присмотреться к нему, узнать, чем оно пахнет. Отсюда все его нелепые предубеждения. При такой щепетильности нельзя быть государственным деятелем. Требовательная совесть превращается в недуг. Человек совестливый — однорук, ему не захватить власти; он евнух — ему не овладеть фортуной. Остерегайтесь щепетильности; она далеко заведет вас. Неразумная верность своим убеждениям ведет вниз, как лестница в погреб. Ступенька, другая, третья — и вы погружаетесь во тьму. Люди смышленые под-

нимаются обратно, простофили остаются внизу. Нельзя легкомысленно разрешать своей совести быть неприступной. Ведь так можно понемногу дойти до такой крайности, как честность в политике. Тогда вы погибли. Так и случилось с лордом Кленчарли.

Принципы в конце концов увлекают людей в бездну.

Вот и шагай теперь, заложив руки за спину, по берегу Женевского озера, — прекрасное занятие!

В Лондоне иногда говорили об этом изгнаннике. В глазах благородного общества он был чем-то вроде подсудимого. Одни высказывались за, другие против него. При этом смягчающим вину обстоятельством признавалась его глупость.

Многие из бывших приверженцев республики перешли на сторону Стюартов; что же, за это они только достойны похвалы. Естественно, что они слегка злословили на его счет. Угодливые души не выносят упрямцев. Люди умные, занявшие хорошее положение при дворе, которым надоело его вызывающее поведение, охотно говорили: «Он не примкнул к нам только потому, что ему слишком мало заплатили. Он хотел занять место канцлера, а король предоставил это место лорду Хайду» и т. д. Один из его «старых друзей» смело

утверждал: «Он сам мне об этом говорил». Иногда, несмотря на замкнутый образ жизни Линнея Кленчарли, до него доходили кое-какие слухи через беглецов, которых он встречал, — старых цареубийц, вроде Эндрью Броутона, жившего в Лозанне. В ответ Кленчарли только пожимал плечами — признак полного отупения.

Однажды он дополнил этот жест следующими, сказанными вполголоса, словами: «Жалею тех, кто этому верит».

Карл II, человек мягкий, отнесся к нему с презрением. Англия была при Карле II больше чем счастлива, — она ликовала. Реставрация подобна потемневшей от времени картине, которую заново покрыли лаком, — все прошлое вдруг выступает наружу. Возвратились добрые старые нравы: красивые женщины царствовали и управляли. Эвелин[94]

отметил это; мы читаем в его дневнике: «Разврат, кощунство, презрение к богу. В воскресный вечер я видел короля с его непотребными девками: Портсмут, Кливленд, Мазарини и еще двумя-тремя другими; все почти голые собрались в галерее для игр». В этом описании сквозит явное недовольство; но Эвелин был ворчливый пуританин, зараженный республиканскими

идеями. Он не оценил всего значения примера, который подают короли своими вавилонскими праздниками, в итоге способствующими развитию роскоши. Он не понимал пользы пороков. Существует правило: если хотите иметь прелестных женщин, не истребляйте пороков, иначе вы будете похожи на тех дураков, которые, страстно любя бабочек, истребляют гусениц.

Карл II, как мы уже сказали, почти не заметил, что существует мятежник по имени Кленчарли, но Иаков II был более внимателен. Карл II правил мягко, это была его манера; признаться, правлению государством это не вредило. Иногда моряк, натягивая снасти, предназначенные управлять ветром, оставляет один узел свободным, для того чтобы его затянул сам ветер. В этом проявляется глупость урагана и глупость народа.

Правление Карла II и было таким слабым узлом, который, однако, очень быстро затянулся туго-натуго.

При Иакове II этот узел затянулся окончательно; началось последовательное удушение всего, что осталось от революции. Иаков II возымел похвальное желание быть подлинным королем. В его глазах царствование Карла II было лишь черновым наброском реставрации; Иаков II хо-

тел полностью возвратить прежние порядки. В 1660 году он выразил сожаление, что повесил всего лишь десять цареубийц. Он действительно восстановил «твердую власть». При нем восторжествовали серьезные принципы; воцарилось настоящее правосудие, которое, став выше чувствительных разглагольствований, заботится прежде всего об интересах общества.

Эти строгие охранительные мероприятия обнаруживают в нем отца государства. Он доверил отправление правосудия Джеффрису, а меч — Кирку. Этот рьяный полковник умножил устрашающие примеры. Вешая одного республиканца, он три раза подряд вынимал его из петли, спрашивая при этом: «Отказываешься от республики?» Злодей неизменно отвечал: «Нет!» — и был удавлен. «Я четыре раза вешал его», — с удовлетворением говорил Кирк. Возобновившиеся казни служили несомненным признаком сильной власти. Была казнена леди Лайль, отправившая своего сына на войну против Монмута, но укрывшая у себя двух мятежников. Другой мятежник, у которого хватило благородства сознаться, что старуха-анабаптистка давала ему приют, был помилован, женщину же сожгли на костре. Однажды Кирк дал понять

одному городу, что знает о его республиканских грехах, — он повесил там девятнадцать горожан. Вполне законное возмездие, если вспомнить, что при Кромвеле в церквах отбивали носы и уши каменным статуям святых. Иаков II, сумевший выбрать Джеффриса и Кирка, был государем глубоко религиозным; он умерщвлял свою плоть, выбирая себе уродливых любовниц, он слушал проповедника, отца Ла-Коломбьера, почти не уступавшего елейностью речей отцу Шемине, но отличавшегося еще большим пылом. Этот священнослужитель прославился тем, что первую половину своей жизни был советником Иакова II, а вторую — вдохновителем Марии Алакок[95]

Благодаря такой религиозной пище Иаков II позднее с достоинством мог переносить изгнание и в своем сен-жерменском уединении спокойно относился к превратностям судьбы и беседовал с иезуитами, являя собой пример твердого духом короля.

Понятно, что этот король должен был обратить некоторое внимание на такого мятежника, как лорд Линней Кленчарли. И так как наследственное пэрство заключает в себе кое-какие возможности, то ясно, что Иаков II готов был без всяких колебаний принять любые меры против

этого лорда.

2. Лорд Дэвид Дерри-Мойр

Лорд Линней Кленчарли не всегда был стариком и изгнанником. Он пережил когда-то пору молодости и страстей. Со слов Гаррисона и Прайда известно, что Кромвель в молодости любил женщин и удовольствия; иной раз подобные увлечения доказывают (другая сторона женского вопроса), что в юноше таится будущий мятежник.

Итак, у лорда Кленчарли, как и у Кромвеля, были ошибки и заблуждения. У него был незаконный сын. Этот ребенок, явившийся на свет в дни падения республики, родился в Англии, как раз тогда, когда его отец отправлялся в изгнание. Вот почему мальчик никогда не видел своего отца. Незаконнорожденный отпрыск лорда Кленчарли вырос пажом при дворе Карла II. Его звали лорд Дэвид Дерри-Мойр; титул лорда за ним оставили «из учтивости», так как мать его была знатной дамой. В то время как лорд Кленчарли жил в Швейцарии угрюмым нелюдимом, эта красивая женщина решила быть сговорчивее и добилась того, что ей простили ее первого любовника-бунтовщика ради второго, несомненно более благонамеренного, даже роялиста, так как

это был сам король. Она пробыла любовницей Карла II достаточно времени для того, чтобы король, счастливый тем, что отвоевал у республики такую красавицу, назначил маленького лорда Дэвида, сына побежденной им женщины, в свой личный конвой. Внебрачный сын получил офицерское звание, право столоваться при дворе и, в противовес своему отцу, стал горячим приверженцем Стюартов. Некоторое время он, в качестве офицера конвоя его величества, был одним из ста семидесяти, носивших палаши, затем был переведен в «пенсионеры» и стал одним из сорока, имевших право носить золотой бердыш. Кроме того, входя в состав учрежденного Генрихом VIII благородного отряда телохранителей, он пользовался привилегией подавать блюда на стол короля.

Таким образом, в то время как отец его старился в изгнании, лорд Дэвид благоденствовал при дворе Карла II.

Затем он стал благоденствовать и при дворе Иакова II.

Король умер, да здравствует король! — это non deficit alter, aureus.[96]

По восшествии на престол герцога Йоркского[97] он получил разрешение называться лордом

Дэвидом Дерри-Мойр, по названию поместья, которое, умирая, завещала ему мать; поместье это находилось в Шотландии, в большом лесу, где водится птица краг, клювом выдалбливающая себе гнездо в стволе дуба.

Иаков II был королем, но притязал на славу полководца. Он любил окружать себя молодыми офицерами. Он охотно показывался народу верхом, в каске и кирасе, в огромном развевавшемся парике, ниспадавшем из-под каски на кирасу; в таком виде он напоминал конную статую, олицетворяющую войну во всей ее бессмысленности. Ему нравились изящные манеры молодого лорда Дэвида. Он даже питал нечто вроде признательности к этому роялисту за то, что он был сыном республиканца: отречься от отца-бунтовщика небесполезно в начале придворной карьеры. Король сделал лорда Дэвида Дерри-Мойр своим постельничим, с жалованьем в тысячу ливров.

Это было крупное повышение. Постельничий спит в одной комнате с королем, на кровати, которую ставят для него рядом с королевским ложем. Всех постельничих двенадцать, и они поочередно охраняют короля.

Лорд Дэвид был, кроме того, назначен главным королевским конюшим, на обязанности кото-

рого лежало отпускать овес для королевских лошадей, за что он получал еще двести пятьдесят ливров в год. Под его началом находились пять королевских кучеров, пять королевских форейторов, пять королевских конюхов, двенадцать королевских выездных лакеев и четыре королевских носильщика. На нем лежал присмотр за шестью скаковыми лошадьми, которых король содержал в Хеймаркете и которые обходились его величеству в шестьсот ливров в год. Он был полновластным хозяином в королевской гардеробной, снабжавшей парадными костюмами кавалеров ордена Подвязки. Ему до земли кланялся королевский придверник, пристав черного жезла. При Иакове II эту должность занимал кавалер Дюппа. Лорду Дэвиду оказывали все знаки уважения королевский клерк господин Бекер и парламентский клерк господин Броун. Английский двор был образцом великолепия и гостеприимства. Лорд Дэвид председательствовал на пирах и приемах в числе двенадцати вельмож. Он имел честь стоять позади короля в «дни приношения», когда король жертвует церкви золотой безант, byzantium, и в «орденские дни», когда король надевает цепь своего ордена, и в «дни причастия», когда не причащается ни-

кто, кроме короля и принцев крови. В страстной четверг он вводил к королю двенадцать бедняков, которым король дарил столько серебряных пенни, сколько ему было лет, и столько шиллингов, сколько лет он уже царствует. Когда король заболевал, на обязанности лорда Дэвида лежало призывать двух высших сановников церкви, которые должны были ухаживать за королем, и не допускать к нему врачей без разрешения государственного совета. Кроме того, он был подполковником шотландского полка королевской гвардии, того самого, который играет шотландский марш.

В этом чине он участвовал в нескольких кампаниях и приобрел заслуженную славу как храбрый воин. Это был человек сильный, хорошо сложенный, красивый, щедрый, с благородной наружностью и превосходными манерами. Его внешность соответствовала его положению. Он был высокого роста и высокого происхождения.

Дерри-Мойр был уже на шаг от того, чтобы получить звание groom of the stole, что давало бы ему право подносить королю сорочку, но для этого нужно было быть принцем или пэром.

Сделать кого-нибудь пэром — дело серьезное. Это значит создать пэрство и тем самым поро-

дить завистников. Это — милость, а оказывая кому-либо милость, король приобретает одного друга и сто недругов, не считая того, что и друг оказывается потом неблагодарным. Иаков II из политических соображений с большим трудом жаловал своих подданных достоинством пэра, но передавал его охотно. Переданное пэрство не вызывает волнения. Это делается просто в целях сохранения знатного имени, и такая передача мало трогала лордов.

Король не имел ничего против того, чтобы ввести лорда Дэвида Дерри-Мойр в палату пэров, лишь бы это произошло в результате передачи пэрства. Его величество ждал подходящего случая, чтобы сделать Дэвида Дерри-Мойр, лорда «из учтивости», лордом по праву.

Случай этот представился.

В один прекрасный день стало известно, что со старым изгнанником произошли разные события, и главное из них было то, что он умер. Смерть хороша тем, что она заставляет хотя бы немного поговорить об умершем. Начали рассказывать, что знали (или, вернее, думали, будто знают) о последних годах жизни лорда Линнея. Очевидно, это были догадки и вымыслы. Если верить этим рассказам, несомненно совершенно

неосновательным, республиканские чувства лорда Кленчарли до такой степени обострились к концу его жизни, что он женился — странное упрямство изгнанника! — на дочери одного из цареубийц, Анне Бредшоу, — имя называли с точностью, — которая умерла, произведя на свет ребенка, мальчика, являющегося якобы, если только все это правда, законным сыном и наследником лорда Кленчарли. Эти сведения, очень неопределенные, были похожи скорее на слухи, чем на факты. Для Англии того времени все происходящее в Швейцарии было таким же далеким, как для теперешней Англии то, что происходит в Китае. Лорду Кленчарли было будто бы пятьдесят девять лет, когда он женился, и шестьдесят, когда у него родился сын; говорили, что он умер немного времени спустя и мальчик остался круглым сиротой. Что ж, возможно, конечно, но маловероятно. Прибавляли, что ребенок этот «хорош как день», — как говорится в волшебных сказках. Король Иаков положил конец этим безусловно неосновательным слухам, всемилостивейше объявив в одно прекрасное утро Дэвида Дерри-Мойр единственным и бесспорным наследником его незаконного отца, лорда Линнея Кленчарли, «за неимением у такового законных детей и по-

скольку установлено отсутствие всякого другого родства и потомства», — грамота, гласящая об этом, была занесена в реестры палаты лордов. Этой грамотой король признавал за лордом Дэвидом Дерри-Мойр титулы, права и преимущества покойного лорда Линнея Кленчарли, при единственном условии, чтобы лорд Дэвид женился, по достижении ею совершеннолетия, на девице, которая в то время была еще младенцем в возрасте нескольких месяцев и которую король, неизвестно по каким причинам, еще в колыбели сделал герцогиней. Впрочем, причины эти были хорошо известны.

Малютку-невесту звали герцогиней Джозианой. В Англии была тогда мода на испанские имена. Одного из незаконных детей Карла II звали Карлосом, графом Плимут. Возможно, что имя Джозиана было сокращением двух имен — Джозефа и Анны. А может быть, существовало имя Джозиана, как было имя Джозия. Одного из приближенных Генриха II звали Джозией дю Пассаж.

Вот этой-то маленькой герцогине король и пожаловал пэрство Кленчарли. Она была пэрессой, ожидавшей своего пэра: пэром должен был стать ее будущий муж. Это пэрство состояло из двух

баронств: баронства Кленчарли и баронства Генкервилл; кроме того, лорды Кленчарли в награду за какой-то воинский подвиг были высочайше пожалованы титулом сицилийских маркизов Корлеэне. Как общее правило, пэры Англии не могут носить иностранных титулов; однако бывают исключения — так, например, Генри Эрандел, барон Эрандел-Уордур, был, так же как и лорд Клиффорд, графом Священной Римской империи, князем которой был лорд Каупер; герцог Гамильтон носит во Франции титул герцога Шательро; Бэзил Фейлдинг, граф Денби, в Германии носит титул графа Габсбурга, Лауфенбурга и Рейнфельдена. Герцог Мальборо был в Швеции князем Миндельгеймом, так же как герцог Веллингтон был в Бельгии князем Ватерлоо. Тот же герцог Веллингтон был испанским герцогом Сьюдад-Родриго и португальским графом Вимейра.

В Англии уже и в те времена существовали, как они существуют и поныне, поместья дворянские и поместья недворянские. Эти земли, замки, городки, аренды, лены, поместья, аллоды и вотчины пэрства Кленчарли-Генкервилл принадлежали временно леди Джозиане, и король объявил, что как только лорд Дэвид Дерри-Мойр женится на Джозиане, он станет бароном Кленчарли.

Кроме наследства Кленчарли, у леди Джозианы было и собственное состояние. Она владела крупными имениями, часть которых была некогда подарена герцогу йоркскому Madame sans queue [Мадам без дальнейшего определения *(франц.)* (Мадам — титул старшей дочери французского короля, дочери дофина и жены брата короля.). Madame sans queue значит просто Madame. Так величали Генриету Английскую, первую, после королевы, женщину Франции.

Лорд Дэвид, преуспевавший при Карле и Иакове, продолжал преуспевать и при Вильгельме Оранском[98]

Он не заходил в своей приверженности Иакову так далеко, чтобы последовать за ним в изгнание. Не переставая любить своего законного короля, он имел благоразумие служить узурпатору. Впрочем, лорд Дэвид был хоть и не очень дисциплинированным, но превосходным офицером; он переменил сухопутную службу на морскую и отличился в «белой эскадре». Лорд Дэвид стал, как называли тогда, капитаном легкого фрегата. В конце концов из него вышел вполне светский человек, прикрывающий изяществом манер свои пороки, немного поэт, как и все в ту пору, хороший слуга королю и государству, непре-

менный участник всех празднеств, торжеств, «малых королевских выходов», церемоний, но не избегавший и сражений, достаточно угодливый царедворец и вместе с тем весьма надменный вельможа, близорукий или зоркий, смотря по обстоятельствам; честный по природе, почтительный по отношению к одним и высокомерный с другими, искренний и чистосердечный по первому побуждению, но способный мгновенно надеть на себя любую личину, прекрасно учитывающий дурное и хорошее расположение духа у короля, беспечно стоявший перед направленным на него острием шпаги, по одному знаку его величества готовый геройски нелепо рисковать своей жизнью, способный на любые выходки, но неизменно вежливый, раб этикета и учтивости, гордый возможностью в торжественных случаях преклонить колено перед монархом, веселый, храбрый, истый придворный по своему облику и рыцарь в душе, человек все еще молодой, несмотря на свои сорок пять лет.

Лорд Дэвид распевал французские песенки, изысканная веселость которых нравилась когда-то Карлу II.

Он любил красноречие, ценил высокий слог и восхищался прославленными, но нестерпимо

скучными разглагольствованиями епископа Боссюэ в «Надгробных речах».

От матери ему досталось скромное наследство, приносившее около десяти тысяч фунтов стерлингов, или двести пятьдесят тысяч франков годового дохода, — этого едва хватало на жизнь. Он кое-как изворачивался, делая долги. В роскоши, экстравагантности и новшествах он не имел соперников. Как только ему начинали подражать, он придумывал что-нибудь новое. Для верховой езды он надевал широкие со шпорами сапоги из юфти двойного дубления. Ни у кого не было таких шляп, таких редкостных кружев и таких брыжей, как у него.

3. Герцогиня Джозиана

Хотя в 1705 году леди Джозиане было уже двадцать три года, а лорду Дэвиду сорок четыре, они все еще не были женаты — и по очень веским причинам. Быть может, они ненавидели друг друга? Вовсе нет. Но то, что от вас все равно не уйдет, не внушает вам ни малейшего желания торопиться. Джозиана хотела сохранить свою свободу, а лорд Дэвид — свою молодость. Ему казалось, что он тем дольше сможет продлить ее, чем позже свяжет себя брачными узами. В ту богатую любовными похождениями эпоху мужчины

не спешили с женитьбой; седины не мешали волокитству: их скрывали парики, позднее на помощь пришла пудра. В пятьдесят лет лорд Чарльз Джерард, барон Джерард из бромлейских Джерардов, пользовался в Лондоне огромным успехом у женщин. Молодая прелестная герцогиня Бекингем, графиня Ковентри, была без ума от шестидесятисемилетнего красавца Томаса Белласайз, виконта Фалькомберга. Цитировали знаменитые стихи семидесятилетнего Корнеля, посвященные двадцатилетней даме: «Пускай мое лицо, маркиза». Женщины на склоне лет тоже побеждали сердца: вспомним хотя бы Нинон и Марион[99]

Было кому подражать.

Отношения Джозианы и Дэвида были изящным кокетством, игрой в любовь. Они не любили, они только нравились друг другу. Им было вполне достаточно того, что они общались друг с другом. К чему было спешить? Тогдашние романы внушали влюбленным, что такого рода искус есть проявление хорошего тона. К тому же Джозиана, гордая своим высоким, хотя и незаконным происхождением, считала себя принцессой и держалась довольно надменно. Лорд Дэвид ей нравился. Лорд Дэвид был красив, но главное, она

находила его изящным. Быть изящным — это все. Великолепный и изящный Калибан оставляет позади бедного Ариэля[100]

Лорд Дэвид был красив — тем лучше; красивому мужчине угрожает опасность быть приторным; лорд Дэвид не был приторным. Он любил бокс, азартные игры и был в долгу как в шелку. Джозиану занимали его лошади, собаки, его проигрыши и любовницы. Лорд Дэвид в свою очередь поддавался очарованию герцогини Джозианы, девушки безупречного поведения, но свободной от предрассудков, высокомерной, неприступной и дерзкой. Он посвящал ей сонеты, которые Джозиана иногда удостаивала прочесть; он уверял в этих сонетах, что обладание Джозианой вознесет его на небеса, что не мешало ему, однако, из года в год откладывать это вознесение. Он стоял у врат сердца Джозианы, и это нравилось им обоим. Утонченность их отношений восхищала двор. Леди Джозиана говорила:

— Как досадно, что я должна выйти замуж за лорда Дэвида: мне хотелось бы только быть влюбленной в него!

Джозиана была олицетворением чувственной красоты. Невозможно было себе представить тело более великолепное. Она была очень высо-

кого роста, пожалуй даже слишком высокого. Ее золотые волосы отливали пурпуром. Это была полная, свежая, румяная красавица, очень смелая и остроумная. Глаза ее говорили красноречиво. Любовников у нее не было, но у нее не было и целомудрия. Ее ограждала гордость. Мужчина? Что вы! Она могла бы снизойти только до божества или чудовища. Если добродетель состоит в неприступности, то Джозиана была идеалом добродетели, но отнюдь не воплощением невинности. Надменность удерживала ее от любовных приключений, но она не рассердилась бы, если бы ей их приписали, лишь бы они были оригинальны и достойны такой особы, как она. Она мало заботилась о своей репутации, но очень дорожила своей славой. Казаться легкомысленной и быть недосягаемой — верх искусства. Джозиана сознавала свое величие и свое обаяние. Ее красота скорей подавляла, чем очаровывала. Она ступала по сердцам. Это была вполне земная женщина. Если бы она почувствовала, что в груди у нее есть душа, она удивилась бы этому не меньше, чем увидев у себя за спиной крылья. Она рассуждала о Локке[101]

Она была хорошо воспитана. Ходили слухи, что она знает арабский язык.

Быть живой женской плотью и быть женщиной — две вещи разные. Слабая струна женщины — жалость, так легко переходящая в любовь, была неведома Джозиане. Не потому, что она была бесчувственна: неверно сравнивать тело с мрамором, как это делали древние. Красивое тело не должно быть похоже на мрамор; оно должно трепетать, содрогаться, покрываться румянцем, истекать кровью, быть упругим, но не твердым, белым, но не холодным, должно испытывать наслаждение и боль; оно должно жить, мрамор же — мертв. Прекрасное тело почти имеет право быть обнаженным; его ослепительность заменяет ему одежды. Кто увидел бы Джозиану нагой, увидел бы ее тело лишь сквозь излучаемое им сияние. Она, не смутясь, предстала бы нагой и перед сатиром и перед евнухом. У нее была самоуверенность богини. Она с удовольствием создала бы из своей красоты пытку для нового Тантала. Король сделал ее герцогиней, а Юпитер — нереидой. Какое-то двойственное обаяние исходило от этого существа. Всякий, кто любовался ею, чувствовал, как становится язычником и ее рабом. Она была дитя прелюбодеяния и казалась нимфой, вышедшей из пены морской. Первое, что судил ей рок, — это плыть по течению, но в царственной

среде. В ней было что-то не поддающееся определению, изменчивое, властное, порывистое. Она была образована и умна. Ни одна страсть не коснулась ее, но мысленно она испытала все. Возможность осуществить свои порочные мечты отталкивала ее и вместе с тем привлекала. Если бы она заколола себя кинжалом, она сделала бы это, как Лукреция, уже после падения.[102]

У этой девственницы было развращенное воображение. В этой Диане таилась Астарта.[103]

Пользуясь своим высоким происхождением, она держалась вызывающе и неприступно. Однако ей показалось бы забавным самой подготовить свое падение. Слава вознесла ее на лучезарную высоту, но она испытывала соблазн спуститься оттуда и, движимая любопытством, быть может даже бросилась бы вниз. Она была немного тяжеловесна для облаков, падение казалось ей заманчивым. Свойственная великим мира сего дерзость дает им право производить любые опыты, — ведь то, что губит мещанку, для герцогини только забава. Знатность рода, иронический ум, сияющая красота делали Джозиану почти королевой. Одно время она восторгалась Луи де Буфлером, ломавшим одною рукою подкову. Она жалела, что Геркулес уже умер, и жила в

ожидании какой-то высокой и вместе с тем сладострастной любви.

Нравственный облик Джозианы заставлял вспомнить стих послания к Пизонам[104]

: Desinit in piscem:[105]

Прекрасный женский торс и гидры хвост.

Благородный торс, высокая грудь, вздымаемая ровным биением царственного сердца, живой и ясный взор, чистые, горделивые черты, а там под водой, в мутной волне, — как знать? — скрывается, быть может, сверхъестественное продолжение — гибкий и безобразный, ужасный хвост дракона. Недосягаемая добродетель, таящая порочные мечты…

И вместе с тем она была жеманна. Этого требовала мода. Вспомним Елизавету[106]

Елизавета — тот тип женщины, который преобладал в Англии в течение трех столетий — шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого. Елизавета была не только англичанкой, она была англиканкой. Вот чем объясняется глубокое уважение, с которым епископальная церковь относилась к этой королеве; это уважение, впрочем, разделяла и католическая церковь, что не помешало ей отлучить Елизавету. В устах Сикста Пятого[107]

, предававшего Елизавету анафеме, проклятие превращается в мадригал. «Государыня большого ума», — говорит он.

Мария Стюарт[108]

, менее заботившаяся о религиозных вопросах и больше занятая женскими переживаниями, не слишком уважала свою сестру Елизавету и писала ей как королева королеве и кокетка недотроге: «Ваше нежелание вступить в брак происходит от того, что вы не хотите отказаться от возможности свободно предаваться любви». Мария Стюарт играла веером, Елизавета — топором. Оружие неравное. Они обе соперничали в литературе. Мария Стюарт писала французские стихи, Елизавета переводила Горация[109]

Некрасивая Елизавета считала себя красавицей; она любила катрены, акростихи; по ее желанию ключи от города ей подносили купидоны; она поджимала губки, как итальянка, и закатывала глаза, как испанка; у нее было три тысячи платьев, в том числе несколько костюмов Минервы и Амфитриты; она ценила ирландцев за их широкие плечи, носила расшитые блестками фижмы, обожала розы, ругалась, сквернословила, топала ногами, колотила своих фрейлин, Дедлея посылала к черту, била канцлера Берлея так, что

бедняга плакал, плевала в лицо Мэтью, хватала за шиворот Хэттона, давала пощечины Эссексу, показывала свои ноги Бассомпьеру — и при всем том была девственницей.

Она сделала для Бассомпьера то же, что сделала когда-то царица Савская для Соломона.[110]

Священное писание упоминало о подобном случае: следовательно, это не могло быть неприличным. Все, что допускала библия, могло быть допущено и англиканской церковью. Происшествие, о котором повествует библия, завершилось рождением ребенка, нареченного Эвнеакимом или Мелилехетом, что означает «сын мудреца».

Развратные нравы. Да. Но лицемерие не лучше цинизма.

Современная Англия, имеющая своего Лойолу в лице Уэсли[111]

, немного стесняется этого прошлого. Она и досадует на него и гордится им.

В те времена нравилось безобразие, в особенности женщинам, и притом красивым. Стоит ли быть красавицей, если у тебя нет урода? Стоит ли быть королевой, если нет какого-нибудь смешного пугала, который говорит тебе «ты»? Мария Стюарт «была благосклонна» к горбуну Риччо[112]

Мария-Терезия Испанская была немного фа-

мильярна с одним мавром. Следствием этой фамильярности явилась «черная аббатиса». В альковных историях «великого века» не был помехой и горб; примером может служить маршал Люксембургский. А еще раньше Люксембургского — Конде, этот «маленький красавчик».

Красавицы, и те могли иметь недостатки. Это допускалось. У Анны Болейн[113]

одна грудь была больше другой, шесть пальцев на руке и один лишний зуб, выросший над другим. У Лавальер[114]

были кривые ноги. Это не мешало Генриху VIII быть без ума от Анны Болейн, а Людовику XIV терять голову от любви к Лавальер.

Такие же отклонения от нормы наблюдались и в области моральной. Почти все женщины, принадлежавшие к высшему кругу, были нравственными уродами. В Агнесах таились Мелузины. Днем они были женщинами, а ночью упырями. Они ходили к месту казни и целовали только что отрубленные головы, насаженные на железные колья. Маргарита Валуа[115]

, родоначальница всех жеманниц, носила у пояса юбки пришитые к корсажу, закрывавшиеся на замок жестяные коробочки, в которых хранились сердца умерших ее возлюбленных. Под этой

необъятной юбкой прятался Генрих IV.

В восемнадцатом веке герцогиня Беррийская, дочь регента французского королевства, воплотила в своем образе все разновидности этого типа распутных принцесс.

И наряду с этим прекрасные дамы знали латынь. Начиная с семнадцатого века, знакомство с латынью считалось одной из женских прелестей. Изысканность Джен Грей доходила до того, что она изучила древнееврейский язык.

Герцогиня Джозиана знала латинский. Кроме того, у нее было еще одно преимущество: она была католичкой, — правда, втайне и скорее как ее дядя Карл II, чем как ее отец Иаков II. Из-за своей приверженности к католицизму Иаков потерял трон, Джозиана же совсем не желала рисковать своим пэрством. Вот почему, будучи католичкой в кругу своих утонченных друзей, она была протестанткой для черни.

Этот способ исповедовать религию удобен; вы пользуетесь всеми преимуществами, предоставленными вам официальной епископальной церковью, а умираете, как Гроциус, в правоверии католицизма, и отец Пето служит по вас заупокойную мессу.

Несмотря на свое цветущее здоровье, Джози-

ана, повторяем, была в полном смысле слова жеманницей.

Иногда ее ленивая и сладострастная манера растягивать конец фразы напоминала мягкие движения крадущейся в джунглях тигрицы.

Положение жеманниц выгодно тем, что они резко отделяют себя от всего человеческого рода, считая свою особу выше остальных людей.

Жеманницам важней всего держать человечество на известном расстоянии.

За неимением Олимпа можно удовольствоваться отелем Рамбулье.[116]

Юнона превращается в Араминту.

Жеманницу создает неосуществимое притязание на божественность. Небесные громы заменяются дерзостью; храм, уменьшившись в размерах, становится будуаром. Не имея возможности быть богиней, жеманница ограничивается ролью идола.

В жеманстве есть известного рода педантство, которое приятно женщинам. Кокетка и педант — близкие соседи. Их внутреннее родство ясно проступает в образе фата.

Изнеженность идет от чувственности. Чревоугодие прикрывается разборчивостью. Алчности к лицу гримаса отвращения.

Кроме того, слабости, обычно свойственные женщинам, оказываются хорошо защищенными любовной казуистикой, которая заменяет им суровый голос совести. Это похоже на ров перед осаждаемой крепостью. Всякая жеманница имеет неприступный вид. Это ограждает ее от возможной опасности.

Она, конечно, сдастся, но пока она полна презрения; повторяем, пока.

В глубине души Джозиана была неспокойна. Она сознавала в себе такую склонность к разнузданности, что держала себя святошей. Гордость, сдерживающая наши пороки, толкает нас к порокам противоположным. Чрезмерные усилия быть целомудренной делали Джозиану недотрогой. Постоянная настороженность свидетельствует о тайном желании подвергнуться нападению. Кто действительно неприступен, тому нет надобности вооружаться суровостью.

Она была ограждена своим исключительным положением и высоким происхождением, не переставая, как мы уже говорили, помышлять о какой-нибудь неожиданной выходке.

Занималась заря восемнадцатого столетия. Англия копировала Францию времен регентства. Уолпол немногим отличался от Дюбуа.[117]

Мальборо[118]

сражался против своего бывшего короля Иакова II, которому, как говорят, он продал свою сестру Черчилль. Блистал Болингброк[119]

, всходила звезда Ришелье. Некоторое смешение сословий создавало удобную почву для любовных интриг; порок уравнивал людей, принадлежавших к разным слоям общества. Позднее их начали уравнивать с помощью идей. Якшаясь с чернью, аристократия положила начало тому, что позднее завершила революция. Уже недалеко было то время, когда Желиот мог открыто сидеть среди бела дня на кровати маркизы д'Эпине. Впрочем, нравы одного столетия нередко перекликаются с нравами другого. Шестнадцатый век был свидетелем того, как ночной колпак Сметона лежал на подушке Анны Болейн.

Если женщина и грех одно и то же, как утверждалось на каком-то вселенском соборе, то никогда еще женщина не была до такой степени женщиной, как в те времена. Прикрывая свое непостоянство очарованием, а слабость — всемогуществом, она никогда еще так властно не заставляла прощать себя. То, что Ева сделала из плода запретного плод дозволенный, было ее падением, зато ее торжеством было превращение

дозволенного плода в плод запретный. В восемнадцатом веке женщина не допускает в свою спальню супруга. Ева запирается в эдеме с сатаной. Адам остается по ту сторону райских врат.

Инстинкты Джозианы скорее склоняли ее к свободной любви, чем к законному браку. В свободной любви есть что-то от литературы, это напоминает историю Меналка и Амарилис, свидетельствует почти что об учености.

Если исключать влечение одного урода к другому, мадемуазель Скюдери не имела другого основания уступить Пелиссону.[120]

Девушка властвует над женихом, а жена подчиняется мужу — таков старинный английский обычай. Джозиана старалась, насколько возможно, отдалить час своего рабства. Конечно, повинуясь королевской воле, ей неизбежно предстояло выйти замуж за лорда Дэвида. Но как это было неприятно! Не отвергая лорда Дэвида, Джозиана в то же время держала его в некотором отдалении. Между ними существовало безмолвное соглашение; не заключать брака и не расходиться. Они избегали друг друга. Этот способ любить, делая один шаг вперед и два назад, отразился и в танцах того времени — в менуэте и гавоте. Брак никому не к лицу, из-за него

блекнут ленты, украшающие платье, он старит. Брак — убийственно ясное разрешение вопроса. Женщина отдает себя мужчине при посредничестве нотариуса — какая пошлость! Грубость брака приводит к непоправимым положениям; он уничтожает волю, исключает выбор, устанавливает, подобно грамматике, свой собственный синтаксис отношений, заменяет вдохновение орфографией, превращает любовь в диктант, лишает ее всякой таинственности, низводит с облаков образ женщины, одевая ее в ночную сорочку, умаляет тех, кто предъявляет свои права, и тех, кто им подчиняется; наклоняя одну чашу весов, уничтожает очаровательнее равновесие, существующее между полом сильным и полом могущественным, между силой и красотой, мужа делает господином, а жену служанкой, тогда как вне брака существуют только раб и царица. Как превращать ложе в нечто до того прозаическое, что оно становится вполне благопристойным, — мыслимо ли что-либо более вульгарное? Не глупо ли стремиться к такой пресной любви?

Лорд Дэвид достиг вполне зрелого возраста. Сорок лет — не шутка. Он не замечал их. Действительно, ему нельзя было дать больше тридцати. Он предпочитал желать Джозиану, чем обладать

ею. Он обладал другими женщинами; у него были любовницы.

А Джозиана предавалась мечтам. И это было хуже.

У герцогини Джозианы была одна особенность, встречающаяся чаще, чем предполагают: один глаз у нее был голубой, а другой черный. Глаза эти таили в себе любовь и ненависть, счастье и горе. День и ночь смешались в ее взгляде.

Честолюбие ее было столь велико, что ей хотелось совершить невозможное.

Однажды она сказала Свифту:[121]

— Вы воображаете, что ваше презрение чего-нибудь стоит?

Под этим «вы» подразумевался весь человеческий род.

Она была паписткой, но это было в ней очень поверхностно. Ее католицизм не переходил границ, установленных требованиями элегантности. В наши дни это называлось бы пюзеизмом. Она носила тяжелые бархатные, атласные или муаровые платья, затканные золотом и серебром, некоторые шириною в пятнадцать-шестнадцать локтей, пояс ее был перевит множеством нитей жемчуга и драгоценных камней. Она злоупотребляла галунами. Иногда она надевала суконный

камзол, обшитый позументом, как у бакалавра. Она ездила верхом по-мужски, несмотря на то, что дамские седла были введены в Англии Анной, женой Ричарда II, еще в четырнадцатом веке. Следуя кастильскому обычаю, сна мыла лицо, руки и грудь раствором леденцов в яичном белке. Выслушав какое-нибудь остроумное замечание, она отвечала на него задумчивым, необычайно красивым смехом.

Впрочем, злой она не была; она была скорее добра.

4. Magister elegantiarum — Законодатель изящества

Джозиана, конечно, скучала.

Лорд Дэвид Дерри-Мойр занимал выдающееся место среди веселящегося лондонского общества. Аристократия и дворянство относились к нему с глубоким почтением.

Отметим один из славных подвигов лорда Дэвида: он осмелился носить собственные волосы. Реакция против париков уже начиналась. Подобно тому как в 1824 году Эжен Девериа[122]

первый отважился отпустить бороду, так в 1702 году Прайс Девере первый появился в обществе с прической из собственных, искусно завитых волос. Рисковать шевелюрой значило почти

рисковать головой. Негодование было всеобщим, хотя Прайс Девере был виконтом Герфордом и пэром Англии. Его оскорбляли, и действительно было за что. И вот, в самый разгар этой травли, лорд Дэвид неожиданно появился тоже без парика, в прическе из своих волос. Подобные поступки знаменуют собою начало крушения общественного уклада. На лорда Дэвида посыпалось еще больше оскорблений, чем на виконта Герфорда. Он, однако, продолжал делать по-своему. Прайс Девере был первым, Дэвид Дерри-Мойр оказался вторым. Иногда вторым быть труднее, чем первым. Для этого нужно меньше гениальности, но больше отваги. Первый, упоенный новизной, может не знать размеров угрожающей ему опасности, второй же видит пропасть и все же бросается в нее. Вот в эту-то пропасть и устремился Дэвид Дерри-Мойр, дерзнув вторым появиться без парика. Позднее у двух смельчаков нашлись подражатели, рискнувшие носить собственные волосы; смягчающим обстоятельством явилась пудра.

Чтобы правильнее осветить столь важный исторический факт, мы должны признать настоящее первенство в этой войне против париков за шведской королевой Христиной, одевавшейся

в мужское платье и носившей, начиная с 1680 года, свои собственные каштановые волосы, напудренные и беспорядочно взбитые. Впрочем, у нее, кроме того, была, по словам Миссона, «кое-какая растительность на подбородке». Со своей стороны папа римский тоже подорвал отчасти уважение к парику, издав в марте 1694 года буллу, запрещавшую епископам и священникам носить парики и предписав всем служителям церкви отращивать волосы.

Итак, лорд Дэвид не признавал парика и, кроме того, носил сапоги из юфти.

Эти подвиги вызывали всеобщее восхищение. Не было ни одного аристократического клуба, где лорд Дэвид не состоял бы почетным членом, не проходило ни одного состязания боксеров, где бы он не являлся для всех желанным referee. Referee — значит судья.

Он принял участие в сочинении уставов нескольких клубов лондонского высшего света; он основал ряд великолепных учреждений, из которых одно, а именно «Леди Гинея», существовало в Пел-Меле еще в 1772 году. Там играли на золото. Самой маленькой ставкой был столбик из пятидесяти гиней; в банке никогда не было меньше двадцати тысяч гиней. Подле каждого

игрока стоял столик, чтобы ставить на него чай и золоченую деревянную чашку для гиней. Игроки надевали, как лакеи во время чистки ножей, кожаные нарукавники и нагрудники, предохранявшие от порчи их кружевные манжеты и брыжи; широкополые соломенные шляпы, украшенные цветами, защищали их от яркого света и сохраняли завивку. Все они были в масках, чтобы скрыть свое волнение, в особенности когда шла игра в «пятнадцать». Камзолы они надевали наизнанку, так как, говорят, это приносит удачу.

Лорд Дэвид состоял членом «Бифштекс-клуба», «Серли-клуба», «Клуба ворчунов», «Сплит-фартинг-клуба», «Клуба скаредов», «Клуба запечатанного узла» («Силед-Нот»), «Клуба роялистов» и «Клуба Мартина Скриблера», основанного Свифтом взамен «Клуба Рота», учрежденного Мильтоном.

Несмотря на свою красивую наружность, он был также членом «Клуба безобразных». Этот клуб был посвящен уродству. Там давали обещание драться не из-за красивых женщин, а из-за безобразных мужчин. В зале клуба были развешаны портреты уродливых людей: Терсита, Трибуле, Дунса, Гудибраса, Скаррона; на камине между двумя кривыми — Коклесом и Камоэнсом

— стоял Эзоп[123]

; Коклес был крив на левый глаз, а Камоэнс на правый; каждый из них был обращен к зрителю своим невидящим глазом; их слепые профили смотрели друг на друга. В тот день, когда красавица Визар заболела оспой, в «Клубе безобразных» пили за ее здоровье. Этот клуб процветал еще в начале девятнадцатого столетия; он послал Мирабо[124]

диплом почетного члена.

С восстановлением на престоле Карла II все республиканские клубы были уничтожены. На улице, прилегавшей к Мурфилдсу, была уничтожена таверна, в которой заседал «Клуб телячьей головы», получивший это название потому, что 30 января 1649 года, в день, когда пролилась на эшафоте кровь Карла I, здесь пили красное вино за здоровье Кромвеля из телячьего черепа.

На смену республиканским клубам явились клубы монархические.

Там развлекались вполне благопристойно: например, члены «Клуба озорников» хватали на улице какую-нибудь проходившую мимо мещанку, по возможности не старую и не безобразную, силой затаскивали ее в клуб и заставляли ходить на руках, вверх ногами, причем падавшие

на голову юбки закрывали ей лицо. Если она упрямилась, ее слегка подстегивали хлыстом по тем частям тела, которых больше не скрывала одежда. Сама виновата, изволь слушаться. Подвизавшиеся в этом своеобразном манеже назывались «прыгунами».

Был клуб «Жарких молний», который назывался также «Клубом веселых танцев». Там заставляли негров и белых женщин исполнять танцы перуанских пикантов и тимтиримбасов, в частности «мозамалу» (дурная девушка) — пляску, завершающуюся тем, что танцовщица садится на кучу отрубей и, подымаясь, оставляет на ней отпечаток неудобоназываемой части тела. Там же ставили в лицах картину, о которой говорит стих Лукреция:[125]

Tunc
Venus in sylvis jungebat corpora amantum.[126]

Был «Клуб адского пламени», в котором занимались богохульством. Члены его соперничали друг с другом в кощунстве. Ад доставался в награду тому, кто превосходил в этом отношении всех остальных.

Был «Клуб ударов головы», названный так потому, что там наносили людям удары головой.

Подыскивали какого-нибудь грузчика с широкой грудью и глупым лицом. Предлагали ему, а иногда и насильно заставляли его согласиться выпить кружку портера с тем, что его четыре раза ударят в грудь головой. Потом составлялись пари. Один валлиец, по имени Гоганджерд, здоровенный малый, после третьего удара испустил дух. Дело оказалось довольно серьезным. Началось расследование, и комиссия установила: «Умер от разрыва сердца вследствие злоупотребления спиртными напитками». Гоганджерд действительно выпил кружку портера.

Был еще «Фен-клуб». Fun, как и cant или как humour, — термин почти непереводимый. По отношению к шутке fun то же, что перец по отношению к соли. Пробраться к кому-нибудь в дом, разбить дорогое зеркало, изрезать фамильные портреты, отравить собаку, посадить к птицам кошку, все это — fun. Распустить слух о чьей-нибудь смерти, заставив родственников мнимого покойника облечься в траур, — это тоже fun. Тот, кто прорезал в картине Гольбейна в Гемптон-Корте большую четырехугольную дыру, тоже устроил fun.

Самым замечательным fun было бы отбить руку у Венеры Милосской. При Иакове II один

молодой лорд миллионер заставил хохотать весь Лондон: он ночью поджег для забавы чью-то лачугу; его объявили королем fun. Несчастные обитатели лачуги спаслись в одном белье, лишившись всего своего убогого скарба. Ночью, когда обыватели спали, члены «Фен-клуба», все представители высшей аристократии, бродили по Лондону, срывали с петель ставни, перерезали пожарные кишки, вышибали дно у бочек с водой, снимали вывески, топтали огороды, тушили уличные фонари, перепиливали столбы, подпиравшие ветхие стены домов, разбивали оконные стекла, в особенности в бедных кварталах. Так поступали с бедняками богачи. Жаловаться на них было невозможно. Впрочем, все это считалось шутками. Подобные нравы и до сих пор еще не совсем вывелись. В разных частях Англии или английских владений, например на острове Гернсей, от времени до времени на ваш дом ночью происходит небольшое нападение: у вас ломают забор, срывают молоток у двери и т. д. Если бы это проделывали бедняки, их сослали бы на каторгу, но этим занимается золотая молодежь.

Во главе самого аристократического клуба стоял председатель, который носил на лбу полумесяц и назывался «Великим могоком». Могок превос-

ходил даже fun. Делать зло во имя зла — такова была его программа. «Могок-клуб» ставил перед собой великую цель — вредить. Для достижения этой цели все средства были хороши. Тот, кто становился могоком, давал клятву всем вредить. Вредить во что бы то ни стало, все равно когда, все равно кому, все равно как, — это входило в его обязанность. Всякий член «Могок-клуба» должен был иметь какой-нибудь особый талант. Один был «учителем танцев»: он заставлял подскакивать крестьян тем, что колол им шпагой икры. Другой умел «вгонять в пот». Для этого шесть-восемь джентльменов, вооруженных рапирами, останавливали какого-нибудь бродягу; оборванец, окруженный со всех сторон, неизменно оказывался к кому-нибудь спиной; джентльмен, к которому несчастный обращался спиной, колол его клинком, отчего бедняга невольно поворачивался; новая рана в поясницу давала ему знать о том, что сзади него стоит другой джентльмен; таким образом, его кололи по очереди; когда забавникам казалось, что израненный человек достаточно навертелся и напрыгался, они приказывали лакеям избить его, чтобы изменить направление его мыслей. Другие «били льва», то есть со смехом останавливали какого-нибудь

прохожего, ударом кулака разбивали ему нос и большими пальцами вдавливали глаза. Если он навсегда терял зрение, его вознаграждали за слепоту некоторой суммой денег.

Вот как мило развлекались в начале восемнадцатого столетия богатые лондонские повесы. Парижские бездельники развлекались по-своему. Граф де Шароле подстрелил мирного жителя, стоявшего на пороге своего дома. Молодость любит повеселиться.

Лорд Дэвид Дерри-Мойр вносил во все эти увеселительные учреждения свойственный ему дух великолепной щедрости. Как и все, он весело поджигал крытую соломой деревянную лачугу и поджаривал немного ее обитателей, но зато потом он строил им каменный дом. Однажды в «Клубе озорников» ему случилось заставить танцевать на руках двух женщин. Одной из них, девушке, он дал потом хорошее приданое; другая была замужем, и он выхлопотал ее мужу место капеллана.

Он ввел достойные похвал усовершенствования в петушиные бои. Нельзя было не любоваться им, когда он готовил петуха к бою. Как люди хватают друг друга за волосы, так петухи друг друга хватают за перья. Поэтому лорд Дэвид делал свое-

го петуха как можно более лысым. Он самолично срезывал ему ножницами все перья на хвосте и от головы до плеч. «Тем меньше останется для клюва противника», — говорил он. Потом он расправлял петуху крылья и одно за другим заострял в них перья, так что каждое перо становилось своего рода копьем. «А это для глаз противника», — объяснял он. Потом он скоблил ему лапы, перочинным ножиком оттачивал когти, надевал на шпоры острые стальные наконечники; поплевав ему на голову и на шею, он натирал его своей слюной, как натирали маслом тела атлетов, и выпускал его в этом устрашающем виде, возглашая:

— Вот как из петуха делают орла и как обитателя курятника превращают в горную птицу.

Лорд Дэвид неизменно присутствовал при боксе и являлся тончайшим знатоком всех правил этого спорта. Под его наблюдением перед каждым серьезным боем вколачивались колья и протягивалась меж ними веревка; он определял величину площадки, на которой будет происходить поединок. Когда он бывал секундантом, он шаг за шагом следовал за своим подопечным с бутылкой в одной руке и губкой в другой, кричал боксеру: «Бей крепче!», подсказывал всякие уловки, давал советы, вытирал ему кровь,

подымал, когда тот падал, и, положив к себе на колени, поил его; набрав воды в рот, прыскал ему в лицо, обмывал глаза и уши; таким образом он приводил в чувство даже умирающих. Когда он бывал судьей, он всегда следил за правильностью ударов, запрещал кому бы то ни было, кроме секундантов, помогать дерущимся, объявлял побежденным чемпиона, который становился в неправильную позицию к противнику, наблюдал, чтобы приготовления к схватке не длились больше полминуты, не позволял подставлять подножку, не разрешал наносить удары головой или бить упавшего. Вся эта премудрость отнюдь не делала из него педанта и ничуть не вредила его светскости.

И уж когда судьей в боксе бывал он, ни один из загорелых, прыщавых, нестриженых сторонников того или иного бойца не осмеливался перелезать через ограду, выскакивать на середину площадки, разрывать веревки, вытаскивать колья и вмешиваться в бой, чтобы прийти на помощь слабеющему боксеру и склонить весы счастья на его сторону. Лорд Дэвид принадлежал к числу тех немногих судей, которым не осмеливались задать трепку.

Никто не умел так тренировать, как он. Боксер,

получивший согласие лорда Дэвида быть его тренером, был заранее уверен в победе. Лорд Дэвид выбирал геркулеса, крепкого, как скала, и высокого, как башня, и воспитывал его, как родное дитя. Задача состояла в том, чтобы научить эту каменную глыбу в образе человека переходить из положения оборонительного в положение наступательное, и лорд Дэвид блестяще разрешал ее. Выбрав великана, он уже не расставался с ним. Он становился его нянькой. Он отмерял ему вино, отвешивал мясо, считал часы его сна. Он установил тот замечательный режим для атлетов, который впоследствии возобновил Морлей: утром сырое яйцо и стакан хереса, в полдень кровавый бифштекс и чай, в четыре часа поджаренный хлеб и чай, вечером эль и поджаренный хлеб. После этого он раздевал своего питомца, массировал и укладывал в постель. На улице он не терял его из виду, оберегал от всяких опасностей: от вырвавшихся на свободу лошадей, от колес экипажей, от пьяных солдат и красивых девушек. Он следил за его нравственностью. С материнской заботливостью он вносил все новые и новые усовершенствования в воспитание опекаемого им силача. Он показывал ему, как надо выбивать зубы ударом кулака, как выдавливать

большим пальцем глаз. Трудно было представить себе что-либо более трогательное.

Вот каким образом готовил он себя к политической деятельности, которой впоследствии должен был заняться. Не так-то просто стать настоящим джентльменом.

Лорд Дэвид Дерри-Мойр страстно любил уличные зрелища, театральные подмостки, цирки с диковинными зверями, балаганы, клоунов, фигляров, шутов, представления под открытым небом, ярмарочных фокусников. Настоящий аристократ не гнушается удовольствиями простого народа; вот почему лорд Дэвид посещал таверны и балаганы Лондона и Пяти Портов[127]

Чтобы иметь возможность, не компрометируя своего звания офицера «белой эскадры», схватиться при случае с каким-нибудь матросом или конопатчиком, он прибегал к маскараду и в толпе обитателей трущоб всегда появлялся в матросской куртке. При этих переодеваниях было большим удобством то, что он не носил парика, ибо даже при Людовике XIV народ сохранял свои волосы, как лев — гриву. В таком виде лорд Дэвид чувствовал себя ничем не связанным. Мелкий люд, с которым он вступал в общение на этих шумных сборищах, относился к нему с

уважением, не зная, что он лорд. Его называли Том-Джим-Джек. Под этой кличкой он был очень популярен и даже знаменит среди голытьбы. Он мастерски прикидывался простолюдином и при случае пускал в ход кулаки.

Эту сторону его изысканной жизни знала и очень ценила леди Джозиана.

5. Королева Анна

Над этой четой судьба поставила Анну — королеву Англии. Королева Анна[128]

была самой заурядной женщиной. Она была весела, благожелательна, почти величественна. Ни одно из ее положительных качеств не достигало степени добродетели, ни один из недостатков не доходил до порока. Ее полнота была одутловатостью, остроумие — тупостью, а доброта — глупостью. Она была упряма и ленива, была и верна и неверна своему мужу, так как отдавала сердце фаворитам, а ложе берегла для супруга. Как христианка, она была и еретичкой и ханжой. Ее красила сильная шея Ниобеи. Все остальное в ее наружности было значительно хуже. Кокетничала она неловко и бесхитростно. Зная, что у нее нежная белая кожа, она охотно надевала открытые платья. Она ввела в моду плотно облегавшие шею ожерелья из крупного жемчуга. У нее был

низкий лоб, чувственные губы и выпуклые близорукие глаза. Эта близорукость распространялась и на ее ум. За исключением редких порывов веселости, почти столь же тягостных для окружающих, как и ее гнев, она жила в атмосфере молчаливого недовольства и затаенного брюзжания. У нее вырывались слова, о смысле которых надобно было догадываться. Это была смесь доброй женщины и злой дьяволицы. Она любила неожиданности — чисто женское свойство. Это была представительница первобытного типа Евы, еле тронутого резцом времени. И на долю этого чурбана случайно выпал трон. Она пила. Муж ее был породистый датчанин.

Будучи сторонницей тори, она правила при посредстве вигов. Правила по-женски, безрассудно. На нее иногда находили припадки бешенства. Все у нее валилось из рук. Трудно представить себе человека, менее подходящего для управления государством. Она роняла наземь события. Через ее политику проходила глубокая трещина. Из-за нее пустяковые происшествия приводили к катастрофам. Когда ей почему-либо хотелось показать свою власть, она называла эти проявления самодурства «огреть кочергой».

Она с глубокомысленным видом изрекала та-

кие фразы:

— Ни один пэр, кроме Курси, барона Кинсела, пэра Ирландии, не смеет стоять перед королем с покрытой головой.

Или:

— Мой отец был лорд-адмиралом, отчего же и моему мужу не носить этого звания? Это несправедливо.

И она делала Георга Датского генерал-адмиралом Англии и всех колоний ее величества. Она постоянно находилась в дурном настроении. Мысли свои она не высказывала, а изрекала. В этой гусыне были некоторые черты сфинкса.

Она не была противницей fun — злобной издевательской шутки. Она с радостью сделала бы Аполлона горбатым, но оставила бы его богом. Когда на нее находил добрый стих, она не хотела никого огорчать, но докучала решительно всем. У нее часто вырывались грубые слова; еще немного — и она ругалась бы площадными словами, как Елизавета. Время от времени она доставала из кармана юбки маленькую круглую коробочку чеканного серебра с ее собственным профилем между двумя буквами «К» и «А» и, взяв оттуда на кончик мизинца немного помады, красила себе губы. Приведя в порядок рот, она начинала

смеяться. Ее любимым лакомством были плоские зеландские пряники. Она гордилась своим дородством.

Будучи скорее всего пуританкой, Анна питала, однако, склонность к зрелищам. Ей очень хотелось основать музыкальную академию, наподобие французской. В 1770 году один француз, по имени Фортерош, задался целью построить в Париже «Королевский цирк», который должен был обойтись в четыреста тысяч франков, но этому воспротивился министр д'Аржансон; Фортерош приехал в Англию и предложил свой план королеве Анне; ее на минуту соблазнила идея выстроить в Лондоне оборудованный машинами и четырехъярусными люками театр, который затмил бы роскошью театр короля Франции. Как и Людовик XIV, она любила быструю езду. Иногда ее переезд в карете из Виндзора в Лондон занимал не больше часа с четвертью, включая все остановки.

Во времена Анны никакие сборища не допускались без разрешения двух мировых судей. Двенадцать человек, собравшихся хотя бы для того, чтобы поесть устриц и выпить портеру, объявлялись заговорщиками.

Во время этого относительно спокойного

царствования насильственный набор во флот производился с особой жестокостью — печальное доказательство того, что англичанин в большей мере подданный, чем гражданин. На протяжении столетий английские короли поступали в этом отношении как тираны, нарушая все старинные хартии вольностей[129]

и вызывая этим негодование и злорадство во Франции. Торжество ее отчасти умалялось тем, что, наподобие практиковавшейся в Англии насильственной вербовки матросов, во Франции существовала насильственная вербовка солдат. Во всех больших городах Франции любой здоровый мужчина, шедший по своим делам, мог быть схвачен на улице вербовщиками и отправлен в один из домов, носивших название «печи». Там его запирали вместе с другими жертвами, затем вербовщики отбирали годных к военной службе и продавали их офицерам. В 1695 году в Париже было тридцать таких «печей».

Изданные королевой Анной законы против Ирландии были ужасны.

Анна родилась в 1664 году, за два года до пожара Лондона, на основании чего астрологи (эти звездочеты тогда еще существовали; при рождении Людовика XIV также присутствовал астролог,

составивший его гороскоп) предсказали, что, как «старшая сестра огня», она будет королевой. Она и стала королевой благодаря астрологии и революции 1688 года[130]

Анна чувствовала себя униженной тем, что ее крестным отцом был всего лишь Джильберт, архиепископ Кентерберийский. В те времена в Англии уже невозможно было иметь крестным отцом папу. Но даже старший среди епископов — незавидный восприемник для августейшей особы. Анне пришлось удовольствоваться им. Это произошло по ее собственной вине. Зачем она была протестанткой?

За ее девственность, virginitas empta[131]

, как говорится в старинных хартиях, Дания уплатила шесть тысяч двести пятьдесят фунтов стерлингов годового пожизненного дохода, получаемого ею с Вардинбурга и острова Фемарна.

Анна следовала — не по убеждениям, а по привычке — традициям Вильгельма Оранского. Во время этого царствования, рожденного революцией, англичане пользовались свободой на всем пространстве между Тауэром, куда заключали ораторов, и позорным столбом, к которому ставили писателей. Анна говорила немного по-датски — наедине с мужем, и по-французски — наедине

с Болингброком. Французский язык она коверкала нещадно, но в Англии, в особенности при дворе, было в моде говорить по-французски. На другом языке никакие остроты не имели успеха. Анна уделяла огромное внимание монетам, в особенности мелким медным монетам, имеющим широкое хождение, — ей хотелось красоваться на них. В ее царствование отчеканили фартинги шести образцов. На трех первых она приказала изобразить трон, на четвертом — триумфальную колесницу, а на шестом — богиню, держащую в одной руке меч, в другой — оливковую ветвь с надписью: Bello et Pace[132]

Дочь наивного и жестокого Иакова II была груба.

И вместе с тем она была в сущности кроткой женщиной. Это противоречие только кажущееся. Ее преображал гнев. Подогрейте сахар — он закипит.

Анна пользовалась популярностью. Англия любит царствующих женщин. Почему? Да потому, что Франция их не допускает. Это уже достаточно веская причина. А других причин, пожалуй, и нет. Если верить английским историкам, то Елизавета была олицетворением величия, а Анна — доброты. Предположим, что это так. Но в

обоих этих женских царствованиях не было и намека на изящество. Все линии были топорны. Это было грубое величие и грубая доброта. Что же касается незапятнанной добродетели этих королев, на которой так настаивает Англия, мы не будем ее оспаривать. Елизавета — девственница, целомудрие которой несколько умаляется тенью Эссекса[133]

, супружеская верность Анны осложняется близостью с Болингброком.

У народов существует идиотская привычка приписывать королям свои собственные подвиги. Они сражаются. Кому достается слава? Королю. Они платят деньги. Кто на эти деньги роскошествует? Король. И народу нравится, что его король так богат. Король собирает с бедняков экю, а возвращает им лиар. Как он щедр! Колосс служит пьедесталом и любуется стоящим на нем пигмеем. Какой великий карапузик! Он взобрался ко мне на спину! У карлика есть прекрасная возможность стать выше гиганта — стоит лишь вскарабкаться к нему на плечи. Удивительно, что исполин это позволяет, но то, что он еще и восхищается величием карлика, — просто глупо. Человечество очень наивно.

Конная статуя, воздвигаемая только в честь

королей, — прекрасный символ монархии. Конь — это народ. Но только конь этот постепенно видоизменяется. Вначале это осел, но в конце концов он становится львом. Тогда он сбрасывает всадника, и Англия переживает 1642 год, а Франция — 1789 год; случается, что лев и пожирает всадника, тогда в Англии происходят события 1649 года, а во Франции — 1793 года.[134]

Трудно поверить, чтобы лев мог снова стать ослом, однако иногда это бывает. Так случилось в Англии. Впав в монархическое идолопоклонство, народ снова стал вьючным животным. Королева Анна, как мы уже сказали, была популярна. Что же она делала для этого? Ничего. Ничего не делать — вот все, что требуется от короля Англии. За этот труд он получает тридцать миллионов в год. Англия, имевшая при Елизавете только тридцать военных судов и при Иакове II — тридцать шесть, в 1705 году насчитывала их сто пятьдесят. У англичан было три армии — пять тысяч человек в Каталонии, десять тысяч в Португалии, пятьдесят тысяч во Фландрии; кроме того, она платила сорок миллионов в год монархической и дипломатической Европе, этой публичной девке, которую всегда содержала Англия на деньги народа. Когда парламент вотировал патриотический

заем в тридцать четыре миллиона, дававший пожизненную ренту, казначейство осаждали охотники подписаться на него. Англия послала одну эскадру в Восточную Индию, другую, во главе с адмиралом Ликом, — к берегам Испании, не считая запасной флотилии из четырехсот парусных судов, находившихся под командой адмирала Шоуэлла. Англия только что присоединила к себе Шотландию. Это было в период между Гохштетом и Рамильи, когда первая победа дала возможность предвидеть вторую. Под Гохштетом Англия окружила и взяла в плен семь батальонов и четыре драгунских полка, отобрала сто два лье территории у французов, в замешательстве отступивших от Дуная к Рейну. Англия протягивала руку к Сардинии и Балеарским островам. Она с триумфом ввела в свои порты десять испанских линейных кораблей и множество груженных золотом галионов[135]

Гудсонов залив и пролив были почти брошены Людовиком XIV; чувствовалось, что он так же легко расстанется с Акадией, и с островами св. Христофора, и с Новой Землей и будет счастлив, если Англия снисходительно разрешит Франции ловить треску у Бретонского мыса. Англия готовилась принудить французского короля совершить

позорный поступок — самому разрушить укрепления Дюнкерка.

А покуда она завладела Гибралтаром и намеревалась завладеть Барселоной. Сколько великих деяний! Как было не восторгаться королевой Анной, соблаговолившей жить в такое время?

В некотором отношении царствование Анны представляется сколком с царствования Людовика XIV. Анна, которую случай, называемый историей, сделал современницей этого короля, имела с ним некое, довольно слабое, сходство, была его бледным подобием.

Подобно Людовику XIV, она играла в «великое царствование»; у нее были свои памятники, свое искусство, свои победы, свои полководцы, свои писатели, свои личные средства, из которых она выдавала пенсии знаменитостям, своя галерея произведений искусств. У нее тоже был пышный двор и свита, собственный этикет и собственный марш. Двор этот был воспроизведением в миниатюре всех «великих людей» Версаля — и в оригинале не очень-то великих. В некотором роде обман зрения, но прибавьте к этому гимн «Боже, спаси королеву», музыка которого заимствована у Люлли[136]

, и все вместе создавало иллюзию сходства.

Все необходимые персонажи налицо: Кристофер Рен вполне подходящий Мансар, Сомерс не хуже Ламуаньона. У Анны был свой Расин — Драйден, свой Буало — Поп, свой Кольбер — Годольфин, свой Лувуа[137]

- Пемброк и свой Тюренн — Мальборо. Увеличьте только парики и уменьшите лбы. В общем все торжественно и пышно, и Виндзор в то время почти не уступал Марли[138]

Но на всем лежал женственный отпечаток, даже отец Телье у Анны носил имя Сары Дженнингс. Впрочем, к этому времени в литературе начинает звучать та ирония, которая пятьюдесятью годами спустя воплотится в философию, и Свифт разоблачает протестантского Тартюфа так же, как Мольер разоблачил Тартюфа-католика. Несмотря на то, что Англия ссорится в это время с Францией и побеждает ее, она ей подражает и заимствует у нее просвещение; все, что красуется на фасаде Англии, освещено лучами Франции. Жаль, что царствование Анны продолжалось только двенадцать лет, иначе англичане, не долго думая, стали бы говорить «век Анны», как французы говорят: «век Людовика XIV». Анна появилась на горизонте в 1702 году, когда Людовик XIV уже склонялся к закату. Восхождение бледно-

го светила совпало с закатом светила пурпурного; когда во Франции царствовал король Солнце, в Англии правила королева Луна.

Любопытный исторический факт: в Англии очень почитали Людовика XIV, несмотря на то, что вели с ним войну. «Именно такой король и нужен Франции», — говорили англичане. Любовь англичан к своей свободе не мешает им мириться с рабством других народов. Благожелательное отношение к цепям, сковывающим соседа, приводит англичан к восторженному преклонению перед деспотами.

В общем, Анна осчастливила свой народ, как говорит французский переводчик книги Биверелла, с любезной настойчивостью упоминая об этом трижды: на шестой и девятой страницах своего посвящения и на третьей странице предисловия.

Королева Анна не очень благоволила к Джозиане по двум причинам.

Во-первых, потому, что находила герцогиню Джозиану красивой.

Во-вторых, потому, что находила красивым жениха герцогини Джозианы.

Чтобы возбудить зависть женщины, необходимы два повода; королеве же достаточно одного.

Она сердилась на Джозиану еще за то, что Джо-

зиана была ее сестрой.

Анна была против красивых женщин.

Она считала, что это развращает нравы.

Что касается ее самой, она была некрасива, — но, конечно, не по своей воле.

Непривлекательной внешностью Анны отчасти и объясняется ее религиозность.

Умница и красавица Джозиана раздражала королеву.

Хорошенькая герцогиня не совсем желанная сестра для некрасивой королевы.

Была еще одна причина для недовольства: происхождение Джозианы.

Анна была дочерью Анны Хайд, простой леди, на которой Иаков II женился хотя и неудачно, но вполне законным образом, когда еще был герцогом Йоркским. Зная, что в ее жилах есть некоролевская кровь, Анна чувствовала себя королевой лишь наполовину; Джозиана, явившаяся на свет совсем незаконно, точно подчеркивала не вполне безупречное происхождение королевы. Дочери от неравного брака было досадно видеть рядом с собою внебрачную дочь. Напрашивалось какое-то неприятное сравнение. Джозиана имела право заявить Анне: «Моя мать ничуть не хуже вашей!» При дворе об этом не говорили, но, ве-

роятно, думали. Это раздражало ее королевское величество. К чему здесь эта Джозиана? Зачем она вздумала родиться? Кому понадобилась эта Джозиана?

Некоторые родственные связи бывают унизительными.

Однако внешне Анна относилась к Джозиане благосклонно.

Возможно, она даже полюбила бы ее, не будь герцогиня ее сестрой.

6. Баркильфедро

Знать, что делают твои ближние, весьма полезно, и благоразумие требует, чтобы за ними велось наблюдение.

Джозиана поручила наблюдение за лордом Дэвидом преданному человеку, которому она доверяла и которого звали Баркильфедро.

Лорд Дэвид поручил осторожно наблюдать за Джозианой преданному человеку, в котором он не сомневался и которого звали Баркильфедро.

Королева Анна, со своей стороны, была осведомлена обо всех поступках и действиях Джозианы, своей побочной сестры, и лорда Дэвида, своего будущего зятя с левой стороны, через преданного человека, на которого сна вполне полагалась и которого звали Баркильфедро.

У этого Баркильфедро было под рукой три клавиша: Джозиана, лорд Дэвид и королева. Мужчина и две женщины! Сколько возможных модуляций! Какие сочетания самых противоположных чувств!

В своем прошлом Баркильфедро не всегда имел такую блестящую возможность нашептывать на ухо трем высоким особам.

Когда-то он был слугой герцога Йоркского. Он пытался стать священнослужителем, но это ему не удалось. Герцог Йоркский, принц английский и римский, соединявший приверженность к папе с официальной принадлежностью к англиканской церкви, мог бы далеко продвинуть Баркильфедро по ступеням той и другой иерархии, но не считал его ни достаточно ревностным католиком, чтобы сделать из него священника, ни достаточно ревностным протестантом, чтобы сделать его капелланом. Таким образом, Баркильфедро очутился между двух религий, и душа его низверглась с неба на землю.

Для пресмыкающихся душ это не такое уж плохое положение.

Есть дороги, по которым можно продвигаться только ползком.

В течение долгого времени единственным ис-

точником существования Баркильфедро была хотя и скромная, но сытная должность лакея. Такая должность давала ему кое-что, но он, кроме того, стремился к власти. Быть может, он и дорвался бы до нее, если бы не падение Иакова II. Приходилось все начинать сызнова. Трудно было достичь чего-нибудь при Вильгельме III, царствовавшем с угрюмой суровостью, которую он считал честностью. Баркильфедро впал в нищету не сразу после падения его покровителя Иакова II. Какие-то непонятные силы, продолжающие действовать и после того, как низложен монарх, обычно питают и поддерживают еще некоторое время его паразитов. Остатки растительных соков в течение двух-трех дней еще сохраняют зеленой листву на ветвях срубленного дерева; потом оно сразу желтеет и вянет; то же происходит и с царедворцами.

Благодаря своеобразному бальзамированию, которое называют» наследственным правом на престол, монарх, если даже он свергнут и изгнан, продолжает существовать; не так обстоит дело с придворными — они более мертвы, чем король. Там, на чужбине, король — мумия, здесь, на родине, придворный — только призрак. А быть тенью тени — это высшая степень худобы.

Баркильфедро совсем отощал, изголодался. Тогда он стал сочинителем.

Но его гнали даже из кухонь. Иногда он не знал, где переночевать. «Кто приютит меня?» — вопрошал он и боролся, боролся с упорством человека, близкого к отчаянию, — черта, обычно вызывающая участие к несчастному. Кроме того, он обладал особым талантом: подобно термиту, он просверливал в древесном стволе ход снизу доверху. С помощью имени Иакова II, играя на своих воспоминаниях, чувстве преданности, умилении, он получил доступ к герцогине Джозиане.

Джозиана милостиво отнеслась к человеку, который обладал двумя качествами, способными тронуть сердце: он был беден и умен. Она представила его лорду Дерри-Мойр, поселила в отведенном для слуг помещении, зачислила его в штат своей домашней челяди, была к нему добра и даже иногда разговаривала с ним. Баркильфедро не пришлось больше терпеть ни холода, ни голода. Джозиана говорила ему «ты». Такова была мода: знатные дамы обращались к литераторам на «ты», и те не протестовали. Маркиза де Мальи[139]

, принимая, лежа в постели, Руа, которого видела первый раз в жизни, спросила его:

— Это ты написал «Год светской жизни»? Здравствуй!

Позднее писатели расплатились той же монетой. Пришел день, когда Фабр д'Эглантин[140]

обратился к герцогине де Роган:

— Ты урожденная Шабо?

То, что Джозиана говорила Баркильфедро «ты», было для него большим успехом. Это приводило его в восторг. Ему льстила высокомерная фамильярность герцогини.

«Леди Джозиана говорит мне „ты“!» — думал он, потирая руки от удовольствия.

Он воспользовался этим, чтобы упрочить свое положение. Он сделался чем-то вроде своего человека во внутренних покоях Джозианы, человека, которого никто не замечает, которого не стесняются; герцогиня не постеснялась бы переменить при нем сорочку. Но все это было ненадежно. А Баркильфедро добивался прочного положения. Герцогиня — только половина пути. Он считал бы все свои труды потерянными, если бы, прокладывая подземный ход, ему не удалось добраться до королевы.

Однажды Баркильфедро обратился к Джозиане:

— Не захочет ли ваша светлость осчастливить

меня?

— Чего ты хочешь? — спросила Джозиана.

— Получить должность.

— Должность? Ты?

— Да, ваша светлость.

— Что за фантазия пришла тебе просить должности? Ты ведь ни на что не годен.

— Потому-то я вас и прошу.

Джозиана рассмеялась.

— Какую же должность из всех, для которых ты не пригоден, тебе хотелось бы получить?

— Место откупорщика океанских бутылок.

Джозиана рассмеялась еще веселее:

— Что это такое? Ты шутишь?

— Нет, ваша светлость.

— Хорошо. Для забавы буду отвечать тебе серьезно. Кем ты хочешь быть? Повтори.

— Откупорщиком океанских бутылок.

— При дворе все возможно. Неужели есть такая должность?

— Да, ваша светлость.

— Для меня это ново. Продолжай.

— Такая должность существует.

— Поклянись душой, которой у тебя нет.

— Клянусь.

— Нет, тебе невозможно верить.

— Благодарю вас, ваша светлость.

— Итак, ты хотел бы… Повтори еще раз.

— Распечатывать морские бутылки.

— Такая обязанность, должно быть, не слишком утомительна. Это почти то же, что расчесывать гриву бронзовому коню.

— Почти.

— Ничего не делать… Такое место действительно по тебе. К этому ты вполне пригоден.

— Видите, и я кое на что способен.

— Перестань шутить! Такая должность в самом деле существует?

Баркильфедро почтительно приосанился:

— Ваш августейший отец — король Иаков Второй, ваш зять — знаменитый Георг Датский, герцог Кемберлендский. Ваш отец был, а зять и поныне состоит лорд-адмиралом Англии.

— Подумаешь, какие новости ты мне сообщаешь. Я и без тебя это отлично знаю.

— Но вот чего не знает ваша светлость: в море попадаются три рода находок — те, что лежат на большой глубине, те, что плавают на поверхности, и те, что море выбрасывает на берег.

— Ну и что же?

— Все эти предметы, *легон, флоутсон и джетсон*, являются собственностью генерал-адми-

рала.

— Ну?

— Теперь ваша светлость понимает?

— Ничего не понимаю.

— Все, что находится в море, все, что пошло ко дну, все, что всплывает наверх, все, что прибивает к берегу, — все это собственность генерал-адмирала.

— Допустим. Что ж из этого?

— Все, за исключением осетров, которые принадлежат королю.

— А я думала, — сказала Джозиана, — что все это принадлежит Нептуну.

— Нептун — дурак. Он все выпустил из рук, позволил англичанам завладеть всем.

— Кончай скорей!

— Находки эти называются морской добычей.

— Прекрасно.

— Они неисчерпаемы. На поверхности моря всегда кто-нибудь плавает, волна всегда что-нибудь пригонит к берегу. Это контрибуция, которую платит море. Англичане берут таким образом с моря дань.

— Ну и прекрасно. А дальше?

— Ваша светлость, таким образом океан создал целый департамент.

— Где?

— В адмиралтействе.

— Какой департамент?

— Департамент морских находок.

— Ну?

— Департамент этот состоит из трех отделов: Легон, Флоутсон и Джетсон, и в каждом отделе сидит чиновник.

— Ну?

— Допустим, какой-нибудь корабль, плавающий в открытом море, хочет послать уведомление о том, что он находится на такой-то широте, или встретился с морским чудовищем, или заметил какой-то берег, или терпит бедствие, тонет, гибнет и прочее; хозяин судна берет бутылку, кладет в нее клочок бумаги, на котором записано это событие, запечатывает горлышко и бросает бутылку в море. Если бутылка идет ко дну, это касается начальника отдела Легон, если она плавает — начальника отдела Флоутсон, если волны выбрасывают ее на сушу — начальника отдела Джетсон.

— И ты хочешь служить в отделе Джетсон?

— Совершенно верно.

— И это ты называешь должностью откупорщика океанских бутылок?

— Такая должность существует.

— Почему тебе это место нравится больше первых двух?

— Потому что оно в настоящее время никем не занято.

— В чем состоят эти обязанности?

— Ваша светлость, в тысяча пятьсот девяносто восьмом году один рыбак, промышлявший ловлей угрей, нашел в песчаных мелях у мыса Эпидиум засмоленную бутылку, и она была доставлена королеве Елизавете; пергамент, извлеченный из этой бутылки, известил Англию о том, что Голландия, не говоря никому ни слова, захватила неизвестную страну, называемую Новой Землей, что это случилось в июне тысяча пятьсот девяносто шестого года, что в этой стране медведи пожирают людей, что описание зимы, проведенной в этих краях, спрятано в футляре из-под мушкета, подвешенном в трубе деревянного домика, построенного и покинутого погибшими голландцами, и что труба эта сделана из укрепленного на крыше бочонка с выбитым дном.

— Не понимаю всей этой чепухи.

— А Елизавета поняла: одной страной больше у Голландии, значит одной страной меньше у Англии. Бутылка, содержавшая это известие,

оказалась вещью значительной. Было издано постановление о том, что отныне всякий, нашедший на берегу запечатанную бутылку, должен под страхом повешения доставить ее генерал-адмиралу Англии. Адмирал поручает особому чиновнику вскрыть бутылку и, если «содержимое оной того заслуживает», сообщить о нем ее величеству.

— И часто доставляют в адмиралтейство такие бутылки?

— Редко. Но это ничего не значит. Должность существует, и тот, кто занимает ее, получает в адмиралтействе специальную комнату для занятий и казенную квартиру.

— И сколько же платят за этот способ ничего не делать?

— Сто гиней в год.

— И ты беспокоишь меня из-за такой безделицы?

— На эти деньги можно жить.

— Нищенски.

— Как и подобает таким людям, как я.

— Сто гиней! Ведь это ничто.

— Того, что вы проживаете в одну минуту, нам, мелкоте, хватит на год. В этом преимущество бедняков.

— Ты получишь это место.

Неделю спустя, благодаря желанию Джозианы и связям лорда Дэвида Дерри-Мойр, Баркильфедро, теперь окончательно спасенный, зажил на всем готовом, получая бесплатную квартиру и годовой оклад в сто гиней.

3. Баркильфедро пробивает себе дорогу

Прежде всего люди спешат проявить неблагодарность.

Не преминул поступить таким образом и Баркильфедро.

Облагодетельствованный Джозианой, он, конечно, только и думал о том, как бы ей за это отомстить.

Напомним, что Джозиана была красива, высока ростом, молода, богата, влиятельна, знаменита, а Баркильфедро уродлив, мал, стар, беден, зависим и безвестен. За все это, разумеется, надо было отомстить.

Может ли тот, кто воплощает мрак, простить тому, кто полон блеска?

Баркильфедро был ирландец, отрекшийся от Ирландии, — самый дрянной человек.

Только одно говорило в пользу Баркильфедро — его большой живот.

Большой живот обычно считается признаком

доброты. Но чрево Баркильфедро было сплошным лицемерием: он был злым человеком.

Сколько лет было Баркильфедро? Трудно сказать. Столько, сколько требовали обстоятельства. Морщины и седина придавали ему старческий вид, а живость ума говорила о молодости. Он был и ловок и неповоротлив; что-то среднее между обезьяной и гиппопотамом. Роялист? Конечно. Республиканец? Как знать! Католик? Может быть. Протестант? Несомненно. За Стюартов? Вероятно. За Брауншвейгскую династию? Очевидно. Быть «за» выгодно только тогда, когда ты в то же время и «против», — Баркильфедро придерживался этого мудрого правила.

Должность «откупорщика океанских бутылок» на самом деле не была такой уж нелепой, какою она казалась со слов Баркильфедро. Гарсиа Феррандес в своем «Морском путеводителе» протестовал против разграбления потерпевших крушение судов и расхищения прибрежными жителями выброшенных морем вещей; протест, который в наши дни был бы сочтен простым витийством, произвел в Англии сенсацию и принес пострадавшим от кораблекрушения ту выгоду, что с тех пор их имущество уже не растаскивалось крестьянами, а конфисковывалось

лорд-адмиралом.

Все, что выбрасывало море на английский берег, — товары, остовы судов, тюки, ящики и прочее, — все принадлежало лорд-адмиралу (в том-то и заключалась значительность должности, о которой ходатайствовал Баркильфедро); особенно привлекали внимание адмиралтейства плававшие на поверхности моря сосуды, содержавшие в себе всякие известия и сообщения. Кораблекрушения — вопрос, серьезно занимающий Англию. Жизнь Англии в мореплавании, и потому кораблекрушения составляют вечную ее заботу. Море причиняет ей постоянное беспокойство. Маленькая стеклянная фляжка, брошенная в море гибнущим кораблем, содержит в себе важные и ценные со всех точек зрения сведения — сведения о судне, об экипаже, времени и причине крушения, о ветрах, потопивших корабль, о течении, прибившем фляжку к берегу. Должность, которую занимал Баркильфедро, уничтожена более ста лет тому назад, но в свое время она действительно приносила пользу. Последним «откупорщиком океанских бутылок» был Вильям Хесси из Доддингтона в Линкольне. Человек, исполнявший эту обязанность, являлся как бы докладчиком обо всем, что происходит в

море. Ему доставлялись все запечатанные сосуды, бутылки, фляжки, выброшенные прибоем на английский берег; он один имел право их вскрывать, он первый узнавал их тайну; он разбирал их и, снабдив ярлыками, записывал в реестр; отсюда и пошло до сих пор еще употребляемое на островах Ла-Манша выражение: «водворить плетенку в канцелярию». Правда, была принята одна мера предосторожности: все эти сосуды могли быть распечатаны только в присутствии двух представителей адмиралтейства, приносивших присягу не разглашать тайну и совместно с чиновником, заведующим отделом Джетсон, подписывавших протокол о распечатании. Так как оба «присяжных» были связаны своим клятвенным обязательством, то для Баркильфедро открывалась некоторая свобода действий, и в известной мере от него одного зависело скрыть какой-либо факт или предать его гласности.

Эти хрупкие находки были далеко не такими редкими и незначительными, как Баркильфедро говорил Джозиане. Иногда они довольно быстро достигали земли, иногда на это требовались долгие годы, — все зависело от ветров и течений. Обычай бросать в море бутылки теперь почти вывелся, так же как и обычай вешать ex voto[141]

перед изображениями святых, но в те времена люди, смотревшие в глаза смерти, любили таким способом посылать богу и людям свои последние мысли, и иногда в адмиралтействе скоплялось много подобных посланий.

Пергамент, хранящийся в Орлеанском замке и подписанный графом Сэффолком, лорд-казначеем Англии при Иакове I, гласит, что в течение одного только 1615 года в адмиралтейство было доставлено и зарегистрировано в канцелярии лорд-адмирала пятьдесят две штуки засмоленных склянок, банок, бутылок и фляг, содержавших известия о гибнущих кораблях.

Придворные должности похожи на капли масла, которые, расплываясь, постепенно захватывают все более широкое поле. Таким путем привратник становится канцлером, а конюх — коннетаблем. На должность, которую выпрашивал и получил Баркильфедро, назначался обычно человек, облеченный доверием. Так пожелала Елизавета. При дворе доверие подразумевает под собой интригу, а интрига означает повышение в чинах. Чиновник этот в конце концов стал в некотором роде значительной персоной. Он был клерком и в придворной иерархии следовал непосредственно за двумя раздатчиками мило-

стыни. Он имел право входа во дворец, — правда, скромного входа (humilis introitus), но перед ним открывались двери даже королевской спальни; обычай требовал, чтобы в некоторых случаях он оповещал королевскую особу о своих находках, часто весьма любопытных: в них бывали завещания людей, потерявших всякую надежду остаться в живых, прощальные письма родным, сообщения о хищениях груза и других преступлениях, совершенных в море, дарственные записи в пользу короны и т. д.; «откупорщик океанских бутылок» поддерживал непосредственные сношения с двором и время от времени давал королю отчет о вскрытых им находках. Это был «черный кабинет» по делам океана.

Елизавета, охотно говорившая по-латыни, спрашивала обычно у Темфилда из Колея в Беркшире, который занимал при ней должность чиновника Джетсон и вручал ей такие выброшенные морем послания:

— Quid mihi scribit Neptunus? (Что пишет мне Нептун?)

Ход был проделан. Термит добился своего. Баркильфедро проник к королеве.

Это было именно то, к чему он стремился.

Чтобы создать свое благополучие?

Нет.

Чтобы разрушить благополучие других.

Это гораздо приятнее.

Вредить ближнему — высшее наслаждение.

Далеко не всем дано испытывать смутное, но необоримое желание причинять другому вред и ни на минуту не забывать о своем намерении. Баркильфедро был удивительно настойчив. В осуществлении своих замыслов он отличался мертвой хваткой бульдога. Он испытывал мрачное удовлетворение от сознания собственной непреклонности. Только бы чувствовать в своих руках добычу или хотя бы знать, что зло будет нанесено неизбежно, — больше ему ничего не надо было.

Он готов был сам дрожать от холода, лишь бы этот холод заморозил другого. Быть злым — роскошь. Человек, который слывет бедным, да и на самом деле беден, обладает одним лишь сокровищем, от которого он не откажется ни за какие другие; это сокровище — его злоба. Все дело в удовлетворении, которое испытываешь, сыграв с кем-нибудь скверную штуку. Эта радость дороже всяких денег. Чем хуже для жертвы, тем лучше для шутника. Кэтсби, сообщник Гая Фокса в пороховом заговоре папистов[142]

, говорил: «Я и за миллион фунтов стерлингов не отказался бы от радости увидеть, как взлетает в воздух парламент».

Кто был Баркильфедро? Самым ничтожным и самым ужасным существом. Завистником.

При дворе зависть всегда найдет себе применение. Там много наглецов, бездельников, богатых лодырей, жадных до сплетен, искателей соломинки в чужом глазу, злопыхателей, осмеянных насмешников, глупых остряков, и все они нуждаются в услугах завистника.

Как отрадно послушать хулу на своего ближнего!

Из завистников выходят ловкие шпионы.

Между врожденной страстью — завистью и развившимся в обществе особым ремеслом — шпионством есть глубокое сходство. Шпион, как собака, выслеживает добычу для других; завистник, как кошка, выслеживает ее для себя.

Звериный эгоизм — вот существо завистника.

У Баркильфедро были другие особенности: он был скромен, скрытен, но всегда ставил себе определенную цель. Он все хранил про себя и копил в себе злобу. Великая низость идет об руку с великим тщеславием. К Баркильфедро благоволили те, кого он забавлял, остальные ненавидели его;

но он чувствовал, что ненавидящие относятся к нему с пренебрежением, а благосклонные — с презрением.

Он постоянно сдерживал себя. Под личиной враждебной покорности в нем кипели оскорбленные чувства. Он возмущался, как будто негодяи имеют право на негодование. Ярость, не дававшая ему ни минуты покоя, никогда не проявлялась у него внешне. Он был способен вынести любые оскорбления. Его терзали мрачные порывы злобы и пожирало вечно тлевшее в его душе пламя, но никто об этом даже не догадывался. Втайне Баркильфедро был холерик, но он всегда улыбался. Он был обходителен, услужлив, учтив и угодлив. Он кланялся всем и каждому. Малейшее, дуновение ветерка склоняло его до земли. Легко добиться счастья тому, у кого вместо позвоночного столба гибкая тростинка.

Таких скрытных и ядовитых людей больше, чем мы думаем. Они зловеще шныряют вокруг нас. Зачем они существуют на свете? Какой мучительный вопрос! Его постоянно задает себе мечтатель и никогда не может разрешить мыслитель. Поэтому печальные взоры философов всегда устремлены к той сумрачной вершине, которую именуют роком и с высоты которой огромный

призрак зла бросает на землю пригоршни змей.

У Баркильфедро было тучное тело и худое лицо. На жирном туловище узкая головка. У него были короткие, плоские рубчатые ногти, узловатые пальцы, жесткие волосы, далеко расставленные друг от друга глаза, лоб преступника, широкий и низкий. Раскосые глаза с подлым выражением прятались под нависшими бровями. Длинный, острый, горбатый нос почти соприкасался со ртом. Если бы облачить Баркильфедро в одежду римских императоров, он был бы похож на Домициана[143]

Его желтое лицо казалось вылепленным из какой-то клейкой массы, а неподвижные щеки — из воска; множество продольных и поперечных морщин свидетельствовали о всевозможных пороках; у него была широкая нижняя челюсть, тяжелый подбородок и большие мясистые уши. Когда он молчал, из-под верхней губы, приподнятой острым углом, видны были, при взгляде на него сбоку, два зуба. Казалось, эти зубы смотрят на вас. Ведь зубы могут смотреть, так же как глаза — кусаться.

Терпеливость, сдержанность, умеренность, осторожность, скромность, любезность, уступчивость, мягкость, вежливость, трезвость и

целомудрие — все эти добродетели дополняли и совершенствовали образ Баркильфедро. То, что он обладал ими, было клеветой на них.

В очень короткое время Баркильфедро прочно обосновался при дворе.

8. Inferi — Преисподняя

Обосноваться при дворе можно двояким способом: либо на облачных высотах — тогда вы окружены ореолом величия, либо в грязи — и тогда в ваших руках сила.

В первом случае вы пребываете на Олимпе, во втором — располагаетесь в гардеробной.

Обитатель Олимпа повелевает только громами; тот, кто живет при гардеробной — полицией.

Здесь, в гардеробной, вы найдете все атрибуты королевской власти, а иногда, — ибо гардеробная место предательское, — и орудия кары. Тут находят свою смерть Гелиогабалы[144]

В подобных случаях гардеробная называется отхожим местом.

Но обыкновенно в гардеробной не столь ужасно. Альберони восхищается здесь герцогом Вандомским[145]

, коронованные особы охотно дают здесь аудиенции. Она заменяет собою тронную залу. Людовик XIV принимал в ней герцогиню Бургунд-

скую. Филипп V восседал там рядом с королевой. В королевскую гардеробную получает доступ и священник. Иногда она становится отделением исповедальни.

Вот почему, занимая при дворе самое незаметное положение, можно сделать карьеру. И неплохую карьеру.

Если вы хотите быть великим при Людовике XI — будьте Пьером Роганом, маршалом Франции; если хотите быть «влиятельным — будьте, как Оливье Леден, цирюльником. Если хотите прославиться при Марии Медичи[146]

- будьте канцлером Силлери, если хотите иметь значение — будьте Ганнон, камеристкой. Если вы хотите быть знаменитым при Людовике XV — будьте Шуазелем, министром, если хотите быть грозным — будьте Лебелем[147]

, лакеем. Бонтан, стеливший Людовику XIV постель, был более могуществен, чем Лавуа, создавший этому королю армию, и Тюренн, доставивший ему столько побед. Отнимите у Ришелье отца Жозефа, и от Ришелье почти ничего не останется. Исчезнет всякая таинственность. Красный кардинал великолепен, серый кардинал страшен. Какая сила кроется в червяке! Все Нарваэсы вкупе со всеми О'Доннелями не могут сделать того, что

сделает какая-нибудь сестра Патрочиньо.

Первым условием такого могущества является ничтожество. Если вы хотите быть сильным, будьте незаметным. Будьте ничем. Свернувшаяся кольцом спящая змея является в одно и то же время символом бесконечности и нуля.

Такая змеиная удача выпала и на долю Баркильфедро.

Он прополз туда, куда стремился.

Плоские паразиты проникают всюду. В кровати Людовика XIV водились клопы, а в его политике действовали иезуиты.

В нашем мире нет ничего несовместимого.

Жизнь напоминает маятник. Тяготеть к чему-либо — значит качаться из стороны в сторону. Один полюс стремится к другому. Франциску I необходим Трибуле, Людовику XV — Лебель. Существует глубокое сходство между «высшим величием» и крайним ничтожеством.

Управляет ничтожество. Это совершенно понятно. Нити находятся в руках того, кто внизу.

Он занимает самую удобную позицию.

Он все видит, и к нему прислушиваются.

Он — око правительства.

В его распоряжении — ухо короля.

Если в вашем распоряжении ухо короля, то

это значит, что вы можете по собственному усмотрению открывать и защелкивать дверь королевского сознания и всовывать туда все, что вам заблагорассудится. Ум короля — ваш шкаф. Если вы тряпичник — он превращается в вашу корзинку. Уши королей принадлежат не им, и поэтому, сказать по правде, эти бедняги не вполне ответственны за свои поступки. Тот, кто не владеет своими мыслями, не распоряжается и своими действиями. Король всегда повинуется.

Кому?

Какому-нибудь мерзавцу, который жужжит у него над ухом. Черной мухе, исчадию бездны.

В этом жужжании — приказ. Король всегда правит под чью-то диктовку.

Монарх повторяет вслух, подлинный властитель диктует шепотом.

И те, кто умеет уловить этот шепот и услышать, что именно подсказывает он королю, — настоящие историки.

9. Ненависть так же сильна, как и любовь

Немало подсказчиков нашептывали на ухо королеве Анне. В том числе и Баркильфедро.

Кроме королевы, он старался воздействовать и на леди Джозиану и на лорда Дэвида, стремясь незаметно подчинить их своему влиянию. Как

мы уже говорили, он нашептывал сразу в три уха. На одно ухо больше, чем Данжо[148]

Вспомним, что Данжо нашептывал только двоим; просунув голову между Людовиком XIV, влюбленным в свою свояченицу Генриету, и Генриетой, влюбленной в Людовика XIV, и, сделавшись без ведома Генриеты секретарем Людовика и без ведома Людовика секретарем Генриеты, он оказался в центре любовной интриги двух марионеток, сам задавая вопросы и сам же отвечая на них.

Баркильфедро был таким веселым и сговорчивым, таким безобразным и злоязычным, он был так неспособен заступиться за кого-либо и проявить верность кому бы то ни было, что нет ничего странного в том, что он стал в конце концов необходим королеве. Оценив по достоинству Баркильфедро, Анна не пожелала слушать других льстецов. Он льстил ей так же, как льстили Людовику XIV, он обращал свое жало против других. «Король невежествен, — говорила госпожа де Моншеврейль[149]

, - приходится поэтому смеяться над учеными».

Отравлять постепенно, уколами — это верх искусства. Нерон любил смотреть на работу Локусты.[150]

В королевские дворцы проникнуть нетрудно: в этих коралловых сооружениях существуют внутренние ходы, о существовании которых очень быстро догадывается полип, называемый царедворцем; найдя готовый ход, он расширяет его, а если нужно, проделывает новый. Чтобы попасть во дворец, достаточно какого-нибудь предлога.

Воспользовавшись в качестве такого предлога своей службой, Баркильфедро в очень короткое время сделался для королевы тем, чем он был и для герцогини Джозианы, — привычным и забавным домашним животным. Сорвавшееся у него однажды с языка остроумное словечко помогло ему раскусить королеву: теперь он знал, чем можно заслужить милость ее величества. Королева очень любила своего лорда-управителя Вильяма Кавендиша, герцога Девонширского, человека необычайно глупого. В одно прекрасное утро этому лорду, имевшему все ученые степени Оксфорда и писавшему с ошибками, вздумалось умереть. Придворный, умирая, совершает большую неосторожность, ибо никто больше не стесняется о нем злословить. Королева погоревала о нем в присутствии Баркильфедро и, наконец, промолвила со вздохом:

— Как жаль, что столь добродетельный человек

был не очень умен!

— Да примет господь душу своего осла, — вполголоса пробормотал по-французски Баркильфедро.

Королева улыбнулась. Баркильфедро отметил эту улыбку.

Отсюда он сделал вывод: нравится, когда язвят.

Итак, ему дозволялось быть злоязычным.

С этого дня Баркильфедро дал волю своему любопытству и своей злости. Его никто не смел одернуть, все его боялись. Тот, кто смешит короля, гроза для всех остальных.

Баркильфедро стал всесильным шутом.

Ежедневно пробирался он вперед своим подземным ходом. В Баркильфедро нуждались. Некоторые вельможи до такой степени дарили его своим доверием, что в случае нужды поручали ему то или иное гнусное дело.

Двор — это целая система зубчатых колес. Включившись в эту систему, Баркильфедро стал ее двигателем. Обратили ли вы внимание на то, что в некоторых механизмах двигательное колесо очень мало?

Джозиана, как мы уже сказали, пользовалась шпионскими способностями Баркильфедро и питала к нему такое доверие, что, не задумыва-

ясь, дала ему ключ от своих покоев, с помощью которого Баркильфедро мог проникнуть к ней в любое время.

Такое чрезмерное доверие, раскрывающее интимную сторону жизни перед посторонними людьми, было в семнадцатом столетии весьма распространенным явлением. Это называлось «подарить ключ». Джозиана подарила два потайных ключа: один — лорду Дэвиду, другой — Баркильфедро.

Впрочем, в старину никто не удивлялся, если человек получал доступ в спальню. Иногда это приводило к неожиданностям. Ла Ферте например, раздвинув внезапно полог постели мадемуазель Лафон, наткнулся на черного мушкетера Сенсона.

Баркильфедро отличался особым умением раскрывать тайны, которые подчиняют великих мира сего и предают их в руки маленьких людей. Он умел бесшумно красться в потемках извилистым путем. Как всякий хороший соглядатай, он совмещал в себе жестокость палача и терпение микрографа. Он был прирожденным царедворцем, а все царедворцы — лунатики. Они бродят в ночи, называемой всемогуществом. В руке у них потайной фонарь. Лучом этого фонаря они осве-

щают только то, что хотят, оставаясь сами в тени. Не человека ищет царедворец с этим фонарем, а животное, которое скрывается в человеке; он находит его в короле.

Королям не нравится, чтобы кто-то рядом с ними претендовал на величие. Талант Баркильфедро заключался в том, что он непрерывно умалял достоинства лордов и принцев, благодаря чему возрастало величие королевы.

Ключ, подаренный Баркильфедро, был с двумя бородками по концам, и потому им можно было открывать спальные комнаты в обеих любимых резиденциях Джовианы — в Генкервилл-Хаузе в Лондоне и в Корлеоне-Лодже в Виндзоре. Оба эти дворца входили в состав наследства лорда Кленчарли. Генкервилл-Хауз прилегал к Олдгейту. Олдгейт был воротами, ведущими в Лондон из Харвика; там стояла статуя Карла II с раскрашенным изваянием ангела над головой и фигурами льва и единорога у подножия. Восточный ветер доносил в Генкервилл-Хауз благовест из Сент-Мерильбона. Дворец Корлеоне-Лодж в Виндзоре был построен в флорентийском стиле из кирпича и камня с мраморной колоннадой и стоял на сваях; к нему вел деревянный мост; парадный двор его считался одним из самых красивых в Англии.

В этом дворце, расположенном неподалеку от Виндзорского замка, Джозиана была на виду у королевы. Тем не менее ей нравилось там жить.

Влияние Баркильфедро на королеву было незаметно со стороны, но пустило глубокие корни. Нет ничего более трудного, чем удалить такие придворные плевелы; они почти не дают ростков, и их не за что ухватить. Выполоть Роклора[151]

, Трибуле или Бреммеля — задача почти невозможная.

С каждым днем королева Анна становилась все благосклоннее к Баркильфедро.

Всем известно имя Сары Дженнингс. Имя же Баркильфедро осталось неизвестным. Никто не знает о милостивом отношении к нему королевы Анны. Его имя не дошло до истории. Не всякий крот попадает в руки кротолова.

Баркильфедро, неудачливый кандидат в священнослужители, учился всему понемногу, а потому, как это бывает обычно в подобных случаях, не знал ничего. Можно стать жертвой мнимого всезнайства. Сколько на свете таких, можно сказать, бесплодных ученых, у которых на плечах вместо головы бочка Данаид[152]

Чем только ни набивал Баркильфедро свою голову, все напрасно — она оставалась пустой.

Ум, как и природа, не терпит пустоты. Природа заполняет пустоту любовью; ум нередко прибегает для этого к ненависти. Ненависть дает ему пищу.

Существует ненависть ради ненависти; искусство ради искусства более свойственно натуре человека, чем принято думать.

Люди ненавидят. Надо же что-нибудь делать.

Беспричинная ненависть ужасна. Это ненависть, которая находит удовлетворение в самой себе.

Медведь живет тем, что сосет свою лапу.

Но это не может длиться без конца. Лапу надо питать. Медведю необходим какой-нибудь корм.

Ненависть сладостна сама по себе, и на некоторое время ее хватает, но в конце концов она должна устремиться на определенный предмет.

Злоба беспредметная истощает, как всякое наслаждение в одиночестве. Она похожа на стрельбу холостыми патронами. Эта игра увлекает лишь в том случае, если можно пронзить чье-либо сердце.

Нельзя ненавидеть только ради того, чтобы прослыть ненавистником. Необходима цель — мужчина или женщина, кто-то, кого стремишься погубить.

Джозиана бессознательно оказала Баркильфедро эту восхитительную и ужасную услугу — она придала игре интерес и сообщила ей цель: она разожгла и направила ненависть, раздразнила охотника видом живой добычи, внушила притаившемуся стрелку надежду, что скоро прольется теплая, дымящаяся кровь, обрадовала птицелова мнимой легковерностью быстрокрылого жаворонка, пробудила в охотнике зверя, ибо, сам того не подозревая, он был создан для того, чтобы убивать.

Мысль — это снаряд. Баркильфедро с первого дня избрал Джозиану мишенью для всех черных замыслов, гнездившихся в его мозгу. Существует сходство между намерением и пищалью. Баркильфедро притаился в засаде, направив на герцогиню всю свою затаенную злобу. Это вас удивляет? Зачем вы стреляете в птицу, которая не сделала вам никакого зла? Чтобы съесть ее — отвечаете вы. Того же хотел и Баркильфедро.

Джозиану нельзя было ранить в сердце, так как трудно поразить место, где скрывается загадка, но можно было нанести ей удар в голову, уязвив ее гордость.

Именно гордость была ее слабостью, а она видела в ней свою силу.

Баркильфедро это прекрасно понял.

Если бы Джозиана могла разобраться в черной душе Баркильфедро, если бы она узнала, что скрывается за его улыбкой, эта надменная высокопоставленная особа затрепетала бы. Но сны ее были безмятежно спокойны, она даже не подозревала, что таилось в этом человеке.

Нежданное обрушивается неизвестно откуда. Страшны глубинные источники жизни. Нет малой ненависти. Ненависть всегда огромна. Она сохраняет свои размеры даже в самой ничтожной твари и остается чудовищной. Всякая ненависть сильна уже тем, что она — ненависть. Слону, которого ненавидит муравей, грозит опасность.

Еще не нанеся удара, Баркильфедро уже радостно предвкушал зло, которое собирался совершить. Он пока не знал еще, что именно он предпримет против Джозианы. Но намерение его было твердо. И одно уже такое решение значит немало.

Он не надеялся уничтожить Джозиану; это было бы слишком большой удачей. Но оскорбить ее, унизить, причинить ей горе, увидеть, как покраснеют от слез бессильной ярости эти прекрасные глаза, — вот что он считал бы удачей. И на нее он рассчитывал. Не напрасно природа одарила его

такой настойчивостью, такой страстной жаждой причинять страдания другим. Он был уверен, что найдет какой-нибудь изъян в золотых доспехах Джозианы и прольет кровь этой обитательницы Олимпа. Какая же за это ждала его награда? — спросим мы. Огромная: радость отплатить злом за добро.

Кто такой завистник? Неблагодарный. Он ненавидит солнце, которое освещает и согревает его. Так Зоил ненавидит Гомера.[153]

Подвергнуть Джозиану тому, что назвали бы теперь вивисекцией, видеть, как она корчится в судорогах на анатомическом столе, не торопясь резать ее живую на части — вот какие мечты лелеял Баркильфедро.

Чтобы достигнуть этого, он рад был бы и сам пострадать немного. Можно попасть в собственные тиски. Складывая нож, можно обрезать себе пальцы. Велика важность! Если бы, мучая Джозиану, Баркильфедро причинил боль себе, он отнесся бы к этому безразлично. Палач, орудуя раскаленным железом, обжигается сам, но не обращает на это внимания. Вы ничего не чувствуете, так как другой страдает больше. Видя, как мучится тот, кого пытают, вы не ощущаете собственной боли.

Вреди как можно больше, а там — будь что

будет.

Причиняя ближнему зло, вы береге на себя ответственность. Подвергая другого опасности, вы рискуете собой, так как сцепление различных обстоятельств может привести к неожиданному крушению и вашу судьбу. Истинно злой человек не останавливается даже перед этим. Его радуют терзания страдальца. Его приятно щекочут эти муки. Веселье злодея ужасно. Он чувствует себя отлично при виде пытки. Герцог Альба[154]

грел руки у костров, на которых жгли людей. Огонь — страдание, его отблеск — радость. Невольно содрогаешься при мысли о том, какие выводы можно сделать из подобных противопоставлений. Темные стороны души непостижимы. Встречающееся у Бодена выражение «изощренная казнь» имеет, быть может, тройной ужасный смысл: утонченные пытки, страдания пытаемого, наслаждение мучителя.

«Алчность», «честолюбие» — эти слова означают, что кто-то приносится в жертву для удовлетворения аппетита другого. Как печально, что даже понятие «надежда» может быть извращено! Таить зло против кого-нибудь — значит желать ему зла. Почему не добра? Не потому ли, что наша воля устремлена преимущественно в сторону

зла? Самая тяжелая задача — постоянно подавлять в своей душе желание зла, с которым так трудно бороться. Почти все наши желания, если хорошенько разобраться в них, содержат нечто такое, в чем нельзя признаться. Но у законченного злодея — а такого рода гнусное совершенство существует — вырабатывается правило: чем хуже для других, тем лучше для меня. Совесть его — мрачный вертеп.

Джозиана в избытке обладала той беспечностью, которая порождается презрительной гордостью и высокомерно-пренебрежительным отношением ко всему. Способность женщины к презрению поразительна. Джозиане была присуща бессознательная, непроизвольная, самоуверенная надменность. Баркильфедро в ее глазах был почти вещью. Она очень удивилась бы, если бы ей сказали, что у него тоже есть душа.

Она ходила, говорила, смеялась, не обращая внимания на этого человека, который исподтишка наблюдал за ней.

Он только выжидал удобного случая. И чем больше он ждал, тем больше крепло в нем решение омрачить чем-нибудь жизнь этой женщины.

Беспощадная засада…

Впрочем, объясняя себе свое поведение, он приводил весьма убедительные доводы. Не думайте, что негодяи не питают к себе уважения. Они оправдываются в своих поступках, произнося высокопарные монологи, и свысока смотрят на окружающих. Как! Эта Джозиана подала ему милостыню! Она, как нищему, швырнула ему несколько лиаров из своего несметного богатства! Она поработила его этой нелепой должностью! Если он, Баркильфедро, почти духовное лицо, человек, одаренный такими крупными и разнообразными способностями, ученый муж, имеющий все основания получить титул его преподобия, должен заниматься описью черепков вроде тех, которыми Иов соскребывал гной со своих струпьев, если он вынужден проводить свою жизнь в мерзкой канцелярии и с важностью раскупоривать глупые бутылки, покрытые слоем ила и морских ракушек, читать заплесневелые пергаменты, истлевшие бестолковые послания, грязные обрывки завещаний, какой-то неудобочитаемый вздор, — во всем этом виновата Джозиана.

И эта тварь еще смеет говорить ему «ты»!

Да неужели он не отомстит за себя, не проучит это ничтожество?

Нет, погоди! Есть еще на свете справедливость!

10. Пламя, которое можно было бы видеть, будь человек прозрачен

Как! Эта шалая женщина, эта похотливая мечтательница, девственница по недоразумению, этот кусок человеческого мяса, который пока еще не нашел владельца, эта бесстыжая причудница в герцогской короне, эта Диана, еще не доставшаяся первому встречному только потому, что спесива, — или, быть может, по чистой случайности; эта побочная дочь канальи-короля, у которого не хватило ума удержаться на троне, эта неизвестно откуда выпорхнувшая герцогиня, только благодаря своей знатности разыгрывающая из себя богиню, между тем как в бедности она была бы потаскухой; эта мнимая леди, эта воровка, укравшая имущество изгнанника, — эта высокомерная дрянь обнаглела до того, что когда он, Баркильфедро, оказался без крова и куска хлеба, она посадила его на нижнем конце своего стола и дала ему пристанище в одном из углов ее постылого дворца, не все ли равно где — на чердаке, в подвале? Живется ему немного лучше лакея в людской, немного хуже лошади на конюшне! Воспользовавшись его, Баркильфедро, отчаянным положением, она поторопилась

оказать ему предательскую услугу, как это обычно делают богачи, чтобы унизить бедняков, и привязать их к себе, как своих такс, которых они водят на сворке! А чего стоила ей эта помощь? Цена помощи определяется ценою жертвы. У нее во дворце комнат хоть отбавляй! Она, видите ли, помогала ему, Баркильфедро! Подумаешь, как ей было это трудно! Съела ли она из-за этого хоть одной ложкой меньше черепахового супа? Лишила ли она себя хотя бы частицы своего проклятого богатства? Нет, она прибавила к своему изобилию новый повод к тщеславию, еще один предмет роскоши, — сделала доброе дело, украсившись им, как украшают палец перстнем, пришла на помощь умному человеку, взяла под свое покровительство духовное лицо! Теперь она может кичиться этим, говорить: «Я оказываю благодеяния, я кормлю писателей!» Она может разыгрывать из себя его покровительницу. «Повезло этому бедняге, что он напал на меня! Ведь я друг искусства!» И все лишь потому, что она отвела ему жалкую койку в дрянном чулане под своей крышей. Конечно, должность в адмиралтействе Баркильфедро получил благодаря Джозиане. Прекрасная должность, черт возьми! Джозиана сделала из Баркильфедро то, что он есть. Она дала

ему положение, допустим. Да, но ничтожное. Меньше чем ничтожное. В этой смехотворной должности он чувствовал себя связанным по рукам и по ногам, парализованным, утратившим собственный облик. Чем он обязан Джозиане? Признательностью, которую горбун питает к матери, родившей его уродом. Вот они, эти привилегированные, пресыщенные всеми благами люди, эти выскочки, баловни подлой мачехи-судьбы! А даровитый человек, Баркильфедро, вынужден вытягиваться перед ними на лестнице, кланяться лакеям, карабкаться вечером на самую вышку, быть любезным, предупредительным, обходительным, вежливым, приятным и неизменно хранить на лице почтительную улыбку! Как тут не заскрежетать зубами от ярости! А она в это время надевает на шею жемчуга и ломает любовную комедию со своим дураком, лордом Дэвидом Дерри-Мойр, негодяйка этакая!

Никогда не принимайте ничьих услуг. Вас непременно поймают на удочку. Не давайтесь благодетелям в руки в ту минуту, когда вы валитесь с ног от изнеможения. Вам окажут благодеяние. У него, Баркильфедро, не было хлеба, — эта женщина его накормила? С тех пор он стал ее лакеем! Временное чувство пустоты в желудке

— и вот вы прикованы на всю жизнь! Быть кому-либо обязанным — значит попасть в рабскую зависимость. Счастливцы власть имущие пользуются моментом, когда вы протягиваете руку, чтобы сунуть вам грош, они пользуются минутой вашей слабости, чтобы превратить вас в раба, в худшую разновидность раба — в раба, облагодетельствованного милостыней, в раба, обязанного любить! Какой позор! Какая неделикатность! Какая западня для вашей гордости! И вот все кончено: вы навеки осуждены превозносить доброту этого человека, признавать красавицей эту женщину, оставаться на заднем плане, со всем соглашаться, всему рукоплескать, восхищаться, курить фимиам, натирать себе мозоли вечным коленопреклонением, рассыпаться в сладких речах, когда вас гложет ярость, когда вы готовы вопить от бешенства, когда дикая злоба разрывает вашу грудь и горькая пена клокочет в ней сильнее, чем в океане.

Вот как богачи делают бедняка своим узником.

Вы навсегда увязаете в клейкой смоле оказанного вам благодеяния, которое замарает вас на всю жизнь.

Милостыня — нечто непоправимое. Признательность — тот же паралич. Благодеяние при-

липает к вам, лишает вас свободы движения. Это свойство хорошо известно ненавистным богачам, которые обрушили на вас свою жалость. Дело сделано. Вы стали вещью. Они вас купили. Чем? Костью, которую они отняли у своей собаки, чтобы бросить вам. Они швырнули эту кость вам в голову. Этой костью они больше ушибли вас, чем помогли вам. Все равно, обглодали вы эту кость или нет. Вам отвели место в конуре. Благодарите же. Будьте благодарны всю жизнь. Боготворите ваших господ. Валяйтесь в ногах у них. Благодеяние предполагает добровольное подчинение благодетельствуемого благодетелю. Благотворители требуют от вас, чтобы вы признавали себя ничтожеством, а их — богами. Ваше унижение возвеличивает их. Взглянув на ваш согбенный стан, они держатся еще прямее. В звуке их голоса слышится надменность. Их семейные события, свадьбы, крестины, беременность, появление на свет потомства — все это касается вас. У них рождается волчонок — отлично, пишите стихи на случай. На то вы и поэт, чтобы сочинять всякие пошлости. Как тут не остервенеть! Еще немного, и они заставят вас донашивать их старые башмаки!

«Кто это у вас, моя милая? Вот урод! Откуда

он?» — «Сама не знаю, какой-то писака, которого я кормлю». Так разговаривают между собою эти индюшки. И даже не понижают голоса. Вы слышите это и продолжаете расточать любезности. Впрочем, если вы больны, ваши господа присылают вам врача. Не своего, конечно. При случае он осведомляется о вас. Будучи иной породы, чем вы, и находясь на недосягаемой для вас высоте, они приветливы с вами. Их высокое положение делает их доступными. Они знают, что вы не можете быть с ними на равной ноге. Презирая вас, они учтивы с вами. За столом они слегка кивают вам головой. Иногда они знают, как пишется ваше имя. Если они и дают почувствовать, что покровительствуют вам, то лишь простодушно попирая ногами все, что есть в вас наиболее уязвимого и чувствительного. Они так добры к вам!

Разве это не верх гнусности?

Конечно, следовало как можно скорее наказать Джозиану. Надо было дать ей понять, с кем она имеет дело! А-а, господа богачи, потому лишь, что вы не в состоянии поглотить все, что у вас есть, потому лишь, что излишество могло бы повлечь за собой несварение желудка (ибо ваши желудки не больше наших), потому лишь наконец, что лучше раздать объедки, чем выбросить их вон,

вы великолепным жестом швыряете беднякам эти жалкие отбросы! Ах, вы даете нам хлеб, даете пристанище, одежду, занятие, и ваша дерзость, ваше безумие, ваша жестокость, ваша глупость и нелепость доходят до того, что вы верите, будто мы вам обязаны! Наш хлеб — это хлеб рабства, пристанище, которое вы нам даете, — лакейская, одежда — ливрея, должность — издевательство; правда, нам на этой должности платят, но она низводит нас на уровень скота! Ах, вы считаете себя вправе бесчестить нас за то, что дали нам кров и пищу, вы воображаете, что мы ваши должники, вы рассчитываете на нашу признательность! Отлично! Мы сожрем ваши внутренности! Отлично! Мы выпотрошим вас, красавица, проглотим вас живьем, перегрызем зубами все мышцы вашего сердца!

Ах, эта Джозиана! Чудовище! В чем ее заслуга? Велика, подумаешь, важность: появилась на свет, подтвердив этим глупость своего отца и бесстыдство своей матери; оказала нам милость, согласившись существовать, и за то, что она любезно соизволила быть публичным скандалом, ей заплатили миллионы, пожаловали земли и замки, заповедники, охоты, озера, леса — всего не перечесть! И при этом она еще кривляется. Ей пи-

шут стихи! А он, Баркильфедро, который столько учился и работал, столько потрудился на своем веку, поглотил уйму фолиантов, забил ими свои мозги, заплесневел среди научных трактатов, он, человек выдающегося ума, он, который мог бы отлично командовать армиями и — если бы только захотел — писать трагедии, подобно Отвею и Драйдену, он, рожденный быть императором, вынужден согласиться на то, чтобы это ничтожество спасало его от голодной смерти! Могут ли простираться еще дальше узурпаторские действия богачей, ненавистных баловней случая? Притворяться великодушными и улыбаться нам, нам, готовым выпить их кровь и облизать себе губы! Не чудовищная ли это несправедливость, что какая-то гнусная придворная дама имеет право называть себя вашей благодетельницей, а человек, превосходящий ее во всех отношениях, обречен подбирать крохи, оброненные такой рукою? Как тут не схватить скатерть за все четыре конца, не швырнуть ее в потолок вместе со всем пиром, со всею оргией, обжорством и пьянством, со всеми гостями — и с теми, что развалились, опираясь локтями на стол, и с теми, что ползают под столом на четвереньках, — с наглецами, которые бросают нищему подачку, и идиотами,

принимающими эту подачку, выплюнуть все это богу прямо в лицо, швырнуть в небо всю нашу землю! Ну, а пока вонзим когти в Джозиану.

Так рассуждал Баркильфедро. Дикий рык раздавался в его душе. Оправдывая себя, завистник смешивает свои личные обиды с общественным злом. В кровожадном сердце бурно кипят все виды злобных страстей. На географических картах пятнадцатого века в углу изображали большое безыменное пространство, на котором были начертаны три слова: Hie sunt leones[155]

Такие же неисследованные области есть и в душе человека. Где то внутри нас волнуются и бурлят страсти, и об этом темном уголке нашей души можно также сказать: «Hie sunt leones».

Но разве уж совершенно нелеп был хаос этих диких мыслей? Разве был он лишен всякой логики? Надо сознаться, что нет.

Страшно подумать, но наш рассудок не всегда является голосом справедливости. Суждение — нечто относительное. Справедливость — нечто безусловное. Поразмыслите над тем, какая разница между судом и правосудием.

Злодеи своевольно распоряжаются своей совестью. Существует всякого рода гимнастика лжи. Софист — фальсификатор: в случае нужды он

насилует здравый смысл. Определенная логика, чрезвычайно гибкая, беспощадная и искусная, всегда готова к услугам зла: она изощреннейшим образом побивает скрытую в тени истину. Сатана наносит богу страшные удары кулаком.

Иной софист, приводящий в восхищение глупцов, только тем и славен, что покрыл синяками человеческую совесть.

Больше всего удручала Баркильфедро мысль, что дело сорвется. Он предпринял огромный труд и опасался, что в итоге причинит слишком мало вреда. Носить в своем сердце всепожирающую злобу и твердую, как алмаз, ненависть, обладать железной волей, стремиться все взорвать — и в результате ничего не сжечь, никого не обезглавить, никого не уничтожить! Быть тем, чем он был, — разрушительной силой, всепоглощающей враждебностью, палачом чужого счастья, быть созданным (ибо всегда есть создатель — дьявол или бог) по мерке, присущей только Баркильфедро, и разрядить всю свою энергию в жалком щелчке, да разве это мыслимо! Баркильфедро промахнется? Чувствовать в себе взрывчатую силу, способную метать в воздух скалы, — и всего-навсего посадить шишку на лоб жеманницы! Быть катапультой — и напрасно сотрясать воз-

дух! Выполнять сизифов труд[156]

- и убедиться, что это не более как муравьиные усилия! Излить весь запас ненависти почти без всякие последствий! Не унизительно ли это, когда сознаешь себя злобной силой, могущей превратить в прах всю вселенную! Привести в движение сложную систему зубчатых колес, громыхать во мраке, как машина Марли, для того чтобы прищемить кончик розового пальчика! Своротить глыбу, чтобы вызвать на поверхности болота придворной жизни легкую рябь! Нелепое расточительство сил к лицу только богам: обвал горы иной раз кончается тем, что кротовая нора меняет свое место.

Да и кроме того, на своеобразном поле битвы, каким является двор, нет ничего опаснее, как прицелиться в своего врага и промахнуться. Во-первых, вы тем самым предстаете своему противнику без личины и вызываете его ярость, а во-вторых (и это существеннее), промахнувшись, вы возбуждаете недовольство вашего господина. Королям не очень-то нравятся неловкие люди. Смотрите, чтоб не было ни шишек, ни безобразных ссадин! Режьте всех, но не разбивайте носы в кровь. Кто убивает — тот молодец, кто только ранит — тот разиня. Короли не любят, чтобы уве-

чили их слуг. Они сердятся, когда вы разбиваете фарфор у них на камине или калечите кого-либо из их свиты. При дворе должна быть чистота, опрятность. Разбивайте, но заменяйте новым, и все будет в порядке.

Вдобавок это превосходно согласуется со взглядом вельможных людей на злословие. Злословьте, но тумаков не давайте или, если уж зудит рука, бейте насмерть.

Вонзайте кинжал, но не царапайте. Разве только отравленной булавкой. Это — смягчающее вину обстоятельство. Вспомним, что именно таково было оружие Баркильфедро.

Всякий злобствующий пигмей — сосуд, в котором заключен сказочный дракон. Крошечный сосуд — и исполинский дракон. Чудовищно плотный сгусток, выжидающий момента, чтобы расшириться до необъятных размеров. Скучая, он утешается мыслью о грядущем взрыве. Содержимое больше вместилища. Притаившийся гигант — не странно ли это? Червяк, вынашивающий в себе гидру! Быть ужасной шкатулкой с сюрпризом, таящей в себе Левиафана, — для карлика это и пытка и наслаждение.

Итак, ничто не могло бы заставить Баркильфедро отказаться от его намерений. Он ждал

своего часа. Наступит ли этот час? Что нужды! Он ждал его. У отъявленных злодеев ко всему примешивается личное самолюбие. Рыть яму и вести подкоп под карьеру придворного, стоящего выше вас, пытаться взорвать эту карьеру, рискуя собственной головой, как бы мы ни были сами укрыты под землей, повторяем, дело интересное. Такая игра может захватить. Ею можно увлечься, как сочинением эпической поэмы. Быть ничтожеством и напасть на существо в тысячу раз сильнее вас — блестящий подвиг. Приятно быть блохою на теле льва.

Гордый зверь чувствует укус и расходует свою бешеную ярость, обрушиваясь на ничтожный атом. Встреча с тигром причинила бы ему меньше досады. И вот роли переменились. Униженный лев чувствует в своем теле жало насекомого, а блоха вправе заявить: «Во мне течет львиная кровь».

Однако гордость Баркильфедро удовлетворялась этим лишь наполовину. Это было слабое утешение. Дразнить — приятно, но лучше было пытать. Назойливая мысль не давала покоя Баркильфедро; он боялся, что ему удастся только слегка задеть Джозиану, нанести поверхностную царапину. Мог ли он рассчитывать на большее,

он, такое ничтожество по сравнению с этой блестящей женщиной? Нанести царапину — какая малость, когда ему хотелось содрать кожу, обнажить живое кровоточащее мясо, когда ему хотелось бы слышать дикие вопли женщины, не обнаженной, нет, а лишившейся последнего покрова — собственной кожи! Как ужасно сознавать свое бессилие, тая в душе такое стремление! Увы, на свете нет ничего совершенного.

Как бы там ни было, он покорялся своей судьбе. Не имея возможности воплотить в жизнь свои замыслы, он мечтал осуществить их хотя бы наполовину. Сыграть злую шутку — все-таки цель.

Человек, мстящий за оказанное ему благодеяние, — фигура недюжинная. Баркильфедро проявил себя здесь подлинным исполином. Обычно неблагодарность проявляется в забвении; у этого же избранника зла она проявлялась в яростной ненависти. Сердце неблагодарного человека хранит в себе только пепел. Что же было в сердце Баркильфедро? Его сердце было горнилом, полным пылающих углей. Ненависть, гнев, досада, злоба молчаливо раздували здесь то пламя, которое должно было испепелить Джозиану. Никогда еще мужчина не пылал такой беспричинной ненавистью к женщине. Это было ужасно! Джо-

зиана стала его бессонницей, его единственной заботой, его тоской, его бешенством.

Быть может, он был в нее немного влюблен.

11. Баркильфедро в засаде

Найти уязвимое место Джозианы и нанести ей удар — таково было, по причинам, о которых мы говорили выше, непреклонное желание Баркильфедро.

Хотеть — недостаточно; надо мочь.

Как взяться за это?

В этом весь вопрос.

Мелкие негодяи тщательно разрабатывают подробный план гнусности, которую хотят совершить. Они не чувствуют в себе достаточно силы, чтобы на лету схватить первую представившуюся возможность, завладеть ею добром или насильно и подчинить ее своим целям. Этим объясняются их предварительные комбинации, которыми настоящие злодеи пренебрегают. Опытные злодеи полагаются главным образом на свой злодейский нрав: они вооружаются чем можно, заготовляют на всякий случай разного рода оружие и, подобно Баркильфедро, просто выжидают благоприятного момента. Они знают, что заранее выработанный план может не совпасть с обстоятельствами. Связав себя определенной про-

граммой действий, злодей рискует запутаться и не добиться поставленной цели. С судьбою не ведут предварительных переговоров. Завтрашний день нам не подвластен. Случай не повинуется нам. Поэтому преступники подстерегают случай и, ухватив его цепкой лапой, заставляют сразу же, без лишних слов, работать с ними заодно. Ни плана, ни чертежа, ни модели, ничего заранее обдуманного, что оказалось бы непригодным для неожиданности, как башмак, сшитый не по мерке. Они бросаются очертя голову в черную бездну. Немедленно и быстро извлекать для себя пользу из любого обстоятельства — искусство подлинного злодея, превращающее мошенника в демона.

Настоящий злодей поражает нас, как праща, первым попавшимся под руку камнем. Настоящие злодеи всегда полагаются на неожиданность, эту немую помощницу всякого преступления.

Поймать случай, прыгнуть ему на спину — вот единственное «art poetique» этого рода талантов.

А до поры до времени им необходимо выведать, с кем они имеют дело. Нащупать почву.

Для Баркильфедро этой почвой была королева Анна.

Баркильфедро все ближе подползал к коро-

леве.

Его допускали так близко, что порою ему казалось, будто он слышит мысли ее величества.

Иногда он, как лицо, которое в счет не идет, присутствовал при разговорах двух сестер. Ему не запрещалось вставить и свое словечко. Он пользовался этим для собственного уничижения. Это был способ внушить к себе доверие.

Так, однажды в Гемптон-Корте, в саду, находясь позади герцогини, стоявшей за спиной у королевы, он услыхал, как Анна, с натугой следовавшая тогдашней моде изрекать сентенции, произнесла:

— Счастливы животные — они не рискуют попасть в ад.

— Они и без того в аду, — возразила Джозиана.

Ответ этот, внезапно подменивший религию философией, пришелся королеве не по вкусу. Пусть ответ даже был глубокомыслен, Анну он все же покоробил.

— Милая моя, — заметила она Джозиане, — мы говорим об аде как две дурочки. Спросим у Баркильфедро, что представляет собою ад. Он должен хорошо разбираться в этом.

— В качестве дьявола? — спросила Джозиана.

— В качестве животного, — ответил Баркиль-

федро.

И поклонился.

— Он, сударыня, — обратилась королева к Джозиане, — умнее нас с вами.

Для такого человека, как Баркильфедро, быть приближенным к королеве значило держать ее в руках. Он мог сказать: «Она в моей власти». Теперь ему надо было только найти способ заставить ее служить своим целям.

Он занял определенное место при дворе. Укрепиться при дворе — чего лучше! Только бы подвернулся благоприятный случай: уж он не упустит его. Не раз он вызывал злобную улыбку на устах королевы. Это значило, что ему дозволено охотиться.

Но не было ли при дворе какой-либо запретной дичи? Давало ли ему это разрешение право подбить крылышко или лапку, скажем, родной сестре ее величества?

Это следовало узнать в первую очередь. Любит ли королева свою сестру?

Неверный шаг мог погубить все дело. Баркильфедро стал приглядываться.

Прежде чем сделать ход, игрок смотрит в свои карты. Какие у него козыри? Баркильфедро первым делом сопоставил возраст обеих женщин:

Джозиане двадцать три года, Анне — сорок один. Отлично. Карты недурные.

Момент, с которого женщина перестает вести счет годам по веснам и начинает вести его по зимам, действует на нее раздражающим образом. В ней пробуждается глухая злоба против безжалостного времени, которое она начинает чувствовать. Молодые, только что расцветшие красавицы, источающие для других благоухание, обращены к ней одними шипами, и каждая из этих роз причиняет ей укол. Ей кажется, что это они отняли у нее свежесть, что ее собственная красота вянет лишь потому, что она расцветает в других.

Воспользоваться этой тайной досадой, углубить морщины на лице сорокалетней женщины, королевы, — вот что предстояло Баркильфедро.

Зависть — отличное средство для возбуждения ревности: она выводит ее наружу, подобно тому как крыса выгоняет крокодила из его логова.

Баркильфедро сосредоточил все внимание на королеве. Он вглядывался в королеву, как вглядываются в стоячую воду. Болото иной раз бывает довольно прозрачно. В грязной воде видны пороки, в мутной — нелепости. Анна была водою мутной.

В ее тупом мозгу шевелились зародыши чувств и личинки мыслей.

Все там было неясно. Все было едва намечено. Это было тем не менее нечто реальное, хотя и бесформенное. Королева думала то-то. Королева желала того-то. Точно установить, что она думала, чего желала, — было трудно. Еле заметные превращения, происходящие в стоячей воде, не так-то легко поддаются исследованию.

Обычно вялая, королева иногда позволяла себе глупые и грубые выходки. Этими вспышками и следовало воспользоваться. Надо было поймать ее на этом.

Чего в глубине души желала Анна герцогине Джозиане? Добра или зла?

Загадка. Баркильфедро задался целью разгадать ее.

Найдя ответ, он мог бы пойти дальше.

На помощь ему пришел ряд случайностей, но главное — помогла его постоянная настороженность.

Анна приходилась по мужу дальней родственницей новой прусской королеве, супруг которой имел сто камергеров; у Анны был его портрет, писанный на эмали по способу Тюрке де Майерна. У прусской королевы тоже была незаконнорож-

денная младшая сестра, баронесса Дрика.

Однажды в присутствии Баркильфедро Анна стала расспрашивать прусского посланника об этой Дрике.

— Говорят, она богата?

— Очень богата, — ответил посланник.

— У нее есть дворцы?

— И даже более великолепные, чем у ее сестры — королевы.

— За кого она выходит замуж?

— За знатного вельможу, за графа Гормо.

— Он красив?

— Очарователен.

— Она молода?

— Совсем молода.

— Так же хороша, как королева?

Посланник, понизив голос, ответил:

— Еще лучше.

— Какая дерзость! — прошептал Баркильфедро.

Королева помолчала, потом воскликнула:

— Ох, уж эти незаконнорожденные!

Это множественное число не ускользнуло от Баркильфедро.

В другой раз, при выходе из часовни, где Баркильфедро стоял довольно близко от королевы,

позади двух раздатчиков милостыни, лорд Дэвид Дерри-Мойр, продвигавшийся сквозь ряды королевской свиты, произвел на придворных дам сильное впечатление своей наружностью. Вслед ему раздавался хор женских восклицаний: «Как он изящен! — Как он любезен! — Какой у него величественный вид! — Какой красавец!»

— Как это неприятно! — пробормотала королева.

Баркильфедро услышал это.

Теперь он знал, что ему делать.

Можно было вредить герцогине, не опасаясь возбудить недовольство королевы.

Первая задача была решена.

Перед ним возникла вторая.

Как же повредить герцогине?

Какие средства для достижения столь трудной цели могла доставить ему его жалкая должность?

Никаких, очевидно.

12. Шотландия, Ирландия и Англия

Отметим одну подробность: у Джозианы «был диск».

Это станет понятным, если вспомнить, что она была сестрой королевы — правда, сестрой побочной, но все же особой королевской крови.

«Иметь диск» — что это значит?

Виконт Сент-Джон (иными словами — Болингброк) писал Томасу Леннарду, графу Сессексу: «Две вещи сообщают людям высокое положение. В Англии — tour, во Франции — pour». «Pour» означало во Франции следующее: когда король путешествовал, гоф-фурьер вечером, во время остановок, отводил помещение лицам, сопровождавшим его величество. Некоторые из этих вельмож пользовались огромным преимуществом перед остальными. «У них есть „pour“, — читаем мы в „Историческом журнале“ за 1694 год на странице 6-й, — то есть распределитель помещения пишет перед именами этих особ слово „pour“ (для), например: „для принца Субиз“, между тем как, отмечая помещение лица не королевской крови, он опускает предлог „для“ и пишет просто: „Герцог де Жевр, герцог Мазарини“ и т. д. Предлог pour, красовавшийся на дверях, указывал на то, что здесь помещается принц крови или фаворит. Фаворит — это еще хуже, чем принц. Король жаловал право на pour, как орденскую ленту или как пэрство.

«Право на диск» (tour) в Англии было менее почетно, но представляло большие выгоды. Это было знаком подлинной близости к царствующей

особе. Тот, кто по праву рождения или вследствие расположения монарха мог получать от него непосредственные сообщения, имел в стене своей спальни диск с приделанным к нему звонком. Звонок звонил, диск открывался в виде дверцы, и на золотой тарелке или на бархатной подушке появлялось королевское послание, после чего диск возвращался на прежнее место; это было интимно и торжественно. Таинственное входило в повседневный обиход. Диск не имел никакого другого назначения. Звонок возвещал только о королевском послании. Тот, кто приносил послание, оставался невидимым. Впрочем, обычно это был паж короля или королевы. В царствование Елизаветы «диск» был у Лестера[157]

, в царствование Иакова I — у Бекингема[158]

Джозиана получила «право на диск» при Анне, хотя королева и не питала к ней особой благосклонности. Получавший эту привилегию как бы входил в непосредственное сношение с небом и время от времени получал письма от бога через его почтальона. Ничему так не завидовали, как этому знаку отличия. Однако эта привилегия усиливала раболепство. Ее обладатель становился еще раболепнее других. При дворе всякое возвышение унижает. «Право на диск» обозна-

чалось французским термином avoir le tour; эта особенность английского этикета исходила, по всей вероятности, из какого-нибудь старинного французского обычая.

Леди Джозиана, пэресса-девственница, подобно тому как Елизавета была девственницей-королевой, жила, смотря по времени года, то в городе, то в деревне и вела почти королевский образ жизни; у нее был свой собственный двор, при котором лорд Дэвид, вместе с другими лицами, играл роль придворного. Не будучи еще супругами, лорд Дэвид и леди Джозиана все же могли, не вызывая пересудов, показываться вместе на людях и охотно пользовались этим. Нередко они ездили в театр или на бега в одной карете и сидели в одной ложе. Хотя мысль о браке, в который им было разрешено и даже предписано вступить, расхолаживала их, тем не менее им было приятно встречаться друг с другом. Свободное обхождение, дозволенное помолвленным, имеет границы, которые легко переступить. Однако они воздерживались от этого, ибо чрезмерная непринужденность — признак дурного вкуса.

Самые знаменитые состязания в боксе происходили в ту пору в Ламбетском приходе, где находился дворец архиепископа Кентерберий-

ского, хотя на этой окраине воздух вреден для здоровья; там же была и богатая библиотека архиепископа, открытая в определенные часы для всех добропорядочных людей. Однажды зимой на обнесенной оградой поляне происходило состязание между двумя боксерами, на котором присутствовала Джозиана: ее привез сюда Дэвид. Она как-то спросила его: «Разве женщины допускаются на бокс?» Дэвид ответил: «Sunt faeminae magnates». В вольном переводе это означает: «Только не мещанки», в буквальном же переводе: «Знатные дамы». Герцогини вхожи куда угодно. Потому-то леди Джозиана и присутствовала на этом зрелище.

Ей пришлось сделать только одну уступку приличиям — надеть мужской костюм, но это было вполне в обычае того времени. Женщины и не путешествовали иначе. На шесть человек, помещавшихся в виндзорском дилижансе, почти всегда приходились одна или две дамы в мужском платье. Это свидетельствовало об их принадлежности к дворянству.

Поскольку лорд Дэвид сопровождал даму, он не мог принимать непосредственного участия в состязании и вынужден был оставаться просто зрителем.

Леди Джозиана выдавала свое высокое общественное положение лишь тем, что смотрела в лорнет: на это имели право только знатные особы.

«Благородный поединок» происходил под председательством лорда Джермена, прадеда или двоюродного деда того лорда Джермена, который в конце XVIII века служил полковником, бежал с поля сражения, а затем стал военным министром и спасся от неприятельских пуль лишь для того, чтобы пасть жертвой сарказмов Шеридана[159]

, оказавшихся страшнее всякой картечи. Многие из джентльменов держали пари: Гарри Белью из Карлтона, претендент на угасшее пэрство Белла-Аква, бился об заклад с Генри, лордом Хайдом, членом парламента от местечка Денхайвед, носившего также название Лаунсестон; высокочтимый Перегрин Берти, член парламента от местечка Труро, — с сэром Томасом Колпепером, членом парламента от Мейдстоуна; лорд Лемирбо из Лотианской епархии — с Семюэлем Трефузисом из местечка Пенрайн; сэр Бартелемью Грейсдью из местечка Сент-Ивс — с достопочтеннейшим Чарльзом Бодвилем, который носил титул лорда Робертса и являлся custos rotulorum — мировым судьей Корнуэлского

графства. Бились об заклад и многие другие.

Один боксер был ирландец из Типперери, прозванный по имени родной горы Филем-ге-Медоном, другой — шотландец Хелмсгейл. Таким образом, здесь столкнулись два национальных самолюбия. Предстояла схватка между Ирландией и Шотландией. Поэтому общая сумма пари превышала сорок тысяч гиней, не считая негласной игры.

Оба бойца были обнажены до пояса, весь костюм их состоял из коротких панталон, застегнутых на бедрах, и башмаков на подбитой гвоздями подошве, зашнурованных у щиколоток.

Шотландец Хелмсгейл был низкорослый малый, не больше девятнадцати лет от роду, но уже со швом на лбу; поэтому за него держали пари на два с третью. В прошлом месяце он переломил ребро и выбил оба глаза боксеру Сиксмайлсуотеру; этим объяснялся вызываемый им энтузиазм. Ставившие на него выиграли тогда двенадцать фунтов стерлингов. Кроме шва на лбу, у Хелмсгейла была еще повреждена челюсть. Он был легок и проворен, ростом не выше маленькой женщины, плотен, приземист, коренаст; в его фигуре было что-то угрожающее; природа, казалось, ничего не упустила, вылепив его из особого теста, и,

казалось, каждый мускул его был предназначен для кулачного боя. В его крепком, лоснящемся, коричневом, как бронза, торсе была какая-то собранность. Когда он улыбался, обнаруживалось отсутствие трех зубов.

Его противник был огромен и широк, иными словами — слаб.

Это был мужчина лет сорока, шести футов роста, с грудной клеткой гиппопотама, очень кроткий на вид. Ударом кулака он мог бы проломить корабельную палубу, но не умел наносить этого удара. Ирландец Филем-ге-Медон представлял собою преимущественно удобную мишень для противника и, по-видимому, принимал участие в боксе не столько для того, чтобы наносить удары, сколько для того, чтобы получать их. Однако чувствовалось, что он продержится долго. Он напоминал недожаренный ростбиф, который трудно разжевать и невозможно проглотить. На языке боксеров таких силачей называют raw flesh — сырая говядина. У него были косые глаза. Судя по всему, он примирился со своей участью.

Эти два человека проспали всю прошедшую ночь бок о бок в одной постели. Оба выпили из одного стакана по три больших глотка портвейна. И у того и у другого были свои приверженцы, люди

с суровыми физиономиями, которые в случае надобности могли припугнуть судей. В группе сторонников Хелмсгейла бросался в глаза Джон Громен, прославившийся тем, что пронес на спине целого быка, и некто Джон Брей, который однажды взвалил себе на плечи десять мешков муки по пятнадцать галлонов в каждом, да еще мельника впридачу, и прошел с этим грузом больше двухсот шагов. В числе приверженцев Филем-ге-Медона находился приведенный лордом Хайдом из Лаунсестона некто Кильтер, который жил в Зеленом Замке и метал через плечо камень весом в двадцать фунтов выше самой высокой башни этого замка. Все трое, Кильтер, Брей и Громен, были уроженцы Корнуэла — обстоятельство, делающее честь этому графству.

Остальные сторонники обоих боксеров были здоровенные парни, с широкими спинами, кривыми ногами, большими узловатыми руками, с тупыми лицами, в лохмотьях, почти все побывавшие под судом и не боявшиеся ничего на свете.

Многие из них отлично умели подпаивать полицейских. В каждой профессии должны быть свои таланты.

Поляна, выбранная для поединка, простиралась за Медвежьим садом, где некогда происходили

бои медведей, быков и догов, за последними, еще не законченными городскими строениями, рядом с развалинами приорства святой Марии Овер-Рэй, разрушенного Генрихом VIII[160]

Дул северный ветер, моросил дождь, была гололедица. Среди собравшихся джентльменов можно было сразу узнать отцов семейства по раскрытым зонтам.

На стороне Филем-ге-Медона был полковник Монкрейф в качестве арбитра и Кильтер — чтобы подставлять колено.

На стороне Хелмсгейла — достопочтенный Пьюг Бьюмери в качестве арбитра и лорд Дизертем из Килкерн — чтобы подставлять колено.

Несколько минут, пока сверялись часы, оба боксера неподвижно стояли в ограде. Затем противники подошли друг к другу и обменялись рукопожатием.

Филем-ге-Медон сказал Хелмсгейлу:

— Эх, хорошо бы уйти домой.

Хелмсгейл, как человек добропорядочный, ответил:

— Нельзя же попусту собирать благородную публику.

Они были обнажены, и им было холодно. Филем-ге-Медон весь дрожал, и у него стучали

зубы.

Доктор Элинор Шарп, племянник архиепископа Йоркского, крикнул им:

— Надавайте друг другу тумаков, болваны! Сразу согреетесь.

Эти любезные слова расшевелили их.

Они бросились друг на друга.

Но они еще недостаточно разъярились. Первые три схватки прошли вяло. Преподобный доктор Гемдрайт, один из сорока членов «Коллегии всех душ», крикнул:

— Поднесите-ка им джину!

Но оба «рефери» и двое «восприемников» — все четверо судей, хотя и было очень холодно, настояли на соблюдении правил.

Послышался крик: «First blood!» — требовали «первой крови». Противников поставили лицом к лицу.

Они сошлись, вытянули руки, ощупали друг у друга кулаки, потом каждый отступил назад. Вдруг низкорослый Хелмсгейл бросился вперед. Начался настоящий бой.

Филем-ге-Медон получил удар прямо в лоб, между бровей. Кровь залила ему все лицо. Толпа заорала:

— Хелмсгейл пролил красное вино!

Раздались рукоплескания. Филем-ге-Медон, вращая руками как мельничными крыльями, принялся бить кулаками куда попало. Достопочтенный Перегрин Берти заметил:

— Ослеплен. Но еще не ослеп.

Тогда Хелмсгейл услыхал доносившиеся со всех сторон возгласы поощрения:

— Выбей ему буркалы!

Словом, оба бойца были выбраны вполне удачно, и хотя погода не благоприятствовала состязанию, всем стало ясно, что поединок не будет безрезультатным. Великан Филем-ге-Медон оказался жертвой собственных преимуществ: большой рост и вес делали его неповоротливым. Руки его были настоящими палицами, но тело — мертвым грузом. Маленький шотландец бегал, разил, прыгал, скрежетал зубами, быстротою движений удваивал свою силу, пускался на всякие уловки. С одной стороны — первобытный, дикий, некультурный, невежественный удар кулаком; с другой — удар цивилизованный. Хелмсгейл столько же бился нервами, сколько и мускулами, брал не одной лишь силой, но и злобой; Филем-ге-Медон смахивал на ленивого мясника, слегка оглушенного предварительным ударом. Искусство выступало здесь против природы.

Ожесточенный человек — против варвара.

Было ясно, что побежденным окажется варвар. Однако не слишком скоро. Это и возбуждало интерес. Низкорослый против великана. Преимущество было на стороне первого. Кошка одолевает дога. Голиафы всегда бывают побеждены Давидами.

Бойцов подстегивали градом восклицаний:

— Браво, Хелмсгейл! Хорошо! Отлично, горец! — Твоя очередь, Филем!

Друзья Хелмсгейла сочувственно повторяли:

— Выбей ему буркалы!

Хелмсгейл поступил лучше. Внезапно нагнувшись, затем выпрямившись волнообразным движением пресмыкающегося, он ударил Филем-ге-Медона под ложечку. Колосс зашатался.

— Незаконный удар! — крикнул виконт Барнард.

Филем-ге-Медон опустился на колено к Кильтеру и произнес:

— Я начинаю согреваться.

Лорд Дизертем, посовещавшись с рефери, объявил:

— Пятиминутная передышка!

Филем-ге-Медон был близок к обмороку. Кильтер фланелью отер ему кровь на глазах и пот на

теле, затем вставил в рот горлышко фляги. Это была одиннадцатая схватка. Не считая раны на лбу, у Филем-ге-Медона была помята грудная клетка, распух живот и было повреждено темя. Хелмсгейл нисколько не пострадал. Среди джентльменов замечалось некоторое смятение.

Лорд Барнард повторил:

— Незаконный удар!

— Пари вничью! — сказал лорд Лемирбо.

— Я требую обратно мою ставку! — подхватил сэр Томас Колпепер.

А достопочтенный член парламента от местечка Сент-Ивс сэр Бартелемью Грейсдью прибавил:

— Пускай мне возвратят мои пятьсот гиней, я ухожу.

— Прекратите состязание! — крикнули арбитры.

Но Филем-ге-Медон поднялся, шатаясь как пьяный, и сказал:

— Продолжим поединок, но с одним условием. За мною тоже признается право нанести один незаконный удар.

Со всех сторон закричали:

— Согласны!

Хелмсгейл пожал плечами. После пятиминутной передышки схватка возобновилась. Борьба,

которая для Филем-ге-Медона была сплошной мукой, казалась забавой для Хелмсгейла. Вот что значит наука! Маленький человечек нашел способ засадить великана in chancery; иначе говоря, Хелмсгейл вдруг захватил огромную голову Филем-ге-Медона под свою левую, стальным полумесяцем изогнутую руку и, держа подмышкой затылком вниз, стал правым кулаком колотить по голове противника, словно молотком по гвоздю, сверху и снизу, пока не изуродовал все лицо. Когда же Филем-ге-Медон получил, наконец, возможность поднять голову, лица у него больше не было. То, что прежде было носом, глазами и ртом, теперь казалось чем-то вроде черной губки, пропитанной кровью. Он сплюнул. На землю упало четыре зуба. Затем он свалился. Кильтер подхватил его на свое колено. Хелмсгейл почти совсем не пострадал. Он получил несколько синяков да царапину на ключице. Никто уже не чувствовал холода. За Хелмсгейла против Филем-ге-Медона ставили теперь шестнадцать с четвертью.

Гарри из Карлтона крикнул:

— Нет больше Филем-ге-Медона! Ставлю на Хелмсгейла мое пэрство Белла-Аква и мой титул лорда Белью против старого парика архиепископа Кентерберийского.

— Дай-ка твою морду, — сказал Кильтер Филем-ге-Медону и, поливая окровавленную фланель из горлышка бутылки, обмыл ему лицо джином. Показался рот. Филем-ге-Медон открыл одно веко. Виски у него, казалось, были рассечены.

— Еще одна схватка, дружище, — сказал Кильтер. — За честь нижнего города.

Валлийцы и ирландцы понимают друг друга; однако Филем-ге-Медон ничем не обнаружил, что он еще способен соображать. При поддержке Кильтера Филем-ге-Медон поднялся. Эта была двадцать пятая схватка. По тому, как этот циклоп (ибо одного глаза он лишился) стал в позицию, все поняли, что это конец; никто уже не сомневался в его неизбежной гибели.

Защищаясь, он поднял руку выше подбородка: это был промах умирающего. Хелмсгейл, только слегка вспотевший, крикнул:

— Ставлю за себя тысячу против одного.

И, занеся руку, ударил противника. Однако странное дело: упали оба. Раздалось веселое мычание.

Это Филем-ге-Медон вслух выражал свою радость.

Он воспользовался страшным ударом, который Хелмсгейл нанес ему по черепу, и сам, вопреки

правилам, ударил его в живот. Хелмсгейл, лежа без чувств, хрипел.

Арбитры, увидев Хелмсгейла на земле, изрекли:

— Получил сдачу сполна.

Все захлопали в ладоши, даже проигравшие.

Филем-ге-Медон отплатил незаконным ударом за незаконный удар, но это было ему разрешено.

Хелмсгейла унесли на носилках. Все были убеждены, что он не оправится.

Лорд Роберте воскликнул:

— Я выиграл тысячу двести гиней!

Филем-ге-Медон должен был, очевидно, остаться калекой на всю жизнь.

Уходя, Джозиана оперлась на руку лорда Дэвида, что разрешалось помолвленным, и проговорила:

— Прекрасное зрелище. Но…

— Но что?

— Я думала, что оно рассеет мою скуку. Оказывается, нет.

Лорд Дэвид остановился, посмотрел на Джозиану, сжал губы, надул щеки, покачал головой, что обозначало: «Примем к сведению», затем ответил герцогине:

— Против скуки существует только одно лекарство.

— Какое?

— Гуинплен.

Герцогиня спросила:

— А что это такое — Гуинплен?

Часть вторая. Гуинплен и Дея

1. Лицо человека, которого до сих пор знали только по его поступкам

Природа не пожалела своих даров для Гуинплена. Она наделила его ртом, открывающимся до ушей, ушами, загнутыми до самых глаз, бесформенным носом, созданным для того, чтобы на нем подпрыгивали очки фигляра, и лицом, на которое нельзя было взглянуть без смеха.

Мы сказали, что природа щедро осыпала Гуинплена своими дарами. Но было ли это делом одной природы?

Не помог ли ей кто-нибудь в этом?

Глаза — как две узкие щелки, зияющее отверстие вместо рта, плоская шишка с двумя дырками вместо ноздрей, сплющенная лепешка вместо лица — в общем нечто, являющееся как бы воплощением смеха; было ясно, что природа не могла создать такое совершенное произведение искусства без посторонней помощи.

Но всегда ли смех выражает веселье?

Если при встрече с этим фигляром, — ибо

Гуинплен был фигляром, — после того как рассеивалось первоначальное веселое впечатление, вызываемое наружностью этого человека, в него вглядывались более внимательно, на его лице замечали признаки мастерской работы. Такое лицо — не случайная игра природы, но плод чьих-то сознательных усилий. Такая законченная отделка не свойственна природе. Человек бессилен сделать из себя красавца, но обезобразить себя вполне в его власти. Вы не превратите готтентотский профиль в римский, но из греческого носа легко сделаете нос калмыка. Для этого достаточно раздавить переносицу и расплющить ноздри. Недаром же вульгарная средневековая латынь создала глагол denasare[161]

Не был ли Гуинплен в детстве столь достойным внимания, чтобы кто-то занялся изменением его лица? Возможно! Хотя бы только с целью показывать его и наживать на этом деньги. Судя по всему, над этим лицом поработали искусные фабриканты уродов. Очевидно, какая-то таинственная и, по всей вероятности, тайная наука, относившаяся к хирургии так, как алхимия относится к химии, исказила, несомненно еще в очень раннем возрасте, его природные черты и умышленно создала это лицо. Это было проделано по

всем правилам науки, специализировавшейся на надрезах, заживлении тканей и наложении швов: был увеличен рот, рассечены губы, обнажены десны, вытянуты уши, переломаны хрящи, сдвинуты с места брови и щеки, расширен скуловой мускул; после этого швы и рубцы были заглажены, и на обнаженные мышцы натянута кожа с таким расчетом, чтобы навеки сохранить на этом лице зияющую гримасу смеха; так возникла в руках искусного ваятеля эта маска — Гуинплен.

С таким лицом люди не рождаются.

Как бы там ни было, маска Гуинплена удалась на славу. Гуинплен был даром провидения для всех скучающих людей. Какого провидения? Не существует ли наряду с провидением божественным и провидение дьявольское? Мы ставим этот вопрос, не разрешая его.

Гуинплен был скоморохом. Он выступал перед публикой. Ничто не могло сравниться с производимым им впечатлением. Он исцелял ипохондрию одним лишь своим видом. Людям, носившим траур, приходилось избегать Гуинплена, ибо с первого же взгляда они невольно начинали смеяться до неприличия. Однажды явился палач; Гуинплен заставил и его расхохотаться.

Увидав Гуинплена, люди хватались за бока: он только раскрывал рот, как все покатывались от смеха. Он был полюсом, противоположным печали. Сплин находился на одном конце, Гуинплен — на другом. Поэтому-то на всех ярмарках и площадях за ним установилась лестная слава непревзойденного урода.

Гуинплен вызывал смех своим собственным смехом. Однако сам он не смеялся. Смеялось его лицо, но не он сам. Смеялась только эта чудовищная физиономия, созданная игрою случая или особым искусством. Гуинплен тут был ни при чем. Внешний облик его не зависел от его внутреннего состояния. Он не мог согнать со своего лба, со щек, с бровей, с губ этот непроизвольный смех. Это был смех автоматический, казавшийся особенно заразительным именно потому, что он застыл навсегда. Никто не мог устоять перед этим осклабившимся ртом. Два судорожных движения рта действуют заразительно: это смех и зевота. В результате таинственной операции, которой, по всей вероятности, подвергся Гуинплен в детстве, все черты его лица вызывали это впечатление смеха, вся его физиономия сосредоточилась только на этом выражении, подобно тому, как все спицы колеса сосредоточиваются

в ступице. Какие бы чувства ни волновали Гуинплена, они только усиливали это странное выражение веселья, вернее — обостряли его; удивление, страдание, гнев или жалость только резче подчеркивали веселую гримасу этих мускулов: заплачь он, его лицо продолжало бы смеяться; что бы ни делал Гуинплен, чего бы он ни желал, о чем бы ни думал, стоило ему лишь поднять голову, как толпа, если только возле него была толпа, разражалась громовым хохотом.

Представьте себе голову веселой Медузы.[162]

Неожиданное зрелище нарушало привычное течение мыслей и заставляло смеяться.

Некогда в древней Греции на фронтонах театров красовалась бронзовая смеющаяся маска. Маска эта называлась Комедией. Бронзовая личина как будто смеялась и вызывала смех, но вместе с тем хранила печать задумчивости. Пародия, граничащая с безумием, ирония, близкая к мудрости, сосредоточивались и сливались воедино в этом лице; заботы, печали, разочарования, отвращение к жизни отражались на этом бесстрастном челе и порождали мрачный итог — веселость; один угол рта, обращенный к человечеству, был приподнят насмешкой; другой, обращенный к богам, — кощунством; люди приходили к этому

совершеннейшему образу сарказма, чтобы столкнуть с ним тот запас иронии, который каждый из нас носит в себе, и толпа, беспрерывно сменявшаяся перед этим воплощением смеха, замирала от восторга при виде застывшей издевательской улыбки.

Если бы эту мрачную маску античной Комедии надеть на лицо живого человека, можно было бы получить представление о лице Гуинплена. На плечах у него была голова, казавшаяся сатанинской смеющейся маской. Какое бремя для человеческих плеч — такой вечный смех!

Вечный смех. Объяснимся. Если верить манихеям[163]

, доброе начало отступает перед враждебным, злым началом, и у самого бога бывают перерывы в бытии. Условимся также насчет того, что такое воля. Мы не допускаем, чтобы она всегда была бессильна. Всякое существование похоже на письмо, смысл которого изменяется постскриптумом. Для Гуинплена постскриптумом было следующее: огромным усилием воли, на котором он сосредоточивал все свое внимание, когда никакое волнение не отвлекало его и не ослабляло этого напряжения, он иногда умудрялся согнать этот непрестанный смех со своего лица и на-

бросить на него некий трагический покров. И в такие минуты его лицо вызывало у окружающих уже не смех, а содрогание ужаса.

Заметим, что Гуинплен очень редко прибегал к этому усилию, так как оно стоило ему мучительного труда и невыносимого напряжения. Достаточно было к тому же малейшей рассеянности, малейшего волнения, чтобы прогнанный на минуту, неудержимый как морской прибой, смех снова появлялся на его лице и обнаруживал себя тем резче, чем сильнее было это волнение.

За исключением таких случаев Гуинплен смеялся вечно.

Глядя на Гуинплена, люди смеялись. Но, посмеявшись, отворачивались. Особенно сильное отвращение вызывал он у женщин. И в самом деле, этот человек был ужасен. Судорожный хохот зрителей был своего рода данью, и ее выплачивали весело, но почти бессознательно. Когда же приступ смеха затихал, смотреть на Гуинплена становилось для женщин совершенно нестерпимо, они опускали глаза и старались не глядеть на него.

Между тем он был высок ростом, хорошо сложен, ловок и нисколько не уродлив, если не считать лица. Это было еще одним призна-

ком, подтверждавшим предположение, что наружность Гуинплена была скорее делом рук человеческих, нежели произведением природы. Красоте сложения Гуинплена должна была соответствовать, по всей вероятности, и красота лица. При рождении он был несомненно таким же ребенком, как и все другие дети. Тела его не тронули, а перекроили только лицо. Гуинплен был созданием чьей-то злонамеренной воли.

По крайней мере это было очень похоже на истину.

Зубов у него не вырвали. Зубы необходимы для смеха. Они остаются и в черепе мертвеца.

Операция, произведенная над ним, должно быть, была ужасна. Он не помнил о ней, но это вовсе не доказывало, что он ей не подвергся. Такая работа хирурга-ваятеля могла увенчаться успехом только в том случае, если ее объектом был младенец, который не сознавал, что с ним происходит, и легко мог принять нанесенные раны за болезнь. К тому же в те времена, как помнит читатель, усыпляющие и болеутоляющие средства были уже известны. Только тогда это называли колдовством. В наши дни это называют анестезией.

Наделив Гуинплена такой маской, люди, взрас-

тившие его, развили в нем задатки будущего гимнаста и атлета; путем умело подобранных акробатических упражнений его суставам была придана способность выворачиваться в любую сторону, тело получило резиновую гибкость, и сочленения двигались подобно шарнирам. Ничто не было упущено в воспитании Гуинплена для того, чтобы с малолетства подготовить его к мастерству фигляра.

Его волосы раз навсегда были выкрашены в цвет охры — секрет, вновь найденный в наши дни. Им пользуются красивые женщины, и то, что некогда, считалось уродством, теперь считается признаком красоты. У Гуинплена были рыжие волосы, а краска, очевидно едкая, сделала их жесткими и грубыми на ощупь. Под рыжей гривой, скорее похожей на щетину, чем на волосы, скрывался прекрасно развитый череп — достойное вместилище мысли. Какова бы ни была операция, уничтожившая гармонию лица и изуродовавшая его мускулы, она оказалась бессильной изменить черепную коробку. Лицевой угол Гуинплена поражал своей мощью. За этой смеющейся маской таилась душа, склонная, как и у всех людей, предаваться мечтам.

Впрочем, смех Гуинплена был настоящим та-

лантом. Он не мог избавиться от него и потому извлекал из него пользу. Этим смехом он добывал себе пропитание.

Гуинплен — читатели, вероятно, уже догадались об этом — был тот самый ребенок, которого покинули в зимний вечер на портлендском берегу и который нашел себе приют в бедном домике на колесах в Уэймете.

2. Дея

Ребенок стал взрослым мужчиной. Прошло пятнадцать лет. Шел 1705 год. Гуинплену должно было исполниться двадцать пять лет.

Урсус оставил у себя тогда обоих детей, образовав маленькую кочующую семью.

Урсус и Гомо состарились. Урсус совсем облысел. Волк поседел. Продолжительность жизни волков не установлена с такою точностью, как продолжительность жизни собак. По данным Молена, некоторые волки достигают восьмидесятилетнего возраста, в том числе малый купар, caviae vorus, и вонючий волк, canis nubilus, описанный Сэем.

Девочка, найденная на груди мертвой женщины, превратилась теперь в шестнадцатилетнюю девушку, с бледным лицом, обрамленным темными волосами, довольно высокую, стройную и

хрупкую, с таким тонким станом, что, казалось, он переломится, едва прикоснешься к нему; девушка была дивно хороша, но глаза ее, полные блеска, были незрячи.

Роковая зимняя ночь, свалившая в снег нищенку и ее младенца, нанесла сразу двойной удар: убила мать и ослепила дочь.

Темная вода навсегда сделала неподвижными зрачки ребенка, ставшего теперь взрослой девушкой. На лице ее, непроницаемом для света, эта горечь разочарования выражалась в печально опущенных углах губ. Ее большие ясные глаза отличались странным свойством: угаснув для нее, они сохранили свою лучезарность для окружающих. Таинственные светильники, озарявшие только внешний мир! Это лишенное света существо излучало свет. Потухшие глаза были исполнены сияния. Эта пленница мрака освещала тьму, в которой она жила. Из глубины безысходной темноты, из-за черной стены, именуемой слепотою, она посылала в пространство яркие лучи. Она не видела нашего солнца, но в ней отражалась сущность его. Ее мертвый взор обладал неподвижностью, свойственной небесным светилам.

Она была воплощением ночи и горела как звез-

да, горела в этой непроницаемой тьме, ставшей ее собственной стихией.

Урсус, помешанный на латинских именах, окрестил ее Деей. Он предварительно посоветовался с волком. «Ты представляешь человека, — сказал он, — я представляю животное, мы с тобой представители земного мира. Пусть же эта малютка будет представительницей мира небесного. Ее слабость на самом деле — всемогущество. Таким образом, в нашей лачуге будет заключена отныне вся вселенная: мир человеческий, мир животный, мир божественный».

Волк ничего не возразил, и найденыш стал называться Деей.

Что касается Гуинплена, Урсусу не пришлось ломать себе голову, чтобы придумать для него имя. В то самое утро, когда он узнал, что мальчик обезображен и что девочка слепа, он спросил:

— Как звать тебя, мальчик?

— Меня зовут Гуинпленом, — ответил ребенок.

— Что ж, Гуинплен так Гуинплен, — сказал Урсус.

Дея помогала Гуинплену в его выступлениях.

Если бы можно было подвести итог всей совокупности человеческих несчастий, он нашел бы свое воплощение в Гуинплене и Дее. Казалось,

оба они явились на землю из мира теней: Гуинплен — из той его области, где царит ужас, Дея — из той, где царит тьма. Их существования были сотканы из различного рода мрака, заимствованного у чудовищных полюсов вечной ночи. Дея носила этот мрак внутри себя, Гуинплен — на своем лице. В Дее было что-то призрачное; Гуинплен был подобен привидению. Дея была окружена черной бездной, Гуинплена окружало нечто худшее. У зрячего Гуинплена была ужасная возможность, от которой слепая Дея была избавлена, — возможность сравнивать себя с другими людьми. Но в положении Гуинплена, если только допустить, что он старался дать себе в нем отчет, сравнивать значило перестать понимать самого себя. Иметь, подобно Дее, глаза, в которых не отражается внешний мир, — несчастие огромное, однако меньшее, чем быть загадкою для самого себя: чувствовать в мире отсутствие чего-то, что является тобою самим, видеть вселенную и не видеть себя в ней. На глаза Деи был накинут покров мрака, на лицо Гуинплена была надета маска. Как выразить это словами? На Гуинплене была маска, выкроенная из его живой плоти. Он не знал своих подлинных черт. Они исчезли. Их подменили другими чертами. Его истинного облика уже не

существовало. Голова жила, но лицо умерло. Он не мог вспомнить, видел ли он его когда-нибудь. Для Деи, так же как и для Гуинплена, род человеческий был чем-то внешним, далеким от них. Она была одинока. Он — тоже. Одиночество Деи было мрачным: она не видела ничего. Одиночество Гуинплена было зловещим. Он видел все. Для Деи весь мир не выходил за пределы ее слуха и осязания: все существующее было ограничено, почти не имело протяженности, обрывалось в двух шагах от нее; бесконечной представлялась только тьма. Для Гуинплена жить — значило вечно видеть перед собою толпу, с которой ему никогда не суждено было слиться. Дея была изгнанницей из царства света, Гуинплен был отверженным среди живых существ. Оба они имели все основания отчаяться. И он и она переступили мыслимую черту человеческих испытаний. При виде их всякий, призадумавшись, почувствовал бы к ним безмерную жалость. Как они должны были страдать! Над ними явно тяготел злобный приговор судьбы, и рок никогда еще так искусно не превращал жизнь двух ни в чем не повинных существ в сплошную муку, в адскую пытку.

А между тем они жили в раю.

Они любили друг друга.

Гуинплен обожал Дею. Дея боготворила Гуинплена.

— Ты так прекрасен! — говорила она ему.

3. Oculos non habet, et videt — Не имеет глаз, а видит

Одна только женщина на свете видела настоящего Гуинплена — слепая девушка.

Чем она была обязана Гуинплену, Дея знала от Урсуса, которому Гуинплен рассказал о своем трудном переходе из Портленда в Уэймет и обо всех ужасах, пережитых им после того, как его оставили на берегу. Она знала, что ее, крошку, умиравшую на груди умершей матери и сосавшую ее мертвую грудь, подобрало другое дитя, не намного старше ее, что это существо, отвергнутое всеми и как бы погребенное в мрачной пучине всеобщего равнодушия, услыхало ее крик и, хотя все были глухи к нему самому, не оказалось глухим к ней; что этот одинокий, слабый, покинутый ребенок, не имевший никакой опоры на земле, сам еле передвигавший ноги в пустыне, истощенный, разбитый усталостью, принял из рук ночи тяжкое бремя — другого ребенка; что несчастное существо, обездоленное при непонятном разделе жизненных благ, именуемом судьбою, взяло на себя заботу о судьбе другого существа и, будучи

олицетворением нужды, скорби и отчаяния, стало провидением для найденной им малютки. Она знала, что, когда небо закрылось для нее, он раскрыл ей свое сердце; что, погибая сам, он спас ее; что, не имея ни крова, ни пристанища, он пригрел ее; что он сделался ее матерью и кормилицей; что он, совершенно одинокий на свете, ответил небесам, покинувшим его, тем, что усыновил другого ребенка; что, затерянный в ночи, он явил этот высокий пример; что, сочтя себя недостаточно обремененным собственными бедами, он взвалил себе на плечи бремя чужого несчастья; что он открыл на этой земле, где, казалось бы, его уже ничто не ждало, существование долга; что там, где всякий заколебался бы, он смело пошел вперед; что там, где все отшатнулись бы, он не отстранился; что он опустил руку в отверстую могилу и извлек оттуда ее, Дею; что, сам полуголый, он отдал ей свои лохмотья, ибо она страдала от холода, что, сам голодный, он постарался накормить и напоить ее; что ради нее этот ребенок боролся со смертью, со смертью во всех ее видах: в виде зимы и снежной метели, в виде одиночества, в виде страха, в виде холода, голода и жажды, в виде урагана; что ради нее, ради Деи, этот десятилетний титан вступил в поединок с

беспредельным мраком ночи. Она знала, что он сделал все это, будучи еще ребенком, и что теперь, став мужчиной, он для нее, немощной, является опорой, для нее, нищей, — богатством, для нее, больной, — исцелением, для нее, слепой, — зрением. Сквозь густую, ей самой неведомую завесу, заставлявшую ее держаться вдали от жизни, она ясно различала эту преданность, эту самоотверженность, это мужество — во внутреннем нашем мире героизм принимает совершенно определенные очертания. Она улавливала его благородный облик: в той невыразимо отвлеченной области, где живет мысль, не освещаемая солнцем, она постигала это таинственное отражение добродетели. Окруженная со всех сторон непонятными, вечно куда-то движущимися предметами (таково было единственное впечатление, производимое на нее действительностью), замирая в тревоге, свойственной бездеятельному существу, всегда настороженно поджидающему возможную опасность, постоянно переживая, как и все слепые, чувство своей полной беззащитности в этом мире, она вместе с тем явственно ощущала где-то над собой присутствие Гуинплена — Гуинплена, никогда не знающего устали, всегда близкого, всегда внимательного, Гуинплена ласкового,

доброго, всегда готового прийти ей на помощь. Дея вся трепетала от радостной уверенности в нем, от признательности к нему: ее тревога стихала, сменялась восторгом, и своими исполненными мрака глазами она созерцала в зените над окружавшей ее бездной неугасимое сияние этой доброты.

Во внутреннем мире человека доброта — это солнце. И Гуинплен ослеплял собою Дею.

Для толпы, у которой слишком много голов, чтобы она могла над чем-нибудь призадуматься, и слишком много глаз, чтобы она могла к чему-нибудь приглядеться, для толпы, которая, будучи поверхностной, останавливается только на поверхности явлений, Гуинплен был всего лишь клоуном, фигляром, скоморохом, шутом, чем-то вроде животного. Толпа знала только его маску.

Для Деи Гуинплен был спасителем, извлекшим ее из могилы и вынесшим на свет, утешителем, дававшим ей возможность жить, освободителем, руку которого она, блуждавшая в темном лабиринте, чувствовала в своей руке. Гуинплен был братом, другом, руководителем, опорой, подобием лика небесного, крылатым, лучезарным супругом, и там, где толпа видела чудовище, она видела архангела.

И это потому, что слепая Дея видела его душу.

4. Прекрасно подобранная чета влюбленных

Философ Урсус это понимал. Он одобрял ослепление Деи:

— Слепой видит незримое.

Он говорил:

— Сознавать — значит видеть.

Глядя на Гуинплена, он бормотал:

— Получудовище и полубог.

Гуинплен, со своей стороны, был опьянен Деей. Существует глаз невидимый — ум, и глаз видимый — зрачок. Гуинплен смотрел на Дею видимыми глазами. Дея была очарована идеальным образом, Гуинплен — реальным. Гуинплен был не просто безобразен, он был ужасен. В Дее он видел свою противоположность. Насколько он был страшен, настолько Дея была прелестна. Он был олицетворением уродства, она — олицетворением грации. Дея казалась воплощенной мечтой, грезой, принявшей телесные формы. Во всем ее существе, в ее воздушной фигуре, в ее стройном и гибком стане, трепетном как тростник, в ее, быть может, незримо окрыленных плечах, в легкой округлости ее форм, говорившей о ее пуле не столько чувствам, сколько душе, в почти прозрачной белизне ее кожи, в величественном

спокойствии ее незрячего взора, божественно отрешенного от земного, в святой невинности ее улыбки было нечто, роднившее ее с ангелом; а между тем она была женщиной.

Гуинплен, как мы уже сказали, сравнивал себя с другими; сравнивал он и Дею.

Его жизнь представлялась ему сочетанием двух непримиримых противоположностей. Она была точкой пересечения двух лучей, черного и белого, шедших один снизу, другой — сверху. Одну и ту же крошку могут одновременно клевать два клюва: клюв зла и клюв добра, первый — терзая, второй — лаская. Гуинплен был такой крошкой, атомом; его и терзали и ласкали. Гуинплен был детищем роковой случайности, усложненной вмешательством провидения. Несчастье коснулось его своим перстом, но его коснулось и счастье. Два противоположных удела, сочетавшись, породили его необычную судьбу. На нем лежало и проклятие и благословение. Он был избранником, на котором лежало проклятие. Кто он? Он не знал этого сам. Когда он смотрел на себя в зеркало, он видел незнакомца. И незнакомец этот был чудовищем. Гуинплен жил как бы обезглавленным, с лицом, которое он не мог признать своим. Это лицо было безобразно, до того безоб-

разно, что служило предметом потехи. Оно было настолько ужасно, что вызывало смех. Оно было жутко-смешным. Человеческое лицо исчезло, как бы поглощенное звериной мордой. Никогда еще никто не видел такого полного исчезновения человеческих черт на лице человека, никогда еще пародия на человеческий образ не достигала такого совершенства, никогда еще, даже в кошмаре, не возникала такая жуткая смеющаяся харя, никогда еще все, что может оттолкнуть женщину, не соединялось так отвратительно в наружности мужчины; несчастное сердце, скрывавшееся за этой маской и оклеветанное ею, казалось, было обречено на вечное одиночество; такое лицо было для него настоящей гробовой доской. Но нет, нет! Там, где исчерпала весь запас своих средств неведомая злоба, там в свою очередь расточила свои дары и незримая доброта. Внезапно подняв из праха поверженного, она всему, что было в нем отталкивающего, придала все, что способно было привлекать: в риф вложила магнит, внушила другой душе желание устремиться как можно скорее к обездоленному; поручила голубке утешить пораженного молнией, заставила красоту боготворить безобразие.

Для того чтобы это оказалось возможным, было

необходимо, чтобы красавица не могла видеть урода. Для счастья было необходимо несчастье. И провидение сделало Дею слепой.

Гуинплен смутно сознавал себя искупительной жертвой. Но за что преследовала его судьба? Этого он не знал. За что ему пришлось понести кару? Это тоже оставалось для него загадкой. Над ним, заклейменным навеки, вдруг засиял ореол — вот и все, что он знал. Когда Гуинплен подрос настолько, что стал многое понимать, Урсус прочел и объяснил ему соответствующее место из сочинения доктора Конкеста «De denasatis» и из другого фолианта, из трактата Гуго Плагона, отрывок, начинающийся словами: «Nares habens mutilas»[164]

, однако Урсус предусмотрительно воздержался от всяких догадок и остерегся делать какие-либо выводы. Возможны были всякие предположения, с известной степенью вероятия удалось бы, пожалуй, установить кое-какие события, имевшие отношения к детству Гуинплена, но для Гуинплена очевидным было лишь одно: самый результат. Ему суждено было прожить всю жизнь с клеймом на лице. За что заклеймили его? На это не было ответа. Безмолвие и одиночество окружали Гуинплена. Все догадки, возникавшие в связи с

трагической действительностью, были зыбки и шатки: вполне достоверным представлялся лишь сам ужасный факт. И вот в эти минуты тяжкой скорби появлялась Дея, словно небесная посредница между Гуинпленом и его отчаянием. Ласковость этой восхитительной девушки, склонявшейся к нему, уроду, трогала и как бы согревала его, черты дракона смягчались выражением счастливого изумления. Созданный для того, чтобы внушать ужас, он каким-то чудом вызывал восторг и обожание светозарного существа; он, чудовище, чувствовал, что его любовно созерцает звезда.

Гуинплен и Дея составляли отличную пару; эти трогательно-нежные сердца боготворили друг друга. Гнездо и две птички — такова была их история. Они подчинились закону, общему для всего мироздания, состоящему в том, чтобы любить, искать и находить друг друга.

Таким образом, ненависть обманулась в своих расчетах. Преследователи Гуинплена, кто бы они ни были, загадочная вражда к нему, откуда бы она ни исходила, не достигли цели. Его хотели обречь на безысходное отчаяние, а сделали счастливым человеком. Ему нанесли рану, которой суждено было затянуться, его заранее обручили с той, ко-

торая должна была пролить на нее целительный бальзам; его скорбь должна была утешить та, которая была сама воплощенной скорбью. Тиски палача незаметно превратились в ласковую руку женщины. Гуинплен был поистине ужасен, но не от природы; таким сделала его рука человека; его надеялись сперва отлучить от семьи, если только у него была семья, затем от всего человечества; еще ребенком его превратили в развалину, но природа оживила эту развалину, как она вообще оживляет развалины; в его одиночестве природа утешила его, как она вообще утешает всех одиноких; природа всегда приходит на помощь обездоленным; там, где ощущается недостаток во всем, она отдает всю себя безраздельно, она покрывает руины цветами и зеленью; для камня у нее есть плющ, для человека — любовь.

Глубокое великодушие сокрытых сил природы.

5. Лазурь среди мрака

Так жили друг другом эти два обездоленных существа. Дею поддерживала рука Гуинплена, Гуинплена — доверие Деи.

Сирота опиралась на сироту. Урод опекал калеку.

Двое одиноких нашли друг друга.

Чувство невыразимой благодарности перепол-

няло их сердца. Они благодарили.

Кого?

Таинственную бесконечность.

Чувствовать благодарность — вполне достаточно. У благодарности есть крылья, и она несется туда, куда нужно. Ваша молитва лучше вас знает, куда ей устремиться.

Сколько людей, думая, что молятся Юпитеру, молились Иегове! Скольким верующим в амулеты внимает бесконечность! Сколько атеистов не замечают того, что их доброта и грусть — та же молитва, обращенная к богу!

Гуинплен и Дея чувствовали благодарность.

Уродство — это изгнание. Слепота — это бездна. И вот изгнанник нашел приют; бездна стала обитаема.

Гуинплен видел, как к нему по воле рока, точно сон наяву, нисходит в потоках света прекрасное белое облако, принявшее образ женщины, лучезарное видение, в котором бьется сердце, и этот призрак, почти облако и в то же время женщина, протягивает к нему объятия, это видение целует его, это сердце рвется к нему; Гуинплен забывал о своем уродстве, чувствуя себя любимым; роза пожелала вступить в брак с гусеницей, предугадывая в этой гусенице восхитительную бабочку;

Гуинплен, существо отверженное, оказался избранником.

Иметь необходимое — в этом все. Гуинплен имел необходимое ему, Дея — необходимое ей.

Унизительное сознание собственного уродства перестало тяготить Гуинплена, оно постепенно рассеивалось, сменившись другими чувствами — упоением, восторгом, верою; а навстречу горькой беспомощности слепой Деи протягивалась из окружавшей ее тьмы чья-то рука.

Две скорби, поглотив одна другую, вознеслись в идеальный мир. Двое обездоленных взаимно признали друг друга. Двое ограбленных соединились, чтобы обогатить друг друга. Каждого из них связывало с другим то, чего он был лишен. Чем был беден один, тем был богат другой. В несчастье одного заключалось сокровище другого. Не будь Дея слепа, разве избрала бы она Гуинплена? Не будь Гуинплен обезображен, разве он предпочел бы Дею другим девушкам? Она, вероятно, не полюбила бы урода, так же как и он — увечную. Какое счастье для Деи, что Гуинплен был отвратителен! Какая удача для Гуинплена, что Дея была слепа! Если бы не горестное сходство их неотвратимой жестокой участи, союз между ними был бы невозможен. В основе их любви лежала неодо-

лимая потребность друг в друге. Гуинплен спасал Дею, Дея спасала Гуинплена. Столкновение двух горестных судеб вызвало взаимное тяготение. Это было объятие двух существ, поглощенных пучиной. Нет ничего более сближающего, более безнадежного, более упоительного.

Гуинплен постоянно думал:

«Что бы сталось со мной без нее!»

Дея постоянно думала:

«Что бы сталось со мной без него!»

Двое изгнанников обрели родину; два непоправимых, роковых несчастья — клеймо Гуинплена и слепота Деи, соединив их, стали для обоих источником глубокой радости. Им ничего не надо было, кроме их близости, они не представляли себе ничего вне ее: говорить друг с другом было для них наслаждением, находиться рядом — блаженством; каждый из них непрерывно следил за малейшим душевным движением другого, и они дошли до полного единства мечтаний: одна и та же мысль возникала одновременно у обоих. При звуке шагов Гуинплена Дее казалось, что она слышит поступь божества. Они прижимались друг к другу в некоем звездном полумраке, полном благоуханий, блеска музыки, ослепительных архитектурных форм, грез; они принадлежали друг

другу; они знали, что навсегда связаны общими радостями и восторгами. Ничего не могло быть более странного, чем этот рай, созданный двумя осужденными на муку существами.

Они были невыразимо счастливы.

Свой ад они превратили в небесный рай: таково твое могущество, любовь!

Дея слышала смех Гуинплена; Гуинплен видел улыбку Деи.

Так было обретено идеальное блаженство, было воплощено наяву совершенное наслаждение жизнью, была разрешена таинственная проблема счастья. И кем? Двумя обездоленными.

Для Гуинплена Дея была олицетворенным сиянием. Для Деи Гуинплен был олицетворенным присутствием высшего существа. Такое присутствие — глубокая тайна, сообщающая незримому божественные свойства и порождающая другую тайну — доверие. Во всех религиях одно лишь доверие непреложно, но его вполне достаточно: безграничное существо, без которого верующие не могут обойтись, пребывает невидимым, однако они чувствуют его.

Гуинплен был божеством Деи.

Иногда, в порыве любви, она опускалась перед ним на колени, точно прекрасная жрица, покло-

няющаяся идолу в индийской пагоде.

Представьте себе бездну и среди этой бездны светлый оазис, а в нем два изгнанные из жизни существа, ослепленные друг другом.

Ничто не могло быть чище этой любви. Дея не знала, что такое поцелуй, хотя, быть может, и желала его, ибо слепота, особенно у женщин, не исключает грез: как бы слепая ни страшилась прикосновений неведомого, она не всегда избегает их. Что же касается Гуинплена, то трепетная молодость делала его задумчивым: чем сильнее он чувствовал себя опьяненным, тем застенчивее он становился; он мог бы себе позволить все с этой подругой детства, с этой девушкой, не ведавшей, что такое грех, так же как она не знала, что такое свет, с этой слепой, которая способна была видеть только одно — что она обожает его. Но он счел бы воровством взять то, что она сама отдала бы ему; с чувством грустного удовлетворения он соглашался любить ее лишь бесплотной любовью, и сознание своего уродства приводило его к еще более высокому целомудрию.

Эти счастливцы жили в идеальном мире. Там, подобно небесным сферам, они были супругами на расстоянии. Они обменивались в лазури той эманацией, которая а бесконечности есть притя-

жение, а на земле — пол. Они дарили друг другу поцелуи души.

Они всегда жили общей жизнью и не мыслили себе другой жизни. Детство Деи совпало с отрочеством Гуинплена. Они росли вместе. Долгое время они спали в одной постели, так как домик на колесах представлял собою не слишком просторную спальню. Они помещались на сундуке, а Урсус на полу, — таков был заведенный порядок. Потом в один прекрасный день — Дея была тогда еще совсем ребенком — Гуинплен почувствовал себя взрослым, и в нем проснулся стыд. Он сказал Урсусу: «Я тоже хочу спать на полу». И вечером растянулся на медвежьей шкуре, рядом со стариком. Тогда Дея расплакалась. Она потребовала к себе своего соседа по постели. Но Гуинплен, взволнованный, так как в нем уже зарождалась любовь, настоял на своем. С тех пор он спал на полу вместе с Урсусом. Летом, в теплые ночи, он спал на дворе вместе с Гомо. Дее минуло уже тринадцать лет, а она все еще не могла примириться с этим. Часто вечером она говорила: «Гуинплен, поди ко мне: я скорее засну». Ей необходимо было чувствовать подле себя Гуинплена для того, чтобы заснуть, и она засыпала спокойным сном невинности. Сознание

наготы возникает лишь у того, кто видит себя нагим, поэтому Дея не знала наготы. Аркадская или таитянская невинность. Близость дикарки Деи делала Гуинплена нелюдимым. Случалось, что Дея, уже почти взрослой девушкой, сидя на постели в сорочке, спускавшейся с плеча и открывавшей ее уже ясно обозначавшуюся юную грудь, расчесывала волосы и настойчиво звала к себе Гуинплена. Гуинплен краснел, опускал глаза, не знал, куда спрятаться от этой невинной наготы, что-то бормотал, отворачивался, пугался и уходил: порожденный мраком Дафнис[165]

обращался в бегство перед погруженной во тьму Хлоей.

Такова была эта идиллия, расцветшая в столь трагической обстановке.

Урсус говорил им:

— Любите друг друга, скоты вы этакие!

6. Урсус наставник и Урсус опекун

Урсус прибавлял:

— Сыграю я с ними на днях шутку. Женю их.

Урсус излагал Гуинплену теорию любви. Он говорил:

— Любовь! Знаешь ли, как господь бог зажигает этот огонь? Он сближает женщину и мужчину, а между ними пристраивает дьявола, так что

мужчина наталкивается на дьявола. Одной искры, иными словами, одного взгляда достаточно, чтобы все это запылало.

— Можно обойтись и без взгляда, — отвечал Гуинплен, думая о Дее.

Урсус возражал:

— Простофиля! Разве душам нужны глаза, чтобы смотреть друг на друга?

Иногда Урсус бывал благодушен. Порою Гуинплен, теряя голову от любви к Дее, становился мрачен и избегал Урсуса, как свидетеля. Однажды Урсус сказал ему:

— Ба! Не стесняйся. Влюбленный петух не прячется.

— Да, но орел уходит от посторонних взоров, — ответил Гуинплен.

Бывало, что Урсус бормотал про себя:

— Благоразумие требует вставить несколько палок в колеса Венериной колесницы. Мои голубки слишком горячо любят друг друга. Это может привести к нежелательным последствиям. Предупредим пожар. Умерим пыл этих сердец.

И, обращаясь к Гуинплену, когда Дея спала, и к Дее, когда внимание Гуинплена было чем-нибудь отвлечено, Урсус прибегал к такого рода предостережениям:

— Дея, тебе не следует слишком привязываться к Гуинплену. Жить другим человеком опасно. Эгоизм — самая надежная основа счастья. Мужчины легко уходят из-под власти женщин. К тому же Гуинплен может в конце концов возгордиться. Он пользуется таким успехом! Ты не представляешь себе, какой он имеет успех!

— Гуинплен, такое несоответствие никуда не годится. Чрезмерное уродство с одной стороны и совершенство красоты с другой — над этим стоит призадуматься. Умерь свой пыл, мой мальчик. Не приходи в такой восторг от Деи. Неужели ты серьезно считаешь себя созданным для нее? Но взгляни на свое собственное безобразие и на ее совершенство. Подумай, какое расстояние отделяет ее от тебя. У нее есть все, у нашей Деи! Какая белая кожа, какие волосы, какие губы — настоящая земляника! А ее ножка! А руки! Округлость ее плеч восхитительна, ее лицо прекрасно. Когда она ступает, от нее исходит сияние. А ее разумная речь, а ее чарующий голос! И при всем этом, подумай, ведь она женщина. Она не настолько глупа, чтобы быть ангелом. Это — совершенная красота. Подумай об этом и успокойся.

Но такие увещания только усиливали любовь Деи и Гуинплена, и Урсус удивлялся своей неуда-

че, подобно человеку, который говорил бы себе:

— Странная вещь, сколько ни лью я масла в огонь, никак его не погасить!

Желал ли он погасить или хотя бы только охладить их сердечный жар? Конечно, нет. Если бы это ему удалось, для него это было бы крайне неприятным сюрпризом. В глубине души эта любовь, бывшая для них пламенем, а для него теплом, восхищала его.

Но надо же иногда слегка побранить то, что нас очаровывает. Это брюзжанье и называют благоразумием.

Урсус был для Гуинплена и Деи почти что и отцом и матерью. Ворча себе под нос, он вырастил их; поругивая, вскормил их. Так как после усыновления двух детей возок стал тяжелее, Урсусу пришлось чаще впрягаться рядом с Гомо.

Следует заметить однако, что через несколько лет, когда Гуинплен стал почти взрослым, а Урсус — совсем старым, наступила очередь Гуинплена возить Урсуса.

Наблюдая за подрастающим Гуинпленом, Урсус предрек уроду его будущее.

— О твоем богатстве позаботились, — сказал он ему.

Семья, состоявшая из старика, двух детей и

волка, странствуя, сплачивалась все тесней и тесней.

Такая бродячая жизнь не помешала воспитанию детей. «Скитаться — это расти», — говорил обыкновенно Урсус. Так как Гуинплен был явно предназначен для того, чтобы его «показывали на ярмарках», Урсус сделал из него хорошего фигляра, вкладывая при этом в своего ученика все те премудрости, которые только тот смог воспринять. Иногда, глядя в упор на чудовищную маску Гуинплена, он бормотал: «Да, начато было совсем неплохо». И он стремился завершить начатое, дополняя воспитание Гуинплена разнообразными философскими и научными познаниями.

Нередко повторял он Гуинплену:

— Будь философом. Быть мудрым — значит быть неуязвимым. Взгляни на меня, я никогда не плакал. А все потому, что я мудрец. Неужели ты думаешь, что если бы я захотел, у меня не нашлось бы повода поплакать?

В монологах, которым внимал только волк, Урсус говорил:

— Гуинплена я научил всему, в том числе и латыни, Дею же — ничему, ибо музыка в счет не идет.

Он выучил их обоих петь. Сам он недурно иг-

рал на маленькой старинной флейте, а также на рылях, которые хроника Бертрана Дюгесклена называет «инструментом нищих» и изобретение которых послужило толчком к развитию симфонической музыки. Эти концерты привлекали публику. Урсус показывал ей свои многострунные рыли и пояснял:

— По-латыни это называется organistrum.

Он обучил Дею и Гуинплена пению по методе Орфея и Эгидия Беншуа. Не раз прерывал он свои уроки восторженным возгласом:

— Орфей — певец Греции! Беншуа — певец Пикардии!

Эта сложная система тщательного воспитания все же не настолько поглощала досуг детей, чтобы помешать им любить друг друга. Они выросли, соединив свои сердца, подобно тому как два посаженные рядом деревца со временем соединяют свои ветви.

— Все равно, — бормотал Урсус, — я их поженю.

И брюзжал про себя:

— Надоели они мне со своей любовью.

Прошлого, даже того, о котором они могли помнить, не существовало ни для Гуинплена, ни для Деи. Они знали о нем только то, что им сообщил

Урсус. Они звали Урсуса отцом.

У Гуинплена сохранилось лишь одно воспоминание раннего детства: нечто вроде вереницы демонов, пронесшихся над его колыбелью. У него осталось впечатление, будто чьи-то уродливые ноги топтали его в темноте. Было ли то нарочно или случайно, этого он не знал. Ясно до малейших подробностей помнил Гуинплен только трагические происшествия ночи, в которую его покинули на берегу моря. Но в ту ночь он нашел малютку Дею — находка, превратившая для него страшную ночь в лучезарный день.

Память у Деи была окутана еще более густым туманом, чем у Гуинплена, и в этом сумраке все исчезало. Она смутно помнила свою мать как что-то холодное. Видела ли она когда-нибудь солнце? Быть может. Она напрягала все усилия, чтобы оживить пустоту, оставшуюся позади ее. Солнце? Что это такое? Ей смутно припоминалось что-то яркое и теплое; его место занял теперь Гуинплен. Они говорили друг с другом шепотом. Нет никакого сомнения, что воркование — самое важное занятие на свете. Дея говорила Гуинплену:

— Свет — это твой голос.

Однажды Гуинплен, увидев сквозь кисейный рукав плечо Деи и не устояв, прикоснулся к нему

губами. Безобразный рот и такой чистый поцелуй. Дея почувствовала величайшее блаженство. Ее щеки зарделись румянцем, Под поцелуем чудовища заря занялась на этом погруженном в вечную тьму прекрасном челе. А Гуинплен задохнулся от чего-то, похожего на ужас, и не мог удержаться, чтобы не взглянуть на райское видение — на белизну груди, приоткрытой распахнувшейся косынкой.

Дея подняла рукав и, протянув Гуинплену обнаженную выше локтя руку, сказала:

— Еще!

Гуинплен спасся тем, что обратился в бегство.

На следующий день игра возобновилась — правда, с некоторыми вариантами. Восхитительное погружение в сладостную бездну, именуемую любовью.

Это и есть те радости, на которые господь бог в качестве старого философа взирает с улыбкой.

7. Слепота дает уроки ясновидения

Порою Гуинплен упрекал себя. Его счастье вызывало в нем нечто вроде угрызений совести. Ему казалось, что, позволяя любить себя этой девушке, которая не может его видеть, он обманывает ее. Что сказала бы она, если бы ее глаза внезапно прозрели? Какое отвращение почувствовала бы

она к тому, что так ее привлекает! Как отпрянула бы она от своего страшного магнита! Как вскрикнула бы! Как закрыла бы лицо руками! Как стремительно убежала бы! Тягостные сомнения терзали его. Он говорил себе, что он, чудовище, не имеет права на любовь. Гидра, боготворимая светилом! Он считал долгом открыть истину этой слепой звезде.

Однажды он сказал Дее:

— Знаешь, я очень некрасив.

— Я знаю, что ты прекрасен, — ответила она.

Он продолжал:

— Когда ты слышишь, как все смеются, знай, что смеются надо мной, потому что я уродлив.

— Я люблю тебя, — сказала Дея.

И, помолчав, прибавила:

— Я умирала, ты вернул меня к жизни. Когда ты здесь, я ощущаю рядом с собою небо. Дай мне свою руку: я хочу коснуться бога!

Их руки, найдя одна другую, соединились. Оба не проронили больше ни слова; они молчали от полноты взаимной любви.

Урсус, нахмурившись, слушал этот разговор. На другое утро, когда они сошлись все трое, он сказал:

— Да ведь и Дея тоже некрасива.

Эта фраза не достигла своей цели. Дея и Гуинплен пропустили ее мимо ушей. Поглощенные друг другом, они редко вникали в сущность изречений Урсуса. Мудрость философа пропадала даром.

Однако в этот раз предостерегающее замечание Урсуса: «Дея тоже некрасива» изобличало в этом книжном человеке известное знание женщин. Несомненно, Гуинплен, сказав правду, допустил тем самым неосторожность. Сказать всякой другой женщине, всякой другой слепой, кроме Деи: «Я очень некрасив собою», — было опасно. Быть слепой и сверх того влюбленной — значит быть слепой вдвойне. В таком состоянии с особенной силой пробуждается мечтательность. Иллюзия — насущный хлеб мечты; отнять у любви иллюзию — все равно что лишить ее пищи. Для возникновения любви необходимо восхищение как душой, так и телом. Кроме того, никогда не следует говорить женщине ничего такого, что ей трудно понять. Она начинает над этим задумываться, и нередко мысли ее принимают дурной оборот. Загадка разрушает цельность мечты. Потрясение, вызванное неосторожно оброненным словом, влечет за собою глубокую трещину в том, что уже срослось. Иногда случается, неизвестно даже как,

что под влиянием случайно брошенной фразы сердце незаметно для самого себя постепенно пустеет. Любящее существо замечает, что уровень его счастья понизился. Нет ничего страшнее этого медленного исчезновения счастья сквозь стенки треснувшего сосуда.

К счастью, Дея была вылеплена совсем из другой глины и резко отличалась от прочих женщин. Это была редкая натура. Хрупким было только тело, но не сердце Деи. Основой ее существа было божественное постоянство в любви.

Вся работа мысли, вызванная в ней словами Гуинплена, свелась лишь к тому, что однажды она затеяла с ним такой разговор:

— Быть некрасивым — что это значит? Это значит причинять кому-либо зло. Гуинплен делает только добро, значит, он прекрасен.

Затем все в той же форме вопросов, которая свойственна обычно детям и слепым, она продолжала:

— Видеть? Что называете вы, зрячие, этим словом? Я не вижу, а я знаю; Оказывается, видеть — значит многое терять.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросил Гуинплен.

Дея ответила:

— Зрение скрывает истину.

— Нет, — сказал Гуинплен.

— Скрывает! — возразила Дея, — если ты говоришь, что ты некрасив.

И после минутного раздумья прибавила!

— Обманщик!

Гуинплену оставалось только радоваться: он признался, ему не поверили. Его совесть была теперь спокойна, любовь — тоже.

Так дожили они до той поры, когда Дее исполнилось шестнадцать лет; Гуинплену шел двадцать пятый год.

Со дня своей первой встречи они, как принято говорить теперь, «нисколько не продвинулись вперед». Даже пошли назад. Ибо читатель помнит, что они уже провели свою брачную ночь, когда Дее было девять месяцев, а Гуинплену десять лет. В их любви как бы нашло свое продолжение их безгрешное детство. Так иногда запоздалый соловей продолжает петь свою ночную песню и после того, как занялась заря.

Их ласки не шли дальше пожатия рук. Изредка Гуинплен слегка прикасался губами к обнаженному плечу Деи. Им достаточно было этого невинного любовного наслаждения.

Двадцать четыре года, шестнадцать лет. И вот

однажды утром Урсус, не оставивший своего намерения «сыграть с ними шутку», объявил им:

— На днях вам придется выбрать себе вероисповедание.

— Зачем? — спросил Гуинплен.

— Чтобы пожениться.

— Да ведь мы уже женаты, — ответила Дея.

Она не понимала, что можно быть в большей мере мужем и женой, чем они.

Эта чистота желаний, это наивное упоение двух душ, не ищущих ничего за пределами настоящего, это безбрачие, принимаемое за супружескую жизнь, в сущности даже нравились Урсусу. Если он прохаживался на этот счет, то лишь потому, что нужно же было побрюзжать. Но как-человек, обладавший медицинскими познаниями, он находил Дею если не слишком юной, то во всяком случае слишком хрупкой и слишком слабой для того, что он называл «плотским браком».

Это никогда не будет поздно.

К тому же разве не были они уже супругами? Если существует на свете нерасторжимая связь, то не в союзе ли Гуинплена и Деи? Этот чудесный союз был порожден несчастьем, бросившим их в объятия друг друга. И, словно одних этих уз было недостаточно, к несчастью присоединилась, об-

вилась вокруг него, срослась с ним еще и любовь. Какая сила в состоянии разорвать железную цепь, скрепленную узлом из цветов?

Конечно, разлучить эту чету было невозможно.

Дея обладала красотой, Гуинплен — зрением. Каждый из них принес приданое. Они составляли не просто чету, они составляли отлично подобранную пару, которую разделяла только священная преграда невинности.

Однако, как ни старался Гуинплен жить одними мечтами, ограничиваясь только созерцанием Деи и духовной любовью к ней, он все-таки был мужчиной. Влияния роковых законов устранить нельзя. Как и все в природе, он был подвержен таинственному брожению заложенных в него сил, происходящему по воле создателя. Порою, во время представлений, он невольно смотрел на женщин, находившихся в толпе, но тотчас же отводил от них ищущий взгляд и торопился уйти со смутным чувством раскаяния.

Прибавим, что он не встречал поощрения. На лицах всех женщин, на которых он смотрел, он читал отвращение, антипатию, гадливость. Было ясно, что, кроме Деи, ни одна женщина не могла ему принадлежать. Это способствовало его

раскаянию.

8. Не только счастье, но и благоденствие

Сколько правды заключено в сказках! Жгучее прикосновение незримого дьявола — это угрызение совести за дурную мысль.

У Гуинплена дурных мыслей не возникало, и поэтому совесть не мучила его. Но по временам он чувствовал какое-то недовольство собой.

Смутный голос совести.

Что это было? Ничего.

Счастье Гуинплена и Деи было полным. И теперь они даже не были бедны.

Между 1689 и 1704 годом в их положении произошла перемена.

Случалось иногда в 1704 году, что в тот или иной городок побережья под вечер въезжал тяжелый, громоздкий фургон, запряженный парой сильных лошадей. Фургон напоминал опрокинутый и поставленный на четыре колеса корпус судна: киль вместо крыши и палуба вместо пола. Колеса все были одинакового размера и величиной с колеса ломовой телеги. Колеса, дышло, фургон — все было выкрашено в зеленый цвет с постепенным переходом оттенков: от бутылочно-зеленого на колесах до ярко-зеленого на крыше. Этот зеленый цвет в конце концов заставил обратить внима-

ние на колымагу, и она получила известность на ярмарках: ее стали называть «Зеленый ящик». В «Зеленом ящике» было всего лишь два окна, по одному на каждом конце; сзади находилась дверь с откидной лесенкой. Из трубы, торчавшей над крышей и выкрашенной, как и все остальное, в зеленый цвет, шел дым. Стенки этого дома на колесах всегда были покрыты свежим лаком и чисто вымыты. Впереди, на козлах, сообщавшихся с внутренностью фургона посредством окна вместо двери, над крупами лошадей, рядом со стариком, державшим в руке вожжи, сидели две цыганки, одетые богинями, и трубили в трубы. Горожане, разинув рты, смотрели на эту большую колымагу, важно переваливавшуюся с боку на бок, и толковали о ней.

Прежний балаган Урсуса уступил место более усовершенствованному сооружению и превратился в настоящий театр. На цепи под колымагой было привязано какое-то странное существо — не то собака, не то волк. Это был Гомо.

Старик, правивший лошадьми, был не кто иной, как наш философ.

Чем же было вызвано такое превращение жалкой повозки в олимпийскую колесницу?

Тем, что Гуинплен стал знаменитостью.

Урсус проявил настоящее чутье того, что у людей считается успехом, когда сказал Гуинплену:

— О твоем богатстве позаботились!

Как помнят читатели, Урсус сделал Гуинплена своим учеником. Неизвестные люди обработали лицо ребенка. Он же обработал его ум и постарался вложить под эту столь удачно сделанную личину возможно больший запас мысли. Как только подросший мальчик показался ему годным для роли комедианта, он вывел его на сцену, то есть на подмостки перед балаганом. Появление Гуинплена произвело необычайное впечатление. Зрители сразу же пришли в восторг. Никто еще никогда не видел ничего похожего на эту поразительную маску смеха. Никто не знал, каким способом было достигнуто это чудо: одни считали этот смех, заражавший всех окружающих, естественным, другие — искусственным; действительность обрастала догадками, и всюду на перекрестках дорог, на площадях, на ярмарках, на праздничных гуляньях толпа стремилась взглянуть на Гуинплена. Благодаря этому «блестящему аттракциону» в тощий кошелек бродячих фигляров сначала полились дождем лиары, затем су и, наконец, шиллинги. Насытив любопытство публики в одном месте, возок переезжал в другое.

Для камня не велик прок — перекатываться с места на место, но домик на колесах от таких странствий богател. И вот, по мере того как шли годы, а Гуинплен, кочевавший из города в город, мужал и становился все безобразнее, пришло, наконец, предсказанное Урсусом богатство.

— Какую услугу оказали тебе, сынок! — говаривал Урсус.

Это «богатство» позволило Урсусу, руководившему успехами Гуинплена, соорудить такую колымагу, о которой он всегда мечтал, то есть фургон, достаточно просторный, чтобы вместить в себе театр, — настоящий театр, сеятель благотворных семян науки и искусства на всех перекрестках. Сверх того, Урсус получил возможность присоединить к труппе, состоявшей из него, Гомо, Гуинплена и Деи, пару лошадей и двух женщин, исполнявших, как мы уже сказали, роли богинь и обязанности служанок. В те времена для балагана фигляров было полезно иметь мифологическую вывеску.

— Мы — странствующий храм, — говаривал Урсус.

Две цыганки, подобранные философом в пестрой толпе, кочующей по городам и местечкам, были молоды и некрасивы; одна, по воле Ур-

суса, носила имя Фебы, другая — Венеры, или — поскольку необходимо сообразоваться с английским произношением — Фиби и Винос.

Феба стряпала, а Венера убирала храм искусства.

Кроме того, в дни представлений они одевали Дею.

За исключением тех моментов, когда фигляры, также как и государи, «показываются народу», Дея, подобно Фиби и Винос, носила флорентийскую юбку из цветной набойки и короткую кофту без рукавов. Урсус и Гуинплен носили мужские безрукавки, кожаные штаны и высокие сапоги, какие носят матросы на военных судах. Гуинплен, кроме того, надевал для работы и во время гимнастических упражнений еще и кожаный нагрудник. Он ходил за лошадьми. Что касается Урсуса и Гомо, то они заботились друг о друге сами.

Дея настолько привыкла к «Зеленому ящику», что расхаживала в нем с уверенностью зрячего человека.

Если бы чей-либо глаз, заинтересовавшись внутренним расположением и устройством этого странствующего дома, заглянул в него, он заметил бы в одном из его углов прикрепленную

к стене прежнюю повозку Урсуса, вышедшую в отставку, доживавшую свой век на покое и избавленную от необходимости трястись по дорогам, так же как Гомо, который был теперь избавлен от необходимости тащить возок.

Эта развалина, загнанная в самый конец фургона, направо от двери, служила Урсусу и Гуинплену спальней и актерской уборной. В ней помещались теперь два ложа и наискосок от них — кухня.

Даже на корабле трудно было бы встретить более обдуманное и целесообразное расположение предметов, чем внутри «Зеленого ящика». Все в нем было на своем месте, точно предусмотрено, заранее рассчитано.

Фургон, разгороженный тонкими переборками, состоял из трех отделений, которые сообщались между собою завешенными материей проемами без дверей. Заднее отделение занимали мужчины, переднее — женщины, среднее было театром. Музыкальные инструменты и все приспособления, необходимые для спектаклей, хранились в кухне. На помосте, под самой крышей, помещались декорации; приподняв трап, устроенный в этом помосте, можно было увидеть лампы, предназначенные для «магических и световых

эффектов».

Этими «магическими эффектами» вдохновенно распоряжался Урсус. Он же сочинял пьесы.

Он обладал самыми разнородными талантами; он показывал удивительные фокусы. Помимо того, что он подражал всевозможным голосам, проделывал самые неожиданные штуки, посредством игры света и тени вызывал внезапное появление на стене огненных цифр и слов — любых, по желанию публики, и исчезновение в полумраке разных фигур, — он удивлял зрителей множеством других диковинных вещей, между тем как сам, совершенно равнодушный к изъявлениям восторга, казалось был погружен в глубокое раздумье.

Однажды Гуинплен сказал ему:

— Отец, вы похожи на волшебника!

Урсус ответил:

— А что же, может быть я действительно волшебник.

«Зеленый ящик», сооруженный по искусным чертежам Урсуса, имел остроумное приспособление: вся средняя часть левой стенки фургона, между передними и задними колесами, была укреплена на шарнирах, и с помощью цепей и блоков ее по желанию можно было опустить,

как подъемный мост. А когда ее откидывали, три подпорки на петлях, приняв вертикальное положение, опускались под прямым углом к земле, как ножки стола, и поддерживали стенку фургона, превращенную в театральные подмостки. Перед зрителями возникала сцена, для которой откинутая стенка служила авансценой. Отверстие это, по словам пуританских проповедников, проходивших мимо и в ужасе отворачивавшихся от него, напоминало собой точь-в-точь вход в ад. Вероятно, именно за такое неблагочестивое изобретение Солон[166]

присудил Фесписа[167]

к палочным ударам.

Впрочем, изобретение Фесписа оказалось долговечнее, чем принято думать. Театр-фургон существует и поныне. Именно на таких кочующих подмостках в шестнадцатом и в семнадцатом столетиях в Англии ставили баллады и балеты Амнера и Пилкингтона, во Франции — пасторали Жильбера Колена, во Фландрии на ярмарках — двойные хоры Климента, прозванного *лже*папой, в Германии — «Адама и Еву» Тейля, в Италии — венецианские интермедии Анимучча и Кафоссиса, сильвы Джезуальдо, принца Венузского, «Сатиры» Лауры Гвидиччони, «Отчаяние

Филлена» и «Смерть Уголино» Винченцо Галилея, отца астронома, причем Винченцо Галилей сам пел свои произведения, аккомпанируя себе на виоле-да-гамба; а также все первые опыты итальянских опер, в которых с 1580 года свободное вдохновение вытесняло мадригальный жанр.

Фургон, окрашенный в цвет надежды и перевозивший Урсуса и Гуинплена со всем их достоянием, с Фиби и Винос, трубившими на козлах, как две вестницы славы, входил в состав великой бродячей литературной семьи: Феспис не отверг бы Урсуса, так же как Конгрив[168]

не отверг бы Гуинплена.

Приехав в город или деревню, Урсус в промежутках между трубными призывами Фиби и Винос давал пояснения к их музыке.

— Это — грегорианская симфония! — восклицал он. — Граждане горожане, грегорианские канонические напевы, явившиеся таким крупным шагом вперед, столкнулись в Италии с амброзианским каноном, а в Испании — с мозарабическим[169]

и восторжествовали над ними с большим трудом.

После этого «Зеленый ящик» останавливался где-нибудь в месте, облюбованном Урсусом;

вечером стенка-авансцена опускалась, театр открывался, и представление начиналось.

Декорации «Зеленого ящика» изображали пейзаж, написанный Урсусом, не знавшим живописи, вследствие чего, в случае надобности, пейзаж мог сойти и за подземелье.

Занавес сшит был из квадратных шелковых лоскутьев ярких цветов.

Публика помещалась под открытым небом, располагаясь полукругом перед подмостками, на улице или на площади, под солнцем, под проливным дождем, вследствие чего дождь для тогдашних театров был явлением куда более разорительным, чем для нынешних. Если только была возможность, представления давались во дворах гостиниц, и тогда оказывалось столько ярусов лож, сколько в здании было этажей. В таких случаях театр более походил на закрытое помещение, и публика платила за места дороже.

Урсус принимал участие во всем: в сочинении пьесы, в ее исполнении, в оркестре. Винос играла на деревянных цимбалах, мастерски ударяя по клавишам палочками, а Фиби пощипывала струны инструмента, представлявшего собою разновидность гитары. Волк тоже был привлечен к делу. Его окончательно ввели в состав труппы,

и при случае он исполнял небольшие роли. Когда Урсус и Гомо появлялись рядом на сцене, Урсус в плотно облегавшей его медвежьей шкуре, а Гомо в своей собственной волчьей, еще лучше пригнанной к нему, зрители нередко затруднялись определить, кто же из этих двух существ настоящий зверь; это льстило Урсусу.

9. Сумасбродство, которое люди без вкуса называют поэзией

Пьесы Урсуса представляли собой интерлюдии — литературный жанр, несколько вышедший из моды в наше время. Одна из этих пьес, не дошедшая до нас, называлась «Ursus rursus»[170]

По-видимому, Урсус исполнял в ней главную роль. Мнимый уход со сцены и сразу же вслед за ним новое, эффектное появление главного действующего лица — таков, судя по всему, был скромный и похвальный сюжет этой пьесы.

Интерлюдии Урсуса, как видит читатель, носили иногда латинские названия, стихи же в них нередко были на испанском языке. Испанские стихи Урсуса были рифмованные, как почти все кастильские сонеты того времени. Публику это не смущало. В ту эпоху испанский язык был довольно распространен, и английские моряки говорили на кастильском наречии не менее сво-

бодно, чем римские солдаты на карфагенском. Почитайте Плавта[171]

К тому же в театре, как и во время обедни, латинский язык или какой-нибудь другой, столь же непонятный аудитории, не являлся ни для кого камнем преткновения. Чужую речь весело сопровождали знакомыми словами. Это, в частности, помогало нашей старой галльской Франции быть набожной. На голос «Immolatus»[172]

верующие пели в церкви «Давайте веселиться», а на голос «Sanctus»[173]

- «Поцелуй меня, дружок». Понадобилось особое постановление Тридентского собора, чтобы положить конец таким вольностям.

Урсус сочинил специально для Гуинплена интерлюдию, которой был очень доволен. Это было его лучшее произведение. Он вложил в него всю свою душу. Выразить всего себя в своем творении — существует ли большее торжество для творца? Жаба, производящая на свет другую жабу, создает шедевр. Вы сомневаетесь? Попытайтесь сделать то же.

Эту интерлюдию Урсус тщательно отделывал, стараясь довести ее до совершенства. Его детище носило название: «Побежденный хаос».

Вот содержание пьесы.

Ночь. Раздвигался занавес, и толпа, теснившаяся перед «Зеленым ящиком», сначала не видела ничего кроме темноты. В этом непроглядном мраке ползали по земле три еле различимые фигуры — волк, медведь и человек. Волка изображал волк, медведя — Урсус, человека — Гуинплен. Волк и медведь были воплощением грубых сил природы, бессознательных влечений, дикого невежества; оба они набрасывались на Гуинплена; это был хаос, боровшийся с человеком. Лиц их не было видно. Гуинплен отбивался, закутанный в саван, лицо его было закрыто густыми длинными волосами. К тому же все кругом было объято мраком. Медведь ревел, волк скрежетал зубами, человек кричал. Звери одолевали, он погибал, он молил о помощи, о поддержке, он бросал в неизвестность душераздирающий призыв. Он издавал предсмертный хрип. Зрители присутствовали при агонии первобытного человека, еще мало чем отличавшегося от дикого зверя; это было зловещее зрелище, толпа смотрела на сцену, затаив дыхание; еще мгновение — и звери восторжествуют, хаос поглотит человека. Борьба, крики, вой — и вдруг полная тишина. Во мраке раздавалось пение. Проносилось какое-то веяние, и слышался нежный голос. В воздухе

реяли звуки таинственной музыки, вторившие напевам незримого существа, и вдруг неведомо откуда, неизвестно каким образом возникало белое облачко. Это белое облачко было светом, этот свет — женщиной, эта женщина — духом. И вот появлялась Дея; спокойная, чистая, прекрасная и грозная своей красотой и своей чистотой, возникала она, окруженная сиянием. Лучезарный силуэт на фоне утренней зари. Голос принадлежал ей. Нежный, глубокий, невыразимо пленительный голос. Из незримой став видимой, она пела в лучах зари. Это пение было подобно ангельскому или соловьиному. Она появлялась, и человек, ослепленный этим дивным видением, сразу вскакивал и ударами кулаков повергал обоих зверей.

Тогда видение, скользя по сцене неуловимым для публики движением, возбуждавшим ее восторг именно этой неуловимостью, начинало петь на испанском языке, чистота которого у слушателей, английских матросов, не вызывала никаких сомнений:

Ora! Ilora!
De palabra
Nace razon
De luz el son.[174]

Затем Дея опускала глаза, точно увидав пропасть у себя под ногами, и продолжала:

Noche quita te de alli!
El alba canta hallali.[175]

По мере того как она пела, человек все больше и больше выпрямлялся: он уже не был простерт на земле, он стоял теперь коленопреклоненный, протянув руки к видению, попирая коленями обоих неподвижно лежавших, как бы сраженных молнией животных. Она же продолжала, обращаясь к нему:

Es menester a cielos ir
Y tu que llorabas reir.[176]

Приблизившись к нему с величием светила, она продолжала:

Quebra barzon!
Dexa, monstro,
A tu negro
Caparazon.[177]

И возлагала руку ему на лоб.

Тогда во мраке раздавался другой голос, более низкий и страстный, голос сокрушенный и восторженный, глубоко трогательный своей дикой робостью. Это была песнь человека в ответ на песнь звезды. Все еще стоя на коленях во мраке и

пригибая к земле побежденных зверей — медведя и волка, — Гуинплен, на челе которого покоилась рука Деи, пел:

O ven! ama!
Eres alma
Soy corazon.[178]

И вдруг, прорезав пелену мрака, яркий луч света падал прямо на лицо Гуинплена.

Из тьмы внезапно возникала смеющаяся маска чудовища.

Невозможно передать словами волнение, охватывавшее при этом зрителей. Над толпою поднималось солнце смеха. Смех порождается неожиданностью, а что могло быть неожиданнее такой развязки? Впечатление, производимое на публику снопом света, ударявшего в шутовскую и вместе с тем ужасную маску, было ни с чем не сравнимо. Все хохотали кругом; всюду — наверху, внизу, в передних, в задних рядах, мужчины, женщины; лысые головы стариков, розовые детские рожицы, добрые, злые, веселые, грустные лица — все озарялось весельем; даже прохожие на улице, которым ничего не было видно, начинали смеяться, услыхав этот громовый хохот. Ликованье зрителей выражалось бурными рукоплесканиями и топотом ног. Когда занавес

задергивался, Гуинплена бешено вызывали. Он имел огромный успех. «Видели вы „Побежденный хаос“?» Все спешили посмотреть Гуинплена. Приходили посмеяться люди беззаботные, приходили меланхолики, приходили люди с нечистой совестью. Этот неудержимый хохот можно было иногда принять за болезнь. Но если существует на свете зараза, которой человек не боится, то это заразительное веселье. Впрочем Гуинплен имел успех только среди бедноты. Большая толпа — это маленькие люди. «Побежденный хаос» можно было посмотреть за один пенни. Знать не посещает тех мест, где за вход платят грош.

Урсус был не совсем равнодушен к своему драматическому произведению, которое он долго вынашивал.

— Это в духе некоего Шекспира, — скромно заявлял автор «Побежденного хаоса».

Контраст между Деей и ее партнером усиливал поразительное впечатление, оказываемое на зрителей Гуинпленом. Этот лучезарный образ рядом с этим уродом вызывал чувство, которое можно было бы определить как изумление при виде божества. Толпа взирала на Дею с тайной тревогой. В ней было нечто возвышенное, она казалась девственной жрицей, не ведающей люд-

ских страстей, но познавшей бога. Видно было, что она слепа, но вместе с тем чувствовалось, что она все видит. Казалось, она стоит на пороге в мир сверхъестественного; казалось, ее освещает какой-то нездешний свет. Она опустилась из звездного мира, чтобы принести благо, но так, как это делает небо: разливая вокруг сияние зари. Она нашла отвратительное чудовище и вдохнула в него душу. Она производила впечатление созидательной силы, удовлетворенной и в то же время ошеломленной собственным творением. На ее прекрасном лице отражалось восхитительное смущение, твердая воля совершить благо и изумление перед тем, что она сделала. Чувствовалось, что она любит своего урода. Знала ли она, что он — урод? Да, — ведь она прикасалась к нему. Нет, — ведь она не отвергала его. Сочетание этих противоположностей, тьмы и света, порождало в сознании зрителя некий сумрак, в котором вырисовывались беспредельные дали. Каким путем божество соединяется с первичным веществом, как происходит проникновение души в материю, почему солнечный луч является своего рода пуповиной, как преображается урод, как бесформенное становится райски совершенным? — все эти тайны, возникавшие в виде смутных образов,

внушали почти космическое волнение, усиливавшее судорожный хохот, который вызывала маска Гуинплена. Не вникая в сущность авторского замысла — ибо зритель не любит утруждать себя глубоким проникновением, — публика все-таки постигала нечто выходившее за пределы того, что она видела на подмостках: этот необычайный спектакль приподымал завесу над тайною преображения человека.

Что касается переживаний Деи, то их трудно передать словами. Она чувствовала себя окруженной большой толпою, не зная, что такое толпа. Она слышала гул — больше ничего. Толпа для нее была лишь дуновением, и по существу это действительно так. Смена поколений не что иное, как дыхание вечности. Человек делает вдох, выдох и испускает дух. В толпе Дея чувствовала себя одинокой и трепетала от страха, словно под ногами ее зияла разверстая пропасть. Но и в том состоянии смятения и скорби, когда невинное существо, возмущенное возможным падением в бездну, готово бросить упрек неведомому, Дея сохраняла присутствие духа, преодолевала сознание своего одиночества, смутную тревогу перед лицом опасности и вдруг, снова обретая уверенность и точку опоры, хваталась за спасительную

нить, кинутую ей в беспредельном мире мрака, и, простирая руку, возлагала ее на могучую голову Гуинплена. Несказанная радость! Ее розовые пальцы погружались в лес курчавых волос. Прикосновение к шерсти вызывает всегда ощущение чего-то нежного. Дея ласкала густое руно, зная, что это — лев. Ее сердце было переполнено неизъяснимой любовью. Она чувствовала себя вне опасности, она нашла своего спасителя. Публике же представлялось совсем иное: для зрителей спасенным был Гуинплен, а спасительницей — Дея. «Не беда!» — думал Урсус, понимавший, что происходит в сердце Деи. И Дея, успокоенная, утешенная, восхищенная, преклонялась перед ангелом, между тем как толпа, видела перед собой чудовище и, тоже зачарованная, но совсем иначе, испытывала на себе воздействие этого титанического смеха.

Истинная любовь не знает пресыщения. Будучи всецело духовной, она не может охладиться. Пылающий уголь может подернуться пеплом, небесное светило — никогда. Каждый вечер возобновлялись для Деи эти восхитительные переживания; она готова была плакать от нежности, в то время как толпа надрывалась от смеха. Люди только веселились, Дея же испытывала

счастье.

Впрочем, необузданное веселье, вызываемое внезапным появлением ошеломляющей маски Гуинплена, вовсе не входило в намерения Урсуса. Он предпочел бы этому хохоту улыбку, он хотел бы встретить у публики восхищение менее грубого свойства. Но триумф всегда служит утешением. И Урсус каждый вечер примирялся с несколько странным успехом своей пьесы, подсчитывая, сколько шиллингов составляют стопки собранных фартингов и сколько фунтов стерлингов в стопках шиллингов. Кроме того, он говорил себе, что, когда смех уляжется, «Побежденный хаос» снова всплывет перед глазами зрителей и неизбежно оставит впечатление в их душе. Он, пожалуй, не совсем ошибался. Всякое произведение искусства оставляет след в сознании людей. Действительно, простой народ, внимательно следивший за этим волком, за медведем, за человеком, за этой музыкой, за диким воем, побежденным гармонией, за этим мраком, рассеянным лучами зари, за пением, от которого исходил свет, — относился с неясной, но глубокой симпатией, даже с некоторым уважением и нежностью к драматической поэме «Побежденный хаос», к этой победе светлого начала над силами

тьмы, приводившей к радостному торжеству человека.

Таковы были грубые увеселения простого народа.

Он вполне довольствовался ими. Народ не имел возможности посещать «благородные поединки», устраиваемые на потеху высокородных джентльменов, и не мог, подобно им, ставить тысячу гиней на Хелмсгейла против Филем-ге-Медона.

10. Взгляды на вещи и на людей человека, выброшенного за борт жизни

У человека всегда есть затаенное желание — отомстить за доставленное ему удовольствие. Отсюда — презрение к актеру.

Это существо пленяет меня, развлекает, забавляет, восхищает, утешает, нравственно возвышает, оно мне приятно и полезно — каким же злом отплатить ему? Унижением. Презрение — это пощечина на расстоянии. Дадим ему пощечину. Он мне нравится — значит, он подл. Он мне служит, я его за это ненавижу. Где бы найти камень, чтобы бросить в него? Священник, дай мне твой камень! Философ, дай мне свой! Боссюэ, отлучи его от церкви! Руссо, поноси его! Оратор, осыпь его градом галек, которые ты держишь во рту![179]

Медведь, запусти в него булыжником! Побьем

камнями дерево, растопчем плод и съедим его. «Браво!» и «Долой его!» Декламировать стихи поэта — значит быть зачумленным. Эй ты, фигляр! Сейчас в награду за успех мы наденем на него железный ошейник и поставим к позорному столбу. Завершим его триумф травлей. Пусть он собирает вокруг себя толпу и тем самым создает свое одиночество. Так имущие классы, которые называют высшими, изобрели для комедианта особую форму отчуждения от общества — аплодисменты.

Простой народ не так жесток. Он не питал ненависти к Гуинплену, он не презирал его. Но все же самый последний из конопатчиков самого последнего экипажа на самом последнем судне в последнем из портов Англии считал себя неизмеримо выше этого увеселителя «сброда» и был убежден, что конопатчик настолько же выше скомороха, насколько лорд выше конопатчика.

Итак, как это бывает со всеми комедиантами, Гуинплена награждали рукоплесканиями и обрекали на одиночество. Впрочем, в этом мире всякий успех — преступление, которое приходится искупать. У каждой медали есть оборотная сторона.

Для Гуинплена этой оборотной стороны не су-

ществовало, потому что и то и другое последствие его успеха были ему по душе: он был рад аплодисментам и доволен одиночеством. Аплодисменты приносили ему богатство, одиночество дарило ему счастье.

В низших слоях общества быть богатым значит всего-навсего не быть бедным. Не иметь дыр на платье, не страдать от пустоты в желудке, от отсутствия дров в очаге. Есть и пить вволю. Иметь все необходимое, включая возможность подать грош нищему. Этого-то скромного благосостояния, достаточного, чтобы чувствовать себя свободным, и достиг Гуинплен.

Но душа его обладала несметным богатством: он любил и был любим. Чего мог он еще пожелать?

Он ничего и не желал.

Единственное, что ему можно было бы, пожалуй, предложить — это избавить его от уродства. Однако с каким негодованием он отверг бы такое предложение! Сбросить с себя маску, вернуть свое подлинное лицо, снова стать таким, каким он, быть может, был, — красивым и привлекательным, — он не согласился бы ни за что. Как бы он мог тогда кормить Дею? Что сталось бы с бедной кроткой слепой, любившей его? Без

этой гримасы смеха на лице, делавшей из него единственного в своем роде комедианта, он оказался бы простым скоморохом, заурядным гимнастом, подбирающим жалкие гроши на мостовой, и Дея, возможно, не каждый день ела бы хлеб! С глубокой и трогательной гордостью он сознавал себя покровителем этого беззащитного небесного создания. Мрак, одиночество, нужда, беспомощность, невежество, голод и жажда — семь разверстых пастей нищеты — зияли перед ним, а он был святым Георгием, сражающимся с этим драконом. И он побеждал нищету. Чем? Своим безобразием. Благодаря своему безобразию он был полезен, он оказывал помощь, одерживал победу за победой, стал велик. Стоило ему только показаться публике, и деньги сыпались в его карман. Он властвовал над толпой, он был ее повелителем. Он все мог сделать для Деи, Он заботился об удовлетворении ее потребностей; он исполнял все ее желания, прихоти, фантазии в тех ограниченных пределах, какие могли быть у слепой девушки. Гуинплен и Дея, как мы уже говорили, были настоящим провидением друг для друга. Он чувствовал, что она возносит его на своих крыльях; она чувствовала, что он носит ее на руках. Нет ничего приятнее, чем по-

кровительствовать любимому существу, давать необходимое тому, кто возносит вас к звездам. Гуинплен познал это высокое блаженство. Он был обязан им своему безобразию. Это безобразие давало ему превосходство надо всем. С помощью этой уродливой маски он содержал себя и своих близких; благодаря ей он был независим, свободен, знаменит, удовлетворен и горд собою. Уродство делало его неуязвимым. Рок уже был не властен над ним: рок выдохся, вероломно нанеся жестокий удар, который, однако, принес Гуинплену торжество. Пучина бед превратилась в вершину светлого счастья. Гуинплен находился в плену у собственного уродства, но этот плен разделяла с ним Дея. Темница, мы уже говорили это, стала раем. Между двумя заключенными и всем остальным миром стояла стена. Тем лучше. Эта стена отгораживала их от других, но зато и защищала. Какой вред можно было нанести Дее или Гуинплену, когда они были так далеки от всех жизненных волнений? Отнять у него успех? Невозможно. Для этого пришлось бы наделить Гуинплена другим лицом. Отнять у него любовь Деи? Невозможно. Дея не видела его. Слепота Деи была неисцелима. Какое же неудобство представляло для Гуинплена его безобразие?

Никакого. Какие оно ему давало преимущества? Все. Несмотря на свое уродство, а может быть, благодаря ему, он был любим. Уродство и увечье инстинктивно потянулись одно к другому и вступили в союз. Быть любимым — разве это не все? Гуинплен думал о своем безобразии не иначе, как с признательностью. Клеймо оказалось для него благословением. Он с радостью сознавал, что оно неизгладимо и вечно. Какое счастье, что это благо у него никак нельзя отнять! Пока существуют перекрестки, ярмарочные площади, дороги, уводящие вдаль, народ внизу и небо над головою, можно быть уверенным в завтрашнем дне. Дея ни в чем не будет нуждаться, и они будут любить друг друга. Гуинплен не поменялся бы лицом с Аполлоном. Быть уродом — в этом заключалось все его счастье.

Потому-то мы и говорили в начале повествования, что судьба щедро одарила его. Этот отверженный был ее баловнем.

Он был так счастлив, что порой даже жалел окружавших его людей, — он был сострадателен. Впрочем, его бессознательно влекло взглянуть на то, что творится кругом, ибо на свете нет совершенно замкнутого в себе человека, и природа — не отвлеченность; он был рад, что стена отго-

раживает его от остального мира, однако время от времени он поднимал голову и смотрел поверх ограды. И, сравнив свое положение с положением других, он с еще большей радостью возвращался к своему одиночеству, к Дее.

Что же видел он вокруг себя? Что представляли собою эти существа, которые благодаря его постоянным странствиям возникали перед ним во всем своем разнообразии, ежедневно сменяясь другими? Вечно новые люди, а в действительности — все та же толпа. Вечно новые лица — и вечно все те же несчастия. Смешение всякого рода обломков. Каждый вечер все виды неизбежных социальных бедствий тесным кольцом обступали его счастье.

«Зеленый ящик» пользовался успехом.

Низкие цены привлекают низшие классы. К Гуинплену шли слабые, бедные, обездоленные. К нему тянулись, как тянутся к рюмке джина. Приходили купить на два гроша забвения. С высоты своих подмостков Гуинплен производил смотр этой угрюмой толпе народа. Один за другим проникали в его сознание эти образы бесконечной нищеты. Лицо человека отражает на себе состояние его совести и всю его жизнь: оно — итог множества таинственных воздей-

ствий, из которых каждое оставляет на нем свой след. Не было такого страдания, такой злобы и гнева, такого бесчестья, такого отчаяния, отпечатка которых не наблюдал бы Гуинплен на этих лицах. Вот эти детские рты сегодня ничего не ели. Вот этот мужчина — отец, эта женщина — мать: образы обреченных на гибель семей. Вон то лицо принадлежит человеку, находящемуся во власти порока и идущему к преступлению; причина ясна: это невежество и нищета. Были лица, отмеченные печатью природной доброты, уничтоженной социальным гнетом и превратившейся в ненависть. На лбу седой старухи можно было прочесть слово «голод»; на лбу юной девушки — слово «проституция». Один и тот же факт имел разные последствия для молодой и для старухи, но для кого из них они были тяжелее? В этой толпе были руки, умевшие трудиться, но лишенные орудий труда; эти люди хотели работать, но работы не было. Иногда рядом с рабочим садился солдат, порою инвалид, и перед Гуинпленом вставал страшный призрак войны. Здесь Гуинплен угадывал безработицу, там — эксплуатацию, а там — рабство. На некоторых лицах он замечал явные признаки вырождения, постепенный возврат человека к состоянию жи-

вотного, вызванный в низших слоях общества тяжким гнетом блаженствующей верхушки его. И в этом беспросветном мраке Гуинплен видел лишь одну светлую точку. Он и Дея, пройдя через горькие страдания, были счастливы. На всем остальном лежало клеймо проклятия. Гуинплен знал, что над ним стоят власть имущие, богатые, знатные, баловни судьбы, и чувствовал, как они бессознательно топчут его; а внизу он различал бледные лица обездоленных. Он видел себя и Дею, свое крошечное и в то же время безграничное счастье, между этими двумя мирами; вверху был мир свободных и праздных, веселых и пляшущих, беспечно попирающих других ногами; внизу — мир тех, которых попирают. Подножием блеска служит тьма — печальный факт, свидетельствующий о глубоком общественном недуге. Гуинплен отдавал себе отчет в этом печальном явлении. Какая унизительная участь! Человек способен так пресмыкаться! Такое тяготение к праху и грязи, такое отвратительное самоотречение вызывали у него желание раздавить эту мерзость ногой. Для какой же бабочки может служить гусеницей подобное существование? И перед каждым в этой голодной, невежественной толпе стоит вопросительный знак. Что ждет его

— преступление или позор? Растление совести — неизбежный закон существования всех этих людей. Здесь нет ни одного ребенка, которого не ждало бы унижение, ни одной девушки, которой не пришлось бы торговать собой, ни одной розы, которой не предстояло бы быть растоптанной!

Порой Гуинплен пытался всмотреться пытливым и сочувственным взором в самые глубины этого мрака, где гибло столько бесплодных порывов, где столько сил сломилось в борьбе; он видел перед собой целые семьи, павшие жертвой общества, честных людей, искалеченных законом, раны, ставшие гнойниками из-за системы уголовных наказаний, бедняков, истощаемых налогами, умных, увлекаемых невежеством в пучину мрака; он видел тонущие плоты, усеянные голодными, войны, неурожаи, сонмы смертей. И эта душераздирающая картина всеобщих бедствий заставляла болезненно сжиматься его сердце. Он как будто воочию видел всю накипь несчастий над мрачным морем человечества. А он был надежно укрыт в гавани и лишь со стороны наблюдал это страшное кораблекрушение. Иногда он закрывал руками свое обезображенное лицо и погружался в раздумье.

Какое безумие — быть счастливым! Чего только

не приходило ему в голову! В его мозгу зарождались самые нелепые мысли. Когда-то он пришел на помощь младенцу, теперь в нем рождалось страстное желание помочь всем обездоленным. Эти смутные мечты порою даже заслоняли от него действительность; он терял чувство меры до такой степени, что задавал себе вопрос: «Как же, чем же помочь этому бедному народу?» Порою он так погружался в эти мысли, что произносил эти слова вслух. Тогда Урсус пожимал плечами и пристально смотрел на него. А Гуинплен продолжал мечтать:

— Ах, будь в моих руках власть, как бы я помогал несчастным! Но что я? Жалкое ничтожество. Что я могу сделать? Ничего.

Он ошибался. Он немало делал для несчастных. Он заставлял их смеяться.

А мы уже сказали, что заставить людей смеяться — значит дать им забвение.

И разве не благодетель человечества тот, кто дарит людям забвение?

11. Гуинплен — глашатай справедливости, Урсус — глашатай истины

Философ — это соглядатай. Урсус, любитель читать чужие мысли, внимательно следил за своим питомцем. Наши безмолвные монологи

отражаются у нас на лице и вполне ясны физиономисту. Поэтому от Урсуса не скрылось то, что происходило в душе Гуинплена. Однажды, когда Гуинплен был погружен в раздумье, Урсус, дернув его за полу, воскликнул:

— Ты, кажется, стал присматриваться к окружающему, глупец! Берегись, это тебя не касается! У тебя есть другое занятие — любить Дею. Ты счастлив вдвойне: во-первых, тем, что толпа видит твою рожу; во-вторых, тем, что Дея ее не видит. Ты пользуешься незаслуженным счастьем. Ни одна женщина не согласилась бы принять от тебя поцелуй, увидев твой рот. А ведь этот рот, который стал залогом твоего благополучия, эта морда, приносящая тебе богатство, — не твои. Ты родился не с таким лицом. Ты исказил свои подлинные черты гримасой, украденной в преисподней. Ты похитил у дьявола его личину. Ты отвратителен: довольствуйся же выпавшей на твою долю удачей. В нашем весьма благоустроенном мире есть счастливцы по праву и счастливцы случайные. Ты баловень случая. Ты живешь в подземелье, куда попала звезда. Эта бедная звезда досталась тебе. Не пытайся же выбраться из подземелья и держи крепко свою звезду, паук! В твоих сетях алмазом горит Венера. Сделай милость, не при-

вередничай. Я вижу, ты задумываешься — это глупо. Послушай-ка, я буду с тобой говорить на языке настоящей поэзии: пускай Дея ест побольше говядины и бараньих котлет, и через полгода она станет толстой, как турчанка; женись на ней, не долго думая, и она родит тебе ребенка, да не одного, а двух, трех, целую кучу детей. Вот что я называю философией. Когда человек чувствует себя счастливым, это совсем не плохо. Иметь собственных детенышей — великолепное дело. Обзаведись ребятами, пеленай их, вытирай им носы, укладывай спать, умывай чумазых пачкунов, и пускай вся эта мелюзга копошится вокруг тебя; если они смеются — прекрасно; если ревут — еще лучше: кричать — значит, жить; наблюдай, как в полгода они сосут грудь, в год — ползают, в два — ходят, в пятнадцать — становятся подростками, в двадцать — влюбляются. У кого есть эти радости — у того есть все. Я упустил это счастье, вот почему я — грубое животное. Сам господь бог, сочинитель прекрасных поэм, первый литератор на свете, продиктовал своему секретарю Моисею: «Размножайтесь!» Так гласит писание. Размножайся, животное! Ну, а мир — он всегда будет таким, каков он есть; на земле все будет идти достаточно дурно и без твоего

содействия. Не заботься об этом. Не занимайся тем, что происходит вокруг. Не вызывай никаких бурь. Комедиант создан для того, чтобы на него смотрели, а не для того, чтобы смотреть самому. Знаешь ли, кто верховодит на свете? Счастливцы по праву. Ты же, повторяю, счастливец случайный. Ты мошеннически завладел счастьем, которое тебе не принадлежит. Они — его законные обладатели, а ты — втируша, ты незаконно сожительствуешь с удачей. Чего тебе еще? Вот уж явное доказательство, что негодяй с жиру бесится! А ведь обзавестись потомством в союзе с Деей — приятнейшее дело. Это такое блаженство, что без плутовства до него, пожалуй, не доберешься. Те, кто получил свыше привилегию на земное счастье, не любят, чтобы существа, стоящие ниже их, позволяли себе такие радости. Если они спросят тебя, по какому праву ты счастлив, ты не сумеешь ответить. У тебя нет высочайшей грамоты на счастье, как у них. Юпитер ли, Аллах, Вишну или Саваоф — кто уж там, не знаю, выдал им разрешение на счастье. Бойся их. Не суйся в их дела, чтобы они не занялись тобой. Знаешь ли ты, несчастный, что такое счастливец по праву? Это — страшное существо, это — лорд. О, лорд!.. Вот кому, прежде чем появиться на свет в неведомом

дьявольском прошлом, пришлось вести немало интриг, чтобы вступить в жизнь именно через эту дверь! Как ему, должно быть, было трудно родиться! Конечно, других забот у него не было, но, боже правый, что это был за труд! Добиться От судьбы, от этой слепой, своевольной дуры, чтобы она сразу, с колыбели, сделала вас владыкой над остальными людьми! Подкупить кассира, чтобы получить лучшее место в театре! Прочти памятку на стенке нашей вышедшей в отставку повозки, прочти этот требник моей мудрости, и ты увидишь, что такое лорд. Лорд — это человек, у которого есть все и который в своем лице воплощает все. Лорд — это существо, попирающее законы человеческой природы; лорд — это тот, кто в юности имеет права старика, а в старости — все преимущества молодости; развратник, он пользуется уважением порядочных людей; трус, он командует храбрецами; тунеядец, он пожирает плоды чужого труда; невежда, он является обладателем дипломов Кембриджского и Оксфордского университетов; глупец, он слышит в его честь славословия поэтов; урод, он получает в награду улыбки женщин; Терсит, он носит шлем. Ахилла; заяц, он облекается в львиную шкуру. Не истолковывай неправильно моих слов,

я не утверждаю, что всякий лорд — обязательно невежда, трус, урод и старый дурак; я только говорю, что он может быть всем этим без всякого ущерба для себя. Напротив, лорды — повелители. Король Англии — тоже лорд, первый вельможа между вельможами; это уже много, это — все. В былое время короли именовались лордами: лорд Дании, лорд Ирландии, лорд Соединенных островов. Лорд Норвегии всего лишь триста лет назад принял титул короля. Древнейшего короля Англии, Луция, святой Телесфор называл милордом Луцием. Лорды — это пэры, иначе говоря — равные. Кому? Королю. Я не смешиваю ошибочно лордов с парламентом. Парламент — это народное собрание, которое саксы до покорения их норманнами называли wittenagemot, а покорители-норманны называли parliamentum. И мало-помалу народ выставили за дверь. В королевских приказах по созыву палаты общин некогда стояло: «ad consilium impendendum»[180]

, теперь же в них стоит: «ad conserittendum»[181]

Палата общин имеет право давать свое согласие. Ей разрешается говорить «да». Пэры же могут говорить «нет». Они доказали на деле, что обладают этим правом. Пэры могут отсечь голову королю, а народ не может. Казнь Карла

I — нарушение не королевских прав, а пэрских привилегий, и правильно сделали, что вздернули на виселицу скелет Кромвеля. Лорды могущественны. Почему? Потому что в их руках богатства. Кто перелистывал когда-нибудь «Doomsday-book» — «Книгу страшного суда»? Эта книга — доказательство того, что Англией владеют лорды; это составленный при Вильгельме Завоевателе реестр земельных имуществ, принадлежащих английским подданным, хранящийся у лорд-канцлера казначейства. Чтобы сделать выписку из этого реестра, платят по четыре су за строку. Любопытнейшая книга! Знаешь ли ты, что я служил в качестве домашнего врача у некоего лорда Мармедьюка, который имел девятьсот тысяч французских франков годового дохода? Сообрази-ка это, дуралей! Знаешь ли ты, что одними кроликами, содержащимися в садках графа Линдсея, можно было бы накормить всю голь в Пяти Портах? А попробуй протянуть к ним руку! Все на учете. Каждого браконьера вешают. Я видел, как вздернули на виселицу отца шестерых детей только за то, что у него из ягдташа торчала пара длинных кроличьих ушей. Таковы вельможи. Кролик, принадлежащий лорду, дороже человеческой жизни. Но раз лорды

существуют на свете — слышишь ты, мошенник? — мы должны находить, что это прекрасно. А если бы мы даже нашли, что это плохо, какое это может иметь для них значение? Народ против чего-то возражает! Подумайте только! Да у самого Плавта не найти ничего комичнее! Смешон был бы тот философ, который посоветовал бы этой жалкой черни возражать против гнета лордов. Да это все равно, как если бы гусеница вступила в пререкания с пятою слона. Однажды я видел, как на кротовую нору наступил гиппопотам; он все раздавил; но он был ни в чем не повинен. Этот добродушный великан даже не догадывался о том, что на свете есть кроты. Милый мой, кроты, которых давят, — это род человеческий. Давить друг друга — закон природы. А ты думаешь, что крот никого не давит? Он является великаном по отношению к клещу, который в свою очередь великан по отношению к тле. Но не будем углубляться в рассуждения. Друг мой, на свете существуют кареты. В каретах ездят лорды, неосторожные пешеходы попадают под колеса, а благоразумный человек норовит отойти в сторону. Посторонись и дай карете проехать. Что касается меня, я люблю лордов, но избегаю их. Я жил у одного из них. Этого вполне достаточно для

того, чтобы у меня сохранилось о них прекрасное воспоминание. Его замок запечатлелся у меня в памяти в виде некоего сияния в облаках. Мои мечты обращены назад. Нет ничего замечательнее, чем Мармедьюк-Лодж в смысле величественности здания, соразмерности отдельных частей, пышности украшений, множества пристроек. Вообще дома, особняки, дворцы лордов — это собрание всего, что есть самого великолепного и роскошного в нашем цветущем королевстве. Я люблю наших вельмож. Я признателен им за их богатство, могущество и благосостояние. Я, прозябающий во мраке, с интересом и удовольствием взираю на клочок небесной лазури, именуемый лордом. В Мармедьюк-Лодж въезжали через огромный двор, имевший вид прямоугольника, разделенного, на восемь квадратов, из которых каждый был обнесен балюстрадой; между ними пролегала широкая дорога, посреди которой высился восхитительный восьмиугольный фонтан с двумя водоемами и прелестным ажурным куполом, поддерживаемым шестью колоннами. Там-то я и познакомился с ученым французом, аббатом Дюкро из якобинского монастыря на улице Сен-Жак.

В Мармедьюк-Лодже хранится половина биб-

лиотеки Эрпениуса[182]

, другая половина которой находится на богословском факультете Кембриджского университета. Я занимался чтением, сидя под разукрашенным портиком. Такие вещи обычно обращают на себя внимание лишь немногих любознательных путешественников. Знаешь ли ты, чудак, что у сиятельного Вильяма Норта, лорда Грей-Ролстона, занимающего четырнадцатое место на баронской скамье, больше высокоствольных деревьев на принадлежащей ему горе, чем у тебя волос на твоей ужасной башке? Известно ли тебе, что у лорда Норриса Райкота, графа Эбингдона, есть четырехугольная башня высотою в двести футов с девизом: «Virtus ariete fortior», что будто бы означает: «Доблесть сильнее тарана», но что в действительности, дурак ты этакий, следует перевести: «Храбрость сильнее военных машин». Да, я чту и уважаю наших вельмож, я преклоняюсь перед ними. Ведь именно лорды вместе с его королевским величеством заботятся о том, чтобы доставить и обеспечить нации всевозможные выгоды. Их глубокая мудрость блестяще проявляется во всяких затруднительных обстоятельствах. Хотел бы я видеть, как могли бы они не первенствовать всюду и везде. Разумеется, они

и первенствуют. То, что в Германии называется княжеским достоинством, а в Испании достоинством гранда, называется пэрством в Англии и Франции. Так как были все основания считать наш мир устроенным достаточно плохо, то бог, подметив в нем изъяны, решил доказать, что он умеет создавать и счастливых людей, и сотворил лордов на утешение философам. Тем самым господь исправил первоначальную ошибку и с честью вышел из ложного положения. Вельможи исполнены величия. Пэр, говоря о себе, употребляет местоимение nos[183]

Пэр — это множественное число. Король называет пэров consanguinei nostri[184]

Пэры издали целую кучу мудрых законов, в том числе закон, карающий смертной казнью всякого, кто срубит трехлетний тополь. Они настолько выше всех остальных людей, что у них есть даже свой особый язык. Так, в геральдике черный цвет, именуемый «песком» на гербе простого дворянина, обозначается словом «сатурн» на княжеском гербе и словом «алмаз» на гербе пэра. Алмазная пыль, звездная ночь — вот что такое черный цвет для счастливых. И даже между этими высокими лицами существуют тонкие различия в отношениях. Барон может совершить омовение рук

перед трапезой в присутствии виконта только с разрешения этого последнего. Все это превосходно придумано и служит залогом сохранения нации. Какое счастье для народа — иметь двадцать пять герцогов, пять маркизов, семьдесят шесть графов, девять виконтов и шестьдесят одного барона, что составляет в совокупности сто семьдесят шесть пэров, из коих одних величают «ваша светлость», а других «ваше сиятельство». Велика, подумаешь, важность, если при этом кое-где и попадаются кое-какие лохмотья! Нельзя же требовать, чтобы всюду было одно лишь золото. Лохмотья так лохмотья! Зато рядом с ними — пурпур. Одно искупает другое. Велика важность, что на свете есть неимущие! Они служат строительным материалом для счастья богачей. Черт возьми! Наши лорды — наша слава. Одна лишь свора гончих Чарльза Мохена, барона Мохена, стоит столько же, сколько больница для прокаженных в Мургете или детская больница Иисуса Христа, основанная в тысяча пятьсот пятьдесят третьем году Эдуардом Шестым. Томас Осборн, герцог Лидс, расходует ежегодно на одни только ливреи для своих слуг пять тысяч золотых гиней. При испанских грандах состоит назначенный королем блюститель, который следит; чтобы они

не разорились в пух и прах. Это пошло. У нас, в Англии, лорды сумасбродствуют, но зато они великолепны. Я это уважаю. Не будем же поносить их, словно мы какие-нибудь завистники. Я счастлив уже тем, что мне удается лицезреть это прекрасное видение. Пусть я — существо, лишенное света, но на меня падает отблеск чужого. Падает на мои язвы, скажешь ты? Убирайся к дьяволу! Я — Иов[185]

, счастливый тем, что созерцаю Тримальхиона. О, как прекрасна лучезарная планета там, в небесной вышине! Быть освещенным лучами луны чего-нибудь да стоит. Уничтожить лордов! Да такая мысль не пришла бы в голову даже Оресту[186]

, как ни был он безумен, Утверждать, что лорды вредны или бесполезны, — да это все равно что требовать потрясения государственных основ или утверждать, будто люди вовсе не созданы для того, чтобы жить подобно баранам, пощипывая траву и покорно перенося укусы собак. Баран оголяет луг, на котором пасется, а пастух оголяет барана, стрижет с него шерсть. Что может быть справедливее? На всякого находится своя управа. Что касается меня, то мне все равно: я — философ и за жизнь не цепляюсь. Жизнь земная — лишь временное пристанище. Подумать только, что у

Генри Боуса Ховарда, графа Беркширского, в его каретном сарае стоят двадцать четыре парадных кареты, из коих одна с серебряной упряжью и одна с золотой! Боже мой, я отлично знаю, что не у всякого есть по двадцать четыре парадных кареты, но стоит ли волноваться из-за этого? Ты продрог однажды ночью — подумаешь, велика беда! Мало ли на свете бездомных! Другие тоже страдают от холода и голода. Знаешь ли ты, что не будь этого мороза, Дея не ослепла бы, а если бы она не ослепла, она не полюбила бы тебя. Поразмысли-ка об этом, дуралей! Да и хороша была бы музыка, если бы все недовольные начали жаловаться вслух! Молчание — вот правило мудрости. Я убежден, что господь бог предписывает молчать всем осужденным на вечные муки, иначе он сам был бы осужден слушать нескончаемые вопли. Олимпийское блаженство покупается ценою безмолвия Коцита. Итак, молчи, народ! А я поступаю еще лучше; я одобряю и восхищаюсь. Я только что перечислил тебе лордов, но к ним надо еще прибавить двух архиепископов и двадцать четыре епископа. Право, я прихожу в умиление, когда думаю об этом. Я вспоминаю, что видел у сборщика десятины для преподобного декана Рафоэ, который является одновременно представителем

светской знати и служителем церкви, огромные скирды прекрасной пшеницы, отобранной для нужд его преосвященства у окрестных поселян; декану не пришлось трудиться, чтобы вырастить эту пшеницу, вот у него и оставалось время для молитвы. Знаешь ли ты, что лорд Мармедьюк, у которого я служил, был лорд-казначеем Ирландии и главным сенешалом Кнерсберга в графстве Иоркском? Знаешь ли ты, что лорд обер-камергер (это наследственная должность в роду герцогов Анкастерских) одевает короля в день коронации и получает в награду за свой труд сорок локтей малинового бархата да еще постель, на которой спал король, и что в процессиях ему всегда предшествует, в качестве его представителя, пристав черного жезла? Хотел бы я посмотреть, как ты станешь протестовать против того, что старейшим виконтом Англии признается сэр Роберт Брент, пожалованный в виконты Генрихом Пятым. Все титулы лордов указывают на право владения какими-нибудь землями, за исключением лорда Риверса, у которого фамилия вместе с тем и титул. Ведь это замечательно, что они имеют право облагать налогом других, взимая, как, например, нынче, по четыре шиллинга с фунта стерлингов ежегодного дохода, каковая приви-

легия продлена еще на год! Какое великолепное изобретение — пошлина на очищенный спирт, акциз на вино и на пиво, сборы за взвешивание и обмер товаров, налоги на сидр, на грушевую наливку, на солод, на перегонку ячменя, на каменный уголь и согни тому подобных налогов! Преклонимся перед существующим порядком! Даже духовенство находится в зависимости от лордов. Мэнский епископ — подданный графа Дерби. Лорды имеют собственных зверей, которых они помещают в свои гербы. Так как господь бог сотворил недостаточное количество зверей, то лорды изобретают новые разновидности. Они создали геральдического кабана, который настолько же выше обыкновенного, насколько тот выше свиньи или насколько знатный вельможа выше священника. Они создали грифона, этого орла среди львов и льва среди орлов, пугающего львов своими крыльями, а орлов — своей гривой. У них есть геральдический змей, единорог, саламандра, тараск, дрея, дракон, гиппогриф. Все это наводит на нас ужас, а им служит украшением. У них есть зверинец, называемый гербовником, в котором рычат невиданные чудовища. Ни в одном лесу не найдешь таких диковин, как те, что порождены их спесью. Их тщеславие полно

всяких призраков, которые словно прогуливаются среди величественного мрака, вооруженные, в шлемах и панцирях, бряцают шпорами и, держа в руке имперский жезл, грозным голосом говорят: «Мы — предки!» Жуки подтачивают корни растений, а гербы — народное благосостояние. Так и надо! Стоит ли из-за этого изменять законы? Дворянство — неотъемлемая часть существующего порядка. Знаешь ли ты, что в Шотландии есть герцог, который может проскакать тридцать лье по прямой, не выходя за пределы своих владений? Знаешь ли ты, что у лорда-архиепископа Кентерберийского миллион франков ежегодного дохода? Знаешь ли ты, что его величество получает ежегодно по цивильному листу семьсот тысяч фунтов стерлингов, не считая доходов с замков, лесов, наследственных имений, ленных владений, аренд, поместий, свободных от всяких повинностей, пребенд, десятин, оброков, конфискаций и штрафов, превышающих миллион фунтов стерлингов? Те, кто недоволен этим, попросту привередничают.

— Да, — задумчиво прошептал Гуинплен, — рай богатых создан из ада бедных.

12. Урсус-поэт увлекает Урсуса-философа

Вошла Дея. Он взглянул на нее и больше уже

ничего не видел. Такова любовь. Вихрь мыслей может на мгновение завладеть нами, но входит любимая женщина, и сразу исчезает все, что не имеет к ней непосредственного отношения, бесследно исчезает, и она даже не подозревает, что, быть может, уничтожила в нашей душе целый мир.

Упомянем здесь об одном незначительном обстоятельстве. В «Побежденном хаосе» Дее не нравилось слово «monstro» (чудовище), с которым она должна была обращаться к Гуинплену. Иногда, пользуясь тем небольшим знанием испанского языка, которым в то время обладали все, она самовольно заменяла это слово другим, а именно «quiero», что означает «желанный». Урсус относился к таким изменениям текста с некоторым неудовольствием. Он свободно мог бы заявить Дее, как в наши дни Моэссар сказал Виссо:

— Ты с недостаточным уважением подходишь к репертуару.

«Человек, который смеется» — такова была кличка, под которой Гуинплен приобрел известность. Под этим прозвищем исчезло его настоящее имя, почти никому неизвестное, так же, как исчезло под маской смеха его настоящее

лицо. Его популярность тоже была маской.

Между тем его имя красовалось на широкой вывеске, водруженной на передней стенке «Зеленого ящика». Надпись, сочиненная Урсусом, гласила:

«Здесь можно видеть Гуинплена, брошенного в десятилетнем возрасте, в ночь на 29 января 1690 года, злодеями компрачикосами на берегу моря в Портленде, ставшего взрослым и теперь носящего имя: ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ».

Существование этих фигляров походило на существование прокаженных в лепрозории или на блаженную жизнь обитателей некоей Атлантиды. Ежедневно совершался привычный для них переход от самых шумных выступлений перед ярмарочной толпой к полной отрешенности от внешнего мира. Каждый вечер они покидали этот мир, исчезали, словно мертвецы в могильной сени, и на следующий день снова оживали. Актер — это вертящийся фонарь маяка, огонь которого то вспыхивает, то пропадает; для публики од только призрак, только проблеск в этой жизни, где свет постоянно сменяется тьмою.

За выступлением на площади следовало добровольное заточение. Как только кончалось представление и поредевшая толпа зрителей

растекалась по смежным улицам, громко выражая свое одобрение, «Зеленый ящик» поднимал откидную стенку, точно крепость подъемный мост, и общение со всем остальным человечеством прерывалось. По одну сторону находилась вселенная, по другую — передвижной барак, и в этом бараке ярким созвездием сияли свобода, чистая совесть, мужество, самоотверженность, невинность, счастье, любовь.

Ясновидящая слепая и любимый ею урод садились рядом, рука сжимала руку, чело прикасалось к челу, и так, пьянея от близости, они перешептывались друг с другом.

Средняя часть «Зеленого ящика» имела двойное назначение: для публики она была сценой, для актеров — столовой.

Урсус, всегда охотно прибегавший к сравнению, пользовался этим как поводом к уподоблению средней части фургона «аррадашу» абиссинской хижины.

Урсус подсчитывал выручку, потом садились за ужин. Любовь во всем находит нечто идеальное; когда влюбленные вместе едят и пьют, это создает для них возможность украдкой обмениваться восхитительными прикосновениями, превращающими любой глоток в поцелуй. Они пьют эль

или вино из одного стакана, как пили бы росу из чашечки одной лилии. Их души напоминают пару грациозных птичек. Гуинплен прислуживал Дее, нарезал ей ломтиками хлеб или мясо, наливал ей чаю, близко наклонялся к ней.

— Гм! — мычал Урсус, но его брюзжание, помимо его воли, переходило в улыбку.

Волк ужинал под столом, не обращая внимания ни на что, кроме своей кости.

Винос и Фиби разделяли общую трапезу, но никого не стесняли своим присутствием. Эти полудикарки, все еще чуждавшиеся людей, говорили между собой по-цыгански.

После ужина Дея вместе с Фиби и Винос удалялась на «женскую половину», Урсус шел привязывать Гомо на цепь под «Зеленым ящиком», а Гуинплен направлялся к лошадям, превращаясь из влюбленного в конюха, подобно гомеровскому герою или паладину Карла Великого. В полночь все уже спало, кроме волка, который, полный сознания своей ответственности, время от времени приоткрывал один глаз.

На следующее утро все сходились опять. Завтракали вместе — обычно хлебом с ветчиной, запивая его чаем, который в Англии вошел в употребление с 1678 года. Затем Дея, следуя ис-

панскому обычаю и совету Урсуса, находившего, что она слаба здоровьем, спала несколько часов, между тем как Гуинплен и Урсус занимались внутри фургона и на дворе всеми теми мелкими работами, которых требует кочевая жизнь.

Лишь в редких случаях покидал Гуинплен «Зеленый ящик», чтобы побродить немного, да и то по пустынным дорогам и безлюдным местам. В городах он выходил лишь ночью, надвинув на глаза широкополую шляпу, чтобы его лицо не примелькалось на улице.

С открытым лицом его можно было видеть только на сцене.

Впрочем, «Зеленый ящик» не слишком часто заглядывал в города; Гуинплен в свои двадцать четыре года еще не видел городов больше Пяти Портов. Между тем слава Гуинплена росла. Она уже вышла за пределы простонародья и начинала подниматься выше. Громкая молва о человеке с необычайным лицом, кочующем с места на место и появляющемся неожиданно то здесь, «то там, передавалась из уст в уста любителями ярмарочных чудес и охотниками до диковинок. О нем говорили, его искали, спрашивали друг друга: „Где он? Как бы его посмотреть?“. „Человек, который смеется“ положительно становился зна-

менитым. Отблеск его славы падал до некоторой степени и на „Побежденный хаос“.

И вот однажды Урсус, исполненный честолюбивых замыслов, объявил:

— Надо ехать в Лондон.

Часть третья. Возникновение трещины

1. Тедкастерская гостиница

В Лондоне в ту пору был всего один мост — Лондонский мост, застроенный домами. Мост этот соединял город с Саутворком — предместьем, узкие улички и переулки которого, вымощенные галькой из Темзы, казались настоящими теснинами; подобно самому городу, Саутворк представлял собой беспорядочное нагромождение всякого рода построек, жилых домов и деревянных лачуг, бывших вполне подходящей пищей для пожаров: 1666 год доказал это.

Слово Саутворк произносили в то время как Соудрик, а в наши дни произносят приблизительно Соузуорк. Впрочем, наилучший способ произношения английских имен — это совсем не произносить их. Например, Саутгемптон выговаривайте так: Стпнтн.

Это — было время, когда Четэм произносили как Je t'aime.[187]

Тогдашний Саутворк так же был похож на ны-

нешний Саутворк, как Вожирар[188]

на Марсель. Теперь это город; тогда это был поселок, бывший, однако, весьма оживленным портом. В длинную, старую, напоминавшую циклопические сооружения стену над Темзой были вделаны кольца, к которым пришвартовывались речные суда. Стена эта называлась Эфрокской стеной, или Эфрокстоун. Когда Йорк был еще саксонским, он назывался Эфрок. Согласно преданию, у подножия этой стены утопился какой-то эфрокский герцог. В самом деле, место здесь достаточно глубокое для любого герцога. Даже во время отлива глубина тут была не менее шести брассов. Эта отличная якорная стоянка привлекала к себе морские суда, и старинная пузатая голландская шхуна «Вограат» становилась обычно на причал к Эфрок-стоуну. «Вограат» еженедельно совершала прямой рейс из Лондона в Роттердам и из Роттердама в Лондон. Другие суда отходили по два раза в день в Детфорт, в Гринич или в Гревсенд, отправляясь с отливом и возвращаясь с приливом. Переход до Гревсенда занимал шесть часов, хотя расстояние и не превышало двадцати миль.

Шхуна «Вограат» принадлежала к числу тех судов, которые можно встретить теперь толь-

ко в морских музеях. Ее чрезмерно выпуклый корпус немного напоминал джонку. В ту пору Франция подражала Греции, а Голландия — Китаю. «Вограат», тяжелая двухмачтовая шхуна с водонепроницаемыми перпендикулярными переборками в трюме, имела посредине глубокую каюту, а на носу и на корме палуба была без бортов, как на теперешних железных судах, снабженных башенками. Отсутствие борта имело то преимущество, что во время бури ослаблялся напор волн, однако вместе с тем экипаж подвергался опасности: не встречая на своем пути никакой преграды, волны смывали людей прямо в море. Случаи их гибели бывали столь частыми, что от такого типа судна пришлось отказаться. Обычно «Вограат» шла прямо в Голландию, даже не останавливаясь в Гревсенде.

Вдоль подножия Эфрок-стоуна тянулся старинный каменный карниз — частью утес, частью искусственно сооруженный выступ, и это облегчало судам возможность пришвартовываться к стене при любом уровне воды. Стена эта, пересеченная в нескольких местах лестницами, представляла границу южной оконечности Саутворка. Земляная насыпь позволяла прохожим облокачиваться на гребень Эфрок-стоуна, как на

парапет набережной. Отсюда открывался вид на Темзу. По другую сторону реки кончался Лондон; дальше тянулись поля.

Возле Эфрок-стоуна, у излучины Темзы, почти напротив Сент-Джемского дворца и позади Ламбет-Хауза, неподалеку от места гулянья, носившего тогда название Фокс-Холл, между горшечной мастерской, где выделывали фарфоровую посуду, и стеклянным заводом, где изготовляли цветные бутылки, находился один из тех больших, поросших сорными травами пустырей, которые во Франции были известны под названием бульваров, а в Англии — bowling-greens. Слово bowling-green, означающее «зеленая лужайка для катания шара», мы переделали в boulingrin. В наши дни такие лужайки устраивают в домах, только теперь их располагают на столе: зеленое сукно заменяет дерн, и все это называется бильярдом.

Между прочим, непонятно, почему, имея уже слово бульвар (boulevard — boule-vert), совершенно соответствующее по смыслу слову bowling-green, мы придумали еще boulingrin. Удивительно, что такая солидная особа, как словарь, позволяет себе подобную ненужную роскошь.

Саутворкская «зеленая лужайка» называлась

Таринзофилд, ибо некогда она принадлежала баронам Гастингсам, носившим также титул баронов Таринзо-Моклайн. От баронов Гастингсов Таринзофилд перешел к баронам Тедкастерам, которые сдавали его в аренду в качестве места для народных гуляний, подобно тому как позднее один из герцогов Орлеанских сделал своей доходной статьей Пале-Рояль. С течением времени Таринзофилд как выморочное имущество стал приходской собственностью.

Таринзофилд представлял собой нечто вроде постоянной ярмарочной площади, где выстраивались в ряд балаганы фокусников, эквилибристов, фигляров, музыкантов и где вечно толпились зеваки, «приходившие поглазеть на дьявола», как говаривал архиепископ Шарп. «Глазеть на дьявола» — значило смотреть представление. На эту празднично разукрашенную площадь выходили фасадом несколько харчевен, из которых одни отбивали публику у театров, а другие поставляли им зрителей. Харчевни эти процветали. Это были обыкновенные кабачки, открытые только днем. Вечером хозяин запирал свой кабачок, клал ключ в карман и уходил. Только одно из этих заведений носило характер гостиницы и было единственным прочным жилым помеще-

нием на всей «зеленой лужайке», ибо остальные ярмарочные постройки могли быть разобраны в любую минуту: ничто не привязывало всех этих странствующих комедиантов к одному месту. Фигляры ведут кочевой образ жизни.

Это заведение, называвшееся Тедкастерской гостиницей, по имени бывших владельцев поля, напоминало скорее постоялый двор, чем таверну, и скорее гостиницу, чем харчевню; в его довольно широкий двор можно было попасть через большие ворота.

Ворота, выходившие на площадь, были как бы парадным подъездом Тедкастерской гостиницы; рядом с ними находилась боковая дверь, которой и пользовались обычно посетители. Люди всегда и всюду предпочитают входить не с главного входа. Эта дверь служила единственным средством сообщения между площадью и харчевней. Она вела непосредственно в харчевню — просторное, но невзрачное, сплошь уставленное столами помещение с низким потолком и закоптелыми стенами. Прямо над ней, во втором этаже, было пробито окно, и на железной его решетке была прикреплена вывеска гостиницы. Ворота же, крепко запертые на засов, никогда не отпирались.

Чтобы проникнуть во двор, нужно было пройти через кабачок.

В Тедкастерской гостинице были хозяин и слуга. Хозяина звали дядюшкой Никлсом, слугу — Говикемом. Дядюшка Никлс — очевидно, Николай, превратившийся с помощью английского произношения в Никлса, — был скупой вдовец, вечно трепетавший перед законом. У него были густые брови и волосатые руки. Что касается четырнадцатилетнего мальчугана, прислуживавшего посетителям и откликавшегося на имя Говикем, то это был большеголовый подросток с всегда улыбающейся физиономией. Он носил передник и был подстрижен под гребенку в знак своего зависимого положения. Спал он в нижнем этаже, в крохотной конурке, где прежде держали собаку. Окном этой конурки служило круглое отверстие, выходившее на «зеленую лужайку».

2. Красноречие под открытым небом

Однажды вечером, в холодную и ветреную погоду, когда, казалось, никому не могла прийти охота задерживаться на улице, какой-то человек, проходивший по Таринзофилду, остановился вдруг у стен Тедкастерской гостиницы. Был конец зимы 1704–1705 года. Человек этот, судя по одежде — матрос, был хорош собой и высок ростом — ка-

чества, которые требуются от придворных, но не возбраняются и простолюдинам. Для чего он остановился? Он остановился, чтобы послушать. Что же он слушал? Голос, который раздавался по ту сторону стены, очевидно со двора; голос этот был старческим, но звучал так громко, что его слышно было на улице. И в то же время во дворе, откуда раздавался этот голос, слышался гул толпы. Голос говорил:

— Вот и я, жители и жительницы Лондона. От всего сердца поздравляю вас с тем, что вы — англичане. Вы — великий народ. Скажу точнее: вы — великое простонародье. Вы деретесь на кулачках еще лучше, чем на шпагах. У вас превосходный аппетит. Вы — нация, которая поедает другие народы. Великолепное занятие! Эта способность пожирать других ставит Англию на совершенно особое место. В своей политике и философии, в своем искусстве прибрать к рукам колонии и целые народности, в ремеслах и промышленности, в своем умении причинять другим зло, приносящее вам выгоду, вы ни с кем не сравнимы, вы изумительны! И недалек уже день, когда земной шар будет разделен на две части; на одной будет надпись: «Владения людей», на другой — «Владения англичан». Утверждаю

это к вящей вашей славе — я, не имеющий отношения ни к тем, ни к другим, ибо я не англичанин и не человек: я имею честь быть медведем. Кроме того, я еще и доктор — одно не мешает другому. Джентльмены, я поучаю. Чему, спросите вы? Двум разным вещам: тому, что я знаю, и тому, чего я не знаю. Я продаю снадобья и подаю мысли. Подходите же и слушайте. Вас призывает наука. Хорошенько навострите уши; если они малы, истины попадет в них не много; если они велики, в них войдет немало глупости. Итак, внимание. Я учу науке, которая называется Pseudodoxia epidemica. У меня есть товарищ, который учит смеяться, я же учу мыслить. Мы живем с ним в одном ящике, ибо смех так же благороден, как благородно знание. Когда Демокрита[189]

спрашивали: «Как познаешь ты истину?», он ответствовал: «Я смеюсь». А если спросят меня: «Почему ты смеешься?», я отвечу на это: «Потому что познал истину». Впрочем, я вовсе не смеюсь. Я искореняю предрассудки. Я хочу прочистить ваши мозги. Они весьма засорены. Господь бог охотно дозволяет, чтобы народ обманывался и был обманут. Отбросим ложную скромность; я совершенно открыто заявляю, что верую в бога, даже тогда, когда он бывает неправ. Однако,

когда я вижу мусор, — а предрассудки тот же мусор, — я выметаю его. Откуда я знаю то, что я знаю? Это уж мое дело. Каждый учится по-своему. Лактанций[190]

вопрошал бронзовую голову Вергилия, и она отвечала ему. Сильвестр Второй[191]

беседовал с птицами. Что ж, птицы говорили по-человечьи, — или, может быть, папа щебетал по-птичьи? Это не выяснено. Умерший ребенок раввина Елеазара разговаривал со святым Августином. Говоря между нами, я сильно сомневаюсь в истинности всех этих событий, кроме последнего. Допустим, что этот умерший ребенок действительно разговаривал; но под языком у него была золотая пластинка с начертаниями различных созвездий. Значит, тут плутовство. Все это вполне поддается объяснению. Как видите, я беспристрастен. Я отделяю правду от лжи. А вот вам другие заблуждения, которым вы, бедные, невежественные люди, наверное отдаете дань и от которых я хочу освободить вас. Диоскорид[192]

полагал, что бог сокрыт в белене, Хризипп[193]

находил его в черной смородине, Иосиф[194]

- в репе, Гомер — в чесноке. Все они ошибались. Не бог заключен в этих растениях, а дьявол. Я это проверил. Неверно, что у змея, соблазнившего

Еву, было человеческое лицо, как у Кадма[195]

Гарсиа де Горто, Кадамосто[196]

и Жан Гюго, архиепископ Тревский, отрицают, будто достаточно подпилить дерево, чтобы поймать слона. Я склонен согласиться с ними. Граждане, ложные убеждения возникают благодаря стараниям Люцифера. Когда находишься под владычеством князя тьмы, что удивительного в том, что заблуждения так и сыплются дождем? Добрые люди, знайте же, Клавдий Пульхр[197]

умер вовсе не от того, что куры отказались выйти из курятника; это Люцифер[198]

, предвидя кончину Клавдия Пульхра, помешал курам клевать корм. Тем, что Вельзевул дал императору Веспасиану силу исцелять калек и возвращать зрение слепым, он совершил поступок похвальный, но побуждения Вельзевула при этом были преступны. Джентльмены, не доверяйтесь шарлатанам, применяющим корень переступня и белой матицы и делающим глазные примочки из меда и крови петуха. Научитесь отличать ложь от правды. Неверно, будто Орион явился на свет вследствие того, что Юпитер удовлетворил свою естественную надобность; в действительности это светило произошло таким образом от Меркурия. Неправда, что у Адама был

пуп. Когда святой Георгий убил дракона, рядом не было никакой дочери святого. У святого Иеронима в кабинете не было никаких каминных часов: во-первых, потому, что в его пещере не было никакого кабинета; во-вторых, потому, что там не было камина; в третьих, потому, что в то время еще не существовало часов. Проверяйте, проверяйте все. Милые мои слушатели, если вам скажут, будто в мозгу человека, нюхающего валерианову траву, заводится ящерица, будто бык, разлагаясь, превращается в пчелиный рой, а лошадь — в шершней, будто покойник весит больше, чем живой, будто изумруд растворяется в козлиной крови, будто гусеница, муха и паук, замеченные на одном дереве, предвещают голод, войну и чуму, будто падучую возможно излечить с помощью червя, найденного в голове косули, — не верьте этому. Все это предрассудки. Но вот вам подлинные истины: тюленья шкура предохраняет от грома; жаба питается землей, и от этого в голове, у нее образуется камень; иерихонская роза цветет в сочельник; змеи не переносят тени ясеня; у слона нет суставов, и он вынужден спать стоя, опершись о дерево; если жаба высидит куриное яйцо, из него вылупится скорпион, который родит вам саламандру; если слепой доложит одну

руку на левую сторону алтаря, а другою закроет себе глаза, он пробреет; девственность не исключает материнства. Добрые люди, впитывайте в себя эти очевидные истины. А там можете верить в бога по-разному — либо как жаждущий верит в апельсин, либо как осел верит в кнут. Ну, а теперь я познакомлю вас с нашей труппой.

В это мгновение довольно сильный порыв ветра потряс оконные рамы и ставни гостиницы, стоявшей в стороне от других построек. Это было похоже на раскаты грома, донесшиеся с неба. Голос подождал минуту, затем продолжал:

— Перерыв. Что ж, не возражаю. Пусть говорит Аквилон. Джентльмены, я не сержусь. Ветер словоохотлив, как всякий отшельник. Там, наверху, ему не с кем поболтать. Вот он и отводит душу. Итак, я продолжаю. Перед вами труппа артистов. Нас четверо. A lupo principium — начинаю со своего друга; это волк. Он не возражает, чтобы на него смотрели. Смотрите же на него. Он у нас ученый, серьезный и проницательный. Как видно, провидение собиралось сделать его сначала доктором наук, но для этого требовалась некоторая доля тупоумия, а он совсем не глуп. Прибавим, что он лишен предрассудков и отнюдь не аристократ. При случае он не прочь завести

знакомство и с собакой, хотя имеет все права на то, чтобы его избранница была волчицей. Потомки его, если только они существуют, вероятно премило урчат, подражая тявканью матери и вою отца. Ибо волк воет. С людьми жить — по-волчьи выть. Но он также и лает — из снисхождения к цивилизации. Такая мягкость манер — проявление великодушия. Гомо — усовершенствованная собака. Собаку следует уважать. Собака — экое странное животное! — потеет языком и улыбается хвостом. Джентльмены, Гомо не уступит по уму бесшерстному мексиканскому волку, знаменитому холойтцениски, но превосходит его добросердечием. К тому же он смирен. Он скромен, как только может быть скромен волк, сознающий пользу, которую он приносит людям. Он сострадателен, всегда готов прийти на помощь, но делает это втихомолку. Его левая лапа не ведает, что творит правая. Таковы его достоинства. О втором своем приятеле скажу только одно: это чудовище. Вы только подивитесь на него. Некогда он был покинут пиратами на берегу океана. А вот это — слепая. Разве на свете мало слепых? Нет. Все мы слепы, каждый по-своему. Слеп скупец: он видит золото, но не видит богатства. Слеп расточитель: он видит

начало, но не видит конца. Слепа кокетка: она не видит своих морщин. Слеп ученый; он не видит своего невежества. Слеп и честный человек, ибо не видит плута, слеп и плут, ибо не видит бога. А бог тоже слеп — в день сотворения мира он не увидел, как в его творение затесался дьявол. Да ведь и я слеп: говорю с вами и не замечаю, что вы глухи. А вот эта слепая, наша спутница, это жрица таинственного культа. Веста могла бы доверить ей свой светильник. В ее характере есть нечто загадочное и вместе с тем нежное, как овечье руно. Думаю, что она королевская дочь, то не утверждаю этого. Мудрому свойственна похвальная недоверчивость. Что касается меня самого, то я учу и лечу. Я мыслю и врачую, Chirurgus sum[199]

Я исцеляю от лихорадки, от чумы и прочих болезней. Почти все виды воспалений и недугов не что иное, как заволоки, выводящие болезнь наружу, и если правильно лечить их, можно избавиться еще и от других болезней. И все же не советую вам обзаводиться многоголовым вередом, иными словами карбункулом. Это дурацкая болезнь, от которой нет никакого проку. От него умирают, только и всего. Не подумайте, что с вами говорит невежда и грубиян. Я высоко чту красноречие и поэзию и нахожусь с этими башнями

в очень близких, хотя и невинных отношениях. Заканчиваю свою речь советом: милостивые государи и милостивые государыни, выращивайте в душе своей, в самом светлом ее уголке, такие прекрасные цветы, как добродетель, скромность, честность, справедливость и любовь. Тогда каждый из нас сможет здесь, в этом мире, украсить свое окошко небольшим горшочком с цветами. Милорды и господа, я кончил. Сейчас начнем представление.

Человек в одежде матроса, прослушавший всю эту речь на улице, вошел в низкий зал харчевни, пробрался между столами, заплатил, сколько с него потребовали, за вход и сразу же очутился во дворе, переполненном народом; в глубине двора он увидел балаган на колесах с откинутой стенкой: на подмостках стояли какой-то старик, одетый в медвежью шкуру, молодой человек с лицом, похожим на уродливую маску, слепая девушка и волк.

— Черт побери, — воскликнул матрос, — вот замечательные актеры!

3. Прохожий появляется снова

«Зеленый ящик», который читатели, конечно, узнали, недавно прибыл в Лондон. Он остановился в Саутворке, Урсуса привлекала «зеленая

лужайка», имевшая то неоценимое достоинство, что ярмарка на ней не закрывалась даже зимой.

Урсусу было приятно увидеть купол святого Павла. В конце концов Лондон — это город, в котором немало хорошего. Ведь для того, чтобы посвятить собор святому Павлу, требовалось известное мужество. Настоящий соборный святой — это святой Петр. Святой Павел несколько подозрителен своим излишним воображением, а в вопросах церковных воображение ведет к ереси. Святой Павел признан святым только благодаря смягчающим его вину обстоятельствам. На небо он попал с черного хода.

Собор — это вывеска. Собор святого Петра — вывеска Рима, города догмы, так же как собор святого Павла — вывеска Лондона, города ереси.

Урсус, чье мировоззрение было настолько широко, что охватывало все на свете, был вполне способен оценить все эти оттенки, я его влечение к Лондону объяснялось, быть может, той особой симпатией, которую он питал к святому Павлу.

Урсус остановил свой выбор на Тедкастерской гостинице, обширный двор которой был как будто нарочно предназначен для «Зеленого ящика» и представлял собой уже совершенно готовый зрительный зал. Квадратный двор был отгорожен

с трех сторон жилыми строениями, а с четвертой — глухой стеной, возведенной против гостиницы; к этой-то стене и придвинули вплотную «Зеленый ящик», который вкатили во двор через широкие ворота. Длинная деревянная галерея с навесом, построенная на столбах, находилась в распоряжении жильцов второго этажа; она тянулась вдоль трек стен внутреннего фасада, образуя два поворота под прямым углом. Окна первого этажа были ложами бенуара, мощеный двор — партером, галерея — бельэтажем. «Зеленый ящик», прислоненный к стене, был обращен лицом к зрительному залу. Это весьма напоминало «Глобус», где были сыграны впервые «Отелло», «Король Лир» и «Буря».

В закоулке, за «Зеленым ящиком», помещалась конюшня.

Урсус договорился обо всем с хозяином харчевни дядюшкой Никлсом, который, из уважения к закону, согласился впустить волка только за большую плату. Вывеску «Гуинплен — Человек, который смеется», снятую с «Зеленого ящика», повесили рядом с вывеской гостиницы. В зале кабачка, как уже известно читателю, была внутренняя дверь, выходившая прямо во двор. Рядом с этой дверью поставили бочку без дна, которая

должна была изображать будку для «кассирши», обязанности которой поочередно выполняли Фиби и Винос. Все обстояло приблизительно так же, как в наши дни. С каждого зрителя брали плату. Под вывеской «Человек, который смеется» прибили двумя гвоздями доску, выкрашенную в белый цвет, на которой углем было выведено крупными буквами название знаменитой пьесы Урсуса — «Побежденный хаос».

В центре галереи, как раз напротив «Зеленого ящика», было устроено с помощью деревянных перегородок отделение для «благородной публики». В него входили через стеклянную дверь.

Здесь могли поместиться, усевшись в два ряда, десять человек.

— Мы в Лондоне, — сказал Урсус. — Надо быть готовым к тому, что явится и благородная публика.

По его требованию, в эту «ложу» поставили лучшие стулья, какие только нашлись в гостинице, а в середине — большое кресло, обитое утрехтским бархатом, золотистым, с вишневыми разводами, — на случай, если бы спектакль посетила жена какого-нибудь сановника.

Представления начались.

Сразу же хлынул народ.

Но отделение для знати пустовало.

Если не считать этого, успех был такой, что никто из комедиантов не мог припомнить ничего подобного. Весь Саутворк толпами сбегался поглазеть на «Человека, который смеется».

Среди скоморохов и фигляров Таринзофилда Гуинплен произвел настоящий переполох. Как будто ястреб влетел в клетку с щеглами и пожрал весь их корм. Гуинплен отбил у них всю публику.

Кроме убогих представлений, даваемых шпагоглотателями и клоунами, на ярмарочной площади бывали и настоящие спектакли. Тут был цирк с наездницами, с канатными плясуньями, откуда с утра до ночи доносились громкие звуки всевозможных инструментов: барабанов, цитр, скрипок, литавр, колокольчиков, сопелок, валторн, бубнов, волынок, немецких дудок, английских рожков, свирелей, свистулек, флейт и флажолетов.

В большой круглой палатке выступали прыгуны, с которыми не смогли бы тягаться и современные пиренейские скороходы — Дульма, Борденав и Майлонга, хотя они и спускаются с остроконечной вершины Пьерфит на Лимасонское плато, что почти равносильно падению.

Был там и бродячий зверинец с тигром-комиком, который, когда его хлестал укротитель, норовил вырвать у него бич и проглотить конец плети. Но Гуинплен затмил даже этого рычащего комика со страшной пастью и когтями.

Любопытство, рукоплескания, сборы, толпу — все перехватил «Человек, который смеется». Это произошло в мгновение ока. Кроме «Зеленого ящика», не признавали больше ничего.

— «Побежденный хаос» оказался хаосом-победителем, — говорил Урсус, приписывая себе половину успеха Гуинплена, или, как принято выражаться на актерском жаргоне, «оттягивая скатерть к себе».

Гуинплен имел необычайный успех. Однако это был только местный успех. Славе трудно преодолеть водную преграду. Понадобилось сто тридцать лет для того, чтобы имя Шекспира дошло из Англии во Францию: вода — стена, и если бы Вольтер, впоследствии очень сожалевший об этом, не помог Шекспиру[200]

, Шекспир и в наше время, быть может, еще находился бы по ту сторону стены, в Англии, в плещу у своей островной славы.

Слава Гуинплена не перешла через Лондонский мост. Она не приняла таких размеров, чтобы

вызвать эхо в большом городе. Во всяком случае на первых порах. Но и Саутворка достаточно для честолюбия клоуна. Урсус говорил:

— Мешок с выручкой, словно согрешившая девушка, толстеет прямо у вас на глазах.

Играли «Ursus rursus», затем «Побежденный хаос».

В антрактах Урсус показывал свои способности «энгастримита», давая сеансы чревовещания: он подражал голосу любого из присутствующих, пению, крику, поражая сходством самого певшего или кричавшего, а иногда воспроизводил гул целой толпы, и при этом гудел так громко, как будто в нем одном вмещалось множество людей. Замечательный талант!

Кроме того, он, как мы видели, и ораторствовал не хуже Цицерона, и торговал снадобьями, и занимался лекарской практикой, и даже вылечивал больных.

Саутворк был покорен.

Горячий прием, оказанный в Саутворке «Зеленому ящику», доставлял Урсусу удовольствие, но не удивлял его.

— Это древние тринобанты[201]

, - говорил он.

И прибавлял:

— Что касается изысканности их вкуса, я не сравню их ни с атробатами, населяющими Беркс, ни с белгами, обитателями Сомерсета, ни с паризиями[202]

, основавшими Йорк.

На время каждого представления двор гостиницы, превращенный в партер, заполнялся бедно одетой, но восторженной публикой. Это были лодочники, носильщики, корабельные плотники, рулевые речных судов, матросы, только что сошедшие на берег и тратившие свое жалованье на пирушки и женщин. Были тут и кучера, и завсегдатаи кабаков, и солдаты, осужденные за какое-нибудь нарушение дисциплины носить красные мундиры черной подкладкой наружу и прозванные поэтому «черными гвардейцами». Весь этот народ стекался с улицы в театр, а из театра устремлялся в кабачок. И выпитые кружки отнюдь не вредили успеху спектакля.

Среди всех этих людей, которых принято называть «подонками», особенно выделялся один: он был выше других, крупнее, сильнее и шире в плечах; он казался менее бедным, чем остальные; его одежда, обычная одежда простолюдина, была, однако, опрятной и не рваной. Не зная меры в выражении своего восторга, он пролагал себе

дорогу кулаками, ерошил свои вихры, ругался, кричал, зубоскалил и мог при случае подбить кому-нибудь глаз, но тотчас же поставить потерпевшему бутылку вина.

Этот завсегдатай был тот самый прохожий, у которого, как мы помним, вырвалось на улице восторженное восклицание.

Этот знаток искусства сразу же пленился «Человеком, который смеется». Ходил он не на все представления, но когда приходил, то становился «вожаком» публики; рукоплескания превращались в овации; бурные волны успеха взмывали если не до потолка (его и не было), то до облаков, которых было достаточно (из этих облаков иногда шел дождь, безжалостно поливавший гениальное произведение Урсуса, не защищенное крышей).

В конце концов Урсус заметил этого человека, и Гуинплен тоже обратил на него внимание.

В его лице они, по-видимому, нашли надежного друга.

Урсусу и Гуинплену захотелось познакомиться с ним или по крайней мере узнать, кто он такой.

Как-то вечером, столкнувшись случайно с хозяином гостиницы Никлсом, Урсус показал ему из-за кухонной двери, служившей кулисой, на

незнакомца и спросил:

— Знаете вы этого человека?

— Еще бы.

— Кто он?

— Матрос.

— Как его зовут? — вмешался Гуинплен.

— Том-Джим-Джек, — ответил хозяин гостиницы.

И, спускаясь по откидной лесенке «Зеленого ящика», чтобы возвратиться в свое заведение, дядюшка Никлс обронил чрезвычайно глубокомысленное замечание:

— Какая жалость, что он не лорд. Славная из него вышла бы каналья!

Хотя труппа «Зеленого ящика» и остановилась во дворе гостиницы, она ни в чем не изменила своего обычного уклада жизни и по-прежнему держалась обособленно. Если не считать нескольких слов, которыми ее участники изредка перебрасывались с хозяином, они не вступали ни в какие сношения с обитателями гостиницы, как постоянными, так и временными, и продолжали общаться только друг с другом.

С тех пор как они прибыли в Саутворк, Гуинплен завел привычку по окончании спектакля, уже после того, как все, — и люди и лошади, — по-

ужинают, а Урсус и Дея улягутся спать, каждый в своем отделении, выходить между одиннадцатью и двенадцатью часами на «зеленую лужайку» подышать немного свежим воздухом. Мечтательное настроение предрасполагает к ночным прогулкам под звездами; юность — вся таинственное ожидание; потому-то молодежь так охотно и бродит ночью без всякой цели. В этот поздний час на ярмарочной площади уже на было никого, кроме нескольких пьяниц, чьи колеблющиеся силуэты вырисовывались в темноте; закрывались пустые таверны, гасли огни в низком зале Тедкастерской гостиницы; только где-нибудь в углу догорала последняя свеча, освещая последнего посетителя; сквозь неплотно закрытые ставни пробивался тусклый свет, и Гуинплен, задумчивый, довольный, погруженный в мечты, ощущая в душе прилив невыразимого счастья, расхаживал взад и вперед близ приоткрытой двери. О чем думал он? О Дее, обо всем и ни о чем; он думал о самом сокровенном. Он никогда не отходил слишком далеко от гостиницы, словно какая-то нить удерживала его подле Деи. Для него было вполне достаточно пройтись около дома.

Затем он возвращался, заставал всех обита-

телей «Зеленого ящика» уже спящими и сам засыпал.

4. Ненависть роднит самых несходных людей

Чужого успеха не выносят, в особенности те, кому он вредит. Пожираемые редко любят пожирателей. «Человек, который смеется» стал положительно событием. Окрестные фигляры негодовали. Театральный успех — это смерч, который, засасывая толпу, оставляет вокруг пустое пространство. В балагане, стоящем напротив, начался переполох. Повышение сборов в балагане «Зеленый ящик» сразу же вызвало снижение выручки в соседних заведениях. Балаганы, которые до этого времени охотно посещались, внезапно перестали привлекать к себе зрителей. Это было как бы понижением уровня жидкости в одном из двух сообщающихся сосудов, о котором можно было судить по повышению уровня в другом. Все театры знают эти приливы и отливы: половодье в одном вызывает мелководье в другом. Ярмарочный муравейник, выставлявший напоказ на соседних подмостках свои таланты и фанфарами зазывавший к себе публику, оказался совершенно разоренным «Человеком, который смеется»; но, впав в отчаяние, он вместе с тем был ослеплен

Гуинпленом. Ему завидовали все скоморохи, все клоуны, все фигляры. Ну и счастливчик же этот обладатель звериной морды! Матери-комедиантки и канатные плясуньи с досадой смотрели на своих хорошеньких ребятишек и говорили, указывая на Гуинплена:

— Какая жалость, что у тебя не такое лицо!

Некоторые из них шлепали своих малышей, злясь, что они так красивы. Немало матерей, знай они только секрет, охотно изуродовали бы лицо своих сыновей наподобие Гуинплена. Ангельское личико, не приносящее никакого дохода, ничего не стоит по сравнению с дьявольской рожей, обогащающей ее обладателя.

Как-то мать одного малютки, игравшего на сцене купидонов и прелестного словно херувим, воскликнула:

— Что за неудачные вышли у нас дети! Вот Гуинплен уродился на славу.

И, погрозив кулаком своему ребенку, прибавила:

— Знала бы я, кто твой отец, уж устроила бы я ему скандал!

Гуинплен был курицей, несущей золотые яйца. «Какое удивительное чудо!» — только и слышно было во всех балаганах. Скоморохи, скрежеща

зубами, глазели на Гуинплена с восхищением и отчаянием. Когда восторгается злоба — это называется завистью. В таких случаях ее голос становится воем. Соседи «Зеленого ящика» сделали попытку сорвать успех «Побежденного хаоса»; сговорившись между собой, они начали свистеть, хрюкать, выть. Это послужило для Урсуса поводом обратиться к толпе с обличительными речами в духе Гортензия[203]

и дало возможность Том-Джим-Джеку прибегнуть к тумакам, достаточно внушительным, чтобы восстановить порядок. Кулачная расправа, учиненная Том-Джим-Джеком, окончательно привлекла к нему внимание Гуинплена и вызвала уважение Урсуса. Впрочем, только издали, так как труппа «Зеленого ящика» ни с кем не искала знакомства и держалась особняком. Что же касается Том-Джим-Джека, то он казался головой выше предводительствуемого им сброда и ни с кем, по-видимому, не был дружен и близок: буян и зачинщик всяких скандалов, он то появлялся, то исчезал, всему свету приятель и никому не товарищ.

Однако неистовые завистники Гуинплена не сочли себя побежденными после нескольких затрещин, которые закатил им Том-Джим-Джек.

Когда попытка освистать пьесу провалилась, таринзофилдские комедианты подали жалобу. Они обратились к властям. Это — обычный прием. Если чей-нибудь успех становится нам поперек дороги, мы сперва натравливаем на этого человека толпу, а затем прибегаем к содействию полиции.

К фиглярам присоединились священники: «Человек, который смеется» нанес ущерб проповедникам. Опустели не только балаганы, но и церкви. Часовни пяти саутворкских приходов лишились своих прихожан. Люди удирали с проповеди, чтобы посмотреть на Гуинплена. «Побежденный хаос», «Зеленый ящик», «Человек, который смеется» — все эти языческие мерзости брали верх над церковным красноречием. Глас вопиющего в пустыне, vox damantis jn deserto, в таких случаях не бывает доволен и охотно призывает на помощь власти предержащие. Настоятели пяти приходов обратились с жалобой к лондонскому епископу, а тот в свою очередь — к ее величеству.

Комедианты исходили в своей жалобе из соображений религиозного свойства. Они заявляли, что религии нанесено оскорбление. Они обвиняли Гуинплена в чародействе, а Урсуса — в

безбожии.

Священники, напротив, выдвигали доводы общественного порядка. Оставляя в стороне вопросы церковные, они ссылались на нарушение парламентских актов. Это было более хитро. Ибо дело происходило во времена Локка, скончавшегося всего за шесть месяцев до этого, 28 октября 1704 года, и скептицизм, которым Болингброк вскоре заразил Вольтера, уже начинал оказывать свое влияние на умы. Впоследствии Уэсли пришлось снова обратиться к библии, подобно тому как в свое время Лойола восстановил папизм.

Таким образом, на «Зеленый ящик» повели атаку с двух сторон: фигляры — во имя пятикнижия, и духовенство — во имя полицейских правил. С одной стороны — небо, с другой — дорожный устав, причем священники вступались за уличное движение, а скоморохи — за небо. Преподобные отцы утверждали, что «Зеленый ящик» препятствует свободному движению по дорогам, а фигляры усматривали в нем кощунство.

Был ли к этому какой-либо повод? Давал ли «Зеленый ящик» основание для обвинений? Да, давал. В чем же заключалось его преступление? А вот в чем: в труппе находился волк. Волку же в Англия жить не разрешается. Догу — можно,

а волку — нельзя. Англия не возражает против собаки, которая лает, но не признает той, которая воет: такова грань между скотным двором и лесом. Настоятели и викарии пяти саутворкских приходов ссылались в своих жалобах на многочисленные королевские и парламентские статуты, объявлявшие волка вне закона. В заключение они требовали, чтобы Гуинплена заточили в тюрьму, а волка посадили в клетку или, на худой конец, изгнали обоих из прадедов Англии. По их словам, это вызывалось интересами общественного порядка, необходимостью оградить прохожих от опасности и т. п. Кроме того, они ссылались на авторитет науки. Они цитировали определение коллегии восьмидесяти лондонских медиков, ученого учреждения, существующего со времен Генриха VIII, имеющего, подобно государству, свою печать, возводящего больных в ранг подсудимых, пользующегося правом подвергать тюремному заключению всякого, кто преступит его постановления и нарушит его предписания; среди прочих направленных к охране здоровья граждан полезных открытий эта коллегия установила следующий чрезвычайно важный научный факт: «Если волк первым увидит человека, то человек охрипнет на всю жизнь. Кроме того, волк

может укусить его».

Таким образом, Гомо оказался предлогом для преследования.

Благодаря хозяину гостиницы Урсус был осведомлен обо всех этих происках. Он встревожился, ибо боялся и когтей полиции и когтей правосудия. Чтобы бояться судейских чиновников, достаточно одного только страха: вовсе нет необходимости быть в чем-нибудь виновным. — Урсус совершенно не желал входить в соприкосновение с шерифами, прево, судьями или коронерами. Он отнюдь не стремился лицезреть их близко. Он так же жаждал познакомиться с представителями судебного ведомства, как заяц с борзыми.

Он уже начинал сожалеть, что приехал в Лондон.

— От добра добра не ищут, — бормотал он про себя. — Я считал эту пословицу не стоящей внимания, и ошибался. Дурацкие истины оказываются самой настоящей правдой.

Против стольких объединившихся сил, против скоморохов, вступившихся за религию, и против духовных пастырей, возмутившихся во имя медицины, бедный «Зеленый ящик», заподозренный в чародействе в лице Гуинплена и в водобоязни в лице Гомо, имел только один

козырь — бездеятельность местных властей, являющуюся в Англии большой силой. Из этой-то бездеятельности и родилась английская свобода. В Англии свобода ведет себя так же, как ведет себя в Англии море. Она подобна морскому приливу. Обычай вздымается мало-помалу все выше и выше, поглощая в своей пучине страшное законодательство. Однако свирепый кодекс еще и поныне проступает сквозь прозрачную гладь свободы, — такова Англия.

«Человек, который смеется», «Побежденный хаос» и Гомо могли восстановить против себя фигляров, проповедников, епископов, палату общин, палату лордов, ее величество, Лондон, всю Англию — и оставаться тем не менее спокойными, пока за них стоял Саутворк. «Зеленый ящик» был излюбленным развлечением пригорода, а местные власти относились к нему, по-видимому, равнодушно. В Англии безразличие властей равносильно их покровительству. И пока шериф графства Серрей, в состав которого входит Саутворк, оставался в бездействии, Урсус мог дышать свободно, а Гомо — спать крепким сном.

Поскольку ненависть, внушаемая обитателями «Зеленого ящика», не достигала своей цели, она только способствовала их успеху. «Зеленому

ящику» покуда жилось от этого ничуть не хуже. Даже напротив. В публику проникли слухи об интригах и подкопах, и «Человек, который смеется» стал еще популярнее. Толпа чутьем угадывает донос и принимает сторону жертвы. Быть предметом травли — значит вызывать сочувствие. Народ инстинктивно берет под защиту все, на что направлен угрожающий перст власти. Жертва доноса — запретный плод и от этого лишь кажется милее. Да и рукоплескания, неугодные высокому начальству, весьма приятны. Провести весело вечер, выражая в то же время сочувствие притесняемому и возмущение притеснителями, — кому же это не понравится? Ты покровительствуешь угнетаемому и вместе с тем развлекаешься. Прибавим, что владельцы балаганов продолжали, по взаимному уговору, свистать и шикать «Человеку, который смеется». Ничто не могло в большей мере содействовать его успеху. Когда враги поднимают шум, это только увеличивает и подчеркивает триумф. Друг скорее устанет хвалить, нежели враг поносить. Хула не причиняет вреда. Этого не понимают враги. Они не могут удержаться от оскорблений, и в этом их польза. Они неспособны молчать и тем самым постоянно подогревают интерес публики. Толпа

валом валила посмотреть «Побежденный хаос».

Урсус хранил про себя все, что сообщал ему дядюшка Никлс об интригах и жалобах, поданных высокому начальству, и не затоваривал об этом с Гуинпленом, не желая лишать его спокойствия, необходимого актеру. Если нагрянет беда, об этом всегда успеешь узнать.

5. Жезлоносец

Впрочем, однажды Урсус счел необходимым отказаться от этой осторожности и во имя осторожности потревожить Гуинплена. Правда, он считал, что на этот раз речь идет о вопросе более важном, нежели происки ярмарочных фигляров и служителей церкви. Как-то раз, подобрав с полу фартинг, упавший при подсчете выручки, Гуинплен принялся внимательно рассматривать его; пораженный тем, что на этой монете, являвшейся как бы символом народной нищеты, изображена королева Анна, олицетворявшая паразитическое великолепие трона, он позволил себе в присутствии хозяина гостиницы весьма резкое суждение по этому поводу. Его слова, подхваченные Никлсом, передавались из уст в уста и в конце концов, через Фиби и Винос, дошли до Урсуса. Урсуса бросило в жар и в холод. Крамольные слова! Оскорбление ее величества! Он жестоко

разбранил Гуинплена.

— Заткни ты свою омерзительную пасть. Закон сильных мира сего — бездельничать; закон маленьких людей — молчать. У бедняка только один друг — это молчание. Он должен произносить лишь односложное «да». Все принимать, со всем соглашаться — вот его единственное право. Отвечать «да» судье. Отвечать «да» королю. Знатные люди могут, если им вздумается, избивать нас — меня самого били не раз — такова уж их привилегия, и они ничуть не умаляют своего величия, ломая нам кости. Костолом — это разновидность орла. Преклонимся же перед скипетром: он — первый среди палок. Почтение не что иное, как осторожность, безропотное подчинение — самозащита. Тот, кто оскорбляет короля, подвергает себя той же опасности, что и девушка, отважившаяся отрезать гриву у льва. Мне передавали, будто ты болтал какие-то глупости насчет фартинга, который по существу совершенно то же, что и лиар, и что ты отозвался неуважительно об этой монете с изображением высочайшей особы — монете, за которую нам на рынке дают осьмушку соленой селедки. Берегись. Будь серьезнее. Вспомни, что на свете есть наказания. Проникнись уважением к закону. Ты

находишься в стране, где человека, срубившего трехлетнее дерево, преспокойно ведут на виселицу, где охотникам божиться попусту надевают на ноги колодки. Пьяницу помещают в бочку с выбитым дном с отверстием для головы и с отверстиями по бокам для рук, так что ходить он может, но лечь не в состоянии. Ударивший кого-либо в зале Вестминстерского аббатства подлежит пожизненному заключению в тюрьме и конфискации имущества. У того же, кто сделает это в королевском дворце, отрубают правую руку. Щелкни кого-нибудь по носу так, чтобы у него пошла кровь, — и вот ты уже без руки. Уличенного в ереси сжигают на костре по приговору епископского суда. За пустячную провинность колесовали Кетберта Симпсона. Всего три года назад, в тысяча семьсот втором году, — как видишь, совсем недавно, — поставили к позорному столбу некоего злодея, Даниэля Дефо, за то, что он имел наглость напечатать имена членов палаты общин, которые накануне выступали с речами в парламенте. У человека, который предал ее величество, рассекают грудь, вырывают сердце и этим сердцем хлещут его по щекам. Вдолби себе в голову эти основные понятия права и справедливости. Никогда не позволять себе лишнего

слова и при малейшей тревоге быть готовым к отлету — в этом вся моя отвага; советую и тебе поступать так же. Будь храбр, как птица, и болтлив, как рыба. Помни, Англия тем и хороша, что ее законодательство отличается поразительной мягкостью.

После этого внушения Урсус еще долго не мог успокоиться, Гуинплен же нисколько не встревожился: молодость неопытна, а потому бесстрашна. Однако, невидимому, Гуинплен имел все основания сохранять спокойствие, ибо несколько недель протекло без всяких волнений и его слова о королеве как будто не повлекли за собой никаких последствий. Урсус, как известно, не отличался беспечностью и, подобно косуле, все время был настороже.

Однажды, несколько дней спустя после заданной Гуинплену головомойки, Урсус выглянул в слуховое окно, выходившее на площадь, и побледнел.

— Гуинплен!

— Что?

— Погляди.

— Куда?

— На площадь.

— Ну, и что же?

— Видишь этого прохожего?
— Человека в черном?
— Да.
— С дубинкой в руке?
— Да.
— Ну так что же?
— Так вот, Гуинплен, этот человек — wapentake.
— Что это такое — wapentake?
— Это жезлоносец, окружной пристав.
— А что значит окружной пристав?
— Это значит praepositus hundredi.
— Кто он такой, этот praepositus hundredi?
— Очень страшное должностное лицо, начальник сотни.
— А что у него в руке?
— Это — iron-weapon.
— Что такое iron-weapon?
— Железный жезл.
— А что он с ним делает?
— Прежде всего приносит на нем присягу. Потому-то его и зовут жезлоносец.
— А затем?
— А затем прикасается им к кому-либо.
— Чем?
— Железным жезлом.

— Жезлоносец прикасается железным жезлом?
— Да.
— Что это означает?
— Это означает: следуйте за мной.
— И нужно за ним идти?
— Да.
— Куда?
— Почем я знаю?
— Но сам-то он говорит, куда?
— Нет.
— А спросить у него можно?
— Нет.
— Как это так?
— Он ничего не говорит, и ему ничего не говорят.
— Но…
— Он дотрагивается до тебя железным жезлом, и этим все сказано. Ты должен идти за ним.
— Но куда?
— Куда он поведет.
— Но куда же?
— Куда ему вздумается, Гуинплен.
— А если отказаться?
— Повесят.

Урсус снова высунул голову в окошко, вздохнул всей грудью и сказал:

— Слава богу, прошел мимо! Это не к нам.

Урсус, по-видимому больше, чем следовало, страшился сплетен и доносов, которые могли последовать за неосторожными словами Гуинплена.

Дядюшке Никлсу, в чьем присутствии они были сказаны, не было никакой выгоды навлечь подозрение властей на бедных обитателей «Зеленого ящика». «Человек, который смеется» приносил немалый доход ему самому. «Побежденный хаос» оказался залогом двойного преуспеяния: в то время как в «Зеленом ящике» торжествовало искусство, в кабачке процветало пьянство.

6. Мышь на допросе у котов

Урсусу пришлось пережить еще одну тревогу, и достаточно страшную. На этот раз дело касалось непосредственно его. Он получил предложение явиться в Бишопсгейт, в комиссию, состоящую из трех пренеприятных лиц. Это были доктора, официальные блюстители порядка: один был доктор богословия, представитель вестминстерского декана; другой — доктор медицины, представитель Коллегии восьмидесяти, третий — доктор истории и гражданского права, представитель Грешемской коллегии. На этих трех экспертов in omni re scibili[204]

был возложен надзор за всеми речами, произносимыми публично на всей территории ста тридцати приходов Лондона, семидесяти трех приходов Миддлсекского графства, а заодно уж и пяти саутворкских. Эти богословские судилища существуют в Англии еще и поныне и беспощадно расправляются с провинившимися. 23 декабря 1868 года решением Арчского суда, получившим утверждение тайного совета лордов, преподобный Маконочи был приговорен к порицанию и возмещению судебных издержек за то, что зажег свечи на простом столе. Литургия шутить не любит.

Итак, в один прекрасный день Урсус получил от трех ученых докторов письменный вызов в суд, который, к счастью, был вручен ему лично, так что он мог сохранить дело в тайне. Не говоря никому ни слова, он отправился по этому вызову, трепеща при мысли, что в его поведении что-то могло подать повод заподозрить его, Урсуса, в какой-то дерзости. Для него, столько раз советовавшего другим помалкивать, это было жестоким уроком. Garrule, sana te ipsum.[205]

Три доктора — три официальных блюстителя законов — заседали в Бишопсгейте, в глубине зала первого этажа, в трех черных кожаных крес-

лах. Над их головами стояли бюсты Миноса, Эака и Радаманта[206]

, перед ними — стол, в ногах — скамейка.

Войдя в зал в сопровождении степенного и строгого пристава и увидав ученых мужей, Урсус сразу же мысленно окрестил каждого из них именем того страшного судьи подземного царства, чье изображение красовалось у него над головой.

Первый из трех, Минос, официальный представитель богословия, знаком велел ему сесть на скамейку.

Урсус поклонился учтиво, то есть до земли, и, зная, что медведя можно задобрить медом, а доктора — латынью, произнес, почти не разгибая спины — из уважения к присутствующим:

— Tres faciunt capitulum.[207]

И с опущенной головой (смирение обезоруживает) сел на скамейку.

Перед каждым из трех докторов лежала на столе папка с бумагами, которые они перелистывали.

Допрос начал Минос:

— Вы выступаете публично?

— Да, — ответил Урсус.

— По какому праву?

— Я — философ.

— Это еще не дает вам права.

— Кроме того, я — скоморох, — сказал Урсус.

— Это другое дело.

Урсус вздохнул с облегчением, но еле слышно. Минос продолжал:

— Как скоморох вы можете говорить, но как философ вы должны молчать.

— Постараюсь, — сказал Урсус.

И подумал: «Я могу говорить, но должен молчать. Сложная задача».

Он был сильно напуган.

Представитель богословия продолжал:

— Вы высказываете неблагонамеренные суждения. Вы оскорбляете религию. Вы отрицаете самые очевидные истины. Вы распространяете возмутительные заблуждения. Например, вы говорили, что девственность исключает материнство.

Урсус кротко поднял глаза.

— Я не говорил этого. Я только сказал, что материнство исключает девственность.

Минос задумался и пробормотал:

— В самом деле, это нечто прямо противоположное.

Это было одно и то же. Но первый удар был

отражен.

Размышляя над ответом Урсуса, Минос погрузился в бездну собственного тупоумия, вследствие чего наступило молчание.

Официальный представитель истории, тот, которого Урсус мысленно назвал Радамантом, постарался прикрыть поражение Миноса, обратившись к Урсусу со следующими словами:

— Обвиняемый, всех ваших дерзостей и заблуждений не перечислить. Вы отрицали тот факт, что Фарсальская битва[208]

была проиграна потому, что Брут и Кассий встретили по дороге негра.

— Я говорил, — пролепетал Урсус, — что это объясняется также тем, что Цезарь был более талантливым полководцем.

Представитель истории сразу перешел к мифологии:

— Вы оправдывали низости Актеона.[209]

— Я полагаю, — осторожно возразил Урсус, — что увидеть обнаженную женщину не позор для мужчины.

— И вы заблуждаетесь, — строго заметил судья.

Радамант опять вернулся к истории:

— В связи с несчастьями, постигшими конницу

Митридата[210]

, вы оспаривали всеми признанные свойства некоторых трав и растений. Вы утверждали, что от травы securiduca у лошадей не могут отвалиться подковы.

— Простите, — ответил Урсус, — я только говорил, что подобным свойством обладает лишь трава sferra-cavallo. Я не отрицаю достоинств ни в одном растении.

И вполголоса прибавил:

— И ни в одной женщине.

Последними словами Урсус хотел доказать самому себе, что, невзирая на свою тревогу, он не обезоружен. Несмотря на владевший им страх, Урсус не терял присутствия духа.

— Я настаиваю на этом, — продолжал Радамант. — Вы заявили, что Сципион[211]

поступил глупо, когда, желая отворить ворота Карфагена, он прибегнул к траве Aethlopis, ибо, по вашему мнению, трава Aethlopis не обладает способностью взламывать замки.

— Я просто сказал, что он поступил бы лучше, если бы воспользовался травой Lunaria.

— Ну, это еще вопрос, — пробормотал Радамант, задетый в свою очередь.

И представитель истории умолк.

Представитель богословия Минос, придя в себя, снова стал допрашивать Урсуса. За это время он успел просмотреть тетрадь с заметками.

— Вы отнесли аурипигмент к мышьяковым соединениям и говорили, что аурипигмент может служить отравой. Библия отрицает это.

— Библия отрицает, — со вздохом возразил Урсус, — зато мышьяк доказывает.

Особа, которую Урсус мысленно называл Эаком и которая в качестве официального представителя медицины не проронила до сих пор ни слова, теперь вмешалась в разговор и, надменно полузакрыв глаза, с высоты своего величия поддержала Урсуса. Она изрекла:

— Ответ не глуп.

Урсус поблагодарил Эака самой льстивой улыбкой, на какую только был способен.

Минос сделал страшную гримасу.

— Продолжаю, — сказал он. — Отвечайте. Вы говорили, что неправда, будто василиск царствует над змеями под именем Кокатрикса.

— Ваше высокопреподобие, — промолвил Урсус, — я нисколько не хотел умалить славы василиска и даже утверждал, как нечто, не подлежащее сомнению, что у него человеческая голова.

— Допустим, — сурово возразил Минос, — но вы прибавили, что Пэрий видел одного василиска с головою сокола. Можете вы доказать это?

— С трудом, — ответил Урсус.

Здесь он почувствовал, что теряет почву под ногами.

Минос, воспользовавшись его замешательством, продолжал:

— Вы говорили, что еврей, перешедший в христианство, дурно пахнет.

— Но я прибавил, что христианин, перешедший в иудейство, издает зловоние.

Минос бросил взгляд на тетрадь с обличительными записями.

— Вы распространяете самые вздорные бредни. Вы говорили, будто Элиан[212]

видел, как слон писал притчи.

— Нет, ваше высокопреподобие. Я просто сказал, что Оппиан[213]

слышал, как гиппопотам обсуждал философскую проблему.

— Вы заявили, что на блюде из букового дерева не могут сами собой появиться любые яства.

— Я сказал, что таким свойством может обладать лишь блюдо, подаренное вам дьяволом.

— Подаренное мне?!

— Нет, мне, ваше преподобие! Нет, никому! Я хотел сказать: всем!

И про себя Урсус подумал: «Я и сам уж не знаю, что говорю». Но, несмотря на то, что он сильно волновался, он почти ничем не выдавал своего волнения. Он продолжал бороться.

— Все это, — возразил Минос, — отчасти предполагает веру в дьявола.

Урсус не смутился.

— Ваше высокопреподобие, я верю в дьявола. Вера в дьявола — оборотная сторона веры в бога. Одна доказывает наличие другой. Кто хоть немного не верит в черта, не слишком верит и в бога. Кто верит в солнце, должен верить и в тень. Дьявол — это ночь господня. Что такое ночь? Доказательство существования дня.

Урсус импровизировал, преподнося своим судьям непостижимую смесь философии с религией. Минос снова задумался и еще раз погрузился в молчание.

Урсус опять вздохнул с облегчением.

И вдруг он подвергся неожиданной атаке. Эак, официальный представитель медицины, только что высокомерно защитивший его от богослова, внезапно из союзника превратился в нападающего. Положив кулак на внушительный ворох

испещренных записями бумаг, он сразил Урсуса в упор:

— Доказано, что хрусталь — результат естественной возгонки льда, и алмаз — результат такой же возгонки хрусталя; установлено, что лед становится хрусталем через тысячу лет, а хрусталь становится алмазом через тысячу веков. Вы это отрицали.

— Нет, — меланхолически возразил Урсус. — Я только говорил, что за тысячу лет лед может растаять и что тысячу веков не так-то легко счесть.

Допрос продолжался; вопросы и ответы звучали как сабельные удары.

— Вы отрицали, что растения могут говорить.

— Ничуть. Но для этого нужно, чтобы они росли под виселицей.

— Признаете вы, что мандрагора[214]

кричит?

— Нет, но она поет.

— Вы отрицали, что безымянный палец левой руки обладает свойством исцелять сердечные болезни?

— Я только сказал, что чихнуть налево — дурная примета.

— Вы дерзко и оскорбительно отзывались о фениксе.

— Ученейший судья, я всего-навсего говорил, что, утверждая, будто мозг феникса — вкусное блюдо, вызывающее, однако, головную боль, Плутарх зашел слишком далеко, так как феникса никогда не существовало.

— Возмутительные речи. Каннамалка, который вьет себе гнездо из палочек корицы, дубоноса, из которого Паризатида[215]

изготовляла свои отравы, манукодиату, которая не что иное, как райская птица, и семенду с тройным клювом ошибочно принимали за феникса; но феникс существовал.

— Я не возражаю.

— Вы осел.

— Вполне этим удовлетворен.

— Вы признали, что бузина излечивает грудную жабу, но вы прибавили, что это происходит вовсе не потому, что у нее на корне есть волшебный нарост.

— Я объяснял целебные свойства бузины тем, что на ней повесился Иуда.

— Суждение, близкое к истине, — пробормотал Минос, довольный тем, что может в свою очередь подпустить шпильку медику Эаку.

Задетое высокомерие сразу переходит в гнев. Эак пришел в ярость:

— Бродяга, ваш ум блуждает так же, как и ваши ноги. У вас подозрительные и странные наклонности. Вы занимаетесь чем-то близким к чародейству. Вы состоите в сношениях с неведомыми зверями. Вы говорите простонародью о вещах, существующих лишь в вашем воображении и природа которых никому не известна, например, о гемороусе.

— Гемороус — гадюка, которую видел Тремеллий.[216]

Этот ответ поверг свирепого доктора Эака в некоторое замешательство.

Урсус прибавил:

— В существовании гемороуса так же не может быть сомнений, как в существовании пахучей гиены или циветты, описанной Кастеллом.[217]

Эак вышел из затруднения, выпустив решительный заряд:

— Вот ваши подлинные, поистине дьявольские слова. Слушайте.

Заглянув в свои записи, Эак прочел:

— «Два растения, фалагсигль и аглафотис, светятся с наступлением темноты. Днем они цветы, ночью — звезды».

Он пристально посмотрел на Урсуса.

— Что вы можете сказать в свое оправдание?

Урсус ответил:

— Каждое растение — лампада. Его благоухание — свет.

Эак перелистал несколько страниц.

— Вы отрицали, что железы выдры выделяют жидкость, тождественную бобровой струе.

— Я ограничился замечанием, что, быть может, в этом вопросе не следует доверять Аэцию.[218]

Эак рассвирепел.

— Вы занимаетесь медицинской практикой?

— Я практикую в этой области, — робко вздохнул Урсус.

— На живых людях?

— Предпочитаю на живых, нежели на покойниках, — сказал Урсус.

Урсус отвечал серьезно и вместе с тем заискивающе; в этом удивительном сочетании двух интонаций преобладала вкрадчивость. Он говорил с такой кротостью, что Эак почувствовал потребность оскорбить его.

— Что вы там воркуете? — грубо сказал он.

Урсус растерялся и ограничился тем, что ответил:

— Воркуют молодые люди, старики же только кряхтят. Увы, я могу лишь кряхтеть.

Эак продолжал:

— Предупреждаю вас: если вы возьметесь лечить больного и он умрет, вы будете казнены.

Урсус отважился задать вопрос:

— А если он выздоровеет?

— В таком случае, — ответил доктор более мягким тоном, — вы также будете казнены.

— Невелика разница, — заметил Урсус.

Доктор продолжал:

— В случае смерти больного карается невежество, в случае выздоровления — дерзость. В обоих случаях вас ждет виселица.

— Я не знал этой подробности, — пролепетал Урсус. — Благодарю вас за разъяснение. Ведь не всякому известны все тонкости нашего замечательного законодательства.

— Берегитесь!

— Буду свято беречься, — промолвил Урсус.

— Мы знаем, чем вы занимаетесь.

«А я, — подумал Урсус, — знаю это не всегда».

— Мы могли бы отправить вас в тюрьму.

— Я вижу, милостивейшие государи.

— Вы не в состоянии отрицать ваши проступки и своевольные действия.

— Как философ, прошу прощения.

— Вам приписывают целый ряд дерзких суж-

дений.

— Это страшная ошибка.

— Говорят, что вы излечиваете больных.

— Я — жертва клеветы.

Три пары бровей, устрашающе направленных на Урсуса, нахмурились; три ученые физиономии наклонились одна к другой; послышался шепот. Урсусу померещилось, будто над тремя головами трех официальных представителей науки высится один дурацкий колпак; многозначительно-таинственное бормотание этой троицы длилось несколько минут, в течение которых его от ужаса бросало то в жар, то в холод; наконец Минос, председатель, повернулся к нему и с бешенством прошипел:

— Убирайтесь вон!

Урсус почувствовал приблизительно то же, что чувствовал Иона[219]

, когда кит извергнул его из своего чрева.

Минос продолжал:

— На этот раз вас отпускают.

Урсус подумал:

«Уж больше я им не попадусь! Прощай, медицина!»

И прибавил в глубине души:

«Отныне я предоставлю больным полную сво-

боду околевать».

Согнувшись в три погибели, он отвесил поклоны во все стороны: докторам, бюстам, столу, стенам, и, пятясь, отступил к дверям, чтобы исчезнуть, подобно рассеявшейся тени.

Он вышел из зала медленно, как человек с чистой совестью, но очутившись на улице, кинулся бежать опрометью, как преступник. При ближайшем знакомстве представители правосудия производят столь страшное и непонятное впечатление, что, даже будучи оправданным, человек норовит поскорее унести ноги.

Убегая, Урсус ворчал себе под нос:

— Я дешево отделался. Я — ученый дикий, они — ученые ручные. Доктора преследуют настоящих ученых. Ложная наука — отброс науки подлинной, и ею пользуются для того, чтобы губить философов. Философы, создавая софистов, сами роют себе яму. На помете певчего дрозда вырастает омела, выделяющая клей, при помощи которого ловят дроздов. Turdus sibi malum cacat.[220]

Мы не хотим изобразить Урсуса чрезмерно щепетильным. Он имел дерзость употреблять выражения, вполне передававшие его мысль. В этом отношении он стеснялся не более, чем Вольтер.

Вернувшись в «Зеленый ящик», Урсус объяснил дядюшке Никлсу свое опоздание тем, что ему попалась на улице какая-то хорошенькая женщина; ни словом не обмолвился он о своем приключении.

Только вечером он шепнул на ухо Гомо:

— Знай: я одержал победу над трехголовым псом Цербером.

7. По каким причинам может затесаться золотой среди медяков?

Произошло неожиданное событие.

Тедкастерская гостиница все более и более становилась очагом веселья и смеха. Нигде нельзя было встретить более жизнерадостной суматохи. Владелец гостиницы и его слуга разрывались на части, без конца наливая посетителям эль, стаут и портер. По вечерам в низенькой зале светились все окна и не оставалось ни одного свободного столика. Пели, горланили; старинный камин с железной решеткой, доверху набитый углем, пылал ярким пламенем. Харчевня казалась вместилищем огня и шума.

Во дворе, то есть в театре, толпа была еще гуще.

Вся публика пригорода, все население Саутворка валом валило на «Побежденный хаос», так что

к моменту поднятия занавеса, иными словами — когда опускалась подъемная стенка «Зеленого ящика», все места были заняты, окна битком набиты зрителями, галерея переполнена. Не видно было ни одной плиты на мощеном дворе: сплошная масса голов скрывала все.

Только ложа для знати по-прежнему оставалась пустой.

Вот почему в том месте, где находился как бы центр балкона, зияла черная дыра — на актерском языке это называется «провалом». Ни души. Всюду толпа, а здесь — никого.

И вот однажды вечером здесь кто-то появился.

Это было в субботу — в день, когда англичане спешат развлечься в предвидении воскресной скуки. В зале яблоку негде было упасть.

Мы говорим «в зале». Шекспир тоже долгое время давал представления во дворе гостиницы и называл его залом.

В ту минуту, когда раздвинулся занавес и начался пролог «Побежденного хаоса», Урсус, находившийся в это время на сцене вместе с Гомо и Гуинпленом, по обыкновению окинул взором публику и поразился.

Отделение «для знати» было занято.

Посреди ложи в кресле, обитом утрехтским

бархатом, сидела женщина.

Рядом с ней не было никого, и казалось, она одна наполняет собой ложу.

Есть существа, которые излучают сияние. Так же как и Дея, эта женщина вся светилась, но совсем по-иному. Дея была бледна, эта женщина — румяна. Дея была занимающимся рассветом, эта женщина — багряной зарей. Дея была прекрасна, эта женщина — ослепительна. Дея была вся невинность, целомудрие, белизна, алебастр; эта женщина была пурпуром, и чувствовалось, что она не боится краснеть. Излучаемый ею свет как бы изливался за пределы ложи, а она неподвижно сидела в самом центре ее, торжественная, невозмутимая, словно идол.

В этой грязной толпе она сверкала точно драгоценный карбункул, она распространяла вокруг себя такой блеск, что все остальное тонуло во мраке: она затмевала собою тусклые лица окружающих. Перед ее великолепием меркло все.

Все глаза были устремлены на нее.

Среди зрителей находился и Том-Джим-Джек. Он, как и все другие, исчезал в сиянии ослепительной незнакомки.

Женщина, приковавшая к себе сначала внимание публики, отвлекла ее от спектакля и этим

несколько помешала первому впечатлению от «Побежденного хаоса».

Хотя тем, кто сидел близко от нее, она и казалась видением, это была самая настоящая женщина. Быть может, даже слишком женщина. Она была высока, довольно полна; ее плечи и грудь были обнажены, насколько это позволяло приличие. В ушах сверкали крупные жемчужные серьги с теми странными подвесками, которые называются «ключами Англии». Платье на ней было из сиамской кисеи, затканной золотом, — чрезвычайная роскошь, ибо такое платье стоило тогда не менее шестисот экю. Большая алмазная застежка придерживала сорочку, по нескромной моде того времени еле прикрывавшую грудь; сорочка была из тончайшего фрисландского полотна, из которого Анне Австрийской шили простыни, свободно проходившие сквозь перстень. Незнакомка была как бы в панцире из рубинов, среди которых было несколько нефраненых; юбка ее тоже сверкала множеством нашитых на ней драгоценных каменьев. Ее брови были подведены китайской тушью, а руки, локти, плечи, подбородок, ноздри, края век, мочки ушей, ладони, кончики пальцев нарумянены, и это обилие красноватых тонов придавало ей что-то чувственное и вызывающее.

Во всей ее наружности проглядывало непреклонное желание быть прекрасной. И она в самом деле была прекрасна, прекрасна до ужаса. Это была пантера, способная притвориться ласковой кошечкой. Один глаз у нее был голубой, другой — черный.

Гуинплен, так же как и Урсус, не спускал глаз с этой женщины.

«Зеленый ящик» являл собой в известной мере зрелище фантастическое. «Побежденный хаос» воспринимался скорее как сновидение, чем как театральное представление.

Урсус и Гуинплен уже привыкли к тому, что для публики они — нечто вроде видения; теперь видение являлось им самим; призрак был в зрительном зале; настала их очередь испытать смятение. Они, которые завораживали других, теперь были заворожены сами.

Женщина смотрела на них, и они смотрели на нее.

Благодаря значительному расстоянию, отделявшему их от нее, и полумраку в «театральном зале», ее очертания терялись в световой дымке; казалось, это галлюцинация. Да, без сомнения, это была женщина, но не пригрезилась ли она им? Это вторжение света в их мрачное суще-

ствование ошеломило их. Казалось, неведомая планета залетела к ним из неких блаженных миров. Она казалась очень большой, благодаря исходящему от нее сиянию. Женщина вся сверкала, как сверкает Млечный Путь на ночном небе. Драгоценные камни на ней казались звездами. Алмазная застежка была как будто одной из Плеяд. Великолепные очертания ее груди представлялись чем-то сверхъестественным. При одном только взгляде на это звездное существо мгновенно возникало леденящее ощущение близости к сферам вечного блаженства. Как будто с райских высот склонялось это непреклонное и спокойное лицо над убогим «Зеленым ящиком» и его жалкими зрителями. Острое любопытство к тому, что она видит, и снисхождение к любопытству черни отражались на этом лице небожительницы. Сойдя с горних высот, она позволяла земным тварям взирать на себя.

Урсус, Гуинплен, Винос, Фиби, толпа — все затрепетали, ослепленные этим блеском; только Дея, погруженная в вечную ночь, ни о чем не знала.

Эта женщина вызывала мысль о призраке, хотя в ее наружности не было ничего такого, что обычно связывают с этим словом: ничего призрачного,

ничего таинственного, ничего воздушного, никакой дымки; это было розовое, свежее, цветущее здоровьем привидение, и, однако, свет падал на нее таким образом, что с того места, где находились Урсус и Гуинплен, она казалась им чем-то нереальным. Такие упитанные призраки действительно существуют: они именуются вампирами. Иная королева, которая тоже кажется толпе прелестным видением и пожирает по тридцати миллионов в год, высасывая их из народа, отличается таким же завидным здоровьем.

Позади этой женщины в полумраке стоял ее грум, el mozo[221]

, маленький человечек с детским личиком, бледный, хорошенький и серьезный. Очень юные и вместе с тем очень степенные слуги были в то время в моде. Грум был одет с головы до ног в бархат огненно-красного цвета; на его обшитой золотом шапочке красовался пучок вьюрковых перьев, что было отличительным признаком челяди знатных домов и свидетельствовало о высоком положении его госпожи.

Лакей — неотъемлемая часть господина, и потому в тени этой женщины нельзя было не заметить ее пажа-шлейфоносца. Наша память нередко удерживает многое без нашего ведома;

Гуинплен и не подозревал, что пухлые щеки, важный вид и обшитая галуном, украшенная перьями шапочка маленького пажа запечатлелись в его памяти. Впрочем, грум вовсе не старался привлечь к себе чьи-либо взоры: обращать на себя внимание — значит быть непочтительным; он невозмутимо стоял в глубине ложи, около самой двери, держась как можно дальше от своей госпожи.

Хотя ее muchacho[222]

, ее паж, и находился при ней, казалось, что женщина в ложе совершенно одна: слуги в счет не идут.

Как ни велико было впечатление, произведенное незнакомкой, появление которой, казалось, входило в спектакль, развязка «Побежденного хаоса» потрясла зрителей еще сильнее. Эффект, как всегда, был неотразим. Быть может, благодаря присутствию в зале блистательной зрительницы (ведь зритель иногда является участником спектакля) публика была особенно наэлектризована. Смех Гуинплена в этот вечер казался заразительнее, чем когда бы то ни было. Все присутствующие покатывались от хохота в неописуемом припадке судорожного веселья, и среди всех голосов резко выделялся зычный смех Том-Джим-Джека.

И только незнакомка, просидевшая весь вечер неподвижно, как статуя, глядя на сцену пустыми глазами призрака, ни разу не улыбнулась. Да, это был призрак, но призрак яркий, будто солнечный спектр.

Когда представление окончилось и стенка фургона была поднята, обитатели «Зеленого ящика» собрались, по обыкновению, в своем тесном кругу, и Урсус высыпал из мешка на уже приготовленный для ужина стол всю выручку. И вдруг в куче медных монет засверкала испанская золотая унция.

— Она! — воскликнул Урсус.

Среди позеленевших медных грошей золотая унция действительно сияла, подобно той женщине среди серой толпы.

— Она заплатила за свое место квадрупль! — продолжал восхищенный Урсус.

В эту минуту в «Зеленый ящик» вошел хозяин гостиницы; просунув руку в заднее окошко фургона, он отворил в стене форточку, о которой мы упоминали и которая находилась на уровне окна, благодаря чему из нее видна была вся площадь. Он молча поманил к себе Урсуса и знаками показал ему, чтобы тот взглянул на площадь. От харчевни быстро отъезжала нарядная карета с

роскошной упряжкой и лакеями в шляпах, разукрашенных перьями, и с факелами в руках.

Почтительно придерживая большим и указательным пальцами квадрупль, Урсус показал его дядюшке Никлсу и произнес:

— Это богиня.

Затем его взор упал на карету, заворачивавшую за угол, на крышке которой свет от факелов освещал восьмиконечную корону.

Тогда он воскликнул:

— Это больше, чем богиня! Это герцогиня!

Карета скрылась из виду. Стук колес замер вдали.

Несколько мгновений Урсус стоял неподвижно, восторженно воздевая кверху руку с квадруплем, словно дарохранительницу, — тем самым жестом, каким возносят святые дары.

Потом положил монету на стол и, не сводя с нее глаз, заговорил о «госпоже». Хозяин гостиницы отвечал на его вопросы. Да, это герцогиня. Ее титул известен. А имя? Имени никто не знает. Но Никлс рассмотрел вблизи карету с гербами и лакеев в шитых золотом ливреях. На кучере парик — точь-в-точь как у лорд-канцлера. Карета редко встречающегося образца, который в Испании называется «повозка-гробница», — великолеп-

ный экипаж с верхом, напоминающим по форме крышку гроба, увенчанную короной. Грум был такой крошечный, что вполне свободно помещался на подножке кареты с наружной стороны дверцы. Эти миловидные существа носят обычно шлейфы знатных дам; иногда же им поручают носить и любовные послания. Заметил ли кто пучок вьюрковых перьев на его шапочке? Вот бесспорный признак знатности его госпожи. Всякий, кто, не имея на то права, украсит головной убор своего слуги такими, перьями, платит штраф. Никлс видел вблизи и самое даму. Настоящая королева. Такое богатство не может не красить человека. И кожа становится белей, и взгляд более гордым, и поступь благороднее, и движения уверенней. Ничто не в состоянии сравниться с надменным изяществом вечно праздных рук. Никлс описывал великолепие этой белой с голубыми жилками кожи, шею, плечи незнакомки, ее румяна, жемчужные серьги, прическу, волосы, припудренные золотым порошком, несчетное множество драгоценных камней, рубинов, алмазов.

— Они блестят не так ярко, как ее глаза, — пробормотал Урсус.

Гуинплен молчал.

Дея слушала.

— И знаете, что удивительнее всего? — сказал трактирщик.

— Что? — спросил Урсус.

— Я видел, как она садилась в карету.

— Ну и что?

— Она села не одна.

— Вот как!

— С ней сел еще один человек.

— Кто?

— Угадайте.

— Король? — сказал Урсус.

— Прежде всего, — заметил дядюшка Никлс, — у нас теперь нет короля. Нами правит королева. Угадайте же, кто сел в карету этой герцогини.

— Юпитер, — сказал Урсус.

Трактирщик ответил:

— Том-Джим-Джек.

— Том-Джим-Джек? — вырвалось у Гуинплена, не проронившего до этой минуты ни слова.

Все были поражены. Наступило молчание. И в этой тишине вдруг раздался тихий голос Деи:

— Нельзя ли больше не пускать сюда эту женщину?

8. Признаки отравления

«Призрак» больше не возвращался.

Он не вернулся в ложу, но снова возник в душе

Гуинплена.

Гуинплен был в некотором смятении.

Ему показалось, что он впервые в жизни увидал женщину.

И, сразу же отдавшись необычным грезам, он наполовину совершил грехопадение. Надо остерегаться, грез, овладевающих нами против нашей воли. Мечта обладает таинственностью и неуловимостью аромата. По отношению к мысли она — то же, что благоухание туберозы. Порою она одурманивает, словно ядовитый аромат, и проникает в мысли, словно угар. Грезами можно отравиться так же, как цветами. Упоительное самоубийство, восхитительное и ужасное!

Дурные мысли — самоубийство души. В них-то и заключается отрава. Мечта привлекает вас, обольщает, заманивает, затягивает в свои сети, затем превращает вас в своего сообщника: она делает вас соучастником в обмане совести. Она одурманивает, а потом развращает. О ней можно сказать то же, что об азартной игре. Сперва человек бывает жертвой мошенничества, затем начинает плутовать сам.

Гуинплен предался мечтам.

Он никогда не видел Женщины.

Он видел лишь тень ее в женщинах простона-

родья и видел душу ее в Дее.

Теперь он увидел настоящую женщину.

Он увидел теплую, нежную кожу, под которой чувствовалось биение пылкой крови; очертания тела, пленяющие четкостью мрамора и плавными изгибами волны; высокомерно-бесстрастное лицо, выражающее одновременно и призыв и отказ, лицо с ослепительно прекрасными чертами; волосы, точно озаренные отблеском пожара; изящество наряда, пробуждающего трепет сладострастия; обольстительную полунаготу; надменное желание воспламенять вожделения завороженной толпы, но только издали; неотразимое кокетство; влекущую неприступность; искушение, идущее рука об руку с предвидением гибели; обещание чувствам и угрозу рассудку; сложное чувство тревоги, порожденное страстным влечением и страхом. Он только что видел все это. Он только что видел женщину.

То, что он только что видел, было и больше и меньше, чем женщина. То была влекущая женская плоть — и в то же время богиня Олимпа. Олицетворенная чувственность и красота небожительницы.

Ему воочию предстала тайна пола.

И где? За пределами досягаемого.

В бесконечном отдалении от него.

Какая насмешка судьбы: душу, эту небесную сущность, он держал в руках, она принадлежала ему, — это была Дея; женскую плоть, эту сущность земную, он только видел издали, на недосягаемой высоте, — это была та женщина.

Герцогиня!

«Больше, чем богиня», — так сказал о ней Урсус.

Какая высота!

Даже в мечтах было бы страшно взобраться на такую крутизну.

Неужели он так безрассуден, что думает об этой незнакомке? Он старался побороть эти чары.

Он вспоминал все, что рассказывал ему Урсус о жизни этих высоких, почти царственных особ; разглагольствования философа, казавшиеся ему до сих пор не заслуживающими внимания, теперь становились вехами его размышлений, — наша память нередко бывает прикрыта лишь тончайшей пеленой забвения, сквозь которую в нужную минуту нам удается разглядеть то, что погребено под нею; Гуинплен старался представить себе высший свет, мир знати, к которому принадлежала эта женщина, этот мир, стоящий неизмеримо выше мира низшего, мира просто-

го народа, к которому принадлежал он сам. Да и принадлежал ли он к народу? Не был ли он, скоморох, ниже даже тех, кто находится в самом низу? Впервые с тех пор, как он стал мыслить, у него сжалось сердце от сознания своего низкого положения, от того, что теперь мы назвали бы чувством унижения. Картины, набросанные Урсусом, его восторженные лирические описания замков, парков, фонтанов и колоннад, его подробные рассказы о богатстве и могуществе знати оживали в памяти Гуинплена, наполняясь образами, в которых действительность смешивалась с фантазией. Он был одержим видениями этих заоблачных высот. Ему казалось химерой, что человек может быть лордом. А между тем такие люди существуют. Невероятно, просто невероятно! На свете есть лорды! Созданы ли они из плоти и крови, как все люди? Вряд ли. Он чувствовал, что находится в глубоком мраке, что он окружен со всех сторон стеною; словно человек, брошенный на дно колодца, он видел там, в зените, над самой головой, ослепительное смешение лазури, света и видений — обиталище олимпийцев, и в самом центре этого лучезарного мира сияла она, герцогиня.

Он испытывал к этой женщине какое-то стран-

ное чувство, в котором непреодолимое влечение было неотделимо от сознания ее недоступности. И он без конца мысленно возвращался к этой вопиющей нелепости: ощущать душу близ себя, рядом с собой, тесно соприкасаясь с ней на каждом шагу, плоть же видеть только в идеальной сфере, в области недосягаемого.

Ни одна из этих мыслей не была совершенно четкой. Это был какой-то туман, где все было зыбко, где все ежеминутно меняло очертания. Это было глубокое смятение чувств.

Впрочем, ему ни разу не приходило в голову сделать попытку приблизиться к герцогине. Даже в мечтах не разрешил бы он себе подняться на такую высоту. И это было его счастьем.

Ведь стоит лишь раз поставить ногу на ступень этой лестницы, чтобы ее дрожание навсегда помутило ваш рассудок: думаешь, что восходишь на Олимп, а попадаешь в Бедлам[223]

Явственное вожделение привело бы Гуинплена в ужас. Но ничего подобного он не испытывал.

Да и увидит ли он еще когда-нибудь эту женщину? По всей вероятности, никогда. Влюбиться в зарницу, вспыхнувшую на горизонте, — на такое безумие не способен никто. Пленится звездой — это все-таки еще понятно: ее увидишь снова,

она опять появится в небе на том же месте. Но можно ли загореться страстью к промелькнувшей молнии?

В его душе одна мечта сменялась другою. В них то возникал, то вновь исчезал образ этого божества, этой величественной, лучезарной женщины, сияющей из глубины ложи. Он то думал о ней, то забывал, то отвлекался чем-нибудь другим, и снова возвращался все к тем же мыслям. Они будто баюкали его, но не могли усыпить.

Это не давало ему спать в течение нескольких ночей. Бессонница, как и сон, полна видений.

Нет почти никакой возможности выразить точными словами неясные процессы, протекающие в нашем мозгу. Слова неудобны именно тем, что очертания их резче, чем контуры мысли. Не имея четких контуров, мысли зачастую сливаются друг с другом; слова — иное дело. Поэтому какая-то смутная часть нашей души всегда ускользает от слов. Слово имеет границы, у мысли их нет.

Наш внутренний мир так смутен и необъятен, что происходившее в душе Гуинплена не имело почти никакого отношения к Дее. Дея оставалась средоточием его помыслов, она была священной; ничто не могло коснуться ее.

А между тем, — душа человека вся соткана из

таких противоречий, — в нем происходила борьба. Сознавал ли он это? Вероятно, только смутно догадывался.

В самой глубине души, в наиболее уязвимом ее месте, там, где у каждого легко может возникнуть трещина, он чувствовал столкновение противоположных желаний. Для Урсуса все это было бы ясно. Гуинплену было трудно разобраться в этом.

Два инстинкта боролись в нем: влечение к идеалу и влечение к женщине. На мосту, перекинутом через бездну, подобные поединки между ангелом белым и ангелом черным происходят нередко.

Наконец черный ангел был низвергнут.

Однажды как-то сразу Гуинплен перестал думать о незнакомке.

Борьба двух начал, схватка между земной и небесной сущностью Гуинплена произошла в тайниках его души, на такой ее глубине, что почти не достигла его сознания.

Несомненным было лишь одно: ни на мгновение не переставал он обожать Дею.

Когда-то давно — чудилось ему — он пережил какое-то смятение, его кровь кипела, но теперь с этим было покончено. Осталась только Дея.

Гуинплен даже удивился бы, если б ему сказа-

ли, что Дея хотя одну минуту была в опасности.

Неделю или две спустя призрак, который, казалось, угрожал этим двум существам, исчез бесследно.

Сердце Гуинплена снова пламенело одной любовью к Дее.

К тому же, как мы уже говорили, герцогиня больше не возвращалась.

Урсус находил это в порядке вещей. «Дама с квадруплем» — явление необычное. Такое существо входит однажды, платит за место золотой, потом исчезает бесследна. Жизнь была бы слишком хороша, если б это повторялось.

Что касается Деи, она ни разу даже не упомянула больше о той женщине, отошедшей в прошлое. Она, вероятно, прислушивалась к разговорам; вздохи Урсуса и время от времени вырывавшиеся у него многозначительные восклицания: «Не каждый же день получать золотые унции!» пробудили в ней смутный страх. Она теперь больше никогда не заговаривала о незнакомке. В этом сказывался глубокий инстинкт. Порою душа безотчетно принимает меры предосторожности, тайна которых ей не всегда бывает ясна. Когда молчишь о ком-нибудь, кажется, что этим отстраняешь его от себя. Расспрашивая о нем, боишься

привлечь его. Можно оградить себя молчанием, как ограждаешь себя, запирая дверь.

Происшествие было забыто.

Следовало ли придавать ему какое-либо значение? Произошло ли это на самом деле? Можно ли было сказать, что между Гуинпленом и Деей промелькнула какая-то тень? Дея не знала об этом, а Гуинплен уже забыл. Нет. Ничего и не было. Образ герцогини растаял в отдалении, словно только померещился им. Просто Гуинплен замечтался на минуту, а теперь очнулся от грез. Рассеявшиеся мечты, как и рассеявшийся туман, не оставляют следов, и после того, как туча пронеслась мимо, любовь в душе испытывает не больше ущерба, чем солнце в небе.

9. Abyssus abyssum vocat — Бездна призывает бездну

Исчезло и другое лицо — Том-Джим-Джек. Он вдруг перестал появляться в Тедкастерской гостинице.

Люди, которым их общественное положение позволяло видеть обе стороны великосветской жизни лондонской знати, вероятно заметили, что в то же самое время в «Еженедельной газете», между двумя выписками из приходских метрических книг, появилось известие об «отъезде лорда

Дэвида Дерри-Мойр, коему, согласно повелению ее величества», предстояло снова принять командование фрегатом, крейсирующим в составе «белой эскадры» у берегов Голландии.

Урсус заметил, что Том-Джим-Джек больше не посещает «Зеленый ящик»; это очень занимало его. Том-Джим-Джек не показывался с того дня, как уехал в одной карете с дамой, заплатившей квадрупль. Конечно, этот Том-Джим-Джек, похищавший герцогинь, был загадкой. Как было бы интересно углубиться в исследование такого происшествия! Сколько тут возникало вопросов! Сколько можно было бы высказать по этому поводу замечаний! Именно потому Урсус и не обмолвился ни словом.

Немало повидав на своем веку, он знал, как жестоко можно обжечься на дерзком любопытстве. Любопытство всегда должно соразмеряться с положением любопытствующего. Подслушивая — рискуешь ухом, подсматривая — рискуешь глазом. Ничего не видеть и ничего не слышать — самое благоразумное. Том-Джим-Джек сел в княжескую карету, хозяин гостиницы видел, как он садился. Матрос, занявший место рядом с леди, казался каким-то чудом, и это заставило Урсуса насторожиться. Прихоти знатных людей должны

быть священны для лиц низкого звания. Всем этим существам, пресмыкающимся во прахе, всем, кого высокородные люди называют чернью, не остается ничего лучшего, как забиться в свою нору, когда они замечают что-нибудь необычайное. Лишь тот в безопасности, кто сидит смирно. Закройте глаза, если вам не посчастливилось родиться слепым; заткните уши, если, на свою беду, вы не глухи; крепко держите язык за зубами, если вы не настолько совершенны, чтобы быть немым. Великие мира сего становятся тем, чем им хочется быть, малые — чем могут; посторонимся же перед неведомым. Не будем тревожить мифологию, не будем доискиваться смысла видимых явлений; почтительно преклонимся перед их показной стороной. Оставим досужие толки об угасании или рождении светил, происходящем в высоких сферах по причинам, нам неизвестным. Для нас, ничтожных людишек, это по большей части оптический обман. Метаморфозы — дело богов; внезапные превращения и исчезновения случайно встреченных знатных особ, парящих где-то в высоте над нами, — туманные события, понять которые невозможно, а изучать опасно. Излишнее внимание раздражает олимпийцев, занятых своими развлечениями и причудами;

берегитесь, удар грома может разъяснить вам лучше слов, что бык, к которому вы слишком пристально присматриваетесь, не кто иной, как Юпитер. Не будем же распахивать складки серой мантии, облекающей страшных властителей наших судеб. Равнодушие — это благоразумие. Не шевелитесь — в этом ваше спасение. Притворитесь мертвым, и вас не убьют. К этому сводится мудрость насекомого. Урсус следовал ей.

Хозяин гостиницы, чрезвычайно заинтригованный, однажды обратился к Урсусу:

— А знаете, Том-Джим-Джек что-то больше не показывается.

— Вот как? — ответил Урсус. — А я и не заметил.

Никлс пробормотал что-то, должно быть не слишком почтительное, насчет близости Том-Джим-Джека к герцогской карете, но так как его слова показались Урсусу слишком неосторожными, старик притворился, будто не расслышал их.

Однако Урсус был слишком артистической натурой, чтобы не-сожалеть о Том-Джим-Джеке. Он был до известной степени разочарован. Своими впечатлениями он поделился только с Гомо, единственным наперсником, в чьей скромности он был уверен. Он шепнул на ухо волку:

— С тех пор, как Том-Джим-Джек больше не приходит, я ощущаю пустоту как человек и холод как поэт.

Излив свою печаль дружескому сердцу, Урсус почувствовал некоторое облегчение.

Он ни звуком не обмолвился об этом в разговоре с Гуинпленом, а тот в свою очередь ни разу не упомянул о Том-Джим-Джеке.

В самом деле, Гуинплен был всецело поглощен Деей, и его мало интересовал Том-Джим-Джек.

С каждым днем Гуинплен все больше забывал о незнакомке. Что касается Деи, она и не подозревала о смятении, овладевшем на короткий срок душою ее возлюбленного. К этому же времени прекратились и всякие слухи о заговоре против «Человека, который смеется», о каких бы то ни было жалобах на него. Ненавистники, по-видимому, успокоились. Все волнения улеглись и в «Зеленом ящике» и вокруг него. Комедианты и священники точно сквозь землю провалились. Замерли последние раскаты грома. Успеху бродячей труппы уже не грозило ничто. Иногда в человеческой судьбе внезапно наступает такая полоса безмятежной тишины. Ни малейшая тень не омрачала в это время безоблачного счастья Гуинплена и Деи. Мало-помалу оно дошло до той

точки, где останавливается всякий рост. Есть слово, обозначающее такое состояние, — апогей. Подобно морскому приливу, счастье порою достигает своего высшего уровня. Единственное, что еще тревожит вполне счастливых людей, — это мысль о том, что за приливом неизбежно следует отлив.

Опасности можно избежать двумя способами: либо стоять очень высоко, либо очень низко. Второй способ едва ли не лучше первого. Инфузорию раздавить труднее, чем настигнуть стрелою орла. Если кто-нибудь на земле мог благодаря своему скромному положению чувствовать себя в безопасности, — это были, как мы уже сказали, Гуинплен и Дея: никогда это чувство безопасности не было полнее, чем в ту пору. Они все больше и больше жили друг другом, отражаясь — он в ней, она в нем. Сердце впитывает в себя любовь, словно некую божественную соль, сохраняющую его; этим объясняется нерасторжимая связь двух существ, полюбивших друг друга на заре жизни, и свежесть любви, продолжающейся и в старости. Любовь как бы бальзамируется. Дафнис и Хлоя превращаются в Филемона и Бавкиду. Такая старость, когда вечерняя заря походит на утреннюю, невидимому ждала Гуинплена и Дею. А пока они

были молоды.

Урсус наблюдал эту любовь, как медик, производящий наблюдения в клинике. У него был, как выражались в то время, «гиппократовский взгляд». Он останавливал на хрупкой и бледной Дее свой проницательный взор и бормотал себе под нос:

— Какое счастье, что она счастлива!

Другой раз он говорил:

— Она счастлива, это необходимо для ее здоровья!

Он покачивал головой и иногда принимался читать Авиценну[224]

в переводе Вописка Фортуната, изданном в Лувене в 1650 году, — старинный фолиант, в котором его интересовал раздел, трактующий о «сердечных недугах».

Дея быстро уставала, часто у нее выступала испарина, она легко впадала в дремоту и, как помнит читатель, всегда отдыхала днем. Однажды, когда она опала на медвежьей шкуре, а Гуинплена не было в «Зеленом ящике», Урсус осторожно наклонился над ней и приложил ухо к ее груди в том месте, где находится сердце. Он послушал несколько мгновений, потом, выпрямившись, прошептал:

— Малейшее потрясение для нее опасно. Болезнь быстрыми шагами пошла бы вперед.

Толпа продолжала стекаться на представления «Побежденного хаоса». Успех «Человека, который смеется» казался нескончаемым. Все опешили посмотреть Гуинплена, и теперь это были уже не только жители Саутворка, но в какой-то мере и Лондона. Публика теперь собиралась смешанная: она не состояла уже из одних только матросов и возчиков; по мнению дядюшки Никлса, бывшего знатоком всякого сброда, в толпе зрителей бывали теперь и дворяне и даже баронеты, переодетые простолюдинами. Переодевание — одно из излюбленных развлечений знати; в то время оно было в большой моде. Появление аристократии среди черни было хорошим признаком и свидетельствовало о том, что «Человек, который смеется» завоевывает и Лондон. Положительно, слава Гуинплена уже проникала в круги высокородной публики. В этом не было никаких сомнений. В Лондоне только и говорили, что о «Человеке, который смеется». О нем говорили даже в «Могок-клубе», где бывали только лорды.

В «Зеленом ящике» об этом не подозревали; его обитатели довольствовались собственным счастьем. Для Деи было высшим блаженством

каждый вечер прикасаться к курчавым, непокорным волосам Гуинплена. В любви главное — привычка. В ней сосредоточивается вся жизнь. Ежедневное появление солнца — привычка вселенной. Вселенная — влюбленная женщина, и солнце — ее возлюбленный.

Свет — ослепительная кариатида, поддерживающая весь мир. Каждый день — это длится только одно божественное мгновение — земля, еще в покрове ночи, опирается на восходящее солнце. Слепая Дея испытывала такое же чувство возврата тепла и возрождения надежды в ту минуту, когда прикасалась рукой к голове Гуинплена.

Быть двумя безвестными, боготворящими друг друга; любить в совершенном безмолвии — да так и целая вечность прошла бы незаметно!

Однажды вечером, по окончании спектакля, Гуинплен, изнемогая от избытка блаженства, от которого, как от опьяняющего аромата цветов, сладостно кружится голова, бродил, как обычно, по лугу, неподалеку от «Зеленого ящика». Бывают часы, когда сердце до того переполнено чувствами, что уже не в силах вместить их. Ночь была темна и безоблачна; в небе ярко сияли звезды. Площадь была безлюдна; сон и забвение безраздельно царили в деревянных бараках,

разбросанных по всему пространству Таринзофилда.

В одном лишь месте горел огонь: это был фонарь Тедкастерской гостиницы, полуоткрытая дверь которой поджидала возвращения Гуинплена.

На колокольнях пяти саутворкских приходских церквей только что пробило полночь; на каждой колокольне бой часов не совпадал по времени с остальными и отличался от них по звуку.

Гуинплен думал о Дее. Да и о чем другом мог он еще думать? Но в этот вечер он чувствовал какое-то странное смятение; весь во власти очарования, к которому примешивалась и тревога, он думал о Дее иначе, чем всегда, он думал о ней, как думает мужчина о женщине. Он упрекал себя за это. Ему казалось, что это принижает его любовь. В нем глухо начинало бродить желание. Сладостное и повелительное нетерпение. Он переходил незримую границу, по одну сторону которой — девственница, а по другую — женщина. Он тревожно вопрошал себя, он как бы внутренне краснел. Прежний Гуинплен мало-помалу изменился; сам того не сознавая, он возмужал. Прежде стыдливый юноша, он испытывал теперь смутное, волнующее влечение. У нас есть ухо, обращенное к свету, — им мы внемлем голосу

разума, — и другое, обращенное в сторону тьмы, которым мы прислушиваемся к тому, что говорит инстинкт; именно в это ухо, служившее рупором мрака, неведомые голоса настойчиво шептали что-то Гуинплену. Как бы ни был чист душою юноша, мечтающий о любви, между ним и его мечтою встанет в конце концов некий телесный образ женщины. Грезы его теряют свою безгрешность. Им овладевают стремления, внушаемые самой природой, в которых он сам боится себе признаться. Гуинплена страстно влекло к живой, телесной прелести женщины, которая является источником всех наших искушений и которой недоставало бесплотному образу Деи. В горячке, казавшейся ему чем-то опасным, он преображал, быть может не без некоторого страха, ангельский облик Деи, придавая ему черты земной женщины. Ты нужна нам, женщина!

Излишек райской невинности в конце концов перестает удовлетворять любовь. Она жаждет лихорадочно горячей руки, трепета жизни, испепеляющего поцелуя, после которого уже нет возврата, беспорядочно разметавшихся волос, страстных объятий. Звездная высота мешает. Эфир слишком тягостен для нас. В любви избыток небесного — то же, что избыток топлива в очаге:

пламя не может разгореться. Теряя рассудок, Гуинплен отдавался во власть упоительно-страшного видения: перед ним возникал образ Деи, доступной обладанию, Деи покорной, отдающейся в минуту головокружительной близости, связующей два существа тайной зарождения новой жизни. «Женщина!» Он слышал в себе этот зов, идущий из самых недр природы. Словно новый Пигмалион, создающий Галатею из лазури, он в глубине души дерзновенно изменял очертания целомудренного облика Деи — облика, слишком небесного и недостаточно райского; ибо рай — это Ева, а Ева была женщиной, рождающей желание, матерью, кормилицей земного, в чьем священном чреве таились все грядущие поколения, в чьих сосцах не иссякало молоко, чья рука качала колыбель новорожденного мира. Женская грудь и ангельские крылья несовместимы. Девственность — лишь обетование материнства. Однако до сих пор в мечтах Гуинплена Дея стояла выше всего плотского. Теперь же, в смятении, он мысленно пытался низвести ее, ухватившись за ту нить, которая всякую девушку связывает с землею. Эта нить — пол. Ни одной из этих легкокрылых птиц не дано реять на свободе. Дея, подобно всем остальным, была подвластна

законам природы, и Гуинплен, лишь наполовину сознаваясь себе в этом, жаждал, чтоб она им подчинилась. Это желание возникало в нем помимо его воли, и он все время боролся с ним. В воображении он наделял Дею чертами земной женщины. Он дошел до того, что представлял себе нечто невозможное: Дею — существом, вызывающим не только экстаз, но и страсть, Дею, склоняющую голову к нему на подушку. Он стыдился этих кощунственных видений; какая-то сила внутри его пыталась унизить образ Деи; он сопротивлялся наваждению, отворачивался от этих картин, потом снова к ним возвращался; ему казалось, что он покушается на целомудрие девушки. Дея была для него как бы в облаке. Весь трепеща, он раздвигал это облако, точно приподымал покровы. Стоял апрель.

Спинной мозг тоже грезит на свой лад.

Гуинплен шагал наудачу, рассеянно, слегка раскачиваясь, как это иногда делают люди, неторопливо прогуливаясь в одиночестве. Когда рядом нет никого, это предрасполагает к безрассудным мечтаниям. Куда устремлялась его мысль? Он сам не решился бы признаться себе. К небу? Нет. К брачному ложу. И вы еще глядели на него, звезды!

Почему говорят: «влюбленный»? Надо было бы говорить: «одержимый». Быть одержимым дьяволом — исключение; быть одержимым женщиной — общее правило. Всякий мужчина подвержен этой потере собственной личности. Какая волшебница — красивая женщина! Настоящее имя любви — плен!

Женщина пленяет нас душой. Но и плотью. И порой плотью больше, чем душой. Душа — возлюбленная, плоть — любовница!

На дьявола клевещут. Не он искушал Еву. Это Ева ввела его в искушение. Почин принадлежал женщине.

Люцифер преспокойно шел мимо. Он увидел женщину и превратился в Сатану.

Тело — внешняя оболочка неведомого. И — странное дело — оно пленяет своей стыдливостью. Нет ничего более волнующего. Подумать только: оно, бесстыдное, стыдится!

В ту минуту именно такое неодолимое влечение к телесной красоте волновало и подчиняло Гуинплена. Страшное мгновение, когда мы вожделеем к наготе. Ничего не стоит поскользнуться и нравственно пасть. Сколько мрака кроется в белизне Венеры!

Что-то внутри Гуинплена громко призыва-

ло Дею, Дею — девушку, Дею — подругу, Дею — плоть и пламя, Дею — с обнаженной грудью. Он был готов прогнать ангела. Таинственный кризис, переживаемый всяким влюбленным и грозящий опасностью идеалу. Извечный закон мироздания.

Миг помрачения небесного света в душе.

Любовь Гуинплена к Дее обращалась в любовь супружескую. Целомудренная любовь — только переходная ступень. Настала неизбежная минута. Гуинплен страстно желал эту женщину.

Он страстно желал женщину.

Он скользил по этой наклонной плоскости, обрывавшейся на первом же шагу.

Невнятный зов природы необорим.

Какая бездна — женщина!

К счастью для Гуинплена, близ него не было женщины, кроме Деи. Единственной женщины, которую он желал. Единственной, которая могла желать его.

Гуинплен весь был охвачен неясным трепетом: сама жизнь властно взывала в нем о своих правах.

Прибавьте к этому еще и влияние весны. Он вбирал в себя неизъяснимые токи звездной ночи. Он шел без цели, в каком-то упоительном

забытьи.

Рассеянный в воздухе аромат весенних соков, хмельные запахи, которыми пропитан сумрак ночи, благоухание распускавшихся вдали ночных цветов, согласный щебет, доносящийся из укрытых где-то маленьких гнезд, журчанье вод и шелест листьев, вздохи со всех сторон, свежесть, теплота — все это таинственное пробуждение природы не что иное, как властный голос весны, нашептывающий о страсти, дурманящий призыв, и душа отвечает ему лишь бессвязным лепетом, сама уже не понимая собственных слов.

Всякий, кто увидел бы в эту минуту Гуинплена, подумал бы: «Смотри-ка! Пьяный!»

Действительно, он еле держался на ногах под бременем своего отягощенного сердца, под бременем весны и ночи. Кругом было безлюдно и тихо, и Гуинплен порою громко разговаривал сам с собой.

Когда знаешь, что тебя никто не слышит, охотно говоришь вслух.

Он медленно шел, опустив голову, заложив руки за спину, держа левую в правой и не сжимая ладони.

Вдруг он почувствовал, как будто что-то скользнуло ему в руку.

Он быстро обернулся.

В руке у него была бумага, а перед ним стоял какой-то человек.

Очевидно, этот человек, неслышно, как кошка, подкравшись к нему сзади, сунул ему в руку бумагу.

Бумага оказалась письмом.

Человек, насколько его можно было рассмотреть при свете звезд, был маленького роста, круглолиц, совсем юн, но очень важен и одет в огненного цвета ливрею, видневшуюся между длинными полами серого плаща, называемого в то время capenoche — испанское сокращенное слово, означающее «ночной плащ». На голове у него была ярко-малиновая шапочка, похожая на кардинальскую шапочку, но с галуном, указывавшим на то, что ее носитель — слуга. К шапочке был прикреплен пучок вьюрковых перьев.

Мальчик неподвижно стоял перед Гуинпленом. Он походил на фигуру, привидевшуюся во сне.

Гуинплен узнал в нем слугу герцогини.

И, прежде чем Гуинплен успел вскрикнуть от удивления, он услыхал тоненький, не то детский, не то женский, голосок пажа, который говорил ему:

— Будьте завтра в этот же час у Лондонского

моста. Я буду там и провожу вас.

— Куда? — спросил Гуинплен.

— Туда, где вас ждут.

Гуинплен перевел глаза на письмо, которое продолжал машинально держать в руке.

Когда он снова поднял их, грума уже не было. Вдали, на ярмарочной площади, двигался темный силуэт, быстро уменьшавшийся в размерах. Это уходил маленький слуга. Он завернул за угол и исчез из виду.

Гуинплен посмотрел на удалявшегося грума, потом на письмо. В жизни человека бывают мгновения, когда случившееся с ним как будто не случилось; оцепенение некоторое время не дает ему осознать происшедшее. Гуинплен поднес письмо к глазам, как будто хотел прочесть его, но только тут заметил, что не может сделать это по двум причинам: во-первых, конверт еще не был распечатан, во-вторых, было темно. Прошло несколько минут, прежде чем он сообразил, что в гостинице горит фонарь. Он ступил два-три шага, но в сторону, как бы не зная, куда идти. Так двигался бы лунатик, получив письмо из рук призрака.

Наконец он очнулся от изумления и почти бегом направился к гостинице, остановился против

приоткрытой двери и еще раз посмотрел при свете на запечатанное письмо. На печати не было никакого оттиска, а на конверте стояло только одно слово: «Гуинплену». Он сломал печать, разорвал конверт, развернул письмо, поднес его ближе к свету и прочел:

«Ты безобразен, а я красавица. Ты скоморох, а я герцогиня. Я — первая, ты — последний. Я хочу тебя. Я люблю тебя. Приди».

Часть четвертая. Подземный застенок

1. Искушение святого Гуинплена

Иной огонь едва прорезывает окружающую темноту, иной же может воспламенить вулкан.

Бывают искры, которые могут вызвать пожар.

Гуинплен прочел письмо, затем перечитал его. Он ясно видел эти слова: «Я люблю тебя».

Страшные мысли одна за другой проносились в его мозгу.

Первой была мысль о том, что он сошел с ума. Он помешался. В этом нет сомнения. Он видит то, чего на самом деле не существует. Призраки ночи сделали его, несчастного, своей игрушкой. Красный человечек только померещился ему. Иногда ночью болотный пар, уплотнившись, становится блуждающим огоньком и дразнит вас. Так и теперь: поиздевавшись, обманчивое

видение исчезло, оставив позади себя обезумевшего Гуинплена. Чего только не померещится в темноте!

Вторая мысль была еще страшней: он понял, что находится в полном рассудке.

Привидение? Какой вздор! А это письмо? Оно у него в руках. Вот и конверт, печать, бумага, исписанная чьим-то почерком. Он знает, от кого это письмо. Ничего загадочного в этом приключении нет. Взяли перо, чернила, написали письмо. Зажгли свечу, запечатали конверт сургучом. Разве на конверте не стоит его имя: «Гуинплену»? Бумага надушена, Все ясно. И человечка он знает. Этот карлик — ее грум. Блуждающий огонек — ливрея. Грум назначил Гуинплену свидание на завтра, в этот же час, у въезда на Лондонский мост. Разве и Лондонский мост обман чувств? Нет, нет, все это вполне вяжется одно с другим. Это ничуть не похоже на бред. Это — действительность. Гуинплен находится в здравом уме. Это не мираж, постепенно рассеивающийся в воздухе и исчезающий бесследно, это нечто вполне реальное. Гуинплен не сумасшедший; ему это вовсе не снится. И он снова и снова перечитывал письмо.

Ну да, конечно. Но что же это? Ведь тогда… Но ведь это непостижимо.

Женщина желает его! Если так, пускай отныне никто не произносит слова: «невероятно». Женщина желает его! Женщина, которая видела его лицо! А между тем она не слепая. Кто же она, эта женщина? Урод? Нет, красавица. Цыганка? Нет, герцогиня.

Что же под этим кроется и что же это значит? Как опасно такое торжество! И все же — как не устремиться очертя голову ему навстречу?

Как? Это та женщина, сирена, видение, леди, сияющий мрачным блеском призрак, зрительница в ложе! Да, это она, конечно она.

В груди Гуинплена запылал пожар. Это она — та странная незнакомка! Та самая, что смутила его покой! Волнующие мысли, словно распаленные этим темным огнем, снова овладели Гуинпленом, мысли, впервые возникшие в нем при виде этой женщины. Забвение не что иное, как палимпсест. Случайность — и все, казалось уже стертое навеки, вдруг снова оживает между строками в изумленной памяти. Гуинплену казалось, что он изгнал этот образ из сердца, и вот он опять перед ним: он в нем запечатлелся, оставил, вопреки его воле, неизгладимый след в мозгу Гуинплена, обуреваемого мечтами. Без его ведома эти черты глубоко врезались ему в душу. Теперь зло было

уже непоправимо, и он с увлечением снова отдался во власть неодолимым грезам.

Как! Он — предмет вожделения? Как! Принцесса сходит со ступенек трона, кумир спускается с алтаря, изваяние — со своего пьедестала, призрак — с облаков? Как! Из недр невозможного возникла химера? Как! Эта нимфа с плафона, это воплощение лучезарности, эта нереида, вся переливающаяся блеском драгоценных камней, эта недосягаемо-величественная красавица со своей ослепительной высоты склоняется к Гуинплену? Как! Остановив над его головой свою, запряженную горлицами и драконами, колесницу Авроры, она говорит ему: «Приди!» Как! Ему, Гуинплену, выпал ужасный и славный жребий — унизить, низведя на землю, эмпирей[225]

? Эта женщина, если можно назвать женщиной обитательницу иной, более совершенной планеты, эта женщина предлагает себя Гуинплену, отдается ему! Непостижимо! Богиня Олимпа — гетера, призывающая на ложе любви! И кого? Его, Гуинплена! Окруженные ореолом, ему раскрывались объятия блудницы, чтобы прижать его к груди богини. И это ничуть не позорит ее. К этим высшим существам не пристает никакая грязь. Свет омывает богов. И богиня, спускаю-

щаяся к нему, знает, что она делает. Ей известно чудовищное уродство Гуинплена. Она видела маску, заменявшую ему лицо! И эта маска не отталкивает ее! Гуинплен любим, несмотря на свое безобразие!

Это превосходило самые дерзкие мечты: он любим за свое безобразие! Маска не отвращает богиню — напротив, привлекает ее. Гуинплен не только любим — он вызывает страсть. Она не только снизошла к нему — она его избрала. Он — ее избранник!

Как! В царственной среде, окружавшей эту женщину, в среде блестящих, беспечных и могущественные людей, были принцы — она могла избрать принца; там были лорды — она могла выбрать лорда; были красивые, обворожительные, великолепные мужчины — она могла выбрать Адониса. И кем она соблазнилась? Гнафроном![226]

Там, где одни метеоры и молнии, она могла выбрать себе шестикрылого серафима, а остановила свой выбор на жалкой личинке, пресмыкающейся в тине. С одной стороны — сплошь высочества и сиятельства, величие, роскошь, слава, с другой — скоморох. И скоморох одержал верх над всеми! Какие же весы были в сердце этой женщины? Чем взвешивала она свою любовь? Эта женщина

сняла с себя диадему герцогини и швырнула ее на подмостки клоуна. Эта женщина сняла со своего чела ореол богини Олимпа и увенчала им щетинистую голову гнома. Этот вверх дном перевернувшийся мир, где насекомые оказались в заоблачных сферах, а созвездия — внизу, засасывал Гуинплена, растерявшегося от нахлынувших на него потоков света, окруженного сиянием среди клоаки. Всемогущая, возмутившись против красоты и роскоши, отдавала себя осужденному на вечный мрак, предпочитала Гуинплена Антиною: охваченная любопытством при виде тьмы, она спускалась в нее, и это отречение богини возводило ничтожное существо в царское достоинство, чудесным образом венчало его на царство. «Ты безобразен. Я люблю тебя». Эти слова льстили гордости Гуинплена с худшей ее стороны. Гордость — ахиллесова пята всех героев. Гуинплен познал тщеславие урода. Его полюбили именно за его безобразие. Он в такой же мере, как Юпитер и Аполлон, а быть может и больше, чем они, был исключением. Он сознавал себя существом сверхчеловеческим и благодаря еще невиданному уродству — равным божеству. Ужасное ослепление.

Но что же это за женщина? Что он знал о ней?

Все и ничего. Она — герцогиня, он это знал. Он знал, что она красива, богата, что у нее есть ливрейные лакеи, пажи, скороходы с факелами, сопровождающие украшенную короной карету. Он знал, что она влюблена в него, по крайней мере она ему об этом писала. Остального он не знал. Он знал ее титул, но не знал ее имени. Он знал ее мысли, но не знал ее жизни. Кто она: замужняя женщина, вдова или девушка? Свободна ли она или связана какими-нибудь узами долга? К какой семье она принадлежит? Не грозят ли ей западни, ловушки, тайные происки? Гуинплен и не подозревал, какая распущенность царит в высших, совершенно праздных слоях общества, он не думал, что на этих вершинах есть вертепы, где жестокие волшебницы предаются грезам среди жалких остатков былых любовных увлечений, не догадывался, на какие ужасные по своему цинизму опыты толкает скука женщину, полагающую, что она выше мужчины; он не имел ни малейшего представления об этом, ибо общественные низы плохо осведомлены о том, что происходит в высших сферах. Тем не менее он предчувствовал что-то дурное. Он отдавал себе отчет в мрачной природе этого блеска. Понимал ли он? Нет. Догадывался ли? Еще меньше! Что скрывалось за этим

письмом? Распахнутая настежь дверь и в то же время какая-то внушающая тревогу преграда. С одной стороны — признание. С другой — загадка.

Признание и загадка — два голоса; привлекая и угрожая, они произносят одно и то же слово: «Дерзай».

Никогда еще коварный случай не действовал более умело, никогда еще искушение не приходило так кстати. Гуинплен, волнуемый весенним пробуждением природы, наливавшейся буйными соками, находился во власти чувственных мечтаний. Неистребимый, древний, как мир, инстинкт, которого никому из нас еще не удалось победить, просыпался в этом юноше, сохранившем до двадцати четырех лет всю целомудренную чистоту отрока. Именно в такое мгновение, в самую тягостную минуту кризиса, он получил любовное признание, и ему предстала ослепительная в своей наготе грудь сфинкса. Молодость — это наклонная плоскость. Гуинплен скользил по ней, кто-то толкал его. Кто? Весна. Кто? Ночь. Кто? Эта женщина. Не будь апреля, люди были бы гораздо добродетельнее. Кустарники в цвету — шайка сообщников; любовь — воровка; весна — укрывательница.

Гуинплен был в смятении.

Дурному поступку предшествует нечто вроде испарений зла, от которых задыхается совесть. Искушаемую честность мутит от зловония преисподней. Пары, вырывающиеся оттуда, служат предупреждением для сильных и дурманом для слабых. Гуинплен испытывал это таинственное недомогание.

Перед ним, быстро сменяя друг друга, возникали неотвязные вопросы. Упорно соблазнявший его проступок принимал определенные очертания. Завтра в полночь, Лондонский мост, паж. Пойти? «Да!» — кричала плоть. «Нет!» — кричала душа.

Однако, как это ни странно на первый взгляд, надо сказать, что Гуинплен ни разу отчетливо не поставил перед собою вопроса: пойти ли ему? Соблазны влекут к себе украдкой, таясь от совести. Они напоминают чересчур крепкую водку, которую нельзя выпить одним духом. Рюмку отодвигают — подождем немного, уже и от первого глотка кружится голова.

Одно было несомненно: он чувствовал, как что-то толкает его навстречу неведомому.

Он весь трепетал. Он видел, что стоит на краю пропасти. Он отступал назад, чуя со всех сторон угрозу. Он закрывал глаза. Он всячески старался

уверить себя, что ничего не случилось, старался снова внушить себе, что потерял рассудок. Конечно, это было бы самым лучшим выходом из положения. Самое благоразумное — это считать себя сумасшедшим.

Роковая болезнь! Каждый, кто хоть раз был жертвой неожиданного, пережил минуты такой мрачной тревоги. Человек, сознательно относящийся к тому, что с ним происходит, всегда с ужасом прислушивается к глухим ударам тарана, которые судьба вдруг обрушивает на его совесть.

Увы, Гуинплен колебался! Но там, где нет никаких сомнений, в чем состоит наш долг, колебаться — значит потерпеть поражение.

Впрочем, — и это следует отметить, — беззастенчивая откровенность письма, которая, вероятно, смутила бы человека испорченного, совершенно ускользнула от Гуинплена. Он не знал, что такое цинизм. Мысль о разврате в тех формах, о которых говорилось выше, не приходила ему в голову. Он даже не был в состоянии этого понять. Он был слишком чист, чтобы столь сложным способом объяснить себе происшедшее. В этой женщине он видел только величие. Увы, он был польщен! Тщеславие заставило его обратить внимание только на победу. Для того же, чтобы

заметить, что он оказался не столько предметом любви, сколько предметом бесстыдного любопытства, ему надо было обладать тем опытом, который отнюдь не свойствен невинности. Рядом со словами «Я люблю тебя» он не заметил ужасной приписки: «Я хочу тебя». Животная сущность богини ускользала от него.

Рассудок порою подвергается нашествию. У души есть свои вандалы — дурные мысли, совершающие опустошительные набеги на нашу добродетель. Тысяча самых противоположных мыслей одна за другой овладевали Гуинпленом, иногда они обрушивались на него все сразу. Затем все в нем успокаивалось. Тогда он сжимал голову руками, мрачно прислушиваясь к тому, что происходило в нем, точно созерцая ночной пейзаж.

Вдруг он заметил, что уже ни о чем не думает. Размышляя, он постепенно дошел до того черного провала, в котором все исчезает. Он вспомнил, что давно пора вернуться домой. Было около двух часов ночи.

Он положил письмо, доставленное пажом, в боковой карман, но, сообразив, что так оно будет лежать прямо у сердца, вынул послание обратно, небрежно смяв, сунул его как попало в карман

штанов и направился к гостинице. Он бесшумно вошел, не разбудив Говикема, который, ожидая его, заснул у стола, подложив руки под голову; запер дверь, зажег свечу о фонарь харчевни, задвинул засовы, повернул ключ в замке, машинально принимая все предосторожности человека, поздно возвращающегося домой, затем поднялся по лесенке «Зеленого ящика», прокрался в старый возок, служивший ему теперь спальней, посмотрел на спящего Урсуса, задул свечу, но не лег.

Так прошел целый час. Наконец, усталый, воображая, что постель и сон одно и то же, он, не раздеваясь, положил голову на подушку и, уступая темноте, закрыл глаза; но буря чувств, волновавших его, не унималась ни на минуту. Бессонница — это насилие ночи над человеком. Гуинплен очень страдал. В первый раз за всю свою жизнь он был недоволен собой. К его удовлетворенному тщеславию примешивалась тайная боль. Что делать? Наступило утро. Он так и не нашел покоя. Он слышал, как поднялся Урсус, но глаз не открывал. Он думал. Слова письма снова возникали перед ним в хаотическом беспорядке. При сильном душевном смятении наша мысль становится похожей на волну. Она бурлит, ку-

да-то рвется, порождая звуки, напоминающие глухой рокот моря. Прилив, отлив, толчки, водовороты, временами задержка у подножия утеса, град и дождь, тучи, в просветы которых прорывается луч, жалкие брызги никому не нужной пены, безумные взлеты, за которыми следует немедленное падение, огромные, попусту затраченные усилия, угроза кораблекрушения, со всех сторон мрак и гибель — все, что мы видим в морской пучине, можно наблюдать и в душе человека. Такую бурю переживал Гуинплен.

И вот, когда терзания его достигли высшего предела, Гуинплен, все еще лежавший с закрытыми глазами, услыхал близ себя сладостный голос:

— Ты спишь, Гуинплен?

Он сразу открыл глаза и присел на постели; дверь его каморки была приотворена, и на пороге стояла Дея. Ее глаза и губы улыбались неизъяснимо прелестной улыбкой. Она возникла очаровательным видением, окруженная лучезарным ореолом, о котором сама и не догадывалась. Это было божественное мгновение. Гуинплен пристально всматривался в нее и, ослепленный ею, затрепетал и очнулся. Очнулся от чего? От сна? Нет, от бессонницы. Это была она, это была Дея! И вдруг он почувствовал в глубине свое-

го существа не выразимое никакими словами внезапное успокоение бури и дивное торжество добра над злом; взгляд, устремленный на него с неба, совершил чудо; кроткая носительница света, слепая одним только своим присутствием рассеяла мрак, царивший в его душе; туманная завеса, застилавшая его духовный взор, упала, точно сорванная невидимой рукой, и — о, священный восторг! — Гуинплен почувствовал, как возвращаются к нему утраченные ясность и спокойствие. Благодаря этому ангелу он снова стал сильным, добрым, невинным Гуинпленом. В человеческой душе, как и во всем мироздании, бывают такие таинственные столкновения противоположностей. Оба молчали: она — свет, он — бездна; она — благая тишина, он — умиротворение; и над бурным сердцем Гуинплена, словно звезда морей, неизъяснимым блеском сияла Дея.

2. От сладостного к суровому

Как просто иногда совершается чудо. В «Зеленом ящике» настало время завтрака, и Дея просто пришла узнать, почему Гуинплен не идет к столу.

— Ты?! — воскликнул Гуинплен, и этим все было сказано.

Для него уже не существовало никаких дру-

гих горизонтов, ничего другого, кроме неба, где была Дея.

Кто не видел улыбки моря, непосредственно следующей за ураганом, тот не может представить себе картину такого умиротворения. Ничто не успокаивается быстрее, чем пучина. Это объясняется легкостью, с какою она все поглощает. Таково и человеческое сердце. Впрочем, не всегда.

Стоило появиться Дее, как все, что было светлого в душе юноши, устремилось к ней, и все призраки бежали прочь от ослепленного Гуинплена. Какая великая сила любовь!

Несколько мгновений спустя оба сидели друг против друга, Урсус между ними, Гомо — у их ног. Чайник, над которым горела лампочка, стоял на столе. Фиби и Винос были чем-то заняты во дворе.

Завтракали, так же как и ужинали, в среднем отделении фургона. Узенький стол был расположен таким образом, что Дея сидела спиною к окну, служившему также и входной дверью «Зеленого ящика». Гуинплен наливал Дее чай. Колени их соприкасались.

Дея грациозно дула в свою чашку. Вдруг девушка чихнула. Это произошло как раз в то

мгновение, когда над лампой рассеивался дымок и что-то вроде листка бумаги рассыпалось пеплом. От этого-то дымка и чихнула вдруг Дея.

— Что это? — спросила она.

— Ничего, — ответил Гуинплен.

И улыбнулся.

Он только что сжег письмо герцогини.

Совесть любящего мужчины — ангел-хранитель любимой им женщины.

Уничтожив письмо, Гуинплен почувствовал странное облегчение. Он ощутил свою честность, как орел ощущает мощь своих крыльев.

Ему показалось, что с этим дымком улетучивается и соблазн, что вместе с клочком бумаги обратилась в пепел и сама герцогиня.

Путая свои чашки, беря одну вместо другой, они без умолку говорили. Лепет влюбленных — чириканье воробышков. Ребячество, достойное Матушки-Гусыни и Гомера. Беседа двух влюбленных сердец — вершина поэзии, звук поцелуев — вершина музыки.

— Знаешь что?

— Нет.

— Гуинплен, мне снилось, будто мы звери и будто у нас крылья.

— Раз крылья — значит, мы птицы, — шепотом

произнес Гуинплен.

— А звери — значит, ангелы, — буркнул Урсус.

Разговор продолжался.

— Если б тебя не было на свете, Гуинплен…

— Что тогда?

— Это значило бы, что нет бога.

— Чай очень горячий. Ты обожжешься, Дея.

— Подуй на мою чашку.

— Как ты сегодня хороша!

— Знаешь, мне надо так много сказать тебе.

— Скажи.

— Я люблю тебя!

— Я обожаю тебя!

Урсус бормотал про себя:

— Вот славные люди, ей-богу!

В любви особенно восхитительны паузы. Как будто в эти минуты накопляется нежность, прорывающаяся потом сладостными излияниями.

Помолчав немного, Дея воскликнула:

— Если б ты знал! Вечером во время представления, когда я дотрагиваюсь до твоего лба… — о, у тебя благородное чело, Гуинплен! — в ту минуту, когда я чувствую под своими пальцами твои волосы, меня охватывает трепет, я испытываю неизъяснимую радость, я говорю себе: в этом мире вечной ночи, окружающей меня, в

этой вселенной, где я обречена на одиночество, в необъятном, мрачном хаосе, в котором я нахожусь и где все так обманчиво-зыбко во мне и вне меня, существует только одна точка опоры. Это он, — это ты.

— О, ты любишь меня, — промолвил Гуинплен. — У меня тоже нет на земле никого, кроме тебя. Ты для меня все. Потребуй от меня чего угодно, Дея, и я сделаю. Чего бы ты желала? Что мне надо сделать для тебя?

Дея ответила:

— Не знаю. Я счастлива.

— О да, — подхватил Гуинплен, — мы счастливы.

Урсус строго повысил голос:

— Ах, так! Вы счастливы? Это почти преступление. Я уже предупреждал вас. Вы счастливы? Тогда старайтесь, чтобы вас никто не видел. Занимайте как можно меньше места. Счастье должно забиваться в самый тесный угол. Съежьтесь еще больше, станьте еще незаметнее. Чем незначительнее человек, тем больше счастья перепадет ему от бога. Счастливые люди должны прятаться, как воры. Ах, вы сияете, жалкие светляки, — ладно, вот наступят на вас ногой, и отлично сделают! Что это за дурацкие нежности? Я не дуэнья, ко-

торой по должности положено смотреть, как целуются влюбленные голубки. Вы мне надоели в конце концов. Убирайтесь к черту!

И, чувствуя, что его суровый тон все смягчается, становится почти нежным, он, скрывая свое волнение, заворчал еще громче.

— Отец, — сказала Дея, — почему у вас такой сердитый голос?

— Это потому, — ответил Урсус, — что я не люблю, когда люди слишком счастливы.

Тут Урсуса поддержал Гомо. У ног влюбленной пары послышалось рычанье волка.

Урсус наклонился и положил руку на голову Гомо.

— Ну вот, ты тоже не в духе. Ты ворчишь. Вон как ощетинилась шерсть на твоей волчьей башке! Ты не любишь любовного сюсюканья. Это потому, что ты умен. Но все равно молчи. Ты поговорил, ты высказал свое мнение. Теперь — ни гу-гу.

Волк снова зарычал.

Урсус заглянул под стол.

— Смирно, говорю тебе, Гомо. Ну, не упрямься, философ.

Но волк вскочил на ноги и, глядя на дверь, оскалил клыки.

— Что с тобой? — спросил Урсус и схватил Гомо за загривок.

Дея, не обращая внимания на ворчанье волка, вся погруженная в собственные мысли, наслаждалась звуком голоса Гуинплена и молчала в том свойственном одним лишь слепым состоянии экстаза, порою дающего им возможность слышать пение, которое звучит у них в душе и заменяет им какой-то неведомой музыкой недостающий свет. Слепота — мрак подземелья, откуда слышна глубокая, вечная гармония.

В то время как Урсус, уговаривая Гомо, опустил голову, Гуинплен поднял глаза.

Он поднес ко рту чашку чая, но не стал пить ее; с медлительностью ослабевшей пружины он поставил ее обратно на стол, его пальцы так и остались разжатыми, он весь замер и, не дыша, устремил глаза в одну точку.

В дверях, за спиною Деи, стоял какой-то человек.

Незнакомец был одет в длинный черный плащ с капюшоном. Его парик был надвинут до самых бровей, в руках он держал железный кованый жезл и короной на обоих концах. Жезл был короткий и массивный.

Вообразите себе Медузу, просунувшую голову

между двумя ветвями райского дерева.

Урсус почувствовал, что кто-то вошел; не выпуская Гомо, он поднял голову и узнал страшного гостя. Он задрожал всем телом.

— Это жезлоносец, — шепнул он на ухо Гуинплену.

Гуинплен вспомнил.

Он чуть было не вскрикнул от удивления, но удержался. Железный жезл с короной на концах был iron-weapon.

Это тот знаменитый жезл, на котором городские судьи, вступая в должность, приносили присягу и от которого прежние полицейские в Англии получили свое название.

Позади человека в парике вырисовывалась в полумраке фигура перепуганного хозяина гостиницы.

Человек, не произнося ни слова и как бы олицетворяя собой немую Фемиду древних хартий, протянул правую руку над головой улыбающейся Деи и, дотронувшись железным жезлом до плеча Гуинплена, в то же время большим пальцем левой руки указал на дверь «Зеленого ящика». Двойной этот жест, казавшийся еще повелительнее благодаря молчанию жезлоносца, означал: «Следуйте за мной».

«Pro signo exeundj, sursum trahe»[227]

, - говорится в нормандском своде монастырских грамот.

Тот, на кого опускался железный жезл, терял все права, кроме права повиноваться. Никаких возражений против безмолвного приказания не разрешалось. Английское законодательство грозило ослушнику самыми беспощадными карами.

Почувствовав на себе суровую длань закона, Гуинплен вздрогнул, потом сразу точно окаменел.

Сильный удар по голове оглушил бы его не больше, чем это простое прикосновение железного жезла к плечу. Он видел, что ему приказано следовать за полицейским. Но почему? Этого он не понимал.

Урсус, тоже как громом пораженный, все-таки довольно ясно отдавал себе отчет в происшедшем. Он думал о своих конкурентах, фиглярах и проповедниках, о доносах на «Зеленый ящик», о преступнике-волке, о своих препирательствах с тремя бишопсгейтскими инквизиторами и — как знать? — последнее было ужаснее всего — о непристойных и крамольных словах Гуинплена насчет королевской власти. Он был сильно испуган.

А Дея улыбалась.

Ни Гуинплен, ни Урсус не проронили ни слова. У обоих возникла одна и та же мысль: не тревожить Дею. Волк, должно быть, решил поступить так же, ибо перестал ворчать. Правда, Урсус продолжал держать его за загривок.

Впрочем, Гомо в некоторых случаях соблюдал осторожность. Кому не приходилось замечать, как сдержанно проявляется иногда беспокойство у животных?

Быть может, в той мере, в какой волк способен понимать людей, Гомо чувствовал себя преступником.

Гуинплен встал.

Он знал, что сопротивляться немыслимо, он помнил слова Урсуса, что никаких вопросов задавать нельзя. Он вытянулся перед представителем закона во весь рост.

Пристав снял с его плеча железный жезл и повелительным жестом простер его вперед; в те времена этот жест полицейского был понятен всякому и означал:

«Этот человек один пойдет со мною. Все остальные пусть остаются на своих местах. Ни звука».

Вопросов не допускалось. Полиция во все времена с особым рвением пресекала праздные разговоры. Этот вид ареста назывался «секве-

стром личности».

Пристав одним движением, точно заводная кукла, вращающаяся вокруг собственной оси, повернулся спиной и важным, размеренным шагом направился к выходу. Гуинплен посмотрел на Урсуса.

Урсус ответил ему сложной мимикой: поднял плечи, прижал локти к бокам и, отставив руки, взметнул кверху брови, что должно было означать: «Покоримся неведомой судьбе».

Гуинплен взглянул на Дею. Она о чем-то задумалась; Улыбка застыла на ее лице.

Он приложил пальцы к губам и послал ей невыразимо нежный поцелуй.

Как только пристав повернулся к Урсусу спиной, тот, набравшись смелости, воспользовался этим мгновением, чтобы шепнуть на ухо Гуинплену:

— Если тебе дорога жизнь, не открывай рта, молчи, пока не спросят.

Стараясь не производить ни малейшего шума, как человек, находящийся в комнате больного, Гуинплен снял со стены шляпу и плащ, завернулся в него до самых глаз, а шляпу низко надвинул на лоб; так как накануне он лег не раздеваясь, на нем был рабочий костюм и кожаный нагрудник;

он еще раз взглянул на Дею; пристав, дойдя до наружной двери «Зеленого ящика», поднял кверху жезл и стал спускаться по откидной лесенке; Гуинплен пошел за ним, точно тот тащил его на невидимой цепи; Урсус посмотрел вслед уходящему Гуинплену; в эту минуту волк принялся жалобно выть, но Урсус сразу призвал его к порядку, шепнув: «Он скоро вернется».

На дворе Никлс, видимо желая угодить полицейскому, гневным жестом велел замолчать вопившим от ужаса Винос и Фиби: с отчаянием смотрели они, как человек в черном плаще и с железным жезлом уводит Гуинплена.

Девушки стояли словно каменные, словно вдруг обратились в сталактиты.

Ошеломленный Говикем, вытаращив глаза, глядел в полурастворенное окно.

Пристав, не оборачиваясь, шел на несколько шагов впереди Гуинплена с тем ледяным спокойствием, которое дается человеку сознанием, что он олицетворяет собою закон.

В гробовом молчании они прошли через двор, затем через зал кабачка и вышли на площадь. Перед дверью гостиницы толпилась кучка прохожих, и стоял наряд полиции во главе с судебным приставом. Пораженные зрелищем зеваки, не

проронив ни звука, расступились перед жезлом констебля с дисциплинированностью, свойственной каждому англичанину; пристав направился узкими переулками, которые тянулись вдоль Темзы; Гуинплен, конвоируемый с обеих сторон отрядом полицейских, бледный, не делая никаких движений, кроме тех, которых требует ходьба, закутавшись в плащ, точно в саван, медленно удалялся от гостиницы, безмолвно шествуя за молчаливым человеком, подобно статуе, которая сопровождала бы призрак.

3. Lex, rex, fex — Закон, король, чернь

Арест без объяснения причин, который сильно удивил бы нынешнего англичанина, был приемом весьма частым в полицейской практике тогдашней Великобритании. К нему прибегали еще в царствование Георга II, невзирая на habeas corpus, особенно в тех щекотливых случаях, в каких во Франции пускали в ход тайные повеления об арестах, так называемые lettres de cachet; одно из обвинений, предъявленных Уолполу, заключалось в том, что он допустил или даже сам распорядился задержать Нейгофа[228]

именно таким образом. Обвинение это было, по всей вероятности, недостаточно обосновано, ибо Нейгоф, корсиканский король, был посажен

в тюрьму своими кредиторами.

Безмолвные аресты, нашедшие себе широкое применение в практике фемгерихта, допускались германским обычаем, легшим в основу доброй половины английских законов, и в некоторых случаях поощрялись обычаем нормандским, дух которого сказывается в другой их половине. Начальник дворцовой стражи Юстиниана именовался «императорским блюстителем молчания» — silentiarius imperialis. Английская магистратура, прибегавшая к подобным арестам, опиралась на многочисленные нормандские тексты: Canes latrant, sergentes silent. - Sergenter agere, id est tacere[229]

Она ссылалась на параграф 16 статута Ландульфа Сагакса: Facit imperator silentium[230]

Она цитировала хартию короля Филиппа от 1307 года: Multos tenebimus bastonerios qui, obmutescentes, sergentare valeant[231]

Она приводила выдержки из главы LIII статута Генриха I, короля Англии: Surge signo jussus. Taciturnior esto. Hoc est esse in captione regis[232]

Особенно охотно пользовалась она предписанием, которое рассматривалось ею как одна из наиболее старинных феодальных привилегий Англии и которое гласило: «Под началом

виконтов состоят военные сержанты, каковые обязаны карать по всей строгости законов всех вступивших в злонамеренные общества, всех обвиненных в каком-либо тяжком преступлении, людей беглых и однажды присужденных к изгнанию… обязаны применять столь внушительные меры тайного устрашения, чтобы мирное население продолжало жить спокойно, а злоумышленники были обезврежены…» Быть задержанным на основании этого постановления значило быть схваченным вооруженной стражей (Vetus Consuetude Normanniae, MS.[233]

, часть I, раздел I, глава II). Юрисконсульты, кроме того, приводили главу о servientes spathae из Charta Ludovici Hutini pro normannis[234]

Servientes spathae по мере приближения вульгарной латыни к современному разговорному языку превратились в sergentes spadae.[235]

Безмолвные аресты были противоположностью крику «Держи его» и указывали на то, что надлежит соблюдать молчание, покуда не будут выяснены некоторые обстоятельства.

Они были предупреждением: никаких вопросов!

Когда полиция производила такие аресты, это указывало, что они производились по государ-

ственным соображениям.

К арестам этого рода прилагался правовой термин private, то есть «при закрытых дверях».

Именно таким образом, по свидетельству некоторых историков, Эдуард III подверг Мортимера[236]

задержанию в постели своей матери Изабеллы Французской. Впрочем, этот факт отнюдь не бесспорен, ибо есть сведения, что Мортимер выдержал в своем городе целую осаду, прежде чем его захватили.

Уорик[237]

, «делатель королей», охотно пользовался этим способом «привлечения людей к суду».

Кромвель тоже применял его, особенно в Коннауте: именно так, соблюдая молчание, был арестован в Кильмеко родственник графа Ормонда[238]

- Трейли-Аркло.

Личное задержание по молчаливому знаку представителя правосудия являлось скорее вызовом в суд, нежели арестом.

Иногда оно было всего-навсего способом производства дознания, и в самом молчании, налагаемом на всех присутствующих, проявлялось стремление оградить в какой-то мере интересы

арестованного.

Однако народу, плохо разбиравшемуся в таких тонкостях, эти безмолвные аресты представлялись особенно страшными.

Не следует забывать, что в 1705 году, и даже значительно позднее, Англия была не та, что теперь. Весь ее внутренний уклад был крайне сумбурен и порою чрезвычайно тягостен для населения. В одном из своих произведений Даниэль Дефо[239]

, который на собственном опыте узнал, что такое позорный столб, характеризует общественный строй Англии словами: «железные руки закона». Страшен был не только закон, страшен был произвол. Вспомним хотя бы Стиля[240]

, изгнанного из парламента; Локка, прогнанного с кафедры; Гоббоа и Гиббона, вынужденных спасаться бегством, подвергшихся преследованиям Чарльза Черчилля, Юма и Пристли; посаженного в Тауэр Джона Уилкса[241]

Если начать перечислять все жертвы статута seditious libel[242]

, список окажется длинным. Инквизиция проникла во все углы Европы; ее приемы сыска стали школой для многих. В Англии было возможно самое чудовищное посягательство на основные права ее обитателей; пусть вспомнят хотя бы о

«газетчике в панцире». В середине восемнадцатого века, по приказу Людовика XV, на Пикадилли хватали неугодных ему писателей. Правда, и Георг III арестовал во Франции в зале Оперы претендента на престол[243]

Это были две чрезвычайно длинные руки: рука французского короля дотягивалась до Лондона, а рука английского короля — до Парижа. Такова была свобода.

Прибавим, что власть охотно прибегала к казням в стенах тюрьмы; к казни примешивался обман. То был омерзительнейший способ действий, к которому Англия возвращается в наши дни, являя тем самым всему миру чрезвычайно странное зрелище: в поисках лучшего эта великая держава избирает худшее и, стоя перед выбором между прошлым, с одной стороны, и прогрессом, с другой, — допускает жестокую ошибку, принимая ночь за день.

4. Урсус выслеживает полицию

Как мы уже говорили, по суровым законам того времени обращенное к кому-либо требование следовать за жезлоносцем являлось для всех присутствующих при этом приказанием не двигаться с места.

Тем не менее кое-кто из любопытных этому

требованию не подчинился и издали сопровождал группу полицейских, уводивших Гуинплена. В числе их был и Урсус.

В первое мгновение он окаменел, как только может окаменеть человек. Но столько раз уже приходилось ему сталкиваться со случайностями бродячей жизни, со всякими неожиданными злоключениями, что, подобно военному судну, на котором в минуту тревоги вызывается к боевым постам весь экипаж, он объявил сам себе аврал, призвав на помощь весь свой разум.

Он поспешил сбросить с себя оцепенение и стал размышлять. В беде нельзя поддаваться панике, беде надо смотреть прямо в лицо; это долг каждого, если только он не дурак.

Не доискиваться долго смысла события, но действовать. Действовать немедленно. Урсус задал себе вопрос; «Что делать?»

Теперь, когда Гуинплена увели, перед Урсусом встал трудный выбор: страх за судьбу Гуинплена гнал его за ним, страх за самого себя подсказывал решение не трогаться с места.

Урсус обладал отвагой мухи и стойкостью мимозы. Его объял неописуемый трепет. Однако он героически поборол все колебания и решил, вопреки закону, пойти за жезлоносцем, — до

такой степени он был встревожен тем, что могло произойти с Гуинпленом. Видно, он очень перепугался, если проявил такое мужество. На какие только отважные поступки не толкает порою зайца смертельный страх! Испуганная серна способна перескочить через пропасть. Полное забвение осторожности — одна из форм страха.

Гуинплена скорее похитили, чем арестовали. Полиция действовала так быстро, что на ярмарочной площади, еще малолюдной в этот ранний час, арест Гуинплена прошел незаметно. В балаганах Таринзофилда почти никто и не знал о том, что жезлоносец приходил за «Человеком, который смеется». Вот почему кучка людей, сопровождавших шествие, была очень невелика.

Благодаря плащу и войлочной шляпе, закрывавшим все лицо Гуинплена, кроме глаз, прохожие не узнавали его.

Прежде чем пойти за Гуинпленом, Урсус принял меры предосторожности. Отозвав в сторону Никлса, Говикема, Фиби и Винос, он строго-настрого приказал им хранить обо всем полное молчание при Дее, которая так ни о чем и не подозревала; ни единым словом не проговориться при ней о случившемся и для того, чтобы она ни о чем не догадалась, объяснить отсутствие Гуинплена

и Урсуса хлопотами по театральным делам; скоро наступит час ее предобеденного сна, и, прежде чем она проснется, Урсус возвратится вместе с Гуинпленом, ибо все это сплошное недоразумение, mistake, как говорится в Англии; им обоим, ему и Гуинплену, без малейшего труда удастся все разъяснить суду и полиции, они докажут властям их ошибку, и оба вскоре вернутся домой.

Урсусу удалось следовать за Гуинпленом совсем незаметно, ибо он старался держаться как можно дальше от него; и все же он умудрился не потерять его из виду. Смелое подглядывание — храбрость робких.

В конце концов, несмотря на всю торжественность, с которой арестовали Гуинплена, быть может его вызвали в полицию из-за какого-нибудь маловажного проступка. Урсус успокаивал себя, что вопрос может быть разрешен без проволочки.

Кое-что выяснится тут же в зависимости от того, в какую сторону направится отряд полицейских, когда дойдет до конца Таринзофилда и вступит в один из переулков Литтл-стренда.

Если он повернет налево, то это значит, что Гуинплена ведут в Саутворкскую ратушу. В этом случае опасаться чего-либо серьезного не при-

ходится: какое-нибудь пустячное нарушение городских постановлений; выговор судьи, два-три шиллинга штрафа. Гуинплена отпустят, и представление «Побежденного хаоса» состоится в тот же вечер в обычное время. Никто ничего не заметит.

Если же отряд повернет направо — дело серьезное; в этом направлении находились грозные места.

Когда жезлоносец, возглавлявший двойную шеренгу полицейских, конвоировавших Гуинплена, дошел до Литтл-стренда, Урсус, затаив дыхание, впился в него главами. Бывают моменты, когда все силы человека сосредоточиваются в его взгляде.

Куда же они повернут?

Отряд повернул направо.

Урсус зашатался от ужаса и прислонился к стене, чтобы не упасть.

Нет ничего лицемернее слов, с которыми в иные минуты человек обращается к самому себе: «Надо узнать, в чем дело». В глубине души он совсем этого не желает. В нем говорит один лишь страх. К тревоге присоединяется еще и смутное опасение сделать какие-либо выводы. Человек сам себе в этом не сознается, но он уже охотно

попятился бы обратно и, ступив шаг вперед, уже упрекает себя в этом.

Так было и с Урсусом. Он с трепетом подумал: «Дело принимает дурной оборот. Я всегда успел бы узнать об этом. Зачем я пошел за Гуинпленом?»

Придя к такому заключению, он — ибо всякий человек соткан из противоречий — ускорил шаг и, преодолевая страх, поспешил нагнать полицейских, чтобы в лабиринте саутворкских улиц не разорвалась нить, соединявшая его с Гуинпленом.

Полицейский отряд не мог двигаться быстрее из-за торжественности шествия.

Шествие открывалось жезлоносцем.

Оно замыкалось судебным приставом.

Все это требовало известной медлительности.

Все величие, какое только способно воплощать в себе должностное лицо, сказывалось в наружности этого замыкавшего шествие судебного пристава. Его костюм представлял собой нечто среднее между роскошным одеянием оксфордского доктора музыки и скромным черным платьем кембриджского доктора богословия. Из-под длинного годберга, то есть мантии, подбитой мехом норвежского зайца, выглядывал камзол

дворянина. Внешность у этого человека была наполовину средневековая: на голове парик, как у Ламуаньона, а рукава широкие, как у Тристана Отшельника[244]

Его большие круглые глаза по-совиному уставились на Гуинплена. Выступал он мерным шагом. Вряд ли можно было встретить более свирепого малого.

Урсус немного сбился с пути среди извилистых переулков, но у церкви святой Марии Овер-Рэй ему удалось нагнать шествие, которое, к счастью, задержала драка между мальчишками и собаками — обычная сцена на улицах тогдашнего Лондона; в старинных полицейских протоколах, отводящих собаке место впереди детей, она значилась под рубрикой «dogs and boys» — «собаки и мальчишки».

Человек, которого под конвоем полиции вели к судье, был в то время самым заурядным явлением, и так как у каждого были свои собственные дела, кучка любопытных вскоре разбрелась. Один только Урсус продолжал идти по следам Гуинплена.

Миновали две часовни, стоявшие одна против другой и принадлежавшие двум сектам, существующим еще и в наши дни: общине «Рели-

гиозного отдыха» и «Лиге аллилуйи».

Затем шествие, извиваясь, переходило из переулка в переулок, выбирая по преимуществу еще не застроенные улицы, поросшие травой, безлюдные проходы между домами, и делая много поворотов. Наконец оно остановилось. Это был глухой переулок. Никаких жилых строений, кроме двух-трех лачуг в самом начале его. Переулок пролегал между двумя стенами — низкой слева и высокой каменной стеной справа. Эта почерневшая от времени стена саксонской кладки с зубцами была укреплена железными «скорпионами» и прорезана узенькими отдушинами, закрытыми толстой решеткой. Ни одного окна; только кое-где отверстия, служившие некогда амбразурами для камнеметов и старинных пищалей. В самом низу стены виднелась маленькая калитка, похожая на дверцу мышеловки.

Эта калитка с решетчатым оконцем была проделана в полукруглом углублении массивного свода и висела на узловатых прочных петлях; она была заперта на большой замок, снабжена тяжелым молотком, сплошь усеяна гвоздями и словно покрыта панцирем из металлических пластинок и блях: в ней было больше железа, чем дерева.

В переулке — ни души. Ни лавок, ни прохожих.

Но откуда-то поблизости доносился непрерывный шум, как будто рядом с переулком протекал бурный поток. Это был гул голосов и грохот экипажей. Возможно, что по другую сторону почерневшего здания проходила большая улица, вероятно главная улица Саутворка, упиравшаяся одним концом в Кентерберийскую дорогу, а другим — в Лондонский мост.

На всем протяжении переулка случайный наблюдатель мог бы обнаружить, кроме конвоя, окружавшею Гуинплена, только одно человеческое лицо — смертельно бледный профиль Урсуса, который рискнул наполовину высунуться из тени, падавшей от стены. Он притаился в одном из коленчатых изгибов переулка, смотрел и боялся увидеть.

Отряд выстроился перед калиткой.

Гуинплен находился в центре, но теперь жезлоносец со своим железным жезлом стоял позади него. Судебный пристав поднял молоток и постучал три раза. Оконце открылось. Судебный пристав произнес:

— По указу ее величества.

Тяжелая дубовая, окованная железом дверь повернулась на петлях, открылся темный, холодный проем, напоминавший вход в пещеру.

Страшный свод терялся во мраке.

Урсус видел, как Гуинплен исчез под этим сводом.

5. Ужасное место

Жезлоносец вошел вслед за Гуинпленом. За жезлоносцем — судебный пристав. За ним — весь отряд. Калитка захлопнулась.

Тяжелая дверь вплотную прилегла к каменному косяку, и не было видно, ни кто открыл ее, ни кто ее запер. Казалось, засовы сами собой вошли в скобы. В некоторых очень давней постройки смирительных домах еще существуют подобные механизмы, служившие в старину для вящего устрашения преступника. Дверь, привратник которой оставался незримым. Это придавало тюремным воротам сходство с вратами ада.

Эта калитка была задним ходом Саутворкской тюрьмы.

В этом покрытом плесенью угрюмом здании не было ни одной детали, которая шла бы вразрез с мрачным видом, свойственным всякой тюрьме.

Языческий храм, воздвигнутый некогда катьюкланами в честь могонов, древних божеств Англии, ставший впоследствии дворцом для Этелульфа и крепостью для Эдуарда Святого, а в 1199 году превращенный Иоанном Безземельным

в место заключения, — вот что представляла собою Саутворкская тюрьма. Это сооружение, вначале пересеченное улицей, подобно тому как Шенонсо[245]

пересекается рекой, в течение одного или двух столетий было тем, что по-английски называется gate, то есть укрепленной заставой городского предместья; затем проезд заложили. В Англии еще сохранилось несколько тюрем этого типа: в Лондоне — Ньюгейт, в Кентербери — Вестгейт, в Эдинбурге — Кенонгейт. Французская Бастилия на первых порах тоже служила заставой.

Почти все английские тюрьмы имели один и тот же внешний вид: снаружи — высокая стена, внутри — целый улей тюремных камер. Трудно представить себе что-либо мрачнее этих готических тюрем, в которых паук и правосудие ткали свою паутину и куда в то время не проник еще, подобно солнечному лучу, Джон Ховард[246]

Все они, подобно старинной брюссельской «геенне», могли бы быть названы «домом слез».

Глядя на эти угрюмые здания, люди испытывали ту же щемящую тоску, какую чувствовали древние мореплаватели, проезжая мимо ада рабов, упоминаемого Плавтом, мимо островов железного лязга, ferricrepiditae insulae, при при-

ближении к которым слышен был звон цепей.

В Саутворкскую тюрьму, старинное место пыток и изгнания бесов, вначале сажали преимущественно колдунов, как на то указывало полустершееся двустишие, высеченное на камне над калиткой:

Sunt arreptitii vexati daemone multo.
Est energumenus quem daemon possidet unus.[247]

Эти стихи устанавливают тонкое различие между одержимым и бесноватым.

Над этой надписью была прибита к стене виселичная лестница — символ высшего правосудия; она была когда-то сделана из дерева, но окаменела, будучи зарыта в землю близ Вобурнского аббатства, в Асплей-Говисе, почва которого обладает свойством все превращать в камень.

Саутворкская тюрьма, ныне уже разрушенная, выходила на две улицы, сообщавшиеся между собой в те времена, когда она служила воротами; в ней было два входа: один, парадный, с главной улицы, предназначавшийся для властей, другой — с переулка, «скорбный вход», для всех прочих смертных, а также для покойников, ибо когда в тюрьме умирал заключенный, его труп выносили в эту калитку. Это было тоже своего рода освобождение. Смерть — свобода, даруемая вечностью.

Этим «скорбным входом» Гуинплена ввели в тюрьму.

Переулок, как мы уже говорили, представлял выложенную камнем узкую дорожку, сжатую с обеих сторон стенами. В Брюсселе есть такой переулок, именуемый «Улицей для одного прохожего». Стены были неравной высоты: высокая стена была стеной тюрьмы, низкая — оградой кладбища. Эта ограда, за которой окончательно превращалось в прах тело, наполовину сгнившее в тюрьме, была не выше человеческого роста. Ее ворота приходились как раз напротив тюремной калитки. Покойнику только и было труда, что перебраться через улицу. Достаточно было сделать двадцать шагов вдоль стены, чтобы очутиться на кладбище. К высокой стене была прибита виселичная лестница; напротив, на кладбищенской ограде, красовалось изваяние черепа. Одна стена нисколько не ослабляла мрачного впечатления от другой.

6. Какие судебные чины скрывались под париками того времени

Если бы кто-нибудь в эту минуту посмотрел, что творится по другую сторону тюрьмы — со стороны ее фасада, он увидел бы главную улицу Саутворка и мог бы заметить у монументального

парадного подъезда здания дорожную карету с крытыми козлами, напоминавшую нынешние кабриолеты. Ее окружала кучка любопытных. Карета была разукрашена гербами, и толпа видела, как из нее вышел человек, который исчез затем в дверях тюрьмы; вероятно, судья, — решили присутствовавшие, ибо в Англии судьи часто бывали из дворян и имели «право на герб». Во Франции герб и судейская мантия почти всегда исключали друг друга; герцог Сен-Симон[248]

, говоря о судьях, как-то выразился: «люди этого сословия». В Англии же звание судьи нисколько не бесчестило дворянина.

В Англии существуют должности выездных судей; они называются «окружными судьями», и не было ничего проще, как принять эту карету за экипаж судьи, совершающего объезд. Несколько необычным казалось только то, что предполагаемый судья вышел не из самой кареты, а сошел с козел, где хозяин обычно не сидит. Другая странность: в ту эпоху в Англии путешествовали либо в дилижансе, уплачивая по шиллингу за каждые пять миль, либо верхом, с оплатой по три су за милю и по четыре су форейтору после каждого перегона; тот, кто позволял себе путешествовать на перекладных в собственной карете,

платил за каждую лошадь и за каждую милю столько шиллингов, сколько су платил ехавший верхом; карета же, остановившаяся у подъезда Саутворкской тюрьмы, была запряжена четверкой лошадей и управлялась двумя форейторами — княжеская роскошь. Наконец больше всего возбуждало любопытство и сбивало с толку то обстоятельство, что карета была тщательно закрыта со всех сторон. Верх был поднят. Окошечки были защищены ставнями; все отверстия, куда только мог проникнуть глаз, заслонены; снаружи нельзя было видеть того, что было внутри экипажа, и, вероятно, изнутри точно так же не было видно ничего из происходившего снаружи. Впрочем, судя по всему, в карете никого не было.

Так как Саутворк входил в состав Серрейского графства, то Саутворкская тюрьма была подведомственна серрейскому шерифу. Такое разграничение подсудности было в Англии явлением обычным. Так, например, лондонский Тауэр считался расположенным вне территории какого-либо графства, то есть, с точки зрения юридической, как бы висел в воздухе. Тауэр не признавал никаких судебных властей, кроме своего констебля, носившего звание custos turris[249]

Тауэр имел свою собственную юрисдикцию,

свою церковь, свой суд, свое особое управление. Власть кустода, или констебля, простиралась и за пределы Лондона на двадцать одно селение.

В Великобритании существует множество юридических несообразностей: так, в частности, должность главного канонира Англии подчинена лондонскому Тауэру.

Другие обычаи, получившие силу закона, кажутся еще более странными. Например, английский морской суд руководствуется в своей практике законами Родоса и Олерона (французского острова, некогда принадлежавшего англичанам).

Шериф графства был весьма важным лицом. Он всегда был эсквайром, а иногда и рыцарем. В старинных хартиях он именуется spectabilis — человеком, на которого надлежит смотреть. Этот титул занимал среднее место между illustris и clarissimus[250]

: он был ниже первого и выше второго. Шерифы графств некогда избирались народом; но с тех пор как Эдуард II я вслед за ним Генрих VI сделали назначение на эту должность прерогативой короны, шерифы, стали представителями королевской власти. Все они назначались его величеством, за исключением шерифа уэст-

морлендского, должность которого являлась наследственной, а также шерифов Лондона и Мвддлсекса, избиравшихся самим населением в Commonhall. Шерифы Уэльса и Честера пользовались известными правами фискального характера. Все эти должности существуют в Англии и поныне, но мало-помалу, испытав на себе влияние новых обычаев и новых идей, уже утратили свои прежние характерные особенности. На шерифе графства лежала, между прочим, обязанность сопровождать выездных судей и при случае оказывать им покровительство. Подобно тому, как у человека две руки, у шерифа было два помощника; правой его рукой был собственно помощник шерифа, а левой — судебный пристав. При содействии окружного пристава, именуемого жезлоносцем, судебный пристав арестовывал, допрашивал и под ответственность шерифа подвергал тюремному заключению воров, убийц, бунтовщиков, бродяг и всяких мошенников, подлежавших суду окружных судей. Разница между помощником шерифа и судебным приставом, которые оба были подчинены шерифу, состояла в том, что помощник шерифа сопровождал его, а судебный пристав помогал ему в отправлении его должности. Шериф возглавлял два суда: суд

постоянный, окружной, County court, и суд выездной, Sheriff-turn, воплощая, таким образом, в своем лице единство и вездесущность судебной власти. В качестве судьи он мог требовать в сомнительных случаях содействия и разъяснений от ученого юриста, так называемого sergens coifae, присяжного законоведа, который под черной шапочкой носил колпачок из белого кембрика. Шериф «разгружал» места заключения: прибыв в один из городов подведомственного ему графства, он имел право наскоро, огулом, решить судьбу всех арестованных, либо освободив их совсем, либо отправив на виселицу, что называлось очисткой тюрьмы, goal delivery. Шериф предлагал составленный им обвинительный акт двадцати четырем присяжным заседателям; если они соглашались с ним, то писали на нем; bilta vera[251]

; если не соглашались, делали надпись: ignoramus[252]

; во втором случае обвинение отпадало, я шериф имел право уничтожить обвинительный акт. Если во время судебного следствия один из присяжных умирал, каковое обстоятельство по закону влекло за собой признание обвиняемого невиновным, шерифу, имевшему право арестовать обвиняемого, предоставлялось право

освободить его из-под стражи. Особенное уважение и особый страх, внушаемые шерифом, объяснялись тем, что на его обязанности лежало исполнение «всех приказаний его величества» — чрезвычайно опасная широта полномочий. Такие формулы таят в себе неограниченную возможность произвола. Шерифа сопровождали чиновники, именовавшиеся verdeors (лесничими) и коронеры; торговые приставы обязаны были оказывать ему содействие; кроме того, у него была прекрасная свита из конных и пеших слуг, одетых в ливреи. «Шериф, — говорит Чемберлен, — это жизнь правосудия, закона и графства».

В Англии все законы и обычаи в результате незаметно протекающего разрушительного процесса подвергаются постепенному измельчанию и уничтожению. В наше время, повторяем, ни шериф, ни жезлоносец, ни судебный пристав уже не могли бы отправлять свою должность так, как они отправляли ее прежде. В старинной Англии существовало некоторое смешение отдельных видов власти, и недостаточная определенность полномочий влекла за собой вторжение в сферу чужой деятельности — явление, в наши дни уже невозможное. Тесной связи между полицией и

правосудием положен ныне конец. Наименования должностей сохранились, но функции их уже стали иными. Нам кажется, что даже самый смысл слова wapentake изменился. Прежде оно обозначало судейскую должность, теперь оно обозначает территориальное подразделение; прежде так назывался кантонный пристав, ныне же — самый кантон.

В описываемую нами эпоху шериф графства соединял и сосредоточивал в своем лице в качестве городской власти и представителя короля, правда с некоторыми добавочными полномочиями и ограничениями, обязанности двух чиновников, носивших некогда во Франции звание главного гражданского судьи города Парижа и полицейского судьи. Главного судью города Парижа довольно четко характеризует запись в одном из полицейских протоколов того времени: «Господин гражданский судья не враг семейных раздоров, потому что это всегда для него грабительская пожива» (22 июля 1704 года). Что же касается полицейского судьи, особы, опасной многообразием и неопределенностью своих функций, то этот тип нашел себе наиболее полное выражение в личности Рене д'Аржансона[253]

, в котором, по словам Сен-Симона, сочетались

черты трех судей Аида.[254]

Эти судьи, как уже видел читатель, заседали и в лондонской Бишопсгейтской тюрьме.

7. Трепет

Услыхав, как заскрипела всеми петлями и захлопнулась входная дверь, Гуинплен содрогнулся. Ему показалось, что эта только что закрывшаяся за ним дверь была рубежом между светом и мраком, между миром земных радостей и царством смерти, что все, что освещает и согревает солнце, осталось позади, что он переступил пределы жизни, очутился вне ее. Сердце у него болезненно сжалось. Что с ним намерены сделать? Что все это значит?

Где он?

Он ничего не видел вокруг себя; его окружала непроглядная тьма. Как только закрылась дверь, он как будто мгновенно ослеп. Оконце тоже захлопнулось. Не было ни отдушины, ни фонаря — обычная мера предосторожности в старинные времена. Запрещалось освещать внутренние ходы тюрьмы, чтобы вновь прибывшие не могли их приметить.

Гуинплен протянул руки в стороны и нащупал справа и слева стены; это был какой-то коридор. Мало-помалу бог весть откуда сочившийся в вы-

сокое подземелье сумеречный свет, к которому, расширяясь, приспособился зрачок, позволил Гуинплену различить неясные очертания тянувшегося перед ним коридора.

О суровых карательных мерах Гуинплен знал только со слов все преувеличивавшего Урсуса, и теперь ему чудилось, будто его схватила чья-то огромная незримая рука. Ужасно, когда нами распоряжается неведомый нам закон. Можно сохранять присутствие духа при всяких обстоятельствах и все-таки растеряться перед лицом правосудия. Почему? Потому, что человеческое правосудие — потемки, и судьи бродят в них ощупью. Гуинплен помнил, что Урсус говорил ему о необходимости соблюдать молчание; ему хотелось живым вернуться к Дее; он сознавал, что находится во власти чьего-то произвола, и боялся раздражать тех, от кого он теперь всецело зависел. Иногда желание выяснить положение только ухудшает его. С другой стороны, все происходившее с ним так тяготило его, что в конце концов он не удержался и спросил:

— Господа, куда вы ведете меня?

Никто не ответил ему.

Сохранение полного молчания было одним из основных правил при безмолвном аресте, и текст

нормандского закона не допускал в подобных случаях никаких послаблений: «A silentiarils ostio praepositis introducti sunt».[255]

От этого молчания кровь застыла в жилах Гуинплена. До сих пор он считал себя сильным; он не нуждался ни в чьей поддержке; не нуждаться ни в чьей поддержке — значит быть необоримым. Он жил одиноким, воображая, что одиночество — верный залог неуязвимости. И вот внезапно он почувствовал на себе гнет некоей ужасной безликой силы. Каким способом бороться с чем-то страшным, жестоким, неумолимым — с законом? Он изнемогал под бременем этой загадки. Неведомый прежде страх прокрался к нему в душу, отыскав слабое место в защищавшей его броне. К тому же он совсем не спал и ничего не ел; он еле прикоснулся к чашке чая. Всю ночь он метался в каком-то бреду, его и теперь лихорадило. Его мучила жажда, быть может и голод. Пустой желудок дурно влияет на наше душевное состояние. Со вчерашнего дня на Гуинплена обрушивалось одно нежданное событие за другим. Его поддерживало только терзавшее его волнение: не будь урагана, парус висел бы тряпкой. Он чувствовал себя именно таким беспомощным лоскутом, который ветер напрягает до тех пор, пока не

превратит в лохмотья. Он чувствовал, что силы покидают его. Неужели он упадет без сознания на эти каменные плиты? Обморок — средство защиты для женщин и позор для мужчины. Он старался взять себя в руки, и все-таки дрожал.

Он испытывал ощущение человека, у которого почва уходит из-под ног.

8. Стон

Процессия тронулась.

Пошли по коридору.

Никаких предварительных опросов. Никакой канцелярии, никакой регистрации. Тюремное начальство того времени не занималось излишним бумагомаранием. Оно ограничивалось тем, что захлопывало за человеком двери, нередко даже не зная, за что его заточили. Тюрьма вполне довольствовалась тем, что она тюрьма и что у нее есть узники.

Коридор был узким, и шествию пришлось растянуться. Шли почти гуськом: впереди жезлоносец, за ним Гуинплен, за Гуинпленом судебный пристав, за судебным приставом полицейские, двигавшиеся вереницей вдоль всего коридора. Проход сужался все больше и больше: теперь Гуинплен уже касался локтями обеих стен; в своде, сооруженном из залитого цементом мелкого

камня, на равном расстоянии один от другого были гранитные выступы, и здесь потолок нависал еще ниже; приходилось наклоняться, чтобы пройти; бежать по коридору было невозможно. Даже тот, кто вздумал бы спастись бегством, был бы вынужден двигаться тут шагом; узкий коридор извивался, как кишка; внутренность тюрьмы так же извилиста, как и внутренности человека. Местами, то направо, то налево, чернели четырехугольные проемы, защищенные толстыми решетками, за которыми виднелись лестницы — одни поднимались вверх, другие спускались вниз. Дошли до запертой двери, она отворилась, переступили через порог, и она снова закрылась; затем встретилась еще одна дверь, тоже пропустившая шествие, потом третья, также повернувшаяся на петлях. Двери открывались и закрывались как бы сами собой. По мере того как коридор сужался, свод нависал все ниже и ниже, так что можно было двигаться, только согнув спину. На стенах выступала сырость; со свода капала вода, каменные плиты, которыми был выложен коридор, были покрыты липкой слизью, точно кишки. Какой-то бледный, рассеянный сумрак заменял свет; уже не хватало воздуха. Но всего страшнее было то, что галерея шла вниз.

Впрочем, заметить это можно было, только внимательно приглядевшись. Отлогий скат в темноте становился чем-то зловещим. Нет ничего чудовищнее неизвестности, которой идешь навстречу, спускаясь по едва заметному склону.

Спуск — это вход в ужасное царство неведомого.

Сколько времени шли они таким образом? Гуинплен не мог бы сказать этого.

Тревожное ожидание, словно прокатный вал, удлиняет каждую минуту до бесконечности.

Вдруг шествие остановилось.

Кругом был непроглядный мрак.

Коридор тут немного расширился.

Гуинплен услышал рядом с собой звук, похожий на звон китайского гонга, — как будто удар в диафрагму бездны.

Это жезлоносец ударил жезлом в железную плиту.

Плита оказалась дверью.

Дверь не поворачивалась на петлях, а поднималась и опускалась наподобие подъемной решетки.

Раздался резкий скрип в пазах, и глазам Гуинплена внезапно предстал четырехугольный просвет.

Это скользнула кверху и ушла в щель, проделанную в своде, железная плита, точь-в-точь как поднимается дверца мышеловки.

Открылся пролет.

Свет, проникавший оттуда, не был дневным светом, а тусклым мерцанием. Но для расширенных зрачков Гуинплена эти слабые лучи были ярче внезапной вспышки молнии.

Некоторое время он ничего не видел; различить что-нибудь в ослепительном сиянии так же трудно, как и во мраке.

Затем мало-помалу его зрачки приспособились к свету, также как ранее они приспособились к темноте; и Гуинплен стал постепенно различать то, что его окружало: свет, показавшийся ему вначале таким ярким, постепенно ослабел и перешел в полумрак; Гуинплен отважился взглянуть в зиявший перед ним пролет, и то, что он увидел, было ужасно.

У самых ног его почти отвесно спускалось в глубокое подземелье десятка два крутых, узких и стершихся ступеней, образуя нечто вроде лестницы без перил, высеченной в каменной стене. Ступени шли до самого низа.

Подземелье было круглое, со стрельчатым покатым сводом, покоившимся на осевших устоях

неравной высоты, как это обычно бывает в подвалах, устроенных под слишком массивными зданиями.

Отверстие, служившее входом и обнаружившееся, только когда поднялась кверху железная плита, было пробито в каменном своде в том месте, где начиналась лестница, так что с этой высоты взор погружался в подземелье, точно в колодец.

Подземелье занимало большое пространство, и если оно когда-то служило дном колодца, то колодец этот был циклопических размеров. Старинное выражение «яма» могло быть применено к этому каменному мешку, только если представить его себе в виде рва для львов или тигров.

Подземелье не было вымощено ни плитами, ни булыжником. Полом служила сырая, холодная земля, какой она бывает в глубоких погребах.

Посредине подземелья четыре низкие уродливые колонны поддерживали каменный стрельчатый навес, четыре ребра которого сходились в одной точке, образуя нечто, напоминавшее митру епископа. Этот навес, вроде тех балдахинов, под которыми некогда ставились саркофаги, упирался вершиной в самый свод, образуя в подземелье как бы отдельный покой, если можно назвать

покоем помещение, открытое со всех сторон и имеющее вместо четырех стен четыре столба.

К замочному камню навеса был подвешен круглый медный фонарь, защищенный решеткой, словно тюремное окно. Фонарь отбрасывал на столбы, на своды, на круглую стену, смутно видневшуюся за столбами, тусклый свет, пересеченный полосами тени.

Это и был тот свет, который в первую минуту ослепил Гуинплена. Теперь он казался ему мерцающим красноватым огоньком.

Другого освещения в подземелье не было. Ни окна, ни двери, ни отдушины.

Между четырьмя столбами, как раз под фонарем, на месте, освещенном ярче всего, лежала на земле какая-то белая, страшная фигура.

Она была простерта на спине. Можно было ясно разглядеть лицо с закрытыми глазами; туловище исчезало под какой-то бесформенной грудой; руки и ноги, растянутые в виде креста, были привязаны четырьмя цепями к четырем столбам, а цепи прикреплены к железным кольцам у подножия каждой колонны. Человеческая фигура, неподвижно застывшая в ужасной позе четвертуемого, синевато-бледным цветом кожи походила на труп. Это было обнаженное тело мужчины.

Окаменев, Гуинплен стоял на верхней ступени лестницы.

Вдруг он услыхал хрип.

Значит, это был не труп. Это был живой человек.

Немного поодаль от этого страшного существа, под одной из стрельчатых арок навеса, по обе стороны, большого кресла, водруженного на широком каменном подножия, стояло двое людей в длинных черных хламидах, а в кресле сидел одетый в красную мантию бледный неподвижный старик со зловещим лицом, держа в руке букет роз.

Человек более сведущий, чем Гуинплен, взглянув на букет, сразу сообразил бы, в чем дело. Право судить, держа в руке пучок цветов, принадлежало чиновнику, представлявшему одновременно и королевскую и муниципальную власть. Лорд-мэр города Лондона и поныне отправляет судейские функции с букетом в руке. Назначением первых весенних роз было помогать судьям творить суд и расправу.

Старик, сидевший в кресле, был шериф Серрейского графства.

Он застыл в величественной позе, напоминая собою римлянина, облеченного верховной вла-

стью.

Кроме кресла, в подземелье не было других сидений.

Рядом с креслом стоял стол, заваленный бумагами и книгами; на нем лежал длинный белый жезл шерифа.

Люди, недвижимо стоявшие по обе стороны кресла, были доктора: один — доктор медицины, другой — доктор права; последнего можно было узнать по шапочке, надетой на парик. Оба были в черных мантиях. Представители обеих этих профессий носят траур по тем, кого они отправляют на тот свет.

Позади шерифа, на выступе каменной плиты, служившей подножием, сидел с пером в руке и, видимо, собирался писать секретарь в круглом парике; на коленях у него лежала папка с бумагами, а на ней лист пергамента; подле него на плите стояла чернильница.

Чиновник этот принадлежал к числу так называемых «мешкохранителей», на что указывала сумка, лежавшая у его ног. Такая сумка, некогда бывшая непременным атрибутом судебного процесса, называлась «мешком правосудия».

Прислонившись к одному из столбов, со скрещенными на груди руками, стоял человек в

кожаной одежде. Это был помощник палача.

Все эти люди, замершие в мрачных позах вокруг закованного в цепи человека, казались зачарованными. Ни один не двигался; никто не произносил ни слова.

Кругом царила зловещая тишина.

Место, которое видел перед собой Гуинплен, было застенком. Таких застенков в прежней Англии было великое множество. Подземелье башни Бошана долгое время служило для этой цели, так же как подвалы тюрьмы Лоллардов. До наших дней сохранилось в Лондоне подземелье, известное под названием «склепа леди Плейс». В этом помещении находится камин, где накаливались щипцы.

Во всех тюрьмах, выстроенных при короле Иоанне, — а Саутворкская тюрьма была типичной тюрьмой той эпохи, — имелись застенки.

То, о чем сейчас будет рассказано, в ту пору часто происходило в Англии и могло бы, строго говоря, происходить и теперь, ибо все законы того времени существуют и поныне. Англия представляет собою любопытное явление в том отношении, что варварское законодательство прекрасно уживается в ней со свободой. Что и говорить, чета образцовая.

Однако некоторое недоверие к ней было бы нелишним. Случись какая-нибудь смута — и прежние карательные меры могли бы легко возродиться. Английское законодательство — прирученный тигр. Лапа у него бархатная, но когти прежние; они только спрятаны.

Обрезать эти когти было бы вполне разумно.

Английские законы почти совсем не признают права. По одну сторону — система карательных мер, по другую — принципы человечности. Философы протестуют против такого порядка, но пройдет еще немало времени, прежде чем человеческое правосудие сольется со справедливостью.

Уважение к закону характерно для англичан. В Англии к законам относятся с таким почтением, что их никогда не упраздняют. Из этого нелегкого положения, впрочем, находят выход: законы чтут, но их не исполняют. С устаревшими законами происходит то же, что с состарившимися женщинами; никто не думает насильственно пресекать существования тех или других; на них просто перестают обращать внимание — вот и все. Пусть себе думают на здоровье, что они все еще красивы и молоды. Никто не позволит себе сказать им, что они отжили свой век. Подобная учтивость и называется уважением к закону.

Нормандское обычное право изборождено морщинами; это, однако, не мешает многим английским судьям строить ему глазки. Англичане любовно оберегают всякие древние жестокости, если только они нормандского происхождения. Есть ли что-нибудь более жестокое, чем виселица? В 1867 году одного человека[256]

приговорили к четвертованию, с тем чтобы его растерзанный труп преподнести женщине — королеве.

Впрочем, в Англии пыток никогда не существовало. Ведь именно так утверждает история. Что ж, у нее немалый апломб.

Мэтью Вестминстерский, констатируя, что «саксонский закон, весьма милостивый и снисходительный», не наказывал преступников смертной казнью, присовокупляет: «Ограничивались только тем, что им отрезали носы, выкалывали глаза и вырывали части тела, являющиеся признаками пола». Только-то!

Гуинплен, растерянно остановившись на верхней ступеньке лестницы, дрожал всем телом. Им овладел страх. Он старался вспомнить, какое преступление мог он совершить. Молчание жезлоносца сменилось картиной пытки. Это был шаг вперед, но шаг трагический. Мрачный облик

угрожавшего ему закона принимал все более и более загадочные очертания.

Человек, лежавший на полу, снова захрипел.

Гуинплен почувствовал, что кто-то слегка толкнул его в плечо.

Это был жезлоносец.

Гуинплен понял, что ему приказывают сойти вниз.

Он повиновался.

Нащупывая ногой ступеньки, он стал спускаться с лестницы.

Ступени были узкие и крутые, высотой в восемь-девять дюймов. Перил не было. Спускаться можно было только с большой осторожностью. За Гуинпленом на расстоянии двух ступенек от него следовал жезлоносец, держа прямо перед собой железный жезл, и на таком же расстоянии позади жезлоносца — судебный пристав.

Спускаясь по этим ступеням, Гуинплен чувствовал, что теряет последнюю надежду на спасение. Казалось, он шаг за шагом приближается к смерти. Каждая пройденная ступень угашала в нем какую-то частицу света. Бледнея все больше и больше, он достиг конца лестницы.

Распластанный на земле и прикованный к четырем столбам призрак продолжал хрипеть.

В полумраке послышался голос:

— Подойдите!

Это сказал шериф.

Гуинплен сделал шаг вперед.

— Ближе, — произнес голос.

Гуинплен сделал еще шаг.

— Еще ближе, — повторил шериф.

Судебный пристав прошептал Гуинплену на ухо с таким внушительным видом, что шепот прозвучал торжественно:

— Вы находитесь перед шерифом Серрейского графства.

Гуинплен подошел почти вплотную к пытаемому, распростертому на полу посреди подземелья. Жезлоносец и судебный пристав остановились поодаль.

Когда Гуинплен, очутившись под навесом, увидал вблизи несчастное существо, на которое он до сих пор смотрел только издали, его страх перешел в беспредельный ужас.

Человек, лежавший скованным на земле, был совершенно обнажен, если не считать целомудренно прикрывавшего его отвратительного лоскута, который можно было бы назвать фиговым листом пытки и который у римлян назывался succingulum, у готов — christipannus — слово, из

которого наше древнегалльское наречие образовало слово cripagne. Тело распятого на кресте Иисуса тоже было прикрыто только обрывком ткани.

Осужденному на смерть преступнику, которого видел перед собой Гуинплен, было лет пятьдесят — шестьдесят. Он был лыс. На подбородке у него торчала редкая седая борода. Глаза были закрыты, широко открытый рот обнажал все зубы. Худое, костлявое лицо походило на череп мертвеца. Руки и ноги, прикованные цепями к четырем каменным столбам, образовали букву X. Грудь и живот были у него придавлены чугунной плитой, на которой лежало пять-шесть огромных булыжников. Его хрип иногда переходил в едва слышный вздох, иногда же — в звериное рычание.

Шериф, не расставаясь со своим букетом роз, свободной рукой взял со стола белый жезл и, подняв его, произнес:

— Повиновение ее величеству.

Затем положил жезл обратно на стол.

Потом медленно, точно отбивая удары похоронного колокола, сохраняя ту же неподвижность, что и пытаемый, шериф заговорил:

— Человек, закованный здесь в цепи, внемлите

последний раз голосу правосудия. Вас вывели из вашей темницы и доставили сюда. На вопросы, предложенные вам с соблюдением всех требований формальностей, formaliis verbis pressus, вы, не обращая внимания на прочитанные вам документы, которые вам будут предъявлены еще раз, побуждаемый злобным духом противного человеческой природе упорства, замкнулись в молчании и отказываетесь отвечать судье. Это — отвратительное своеволие, заключающее в себе все признаки наказуемого по закону отказа от дачи показаний суду и запирательства.

Присяжный законовед, стоявший справа от шерифа, перебил его с зловещим равнодушием и произнес:

— Overhernessa. Законы Альфреда и Годруна. Глава шестая.

Шериф продолжал:

— Закон уважают все, кроме разбойников, опустошающих леса, где лани рождают детенышей.

И, словно колокол, вторящий колоколу, законовед подтвердил:

— Qui faciunt vastum in foresta ubi damae solent founinare.

— Отказывающийся отвечать на вопросы судьи, — продолжал шериф, — может быть запо-

дозрен во всех пороках. Он способен на всякое злодеяние.

Снова раздался голос законоведа:

— Prodigus, devorator, profusus, salax, ruffianus, ebriosus, luxuriosus, simulator, consumptor patrimonii elluo, ambro, et gluto.[257]

— Все пороки, — говорил шериф, — предполагают возможность любых преступлений. Кто все отрицает, тот во всем сознается. Тот, кто не отвечает на вопросы судьи — лжец и отцеубийца.

— Mendax et parricida, — подхватил законовед.

Шериф продолжал:

— Человек, прикрываться молчанием воспрещается, Своевольно уклоняющийся от суда наносит тяжелое оскорбление закону. Он подобен Диомеду, ранившему богиню[258]

Молчание на суде есть сопротивление власти. Оскорбление правосудия — то же, что оскорбление величества. Это самое отвратительное и самое дерзкое преступление. Уклоняющийся от допроса крадет истину. Законом это предусмотрено. В подобных случаях англичане во все времена пользовались правом воздействовать на преступника, прибегая к яме, к колодкам и к цепям.

— Anglica charta[259]

тысяча восемьдесят восьмого года, — пояснил

законовед.

И с той же деревянной торжественностью прибавил:

— Ferrum, et fossam, et furcas, cum alliis libertatibus.[260]

Шериф продолжал:

— Вследствие этого, подсудимый, поскольку вы не пожелали нарушить свое молчание, хотя находитесь в здравом уме и отлично понимаете, чего требует от вас правосудие, поскольку вы обнаружили дьявольское упорство, вас надлежало бы сжечь живым, но вы, в соответствии с точными указаниями уголовных статутов, были подвергнуты пытке, именуемой «допросом с наложением тяжестей». Вот что было сделано с вами. Закон требует, чтобы я лично сообщил вам это. Вас привели в это подземелье, вас раздели донага и положили на спину, растянув вам руки и ноги и привязав их к четырем колоннам — к столпам закона, — на грудь вам положили чугунную плиту, а на нее столько камней, сколько вы оказались в состоянии выдержать. «И даже сверх того», как говорит закон.

— Plusque[261]

, - подтвердил законовед.

Шериф продолжал:

— Прежде чем подвергнуть вас дальнейшему испытанию, я, шериф графства Серрейского, обратился к вам, когда вы уже находились в таком положении, вторично предложив вам отвечать и говорить, но вы с сатанинским упорством хранили молчание, невзирая на то, что на вас надеты цепи, колодки, ошейник и кандалы.

— Attachiamenta legalja[262]

, - произнес законовед.

— Ввиду вашего отказа и запирательства, — сказал шериф, — а также ввиду того, что справедливость требует, чтобы настойчивость закона не уступала упорству преступника, испытание было продолжено в порядке, установленном эдиктами и сводом законов. В первый день вам не давали ни есть, ни пить.

— Hoc est superjejunare[263]

, - пояснил законовед.

Наступило молчание. Слышно было только ужасное хриплое дыхание человека, придавленного грудой камней.

Законовед дополнил свое пояснение:

— Adde augmentum abstinentiae ciborum diminutione. Consuetude britannica[264]

, статья пятьсот четвертая.

Оба, шериф и законовед, говорили попеременно

но; трудно представить себе что-либо мрачнее этого невозмутимого однообразия; унылый голос вторил голосу зловещему; можно было подумать, что священник и дьякон, представители некоего культа пыток, служат кровожадную обедню закона.

Шериф снова начал:

— В первый день вам не давали ни пить, ни есть. На второй день вам дали есть, но не дали пить; вам положили в рот три кусочка ячменного хлеба. На третий день вам дали пить, но не дали есть. Вам влили в рот в три приема тремя стаканами пинту воды, почерпнутой из сточной канавы тюрьмы. Наступил четвертый день — сегодняшний. Если вы и теперь не будете отвечать, вас оставят здесь, пока вы не умрете. Этого требует правосудие.

Законовед, не упуская случая подать реплику, монотонно произнес:

— Mors rei homagium est bonae legi.[265]

— И в то время, как вы будете умирать самым жалким образом, — подхватил шериф, — никто не придет к вам на помощь, хотя бы у вас кровь хлынула горлом, выступила из бороды, из подмышек, из всех отверстий тела, начиная со рта и кончая чреслами.

— A throtebolla, — подтвердил законовед, — et pabus et subhircis, et a grugno usque ad crupponum.

Шериф продолжал:

— Человек, выслушайте меня внимательно, ибо последствия касаются вас непосредственно. Если вы откажетесь от своего гнусного молчания и сознаетесь во всем, то вас только повесят, и вы получите право на meldefeoh, то есть на известную сумму денег.

— Damnum confitens, — подтвердил законовед, — habeat le meldefeoh. Leges Inae[266]

, глава двадцатая.

— Каковая сумма, — подчеркнул шериф, — будет выплачена вам дойткинсами, сускинсами и галихальпенсами, которые в силу статута, изданного в третий год царствования Генриха Пятого, отменившего эти деньги, могут иметь хождение только в данном случае; кроме того, вы будете иметь право на scortum ante mortem[267]

, после чего вас удавят на виселице. Таковы выгоды признания. Угодно вам отвечать суду?

Шериф умолк в ожидании ответа. Пытаемый даже не пошевельнулся.

Шериф продолжал:

— Человек, молчание — это прибежище, в котором больше риска, чем надежды на спасение.

Запирательство пагубно и преступно. Кто молчит на суде, тот изменник короне. Не упорствуйте в своем дерзостном неповиновении. Подумайте о ее величестве. Не противьтесь нашей всемилостивейшей государыне. Отвечайте ей в моем лице. Будьте верным подданным.

Пытаемый захрипел.

Шериф продолжал:

— Итак, по истечении первых трех суток испытания наступили четвертые. Человек, это — решительный день. Очная ставка законом предусмотрена на четвертый день.

— Quarta die, frontem ad frontem adduce[268]

, - пробормотал законовед.

— Мудрость законодателя, — продолжал шериф, — избрала этот последний час для получения того, что наши предки называли «решением смертного хлада», поскольку в такое мгновение принимается на веру бездоказательное утверждение или отрицание.

Законовед снова пояснил:

— Judicium pro frodmortell, quod homines credensi sint per suum ya et per suum na. Хартия короля Адельстана. Том первый, страница сто семьдесят третья.

Шериф выждал минуту, затем наклонил к пы-

таемому свое суровое лицо:

— Человек, простертый на земле…

Он сделал паузу.

— Человек, слышите ли вы меня? — крикнул он.

Пытаемый не шевельнулся.

— Во имя закона, — приказал шериф, — откройте глаза.

Веки допрашиваемого по-прежнему оставались закрытыми.

Шериф повернулся к врачу, стоявшему налево от него.

— Доктор, поставьте ваш диагноз.

— Probe, da diagnosticum, — повторил законовед.

Врач, сохраняя торжественность каменного изваяния, сошел с плиты, приблизился к простертому на земле, нагнулся, приложил ухо к его рту, пощупал пульс на руке, подмышкой и на бедре, потом снова выпрямился.

— Ну как? — спросил шериф.

— Он еще слышит, — ответил медик.

— Видит он?

— Может видеть.

По знаку шерифа судебный пристав и жезлоносец приблизились. Жезлоносец поместился у

головы пытаемого; судебный пристав стал позади Гуинплена.

Врач, отступив на шаг, стал между колоннами.

Тогда шериф, подняв букет роз, словно священник кропило, обратился громким голосом к допрашиваемому; он стал страшен.

— Говори, о несчастный! — крикнул он. — Закон заклинает тебя, прежде чем уничтожить. Ты хочешь казаться немым, подумай о немой могиле; ты притворяешься глухим, подумай о страшном суде, который глух к мольбам грешника. Подумай о смерти, которая еще хуже, чем ты. Подумай, ведь ты навеки останешься в подземелье. Выслушай меня, подобный мне, ибо и я — человек. Выслушай меня, брат мой, ибо я христианин. Выслушай меня, сын мой, ибо я старик. Страшись меня, ибо я властен над твоим страданием и буду беспощаден. Ужас, воплощенный в лице закона, сообщает судье величие. Подумай! Я сам трепещу перед собой. Моя собственная власть повергает меня в смятение. Не доводи меня до крайности. Я чувствую в себе священную злобу судьи карающего. Исполнясь же, несчастный, спасительным и достодолжным страхом перед правосудием и повинуйся мне. Час очной ставки наступил, и тебе надлежит отвечать. Не упор-

ствуй. Не допускай непоправимого. Вспомни, что кончина твоя в моих руках. Внемли мне, полумертвец! Если только ты не хочешь умирать здесь в течение долгих часов, дней и недель, угасая в мучительной, медленной агонии, среди собственных нечистот, терзаемый голодом, под тяжестью этих камней, один в этом подземелье, покинутый всеми, забытый, отверженный, отданный на съедение крысам, раздираемый на части всякой тварью, водящейся во мраке, меж тем как над твоей головой будут двигаться люди, занятые своими делами, куплей, продажей, будут ездить кареты; если только ты не хочешь стенать здесь от отчаяния, скрежеща зубами, рыдая, богохульствуя, не имея подле себя ни врача, который смягчил бы боль твоих ран, ни священника, который божественной влагой утешения утолил бы жажду твоей души, о, если только ты не хочешь чувствовать, как будет выступать на губах твоих предсмертная пена, — то молю и заклинаю тебя: послушайся меня! Я призываю тебя помочь самому себе; сжалься над самим собой, сделайте, что от тебя требуют, уступи настояниям правосудия, повинуйся, поверни голову, открой глаза и скажи, узнаешь ли ты этого человека?

Пытаемый не повернул головы и не открыл

глаз.

Шериф посмотрел сначала на судебного пристава, потом на жезлоносца.

Судебный пристав снял с Гуинплена шляпу и плащ, взял его за плечи и поставил лицом к свету так, чтобы закованный в цепи мог видеть его. Черты Гуинплена внезапно выступили из темноты во всем своем ужасающем безобразии.

В то же время жезлоносец нагнулся, схватил обеими руками голову пытаемого за виски, повернул ее к Гуинплену и пальцами раздвинул сомкнутые веки. Показались дико выкатившиеся глаза.

Пытаемый увидел Гуинплена.

Тогда, уже сам приподняв голову и широко раскрыв глаза, он стал всматриваться в него.

Содрогнувшись всем телом, как только может содрогнуться человек, которому на грудь навалили целую гору, он вскрикнул:

— Это он! Да, это он!

И разразился ужасным смехом.

— Это он! — повторил пытаемый.

Его голова снова упала на землю, глаза закрылись.

— Секретарь, запишите, — сказал шериф.

До этой минуты Гуинплен, несмотря на свой

испуг, кое-как владел собою. Но крик пытаемого: «Это он!» потряс его. При словах же шерифа: «Секретарь, запишите» — у него кровь застыла в жилах. Ему показалось, что лежащий перед ним преступник увлекает его за собою в пропасть по причинам, о которых он, Гуинплен, даже не догадывался, и что непонятное для него признание этого человека железным ошейником замкнулось у него на шее. Он представил себе, как их обоих — его самого и этого человека — прикуют рядом к позорному столбу. Охваченный ужасом, потеряв всякую почву под ногами, он попробовал защищаться. Глубоко взволнованный, сознавая свою полную непричастность к какому бы то ни было преступлению, он бормотал что-то бессвязное и, весь дрожа, утратив последнее самообладание, выкрикивал все, что ему приходило на ум, — подсказанные смертельной тревогой слова, напоминающие пущенные наудачу снаряды.

— Неправда! Это не я! Я не знаю этого человека! Он не может знать меня, потому что я не знаю его! Меня ждут; у меня сегодня представление. Чего от меня хотят? Отпустите меня на свободу! Все это ошибка! Зачем привели меня в это подземелье? Неужели не существует никаких

законов? Скажите тогда прямо, что никаких законов не существует. Господин судья, повторяю, это не я! Я не виновен ни в чем решительно. Я это твердо знаю. Я хочу уйти отсюда. Это несправедливо! Между этим человеком и мною нет ничего общего. Можете навести справки. Моя жизнь у всех на виду. Меня схватили точно вора. Зачем меня задержали? Да разве я знаю, что это за человек? Я — странствующий фигляр, выступающий на ярмарках и рынках. Я — «Человек, который смеется». Немало народу перевидало меня. Мы помещаемся на Таринзофилде. Вот уже пятнадцать лет, как я честно занимаюсь своим ремеслом. Мне пошел двадцать пятый год. Я живу в Тедкастерской гостинице. Меня зовут Гуинплен. Сделайте милость, господа судьи, прикажите выпустить меня отсюда. Не надо обижать беспомощных, обездоленных людей. Сжальтесь над человеком, который ничего дурного не сделал, у которого нет ни покровителей, ни защитников. Перед вами бедный комедиант.

— Передо мною, — сказал шериф, — лорд Фермен Кленчарли, барон Кленчарли-Генкервилл, маркиз Корлеоне Сицилийский, пэр Англии.

Шериф встал и, указывая Гуинплену на свое кресло, прибавил:

— Милорд, не соблаговолит ли ваше сиятельство присесть?

Часть пятая. Море и судьба послушны одним и тем же ветрам

1. Прочность хрупких предметов

Порою судьба протягивает нам чашу безумия. Из неизвестного появляется вдруг рука и подает нам темный кубок с неведомым дурманящим напитком.

Гуинплен ничего не понял.

Он оглянулся, чтобы посмотреть, к кому обращается шериф.

Слишком высокий звук неуловим для слуха; слишком сильное волнение непостижимо для разума. Существуют определенные границы, как для слуха, так и для понимания.

Жезлоносец и судебный пристав приблизились к Гуинплену, взяли его под руки, и он почувствовал, как его сажают в то кресло, с которого поднялся шериф.

Он безропотно подчинился, не пытаясь понять, что означает все это.

Когда Гуинплен сел, судебный пристав и жезлоносец отступили на несколько шагов и, вытянувшись, стали позади кресла.

Шериф положил свой букет на выступ ка-

менной плиты, надел очки, которые подал ему секретарь, извлек из-под груды дел, лежавших на столе, пожелтелый, покрытый пятнами, позеленевший, изъеденный плесенью и местами разорванный пергамент, исписанный с одной: стороны и хранивший на себе следы многочисленных сгибов. Подойдя поближе к фонарю, шериф поднес пергамент к глазам и, придав своему голосу всю торжественность, на какую только был способен, принялся читать:

«Во имя отца и сына и святого духа.

Сего двадцать девятого января тысяча шестьсот девяностого года по рождестве христовом.

На безлюдном побережье Портленда был злонамеренно покинут десятилетний ребенок, обреченный тем самым на смерть от голода и холода в этом пустынном месте.

Ребенок этот был продан в двухлетнем возрасте по повелению его величества, всемилостивейшего короля Иакова Второго.

Ребенок этот — лорд Фермен Кленчарли, законный и единственный сын покойного лорда Кленчарли, барона Кленчарли-Генкервилла, маркиза Корлеоне Сицилийского, пэра Английского королевства, ныне покойного, и Анны Бредшоу, его супруги, также покойной.

Ребенок этот — наследник всех владений и титулов своего отца. Поэтому, в соответствии с желанием его величества, всемилостивейшего короля, его продали, изувечили, изуродовали и объявили пропавшим бесследно.

Ребенок этот был воспитан и обучен с целью сделать из него фигляра, выступающего на ярмарках и рыночных площадях.

Он был продан двух лет от роду, после смерти отца, причем королю было уплачено десять фунтов стерлингов за самого ребенка, а также за различные уступки, попущения и льготы.

Лорд Фермен Кленчарли в двухлетнем возрасте был куплен мною, нижеподписавшимся, а изувечен и обезображен фламандцем из Фландрии, по имени Хардкванон, которому был известен секрет доктора Конкеста.

Ребенок был нами предназначен стать маскою смеха — masca ridens.

С этой целью Хардкванон произвел над ним операцию Bucca fissa usque ad aures[269]

, запечатлевающую на лице выражение вечного смеха.

Способом, известным одному только Хардкванону, ребенок был усыплен и изуродован незаметно для него, вследствие чего он ничего не

знает о произведенной над ним операции.

Он не знает, что он лорд Кленчарли.

Он откликается на имя «Гуинплен».

Это объясняется его малолетством и недостаточным развитием памяти, ибо он был продан и куплен, когда ему едва исполнилось два года.

Хардкванон — единственный человек, умеющий делать операцию Bucca fissa, и это дитя — единственный в наше время ребенок, над которым она была произведена.

Операция эта столь своеобразна и неповторима, что если бы этот ребенок превратился в старика и волосы его из черных стали бы седыми, Хардкванон все-таки сразу узнал бы его.

В то время, как мы пишем это, Хардкванон, которому доподлинно известны все упомянутые события, ибо он принимал в них участие в качестве главного действующего лица, находится в тюрьме его высочества принца Оранского, ныне именуемого у нас королем Вильгельмом Третьим. Хардкванон был задержан и взят под стражу по обвинению в принадлежности к шайке компрачикосов, или чейласов. Он заточен в башню Четэмской тюрьмы.

Ребенок, согласно повелению короля, был продан и выдан нам последним слугой покойного

лорда Линнея в Швейцарии, близ Женевского озера, между Лозанной и Веве, в том самом доме, где скончались отец и мать ребенка; слуга умер вскоре после своих господ, так что это злодеяние в настоящее время является тайной для всех, кроме Хардкванона, заключенного в Четэмской тюрьме, и нас, обреченных на смерть.

Мы, нижеподписавшиеся, воспитали и держали у себя в течение восьми лет купленного нами у короля маленького лорда, рассчитывая извлечь из него пользу для нашего промысла.

Сегодня, покинув Англию, чтобы не разделить участи Хардкванона, мы, из опасений и страха перед суровыми карами, установленными за подобные деяния парламентом, с наступлением сумерек оставили одного на Портлендском берегу упомянутого маленького Гуинплена, лорда Фермена Кленчарли.

Сохранить это дело в тайне мы поклялись королю, но не господу.

Сегодня ночью, по воле провидения, застигнутые в море сильной бурей и находясь в совершенном отчаянии, преклонив колени перед тем, кто один в силах спасти нам жизнь и, быть может, по милосердию своему спасет и наши души, уже не ожидая ничего от людей, а страшась гнева

господня и видя якорь спасения и последнее прибежище в глубоком раскаянии, примирившись со смертью и готовые радостно встретить ее, если только небесное правосудие будет этим удовлетворено, смиренно каясь и бия себя в грудь, — мы делаем это признание и вверяем его бушующему морю, чтобы оно воспользовалось им во благо, согласно воле всевышнего. Да поможет нам пресвятая дева! Аминь. В чем и подписуемся».

Шериф прервал чтение и сказал:

— Вот подписи. Все сделаны разными почерками.

И снова стал читать:

«Доктор Гернардус Геестемюнде. — Асунсион». — Крест, и рядом: «Барбара Фермой с острова Тиррифа, что в Эбудах. — Гаиздорра, капталь. — Джанджирате. — Жак Катурз, по прозвищу Нарбоннец. — Люк-Пьер Капгаруп, из Магонской каторжной тюрьмы».

Шериф опять остановился и сказал:

— Следует приписка, сделанная тем же почерком, каким написан текст, очевидно учиненная тем лицом, которому принадлежит первая подпись.

Он прочел:

«Из трех человек, составлявших экипаж урки,

судовладельца унесло волною в море, остальные два подписались ниже: — Гальдеазун. — Аве-Мария, вор».

Перемежая чтение своими замечаниями, шериф продолжал:

— Внизу листа помечено: «В море, на борту „Матутины“, бискайской урки из залива Пасахес».

— Этот лист, — прибавил шериф, — канцелярский пергамент с вензелем короля Иакова Второго. На полях есть еще приписка, сделанная тою же рукою:

«Настоящее показание написано нами на оборотной стороне королевского приказа, врученного нам в качестве оправдательного документа при покупке ребенка. Перевернув лист, можно прочесть приказ».

Шериф перевернул пергамент и, держа его в правой руке, поднес ближе к свету. Все увидели чистую страницу, если только выражение «чистая страница» применимо к полусгнившему лоскуту; посредине можно было разобрать три слова: два латинских — jussu regis[270]

и подпись «Джеффрис».

— Jussu regis, Джеффрис, — произнес шериф во всеуслышание, но уже без всякой торжественности.

Гуинплен был подобен человеку, которому свалилась на голову черепица с крыши волшебного замка.

Он заговорил, словно в полузабытьи:

— Гернардус… да, его называли «доктор». Всегда угрюмый старик. Я боялся его. Гаиздорра, капталь, это значит — главарь. Были и женщины: Асунсион и еще другая. Потом был провансалец — Капгаруп. Он пил из плоской фляги, на которой красными буквами было написано имя.

— Вот она, — сказал шериф.

И положил на стол какой-то предмет, который секретарь вынул из «мешка правосудия».

Это была оплетенная ивовыми прутьями фляга с ушками. Она, несомненно, перевидала всякие виды и, должно быть, немало времени провела в воде. Ее облепили раковины и водоросли. Она была сплошь испещрена ржавым узором — работой океана. Затвердевшая смола на горлышке свидетельствовала о том, что фляга была когда-то герметически закупорена. Ее распечатали и откупорили, потом снова заткнули вместо пробки втулкой из просмоленного троса.

— В эту бутылку, — сказал шериф, — люди, обреченные на смерть, вложили только что прочитанное мною показание. Это послание к

правосудию было честно доставлено ему морем.

Сообщив своему голосу еще большую торжественность, шериф продолжал:

— Подобно тому, как гора Харроу родит отличную пшеницу, из которой получается прекрасная мука, идущая на выпечку хлеба для королевского стола, точно так же и море оказывает Англии всевозможные услуги, и когда исчезает лорд, оно его находит и возвращает обратно.

Он прибавил:

— На этой фляге действительно красными буквами выведено чье-то имя.

Возвысив голос, он повернулся к преступнику, лежавшему неподвижно:

— Здесь стоит ваше имя, злодей! Неисповедимы пути, которыми истина, поглощаемая пучиной людских деяний, снова всплывает на поверхность.

Взяв в руки флягу, шериф поднес ее к свету той стороной, которая была очищена, — вероятно, для расследования. В ивовые прутья была вплетена извилистая красная полоска тростника, местами почерневшая от действия воды и времени. Несмотря на то, что кое-где она была повреждена, можно было совершенно ясно разобрать все десять букв, составлявших имя Хардкванон.

Шериф опять повернулся к преступнику и снова заговорил тем не похожим ни на какой другой тоном, который можно назвать голосом правосудия:

— Хардкванон! Когда эта фляга с вашим именем была нами, шерифом, предъявлена вам в первый раз, вы сразу же добровольно признали ее своею; затем, по прочтении вам пергамента, находившегося в ней, вы не пожелали ничего прибавить к своим предшествующим показаниям и отказались отвечать на какие бы то ни было вопросы, вероятно рассчитывая, что пропавший ребенок не найдется и что вы, таким образом, избегнете наказания. Вследствие этого я к вам применил «длительный допрос с наложением тяжестей», и вам вторично прочитали вышеупомянутый пергамент, содержащий в себе показания и признание ваших сообщников. Это не привело ни к чему. Сегодня, на четвертый день, — день, назначенный по закону для очной ставки, — очутившись лицом к лицу с тем, кто был брошен в Портленде двадцать девятого января тысяча шестьсот девяностого года, вы убедились в крушении всех своих греховных надежд и, нарушив молчание, признали в нем свою жертву…

Преступник открыл глаза, приподнял голову и

необычно громким для умирающего голосом, в котором вместе с предсмертным хрипом звучало какое-то странное спокойствие, с зловещим выражением произнес несколько слов; при каждом слове ему приходилось подымать всей грудью кучу наваленных на «его камней, могильной плитою пригнетавших его к земле.

— Я поклялся хранить тайну и действительно хранил ее до последней возможности. Темные люди — люди верные; честность существует и в аду. Сегодня молчание уже бесполезно. Пусть будет так. И потому я говорю. Ну, да. Это он. Таким его сделали мы вдвоем с королем: король — своим соизволением, я — своим искусством.

Взглянув на Гуинплена, он прибавил:

— Смейся же вечно.

И сам захохотал.

Этот смех, еще более страшный, чем первый, звучал как рыдание.

Смех прекратился, голова Хардкванона откинулась назад, веки опустились.

Шериф, предоставив преступнику возможность высказаться, заговорил снова:

— Все это подлежит внесению в протокол.

Он дал секретарю время записать слова Хардкванона и продолжал:

— Хардкванон, по закону, после очной ставки, приведшей к положительному результату, после третьего чтения показаний ваших сообщников, подтвержденных ныне вашим собственным откровенным признанием, после вашего вторичного свидетельства вы сейчас будете освобождены от оков, чтобы, с соизволения ее величества, быть повешенным, как плагиатор.

— Как плагиатор, — отозвался законовед, — то есть как продавец и скупщик детей. — Вестготский закон, книга седьмая, глава третья, параграф Usurpaverit[271]

; и Салический закон, глава сорок первая, параграф второй; и закон фризов, глава двадцать первая — «De Plagio»[272]

Александр Неккам говорит также: «Qui pueros vendis, plagiarius est tibi nomen».[273]

Шериф положил пергамент на стол, снял очки, снова взял букет и произнес:

— Суровый длительный допрос с пристрастием прекращается. Хардкванон, благодарите ее величество.

Судебный пристав сделал знак человеку в кожаной одежде.

Человек этот, подручный палача, «виселичный слуга», как он назывался в старинных хартиях,

подошел к пытаемому, снял один за другим лежавшие на животе камни, убрал чугунную плиту, из-под которой показались расплющенные ее тяжестью бока несчастного, освободил кисти рук и лодыжки от колодок и цепей, приковывавших его к четырем столбам.

Преступник, избавленный от всякого груза и от оков, все еще лежал на полу с закрытыми глазами, раскинув руки и ноги, точно распятый, которого только что сняли с креста.

— Встаньте, Хардкванон! — сказал шериф.

Преступник не шевелился.

«Виселичный слуга» взял его за руку, подержал ее, потом опустил, — она безжизненно упала. Другая рука, которую он приподнял вслед за первой, упала точно так же. Подручный палача схватил сначала одну, затем другую ногу преступника; когда он отпустил их, они ударились пятками о пол. Пальцы обеих ног остались неподвижными, точно одеревенели. У лежащего плашмя на земле голые ступни всегда как-то странно торчат кверху.

Подошел врач, вынул из кармана маленькое стальное зеркальце и приложил его к раскрытому рту Хардкванона, затем пальцем приподнял ему веки. Они уже больше не опустились. Остек-

леневшие зрачки не дрогнули.

Врач выпрямился и сказал:

— Он мертв.

Затем прибавил:

— Он засмеялся, и это его убило.

— Это уже не имеет значения, — заметил шериф. — После того как он сознался, вопрос о его жизни или смерти — пустая формальность.

И, указав на Хардкванона букетом роз, он отдал распоряжение жезлоносцу:

— Труп убрать отсюда сегодня же ночью.

Жезлоносец почтительно наклонил голову.

Шериф прибавил:

— Тюремное кладбище — напротив.

Жезлоносец опять наклонил голову.

Секретарь писал протокол.

Шериф, держа в левой руке букет, взял в правую руку свой белый жезл, стал прямо перед Гуинпленом, все еще сидевшим в кресле, отвесил ему глубокий поклон, потом с не меньшей торжественностью откинул назад голову и, глядя в упор на Гуинплена, сказал:

— Вам, здесь присутствующему, мы, кавалер Филипп Дензил Парсонс, шериф Серрейского графства, в сопровождении Обри Доминика, эсквайра, нашего клерка и секретаря, наших

обычных помощников, получив надлежащим образом прямые и специальные на этот счет приказания ее величества, в силу данного нам поручения, со всеми вытекающими из него правами и обязанностями, сопряженными с нашей должностью, а также с разрешения лорд-канцлера Англии, на основании протоколов, актов, сведений, сообщенных адмиралтейством, после проверки документов и сличения подписей, по прочтении и выслушании показаний, после очной ставки, учинения всех требуемых законом процедур, приведших к благополучному и справедливому завершению дела, — мы удостоверяем и объявляем вам, чтобы вы могли вступить в обладание всем, принадлежащим вам по праву, что вы — Фермен Кленчарли, барон Кленчарли-Генкервилл, маркиз Корлеоне Сицилийский и пэр Англии. И да хранит господь ваше сиятельство.

И он поклонился.

Законовед, врач, судебный пристав, жезлоносец, секретарь — все присутствующие, за исключением палача, последовали его примеру и поклонились Гуинплену еще более почтительно, чуть не до самой земли.

— Что это такое? — крикнул Гуинплен. — Да разбудите же меня!

И, смертельно бледный, вскочил с кресла.

— Я и пришел для того, чтобы разбудить вас, — проговорил чей-то голос, который прозвучал здесь в первый раз.

Из-за каменного столба выступил человек. Так как никто не спускался в подземелье с той минуты, когда железная плита, поднявшись, открыла доступ в застенок полицейскому шествию, было ясно, что этот человек проник сюда и спрятался в тени еще до появления Гуинплена, что ему поручили наблюдать за всем происходившим и что в этом заключалась его обязанность. Это был тучный человек в придворном парике и дорожном плаще, скорее старый, чем молодой, державшийся весьма пристойно. Он поклонился Гуинплену почтительно, непринужденно; с изяществом хорошо вышколенного лакея, а на с неуклюжестью судейского чина.

— Да, — сказал он, — я пришел разбудить вас. Вот уже двадцать пять лет, как вы спите. Вы видите сон, и вам пора очнуться. Вы считаете себя Гуинпленом, тогда как вы — Кленчарли. Вы считаете себя простолюдином, между тем как вы — знатный дворянин. Вы считаете, что находитесь в последнем ряду, между тем как стоите в первом. Вы считаете себя скоморохом, в то время

как вы — сенатор. Вы считаете себя бедняком, в действительности же вы — богач. Вы считаете себя ничтожным, между тем как вы принадлежите к сильным мира сего. Проснитесь, милорд!

Слабым голосом, в котором звучал неподдельный ужас, Гуинплен прошептал:

— Что значит все это?

— Это значит, милорд, — ответил толстяк, — что меня зовут Баркильфедро, что я — чиновник адмиралтейства; что эта выброшенная волнами фляга Хардкванона была найдена на берегу моря; что она была доставлена мне, ибо распечатывание таких сосудов входит в круг моих обязанностей; что я откупорил ее в присутствии двух присяжных, состоящих при отделе Джетсон, двух членов парламента, Вильяма Блетуайта, представителя города Бата, и Томаса Джервойса, представителя города Саутгемптона; что они описали и удостоверили содержимое фляги и вместе со мною скрепили протокол своими подписями; что о находке я доложил ее величеству; что, по повелению королевы, все требуемые законом формальности были выполнены с соблюдением тайны, необходимой в столь щекотливом деле, и что последняя из этих формальностей — очная ставка — только что имела место; это значит, что

у вас миллион годового дохода, что вы — лорд Соединенного королевства Великобритании, законодатель и судья, верховный судья и верховный законодатель, облаченный в пурпур и горностай, что вы стоите на одной ступени с принцами и почти равны императору, что ваша голова увенчана пэрской короной и что вы женитесь на герцогине, дочери короля.

Потрясенный этим превращением, поразившим его подобно удару грома, Гуинплен лишился чувств.

2. То, что плывет, достигает берега

Все случившееся явилось следствием того, что некий солдат нашел на берегу моря бутылку.

Расскажем, как это случилось.

Каждое происшествие должно рассматривать лишь как звено в цепи других обстоятельств.

Как-то раз один из четырех канониров, составлявших гарнизон Келшорского замка, подобрал во время отлива на песке оплетенную ивовыми прутьями флягу, выброшенную на берег волнами. Фляга эта, сплошь покрытая плесенью, была закупорена просмоленной втулкой. Солдат отнес находку в замок полковнику, а тот отослал ее адмиралу Англии. Адмиралу — значит, в адмиралтейство; в адмиралтействе же предметами,

выброшенными на берег, ведал Баркильфедро. Баркильфедро, распечатав и откупорив бутылку, доставил ее королеве. Королева сразу взялась за дело. Она сообщила о находке и предложила высказаться двум важнейшим своим советникам — лорд-канцлеру, который по закону является «блюстителем совести английского короля», и лорд-маршалу, «знатоку в вопросах геральдических и родословных». Томас Ховард, герцог Норфолькский, пэр-католик, наследственный гофмаршал Англии, передал через своего представителя графа-маршала Генри Ховарда, графа Биндона, что он заранее соглашается с мнением лорд-канцлера. Лорд-канцлером был тогда Вильям Коупер. Не надо смешивать его с его однофамильцем и современником Вильямом Коупером, анатомом и комментатором Бидлоу[274]

, выпустившим в Англии свой «Трактат о мускулах» почти в то же самое время, когда во Франции Этьен Абейль напечатал «Историю костей»; между хирургом и лордом существует некоторая разница. Лорд Вильям Коупер стяжал себе известность фразой, сказанной по поводу дела Талбота Иелвертона, виконта Лонгвиля: «Для конституции Англии восстановление в правах пэра имеет большее значение, чем реставрация

короля». Найденная в Келшоре фляга чрезвычайно заинтересовала лорд-канцлера. Всякий, высказавший какое-либо принципиальное суждение, рад отучаю применить его на деле. А тут как раз представился случай восстановить пэра в его правах. Принялись за розыски человека, выступавшего под именем Гуинплена; найти его оказалось делом нетрудным. Хардкванона тоже. Он был еще жив. Тюрьма может сгноить человека, но вместе с тем сохранить его, если только содержать под стражей значит сохранять. Заключенных в крепости тревожили редко. Темницу не меняли так же, как не меняют мертвецам гроба. Хардкванон все еще сидел в Четэмской тюрьме. Оставалось только взять его оттуда. Его перевезли из Четэма в Лондон. Одновременно с этим навели справки в Швейцарии. Все факты полностью подтвердились. В соответствующих учреждениях в Лозанне и Веве нашли брачное свидетельство лорда Линнея, относящееся к периоду его изгнания, метрическую запись о рождении ребенка, акты о смерти отца и матери; со всех этих бумаг сняли «на всякий случай» по две засвидетельствованные копии. Все это было выполнено с соблюдением строжайшей тайны в чрезвычайно короткий срок, как говорилось то-

гда, «с королевской быстротой» и с сохранением глубочайшего «рыбьего молчания», рекомендованного и применявшегося Беконом[275]

, а позднее возведенного Блекстоном в обязательное правило при производстве дел верховной канцелярии и государственных дел, а также при рассмотрении вопросов, именовавшихся в ту пору «сенаторскими».

Надпись «Jussu regis» и подпись «Джеффрис» были признаны подлинными. Для того, кто изучал патологический характер королевских прихотей, именовавшихся «соизволением его или ее величества», это «Jussu regis» не представляет ничего удивительного. Почему Иаков II, которому, казалось бы, следовало скрывать подобные деяния, запечатлел их в документах, рискуя даже повредить успеху предприятия? Ведь это цинизм. Высокомерное презрение ко всему на свете. Ах, вы думаете, что только непотребные женщины, бывают бесстыдны? Государственная политика тоже не отличается стыдливостью. Et se cupit ante videri[276]

Совершить преступление и хвастаться им — к этому сводится вся история. Король делает себе татуировку, точно каторжник. Надо бы спастись от жандарма и от суда истории, но в то же время

жаль расстаться с такой интересной приметой: ведь хочется, чтоб тебя знали и запомнили. Взгляните на мою руку, обратите внимание на этот рисунок с изображением храма любви и пылающего сердца, пронзенного стрелой, — это я, Ласнер[277]

«Jussu regis» — это я, Иаков Второй. Совершить злодеяние — и приложить к нему свою печать. Проявить бесстыдство, сознательно выдать самого себя, выставить напоказ свое преступление — в этом и заключается наглая похвальба злодея. Христина велит схватить Мональдески[278]

, вырвать у него признание, умертвить его и при этом говорит: «Я — королева Швеции и пользуюсь гостеприимством короля Франции». Не все тираны поступают одинаково: одни прячутся, как Тиберий, другие тщеславно хвастаются, как Филипп II. Одни ближе к скорпиону, другие — к леопарду. Иаков II принадлежал ко второй разновидности. Лицо у него, как известно, в противоположность Филиппу II, было открытое и веселое. Филипп II был мрачен, Иаков II — жизнерадостен. Это не мешало ему быть жестоким. Иаков II был тигр добродушный, но, подобно Филиппу, спокойно относился к своим преступлениям. Он был извергом «милостью божией».

Потому-то ему ничего не приходилось скрывать и затушевывать: его убийства находили себе оправдание в его «божественном праве». Он тоже готов был оставить после себя Симанкасские архивы[279]

, в которых хранились бы пергаменты с подробным перечнем всех его злодеяний, перенумерованные, разложенные по отделам, снабженные ярлыками, в полном порядке, каждый на своей полке, словно яды в лаборатории аптекаря. Подписываться под своими преступлениями — жест, достойный короля.

Всякое совершенное деяние — вексель, выданный на великого неизвестного предъявителя. По векселю со зловещей передаточной надписью «jussu regis» наступил срок платежа.

Королева Анна, умевшая, в отличие от большинства женщин, прекрасно хранить тайну, предложила лорд-канцлеру представить ей по этому важному делу тайный доклад, так называемый «доклад королевскому уху». Такого рода доклады были в большом ходу во всех монархических странах. В Вене был даже особый «советник уха», в звании советника двора. Эта почетная должность, учрежденная во времена Каролингов, соответствовала auricularius[280]

старинных палатинских хартий — лицу, близкому к императору и имевшему право нашептывать ему на ухо.

Вильям Коупер, канцлер Англии, пользовавшийся доверием королевы на том основании, что был близорук, как и она, если не больше, составил докладную записку, начинавшуюся так: «У Соломона к его услугам были две птицы: удод „худбуд“, говоривший на всех языках, и орел „симурганка“, покрывавший тенью своих крыльев караван из двадцати тысяч человек. Точно так же, хотя и в несколько иной форме…» и т. д. Лорд-канцлер признавал доказанным тот факт, что наследственный пэр был похищен, изувечен и впоследствии найден. Он не порицал Иакова II, который как-никак приходился королеве родным отцом. Он даже приводил доводы в его оправдание. Во-первых, испокон веков существуют известные монархические принципы. E senioratu eripimus. In roturagio cadut[281]

Во-вторых, королю принадлежит право изувечения его подданных. Чемберлен это признавал. «Corpora et bona nostrorum subjectorum nostra sunt»[282]

, - изрек преславной и преблагой памяти Иаков I. «Для блага государства» выкалывали глаза гер-

цогам королевской крови. Некоторые принцы, слишком близкие к трону, в полезных для него целях были удушены между двумя тюфяками, прячем их смерть приписывалась апоплексии. Удушить же — дело более серьезное, чем изуродовать. Король тунисский вырвал глаза своему отцу, Муллей-Ассему, тем не менее его послы были приняты императором. Итак, король может приказать лишить своего подданного какой-либо части тела точно так же, как лишают прав состояния и т. п., - это вполне законно. Но одно законное действие не уничтожает другого. «Если человек, которого утопят по приказанию короля, выплывет на поверхность живым, это означает, что бог смягчил королевский приговор. Если найден наследственный пэр, должно ему возвратить пэрскую корону. Так было с лордом Алла, королем Нортумбрии, который тоже был фигляром. Так должно поступить и с Гуинпленом, который тоже король, то есть лорд. Низкое ремесло, которым ему пришлось заниматься в силу непреодолимых обстоятельств, не позорит герба; тому свидетельством Абдолоним, который, будучи королем, был вместе с тем и садовником, или святой Иосиф, который был плотником, или, наконец, Аполлон, который был богом и в то же время пастухом».

Короче, ученый канцлер приходил к выводу, что необходимо восстановить Фермена, лорда Кленчарли, ложно именуемого Гуинпленом, во всех его имущественных правах и титулах, но «под непременным условием, чтобы ему была дана очная ставка с преступником Хардкваноном и чтобы упомянутый Хардкванон признал его». Этим заключением канцлер, конституционный блюститель королевской совести, окончательно успокаивал эту совесть.

В особой приписке лорд-канцлер напоминал, что в случае упорного запирательства Хардкванона к нему следует применить «длительный допрос с пристрастием», причем очная ставка должна произойти лишь на четвертый день, когда для преступника настанет час «смертного хлада», о котором говорит хартия короля Адельстана. В этом было, конечно, некоторое неудобство: а именно — пытаемый мог умереть на второй или на третий день, что затруднило бы очную ставку; тем не менее приходилось подчиняться закону. Применение закона всегда встречает известные трудности.

Впрочем, по мнению лорд-канцлера, можно было быть вполне уверенным, что Хардкванон признает Гуинплена.

Анна, с одной стороны, в достаточной мере осведомленная об уродстве Гуинплена, с другой — не желая обижать сестру, к которой перешли все поместья Кленчарли, с радостью согласилась на брак герцогини Джозианы с новым лордом, то есть с Гуинпленом.

Восстановление в правах лорда Фермена Кленчарли не представляло никаких затруднений, ибо он являлся прямым и законным наследником. В сомнительных случаях, когда трудно бывало доказать родство или когда пэрство in abeyance[283]

оспаривалось родственниками по боковой линии, закон требовал перенесения вопроса в палату лордов. Не обращаясь к более отдаленным временам, укажем, что в 1782 году здесь был разрешен вопрос о праве Елизаветы Перри на Сиднейское баронство; в 1789 году — о праве Томаса Степльтона на Бомонтское баронство; в 1803 году — о праве достопочтенного Таимвела Бриджеса на баронство Чандос; в 1813 году — о праве генерал-лейтенанта Ноллиса на пэрство и на графство Бенбери и т. д. В данном случае не было ничего подобного. Никакой тяжбы. Незачем было тревожить палату, и для признания нового лорда было вполне достаточно одного волеизъяв-

ления королевы в присутствии лорд-канцлера.

Заправлял всем Баркильфедро.

Благодаря ему дело велось с такими предосторожностями, тайна охранялась так тщательно, что ни Джозиана, ни лорд Дэвид даже не подозревали о том, как искусно под них подкапываются. Высокомерную Джозиану, державшуюся в стороне от всех, обойти было нетрудно. Что же касается лорда Дэвида, то его отправили в плавание к берегам Фландрии. Ему предстояло лишиться титула лорда, а он об этом и не догадывался. Отметим здесь одну подробность. В десяти лье от места стоянки флотилии, которой командовал лорд Дэвид, капитан Хелибертон разбил французский флот. Граф Пемброк, председатель совета, предложил наградить капитана Хелибертона чином контр-адмирала. Анна вычеркнула фамилию Хелибертон и внесла вместо нее в список имя лорда Дэвида Дерри-Мойр, для того чтобы к тому моменту, когда он узнает о потере пэрства, лорд Дэвид мог по крайней мере утешиться адмиральским чином.

Анна чувствовала себя вполне удовлетворенной. Сестре — безобразный муж, лорду Дэвиду — прекрасный чин. С одной стороны — злорадство, с другой — благоволение.

Ее величеству предстояло насладиться ею же самой придуманной комедией. К тому же она убедила себя в том, что исправляет несправедливость, допущенную ее августейшим отцом, возвращает сословию пэров одного из его членов, то есть действует, как подобает великой монархине, что, по воле божией, она защищает невинность, что провидение в благих и неисповедимых путях своих… и т. д. Нет ничего приятнее, чем поступать справедливо, когда тем самым причиняешь огорчение тому, кого ненавидишь.

Впрочем, для королевы было достаточно уже одного сознания, что у ее красавицы-сестры будет уродливый муж. В чем именно состоит уродство Гуинплена, каково это безобразие, — Баркильфедро не счел нужным сообщить королеве, а сама она не соблаговолила расспросить его об этом. Подлинно королевское пренебрежение. Да и не все ли равно? Палата лордов могла быть только признательна ей. Лорд-канцлер, официальный оракул, выразил общее мнение. Восстановить пэра — значит поддержать все пэрское сословие. Королевская власть в этом случае выступала как верная и надежная заступница пэрских привилегий. Какова бы ни была внешность нового пэра, она не может явиться препятствием, поскольку

речь идет о законном праве на наследство. Анна, вполне удовлетворенная своими доводами, пошла прямо к цели — к великой, женской и королевской цели, состоящей в том, чтобы поступать так, как ей заблагорассудится.

Королева жила в то время в Виндзоре, поэтому придворные интриги не сразу получили огласку.

Только лица, без которых никак нельзя было обойтись, были осведомлены о предстоящих событиях.

Баркильфедро торжествовал, и это придавало его лицу еще более зловещее выражение. Порою радость бывает самым отвратительным чувством.

Ему первому выпало на долю удовольствие откупорить флягу Хардкванона. Он не выказал при этом особого удивления, ибо удивляются только ограниченные люди. К тому же — не правда ли? — это было для него вполне заслуженной наградой, — он так долго ждал счастливого случая. Должна же была, наконец, судьба улыбнуться ему.

Это nil mirari[284]

было одной из отличительных черт его поведения. Однако, надо сознаться, в глубине души он был поражен. Тому, кто мог бы сорвать с него

личину, под которой он скрывал свою душу даже перед богом, представилась бы такая картина: именно в это время Баркильфедро начинал приходить к убеждению, что он, человек ничтожный и вместе с тем так близко стоящий к блистательной герцогине Джозиане, не в силах нанести ей хоть какой-нибудь удар. Это вызвало в нем безумный взрыв затаенной ненависти. Он дошел до полного отчаяния. Чем больше терял он надежду, тем сильнее становилась его ярость. «Грызть удила» — как верно передают эта слова состояние духа злого человека, которого гложет сознание собственного бессилия. Баркильфедро был, пожалуй, готов отказаться если не от желания причинить зло Джозиане, то от своих мстительных планов; если не от бешеной вражды к ней, то от намерения ужалить ее. Но какой это позор для него — выпустить из рук добычу! Затаить в себе злобу, как прячут в ножны кинжал, годный лишь для музея! Какое горчайшее унижение!

И вдруг, как раз в это самое время (хаос, господствующий во вселенной, любит такие совпадения!) фляга Хардкванона, перепрыгивая с волны на волну, попадает в руки Баркильфедро. В неведомом сокрыты какие-то силы, всегда готовые выполнять веления зла. В присутствии

двух равнодушных свидетелей, двух чиновников адмиралтейства Баркильфедро открывает флягу, находит в ней пергамент, разворачивает его, читает… Представьте себе только его сатанинскую радость!

Странно подумать, что море, ветер, водные пространства, приливы и отливы, бури, штили могут прилагать столько усилий с единственной целью доставить счастье злому человеку. Однако именно такой заговор осуществлялся целых пятнадцать лет. Непостижимая тайна! В течение пятнадцати лет океан беспрерывно работал над этим. Волны передавали одна другой всплывшую на поверхность флягу, подводные камни сделали все, чтобы она не разбилась о них и на стекле не появилось ни одной трещины, пробка осталась цела, морские водоросли не разъели ивовой плетенки, раковины не стерли слова «Хардкванон», вода не проникла внутрь сосуда, плесень не покрыла пергамента, сырость не уничтожила написанного — сколько забот приняла на себя морская пучина! И вот в конечном итоге то, что Гернардус бросил во тьму, тьма отдала Баркильфедро: послание, предназначенное богу, попало в руки к дьяволу. Беспредельность злоупотребила доверием человека; по мрачной иронии судьбы

торжество справедливости — превращение покинутого ребенка, Гуинплена, в лорда Кленчарли — осложнилось победой адской злобы; судьба совершила благое дело, прибегнув к дурному средству, и заставила правосудие послужить несправедливости. Отнять жертву у Иакова II — и отдать ее в руки Баркильфедро. Возвысить Гуинплена только для того, чтобы унизить Джозиану. Баркильфедро достиг успеха — и для этого в продолжение стольких лет волны, бурные валы и шквалы бросали, терзали — и уберегли стеклянную флягу, в которой тесно переплелись жребии стольких людей! Для этого вступили между собою в сердечное согласие ветры, приливы и бури! Необъятный, вечно волнующийся океан сотворил это чудо в угоду мерзавцу! Бесконечность оказалась помощницей жадного червя! Какие мрачные прихоти бывают порою у судьбы!

Баркильфедро почувствовал прилив титанической гордости. Он говорил себе, что все было сделано ради него одного. Ему казалось, что он — центр и цель происшедшего.

Он ошибался. Отдадим справедливость случаю. Не в этом заключался истинный смысл замечательного происшествия, которым воспользовался в своей ненависти Баркильфедро.

Дело обстояло совсем иначе. Океан, заменив сироте отца и мать, наслал бурю на его палачей, разбил урку, оттолкнувшую от себя ребенка, поглотил тех, кто находился на ней, не внимая их мольбам о пощаде и соглашаясь принять от них только раскаяние; буря получила залог из рук смерти; прочное судно, хранящее преступления, заменила собою хрупкая фляга, внутри которой был документ, долженствовавший восстановить поруганную справедливость; море, подобно пантере, ставшей кормилицей, взяло на себя новую роль: оно принялось укачивать не самого ребенка, а его жребий, в то время как ребенок рос, не подозревая о том, что совершает для него морская пучина; волны, в которые была брошена бутылка, неусыпно бодрствовали над этим осколком прошлого, заключавшим в себе грядущее; ураган осторожно проносился над хрупким сосудом, течения несли его зыбкими путями среди бездонных глубин; водоросли, буруны, утесы, кипящие пеной волны взяли под свое покровительство невинное существо; океанский вал оказался непоколебим, как совесть; хаос восстанавливал порядок; мрак стремился к торжеству света; тьма содействовала восходу солнца истины; изгнанник, лежавший в моги-

ле, получил утешение, наследник — законное наследство: преступное решение короля отменялось, предначертанное свыше воплощалось в жизнь, беспомощный, брошенный ребенок обрел опекуна в лице самой бесконечности. Вот что мог бы увидеть Баркильфедро в событии, приводившем его в такой восторг. Но ничего этого он не видел. Ему и в голову не приходило, что все это совершилось ради Гуинплена; он решил, что все было сделано для него, Баркильфедро, и что он вполне заслужил это. Таковы сатанинские натуры.

Тот, кто удивился бы, что такой хрупкий предмет, как стеклянная фляга, мог уцелеть, проплавав пятнадцать лет, лишь обнаружил бы недостаточное знакомство с океаном, который очень кроток по природе. 4 октября 1867 года в Морбигане, между островом Груа, оконечностью Гаврского полуострова и утесом Странников, рыбаки из Порт-Луи нашли римскую амфору четвертого века, которую море разрисовало своими арабесками. Эта амфора проплавала полторы тысячи лет.

Как ни старался Баркильфедро напустить на себя равнодушный вид, его изумление могло сравниться только с его радостью.

Все само давалось ему в руки, все было словно нарочно подготовлено. Все составные части события, которое должно было насытить его ненависть, оказались к его услугам. Ему оставалось только сблизить их еще больше и соединить между собой. Такая пригонка — приятное занятие. Чеканная работа.

Гуинплен! Это имя было ему известно. Masca ridens. Как и все, он ходил смотреть на «Человека, который смеется». Он прочитал вывеску у Тедкастерской гостиницы, как читают всякую театральную афишу, привлекающую к себе внимание толпы; он заметил ее и теперь сразу припомнил ее до мельчайших подробностей, которые, впрочем, позднее проверил; эта афиша возникла перед его умственным взором с быстротою электрической искры, заняла место в его сознании рядом с пергаментом, обнаруженным в бутылке, как ответ на вопрос, как разгадка загадки, и слова вывески: «Здесь можно видеть Гуинплена, покинутого в десятилетнем возрасте в ночь на 29 января 1690 года на берегу моря в Портленде» — внезапно озарились для него апокалиптическим светом. Перед ним на ярмарочной вывеске вспыхнула огромными буквами надпись — «Мене, текел, фарес»[285]

Все сложное сооружение, каким была по существу жизнь Джозианы, сразу рухнуло. Обвал произошел с молниеносной быстротой. Дэвид Дерри-Мойр терял все. Пэрство, богатство, могущество, высокое положение — все переходило от лорда Дэвида к Гуинплену. Все — замки, охоты, леса, особняки, дворцы, поместья, — все, в том числе и Джозиана, доставалось отныне Гуинплену. А Джозиана! Какой финал! Кто теперь был предназначен ей? Ей, прославленной, высокомерной герцогине — площадной шут. Ей, привередливой красавице — урод. Кто мог бы этого ожидать? Говоря по правде, Баркильфедро был в восторге. Неожиданные прихоти судьбы, неистощимой на дьявольские выдумки, иногда превосходят самые злобные замыслы людей. Действительность порой творит настоящие чудеса. Теперь Баркильфедро казались глупыми и жалкими его недавние мечты. Его ожидало нечто лучшее.

Если бы предстоящая перемена даже послужила ему во вред, он все равно, продолжал бы к ней стремиться. Есть злые насекомые, которые жалят, не только не извлекая из укуса никакой пользы для себя, но даже зная, что сами умрут от этого. Баркильфедро принадлежал к их числу.

Но в этот раз он действовал не бескорыстно. Лорд Дэвид Дерри-Мойр не был ему обязан ничем, тогда как лорд Фермен Кленчарли должен был стать его неоплатным должником. Из покровительствуемого Баркильфедро становился покровителем. И чьим покровителем? Пэра Англии. У него будет свой собственный лорд — лорд, созданный им! Баркильфедро твердо рассчитывал, что сразу же приберет его к рукам. И этот лорд будет морганатическим зятем королевы! Своим уродством он столько же будет приятен королеве, сколько противен Джозиане. Благодаря ему и он, Баркильфедро, облачившись в скромную, солидную одежду, может стать значительной персоной. Он всегда чувствовал влечение к духовной карьере. Ему так хотелось сделаться епископом.

А пока он был вполне счастлив настоящим.

Какой блестящий успех! Простая случайность, и как все отлично сложилось! Волны медленно, но верно доставили ему возможность мщения: он называл это своим мщением! Не напрасно подстерегал он удачу.

Он, Баркильфедро, был подводным утесом, а Джозиана — потерпевшим крушение судном. Джозиана разбилась о Баркильфедро! Он испы-

тывал неописуемый злобный восторг.

Он обладал так называемым даром внушения, который состоит в том, что в уме другого человека делают как бы надрез, куда влагают собственную мысль; держась в стороне и не вмешиваясь явно ни во что, Баркильфедро устроил так, чтобы Джозиана поехала в «Зеленый ящик» и увидела Гуинплена. Это никак не могло повредить планам Баркильфедро. Напротив, показать фигляра в окружавшей его унизительной обстановке — это было совсем неплохо придумано и позднее должно было оказаться острой приправой к тому, что ожидало Джозиану впереди.

Он заранее потихоньку подготовил все. Он хотел, чтобы события разразились внезапно. Проделанную им работу можно было обозначить только необычным определением: он стремился вызвать удар грома.

Покончив с предварительными приготовлениями, он позаботился о том, чтобы все требуемые законом формальности были выполнены. Однако дело не получило огласки, ибо закон предписывал соблюдать в подобных случаях строгую тайну.

Произошла очная ставка Хардкванона с Гуинпленом; Баркильфедро присутствовал при этом.

Чем она окончилась, читателю известно.

В тот же самый день за леди Джозианой, находившейся в Лондоне, неожиданно приехала посланная королевой карета, чтобы отвезти герцогиню в Виндзор, где пребывала в это время Анна. Джозиана, у которой были свои планы, с удовольствием ослушалась бы приказания ее величества или по крайней мере отложила бы свою поездку на один день, но придворный этикет не допускает такого своеволия. Ей пришлось немедленно отправиться в дорогу и переменить свою лондонскую резиденцию, Генкервилл-Хауз, на виндзорскую — Корлеоне-Лодж.

Герцогиня Джозиана покинула Лондон как раз в ту самую минуту, когда жезлоносец явился в Тедкастерскую гостиницу, чтобы арестовать Гуинплена и отвести его в саутворкское подземелье пыток.

Когда она приехала в, Виндзор, пристав черного жезла, дежуривший у дверей в приемную королевы, сообщил Джозиане, что ее величество слушает доклад лорд-канцлера и может принять ее только на следующий день; поэтому она должна ждать в Корлеоне-Лодже распоряжений ее величества, которые будут переданы ей лично завтра же утром. Джозиана, весьма раздоса-

дованная, вернулась к себе, была за ужином в дурном расположении духа и, почувствовав приступ мигрени, отослала всех слуг, кроме своего пажа, потом отпустила и его и легла спать еще засветло.

Уже дома она узнала, что завтра в Виндзоре ожидают лорда Дэвида Дерри-Мойр, который получил в море приказание королевы немедленно прибыть ко двору.

3. Всякий, кого в одно мгновение перебросили бы из Сибири в Сенегал, лишился бы чувств (Гумбольдт)

Нет ничего удивительного в том, что даже самый крепкий и выносливый мужчина теряет сознание под влиянием внезапной перемены судьбы. Неожиданность оглушает человека, как мясник оглушает обухом быка. Франциск д'Альбескола, тот самый, что разрывал голыми руками железные цепи в турецких гаванях, целый день пролежал в обмороке, когда его избрали папой. А ведь расстояние, отделяющее кардинала от папы, меньше расстояния, отделяющего скомороха от пэра Англии.

Ничто не действует так сильно, как нарушение равновесия.

Когда Гуинплен открыл глаза и пришел в се-

бя, была уже ночь. Он сидел в кресле посреди просторной комнаты, где стены и потолок были обтянуты пурпурным бархатом, а пол устлан мягким ковром. Рядом стоял без шляпы и в дорожном плаще человек с толстым животом — тот, который вышел из-за колонны в саутворкском подземелье. Кроме него и Гуинплена, никого в комнате не было. По обеим сторонам от кресла, так близко, что Гуинплен мог достать до них рукой, стояли два стола, а на них — канделябры с шестью зажженными восковыми свечами. На одном из столов находились какие-то бумаги и шкатулка; на другом — золоченое блюдо с закуской: холодная дичь, вино и бренди.

В высоком, от самого пола до потолка, окне на светлом фоне ночного апрельского неба вырисовывались колонны, обступившие полукругом парадный двор с тремя воротами: одними очень широкими и двумя поуже; средние ворота — для карет — были очень большие, ворота направо — для всадников — поменьше, а налево — для пешеходов — еще меньше. Все ворота запирались решетками с блестящими остриями на концах прутьев. Средние ворота были украшены лепкой. Колонны были, по-видимому, из белого мрамора, так же как и блестевшие, точно снег, плиты, кото-

рыми был вымощен двор; они окаймляли белым полем какой-то мозаичный узор, еле выделявшийся в полумраке; при дневном свете этот узор, вероятно, оказался бы гербом, выложенным по флорентийскому образцу из разноцветных плиток. Балюстрады, то поднимавшиеся зигзагами кверху, то спускавшиеся вниз, были не чем иным, как перилами лестниц, соединявших между собою террасы. Над двором высилось громадное здание замка, очертания которого расплывались в ночной мгле; вверху, на усеянном звездами небе, выступал резкий силуэт кровля. Видна была огромная крыша, щипец с завитками, мансарды, похожие на шлемы с забралами, дымовые трубы, напоминавшие башни, и карнизы со статуями богов и богинь. В полумраке между колоннами взлетали кверху брызги одного из тех волшебных водометов, которые, переливаясь с тихим журчанием из бассейна в бассейн, ниспадают то мелким дождем, то сплошными каскадами, похожи на ларцы, из которых высыпались драгоценности, и с безрассудной щедростью разбрасывают во все стороны свои алмазы и жемчуга, словно для того, чтобы развеять скуку окружающих их статуй. В простенках длинного ряда окон виднелись барельефы в виде щитов с доспехами и бюсты

на подставках. На цоколях фронтона военные трофеи и каменные шишаки с султанами чередовались с изображениями богов.

В глубине комнаты, где находился Гуинплен, был с одной стороны громадный, упиравшийся в самый потолок, камин, а с другой, под балдахином, — одна из тех непомерно высоких и широких кроватей средневекового стиля, на которые надо взбираться по ступенькам помоста и где свободно можно улечься поперек. К помосту этого ложа была придвинута скамейка. Остальная мебель состояла из кресел, выстроившихся вдоль стен, и расставленных перед ними стульев. Потолок имел форму купола; в камине, на французский лад, пылал жаркий огонь; по яркости пламени, по его розовато-зеленым языкам знаток сразу определил бы, что горят ясеневые дрова — большая роскошь в те времена; комната была так велика, что два канделябра еле освещали ее. Несколько дверей, одни с опущенными, другие с приподнятыми портьерами, вели в смежные комнаты. Вся обстановка, прочная и массивная, носила на себе отпечаток несколько устаревшей, но великолепной моды времен Иакова I. Точно так же, как ковер и обивка стен, все в этой комнате было из красного бархата: полог, балдахин,

покрывало кровати, занавеси, скатерти на столах, кресла, стулья. Никакой позолоты, кроме как на потолке. Там, в самой середине, блестел огромный чеканной работы круглый щит с ослепительными геральдическими украшениями; среди них, на двух расположенных рядом гербах, выделялись баронская корона в виде обруча и корона маркиза. Из чего были сделаны все эти эмблемы? Из позолоченной меди? Из позолоченного серебра? Определить было трудно. Они казались золотыми. С темного свода роскошного потолка этот мрачно сверкающий щит сиял, словно солнце на ночном небе.

Выросший на воле человек, который дорожит своей свободой, испытывает во дворце почти то же чувство беспокойства, что и в тюрьме. Это пышное зрелище вызывает тревогу. Всякое великолепие внушает страх. Кто обитатель этого царского чертога? Какому исполину принадлежит этот дворец? Гуинплен все еще не мог прийти в себя, и сердце его сжималось.

— Где я? — произнес он вслух.

Человек, стоявший перед ним, ответил:

— Вы у себя дома, милорд.

4. Чары

Для того чтобы всплыть со дна на поверхность,

требуется некоторое время.

Гуинплен был ввергнут в такую глубокую пучину изумления, что сразу прийти в себя он не мог.

Невозможно в одно мгновение освоиться с неведомым.

Мысли иногда приходят в расстройство точно так же, как войско на войне, и их так же трудно собрать, как разбежавшихся солдат. Человек чувствует себя как бы расчлененным на части. Он присутствует при каком-то странном распаде собственной личности.

Бог — рука, случай — праща, человек — камень. Попробуйте остановиться, когда вас метнули ввысь.

Гуинплена — да простят нам это сравнение — как бы швыряло от одного поразительного события к другому. После любовного письма герцогини — открытие в саутворкском подземелье.

Когда вы вступаете в полосу неожиданностей, готовьтесь к тому, что они обрушатся на вас одна за другой. Как только перед вами распахнулась эта страшная дверь, в нее сразу устремляются неожиданности. Как только в стене пробита брешь, события сразу же врываются в этот пролом. Необычайное не приходит только один раз.

Необычайное — это мрак. Этот мрак окутывал

Гуинплена. То, что с ним случилось, казалось ему непостижимым. Он видел все сквозь туман, который заволакивает наше сознание после пережитого нами глубокого потрясения подобно тому, как после обвала еще стоит в воздухе облако пыли. Это было действительно сильное потрясение. Он не мог разобраться в окружающем. Но мало-помалу воздух становится прозрачнее. Пыль оседает. С каждой минутой ослабевает удивление. Гуинплен напоминал человека, спящего с открытыми глазами и старающегося разглядеть то, что происходит с ним во сне. Он то разгонял это облако, то опять давал ему сгущаться, то терял рассудок, то снова обретал его. Под влиянием неожиданности он переживал те колебания разума, которые бросают нас из стороны в сторону, заставляя переходить от понимания к полной растерянности. Кому не случалось наблюдать это качание маятника в собственном мозгу?

Постепенно мысль Гуинплена стала осваиваться с мраком загадочного события, подобно тому как ранее его глаза освоились с мраком саутворкского подземелья. Трудность заключалась в том, что надо было как-то распутать все эти сбившиеся в один клубок впечатления. Для того чтобы воспринять нагромождение событий,

нужна передышка. Здесь же ее не было: события обрушивались одно за другим, не давая ни минуты отдыха. Входя в ужасное саутворкское подземелье, Гуинплен ожидал, что его закуют в кандалы, как каторжника, а его увенчали короной. Как это могло случиться? Между тем, чего опасался Гуинплен, и тем, что с ним произошло в действительности, промежуток времени был слишком мал, все следовало слишком быстро одно за другим, его испуг чересчур скоро сменился иными чувствами, и он не мог прийти в себя. Противоположности были слишком разительны. Они как тисками сдавили рассудок Гуинплена, и он всеми силами старался высвободить его.

Он молчал. Мы не в достаточной мере отдаем себе отчет, насколько силен инстинкт, заставляющий нас прибегать к молчанию, когда мы чем-нибудь поражены до глубины души. Тот, кто не говорит ничего, способен противостоять всему. Одно случайно оброненное слово может иногда погубить все.

Бедняк живет в вечном страхе быть раздавленным. Толпа всегда боится, что ее кто-то растопчет. А Гуинплен с младенческих лет был частью этой толпы.

Бывает странное состояние тревоги, выражаю-

щееся словами «что-то надвигается». Гуинплен находился именно в таком состоянии, когда человек чувствует, что положение еще не определилось окончательно, когда выжидаешь чего-то, что еще должно произойти. Смутно настораживаешься. «Что-то надвигается». Что? — Неизвестно. Кто? Всматриваешься в даль.

Человек с большим животом повторил:

— Вы у себя дома, милорд.

Гуинплен озирался. Когда человек изумлен, он сперва оглядывается кругом, чтобы удостовериться, что все по-прежнему стоит на своем месте, затем ощупывает самого себя, чтобы убедиться в собственном существовании. Да, действительно обращались к нему, но он уже был не он. На нем уже не было его рабочего костюма, его кожаного нагрудника. На нем был камзол из серебряной парчи и, судя по ощущению, атласный, расшитый золотом кафтан, в кармане камзола туго набитый кошелек; поверх узкого, в обтяжку, трико клоуна — широкие бархатные панталоны, а на ногах башмаки с высокими красными каблуками. Его не только перенесли во дворец, его переодели с головы до ног.

Человек продолжал:

— Соблаговолите запомнить, ваша милость,

что меня зовут Баркильфедро. Я чиновник адмиралтейства. Это я вскрыл флягу Хардкванона и извлек из нее ваш жребий. Так в арабских сказках рыбак выпускает из бутылки великана.

Гуинплен устремил глаза на улыбающееся лицо говорившего.

Баркильфедро продолжал:

— Кроме этого дворца, милорд, вам принадлежит Генкервилл-Хауз — тот дворец еще роскошнее. Вам принадлежит Кленчарли-Касл, дающий вам титул пэра и представляющий собою крепость времен Эдуарда Старого. Вы владеете девятнадцатью округами со всеми входящими в них деревнями и поселянами. Это дает вам возможность собрать под вашим знаменем лорда и дворянина около восьмидесяти тысяч вассалов и тяглых людей. В Кленчарли вы — полновластный судья и господин над всем — над имуществом и над людьми; там вы можете править свой баронский суд. У короля только то преимущество перед вами, что он чеканит монету. Король, который в нормандских законах именуется chief signer[286]

, имеет право суда и право чеканки. За исключением последнего, вы такой же король в своих поместьях, как он в своем королевстве. Как барон, вы в Англии имеете право на виселицу о

четырех столбах, и в Сицилии, как маркиз, — на виселицу о семи столбах; у простого дворянина виселица о двух столбах, у ленного владельца — о трех, а у герцога — о восьми. В старинных хартиях Нортумбрии вы именуетесь государем. Вы состоите в родстве с виконтами Валеншиа (они же Поуэр) в Ирландии и с графами Эмфревиль (они же Ангус) в Шотландии. Вы являетесь главою клана, так же как Кемпбел, Ардманах и Мак-Каллумор. У вас восемь родовых поместий: Рикелвер, Бекстон, Хелл-Кертерс, Хомбл, Морикемб, Гемдрайт, Тренуордрайт и еще другие. Вам принадлежит право на торфяные разработки в Пилинморе и на алебастровые ломки в Тренте; кроме того, в вашем владении находится вся Пенетчейзская область и гора с расположенным на ней старинным городом. Город называется Вайнкаунтон, а гора — Мойл-Энли. Все это дает вам сорок тысяч фунтов стерлингов ежегодного дохода, то есть в сорок раз больше тех двадцати пяти тысяч франков, которыми довольствуется какой-нибудь французский маркиз.

В то время как Баркильфедро говорил, изумление Гуинплена все возрастало, и он припоминал многое. Воспоминание — пучина, которую одно слово может всколыхнуть до дна. Все назва-

ния замков и поместий, которые перечислил Баркильфедро, были знакомы Гуинплену. Они занимали несколько строк внизу двух надписей, украшавших стены возка, в котором протекло его детство; долгие годы взор его машинально скользил по ним, он невольно заучил их наизусть. Придя покинутым сиротою в передвижной балаган Урсуса, он нашел в нем опись ожидавшего его наследства; просыпаясь по утрам, бедный мальчик первым делом устремлял свой беспечный и рассеянный взгляд на перечень своих владений и титулов. Удивительное совпадение, присоединившееся ко всем неожиданностям, уготованным ему судьбою: в течение пятнадцати лет он, клоун бродячей труппы, кочевавшей с одного перекрестка на другой, он, с трудом зарабатывавший себе изо дня в день на пропитание, собиравший гроши и живший впроголодь, странствовал, все время имея перед глазами перечень своих богатств.

Баркильфедро дотронулся указательным пальцем до шкатулки, стоявшей на столе.

— Милорд, в этой шкатулке две тысячи гиней, которые ее величество, всемилостивейшая королева, посылает вам на первые расходы.

Гуинплен сделал движение.

— Это будет для моего отца Урсуса, — сказал он.

— Хорошо, милорд, — ответил Баркильфедро. — Для Урсуса, что живет в Тедкастерской гостинице. Присяжный законовед, сопровождавший нас сюда, сейчас отправляется обратно: он и отвезет ему эти деньги. Быть может, и я поеду в Лондон. В таком случае я возьму это поручение на себя.

— Я сам отвезу их, — возразил Гуинплен.

Баркильфедро перестал улыбаться и сказал:

— Невозможно.

Есть интонации, которые подчеркивают слова. Баркильфедро прибегнул именно к такой интонации. Он остановился, как будто для того, чтобы поставить точку. Потом продолжал тем почтительным и полным значения тоном, каким говорят слуги, чувствующие себя господами:

— Милорд, вы находитесь в двадцати трех милях от Лондона, в Корлеоне-Лодже, вашей придворной резиденции, смежной с Виндзорским королевским замком. Никому не известно, что вы здесь. Вас привезли сюда в закрытой карете, которая ждала вас у ворот Саутворкской тюрьмы. Люди, доставившие вас в этот дворец, вас не знают, но они знают меня, и этого довольно. Мы могли попасть в это помещение лишь благодаря

тому, что у меня есть секретный ключ. В доме спят, и сейчас неудобно будить слуг. Поэтому я успею дать вам некоторые объяснения, тем более что сказать мне остается немного. Сейчас изложу суть дела. У меня есть поручение от ее величества.

Продолжая говорить, Баркильфедро принялся перелистывать пачку бумаг, лежавших рядом со шкатулкой.

— Милорд, вот ваша грамота на звание пэра. Вот другая грамота на титул сицилийского маркиза. Вот документы ваших восьми баронств, с печатями одиннадцати королей, начиная с Бальдрета, короля Кентского, и до Иакова Шестого и Первого[287]

, короля Англии и Шотландии. Вот документ на право председательствования в разных учреждениях. Вот арендные договоры на получение доходов, акты на право владения и подробные описания ваших ленов, поместий, земель и вотчин. Вот в щите над вашей головой изображены две короны — баронская с жемчугами и зубчатая корона маркиза. Рядом с этой комнатой, в гардеробной, висит ваша пурпурная, отороченная горностаем, бархатная мантия пэра. Сегодня, всего лишь несколько часов тому назад, лорд-

канцлер и депутат — граф-маршал Англии, узнав о результате вашей очной ставки с компрачикосом Хардкваноном, получали распоряжения ее величества. Королева Анна соизволила своей подписью скрепить соответствующий приказ, что равносильно закону. Все формальности соблюдены. Не позднее, чем завтра, вы вступите в качестве полноправного члена в палату лордов; там уже несколько дней идет обсуждение представленного короною билля об увеличении на сто тысяч фунтов стерлингов, то есть на два с половиной миллиона французских ливров, годичного содержания герцогу Кемберлендскому, супругу королевы; вы можете принять участие в прениях.

Баркильфедро остановился, медленно перевел дух и продолжал:

— Однако дело еще не доведено до конца. Нельзя стать пэром Англии помимо своего желания. Если вы не захотите понять, что от вас требуется, все может рухнуть и погибнуть безвозвратно. В политике бывают случаи, когда назревающее событие так и не воплощается в жизнь. Милорд, о перемене в вашем положении пока еще никому не известно. Палата лордов узнает об этом только завтра. Все ваше дело хранилось в тайне

по соображениям государственного порядка, и соображения эти настолько серьезны, что те немногие высокопоставленные лица, которые в настоящее время осведомлены о вашем существовании и ваших правах, немедленно же забудут о них, если того потребуют государственные интересы. То, что сохраняется сейчас в тайне, может остаться скрытым навсегда. Устранить вас ничего не стоит. Это тем более легко, что у вас есть брат, побочный сын вашего отца и женщины, которая впоследствии, во время его изгнания, стала любовницей короля Карла Второго, благодаря чему и ваш брат занимает при дворе видное положение; ваше пэрство может перейти к нему, хотя он и незаконный сын. Хотите вы этого? Не думаю. Итак, все зависит от вас. Надо повиноваться королеве. Вы покинете этот дворец только завтра и отправитесь в карете ее величества прямо в палату лордов. Милорд, желаете вы быть пэром Англии, да или нет? Королева имеет на вас виды. Она намерена соединить вас браком с особой почти королевской крови. Лорд Фермен Кленчарли, настала решительная минута в вашей жизни; Судьба никогда не открывает одной двери, не захлопнув в то же время другой. Сделав несколько шагов вперед, уже нельзя отступить ни на шаг.

Перевоплощение неизбежно предполагает исчезновение прежней личности, Милорд! Гуинплен умер. Вы все поняли?

Гуинплен задрожал с головы до ног, потом овладел собой.

— Да, — сказал он.

Баркильфедро улыбнулся, поклонился и, спрятав шкатулку под плащ, вышел.

5. Человеку кажется, что он вспоминает, между тем как он забывает

Что за странные перемены совершаются порою в человеческой душе!

Гуинплен в одно и то же время был вознесен на вершину и низвергнут в пропасть.

У него кружилась голова.

Кружилась вдвойне.

Кружилась от взлета и от падения.

Роковое сочетание.

Он чувствовал, как подымается, но не ощущал своего падения.

Новый горизонт всегда пугает нас.

Перспектива помогает найти направление. Не всегда правильное.

Перед Гуинпленом в облаках открылся волшебный просвет — не западня ли это? — и сквозь него проглянула густая синева. Такая густая, что

ее можно было принять за тьму.

Он стоял на горе, с которой видны все земные царства. Гора эта тем страшнее, что в действительности ее не существует. Те, кто находится на этой вершине, погружены в сон. Тут искушает бездна, и она так сильна, что ад надеется совратить здесь рай и дьявол возносит сюда бога. Обольстить вечность — какая странная надежда! Каково же бороться человеку там, где сатана искушает Иисуса?

Дворцы, замки, могущество, богатство, все блага земные, мир безграничных наслаждений, нечто вроде лучезарной карты обоих полушарий, средоточием которых являешься ты сам, — какой опасный мираж!

Вообразите же себе смятение души перед таким видением, возникшим внезапно и без предварительно пройденных ступеней, без предупреждения, без всяких переходов.

Гуинплен был подобен человеку, заснувшему в кротовой норе, а проснувшемуся на шпиле колокольни Страсбургского собора.

Головокружение — это своего рода ясновидение. В особенности то, которое, слагаясь из двух противоположных вращательных движений, увлекает вас одновременно и к свету и к мраку.

Видишь и слишком много и слишком мало.

Видишь все и не видишь ничего.

Испытываешь состояние, которое автор этой книги назвал где-то состоянием «ослепленного светом слепого».

Оставшись один, Гуинплен взволнованно зашагал взад и вперед по комнате. Вспышка всегда предшествует взрыву.

Обуреваемый нахлынувшими мыслями, он не в силах был усидеть на месте. Эта вспышка уничтожала все его прошлое. Он вызывал в своей памяти картины минувшего. Странно: оказывается, мы прекрасно слышим то, к чему почти не прислушиваемся. Прочитанное шерифом в сатворкском подземелье показание погибших на урке теперь до малейших подробностей всплыло в его мозгу; он припоминал каждое слово; этот документ раскрыл ему тайну его детства.

Вдруг он остановился, заложив руки за спину, и поглядел на потолок или на небо — словом, куда-то вверх.

— Возмездие! — воскликнул он.

Он походил на человека, вынырнувшего из воды. Ему казалось, что он видит все: и прошедшее, и настоящее, и будущее, озаренные внезапным светом.

«Ах! — мысленно воскликнул он, ибо можно восклицать и мысленно. — Так вот в чем дело! Я, значит, родился лордом. Теперь все ясно. Меня похитили, продали, лишили наследства, покинули, обрекли на смерть! Пятнадцать лет труп моей судьбы носился по морю и, наконец, воспрянул и ожил. Я возрождаюсь. Я рождаюсь вновь! Я всегда чувствовал, что под моими лохмотьями бьется сердце не простого фигляра, и когда я обращался к людям, я сознавал, что если они стадо, то я не собака, а пастух! Пастырями народов, предводителями, правителями и властелинами, — вот кем были мои предки; и я могу быть тем же! Я дворянин — у меня есть шпага; я барон — у меня есть шлем; я маркиз — у меня есть шляпа с перьями; я пэр — у меня есть корона. Ах! Все это отняли у меня. Я был рожден для света, меня низвергли во тьму. Изгнавшие отца продали ребенка. Когда скончался мой отец, они вынули из-под его головы камень изгнания, служивший ему изголовьем, они повесили этот камень мне на шею и бросили меня в помойную яму. Эти разбойники, мучившие меня в детстве, как живые стоят передо мной, я снова вижу их. Я был куском мяса, который клевала на могиле стая воронов. Я истекал кровью, я кричал от ужаса перед этими

кошмарными призраками. Ах, так вот куда меня кинули — под ноги прохожим, чтобы меня попирали все, кому не лень; меня сделали последним из последних, ниже крепостного, ниже лакея, ниже каторжника, ниже раба, — меня швырнули туда, где хаос превращается в смрадную клоаку, где все исчезает. И вот я выхожу из нее! Я воскресаю! Я здесь! Вот оно, возмездие!»

Он сел, снова вскочил, сжал голову руками и опять принялся ходить, продолжая свой бурный монолог:

«Где я? На высоте! Куда я попал? На вершину! Эта вершина, этот купол мира, это величие и всемогущество — мой родной дом. Я один из богов, обитающих в этом воздушном недосягаемом храме! Я в нем живу. Эта вершина, на которую я смотрел снизу, лучи которой так ослепляли меня, что я закрывал глаза, этот неприступный замок, эта несокрушимая крепость счастливцев — я вхожу в нее! Я поднялся к ней. Я здесь. О решающий поворот колеса судьбы! Я был внизу — и очутился наверху. Наверху — и навсегда! Я — лорд, у меня будет пурпурная мантия, зубчатая корона, я буду присутствовать при коронации королей, принимать их присягу, буду судить министров и принцев, я буду жить своей настоящей жизнью.

Из бездны, куда низвергли меня, я возношусь к самому зениту. У меня есть дворцы в городе и за городом, сады, охотничьи угодья, леса, кареты, миллионы, я буду давать пиры, буду писать законы, буду наслаждаться всеми радостями жизни; бродяга Гуинплен, не имевший права сорвать полевой цветок, будет срывать с неба звезды!».

Печально вторжение мрака в человеческую душу! В том Гуинплене, который был раньше героем, да и теперь, пожалуй, не перестал быть им, произошло вытеснение величия морального жаждой величия материального, Пагубная перемена. Уничтожение добродетели сонмом налетевших демонов. Неожиданность, поражающая человека в самое слабое его место. Все низменное, что обычно считается высоким, — честолюбие, нечистые инстинкты, страсти, вожделения, изгнанные из души Гуинплена благотворным влиянием несчастья, — теперь бурной толпой нахлынуло на него и завладело этим великодушным сердцем. Что же было виною этому? Находка пергамента во фляге, выброшенной на берег Англии. Такое растление совести нежданной удачей бывает довольно часто.

Гуинплен упивался гордостью, и душа его становилась при этом все мрачнее и мрачнее. Таково

воздействие этого рокового напитка.

У него кружилась голова; ошеломляющая перемена захватила все его существо; он не только принял ее, но и наслаждался ею. Слишком долго не мог он утолить жажды. Разве не добровольно жертвуем мы рассудком, прикасаясь устами к чаше безумия? Он всегда смутно желал этого. Его взор был всегда устремлен на великих мира сего, а смотреть — значит желать. Недаром орленок родился в орлином гнезде.

Он — лорд; теперь это начинало казаться ему совершенно естественным.

Прошло только несколько часов, а как далеко от него все вчерашнее!

Гуинплен встретил на своем пути западню: лучшее оказалось врагом хорошего.

Горе тому, про кого говорят: «Счастливец)»

С несчастьем справиться легче, чем со счастьем. Невзгоды менее пагубны для человека, чем благополучие. Бедность — Харибда, богатство — Сцилла. Те, что устояли под ударами грома, падают, ослепленные внезапным блеском молнии. Ты, не страшившийся пропасти, бойся быть унесенным в облака легионами крылатых мечтаний. Высота может унизить тебя. Зловещая опасность падения кроется в апофеозе.

Трудно познать себя в счастье. Случай всегда рад надеть на себя личину. Нет ничего обманчивее его. Что он: провидение или злой рок?

Не всякий огонь есть свет. Ибо свет — истина, а огонь может быть вероломным. Вы думаете, что он освещает, а он испепеляет.

Ночь. Чья-то рука ставит зажженную свечу на окно, распахнутое в темноту. Жалкая сальная свеча кажется во мраке звездою, и мотылек летит на нее.

Его ли это вина?

Огонь зачаровывает мотылька так же, как взгляд змеи зачаровывает птицу.

Могут ли мотылек и птица устоять перед этим? Может ли листок не поддаться ветру? Может ли камень не подчиниться закону притяжения?

Все это вопросы материальные, но они имеют и моральное значение.

После письма герцогини Гуинплену удалось взять себя в руки. В нем оказалось достаточно сил, чтобы устоять перед соблазном. Но буря, утихнув на одном краю горизонта, начинает бушевать на другом; судьба впадает в не меньшее ожесточение, чем природа. Первый порыв ветра сотрясает дерево, второй вырывает его с корнем.

Увы! Не так ли падают могучие дубы?

И вот тот, кто десятилетним ребенком, оставшись один на Портлендском утесе, бесстрашно смотрел в глаза противникам, с которыми ему предстояло схватиться, — и буре, уносившей корабль, на котором он собирался плыть, и морю, поглотившему доску, по которой он хотел взбежать на корабль, и зияющей пустоте, грозно отступавшей перед ним, и земле, отказавшей ему в приюте, и зениту, отказавшему ему в путеводной звезде, и безжалостному одиночеству, и непроглядному мраку, и океану, и небу — словом, всем силам, заключенным в одной беспредельности, и всем загадкам, заключенным в другой; тот, кто не задрожал и не пал духом перед беспощадной враждебностью неведомого рока; тот, кто еще малым ребенком не убоялся ночи, как древний Геркулес не убоялся смерти; тот, кто в этой неравной борьбе бросил вызов и взял на свое попечение другого ребенка; тот, кто взвалил на себя, несмотря на слабость и усталость, лишнее бремя и стал еще более уязвим, но сорвал своей рукой намордники с чудовищ мрака, подстерегавших его со всех сторон; тот, кто, чуть не с колыбели вступив в поединок с собственной судьбой, стал укротителем диких зверей; тот, кому явное превосходство сил противника все же

не помешало сразиться с ним; тот, кто, невзирая на одиночество, в котором он очутился, когда все покинули его, мужественно принял этот жребий и гордо продолжал свой путь; тот, кто храбро боролся с холодом, жаждой и голодом; тот, кто, будучи пигмеем по росту, оказался исполином душой, — тот самый Гуинплен, который победил свирепое дыхание двуликой бездны — бури и несчастья, теперь пошатнулся под дуновением тщеславия.

И вот, когда рок, обрушив на человека все несчастья, бедствия, бури, катастрофы и смертные муки, видит, что тот все-таки устоял, и начинает ему улыбаться, человек, внезапно охмелев, валится с ног.

Улыбка рока! Можно ли представить себе что-нибудь более страшное? Это — последнее средство, к которому прибегает безжалостный искуситель человеческих душ. Судьба, словно тигр, протягивает иногда бархатную лапу. Коварные приготовления. Омерзительна ласковость этого чудовища.

Каждый знает по себе, как часто возвышение совпадает с упадком сил. Слишком быстрый рост нарушает равновесие и вызывает лихорадку.

Бесчисленное множество новых мыслей с го-

ловокружительной быстротой проносилось в мозгу Гуинплена; в нем совершались таинственные превращения, непостижимое столкновение прошлого с будущим; это была встреча двух Гуинпленов, это было как бы его раздвоение; позади — ребенок в лохмотьях, вышедший из мрака, бездомный голодный бродяга, дрожащий от холода и вызывающий смех; впереди — блистательный, гордый, пышный вельможа, ослепляющий своим великолепием весь Лондон. Он сбрасывал старую оболочку и срастался с новой. Он расставался с существованием фигляра и становился лордом. Меняя внешний облик, порой меняют душу. Минутами все это казалось слишком похожим на сон. Это было так сложно, это было и дурно и хорошо. Он думал о своем отце. Как мучительно думать об отце, которого не знаешь! Он старался себе представить его. Он думал о брате, о котором ему только что сказали. Итак, у него есть семья. Как? Семья — у него, у Гуинплена! Он терялся в фантастических догадках. Воображение рисовало ему великолепные картины, перед ним, как облака, проходили величественные шествия; ему чудились трубные звуки.

«И к тому же, — думал он, — я буду красноречив».

И он представлял себе свое торжественное вступление в палату лордов. Он входит туда, полный новых идей. Сколько надо ему сказать! Как много накопилось у него мыслей! Какое огромное преимущество имеет он перед ними — он, человек, столько видевший, столько испытавший, столько переживший, столько страдавший, человек, который может крикнуть им: «Все то, от чего вы так далеки, мне было близко!» Этим патрициям, живущим в искусственном, ложном мире, он бросит в лицо голую правду, и они затрепещут, ибо он ничего не скроет, и они станут рукоплескать ему, потому что он будет велик. Он будет головою выше этих всесильных людей, могущественнее их всех; он предстанет перед ними носителем света, ибо явит им истину, и меченосцем, ибо откроет им справедливость. Какое торжество!

И в то время как эти совершенно отчетливые и вместе с тем смутные мысли проносились в мозгу Гуинплена, он беспрерывно двигался, как бы в бреду: опускался в первое попавшееся кресло, впадал в минутное забытье и вдруг снова вскакивал. Он ходил взад и вперед по комнате, глядел на потолок, рассматривал короны, изучал непонятные ему изображения на гербе,

ощупывал бархатную обивку стен, передвигал стулья, разворачивал свитки грамот, разбирал титулы — Бекстон, Хомбл, Гемдрайт, Генкервилл, Кленчарли, сравнивал между собою сургучные оттиски королевских печатей, дотрагивался до их шелковых шнурков, подходил к окну, прислушивался к журчанию водомета; устремлял взор на статуи, с терпением лунатика пересчитывал мраморные колонны и говорил: «Да, все это явь».

Ощупывая свой атласный кафтан, он спрашивал себя:

— Я ли это?

И сам же отвечал:

— Да, я.

В нем все еще бушевала буря.

В этом вихре чувств, наполнявшем все его существо, чувствовал ли он слабость, усталость? Утолял ли он жажду и голод, спал ли он? Если да, то бессознательно. При сильном душевном потрясении человек удовлетворяет свои физические потребности без всякого участия мысли. К тому же мысли Гуинплена рассеивались, как дым. Разве в ту минуту, когда черное пламя вырывается из клокочущего кратера, вулкан отдает себе отчет в том, что на траве, у его подножия, пасутся стада?

Часы проходили за часами.

Занялась заря, наступило утро. Луч света проник в комнату, а вместе с тем и в сознание Гуинплена.

— А Дея? — напомнил он Гуинплену.

Часть шестая. Личины Урсуса

1. Что говорит человеконенавистник

Увидав, как Гуинплен скрылся за дверью Сатворкской тюрьмы, Урсус, растерявшись, так и замер в закоулке, откуда он наблюдал за всем происходившим. В ушах у него еще долго раздавались скрип замков и лязг засовов, похожие на радостный визг тюрьмы, поглотившей еще одного несчастного. Он ждал. Чего? Он высматривал. Что? Эти неумолимые двери, однажды замкнувшись, распахиваются уже не скоро; они кажутся окаменевшими, навсегда застывшими неподвижно во мраке и с трудом поворачиваются на своих петлях, в особенности когда надо кого-нибудь выпустить; войти — можно, выйти — дело другое. Урсус знал это. Но человек так устроен, что он ждет иногда помимо своей воли, даже зная, что ждать уже нечего. Чувства, толкающие нас на какие-нибудь действия, продолжают проявляться вовне, как бы в силу инерции, даже тогда, когда предмета, на который они были направлены, уже

нет, и заставляют нас еще в течение какого-то времени стремиться к исчезнувшей цели. Бесполезное ожидание, бессмысленное стояние, потеря времени, когда внимание приковано к предмету, уже скрывшемуся из виду, — все это каждому не раз приходилось переживать. Продолжаешь чего-то выжидать с безотчетным упорством. Сам не знаешь почему, но остаешься на том же месте. То, что было начато сознательно, продолжаешь по какой-то инерции. Такое упорство истощает и приводит к упадку сил. Хотя Урсус во многом отличался от других людей, однако и он все еще стоял как вкопанный: он погрузился в состояние настороженного раздумья, охватывающего нас перед лицом огромного события, перед которым мы бессильны. Он смотрел на черные стены — то на низкую, то на высокую, смотрел на калитку, на прибитую над нею виселичную лестницу, на ворота, над которыми красовалось изображение черепа; он был как бы зажат в тиски между тюрьмой и кладбищем. В этой пустынной улице, которую все старались обойти, было так мало прохожих, что Урсуса никто не замечал.

Наконец он вышел из своего закоулка — из каменной ниши, где стоял на карауле, и медленно поплелся назад. Уже вечерело, — так долго он

пробыл здесь. Он то и дело оборачивался и смотрел на страшную калитку, за которой скрылся Гуинплен. Взгляд у него был тупой и застывший. Он добрел до конца переулка, повернул за угол, прошел один переулок, потом другой, смутно припоминая дорогу, которая несколько часов тому назад привела его сюда. Он то и дело оглядывался, как будто мог увидать тюремную калитку, хотя улица, где находилась тюрьма, осталась далеко позади. Мало-помалу он приближался к Таринзофилду. Переулки, прилегавшие к ярмарочной площади, представляли собой пустынные тропинки между оградами садов. Он шел, согнувшись, вдоль изгородей и рвов. Но вдруг он остановился и воскликнул:

— Тем лучше!

Тут он дважды хлопнул себя по лбу и по бедрам — жест, свидетельствующий о том, что человек понял, наконец, в чем дело.

Он продолжал идти, то бормоча себе под нос, то повышая голос:

— Отлично! Ах, негодяй! Разбойник! Шалопай! Бездельник! Бунтовщик! Конечно, он мятежник! И я укрывал у себя мятежника. Ну, теперь я избавился от него. Он осрамил нас. Его упекли на каторгу! И поделом! На то и законы. Ах, неблаго-

дарный! А я-то воспитывал его! Вот и старайся тут! Кто тянул его за язык? Туда же, рассуждать! Совать нос в государственные дела! Скажите пожалуйста! У самого в кармане ломаный грош, а он разглагольствует о налогах, обо всем, что нисколько его не касается! Позволять себе высказывать суждения о пенни! Глумиться над королевской медной монетой! Оскорблять ее величество! Разве фартинг не то же самое, что королева? На нем ее изображение, черт возьми, ее священное изображение! Есть у нас королева или нет? Ну, так изволь уважать ее позеленевшие медяки. В государстве все связано одно с другим. Это надо зарубить себе на носу. Я-то пожил на свете. Я знаю жизнь. Мне, пожалуй, скажут: вы, значит, отрекаетесь от политики? Ну, разумеется. Политика, друзья мои, интересует меня, как прошлогодний снег. Однажды меня ударил тростью один баронет. Я сказал себе: «Довольно с меня, теперь я понял, что такое политика». Королева отбирает у народа последний грош, и народ ее благодарит. Нет ничего проще. Остальное касается лордов. Их сиятельств, вельмож духовных и светских. А Гуинплена под замок! А Гуинплена на галеры! Так и надо, это справедливо. Это вполне резонно, великолепно, заслуженно и законно.

Сам виноват. Не болтай лишнего. Что ты — лорд, что ли, дурак этакий? Жезлоносец арестовал его, судебный пристав увел, шериф держит в своих руках. Теперь, должно быть, его, как петуха, ощипывает какой-нибудь законовед. О, это молодцы! Они тебя выведут на чистую воду! Законопатили тебя, голубчика! Тем хуже для тебя, тем лучше для меня. Ей-богу, я очень рад. Скажу по совести, мне везет. Какую глупость я сделал, подобрав этого мальчишку и девчонку! Нам с Гомо жилось так спокойно. И зачем только эти негодяи приплелись ко мне в балаган? Мало я возился с ними, когда они были еще малышами! Мало я таскал их за собою! Стоило спасать их! Его, такого урода, ее — слепую на оба глаза! Вот и отказывай себе во всем! Сколько пришлось голодать из-за них! И вот они вырастают, да еще и влюбляются друг в дружку! Любовь двух калек! Вот до чего мы докатились! Жаба и крот — идиллия, нечего сказать! И все это творилось у меня под носом. Это и должно было кончиться вмешательством правосудия. Жаба заквакала о политике — очень хорошо! Теперь у меня руки развязаны. Когда явился жезлоносец, я сперва ошалел, сразу не поверил собственному счастью; мне казалось, что это мне померещилось, что это невозможно,

что это кошмар, что это мне во сне приснилось. Но нет, это не игра воображения. Так оно и есть. Гуинплен в самом деле сидит в тюрьме. Само провидение позаботилось об этом. Этот урод наделал такого шуму, что обратил внимание властей на мое заведение и на моего бедного волка. И вот Гуинплена больше нет. Я могу считать себя избавленным от обоих сразу. Одним выстрелом двух зайцев убили. Ведь Дея умрет от всего этого. Когда она больше не увидит Гуинплена — а она его видит, идиотка! — она решит, что ей незачем жить, она скажет себе: «Что мне делать на этом свете?» — и тоже уберется прочь. Счастливого пути! К черту обоих! Я всегда терпеть их не мог! Подыхай же, Дея! Ах, как я доволен!

2. И как он поступает

Он вернулся в Тедкастерскую гостиницу. Пробило половина седьмого, «половина после шести», как выражаются англичане. Еще только начинало смеркаться.

Дядюшка Никлс стоял на пороге входной двери. Ему так и не удалось согнать с лица выражение испуга, пережитого утром.

Заметив Урсуса еще издали, он крикнул ему:

— Ну, что?

— Как что?

— Вернется Гуинплен? Давно уже пора. Скоро соберется публика. Будет сегодня выступать «Человек, который смеется»?

— «Человек, который смеется» — это я, — сказал Урсус.

И, взглянув на содержателя харчевни, оглушительно захохотал.

Потом поднялся на второй этаж, распахнул ближайшее к вывеске гостиницы окно, высунулся в него, протянул руку, сорвал доски с надписями: «Гуинплен — Человек, который смеется» и «Побежденный хаос», взял их подмышку и спустился вниз.

Дядюшка Никлс следил за ним глазами.

— Зачем вы снимаете это?

Урсус снова разразился хохотом.

— Чему это вы радуетесь? — спросил хозяин.

— Я решил жить сам для себя.

Никлс понял и приказал своему помощнику Говикему объявлять всем, кто придет, что сегодня вечером представления не будет. Он убрал от дверей бочку, служившую будкой кассирше, и откатил ее в дальний угол низкого зала.

Минуту спустя Урсус поднялся в «Зеленый ящик».

Он поставил в угол обе вывески и вошел в от-

деление фургона, которое он называл «женской половиной».

Дея спала.

Она лежала на постели одетая, только расстегнув платье, как делала обычно во время дневного отдыха.

Подле нее сидели, погруженные в задумчивость, Винос и Фиби, одна на табуретке, другая прямо на полу.

Несмотря на поздний час, они не надели костюмов, в которых изображали богинь, что свидетельствовало о глубоком унынии. Они так и остались в корсажах из грубой шерсти и в холщовых юбках.

Урсус посмотрел на Дею.

— Она готовится к более долгому сну, — пробормотал он.

И обратился к Фиби и Винос:

— Эй, вы, послушайте! Кончена музыка! Можете спрятать ваши трубы в ящик. Хорошо сделали, что не вырядились богинями. Конечно, в своем естественном виде вы достаточно уродливы, но все-таки поступили умно. Щеголяйте в своих отрепьях. Представления не будет ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, ни послепослезавтра. Нет больше Гуинплена. Сам черт его теперь не

сыщет.

И он снова устремил глаза на Дею.

— Какой это будет для нее удар! Она погаснет сразу, как свеча.

Он набрал в грудь воздуха и дунул:

— Фу! — и кончено.

И засмеялся сухим смешком.

— Не будет у нас Гуинплена, не будет ничего. Это все равно, как если бы я лишился Гомо. Даже хуже. Она почувствует себя более одинокой, чем всякая другая. Слепые тяжелее переживают горе, чем мы.

Он подошел к окошечку в глубине фургона.

— Как прибавляется день! Уже семь часов, а еще довольно светло. Все-таки зажжем свечу.

Он высек огнивом искру и зажег фонарь, спускавшийся с потолка «Зеленого ящика». Затем наклонился над Деей.

— Она простудится. Вы ее слишком легко одели. Французы говорят:

Апрель еще не май -

Фуфайки не снимай.

Заметив, что на полу блестит булавка, он поднял ее и воткнул себе в рукав. Потом, жестикулируя, стал ходить взад и вперед по фургону.

— Я не потерял присутствия духа. Я нахожусь

в здравом уме более, чем когда-либо. По-моему, данное событие в порядке вещей, и я одобряю то, что происходит. Как только она проснется, я выложу ей все без утайки. Катастрофа разразится немедленно. Гуинплена больше нет. Значит, прощай, Дея! Как хорошо все устроилось. Гуинплен в тюрьме, Дея на кладбище. Как раз друг против друга. Настоящая пляска смерти. Две человеческие судьбы сходят со сцены. Спрячем костюмы. Захлопнем чемодан, то есть гроб. Это была чета неудачников. Дея без глаз, Гуинплен без лица. Там, на небесах, господь возвратит Дее зрение, а Гуинплену красоту. Смерть все приводит в порядок. Все отлично. Фиби, Винос, повесьте на стену ваши тамбурины. Ваш, с позволения сказать, музыкальный талант теперь зачахнет, мои красавицы. Ни играть, ни трубить больше не придется. «Побежденный хаос» побежден. «Человеку, который смеется» — крышка. Великому шуму и грохоту конец. А Дея все спит. И хорошо делает. На ее месте я бы и не просыпался. Впрочем, она скоро опять заснет. Долго ли помереть такой худышке? Вот что значит удариться в политику. Какой урок! И как правительства правы! Гуинпленом занялся шериф. Деей займется могильщик, Поучительная симметрия. Надеюсь, хозяин харчевни плотно

запер дверь. Сегодня мы умрем в тесном семейном кругу. Впрочем, ни я, ни Гомо. Одна только Дея. Я буду по-прежнему разъезжать в фургоне. Я рожден для бродячей жизни. Отпущу обеих женщин. Ни одной у себя не оставлю. У меня есть наклонность сделаться старым развратником. Служанка у распутника — все равно что хлеб на столе. Не желаю искушений. Не по возрасту это мне. Turpe senilis amor[288]

Теперь опять стану бродить один с Гомо. Вот кто удивится — так это он: где Гуинплен, где Дея? Мы снова вдвоем, старый товарищ. Я в восторге, черт побери! Поперек горла стояла у меня их идиллия. А этот негодяй Гуинплен и не думает возвращаться. Он бросил нас. Прекрасно. Теперь очередь за Деей. Ну, эта не заставит себя долго ждать. Я люблю законченность во всем. Пальцем о палец не ударю, чтобы помешать ей умереть. Околевай, слышишь! Ах, черт, она просыпается!

Дея открыла глаза (слепые часто спят с закрытыми глазами). Ее нежное, невинное лицо озарилось улыбкой.

— Она улыбается, — пробормотал Урсус, — а я смеюсь. Все идет прекрасно.

Она позвала:

— Фиби! Винос! Пора, должно быть, начинать

представление. Я, кажется, очень долго спала. Оденьте меня.

Ни Фиби, ни Винос не шевельнулись.

Между тем взгляд Деи, в котором было нечто невыразимое, свойственное всем слепым, встретился с глазами Урсуса. Старик вздрогнул.

— Ну, — закричал он, — чего вы ждете? Фиби, Винос, разве вы не слышите, что говорит Дея? Оглохли вы, что ли? Живее! Представление сейчас начнется.

Обе женщины с крайним удивлением смотрели на Урсуса.

Урсус заорал:

— Разве вы не видите, что публика уже собирается? Фиби, одевай Дею! Винос, бей в тамбурин!

Фиби была само послушание, Винос — пассивность. Вдвоем они олицетворяли собою безропотную покорность. Их хозяин всегда был для них загадкой. Кого не понимают, тому обычно слепо повинуются. Они просто решили, что он сошел с ума, но исполнили его приказание. Фиби сняла с гвоздя костюм, Винос схватила тамбурин.

Фиби принялась одевать Дею. Урсус опустил завесу «женской половины» и уже по ту сторону ее продолжал:

— Смотри-ка, Гуинплен! Почти полон двор

народу. У входа настоящая давка. Ну и толпа! Хороши Фиби и Винос, им и дела нет. До чего глупы эти цыганки! Что за дурачье живет в Египте! Не подымай занавески. Будь скромен: Дея одевается.

Он сделал паузу, и вдруг послышалось восклицание:

— Как прекрасна Дея!

Это был голос Гуинплена. Фиби и Винос вздрогнули и обернулись. Это был голос Гуинплена в устах Урсуса.

Выглянув из-за занавески, он знаком запретил им выражать свое удивление.

Потом продолжал голосом Гуинплена:

— Ангел!

И возразил уже своим голосом:

— Это Дея-то ангел? Ты рехнулся, Гуинплен. Из всех млекопитающих летают только летучие мыши.

И прибавил:

— Вот что, Гуинплен, ступай-ка, отвяжи Гомо. Это будет умнее.

И легкой походкой Гуинплена он быстро побежал по приставной лесенке «Зеленого ящика». Он подражал шагам Гуинплена в расчете, что Дея услышит этот топот.

На дворе он увидел Говикема, которого так занимало все происходящее, что он не мог заняться никаким другим делом.

— Подставь обе руки, — шепотом сказал Урсус.

И насыпал ему целую пригоршню медных монет.

Такая щедрость растрогала Говикема.

Урсус шепнул ему на ухо:

— Останься во дворе, прыгай, пляши, стучи, вой, реви, свисти, ори, бей в ладоши, топай, хохочи, сломай что-нибудь.

Дядюшка Никлс, оскорбленный и огорченный тем, что публика, пришедшая посмотреть на «Человека, который смеется», поворачивала назад и направлялась в другие балаганы на ярмарочной площади, запер дверь харчевни; желая избежать докучных расспросов, он даже отказался торговать в этот вечер напитками. Оставшись без дела из-за несостоявшегося представления, он смотрел с галереи на двор, держа в руке свечу. Урсус: поднеся обе руки ко рту, чтобы его слышал только Никлс, обратился к нему:

— Джентльмен, возьмите пример с вашего слуги: визжите, вопите, рычите!

Вернувшись в «Зеленый ящик», он приказал волку:

— Гомо, вой как можно громче.

И, повысив голос, произнес:

— Слишком много народу. Боюсь, что стены не выдержат.

Винос тем временем ударила в тамбурин.

Урсус продолжал:

— Дея одета. Можно будет сейчас начать. Жалко, что столько напустили публики. Какая уйма их набилась! Посмотри-ка, Гуинплен! Какая сумасшедшая давка! Бьюсь об заклад, что нынче у нас будет самый большой сбор за все время. Ну-ка, бездельницы, принимайтесь за свою музыку! Ступай сюда, Фиби, возьми свой рожок. Хорошо. Винос, колоти в тамбурин. Задай ему встряску, да покрепче! Фиби, стань в позу богини славы. Милостивые государыни, вы, по-моему, недостаточно оголились. Сбросьте безрукавки. Накиньте газ. Публика не прочь полюбоваться на женские формы. Пускай моралисты мечут громы и молнии. Черт возьми, можно себе позволить маленькую нескромность. Больше страсти! Огласите воздух бешеными мелодиями. Трубите, гудите, дудите, трещите, бейте в тамбурины! Сколько народу… Гуинплен!

Он перебил себя:

— Помоги мне, Гуинплен. Откинем стенку.

Тем временем он развернул носовой платок.

— А я пока прочищу как следует нос.

И он энергично высморкался — необходимое приготовление к чревовещанию.

Спрятав платок в карман, он привел в движение систему блоков, заскрипевших как обычно, и откинул стенку фургона.

— Гуинплен, не отдергивай занавеса! Пускай он будет закрыт до начала представления. Иначе мы окажемся на виду у всех. Фиби, Винос, ступайте обе на авансцену. Ну-ка, сударыни! Бум! Бум! Публика у нас подобралась на диво. Самые что ни на есть подонки! Господи, сколько народу!

Цыганки, привыкшие к безропотному повиновению, разместились по обе стороны откинутой стенки.

Тут Урсус превзошел самого себя. Это был уже не один человек, а целая толпа. Задавшись целью изобразить двор, переполненный народом, на том месте, где зияла абсолютная пустота, он призвал на помощь свои удивительные способности чревовещателя. Со всех сторон сразу раздались голоса людей и животных. Он превратился в целый легион. Закрыв глаза, можно было подумать, что находишься на какой-нибудь площади, где волнуется праздничная или мятежная тол-

па. Вихрь криков и восклицаний вырывался из груди Урсуса: он пел, лаял, горланил, кашлял, харкал, гикал, нюхал табак, чихал, вел диалоги, задавал вопросы, отвечал, и все это одновременно. Обрывки фраз сталкивались, перерезали друг друга. В безлюдном дворе звучали голоса мужчин, женщин, детей. Сквозь смутный гомон и смешанный гул голосов прорывалась, точно сквозь дымную завесу, странная какофония, кудахтанье, мяуканье, плач грудных детей. Слышались хриплый говор пьяниц, недовольное ворчанье собак, которым зрители наступали на лапы. Голоса раздавались вблизи, доносились издали, сверху, снизу, справа, слева. Все в совокупности было рокотом, каждый звук в отдельности был криком. Урсус стучал кулаками, топал ногами, кричал то из глубины двора, то откуда-то из-под земли. Это было что-то бурное и хорошо знакомое. Он переходил от шепота к шуму, от шума к грохоту, от грохота к реву урагана. Он был самим собою и в то же время всеми. Это были то монологи, то хор голосов. Так же, как существует зрительный обман, существует и слуховой. Тем же, чем был Протей для взора, был Урсус для слуха. Ничего не могло быть искуснее такого подражания толпе. Время от времени он раздвигал занавес и смотрел

на Дею. Дея слушала.

Говикем тоже бесновался во дворе.

Винос и Фиби добросовестнейшим образом дули в трубы и отчаянно барабанили.

Единственный зритель, дядюшка Никлс, так же как и они, решил, что Урсус сошел с ума; это, впрочем, было только лишним мрачным штрихом на фоне его меланхолии. «Какое безобразие!» — бормотал себе под нос этот славный трактирщик. Он сохранял серьезность, как всякий, кто не забывает, что над ним бдит закон.

Говикем, в восторге, что может принять участие в этом гаме, неистовствовал не меньше Урсуса. Это забавляло его. Кроме того, он ведь зарабатывал деньги.

Гомо был задумчив.

Производя весь этот шум, Урсус умудрялся произносить еще отдельные фразы:

— Как всегда, Гуинплен, против нас заговор. Опять конкуренты стараются подорвать наш успех. Но шиканье только придает ему остроту. Кроме того, народу набралось слишком много. Зрителям тесно. Когда тебя толкает локоть соседа, это не вызывает восторга. Только бы они не поломали скамеек. Ах, если бы наш друг Том-Джим-Джек был здесь! Но он не приходит больше.

Посмотри, целое море голов! У этой части публики, которая стоит, не слишком довольный вид, хотя, по словам великого ученого Галена, стоячее положение укрепляет организм. Мы сократим спектакль; так как на афише значится только «Побежденный хаос», то мы не будем играть «Ursus rursus». Хоть на этом выгадаем. Какой кавардак! До чего сумасбродна эта буйная толпа. Уж чего-нибудь они да натворят! Однако это не может так продолжаться. Ведь такой шум заглушает все происходящее на сцене. Надо обратиться к ним с речью, чтобы они успокоились. Гуинплен, раздвинь немного занавес! Граждане…

Тут Урсус прервал самого себя, крикнув резким и пронзительным голосом:

— Долой старика!

И уже своим голосом продолжал:

— Кажется, публика меня оскорбляет. Цицерон прав: plebs, fex urbis[289]

Ничего, попробуем уговорить чернь. Трудно будет заставить их слушать. Однако я все-таки попытаюсь. Человек, исполни свой долг. Посмотри-ка, Гуинплен, на эту мегеру! Как она скрежещет зубами!

Урсус сделал паузу и заскрежетал зубами. Гомо, введенный в заблуждение, последовал его при-

меру. Говикем присоединился к ним обоим.

Урсус продолжал:

— Женщины куда хуже мужчин. Момент не особенно подходящий. Все равно, испытаем силу слова… Красноречие никогда не помешает. Послушай, Гуинплен, как я буду их увещевать. Гражданки и граждане! Я — (медведь. Чтобы говорить с вами, я снимаю свою голову. Покорнейше прошу вас соблюдать тишину.

Изображая возглас в толпе, Урсус крикнул:

— Брюзга!

И продолжал:

— Я глубоко уважаю свою аудиторию. Брюзга — обращение ничуть не хуже всякого другого. Привет тебе, буйная толпа! Я нисколько не сомневаюсь в том, что все вы бездельники. Но от этого мое уважение к вам ничуть не меньше. Уважение вполне сознательное. Я отношусь с искренним почтением к господам жуликам, оказавшим мне честь явиться сюда. Среди вас есть уроды, но для меня это безразлично. Хромые и горбатые — явление естественное. Верблюд горбат; у бизона нарост на спине; у барсука обе левых ноги короче правых; об этом упоминает еще Аристотель в своем трактате о походке животных. Те из вас, у кого есть две рубашки, одну носят на теле, а

другую несут к ростовщику. Я знаю, что это дело обычное. Альбукерк[290]

закладывал свои усы, а святой Денис — свой нимб. Ростовщики ссужали деньги даже под нимб. Достойные примеры. Иметь долги — значит уже кое-что иметь. В вашем лице я чту нищету.

Урсус прервал свою речь, крикнув низким басом:

— Втройне осел!

И ответил самым вежливым тоном:

— Согласен. Я ученый. Приношу в этом свое извинение. С научной точки зрения я и сам презираю науку. Невежество есть нечто такое, чем можно снискать себе пропитание; наука же заставляет голодать. В общем, приходится выбирать: либо быть ученым и худеть, либо быть ослом и пощипывать травку. О граждане, пощипывайте травку! Наука не стоит ни одного вкусного кусочка. Я предпочитаю есть бифштекс, нежели знать, как он называется по-латыни. Я обладаю только одним достоинством: у меня глаза не на мокром месте. Я никогда не плакал. Надо вам сказать, что и доволен я никогда не был. Никогда. Даже самим собой. Я презираю себя. Но прошу присутствующих здесь представителей оппозиции принять во внимание, что если Урсус

всего-навсего ученый, то Гуинплен — настоящий артист.

Он снова фыркнул:

— Брюзга!

— Опять брюзга! Это — серьезное возражение. И тем, не менее я пропускаю его мимо ушей. А рядом с Гуинпленом, милостивые государи и милостивые государыни, вы увидите другого артиста, личность мохнатую и благородную, странствующую с нами, господина Гомо — некогда дикую собаку, а ныне цивилизованного пса и верноподданного ее величества. Гомо — мимический актер, одаренный замечательным талантом. Будьте внимательны и сосредоточьтесь. Сейчас вы увидите игру Гомо и Гуинплена, а к искусству должно относиться с почтением. Это пристало великим нациям. Не в лесу же вы выросли? А если бы и так, то sylvae sunt consule dignae[291]

Два артиста стоят одного консула. Прекрасно. В меня запустили капустной кочерыжкой, но она не задела меня. Это не помешает мне говорить. Напротив. Опасность, которой удалось избежать, предрасполагает к болтливости — garrula pericula, как говорит Ювенал[292]

Зрители, среди вас есть пьяницы, — мужчины

и женщины. Отлично. Пьяные мужчины мерзки, пьяные женщины омерзительны. Правда, у вас немало веских причин собираться здесь: праздность, лень, свободное время между двумя-тремя кражами, портер, эль, стаут, солодовые напитки, водка, джин, влечение одного пола к другому. Чудесно. Игривый ум нашел бы себе здесь отличное применение. Но я воздерживаюсь. Любострастие — пускай! Однако и в оргии надо соблюдать известное приличие. Вы весело настроены, но слишком шумны. Вы превосходно подражаете крикам разных животных, но что сказали бы вы, если бы я прервал вашу любовную беседу в укромном уголке с какой-нибудь леди и вдруг стал бы лаять по-собачьи? Это несколько помешало бы вам. Ну так вот, и ваш галдеж нам мешает. Разрешаю вам замолчать. К искусству должно относиться с не меньшим уважением, чем к разврату. Я говорю с вами, как порядочный человек.

Он тут же накинулся на себя:

— Задуши тебя лихорадка, вместе с твоими бровями, торчащими, как ржаные колосья.

И немедленно возразил:

— Милостивые государи, оставим в покое ржаные колосья. Грешно оскорблять растения,

сравнивая их с людьми или животными. Кроме того, лихорадка не душит, а трясет. Неудачная метафора. Прошу вас, помолчите! Простите за откровенность, но вам не хватает величия, свойственного настоящим английским джентльменам. Я замечаю, что те из вас, у которых из дырявых башмаков вылезают большие пальцы, пользуются этим, чтоб класть ноги на плечи сидящих впереди; это позволяет дамам делать вывод, что подошвы всегда протираются в самом выдающемся месте плюсны. Показывайте немного поменьше ваши ноги и побольше — руки. Я вижу отсюда мошенников, ловко запускающих пальцы в карманы дураков-соседей. Дорогие карманники, будьте чуть-чуть скромнее. Награждайте своего ближнего тумаками, если желаете, но не обкрадывайте его. Он меньше разозлится на вас, если вы подобьете ему глаз, чем если вы сопрете у него медный грош. Так и быть, разбивайте носы. Мещанин больше дорожит деньгами, чем красотой. Впрочем, примите уверения в моем искреннем расположении к вам. Я отнюдь не такой педант, чтобы порицать мошенников. Зло действительно существует. Каждый страдает от него, и каждый его творит. Всех нас одолевают грехи. Сейчас я имею в виду лишь тот грех, о

котором говорил раньше. Разве не испытывает каждый из нас этот зуд? Бог — и тот почесывается, когда его жалит дьявол. Я и сам впадал в ошибки. Plaudite, cives![293]

Здесь Урсус изобразил продолжительный рев толпы, затем закончил речь следующими словами:

— Милорды и господа, я вижу, что моя речь имела счастье вам не понравиться. На одну минуту я расстанусь с вашим шиканьем и свистом. Сейчас надену свою голову, и представление начнется…

Оставив ораторский тон, он заговорил обыкновенным голосом:

— Задерни занавес, передохнем. Я был медоточив. Я говорил хорошо. Я назвал их милордами и господами. Вкрадчивый, но бесполезный язык. Что скажешь ты насчет этих бездельников, Гуинплен? Как ясно видишь все, что выстрадала Англия за последние сорок лет, когда посмотришь на этот озлобленный и лукавый сброд. В старину англичане были воинственны, теперь же они угрюмы, задумчивы и кичатся своим презрением к закону и королевской власти. Я сделал все, на что только способно человеческое красноречие. Я щедро расточал метонимии, прелестные, как цветущие ланиты отрока. Смягчило ли это их?

Сомневаюсь. Чего можно ждать от людей, которые поглощают невероятное количество пищи и отравляют себя табаком до такой степени, что даже писатели пишут свои сочинения, не выпуская трубки изо рта? Ну, была не была, начнем пьесу.

Кольца, на которых двигался занавес, с визгом заскользили по проволоке. Цыганки перестали бить в тамбурины. Урсус снял со стены свои рыли, сыграл прелюдию и произнес вполголоса:

— Каково, Гуинплен? До чего все это таинственно!

Затем вступил в борьбу с волком.

Одновременно с рылями Урсус снял с гвоздя косматый парик и бросил его на пол, неподалеку от себя.

Представление «Побежденного хаоса» шло почти так же, как и всегда, не было только голубого освещения и «магических эффектов». Волк играл вполне добросовестно. В надлежащую минуту появилась Дея и своим чудным трепетным голосом окликнула Гуинплена. Она протянула руку вперед, ища его голову…

Урсус кинулся к парику, взбил его, напялил на себя и, удерживая дыхание, тихими шагами приблизившись к Дее, подставил ей свою голову.

Затем он призвал на помощь все свое искусство

и, подражая голосу Гуинплена, спел с выражением неизъяснимой любви арию чудовища в ответ на зов светлого духа.

Он подражал так искусно, что и в этот раз обе цыганки принялись искать глазами Гуинплена, испуганные тем, что, не видя его, слышат его голос.

Восхищенный Говикем затопал ногами, захлопал в ладоши, производя невероятный шум и один хохоча, как целое сборище богов. Мальчик, повторяем, оказался на редкость талантливым зрителем.

Фиби и Винос, как два автомата, которых заводил Урсус, начали изо всех сил трубить и бить в тамбурины; под эти оглушительные звуки обычно заканчивался спектакль и расходилась публика.

Урсус поднялся на ноги, весь обливаясь потом.

Он шепнул Гомо:

— Понимаешь, надо было выиграть время. Кажется, нам это удалось. Я неплохо вышел из положения, хотя было из-за чего потерять голову. Гуинплен, быть может, еще вернется завтра. Зачем же было преждевременно убивать Дею? Тебе-то я могу объяснить, в чем дело.

Он снял парик и отер лоб.

— Я гениальный чревовещатель, — пробормотал он. — Как я все это великолепно проделал! Пожалуй, я перещеголял Брабанта, чревовещателя короля Франциска Первого. Дея убеждена, что Гуинплен здесь.

— Урсус, — сказала Дея, — а где Гуинплен?

Урсус вздрогнул и обернулся.

Дея продолжала стоять в глубине сцены, под фонарем, спускавшимся с потолка. Она была бледна как смерть.

Она продолжала с неповторимой улыбкой, в которой было отчаяние:

— Я знаю. Он нас покинул. Он исчез. Я знала, что у него есть крылья.

И, подняв к небу свои невидящие глаза, она прибавила:

— Когда же мой черед?

3. Осложнения

Урсус совершенно растерялся.

Ему не удалось ввести Дею в заблуждение.

Было ли тут виною его искусство чревовещателя? Конечно, нет. Ему удалось обмануть зрячих Фиби и Винос, но слепую Дею он не смог обмануть. Ведь Фиби и Винос смотрели только глазами, тогда как Дея видела сердцем.

Он не был в состоянии ответить ни слова. Он

только подумал про себя: Bos in lingua[294]

У растерявшегося человека точно бык подвешен к языку.

Когда человек находится во власти сложных переживаний, он прежде всего испытывает приступ самоуничижения. Урсус пришел к печальному выводу:

— Напрасно я столько труда потратил на звукоподражание!

Как и всякий мечтатель, потерпевший неудачу, он принялся горько сетовать:

— Полный провал! Я воспроизводил все эти голоса впустую. Что же будет теперь с нами?

Он взглянул на Дею. Она стояла молча, не шевелясь и все больше и больше бледнея. Ее неподвижный, слепой взор был устремлен куда-то в пространство.

На помощь Урсусу пришел случай.

Урсус увидел во дворе дядюшку Никлса, который, держа в руке свечу, делал ему знаки.

Дядюшка Никлс не дождался конца фантастической комедии, единственным исполнителем которой был Урсус, так как кто-то постучал в двери харчевни. Дядюшка Никлс пошел отворить. В дверь стучали дважды, и хозяин дважды уходил. Урсус, поглощенный своим стоголосым моноло-

гом, ничего не заметил.

Увидав, что Никлс машет ему рукой, Урсус спустился во двор.

Он подошел к хозяину гостиницы.

Урсус приложил палец к губам.

Дядюшка Никлс тоже приложил палец к губам.

Они смотрели друг на друга.

Каждый из них словно говорил другому: «Поговорим, но не здесь».

Никлс тихо отворил дверь в нижний зал. Они вошли. Кроме них, в комнате не было никого. Входная дверь с улицы и окна были наглухо закрыты.

Хозяин захлопнул дверь во двор перед самым носом любопытного Говикема.

Потом поставил свечу на стол.

Начался разговор. Вполголоса, почти шепотом!

— Мистер Урсус…

— Мистер Никлс?

— Я, наконец, понял.

— Вот как!

— Вы хотели убедить эту бедную слепую, что все идет как обычно.

— Закон не запрещает чревовещания.

— У вас настоящий талант.

— Вовсе нет.

— Удивительно, до какой степени вы умеете воспроизводить все, что вам хочется.

— Уверяю вас, нет.

— А теперь мне нужно поговорить с вами.

— Это разговор о политике?

— Как сказать.

— О политике я и слушать не хочу.

— Вот в чем дело. В то время как вы играли, изображая один и актеров и публику, в дверь стучались.

— Стучались в дверь?

— Да.

— Мне это не нравится.

— Мне тоже не нравится.

— Что же дальше?

— Я отворил.

— Кто же стучал?

— Человек, который вступил со мной в разговор.

— Что он вам сказал?

— Я выслушал его.

— Что вы ему ответили?

— Ничего. Я вернулся смотреть на вашу игру.

— Ну?

— Ну, и в дверь постучали вторично.

— Кто? Тот же самый?

— Нет, другой.

— Он тоже с вами говорил?

— Нет, этот не сказал ни слова.

— Я это предпочитаю.

— А я нет.

— Объяснитесь, мистер Никлс.

— Угадайте, кто говорил со мной в первый раз?

— Мне некогда разыгрывать роль Эдипа.

— Это был хозяин цирка.

— Соседнего?

— Да, соседнего.

— Того, где гремит такая бешеная музыка?

— Да. Ну так вот, мистер Урсус, он делает вам предложение.

— Предложение?

— Предложение.

— Почему?

— Да потому.

— У вас передо мной одно преимущество, мистер Никлс; вы только что разгадали мою загадку, а я никак не могу разгадать вашу.

— Хозяин цирка поручил мне передать вам, что он видел, как приходили полицейские, и что он, хозяин цирка, желая доказать вам свою дружбу, предлагает купить у вас за пятьдесят фунтов

стерлингов наличными ваш фургон «Зеленый ящик», обеих лошадей, трубы вместе с дующими в них женщинами, вашу пьесу вместе со слепой, которая в ней играет, и вашего волка с вами в придачу.

Урсус высокомерно улыбнулся.

— Содержатель Тедкастерской гостиницы, передайте хозяину цирка, что Гуинплен вернется.

Трактирщик взял со стула что-то темное и повернулся к Урсусу, подняв обе руки и держа в одной плащ, в другой кожаный нагрудник, войлочную шляпу и рабочую куртку.

И сказал:

— Человек, который постучал вторым, был полицейский; он вошел и вышел, не произнеся ни слова, и передал мне вот это.

Урсус узнал кожаный нагрудник, рабочую куртку, шляпу и плащ Гуинплена.

4. Moenibus surdis, campana muta — Стены глухи, колокол нем

Урсус ощупал войлок шляпы, сукно плаща, саржу куртки, кожу нагрудника — никаких сомнений быть не могло; коротким повелительным жестом, не произнеся больше ни слова, он показал хозяину на дверь гостиницы.

Тот открыл ее.

Урсус опрометью выбежал на улицу.

Дядюшка Никлс следил за ним глазами. Урсус бежал так быстро, как только позволяли ему ноги, в том направлении, в каком утром вели Гуинплена. Четверть часа спустя запыхавшийся Урсус был уже в том переулке, куда выходила калитка Саутворкской тюрьмы и где он провел столько часов на своем наблюдательном посту.

Этот переулок был безлюден не только в полночь. Но если днем он нагонял тоску, то ночью внушал тревогу. Никто не отваживался появляться в нем позже определенного часа. Казалось, каждый боялся, как бы тюрьма и кладбище не сдвинулись со своих мест и, приди им только фантазия обняться, не раздавили его в этом объятии. Все это — ночные страхи. В Париже подстриженные ивы на улице Вовер тоже пользовались дурной славой. Поговаривали, будто по ночам эти обрубки деревьев превращаются в громадные руки и хватают прохожих.

Население Саутворка, как мы уже говорили, инстинктивно избегало этого переулка между тюрьмой и кладбищем. В прежнее время поперек него протягивали на ночь железную цепь. Излишняя предосторожность, ибо самой лучшей цепью, преграждавшей вход в переулок, был

внушаемый им ужас.

Урсус решительно свернул в него.

Какую цель преследовал он? Никакой.

Он пришел в этот переулок, чтобы выведать что-нибудь. Собирался ли он постучаться в тюремную дверь? Конечно, нет. Это страшное и бесполезное средство ему и в голову не приходило. Попытаться проникнуть в тюрьму, чтобы расспросить о Гуинплене? Какое безумие! Тюремные двери так же трудно отворяются для тех, кто хочет войти в них, как и для тех, кто хочет выйти. Их можно отпереть только именем закона. Урсус это понимал. Зачем же он пришел сюда? Чтобы увидать. Что именно? Он и сам не знал. Что удастся. Очутиться против калитки, за которой скрылся Гуинплен, — и то уже хорошо. Иногда самая мрачная и угрюмая стена приобретает дар речи, и из щелей между ее камнями вырывается наружу сноп лучей. Порою из наглухо запертого темного здания пробивается тусклый свет. Внимательно рассмотреть оболочку таинственного — значит потерять время — не напрасно. Мы все инстинктивно стараемся быть поближе к тому, что нас интересует. Вот почему Урсус вернулся в переулок, куда выходила задняя дверь тюрьмы.

В ту минуту, когда он вступил в него, он услы-

хал один удар колокола, потом второй.

«Неужели уже полночь?» — подумал он.

И машинально принялся считать:

«Три, четыре, пять».

Он подумал:

«Какие большие промежутки между ударами! Как медленно бьют эти часы! — Шесть, семь».

Потом мысленно воскликнул:

«Какой заунывный звон! — Восемь, девять. — Впрочем, все очень понятно. Пребывание в тюрьме нагоняет тоску даже на часы. — Десять. — Да, здесь и кладбище рядом. Этот колокол отмеряет живым время, а мертвым — вечность. — Одиннадцать. — Увы! Тем, кто лишен свободы, он тоже отмеряет вечность. — Двенадцать».

Он остановился.

«Да, полночь».

Колокол ударил тринадцатый раз.

Урсус вздрогнул.

«Тринадцать!»

Раздался четырнадцатый удар, потом пятнадцатый.

«Что это значит?»

Удары продолжали раздаваться через большие промежутки. Урсус слушал.

«Это не часы. Это колокол mutus[295]

Недаром я говорил: как медленно бьет полночь. Это не бой часов, а звон церковного колокола. Что же предвещает этот унылый звон?»

Во всех тюрьмах того времени, как и во всех монастырях, был так называемый колокол mutus, отмечавший печальные события. Этот «немой колокол» бил очень тихо, словно стараясь, чтобы его не услыхали.

Урсус опять возвратился в удобный для наблюдений закоулок, где он провел большую часть дня, не сводя глаз с тюремной калитки.

Удары колокола по-прежнему, с большими равномерными паузами, следовали один за другим.

Погребальный звон как бы расставляет в пространстве зловещие знаки восклицания. На развернутом свитке наших повседневных забот каждый удар колокола словно мрачно отмечает красную строку. Похоронный звон похож на предсмертное хрипение человека. Он гласит о смертных муках. Если в домах, куда доносится этот звон, кто-нибудь предается мечтательному ожиданию, удары колокола резко обрывают его. Неясные мечты представляются как бы убежищем; человеку, объятому тоскою, они подают какую-то надежду; угрюмый звук колокола отнимает ее своей определенностью. Он рассеивает

туманную пелену, за которой стремится укрыться наше беспокойство. Он вызывает в нашей душе горестную тревогу. Похоронный звон напоминает каждому о человеческих страданиях, о чем-то страшном. Эти печальные звуки обращены к каждому из нас. Они предостерегают. Нет ничего более мрачного, чем этот размеренный монолог. Удары, отделенные друг от друга равными промежутками, преследуют какую-то цель. Что кует молот колокола на наковальне нашей мысли?

Урсус бессознательно продолжал считать удары, хотя в этом не было никакого смысла. Чувствуя, что он на краю бездны, он старался не строить никаких догадок. Догадки — наклонная плоскость, по которой можно скатиться очень глубоко. И все-таки — что означал этот звон?

Урсус смотрел в ту сторону, где, как он знал, находится тюремная калитка.

Вдруг в том самом месте, где чернело что-то вроде дыры, появился красноватый отблеск. Он становился все ярче и ярче и превратился в свет.

Это было не расплывчатое пятно, а четко обозначившийся в темноте четырехугольник. Дверь тюрьмы повернулась на петлях. Красноватый свет явственно обрисовал притолоку и косяки.

Дверь только приотворилась. Тюрьма не

распахивает настежь своих ворот, она лишь наполовину раскрывает свою пасть, словно зевая от скуки.

Из калитки вышел человек с факелом в руке.

Колокол продолжал звонить.

Внимание Урсуса теперь раздвоилось: он напряженно прислушивался к колоколу и в то же время не спускал глаз с факела.

Пропустив человека, полуоткрытая дверь широко раскрылась, и из нее вышло еще двое; вслед за ними показался четвертый. Это был жезлоносец. Урсус узнал его при свете факела. В руке у него был жезл.

Вслед за жезлоносцем вышли попарно какие-то люди; они двигались молча, держась прямо, словно деревянные истуканы.

Участники этого ночного шествия, напоминавшего процессию кающихся, с мрачной торжественностью, пара за парой, переступали тюремный порог, стараясь не производить ни малейшего шума. Так осторожно выползает из своей норы змея.

Факел освещал свирепые лица и мрачные фигуры.

Урсус узнал тех самых полицейских, которые утром увели Гуинплена.

Никаких сомнений — это были те же люди. Теперь они выходили из тюрьмы.

Очевидно, сейчас выйдет и Гуинплен.

Они привели его сюда, они и выведут его назад.

Это ясно.

Урсус стал всматриваться еще пристальнее. Выпустят ли Гуинплена на свободу?

Полицейские по двое выходили из-под низкого свода, очень медленно, как просачивается капля за каплей из стены вода. Колокол, не переставая звонить, казалось, ударял в такт их шагам. Выходя из тюрьмы, люди в этом шествии поворачивались спиною к Урсусу, направляясь в правый, противоположный, конец переулка.

В дверях блеснул второй факел.

Значит, шествие сейчас кончится.

Сейчас Урсус увидит, кого они сопровождают. Узника. Человека.

Сейчас Урсус увидит Гуинплена.

То, что они сопровождали, наконец появилось.

Это был гроб.

Четыре человека несли гроб, покрытый черным сукном.

За гробом шагал могильщик с лопатой на плече.

Шествие замыкалось третьим факелом, который держал человек, читавший какую-то книгу, — очевидно, тюремный священник.

Гроб понесли за полицейскими, повернув направо.

В то же время люди, шедшие впереди, остановились.

Урсус услышал скрип ключа в замке.

Факел осветил другую дверь, напротив тюрьмы, в низкой стене, тянувшейся по ту сторону переулка.

Эта дверь, над которой был изображен череп, вела на кладбище.

Жезлоносец вошел в нее, за ним остальные, за дверью скрылся уже второй факел; шествие стало короче, напоминая хвост уползающей змеи; вся вереница полицейских исчезла во тьме, за ними гроб, могильщик с лопатой, священник с факелом и книгой, и дверь захлопнулась.

Все исчезло, только за стеной еще мерцал свет.

Послышалось какое-то бормотанье, потом глухие удары.

Вероятно, священник и могильщик провожали гроб, опускаемый в землю, — один псалмами, другой комьями земли.

Бормотанье прекратилось, прекратились и

глухие удары.

Опять послышались шаги, сверкнули факелы, на пороге распахнувшейся кладбищенской калитки снова показался жезлоносец, высоко держа свой жезл, за ним священник с книгой, могильщик с лопатой, полицейские, но уже без гроба. Процессия, двигаясь все так же попарно, вернулась обратно тем же путем, храня, как и прежде, угрюмое молчание; закрылись ворота кладбища, отворилась, снова освещенная факелами, дверь тюрьмы; сводчатый коридор на мгновение озарился красноватым отблеском; взору Урсуса предстали мрачные недра тюрьмы, и снова все потонуло во тьме.

Колокол умолк. Ночь завершила трагедию, опустив над нею зловещий занавес тишины.

Видение исчезло бесследно.

Призраки рассеялись.

Мы часто находим какой-то смысл в случайных совпадениях и строим на этом основании как будто правдоподобные догадки.

К таинственному аресту Гуинплена, к его одежде, принесенной полицейским, к похоронному звону колокола в той самой тюрьме, куда его увели, присоединилась еще одна трагическая деталь — опущенный в землю гроб.

— Он умер! — воскликнул Урсус и без сил опустился на камень. — Умер! Они убили его! Гуинплен! Дитя мое! Мой сын! — И он зарыдал.

5. Государственные интересы проявляются в великом и в малом

Увы, напрасно Урсус хвалился тем, что никогда не плачет. Теперь слезы подступили к самому его горлу. Они накоплялись в груди по капле в продолжение всей его горестной жизни. Переполненная до краев чаша не может пролиться в одно мгновение. Урсус рыдал долго.

Первая слеза пролагает дорогу другим. Он оплакивал Гуинплена, Дею, самого себя, Гомо. Плакал как дитя. Плакал как старик. Плакал обо всем, над чем смеялся. Он задним числом выплатил свой долг прошлому. Право человека на слезы не знает давности.

На самом деле покойник, опущенный в землю, был Хардкванон, но Урсус не мог этого знать.

Прошло несколько часов.

Занялся день; бледная пелена утреннего света, кое-где еще боровшегося с ночными тенями, легла на ярмарочную площадь. В лучах зари выступил белый фасад Тедкастерской гостиницы.

Дядюшка Никлс так и не ложился спать. Нередко одно и то же событие вызывает бессонницу у

нескольких человек.

Всякая катастрофа вызывает много последствий. Бросьте камень в воду и попробуйте сосчитать круги.

Дядюшка Никлс сознавал, что арест Гуинплена может затронуть и его. Очень неприятно, когда у вас в доме происходят такие события. Он был встревожен этим; предвидя впереди еще всякие осложнения, Никлс погрузился в мрачное раздумье. Он сожалел, что пустил к себе «этих людей». Если бы он знал раньше! Втянут они его в конце концов в какую-нибудь беду. Как развязаться с ними теперь? Ведь с Урсусом у него заключен контракт. Какое было бы счастье избавиться от таких постояльцев! К чему бы только придраться, чтобы выгнать их?

Вдруг в дверь харчевни раздался сильный стук, который возвещает в Англии о прибытии важного лица. Гамма стуков соответствует иерархической лестнице.

Это был стук не вельможного лорда, а судейского чиновника.

Дрожа от страха, трактирщик приоткрыл форточку.

И действительно, стучался судейский чиновник. При свете занимавшегося дня дядюшка

Никлс увидел у двери отряд полицейских, возглавляемый двумя людьми, из которых один был судебный пристав.

Судебного пристава дядюшка Никлс видел утром и потому сразу узнал его.

Другой человек был ему неизвестен.

Это был тучный джентльмен с будто восковым лицом, в придворном парике и дорожном плаще.

Судебного пристава дядюшка Никлс очень боялся. Если бы дядюшка Никлс принадлежал к королевскому двору, он еще больше испугался бы второго посетителя, ибо то был Баркильфедро.

Один из полицейских снова громко постучался в дверь.

Трактирщик, у которого на лбу выступил холодный пот, поспешил открыть.

Судебный пристав тоном человека, призванного наблюдать за порядком и хорошо знакомого с бродягами, возвысил голос и строго спросил:

— Где Урсус, хозяин балагана?

Сняв шляпу, Никлс ответил:

— Он проживает здесь, ваша честь.

— Это я знаю и без тебя, — сказал пристав.

— Конечно, ваша честь.

— Позови его сюда.

— Его нет дома, ваша честь.

— Где же он?

— Не знаю.

— Как это не знаешь?

— Он еще не возвращался.

— Значит, он очень рано ушел из дому?

— Нет, очень поздно.

— Ах, эти бродяги! — заметил пристав.

— Да вот он, ваша честь, — тихо промолвил дядюшка Никлс.

Действительно, в эту минуту из-за угла показался Урсус. Он направлялся к гостинице. Почти всю ночь провел он между тюрьмой, куда в полдень ввели Гуинплена, и кладбищем, где в полночь, как он слышал, засыпали свежую могилу. Его побледневшее от горя лицо казалось еще бледнее в утренних сумерках.

Занимающийся день, этот предвестник яркого света, не меняет ночных, неясных очертаний предметов, даже находящихся в движении. Медленно приближавшийся Урсус своим бледным лицом и всей своей фигурой, смутно выступавшей в полумраке, напоминал привидение.

Накануне, охваченный отчаянием, он выбежал из гостиницы с непокрытой головой. Он даже не заметил, что забыл надеть шляпу. Его жидкие

седые волосы развевались по ветру. Широко раскрытые глаза, казалось, ничего не видели. Мы часто как будто бодрствуем во сне и спим наяву. Урсус был похож на сумасшедшего.

— Мистер Урсус, — закричал трактирщик, — подите-ка сюда. Эти джентльмены желают поговорить с вами.

Дядюшка Никлс, всецело занятый мыслью, как бы уладить инцидент, употребил множественное число, хотя в то же время опасался, не заденет ли оно самолюбие начальника тем, что поставит его на одну доску с подчиненными.

Урсус вздрогнул, как человек, внезапно сброшенный с постели, на которой он спал глубоким сном.

— Что такое? — спросил он.

Он увидел полицейских с судебным приставом во главе.

Новое тяжелое потрясение.

Совсем недавно жезлоносец, теперь — судебный пристав. Один как бы перебрасывал его другому. Он был в положении судна, оказавшегося меж двух грозных утесов, о которых говорится в древних преданиях.

Судебный пристав знаком приказал ему войти в харчевню.

Урсус повиновался.

Говикем, который только что проснулся и подметал в это время зал, остановился, отставил в сторону метлу и, укрывшись за столами, затаил дыхание. Запустив руку в волосы, он почесывал затылок — признак напряженного внимания.

Судебный пристав сел на скамью перед столом; Баркильфедро сел на стул; Урсус и дядюшка Никлс стояли перед ними. Полицейские столпились на улице, у закрытых ворот.

Судебный пристав устремил на Урсуса строгий взор блюстителя закона и спросил:

— Вы держите у себя волка?

Урсус ответил:

— Не совсем так.

— Вы держите у себя волка, — повторил судебный пристав, резко напирая на слово «волк».

— Дело в том… — начал было Урсус и замолчал.

— Уголовно наказуемый проступок, — сказал пристав.

Урсус попробовал защищаться:

— Это домашнее животное.

Пристав положил руку на стол, растопырив все пять пальцев, — жест, прекрасно выражающий всю силу его власти.

— Фигляр, завтра в этот час вы с вашим волком будете за пределами Англии. В противном случае волка заберут, отведут в присутствие и убьют.

Урсус подумал: «Одно убийство за другим». Однако не произнес ни слова и только задрожал всем телом.

— Вы слышите? — продолжал пристав.

Урсус утвердительно кивнул головой.

Пристав повторил:

— И убьют.

Наступило молчание.

— Удавят или утопят.

Судебный пристав посмотрел на Урсуса:

— А вас — в тюрьму.

Урсус пробормотал:

— Господин судья…

— Вы должны уехать прежде, чем наступит утро завтрашнего дня. Иначе приказ будет выполнен.

— Господин судья…

— Что?

— Нам обоим нужно уехать из Англии?

— Да.

— Сегодня?

— Сегодня же.

— Но как это сделать?

Дядюшка Никлс был счастлив. Этот судебный

пристав, которого он так боялся, выручил его из беды. Полиция пришла ему, Никлсу, на помощь. Она освободила его от «этих людей». Она сама взяла на себя заботу избавить его от них. Урсуса, которого он хотел выгнать, высылала полиция. Неодолимая сила. Попробуй с ней поспорить! Он был в восторге.

Он вмешался в разговор:

— Ваша честь, этот человек…

Он указал пальцем на Урсуса.

— Этот человек спрашивает, как ему уехать нынче из Англии. Нет ничего проще. На Темзе по обеим сторонам Лондонского моста и днем и ночью можно найти суда, отплывающие в различные страны: в Данию, в Голландию, в Испанию, — куда угодно, кроме Франции, с которой мы ведем войну. Многие из них снимутся с якоря сегодня около часу ночи, когда начнется отлив. Между прочими и роттердамская шхуна «Вограат».

Судебный пристав повел плечом в сторону Урсуса.

— Хорошо. Уезжайте на любом судне. Хоть на «Вограате».

— Господин судья… — начал Урсус.

— Ну?

— Господин судья, это было бы возможно, если бы у меня, как и прежде, был только возок. Его можно было бы погрузить на корабль. Но…

— Но что же?

— Но сейчас у меня «Зеленый ящик», огромный фургон с двумя лошадьми, который не поместится даже на большом судне.

— А мне-то что за дело? — возразил пристав. — В таком случае волка убьют.

Урсус затрепетал, почувствовав, что сердце у него словно сжимает чья-то ледяная рука. «Изверги! — думал он. — Убийство — их излюбленное занятие».

Трактирщик с улыбкой обратился к Урсусу:

— Мистер Урсус, ведь вы же можете продать свой «Зеленый ящик».

Урсус взглянул на него.

— Мистер Урсус, вам же сделали предложение.

— Какое?

— Предложение насчет фургона, насчет лошадей. Насчет обеих цыганок. Насчет…

— Кто?

— Хозяин соседнего цирка.

— Да, верно.

Урсус вспомнил.

Никлс повернулся к судебному приставу:

— Ваша честь, сделка может состояться сегодня же. Хозяин соседнего цирка хочет купить фургон и лошадей.

— Хозяин цирка поступит разумно, — сказал пристав, — потому что фургон и лошади ему очень скоро понадобятся. Он тоже уедет сегодня. Священники саутворкских приходов подали жалобу на шум и безобразие, которые творятся в Таринзофилде. Шериф принял надлежащие меры. Сегодня вечером на площади не останется ни одного балагана. Конец всем этим безобразиям. Почтенный джентльмен, удостаивающий нас своим присутствием…

Судебный пристав сделал паузу, чтобы отвесить поклон Баркильфедро, который ответил ему тем же.

— …почтенный джентльмен, удостаивающий нас своим присутствием, прибыл сегодня из Виндзора. Он привез приказы. Ее величество повелела: «Очистить площадь».

Урсус, успевший много передумать за эту ночь, мысленно задавал себе не один вопрос. Ведь в конце концов он видел только гроб. Мог ли он поручиться, что в нем лежало тело Гуинплена? Мало ли узников умирает в тюрьме? На гробе не ставят имя покойника. Вскоре после ареста

Гуинплена кого-то хоронили. Это еще ничего не доказывает: Post hoc, non propter hoc[296]

- и так далее. Урсусом снова овладели сомнения. Надежда загорается и сверкает над нашей скорбью, подобно тому как горит нефть на воде. Ее огонек постоянно всплывает на поверхность людского горя. В конце концов Урсус решил: «Возможно, что хоронили действительно Гуинплена, но это еще не достоверно. Как знать? А вдруг Гуинплен еще жив?»

Урсус поклонился приставу:

— Достопочтенный судья, я уеду. Мы уедем. Все уедут. На «Вограате». В Роттердам. Я повинуюсь. Я продам «Зеленый ящик», лошадей, трубы, цыганок. Но у меня есть товарищ, которого я не могу оставить. Гуинплен…

— Гуинплен умер, — произнес чей-то голос.

Урсусу показалось, будто он внезапно ощутил холодное прикосновение какого-то пресмыкающегося.

Эти слова произнес Баркильфедро.

Угас последний луч надежды. Сомнений больше не было. Гуинплен умер.

Незнакомец должен был знать это доподлинно. У него был такой зловещий вид.

Урсус поклонился.

В сущности, дядюшка Никлс был человеком добрым. Но когда не трусил. Страх делал его жестоким. Нет никого безжалостнее перепуганного труса.

Он пробормотал:

— Это упрощает дело.

И стал за спиною Урсуса потирать руки, радуясь, как все эгоисты, и мысленно говоря: «Я здесь ни при чем» — жест Понтия Пилата, умывающего руки.

Урсус горестно поник головой. Смертный приговор, вынесенный Гуинплену, был приведен в исполнение; он же, Урсус, как ему только что об этом объявили, был осужден на изгнание. Ничего другого не оставалось, как повиноваться. Он задумался.

Вдруг он почувствовал, что кто-то взял его за локоть. Это был спутник судебного пристава. Урсус вздрогнул.

Голос, сказавший раньше: «Гуинплен умер», теперь прошептал ему на ухо:

— Вот десять фунтов стерлингов, которые посылает лицо, желающее вам добра.

И Баркильфедро положил на стол перед Урсусом маленький кошелек.

Читатель помнит, конечно, про шкатулку, уне-

сенную Баркильфедро.

Десять гиней — вот и все, что смог уделить Баркильфедро из двух тысяч. По совести говоря, этого было вполне достаточно. Дай он Урсусу больше, он сам оказался бы в убытке. Ведь он потратил немало труда на то, чтобы разыскать лорда, — теперь он приступал к использованию находки, и справедливость требовала, чтобы первая же добыча с открытой им золотой россыпи досталась ему. Пускай иные назовут такой поступок низким, это их дело, но удивляться тут не приходится. Просто Баркильфедро любил деньги, в особенности краденые. В каждом завистнике кроется корыстолюбец. У Баркильфедро были свои недостатки — ведь злодеи не избавлены от мелких пороков. И у тигров бывают вши.

Кроме того, здесь сказывалась школа Бекона.

Баркильфедро повернулся к судебному приставу и сказал:

— Сударь, будьте любезны, кончайте поскорей. Я очень тороплюсь. Мне нужно скакать во весь дух в Виндзор и прибыть туда не позже, чем через два часа. Я должен донести обо всем и получить дальнейшие приказания.

Судебный пристав поднялся.

Он подошел к двери, которая была заперта

только на задвижку, открыл ее, не произнося ни слова, окинул взором полицейских, поманил их к себе указательным пальцем. Весь отряд вступил в зал, соблюдая тишину, которая обычно предвещает наступление чего-то грозного.

Дядюшка Никлс, довольный быстрой развязкой, сулившей конец всем осложнениям, был в восторге, что выпутался из беды, но при виде шеренги выстроившихся полицейских испугался, как бы Урсуса не арестовали у него в доме. Один за другим два ареста в его гостинице — сначала Гуинплена, затем Урсуса — это могло повредить его заведению, так как посетители не любят тех кабачков, куда часто заглядывает полиция. Наступил момент, когда надо было почтительно вмешаться и в то же время проявить великодушие. Дядюшка Никлс обратил к приставу улыбающееся лицо, на котором выражение самоуверенности смягчилось подобострастием.

— Ваша честь, я позволю себе заметить, что в почтенных господах сержантах нет никакой нужды теперь, когда ясно, что преступный волк будет увезен из Англии, а человек, носящий имя Урсуса, не оказывает сопротивления и собирается в точности исполнить приказание вашей чести. Пусть ваша честь соблаговолит принять

во внимание, что достойные всякого уважения действия полиции, столь необходимые для блага королевства, могут причинить ущерб моему заведению, хотя оно ни в чем не повинно. Как только площадь, пользуясь выражением ее величества, будет очищена от фигляров «Зеленого ящика», на ней не останется больше преступного элемента, ибо, по-моему, нельзя считать нарушителями законности ни слепую девушку, ни обеих цыганок; поэтому я умоляю вашу честь сократить свое высокое пребывание здесь и отправить назад достойных господ, только что вошедших сюда, так как им больше нечего делать в моем доме; если бы ваша честь позволила мне подтвердить справедливость моих слов смиренным вопросом, я доказал бы бесполезность присутствия этих почтенных господ, спросив вашу честь: поскольку человек, носящий имя Урсуса, подчиняется приговору, то кого же они намереваются арестовать здесь?

— Вас, — ответил пристав.

С ударом шпаги, пронзающей вас насквозь, спорить не приходится. Пораженный как громом, Никлс упал на первый стоявший близ него предмет, не то на стол, не то на скамью.

Судебный пристав возвысил голос так, что его

могли услышать на площади:

— Мистер Никлс Племптри, содержатель харчевни, нам нужно покончить еще с одним делом. Этот скоморох и волк — бродяги. Они изгоняются из Англии. Но главный виновник — вы. При вашем попустительстве был у вас в доме нарушен закон, и вы, человек, которому разрешили содержать гостиницу, человек, ответственный за все происходящее в ней, вы терпели бесчинства в своем заведении. Мистер Никлс, у вас отныне отбирается патент, вы заплатите штраф и будете посажены в тюрьму.

Полицейские окружили трактирщика.

Судебный пристав указал на Говикема.

— Этот малый арестуется как ваш сообщник.

Рука одного из полицейских схватила за шиворот Говикема, который с любопытством взглянул на блюстителя порядка. Он не очень испугался, так как плохо понимал, в чем дело; он насмотрелся на всякие странности и мысленно задавал себе вопрос, не продолжают ли еще разыгрывать перед ним комедию.

Судебный пристав нахлобучил на голову шляпу, сложил руки на животе, что является высшим выражением величественности, и прибавил:

— Итак, мистер Никлс, вас отведут в тюрьму

и посадят за решетку. Вас и этого мальчишку. А ваша Тедкастерская гостиница будет закрыта и заколочена. В назидание другим. Теперь следуйте за нами.

Часть седьмая. Женщина-титан

1. Пробуждение

— А Дея?

Гуинплену, смотревшему на занимавшийся день в Корлеоне-Лодже, в то время как в Тедкастерской гостинице происходили описанные выше события, показалось, что этот возглас донесся к нему извне; но крик этот вырвался из глубины его существа.

Кому из нас не приходилось слышать голос, звучащий в тайниках нашей души?

К тому же начинало светать.

Утренняя заря — призыв.

К чему бы служило солнце, если бы оно не будило совесть, спящую тяжелым сном?

Свет и добродетель соприродны друг другу.

Зовут ли бога Христом или Амуром — в жизни каждого, даже лучшего из нас, наступает час, когда мы забываем о нем; все мы, не исключая и праведников, нуждаемся тогда в напоминании, и заря пробуждает в нас вещий голос совести. Он предшествует пробуждению в нас чувства долга

так же, как пение петуха предшествует рассвету.

В хаосе человеческого сердца раздается возглас: «Fiat lux».[297]

Гуинплен (мы будем называть его по-прежнему этим именем, ибо Кленчарли — только лорд, а Гуинплен — человек) — Гуинплен как бы воскрес.

Пора было перевязать лопнувшую артерию, иначе он мог утратить последнюю каплю благородства.

— А Дея? — сказал он.

И он почувствовал в своих жилах живительный прилив крови. Словно обдало его бодрящей мятежной волною. Бурный наплыв добрых мыслей похож на возвращение домой человека, который потерял ключ и взламывает собственную дверь. Это насильственное вторжение, но вторжение добра; это насилие, но насилие над игом зла.

— Дея! Дея! Дея! — повторил он.

Он как бы закреплял этим именем то, что происходило у него в сердце.

Он спросил вслух:

— Где ты?

И почти удивился, что не получил ответа.

Оглядывая потолок и стены, как человек, к которому возвращается разум, он продолжал вопрошать:

— Где ты? Где я?

И он снова заметался по комнате, точно запертый в клетку звери.

— Где я? В Виндзоре. А ты? В Саутворке. Ах, боже мой! В первый раз в жизни мы разлучены друг с другом. Кто же разъединил нас? Я здесь, а ты там. О! Это невозможно. Этого не будет. Что же со мной сделали?

Он остановился.

— Кто это говорил мне про королеву? Откуда я знаю? Изменился! Я изменился? Почему? Потому, что я стал лордом. Знаешь ли ты, что случилось, Дея? Ты теперь леди. Творятся удивительные дела. Ах, да! Надо выбраться на настоящую дорогу. Не заблудился ли я? Какой-то человек говорил мне что-то непонятное. Я помню его слова: «Милорд, судьба, отворяя одну дверь, захлопывает другую. То, что осталось позади вас, уже не существует!» Иначе говоря: «Вы негодяй!» Этот презренный человек говорил мне все это, пока я еще не пришел в себя. Он воспользовался тем, что я был ошеломлен. Я оказался его добычей. Где он? Я хочу ответить ему оскорблением! Я, точно в кошмаре, видел его ехидную улыбку. Ах, но теперь я опять становлюсь самим собой! Прекрасно! Они ошибаются, думая, будто с лор-

дом Кленчарли можно сделать все, что угодно! Я — пэр Англии, да, но у пэра есть законная супруга — Дея. Условия? Да разве я приму какие-то условия? Королева? Что мне за дело до королевы? Я ее в глаза не видал. Не для того родился я лордом, чтобы быть рабом. Я получу власть, но не отдам своей свободы. Даром, что ли, сняли с меня оковы? Меня изуродовали — только и всего. Дея! Урсус! Я с вами. Я был таким, как вы. Теперь вы будете такими, каким стал я. Придите! Нет! Я иду к вам! Сейчас же, немедля! Я и так слишком долго ждал. Что они могут подумать, видя, что я не возвращаюсь? Ах, эти деньги! Как смел я послать им деньги! Я должен был сам поспешить к ним. Я помню, этот человек сказал, что мне не выйти отсюда. Посмотрим. Эй, карету! Пусть подадут карету! Я отправлюсь за ними. Где слуги? Должны же быть слуги, раз есть господин. Я здесь хозяин! Это мой дом! Я сорву запоры, сломаю замки, я ногами вышибу двери. Я насквозь проколю шпагой того, кто преградит мне дорогу: теперь у меня есть шпага. Пусть только попробуют оказать мне сопротивление. У меня есть жена — это Дея! У меня есть отец — это Урсус! Мой дом — дворец, и я дарю его Урсусу. Мое имя — корона, и я отдаю ее Дее. Скорей! Сейчас! Вот я, Дея. Одно только

мгновение — и я перешагну разделяющее нас расстояние, вот увидишь!

И, откинув первую попавшуюся портьеру, он порывисто вышел из комнаты.

Он очутился в коридоре и бросился вперед.

Перед ним открылся второй коридор.

Все двери были настежь.

Он пошел наугад из комнаты в комнату, из коридора в коридор в поисках выхода.

2. Дворец, похожий на лес

Как и во всех дворцах, выстроенных в итальянском вкусе, в Корлеоне-Лодже было мало дверей. Их заменяли занавесы, портьеры, ковры.

В те времена не было дворца, который не представлял бы собой странного нагромождения великолепных палат, коридоров, украшенных позолотой, мрамором, резными панелями, восточными шелками, уединенных уголков, то темных и таинственных, то залитых светом. Там были веселые, богато убранные покои, блестевшие лаком, плитками голландского фаянса или португальскими узорными изразцами; амбразуры высоких окон, верхняя часть которых уходила в антресоли, застекленные кабинеты, похожие на большие красивые фонари. Глубокие ниши в толстых стенах также могли служить уединенны-

ми уголками. Почти на каждом шагу попадались гардеробные, напоминавшие бонбоньерки. Все это называлось «внутренними покоями». Именно здесь готовились преступления.

Такие покои оказывались очень удобными в тех случаях, когда надо было убить герцога Гиза[298]

, обесчестить хорошенькую жену президента Сильвекана или, позднее, заглушать крики юных девушек, которых приводил Лебель. Замысловатые строения, где человеку непривычному легко было заблудиться. В таких дворцах не стоило никакого труда кого угодно похитить и замести все следы. В этих изысканных вертепах принцы и вельможи скрывали свою добычу. Граф Шароле прятал там госпожу Куршан, жену председателя кассационного суда; де Монтюле — дочь Одри, арендатора земель Круа-Сен-Ланфруа; принц Конти — двух красавиц булочниц из Лиль-Адама; герцог Бекингем — бедняжку Пеньюэл и т. д. Все происходившее там совершалось, если пользоваться выражением римского права, vi, clam et precario, то есть насильственно, тайно и ненадолго. Кто попадал туда, оставался там до тех пор, пока это было угодно хозяину. Это были позолоченные темницы. Они напоминали

собой и монастырь и сераль. Винтовые лестницы кружили, поднимались, спускались. Извиваясь спиралью, вереница смежных комнат приводила вас снова туда, откуда вы вышли. Галерея упиралась в молельню. Исповедальня примыкала к алькову. Моделью для архитекторов, строивших королям и вельможам «внутренние покои», служили, очевидно, разветвления кораллов и ходы в губках. Из этого лабиринта, казалось, невозможно было выбраться, но вдруг какой-нибудь вращающийся на шарнирах портрет оказывался замаскированной дверью. Все было предусмотрено. Да оно и понятно: здесь нередко разыгрывались драмы. Дворец от подвалов до мансард представлял собой многоэтажный улей. Этот причудливый звездчатый коралл, выросший внутри каждого дворца, начиная от Версаля, представлялся как бы жилищем пигмеев в обиталище титанов. Коридоры, альковы, ниши, тайники — все это были укромные уголки, где высокие особы прятали от людских взоров свои низкие дела.

Эти извилистые, глухие переходы напоминали об играх, о завязанных глазах, о руках, нащупывающих двери, о сдержанном смехе, о жмурках, прятках и в то же время приводили на память

Атридов, Плантагенетов, Медичи, свирепых рыцарей Эльца, убийство Риччо, Мональдески, людей с обнаженными шпагами, преследующих беглеца из комнаты в комнату.

Такие таинственные убежища, где роскошь предназначена укрывать страшные злодеяния, были еще в древности. Образцом их могут служить сохранившиеся под землей египетские гробницы, как, например, склеп царя Псаметиха, обнаруженный раскопками Пассалакки. Древние поэты с ужасом описывали эти таинственные постройки. Error circumflexus, locus implicitus gyris.[299]

Гуинплен находился во «внутренних покоях» Корлеоне-Лоджа.

Он сгорал желанием выйти отсюда, очутиться на воле, вновь увидеть Дею. Эта путаница коридоров, комнат, потайных дверей, неожиданных выходов задерживала его, замедляла его шаги. Он хотел бежать, а вынужден был пробираться. Ему казалось, что достаточно только распахнуть дверь, чтобы выбраться на свободу, но за ней следовали новые и новые двери, и он блуждал по этому лабиринту.

За одной комнатой следовала другая, за залом новый зал.

Нигде ни живой души. Ни звука. Ни шороха.

Иногда ему казалось, что он кружится на одном месте.

Порой ему чудилось, что кто-то идет навстречу. На самом деле не было никого: это было его собственное отражение в зеркале.

Это был он, но в костюме знатного дворянина, совершенно не похожий на себя. Он узнавал себя, но не сразу.

Он блуждал долго. Он путался в сложном расположении «внутренних покоев», попадал то в укромный кабинет, кокетливо украшенный резьбой и живописью, немного непристойной, то в какую-то подозрительную часовню со стенами, покрытыми перламутром и эмалью, с изображениями из слоновой кости такой тонкой работы, что их надо было рассматривать в лупу, как крышки табакерок; то в один из тех изысканных уголков во флорентийском вкусе, которые как будто нарочно были придуманы для взбалмошных женщин, находящихся в капризном настроении, и с тех пор так и называются «будуарами». Всюду — на потолках, на стенах и даже на полу — пестрели на бархате или металле изображения птиц и деревьев, фантастические растения, перевитые жемчугом, рельефные басо-

ны, скатерти, сверкавшие блестками стекляруса, фигуры воинов, королев, женщин-тритонов с чешуйчатым хвостом гидры. Граненый хрусталь отражал свет и переливался всеми цветами радуги. Стеклянная посуда соперничала блеском с драгоценными камнями. Во мраке что-то вспыхивало искрами в угловых шкафах. Трудно было сказать, что представляли собою эти сверкающие блики, в которых зелень изумрудов сливалась с золотом восходящего солнца и на которые словно наплывали облака цвета голубиных перьев, — были ли это крохотные зеркала, или же огромные аквамарины. Хрупкое и в то же время громоздкое великолепие! Это был самый маленький из всех дворцов, или громаднейший ларец для драгоценностей. Домик феи Маб или безделушка Гео. Гуинплен искал выхода.

Он не находил его. Он растерялся. Ничто не поражает с такой силой, как роскошь, когда ее видишь в первый раз. К тому же это был лабиринт. На каждом шагу какое-нибудь великолепное препятствие преграждало ему дорогу. Казалось, все противится его бегству. Дворец как будто не хотел выпускать его. Он точно попал в плен ко всем этим чудесам. Он чувствовал, что его схватили и цепко держат.

«Какой страшный дворец!» — думал он.

Он блуждал по бесконечным переходам, тревожно спрашивая себя, что означает все это, не в тюрьме ли он; он приходил в бешенство, он рвался на вольный воздух. Он повторял: «Дея! Дея!», хватаясь за это имя как за путеводную нить, боясь оборвать ее; она одна могла вывести его отсюда.

Временами он кричал:

— Эй! Кто-нибудь!

Никто не откликался.

Комнатам не было конца. Все было пустынно, молчаливо, пышно и зловеще.

Такими рисуются нашему воображению заколдованные замки.

Скрытые источники тепла поддерживали в этих коридорах и комнатах летнюю температуру. Казалось, какой-то чародей завладел июнем и запер его в этом лабиринте. Порою до Гуинплена доносился чудесный запах. Его обволакивали ароматы, словно где-то неподалеку благоухали невидимые цветы. Было жарко. Всюду были разостланы ковры. Здесь можно было бы ходить обнаженным.

Гуинплен смотрел в окна. Вид постоянно менялся. Его взор встречал то сады, исполненные свежести весеннего утра, то новые фасады с

новыми статуями, то испанские патио — квадратные, выложенные плитами дворики, сырые и холодные, заключенные между стенами многоэтажных зданий, то воды Темзы, то высокую башню Виндзорского замка.

В этот ранний час на дворе не было ни души.

Он останавливался. Прислушивался.

— О, я уйду отсюда! — восклицал он. — Я вернусь к Дее. Меня не удержать силой. Горе тому, кто вздумал бы помешать мне. Что это там за башня? Пусть в ней живет великан, адский пес или тараск[300]

, охраняющий выход из этого заколдованного замка, все равно я их убью. Я справлюсь с целым полчищем. Дея! Дея!

Вдруг до него донесся тихий, еле слышный звук, похожий на журчание воды.

Гуинплен находился в узкой темной галерее; в нескольких шагах от него была закрытая портьера.

Он сделал несколько шагов, раздвинул портьеру и вошел.

Его глазам открылось неожиданное зрелище.

3. Ева

Он увидел восьмиугольный зал с полуовальными арками сводов; окон не было; свет лился

откуда-то сверху; стены, пол и свод были облицованы мрамором цвета персика. Посреди зала возвышался черного мрамора балдахин, опиравшийся на витые колонны в тяжеловесном, но очаровательном стиле времен Елизаветы; под ним помещалась ванна-бассейн такого же черного мрамора; в ней била медленно наполнявшая ее тонкая струя душистой теплой воды. Черный мрамор ванны, оттеняя белизну тела, сообщает ему ослепительный блеск.

Журчанье этой струи и услыхал Гуинплен. Отверстие в ванне, сделанное на известном уровне, не давало воде переливаться через край. Над ванной поднимался еле заметный пар, мельчайшею росою оседая на мраморе. Тонкая струйка воды была похожа на гибкий стальной прут, колеблющийся от малейшего дуновения.

Мебели почти не было; только около самой ванны стояла кушетка с подушками, достаточно длинная для того, чтобы в ногах лежащей на ней женщины могли поместиться ее собачка или ее любовник; поэтому такие кушетки и носят название can-al-pie[301]

, которое мы превратили в «канапе».

Судя по серебряным ножкам и серебряной раме, это был испанский шезлонг. Обивка и подушки

были из белого атласа.

По другую сторону ванны стоял у стены высокий туалет из литого серебра со всеми необходимыми принадлежностями; посередине его возвышалось что-то вроде окна, состоявшего из восьми небольших венецианских зеркал, соединенных между собой серебряным переплетом.

В стене, ближайшей к кушетке, было вырублено квадратное отверстие, похожее на слуховое окно и закрывавшееся серебряной дверцей. Эта дверца ходила на петлях, как ставень. На ней сверкала покрытая золотом и чернью королевская корона. Над дверцей висел вделанный в стену колокольчик из позолоченного серебра, а может быть и из золота.

Напротив арки, через которую вошел Гуинплен, круглился в конце зала проем такой же арки, занавешенный от потолка до полу серебристой тканью.

Тонкая, как паутина, ткань была совершенно прозрачна. Сквозь нее было видно все.

В центре этой паутины, в том самом месте, где обычно помещается паук, Гуинплен увидел нечто поразительное — нагую женщину.

Собственно говоря, она не была совсем нагой. Женщина была одета. Одета с головы до пят.

На ней была очень длинная рубашка вроде тех одеяний, в которых изображают ангелов, но настолько тонкая, что казалась мокрой. Такая полуобнаженность более соблазнительна и более опасна, нежели откровенная нагота. Из истории нам известно, что принцессы и знатные дамы принимали участие в процессиях кающихся, проходивших между двумя рядами монахов; в одной из таких процессий герцогиня Монпансье, под предлогом самоуничижения, показалась всему Парижу в одной кружевной рубашке. Правда, герцогиня шла босая и со свечой в руках.

Серебристая ткань, прозрачная как стекло, служила занавесью. Она была прикреплена только вверху, и ее можно было приподнять. Она отделяла мраморный зал-ванную от смежной с нею спальни. Эта очень небольшая комната представляла собой нечто вроде зеркального грота. Зеркала, вплотную подогнанные одно к другому, были соединены между собой золотым багетом и, образуя многогранник, отражали кровать, стоявшую в центре. Кровать, так же как туалет и кушетка, была из серебра; на ней лежала женщина. Она спала.

Она спала, запрокинув голову, одной ногой отбросив одеяло, словно ведьма, над которой

распростер свои крылья сладостный сон.

Обшитая кружевом подушка упала на ковер.

Между наготой женщины и взором Гуинплена были только две преграды, две прозрачных ткани; рубашка и занавес из серебристого газа. Комната, похожая скорее на альков, освещалась слабым светом, проникавшим из ванной. Свет, казалось, обладал большей стыдливостью, чем эта женщина.

Кровать была без колонн, без балдахина, без полога, так что женщина, открывая глаза, могла видеть в окружавших ее зеркалах тысячекратное отражение своей наготы.

Простыни были сбиты, словно в тревожном сне. Их красивые складки свидетельствовали о тонкости ткани. Это было то время, когда некая королева, стараясь представить себе адские мученья, воображала их в виде постели с грубыми простынями.

Обычай спать голым перешел из Италии, он существовал еще до римлян. Sub clara nuda lucerna[302]

, - говорит Гораций.

В ногах кровати был брошен халат из какого-то необычайного шелка, несомненно китайского, так как в складках его виднелась большая, выши-

тая золотом ящерица.

Позади кровати, в глубине алькова, находилась, по всей вероятности, дверь, скрытая довольно большим зеркалом, с изображенными на нем павлинами и лебедями. В этой полутемной комнате все сияло. Промежутки между стеклом и золотым багетом были залиты тем блестящим сплавом, который в Венеции называется «стеклянной желчью».

К изголовью кровати был прикреплен серебряный пюпитр с вращающейся доской и неподвижными подсвечниками; на нем лежала раскрытая книга; на страницах ее, над текстом, стояло начертанное красными буквами заглавие: «Alcoranus Mahumedis».[303]

Гуинплен не заметил ни одной из этих подробностей: он видел только женщину.

Он остолбенел и в то же время был взволнован до глубины души. Противоречие невероятное, но в жизни оно бывает.

Он узнал эту женщину.

Глаза ее были закрыты, лицо обращено к нему.

Перед ним была герцогиня.

Да, это она, загадочное существо, таившее в себе всю прелесть неизвестного, она, являвшаяся ему столько раз в постыдных снах, она, написавшая

ему такое странное письмо, единственная в мире женщина, про которую он мог сказать: «Она меня видела и хочет быть моею!» Он отогнал от себя эти сны, он сжег письмо. Он изгнал ее из своих мыслей, из своей памяти, он больше не думал о ней, он забыл ее…

И вот она снова перед ним. И еще более грозная, чем прежде! Нагая женщина — это женщина во всеоружии.

Он затаил дыхание. Ослепительное облако подхватило его и увлекло с собой. Он смотрел. Перед ним была эта женщина. Возможно ли?

В театре — герцогиня. Здесь — нереида, наяда, фея. И всюду она — призрак.

Он хотел бежать и почувствовал, что не может двинуться с места. Взгляды его стали цепями, приковывавшими его к видению.

Кто она? Непотребная женщина? Девственница? И то и другое. Улыбка таившейся в ней Мессалины[304]

сочеталась с настороженностью Дианы. В ее блистательной красоте было что-то неприступное. Ничто не могло сравниться чистотою с целомудренно строгими формами ее тела. Снег, на который никогда не ступала нога человека, можно узнать с первого взгляда. Эта женщина

сияла священной белизной вершины Юнгфрау. От ее невозмутимого чела, от рассыпавшихся золотистых волос, от опущенных ресниц, от еле заметных голубоватых жилок, от округлостей ее груди, достойной резца ваятеля, от бедер и колен, розовевших сквозь прозрачную рубашку, веяло величием спящей богини. Ее бесстыдство растворялось в сиянии. Она лежала нагая так спокойно, точно имела право на этот олимпийский цинизм; в ней чувствовалась самоуверенность богини, которая, погружаясь в морскую волну, может сказать океану: «Отец!». Великолепная, недосягаемая, она предлагала себя всем взглядам, всем желаниям, всем безумиям, всем мечтам, горделиво покоясь на этом ложе, подобно Венере на лоне пенных вод.

Она заснула с вечера и безмятежно спала до сих пор; доверчивость, с которой она отдалась сумраку, не исчезла и при свете дня.

Гуинплен трепетал. Он смотрел на нее восхищенный. Болезненное, алчное восхищение пагубно. Ему стало страшно.

Неожиданностям, которыми судьба дарит человека, не бывает конца. Гуинплену казалось, что он дошел до предела, и вдруг все начиналось снова. Что означали все эти непрерывно поражавшие

его молнии и этот последний, страшный удар — внезапно представшая ему спящая богиня? Что означали эти последовательно открывавшиеся ему просветы небес, откуда, наконец, снизошла его желанная и грозная мечта? Что означала эта угодливость неведомого искусителя, осуществлявшего одну за другой его смутные грезы, неясные стремления, облекавшего плотью даже его дурные помыслы, мучительно опьянявшего его похожей на фантазию действительностью? Не соединились ли против него, жалкого человека, все силы тьмы? К чему должны были привести его все эти улыбки зловещей судьбы? Кто это задался целью вскружить ему голову? Эта женщина? Почему она здесь? Зачем? Непонятно. Зачем он здесь? Зачем она здесь? Уж не сделали ли его пэром Англии ради этой герцогини? Кто толкал их друг к другу? Кто тут был одурачен? Кто был жертвой? Чьим доверием злоупотребляли? Быть может, обманывали бога? Все эти мысли проносились в голове Гуинплена, словно окутанные черными облаками. А это волшебное, зловещее жилище, этот странный дворец, откуда не было выхода, как из тюрьмы, — быть может, и он принимал участие в заговоре? Все окружающее словно засасывало его. Какие-то темные силы

связывали все его движения. Его воля, все больше и больше слабея, покидала его, рассеивалась. За что ухватиться? Он был растерян и околдован. Ему казалось, что он окончательно сходит с ума. Объятый смертельным ужасом, он стремительно падал в зияющую бездну.

Женщина спала.

Его волнение все возрастало. Для него это была уже не леди, не герцогиня, не знатная дама; это была женщина.

Дурные наклонности заложены в нас в скрытом состоянии. В нашем организме неведомо для нас существует уже готовая почва для пороков. От этого не свободны даже самые невинные и на первый взгляд чистые люди. Если человек ничем не запятнан, это еще не значит, что у него нет недостатков. Любовь — закон. Сладострастие — западня. Опьянение и пьянство — две разные вещи. Желать определенную женщину — опьянение. Желать женщину вообще — то же, что пьянство.

Гуинплен терял власть над собою, он весь дрожал.

Как устоять на этот раз? Тут не было уже ни легких сборок воздушных тканей, ни складок тяжелого шелка, ни пышного, кокетливого туа-

лета, затейливо прикрывающего и вместе с тем обнажающего женское тело, — никакой дымки. Нагота во всей своей страшной простоте. Настойчивый, таинственный призыв существа, не ведающего стыда, обращенный ко всему темному, что есть в человеке. Ева, более опасная, нежели сам сатана. Человеческое в сочетании со сверхъестественным. Беспокойный восторг, завершающийся грубым торжеством инстинкта над долгом. Порабощающая власть красоты. Когда красота перестает быть идеалом и становится чувственным соблазном, близость ее губительна для человека.

Иногда герцогиня незаметно меняла позу, как легкое облако меняет свои очертания в лазури. Линии ее тела принимали по-новому прелестную волнистость. В плавных и гибких движениях женщины та же изменчивость, что и в движениях волны, в них есть что-то неуловимое. Странно — прекрасное тело, которое созерцал Гуинплен, не вызывало никаких сомнений в своей реальности — и в то же время казалось чем-то сказочным. Несмотря на ощутимую близость, женщина эта была бесконечно далекой. Бледный, смущенный Гуинплен смотрел на нее, не отрывая взора. Он прислушивался, как дышит ее грудь, и ему чу-

дилось, что это — дыхание призрака. Его влекло к ней, он боролся. Как устоять против нее? Как совладать с самим собой?

Он ожидал всего, только не этого. Он думал, что ему придется выдержать схватку с лютым стражем, который преградит ему выход, с каким-нибудь разъяренным чудовищем, со свирепым тюремщиком. Он ожидал встретить Цербера — и увидел Гебу.[305]

Нагую женщину. Спящую женщину.

Какая тяжелая борьба!

Он опускал веки. От слишком яркого света глазам бывает больно. Но и сквозь закрытые веки он все видел ее. Менее ослепительную, но столь же прекрасную.

Бежать не всегда возможно. Он пытался и не мог. Он словно прирос к полу, как это бывает иногда во сне. Когда мы хотим бежать от соблазна, он приковывает нас к месту. Идти ему навстречу еще возможно, но отступить уже нельзя. Незримые руки греха тянутся к нам из-под земли и увлекают нас в пропасть.

Принято думать, будто всякое ощущение постепенно притупляется. Ошибочное мнение. Это равносильно утверждению, что азотная кислота, медленно стекая на рану, успокаивает боль, или

что Дамьен[306]

, подвергнутый четвертованию, мог свыкнуться с этой пыткой.

На самом деле каждый новый толчок лишь обостряет ощущение.

Изумляясь все больше и больше, Гуинплен дошел до неистовства. Его рассудок, ошеломленный новой неожиданностью, был подобен переполненной до краев чаше. В нем пробудилось что-то неведомое и страшное.

Он потерял компас. Одно только для него было достоверно — лежащая перед ним женщина. Ему открывалось что-то всепоглощающее, разверзшееся перед ним, как морская пучина. Он уже не мог управлять собой. Необоримое течение увлекало его к подводному камню. Но подводный камень оказался не скалою, а сиреной; дно бездны таило магнит. Гуинплен хотел бы противостоять его притягательной силе, но как? Он уже не находил точки опоры. Человека иногда подхватывает и несет буря. Подобно судну, он теряет все снасти. Его якорь — это совесть. Но, как это ни ужасно, якорь может оборваться.

Гуинплен даже не мог сказать себе: «Я безобразен, ужасен. Она оттолкнет меня». Эта женщина писала ему, что любит его.

Бывают мгновенья, когда мы как бы повисаем над пропастью. Когда мы утрачиваем связь с добром и приближаемся к злу, та часть нашего существа, которая вовлекает нас в грех, торжествует над нами и в конце концов низвергает нас в бездну. Не наступила ли и для Гуинплена такая печальная минута?

Как спастись?

Итак, это она! Герцогиня! Та женщина! Она была здесь, в этой комнате, в уединенном месте, одна, спящая, беззащитная. Она была в его руках, и он — всецело в ее власти.

Герцогиня!

В глубине небесного пространства вы заметили звезду. Вы восхищались ею. Она так далеко! Какие опасения может внушить нам неподвижная звезда? Но вот однажды ночью она меняет место. Вы различаете вокруг нее дрожащее сияние. Светило, которое вы считали бесстрастным, пришло в движение. Это не звезда, это комета. Это неистовая поджигательница неба. Светило приближается, растет, оно распускает огненные волосы, становится огромным; оно приближается к вам. О ужас! Оно летит на вас! Комета вас узнала, комета пылает к вам страстью, комета вожделеет к вам. Страшное приближение небесного тела.

То, что надвигается на вас, настолько ярко, что может ослепить. Это избыток жизни, несущий смерть. Вы отвечаете отказом на зов зенита. Вы отвергаете любовь, предлагаемую бездной. Вы закрываете лицо руками, вы прячетесь, бежите, вы считаете себя спасенным, вы открываете глаза… Чудовищная звезда перед вами. И не звезда, а целый мир. Неведомый мир лавы и огня. Всепожирающее чудо, рожденное безднами. Комета заполнила собой все небо. Кроме нее, ничего не существует. В глубокой бесконечности она горела карбункулом, вдали казалась алмазом, вблизи же превратилась в огненное горнило. Вы со всех сторон окружены пламенем.

И вы чувствуете, как этот райский огонь, испепеляет вас.

4. Сатана

Вдруг спящая пробудилась. Быстрым и вместе с тем величественно-плавным движением она села на своем ложе; золотистые, мягкие, как шелк, волосы в прелестном беспорядке рассыпались вдоль ее стана; рубашка, соскользнув, обнажила плечо; она дотронулась холеной рукой до розовой ступни и некоторое время смотрела на свою обнаженную ногу, достойную восхищения Перикла и резца Фидия[307]

; потом потянулась и зевнула, как тигрица, пробудившаяся с восходом солнца.

Вероятно, она услышала тяжелое дыхание Гуинплена — человек, старающийся сдержать волнение, всегда дышит тяжело.

— Здесь кто-нибудь есть? — спросила она.

Она проговорила эти слова, сладко зевая.

Гуинплен впервые услыхал ее голос. Голос очаровательницы, в котором звучало что-то пленительно-высокомерное; свойственная ему повелительность смягчалась ласковой интонацией.

Внезапно став на колени, напоминая в этой позе античную статую, тело которой облекают тысячи прозрачных складок, она потянула к себе халат, соскочила с постели и с молниеносной быстротой накинула его. Он мгновенно окутал ее с ног до головы. Длинные рукава закрыли даже кисти рук. Из-под подола выглядывали только кончики пальцев белых, крошечных, как у ребенка, ног с узкими розовыми ногтями.

Она высвободила из-под халата волну роскошных волос и, подбежав к стоящему в глубине алькова расписному зеркалу, за которым, вероятно, была дверь, прильнула к нему ухом.

Согнув пальчик, она постучала в стекло.

— Кто там? Это вы, лорд Дэвид? Почему так рано? Который час? Или это ты, Баркильфедро?

Она обернулась.

— Нет, это не здесь. Это с другой стороны. Может быть, кто-то есть в ванной комнате? Да отвечайте же! Впрочем, нет, оттуда никто не может прийти.

Она направилась к занавеси из серебристого газа, откинула ее в сторону ногой, раздвинула плечом и вошла в мраморный зал.

Гуинплен почувствовал, как его охватывает предсмертный холод. Скрыться было некуда. Бежать — слишком поздно. Да он и не в силах был бежать. Он был бы рад, если бы под ним разверзлась земля и поглотила его. Он стоял на самом виду.

И она увидала его.

Она даже не вздрогнула. Она смотрела на него чрезвычайно удивленная, но без малейшего страха; в ее глазах были и радость и презрение.

— А! — проговорила она. — Гуинплен!

И вдруг одним прыжком эта кошка, обернувшаяся пантерой, бросилась ему на шею.

От быстрого движения рукава ее халата откинулись и своими обнаженными до плеча руками она крепко прижала к себе голову Гуинплена.

И вдруг, оттолкнув его, она впилась ему в плечи цепкими, как когти, пальцами, и стала всматриваться в него каким-то странным взглядом.

Она устремила на него роковой взгляд своих разноцветных глаз, горевших как Альдебаран[308], глаз, в которых было и что-то низменное и что-то неземное. Гуинплен смотрел в эти двухцветные глаза, — голубой и черный, — теряя голову от этого небесного и адского взора. Этот мужчина и эта женщина ослепляли друг друга, он — своим безобразием, она — своей красотой, и оба — ужасом, исходившим от них.

Он продолжал молчать, словно придавленный невыносимым гнетом. Она воскликнула:

— Ты пришел! Это умно. Ты узнал, что меня заставили уехать из Лондона, и последовал за мной. Вот хорошо! Удивительно, как ты очутился здесь.

Когда два существа оказываются во власти друг друга, между ними вспыхивает молния. Гуинплен, услышав внутри себя предостерегающий голос смутного страха и голос совести, отпрянул, но розовые ногти впились ему в плечи и удержали его силой. Надвигалось что-то неумолимое. Он, человек-зверь, попал в берлогу женщины-зверя. Она продолжала:

— Представь себе, Анна, дура этакая, — ну, знаешь, королева, — вызвала меня в Виндзор, сама не зная зачем. А когда я приехала, она заперлась со своим идиотом канцлером. Но как ты умудрился пробраться ко мне? Прекрасно! Вот что значит быть настоящим мужчиной. Для него не существует преград. Его зовут, и он приходит. Ты расспрашивал обо мне? Ты, вероятно, узнал, что я герцогиня Джозиана. Кто проводил тебя сюда? Должно быть, мой грум. Смышленый мальчишка. Я дам ему сто гиней. Скажи мне, как ты все это устроил? Нет, лучше не говори. Я не хочу этого знать. Объясняя свои смелые поступки, люди только умаляют их. Мне приятнее видеть в тебе загадочное существо. Ты настолько безобразен, что можешь казаться чудом. Ты упал с небес или поднялся из преисподней, прямо из пасти Эреба[309]

Очень просто: или раздвинулся потолок, или разверзся пол. Ты либо спустился с облаков, либо взвился кверху в столбе серного пламени. Ты достоин того, чтобы являться как божество. Решено, ты мой любовник!

Гуинплен растерянно слушал, чувствуя, что его покидает рассудок. Все было кончено. Сомнений быть не могло. Эта женщина подтверждала все,

о чем говорилось в письме, полученном ночью. Он, Гуинплен, будет любовником герцогини, обожаемым любовником! Безмерная гордость темной тысячеглавой гидрой зашевелилась в его несчастном сердце.

Тщеславие — страшная сила, действующая внутри нас, но против нас же самих.

Герцогиня продолжала:

— Ты здесь, значит так суждено. Больше мне ничего не надо. Чья-то воля, неба или ада, толкает нас в объятия друг друга. Брачный союз Стикса и Авроры! Безумный союз, попирающий все законы. В тот день, когда я впервые увидела тебя, я подумала: «Это он. Я узнаю его. Это чудовище, о котором я мечтала. Он будет моим». Но надо помогать судьбе. Вот почему я тебе написала. Один вопрос, Гуинплен: ты веришь в предопределение? Я поверила с тех пор, как прочитала у Цицерона про сон Сципиона. Ах, я и не заметила! Ты одет как дворянин. Так и надо. Тем более что ты фигляр. Это только лишний повод к тому, чтобы так нарядиться. Комедиант стоит лорда. Да и что такое лорды? Те же клоуны. У тебя благородная осанка, ты прекрасно сложен. Невероятно все-таки, что ты попал сюда. Когда ты пришел? Давно ты здесь? Ты видел меня нагой? Не правда

ли, я хороша? Я собиралась принять ванну. Ах, я люблю тебя! Ты прочел мое письмо? Сам прочел, или тебе его прочли? Умеешь ты читать? Ты, должно быть, совсем необразован. Я задаю тебе вопросы, но ты не отвечай. Мне не нравится звук твоего голоса. Он слишком нежен. Такое необыкновенное существо, как ты, должно не говорить, а рычать. Твоя же речь — как песня. Мне это противно. Единственное, что мне не нравится в тебе. Все остальное в тебе страшно и поэтому великолепно. В Индии ты стал бы богом. Ты так и родился с этим страшным смехом на лице? Нет, конечно? Тебя, должно быть, изуродовали в наказанье за что-либо? Надеюсь, ты совершил какое-нибудь злодейство. Иди же ко мне!

Она упала на кушетку, увлекая его за собой. Сами не зная как, они очутились рядом. Стремительный поток ее речей бешеным вихрем проносился над Гуинпленом. Он с трудом улавливал смысл ее безумных слов. В ее глазах сиял восторг. Она говорила бессвязно, страстно, нежным, взволнованным голосом. Ее слова звучали как музыка, но в этой музыке Гуинплену слышалась буря.

Она снова устремила на него пристальный взгляд.

— Рядом с тобой я чувствую себя униженной, — какое счастье! Быть герцогиней — скука смертная! Быть особой королевской крови, — что может быть утомительнее? Падение приносит отдых. Я так пресыщена почетом, что нуждаюсь в презрении. Все мы немножко сумасбродны, начиная с Венеры, Клеопатры, госпожи де Шеврез, госпожи де Лонгвиль[310]

и кончая мной. Я не буду скрывать нашей связи, предупреждаю тебя заранее. Эта любовная интрижка будет не очень приятна королевской фамилии Стюартов, к которой я принадлежу. Ах, наконец-то я вздохну свободно! Я нашла выход. Я сбрасываю с себя величие. Лишиться всех преимуществ моего положения — значит освободить себя от всяких уз. Все порвать, бросить всему вызов, все переделать на свой лад — это и есть настоящая жизнь. Послушай, я люблю тебя!

Она остановилась, и на ее губах промелькнула зловещая улыбка.

— Я тебя люблю не только потому, что ты уродлив, но и потому, что ты низок. Я люблю в тебе чудовище и скомороха. Иметь любовником человека презренного, гонимого, смешного, омерзительного, выставляемого на посмешище к позорному столбу, который называется

театром, — в этом есть какое-то особенное наслаждение. Это значит вкусить от плода адской бездны. Любовник, который позорит женщину, — это восхитительно! Отведать яблока не райского, а адского — вот что соблазняет меня. Вот чего я жажду. Я — Ева бездны. Ты, вероятно, сам того не зная, демон. Я сберегла себя для чудовища, которое может пригрезиться только во сне. Ты марионетка, тебя дергает за нитку некий призрак. Ты воплощение великого адского смеха. Ты властелин, которого я ждала. Мне нужна была любовь, на какую способна лишь Медея или Канидия. Я так и знала, что со мной случится что-то страшное и необыкновенное. Ты именно тот, кого я желала. Я говорю тебе много такого, чего ты, должно быть, не понимаешь. Гуинплен, никто еще не обладал мною. Я отдаюсь тебе безупречно чистая. Ты, конечно, не веришь мне, но если бы ты знал, как мне это безразлично!

Ее речь была подобна извержению вулкана. Если бы пробуравить отверстие в склоне Этны, оттуда вырвался бы такой же стремительный поток пламени.

Гуинплен пробормотал:

— Герцогиня…

Она рукой зажала ему рот.

— Молчи! Я смотрю на тебя. Гуинплен, я непорочная распутница. Я девственная вакханка. Я не принадлежала ни одному мужчине и могла бы быть пифией в Дельфах, могла бы обнаженной пятою попирать бронзовый треножник в святилище, где жрецы, облокотись на кожу Пифона, топотом вопрошали невидимое божество. У меня каменное сердце, но оно похоже на те таинственные валуны, которые приносит море к подножию утеса Хентли-Набб, в устье Тисы; если разбить такой камень, внутри найдешь змею. Эта змея — моя любовь. Любовь всесильная, это она заставила тебя прийти сюда. Нас разделяло неизмеримое пространство. Я была на Сириусе, ты на Аллиофе. Ты преодолел это расстояние, и вот — ты здесь! Как это хорошо! Молчи! Возьми меня!

Она остановилась. Он затрепетал. Она снова улыбнулась.

— Видишь ла, Гуинплен, мечтать — это творить. Желание — призыв. Создать в своем воображении химеру — значит наделить ее жизнью. Страшный, всемогущий мрак запрещает нам взывать к нему напрасно. Он исполнил мою волю. И вот ты здесь. Решусь ли я обесчестить себя? Да. Решусь ли стать твоей любовницей,

твоей наложницей, твоей рабой, твоей вещью? Да, с восторгом. Гуинплен, я женщина. Женщина — это глина, жаждущая обратиться в грязь. Мне необходимо презирать себя. Это превосходная приправа к гордости. Низость прекрасно оттеняет величие. Ничто не сочетается так хорошо, как эти две крайности. Презирай же меня, ты, всеми презираемый! Унижаться перед униженным — какое наслаждение? Цветок двойного бесчестья! Я срываю его. Топчи меня ногами! Тем сильнее будет твоя любовь ко мне. Я это знаю по себе. Тебе понятно, почему я боготворю тебя? Потому что презираю. Ты настолько ниже меня, что я могу возвести тебя на алтарь. Соединить твердь с преисподней — значит создать хаос, а хаос привлекает меня. Хаос всему начало и конец. Что такое хаос? Беспредельная скверна. И из этой скверны бог создал свет. Вылепи светило из грязи, и это буду я.

Так говорила эта страшная женщина. Халат, распахнувшийся от ее движений, открывал ее девственный стан.

Она продолжала:

— Волчица для всех, я стану твоей собакой. Как все изумятся! Нет ничего приятнее, чем удивлять глупцов. Ведь это совершенно понятно. Кто я? Бо-

гиня? Но ведь Амфитрита отдалась Циклопу. Кто я? Фея? Но Ургела приняла к себе на ложе восьмирукого Бугрикса, полумужчину-полуптицу, с перепонками меж пальцев. Кто я? Принцесса? А у Марии Стюарт был Риччо. Три красавицы и три урода. Я превзошла их, ибо ты уродливее их любовников. Гуинплен, мы созданы друг для друга. Ты чудовище лицом, я чудовище душою. Оттого-то я и люблю тебя. Пусть это моя прихоть. А что такое ураган? Ведь он — прихоть ветров. Между нами космическое сходство. И ты и я, мы оба дети мрака: ты — лицом, я — душой. И ты в свою очередь создаешь меня. Ты пришел, и душа моя раскрылась. Я сама ее не знала. Она поражает меня. Я богиня, но твое приближение пробуждает во мне гидру. Ты открываешь мне мою подлинную природу. Ты помогаешь мне заглянуть в самое себя. Смотри, как я похожа на тебя! Ты можешь смотреться в меня как в зеркало. Твое лицо — моя душа. Я не подозревала, как я ужасна. Значит, и я — тоже чудовище. О Гуинплен, ты почти рассеял мою скуку!

Она залилась странным, каким-то детским смехом, наклонилась к нему и прошептала на ухо:

— Хочешь видеть безумную? Она перед тобой!

Ее пристальный взгляд зачаровывал Гуинпле-

на. Взгляд — это тот же волшебный напиток. Ее халат, распахиваясь, открывал взору Гуинплена страшное своею красотою тело. Слепая, животная страсть охватила Гуинплена. Страсть, в которой была смертельная мука.

Женщина говорила, и слова ее жгли его как огнем. Он чувствовал, что сейчас случится непоправимое. Он не мог произнести — ни слова. Иногда она умолкала и, всматриваясь в него, шептала: «О, чудовище!» В ней было что-то хищное.

Она схватила его за руки.

— Гуинплен, — продолжала она, — я рождена для трона, ты — для подмостков. Станем же рядом. Ах, какое счастье, что я пала так низко! Я хочу, чтобы весь мир узнал о моем позоре. Люди стали бы еще больше преклоняться передо мной, ибо чем сильнее их отвращение, тем больше они пресмыкаются. Таков род людской. Злобные гады. Драконы и вместе с тем черви. О, я безнравственна, как боги! Недаром же я незаконная дочь короля. И я поступаю по-королевски. Кто такая была Родопис[311]

? Царица, влюбленная во Фта[312]

, мужчину с головою крокодила. В честь его она воздвигла третью пирамиду. Пентесилея[313]

полюбила кентавра, носящего имя Стрельца

и ставшего впоследствии созвездием. А что ты скажешь об Анне Австрийской[314]

? Уж до чего дурен был этот Мазарини! А ты не некрасив, ты безобразен. То, что некрасиво, — мелко, а безобразие величественно! Некрасивое — гримаса дьявола, просвечивающая сквозь красоту. Безобразие — изнанка прекрасного. Это его оборотная сторона. У Олимпа два склона: на одном, залитом светом, мы видим Аполлона, на другом, во мраке, — Полифема. Ты — титан. В лесу ты был бы Бегемотом, в океане — Левиафаном, в клоаке — Тифоном. В твоем уродстве есть нечто грозное. Твое лицо как будто обезображено ударом молнии. Твои черты исковерканы чьей-то огромной огненной рукой. Она смяла их и исчезла. Кто-то в припадке мрачного безумия заключил твою душу в страшную, нечеловеческую оболочку. Ад — это печь, где накаляют докрасна железо, которое мы называем роком; этим железом ты заклеймен. Любить тебя — значит постигнуть великое. Мне выпало на долю это торжество. Влюбиться в Аполлона! Подумаешь, как это трудно! Мерило нашей славы — удивление, которое мы вызываем. Я люблю тебя. Ты снился мне все ночи! Вот мой дворец. Ты увидишь мои сады. Здесь есть ключи, журчащие в траве, есть

гроты, в которых можно предаваться ласкам, есть прекрасные мраморные группы работы кавалера Бернини. А сколько цветов! Их даже слишком много. Розы весною пылают, как пожар. Я, кажется, сказала тебе, что королева — моя сестра. Делай же со мной, что хочешь. Я создана для того, чтобы Юпитер целовал мне ноги, а сатана плевал мне в лицо. Какой ты веры? Я — папистка. Мой отец, Иаков Второй, умер во Франции, окруженный толпою иезуитов. Никогда я еще не переживала того, что испытываю возле тебя. Ах, я хотела бы плыть вечером на золотой галере, под пурпурным навесом, прислонясь рядом с тобой к подушке, наслаждаясь под звуки музыки бесконечной красотою моря. Оскорбляй меня! Ударь! Плати мне за любовь! Обращайся со мной как с продажной тварью! Я боготворю тебя…

Рычанье может быть голосом любви. Вы сомневаетесь? Посмотрите на львов. Эта женщина была и свирепа и нежна. Трудно представить себе что-либо более трагическое. Она и ранила и ласкала. Она нападала, как кошка, и тотчас же отступала. В этой игре обнажились ее звериные инстинкты. В ее поклонении было нечто вызывающее. Ее безумие заражало. Ее роковые речи звучали невероятно грубо и нежно. Ее оскорбления не

оскорбляли. Ее обожание унижало. Ее пощечина возносила на недосягаемую высоту. Ее интонации сообщали безумным, полным страсти словам прометеевское величие. Воспетые Эсхилом празднества в честь великой богини пробуждали в женщинах, искавших сатиров в звездные ночи, такую же темную, эпическую ярость. Подобные пароксизмы страсти сопровождали таинственные пляски, происходившие в лесах Додоны. Эта женщина как бы преображалась, если только преображение возможно для тех, кто отвращается от неба. Ее волосы развевались, как грива, ее халат то запахивался, то раскрывался; ничего не могло быть прелестнее ее груди, из которой вырывались дикие вопли; лучи ее голубого глаза смешивались с пламенем черного; в ней было что-то нечеловеческое. Гуинплен изнемогал от этой близости и, весь проникнутый ею, чувствовал себя побежденным.

— Люблю тебя! — крикнула она.

И, словно кусая, впилась в его губы поцелуем.

Быть может, Гуинплену и Джозиане вскоре могло понадобиться одно из тех облаков, которыми Гомер иногда окутывал Юпитера и Юнону. Быть любимым женщиной зрячей, видящей его, ощущать на своем обезображенном лице при-

косновение ее дивных уст, было для Гуинплена жгучим блаженством. Он чувствовал, что перед этой загадочной женщиной в его душе исчезает образ Деи. Воспоминание о ней, слабо стеная, уже не в силах было бороться с наваждением тьмы. Есть античный барельеф с изображением сфинкса, пожирающего амура; божественное нежное создание истекает кровью, зубы улыбающегося свирепого чудовища раздирают его крылья.

Любил ли Гуинплен эту женщину? Может ли у человека быть, подобно земному шару, два полюса? Неужели мы тоже вращаемся на неподвижной оси и кажемся издали звездой, а вблизи комом грязи? Не планета ли мы, где день чередуется с ночью? Неужели у сердца две стороны? Одна — любящая при свете, другая — во мраке? Одна — луч, другая — клоака? Ангел необходим человеку, но неужели он не может обойтись без дьявола? Зачем душе крылья летучей мыши? Неужели для каждого наступает роковой сумеречный час? Неужели грех входит, как что-то неотъемлемое, в нашу судьбу, и мы никак не можем без него обойтись? Неужели мы должны принимать зло, лежащее в нашей природе, как нечто, неразрывно связанное со всем нашим существом? Неужели дань греху неизбежна?

Глубоко волнующие вопросы.

И, однако, какой-то голос твердит нам, что слабость преступна. Гуинплен переживал невыразимо сложное чувство; в нем одновременно боролись влеченья плоти, жажда жизни, сладострастие, мучительное опьянение и все то чувство стыда, которое содержится в гордости. Неужели он поддастся искушению?

Она повторила:

— Люблю тебя!

И в каком-то исступлении прижала его к своей груди.

Гуинплен задыхался.

Вдруг совсем близко от них раздался громкий и пронзительный звонок. Это звенел колокольчик, вделанный в стену. Герцогиня повернула голову и сказала:

— Что ей нужно от меня?

И внезапно, подобно отброшенной тугой пружиной крышке люка, в стене со стуком отворилась серебряная дверца, украшенная королевской короной.

Показались внутренние стенки, обтянутые голубым бархатом; в ней на золотом подносе лежало письмо.

Объемистый квадратный конверт был положен

с таким расчетом, чтобы в глаза сразу бросилась крупная печать из алого сургуча. Колокольчик продолжал звенеть.

Открытая дверца почти касалась кушетки, на которой сидели Джозиана и Гуинплен. Все еще одной рукой обнимая Гуинплена, герцогиня наклонилась, взяла письмо и захлопнула дверцу. Отверстие закрылось, и колокольчик умолк.

Герцогиня сломала печать, разорвала конверт, вынула из него два листа и бросила конверт на пол к ногам Гуинплена.

Печать надломилась таким образом, что Гуинплен мог рассмотреть королевскую корону и под нею букву «А». На другой стороне конверта стояла надпись: «Ее светлости герцогине Джозиане».

Джозиана вынула из него большой лист пергамента и маленькую записку на веленевой бумаге. На пергаменте стояла зеленая канцелярская печать больших размеров, свидетельствовавшая о том, что документ относится к знатной особе. Герцогиня, все еще в упоении восторга, затуманившего ее глаза, сделала еле заметную недовольную гримасу.

— Ах, что это она мне опять посылает? — сказала она. — Бумаги! Какая надоедливая женщина!

И, отложив в сторону пергамент, она развер-

нула записку.

— Ее почерк. Почерк моей сестры. Как мне это наскучило! Гуинплен, я уже спрашивала тебя: умеешь ты читать? Умеешь?

Гуинплен утвердительно кивнул головой.

Она растянулась на кушетке, со странной стыдливостью спрятала ноги под халат, опустила широкие рукава, оставив, однако, открытой грудь, и, обжигая Гуинплена страстным взглядом, протянула ему листок веленевой бумаги.

— Ну вот, Гуинплен, ты — мой теперь. Начни же свою службу. Мой возлюбленный, прочти, что пишет мне королева.

Гуинплен взял письмо, развернул и стал читать голосом, дрожащим от самых разнообразных чувств:

«Герцогиня!

Всемилостивейше посылаем вам прилагаемую при сем копию протокола, заверенную и подписанную нашим слугою Вильямом Коупером, лорд-канцлером королевства Англии, из какового протокола выясняется весьма примечательное обстоятельство, а именно, что законный сын лорда Кленчарли, известный до сих пор под именем Гуинплена и ведший низкий, бродячий образ жизни в среде странствующих фигляров

и скоморохов, ныне разыскан, и личность его установлена. Всех принадлежащих ему прав состояния он лишился в самом раннем возрасте. Согласно законам королевства и в силу своих наследственных прав, лорд Фермен Кленчарли, сын лорда Линнея, будет сегодня же восстановлен в своем звании и введен в палату лордов. А посему, желая выразить вам нашу благосклонность и сохранить за вами право владения переданными вам поместьями и земельными угодьями лордов Кленчарли-Генкервиллей, мы предназначаем его вам в женихи взамен лорда Дэвида Дерри-Мойр. Мы распорядились доставить лорда Фермена в вашу резиденцию Корлеоне-Лодж; мы приказываем и, как сестра и королева, изъявляем желание, чтобы лорд Фермен Кленчарли, до сего времени носивший имя Гуинплена, вступил с вами в брак и стал вашим мужем. Такова наша королевская воля».

Пока Гуинплен читал — голосом, изменявшимся почти при каждом слове, — герцогиня, приподнявшись с подушки, слушала, не сводя с него глаз. Когда он кончил, она вырвала у него из рук письмо.

— «Анна, королева», — задумчиво произнесла она, взглянув на подпись.

Подобрав с полу пергамент, она быстро пробежала его. Это была засвидетельствованная саутворкским шерифом и лорд-канцлером копия признаний компрачикосов, погибших на «Матутине».

Она еще раз перечла письмо королевы. Затем сна сказала:

— Хорошо.

И совершенно спокойно, указывая Гуинплену на портьеру, отделявшую их от галереи, она проговорила:

— Выйдите отсюда.

Окаменевший Гуинплен не трогался с места.

Ледяным тоном она повторила:

— Раз вы мой муж, — уходите.

Гуинплен, опустив глаза, словно виноватый, не вымолвил ни слова и не пошевельнулся.

Она прибавила:

— Вы не имеете права оставаться здесь. Это место моего любовника.

Гуинплен сидел как пригвожденный.

— Хорошо, — сказала она, — в таком случае уйду я. Так вы мой муж? Превосходно! Я ненавижу вас.

Она встала и, сделав в пространство высокомерный прощальный жест, вышла из комнаты.

Портьера галереи опустилась за ней.

5. Узнают друг друга, оставаясь неузнанными

Гуинплен остался один.

Один перед теплой ванной и неубранной постелью.

В голове его царил полный хаос. То, что возникало в его сознании, даже не было похоже на мысли. Это было нечто расплывчатое, бессвязное, непонятное и мучительное. Перед его взором проносились рой за роем леденящие душу образы.

Вступление в неведомый мир дается не так-то легко.

Начиная с письма герцогини, принесенного грумом, на Гуинплена одно за другим обрушилось столько неожиданных событий, час от часу непостижимее. До этой минуты он словно спал, но все видел ясно. Теперь, так и не придя в себя, он вынужден был брести ощупью.

Он не размышлял. Он даже не думал. Он просто подчинялся течению событий.

Он продолжал сидеть на кушетке, на том самом месте, где его оставила герцогиня.

Вдруг в глубокой тишине раздались чьи-то шаги. Шаги мужчины. Они приближались со стороны, противоположной галерее, куда скрылась

герцогиня. Они звучали глухо, но отчетливо. Как ни был поглощен Гуинплен всем происшедшим, он насторожился.

За откинутым герцогиней серебристым занавесом, позади кровати, в стене внезапно распахнулась замаскированная расписным зеркалом дверь, и веселый мужской голос огласил зеркальную комнату припевом старинной французской песенки:

Три поросенка, развалясь в грязи,

Как старые носильщики ругались.

Вошел мужчина в расшитом золотом морском мундире.

Он был при шпаге и держал в руке украшенную перьями шляпу с кокардой.

Гуинплен вскочил, словно его подбросило пружиной.

Он узнал вошедшего, и тот, узнал его.

Из их уст одновременно вырвался крик:

— Гуинплен!

— Том-Джим-Джек!

Человек со шляпой, украшенной перьями, подошел к Гуинплену, который скрестил руки на груди.

— Как ты здесь очутился, Гуинплен?

— А ты как попал сюда, Том-Джим-Джек?

— Ах, я понимаю! Каприз Джозианы. Фигляр, да еще урод впридачу. Слишком соблазнительное для нее существо, она не могла устоять. Ты переоделся, чтобы прийти сюда, Гуинплен?

— И ты тоже, Том-Джим-Джек?

— Гуинплен, что означает это платье вельможи?

— А что означает этот офицерский мундир, Том-Джим-Джек?

— Я не отвечаю на вопросы, Гуинплен.

— Я тоже, Том-Джим-Джек.

— Гуинплен, мое имя не Том-Джим-Джек.

— Том-Джим-Джек, мое имя не Гуинплен.

— Гуинплен, я здесь у себя дома.

— Том-Джим-Джек, я здесь у себя дома.

— Я запрещаю тебе повторять мои слова. Ты не лишен иронии, но у меня есть трость. Довольно передразнивать меня, жалкий шут!

Гуинплен побледнел.

— Сам ты шут! Ты ответишь мне за это оскорбление.

— В твоем балагане, на кулаках, — сколько угодно.

— Нет, здесь, и на шпагах.

— Шпага, мой любезный, — оружие джентльменов. Я дерусь только с равными. Одно дело

рукопашная, тут мы равны, шпага же — дело совсем другое. В Тедкастерской гостинице Том-Джим-Джек может боксировать с Гуинпленом. В Виндзоре же об этом не может быть и речи. Знай: я — контр-адмирал.

— А я — пэр Англии.

Человек, которого Гуинплен до сих пор считал Том-Джим-Джеком, громко расхохотался.

— Почему же не король? Впрочем, ты прав. Скоморох может исполнять любую роль. Скажи уж прямо, что ты Тезей, сын афинского царя.

— Я пэр Англии, и мы будем драться.

— Гуинплен, мне это надоело. Не шути с тем, кто может приказать высечь тебя. Я — лорд Дэвид Дерри-Мойр.

— А я — лорд Кленчарли.

Лорд Дэвид вторично расхохотался.

— Ловко придумано! Гуинплен — лорд Кленчарли! Это как раз то имя, которое необходимо, чтобы обладать Джозианой. Так и быть, я тебе прощаю. А знаешь, почему? Потому что мы оба ее возлюбленные.

Портьера, отделявшая их от галереи, раздвинулась, и чей-то голос произнес:

— Вы оба, милорды, ее мужья.

Оба обернулись.

— Баркильфедро! — воскликнул лорд Дэвид.

Это был действительно Баркильфедро.

Улыбаясь, он низко кланялся обоим лордам.

В нескольких шагах позади него стоял дворянин с почтительным, строгим выражением лица; в руках у незнакомца был черный жезл.

Незнакомец подошел к Гуинплену, трижды отвесил ему низкий поклон и сказал:

— Милорд, я пристав черного жезла. Я явился за вашей светлостью по приказанию ее величества.

Часть восьмая. Капитолий и его окрестности

1. Торжественная церемония во всех ее подробностях

Та ошеломляющая сила, которая привела Гуинплена в Виндзор и в течение уже стольких часов возносила все выше и выше, теперь снова перенесла его в Лондон.

Непрерывной чередой промелькнули перед ним все эти фантастические события.

Уйти от них было невозможно. Едва завершалось одно, как на смену ему являлось другое.

Он не успевал даже перевести дыхание.

Кто видел жонглера, тот воочию видел человеческую судьбу. Эти шары, падающие, взлетающие вверх и снова падающие, — не образ ли то людей в руках судьбы? Она так же бросает их. Она так

же ими играет.

Вечером того же дня Гуинплен очутился в необычайном месте.

Он восседал на скамье, украшенной геральдическими лилиями. Поверх его атласного, шитого золотом кафтана была накинута бархатная пурпурная мантия, подбитая белым шелком и отороченная горностаем, с горностаевыми же наплечниками, обшитыми золотым галуном. Вокруг него были люди разного возраста, молодые и старые. Они восседали так же, как и он, на скамьях с геральдическими лилиями и так же, как и он, были одеты в пурпур и горностай.

Прямо перед собой он видел других людей. Эти стояли на коленях, мантии их были из черного шелка. Некоторые из них что-то писали.

Напротив себя, немного поодаль, он видел ступени, которые вели к помосту, крытому алым бархатом, балдахин, широкий сверкающий щит, поддерживаемый львом и единорогом, а под балдахином, на помосте, прислоненное к щиту позолоченное, увенчанное короной кресло. Это был трон.

Трон Великобритании.

Гуинплен, ставший пэром, находился в палате лордов Англии.

Каким же образом произошло это введение Гуинплена в палату лордов? Сейчас расскажем.

Весь этот день, с утра до вечера, от Виндзора до Лондона, от Корлеоне-Лоджа до Вестминстерского дворца был днем его восхождения со ступени на ступень. И на каждой ступени его ждало новое головокружительное событие.

Его увезли из Виндзора в экипаже королевы в сопровождении свиты, подобающей пэру. Почетный конвой очень напоминает стражу, охраняющую узника.

В этот день обитатели домов, расположенных вдоль дороги из Виндзора в Лондон, видели, как пронесся вскачь отряд личного ее величества конвоя, сопровождавший две стремительно мчавшиеся коляски. В первой из них сидел пристав с черным жезлом в руке. Во второй можно было разглядеть только широкополую шляпу с белыми перьями, бросавшую густую тень на лицо сидевшего в коляске человека. Кто это был? Принц или узник?

Это был Гуинплен.

Судя по всем признакам, кого-то везли не то в лондонский Тауэр, не то в палату лордов.

Королева устроила все как подобает. Для сопровождения будущего мужа своей сестры она дала

людей из собственного своего конвоя.

Во главе кортежа скакал верхом помощник пристава черного жезла.

На откидной скамейке против пристава лежала серебряная парчовая подушка, а на ней черный портфель с изображением королевской короны.

В Брайтфорде, на последней станции перед Лондоном, обе коляски и конвой остановились.

Здесь их уже дожидалась карета с черепаховыми инкрустациями, запряженная четверкой лошадей, с четырьмя лакеями на запятках, двумя форейторами впереди и кучером в парике. Колеса, подножки, дышло, ремни, поддерживающие кузов кареты, были позолочены. Кони были в серебряной сбруе.

Этот парадный экипаж, сделанный по совершенно особому рисунку, был так великолепен, что, несомненно, мог бы занять место в числе тех пятидесяти знаменитых карет, изображения которых оставил нам Рубо.

Пристав черного жезла вышел из экипажа, его помощник соскочил с лошади.

Помощник пристава черного жезла снял со скамеечки дорожной кареты парчовую подушку, на которой лежал портфель, украшенный изображением короны, и, взяв ее в обе руки, стал

позади пристава.

Пристав черного жезла отворил дверцы пустой кареты, затем дверцы коляски, в которой сидел Гуинплен, и, почтительно склонив голову, предложил Гуинплену пересесть в парадный экипаж.

Гуинплен вышел из коляски и сел в карету.

Пристав с жезлом и его помощник с подушкой последовали за ним и уселись на низкой откидной скамеечке, на которой в старинных парадных экипажах обыкновенно помещались пажи.

Внутри карета была обтянута белым атласом, отделанным беншским кружевом, серебряными позументами и кистями. Потолок был украшен гербами.

Форейторы, сопровождавшие дорожные экипажи, были одеты в придворные ливреи. Кучер, форейторы и лакеи парадного экипажа были в великолепных ливреях уже другого образца.

Сквозь то полусознательное состояние, в котором он находился, Гуинплен все же обратил внимание на эту пышно разодетую челядь и спросил пристава черного жезла:

— Чьи это слуги?

Пристав черного жезла ответил:

— Ваши, милорд.

В этот день палата лордов должна была засе-

дать вечером. Curia erat serena[315]

, отмечают старинные протоколы. В Англии парламент охотно ведет ночной образ жизни. Известно, что Шеридану однажды пришлось начать речь в полночь и закончить ее на заре.

Оба дорожных экипажа вернулись в Виндзор пустыми; карета, в которую пересел Гуинплен, направилась в Лондон. Эта карета с черепаховыми инкрустациями, запряженная четверкой лошадей, двинулась из Брайтфорда в Лондон шагом, как это полагалось карете, управляемой кучером в парике. В лице этого исполненного важности кучера церемониал вступил в свои права и завладел Гуинпленом.

Впрочем, медлительность переезда, судя по всему, преследовала определенную цель. В дальнейшем мы увидим, какую.

Еще не наступила ночь, но было уже довольно поздно, когда карета с черепаховыми инкрустациями остановилась перед Королевскими воротами — тяжелыми низкими воротами между двумя башнями, служившими сообщением между Уайт-Холлом и Вестминстером.

Конвой живописной группой окружил карету.

Один из лакеев, соскочив с запяток, отворил дверцы.

Пристав черного жезла в сопровождении помощника, несшего подушку, вышел из кареты и обратился к Гуинплену:

— Благоволите выйти, милорд. Не снимайте, ваша милость, шляпы.

Под дорожным плащом на Гуинплене был надет атласный кафтан, в который его переодели накануне. Шпаги при нем не было.

Плащ он оставил в карете.

Под аркой Королевских ворот, служившей въездом для экипажей, находилась боковая дверь, к которой вело несколько ступенек.

Церемониал требует, чтобы лицу, которому оказывается почет, предшествовала свита.

Пристав черного жезла, сопровождаемый помощником, шел впереди.

Гуинплен следовал за ними.

Они поднялись по ступенькам, вошли в боковую дверь и спустя несколько мгновений очутились в просторном круглом зале с массивной колонной посредине.

Зал помещался в первом этаже башни и был освещен очень узкими стрельчатыми окнами; должно быть, здесь и в полдень царил полумрак. Недостаток света иногда усугубляет торжественность обстановки. Полумрак величественен.

В комнате стояли тринадцать человек: трое впереди, шестеро во втором ряду и четверо позади.

На одном из стоявших впереди был камзол алого бархата, на двух остальных тоже алые камзолы, но атласные. У каждого из этих троих был вышит на плече английский герб.

Шесть человек, составлявшие второй ряд, были в далматиках белого муара; на груди у каждого из них красовался свой особый герб.

Четверо последних, одетых в черный муар, отличались друг от друга какой-нибудь особенностью в одежде: на первом был голубой плащ, у второго — пунцовое изображение святого Георгия на груди, у третьего — два вышитых малиновых креста на спине и на груди, на четвертом — черный меховой воротник. Все были в париках, без шляп и при шпагах.

В полумраке их лица трудно было различить. Они также не могли видеть лица Гуинплена.

Пристав поднял свой черный жезл и произнес:

— Милорд Фермен Кленчарли, барон Кленчарли-Генкервилл! Я, пристав черного жезла, первое должностное лицо в приемной ее величества, передаю вашу светлость кавалеру ордена Подвязки, герольдмейстеру Англии.

Человек в алом бархатном камзоле выступил вперед, поклонился Гуинплену до земли и сказал:

— Милорд Фермен Кленчарли, я — кавалер ордена Подвязки, первый герольдмейстер Англии. Я получил свое звание от его светлости герцога Норфолка, наследственного графа-маршала. Я присягал королю, пэрам и кавалерам ордена Подвязки. В день моего посвящения, когда граф-маршал Англии оросил мне голову вином из кубка, я торжественно обещался служить дворянству, избегать общества людей, пользующихся дурной славой, чаще оправдывать, чем обвинять людей знатных и оказывать помощь вдовам и девицам. На моей обязанности лежит устанавливать порядок похорон пэров и охранять их гербы. Предоставляю себя в распоряжение вашей светлости.

Первый из двух одетых в атласные камзолы отвесил низкий поклон и сказал:

— Милорд, я — Кларенс, второй герольдмейстер Англии. На моей обязанности лежит устанавливать порядок похорон дворян, не имеющих пэрского титула. Предоставляю себя в распоряжение вашей светлости.

Затем выступил второй, поклонился и сказал:

— Милорд, я — Норрой, третий герольдмейстер Англии. Предоставляю себя в распоряжение вашей светлости.

Шесть человек, составлявшие второй ряд, не кланяясь, сделали шаг вперед.

Первый, направо от Гуинплена, сказал:

— Милорд, мы — шесть герольдов Англии. Я — Йорк.

Затем каждый из герольдов по очереди назвал себя:

— Я — Ланкастер.

— Я — Ричмонд.

— Я — Честер.

— Я — Сомерсет.

— Я — Виндзор.

На груди у каждого из них был вышит герб того графства или города, по названию которого он именовался.

Четверо последних, одетые в черное и стоявшие позади герольдов, хранили молчание.

Герольдмейстер, кавалер ордена Подвязки, указал на них Гуинплену и представил:

— Милорд, вот четверо оруженосцев. — Голубая Мантия.

Человек в голубом плаще поклонился.

— Красный Дракон.

Человек с изображением святого Георгия на груди поклонился.

— Красный Крест.

Человек с красным крестом поклонился.

— Страж Решетки.

Человек в меховом воротнике поклонился.

По знаку герольдмейстера подошел первый из оруженосцев, Голубая Мантия, и взял из рук помощника пристава парчовую подушку с портфелем, украшенным короной.

Герольдмейстер обратился к приставу черного жезла:

— Да будет так. Честь имею сообщить вам, что принял от вас его милость.

Вся эта процедура, а также, и некоторые другие, которые будут описаны дальше, входили в состав старинного церемониала, установленного еще до Генриха VIII; королева Анна одно время пыталась возродить эти обычаи. В наши дни все они отжили свой век. Тем не менее палата лордов и поныне считает себя чем-то вечным, и если где-нибудь на свете существует что-либо не изменяющееся, то именно в ней.

А все же и она подвержена переменам. E pur si muove.[316]

Куда, например, девалась may pole (майская

мачта), которую город Лондон водружал на пути шествия пэров в парламент? В последний раз она была воздвигнута в 1713 году. С тех пор о ней уже ничего не слыхать. Она вышла из употребления.

Многое представляется внешне незыблемым, в действительности же все меняется. Возьмем, например, титул герцогов Олбемарлей. Он кажется вечным, а между тем он последовательно переходил к шести фамилиям: Одо, Мендвилям, Бетюнам, Плантагенетам, Бошанам и Монкам. Титул герцога Лестера тоже принадлежал поочередно пяти фамилиям: Бомонтам, Брюзам, Дадлеям, Сиднеям и Кокам. Титул Линкольна носили шесть фамилий. Титул графа Пемброка — семь и т. д. Фамилии изменяются, титулы остаются неизменными. Историк, который подходит к явлениям поверхностно, верит в их незыблемость. В сущности же на свете нет ничего устойчивого. Человек — это только волна. Человечество — это море.

Аристократия гордится именно тем, что женщина считает для себя унизительным: своею старостью; однако и женщина и аристократия питают одну и ту же иллюзию — обе уверены, что хорошо сохранились.

Нынешняя палата лордов, возможно, не поже-

лает узнать себя в описанной нами картине и в том, что нами будет описано далее: так давно отцветшая красавица не хочет видеть в зеркале своих морщин. Виноватым всегда оказывается зеркало, но оно привыкло к обвинениям.

Правдиво рисовать прошлое — вот долг историка.

Герольдмейстер обратился к Гуинплену:

— Благоволите следовать за мной, милорд.

Он прибавил:

— Вам будут кланяться. Вы же, ваша милость, приподымайте только край шляпы.

Вся процессия направилась к двери, находившейся в глубине круглого зала.

Впереди шел пристав черного жезла.

За ним, с подушкой в руках, — Голубая Мантия; далее — первый герольдмейстер и, наконец, Гуинплен в шляпе.

Прочие герольдмейстеры, герольды и оруженосцы остались в круглом зале.

Гуинплен, предшествуемый приставом черного жезла и руководимый герольдмейстером, прошел анфиладу зал, ныне уже не существующих, ибо старое здание английского парламента давно разрушено.

Между прочим, он прошел и через ту готиче-

скую палату, где произошло последнее свидание Иакова II с герцогом Монмутом, палату, где малодушный племянник тщетно склонил колени перед жестоким дядей. На стенах этой палаты были развешаны, в хронологическом порядке, с подписями имен и изображениями гербов, портреты во весь рост девяти представителей древнейших пэрских родов: лорда Нансладрона (1305 год), лорда Белиола (1306 год), лорда Бенестида (1314 год), лорда Кентилупа (1356 год), лорда Монтбегона (1357 год), лорда Тайботота (1372 год), лорда Зуча Коднорското (1615 год), лорда Белла-Аква — без даты и лорда Харрен-Серрея, графа Блуа — без даты.

Так как уже стемнело, в галереях на некотором расстоянии друг от друга были зажжены лампы. В залах, тонувших в полумраке, как церковные притворы, горели свечи в медных люстрах.

По пути встречались одни только должностные лица.

В одной из комнат стояли, почтительно склонив головы, четыре клерка государственной печати и клерк государственных бумаг.

В другой находился достопочтенный Филипп Сайденгем, кавалер Знамени, владетель Браймптона в Сомерсете. Кавалеры Знамени получали

это звание во время войны от самого короля под развернутым королевским знаменем.

В следующем зале они увидели древнейшего баронета Англии сэра Эдмунда Бэкона из Сэффолка, наследника сэра Николаев, носившего титул primus baronetorum Angliae[317]

За сэром Эдмундом стоял его оруженосец с пищалью и конюший с гербом Олстера, так как носители этого титула были наследственными защитниками графства Олстер в Ирландии.

В четвертом зале их ожидал канцлер казначейства с четырьмя казначеями и двумя депутатами лорд-камергера, на обязанности которых лежала раскладка податей. Тут же находился начальник монетного двора: он держал на ладони золотую монету в один фунт стерлингов, вычеканенную при помощи специального штампа. Все восемь человек низко поклонились новому лорду.

При входе в коридор, устланный циновками и служивший для сообщения палаты общин с палатой лордов, Гуинплена приветствовал сэр Томас Мансель Маргем, контролер двора ее величества и член парламента от Глеморгана. При выходе его встретила депутация баронов Пяти Портов, выстроившихся по четыре человека с каждой стороны, ибо портов было не пять, а восемь. Ви-

льям Ашбернгем приветствовал его от Гастингса, Мэтью Эйлмор — от Дувра, Джозиа Берчет — от Сандвича, сэр Филипп Ботлер — от Гайта, Джон Брюэр — от Нью-Ремнея, Эдуард Саутвелл — от города Рея, Джемс Хейс — от города Уинчелси и Джордж Нейлор — от города Сифорда.

Гуинплен хотел было поклониться в ответ на приветствия, но первый герольдмейстер шепотом напомнил ему правила этикета:

— Приподымите только край шляпы, милорд.

Гуинплен последовал его указанию.

Наконец он вступил в «расписной зал», где, впрочем, не было никакой живописи, если не считать нескольких изображений святых, в том числе изображение святого Эдуарда, в высоких нишах стрельчатых окон, разделенных настилом пола таким образом, что нижняя часть окон находилась в Вестминстер-Холле, а верхняя — в «расписном зале».

Зал был перегорожен деревянной балюстрадой, за которой стояли три важные особы, три государственных секретаря. Первый из них ведал югом Англии, Ирландией и колониями, а также сношениями с Францией, Швейцарией, Италией, Испанией, Португалией и Турцией. Второй управлял севером Англии и ведал сношениями с

Нидерландами, Германией, Швецией, Польшей и Московией. Третий, родом шотландец, ведал делами Шотландии. Первые два были англичане. Одним из них являлся достопочтенный Роберт Гарлей, член парламента от города Нью-Реднора. Тут же находился шотландский депутат. Мунго Грехэм, эсквайр, родственник герцога Монтроза. Все они молча поклонились Гуинплену.

Гуинплен дотронулся до края своей шляпы.

Служитель откинул подвижную часть барьера, укрепленную на петлях, и открыл доступ в заднюю часть «расписного зала», где стоял длинный накрытый зеленым сукном стол, предназначенный только для лордов.

На столе горел канделябр.

Предшествуемый приставом черного жезла. Голубой Мантией и кавалером ордена Подвязки, Гуинплен вступил в это святилище.

Служитель закрыл за Гуинпленом барьер.

Очутившись за барьером, герольдмейстер остановился.

«Расписной зал» был очень большим.

В глубине его, под королевским щитом, помещавшимся между двумя окнами, стояли два старика в красных бархатных мантиях, с окаймленными золотым галуном горностаевыми

наплечниками и в шляпах с белыми перьями поверх париков. Из-под мантий видны были шелковые камзолы и рукояти шпаг.

Позади этих двух стариков неподвижно стоял человек в черной муаровой мантии; в высоко поднятой руке он держал огромную золотую булаву с литым изображением льва, увенчанного короной.

Это был булавоносец пэров Англии.

Лев — их эмблема. «А львы — это бароны и пэры», — гласит хроника Бертрана Дюгесклена.

Герольдмейстер указал Гуинплену на людей в бархатных мантиях и шепнул ему на ухо:

— Милорд, это — равные вам. Поклонитесь им так же, как они поклонятся вам. Оба эти вельможи — бароны, и лорд-канцлер назначил их вашими восприемниками. Они очень стары и почти слепы. Это они введут вас в палату лордов. Первый из них — Чарльз Милдмей, лорд Фицуолтер, занимающий шестое место на скамье баронов, второй — Август Эрандел, лорд Эрандел-Трерайс, занимающий на той же скамье тридцать восьмое место.

Герольдмейстер, сделав шаг вперед по направлению к обоим старикам, возвысил голос:

— Фермен Кленчарли, барон Кленчарли, барон

Генкервилл, маркиз Корлеоне Сицилийский приветствует ваши милости.

Оба лорда как можно выше приподняли шляпы над головами, затем снова покрыли головы.

Гуинплен приветствовал их таким же образом.

Затем выступил вперед пристав черного жезла, потом Голубая Мантия, за ним кавалер ордена Подвязки.

Булавоносец подошел к Гуинплену и стал перед ним, лорды поместились по обе стороны от него: лорд Фицуолтер — по правую руку, а лорд Эрандел-Трерайс — по левую. Лорд Эрандел, старший из двух, был очень дряхл на вид. Он умер год спустя, завещав свое пэрство несовершеннолетнему внуку Джону, но все же его род прекратился в 1768 году.

Шествие вышло из «расписного зала» и направилось в галерею с колоннами; у каждой колонны стояли на часах попеременно английские бердышники или шотландские алебардщики.

Шотландские алебардщики, ходившие с обнаженными коленями, были великолепным войском, позднее, при Фонтенуа[318]

, сражавшимся с французской кавалерией и с теми королевскими кирасирами, к которым их полковник обращался перед сражением с таки-

ми словами: «Господа, наденьте плотнее ваши головные уборы, мы будем иметь честь пойти в атаку».

Командиры бердышников и алебардщиков отсалютовали Гуинплену и обоим лордам-восприемникам шпагой. Солдаты взяли на караул бердышами и алебардами.

В глубине галереи отливала металлическим блеском огромная дверь, столь роскошная, что створки ее казались двумя золотыми плитами.

По обе стороны двери стояли неподвижно два человека. По ливреям в них можно было узнать так называемых door-keepers — привратников.

Немного не доходя до дверей, галерея расширялась, образуя застекленную ротонду.

Здесь в громадном кресле восседала чрезвычайно важная особа, если судить по размерам ее мантии и парика. Это был Вильям Коупер, лорд-канцлер Англии.

Весьма полезно обладать каким-нибудь физическим недостатком в еще большей степени, чем монарх. Вильям Коупер был близорук, Анна тоже, но меньше, чем он. Слабое зрение Вильяма Коупера понравилось близорукости ее величества и побудило королеву назначить его канцлером и блюстителем королевской совести.

Верхняя губа Вильяма Коупера была тоньше нижней — признак некоторой доброты.

Ротонда освещалась спускавшейся с потолка лампой.

По правую руку лорд-канцлера, величественно восседавшего в высоком кресле, сидел за столом коронный клерк, по левую, за другим столом, — клерк парламентский.

Перед каждым из них лежала развернутая актовая книга и находился письменный прибор.

Позади кресла лорд-канцлера стоял его булавоносец, державший булаву с короной, и два чина, на обязанности которых лежало носить его шлейф и кошель, — оба в огромных париках. Все эти должности существуют и поныне.

Подле кресла на маленьком столике лежала шпага в ножнах, с золотой рукоятью и с бархатной портупеей огненно-красного цвета.

Позади коронного клерка стоял чиновник, держа обеими руками наготове развернутую мантию, предназначенную для церемонии.

Второй чиновник, стоявший позади парламентского клерка, держал таким же образом другую мантию, в которой Гуинплену предстояло заседать.

Обе эти мантии из красного бархата, подбитые

белым атласом, с горностаевыми наплечниками, отороченными золотым галуном, были почти одинаковы, с той лишь разницей, что на церемониальной мантии горностаевые нашивки были шире.

Третий чиновник, так называемый librarian[319], держал на четырехугольном подносе из фландрской кожи маленькую книжку в красном сафьяновом переплете, заключавшую в себе список пэров и представителей палаты общин; кроме того, на подносе лежали листки чистой бумаги и карандаш, которые вручались обычно каждому новому члену парламента.

Шествие, которое замыкал Гуинплен, сопровождаемый двумя пэрами-восприемниками, остановилось перед креслом лорд-канцлера.

Лорды-восприемники сняли шляпы. Гуинплен последовал их примеру.

Герольдмейстер, взяв из рук Голубой Мантии парчовую подушку с черным портфелем, поднес ее лорд-канцлеру.

Лорд-канцлер взял портфель и передал его парламентскому клерку. Тот принял портфель с подобающей торжественностью, затем, вернувшись на свое место, раскрыл его.

Портфель, согласно обычаю, содержал два

документа: королевский указ палате лордов и предписание новому пэру заседать в парламенте.

Клерк встал и громко, с почтительной медленностью прочел обе бумаги.

Предписание лорду Фермену Кленчарли оканчивалось обычной формулой: «Предписываем вам во имя верности и преданности, коими вы нам обязаны, занять лично принадлежащее вам место среди прелатов и пэров, заседающих в нашем парламенте в Вестминстере, дабы по чести и совести подавать ваше мнение о делах королевства и церкви».

Когда чтение обеих бумаг было окончено, лорд-канцлер возгласил:

— Воля ее величества объявлена. Лорд Фермен Кленчарли, отрекается ли ваша милость от догмата пресуществления[320]

, от поклонения святым и от мессы?

Гуинплен наклонил голову в знак согласия.

— Отречение состоялось, — сказал лорд-канцлер.

Парламентский клерк подтвердил:

— Его милость принес присягу.

Лорд-канцлер прибавил:

— Милорд Фермен Кленчарли, вы можете засе-

дать в парламенте.

— Да будет так, — произнесли оба восприемника.

Герольдмейстер поднялся, взял со столика шпагу и надел ее на Гуинплена.

«После сего, — говорится в старинных нормандских хартиях, — пэр берет свою шпагу, занимает свое высокое место и присутствует на заседании».

Гуинплен услыхал позади себя голос:

— Облачаю вашу светлость в парламентскую мантию.

С этими словами говоривший накинул на него мантию и завязал на шее черные шелковые ленты горностаевого воротника.

Теперь, в пурпурной мантии, со шпагой на боку, Гуинплен ничем не отличался от лордов, стоявших направо и налево от него.

«Библиотекарь» взял с подноса красную книгу и положил ее Гуинплену в карман его кафтана.

Герольд шепнул ему на ухо:

— Милорд, при входе поклонитесь королевскому креслу.

Королевское кресло — это трон.

Между тем оба клерка, каждый сидя за своим столом, что-то вписывали, один в актовую книгу

короны, другой — в парламентскую актовую книгу.

Потом они по очереди, сперва королевский клерк, а за ним парламентский, поднесли на подпись свои книги лорд-канцлеру.

Скрепив обе записи своей подписью, лорд-канцлер встал и обратился к Гуинплену:

— Лорд Фермен Кленчарли, барон Кленчарли, барон Генкервилл, маркиз Корлеоне Сицилийский, приветствую вас среди равных вам духовных и светских лордов Великобритания.

Восприемники Гуинплена дотронулись до его плеча. Он обернулся.

Высокие золоченые двери в глубине галереи распахнулись настежь.

Это были двери английской палаты лордов.

Не прошло и тридцати шести часов с той самой минуты, как перед Гуинпленом, окруженным совсем другого рода свитой, растворилась железная дверь Саутворкской тюрьмы.

Все эти события пронеслись над его головой быстрее стремительно бегущих облаков. Они точно штурмовали его.

2. Беспристрастие

Провозглашение пэрского сословия равным королю было фикцией, но фикцией, принесшей

в те варварские времена известную пользу. Эта незамысловатая политическая уловка привела во Франции и в Англии к совершенно разным последствиям. Во Франции пэр был только мнимым королем; в Англии же он был подлинным властелином. В Англии у него было, пожалуй, меньше величия, чем во Франции, но больше настоящей власти. Можно было сказать: «меньше, да зловреднее».

Пэрство родилось во Франции. В какую эпоху оно возникло, неизвестно; по преданию — при Карле Великом; согласно данным истории — при Роберте Мудром. Но история ничуть не достовернее устных преданий. Фавен пишет: «Французский король хотел привлечь к себе вельмож своего государства, награждая их пышным титулом пэра, коим как бы признавал, их равными себе».

Пэрство вскоре разветвилось и перешло из Франции в Англию.

Учреждение английского пэрства явилось крупным событием и имело важное значение. Ему предшествовал саксонский wittenagemot. Датский тан и нормандский вавасор слились в бароне. Слово «барон» означает то же самое, что латинское vir и испанское varon, то есть «муж».

Начиная с 1075 года, бароны дают чувствовать свою власть королям. И каким королям! — Вильгельму Завоевателю! В 1086 году они кладут основание феодализму «Книгою страшного суда»[321]

, «Doomsday book». При Иоанне Безземельном происходит столкновение: французская аристократия относится свысока к Великобритании и к ее монарху, и французские пэры вызывают к себе на суд английского короля. Английские бароны негодуют. При короновании Филиппа-Августа[322]

английский король в качестве герцога нормандского несет первое четырехугольное знамя, а герцог Гиеннский — второе. Против этого короля, вассала чужестранцев, вспыхивает «война вельмож». Бароны заставляют безвольного Иоанна подписать «Великую хартию», породившую палату лордов. Папа становится на сторону короля и отлучает лордов от церкви. Дело происходит в 1215 году, при папе Иннокентии III, который написал гимн «Veni sancte Spiritus»[323]

и прислал королю Иоанну Безземельному четыре золотых кольца, знаменовавших собой четыре основных христианских добродетели. Лорды упорствуют. Начинается долгий поединок, которому суждено было длиться несколько по-

колений. Пемброк борется. В 1248 году издаются «Оксфордские постановления». Двадцать четыре барона ограничивают королевскую власть, оспаривают ее решения и привлекают к участию в разгоревшейся распре по одному дворянину от каждого графства — зарождение палаты общин. Позднее лорды стали призывать в качестве помощников по два человека от каждого города и по два — от каждого местечка. В результате этого вплоть до царствования Елизаветы пэры держали в своих руках выборы в палату общин. Их юрисдикция породила изречение: «Депутаты должны избираться без трех „Р“: sine Prece, sine Pretio, sine Poculo»[324]

Это, однако, не помешало подкупам в некоторых общинах. Еще в 1293 году французские пэры считали подсудным себе короля Англии, и Филипп Красивый[325]

требовал к ответу Эдуарда I. Эдуард I был тот самый король, который, умирая, приказал своему сыну выварить его труп и кости взять с собой на войну. Королевские безрассудства побуждают лордов принять меры к укреплению власти в парламенте; с этой целью они разделяют его на две палаты, верхнюю и нижнюю. Со свойственным им высокомерием лорды сохраняют главенство

за собой. «Если кто-либо из членов нижней палаты дерзнет неуважительно отозваться о палате лордов, он подлежит вызову в суд для наказания, вплоть до заключения в Тауэр». Такое же неравенство наблюдается и при подаче голосов. В палате лордов голосуют по одному, начиная с младшего барона, так называемого «меньшого пэра». Каждый пэр, голосуя, отвечает: «доволен» или «недоволен». В нижней палате голосуют одновременно, все сразу, отвечая просто: «да» или «нет». Палата общин обвиняет, палата пэров вершит суд. Пренебрегая цифрами, пэры поручают нижней палате, которая со временем обращает это себе на пользу, надзор за «шахматной доской», то есть за казначейством, получившим это название, по одной версии, от скатерти с изображением шахматной доски, а по другой — от ящиков старинного шкафа, где за железной решеткой хранилась казна английских королей. С конца тринадцатого века вводится ежегодный реестр — «Year-book». Во время войны Алой и Белой Розы лорды дают почувствовать свое влияние, становясь то на сторону Джона Гонта, герцога Ланкастерского, то на сторону Эдмунда, герцога йоркского. Уот Тайлер, лолларды, Уорик, «делатель королей»[326]

, и все стихийные движения — эти зачаточные попытки добиться вольностей — имеют явной или тайной точкой опоры английский феодализм. Лорды не без пользы для себя ревниво следили за престолом; ревновать — значит не спускать с глаз; они ограничивают королевский произвол, сужают понятие измены королю, выставляют против Генриха IV лже-Ричардов[327]

, присваивают себе функции верховных судей, решают тяжбу о трех коронах между герцогом Йоркским и Маргаритой Анжуйской[328]

, в случае нужды сами снаряжают войска и с переменным успехом сражаются между собой, как это было при Шрусбери, Тьюксбери и Сент-Олбане. Уже в тринадцатом столетии они одержали победу при Льюисе и изгнали из королевства четырех братьев короля, побочных сыновей Изабеллы и графа Марча, за лихоимство и притеснение христиан при посредстве евреев; с одной стороны, это были принцы, с другой — обыкновенные мошенники; подобное сочетание довольно часто встречается и поныне, но в прежние времена оно не пользовалось уважением. До пятнадцатого века в короле Англии еще чувствуется нормандский герцог, и парламентские акты пишутся на французском языке; начиная с

царствования Генриха VII эта акты, по настоянию лордов, пишутся уже на английском. Англия, бывшая бретонской при Утэре Пендрагоне, римской при Цезаре, саксонской при семивластии, датской при Гарольде, нормандской после Вильгельма[329]

, благодаря лордам становится, английской. Затем она делается англиканской. Собственная церковь — большая сила. Глава церкви, находящийся вне пределов страны, обескровливает ее. Всякая Мекка высасывает, как спрут. В 1534 году Лондон порывает с Римом, пэрство соглашается на реформацию, и лорды признают Лютера, — таков ответ на отлучение от церкви, состоявшееся в 1215 году. Генриху VIII это было на руку, но в других отношениях лорды его стесняли: они стояли перед, ним, как бульдог перед медведем. Кто стал грозно скалить зубы, когда Уолсей[330]

незаконно отнял Уайт-Холл у народа, а Генрих VIII отобрал его у Уолсея? — Четыре лорда: Дарси Чичестер, Сент-Джон Блетсо и (два нормандских имени) — Маунтжуа и Маунтигль. Король стремится захватить всю власть. Пэры урезывают ее. Преемственность власти в значительной мере обусловливает ее неподкупность: этим объясняется непокорность лордов. Даже при Елизавете

бароны осмеливаются бунтовать. Это вызывает дерхемские казни. Юбка этой тиранки забрызгана кровью казненных. Плаха, скрытая под фижмами, — вот что такое царствование Елизаветы. Она созывает парламент как можно реже и ограничивает число лордов верхней палаты шестьюдесятью пятью, оставив в ней одного лишь маркиза Вестминстера и исключив всех герцогов. Впрочем, во Франции короли так же ревниво оберегали свою власть и ограничивали число пэров. При Генрихе III было только восемь герцогов-пэров; бароны де Мант, де Куси, де Куломье, де Шатонеф-Римере, де Ла Фер-Тарденуа, де Мортань и еще некоторые другие сохранили свое пэрское достоинство, к величайшему неудовольствию короля. В Англии короли охотно допускали вымирание пэрских родов; достаточно сказать, что при Анне число угасших с двенадцатого века пэрских родов дошло до шестидесяти пяти. Истребление герцогов, начало которому положила война Алой и Белой Розы, было довершено топором Марии Тюдор. Так обезглавили дворянство. Уничтожить герцога — значило лишить дворянство его главы. Политика, конечно, сама по себе недурная, но все же подкуп лучше убийства. Это прекрасно понял Иаков I. Он восстановил герцогское достоинство.

Он сделал герцогом своего фаворита Вильерса, величавшего его «ваше свинство». Герцог-феодал превращается в герцога-придворного. Со временем их развелось несчетное множество. Карл II жалует герцогское достоинство двум своим любовницам — Барбаре Саутгемптон и Луизе Керуэл. При Анне насчитывается двадцать пять герцогов, из них три иностранца: Кемберленд, Кембридж и Шонберг. Имеет ли успех хитрость Иакова I? Нет. Палата лордов подозревает в этом происки и приходит в негодование. Она негодует на Иакова I, негодует и на Карла I, который, кстати говоря, быть может отчасти повинен в смерти своего отца, так же как Мария Медичи, быть может, повинна в смерти своего мужа. Между Карлом I и палатой лордов происходит разрыв. Лорды, которые при Иакове I привлекали к суду взяточничество в лице Бекона, при Карле I судят государственную измену в лице Страффорда[331]

Они вынесли обвинительный приговор Бекону, они выносят его и Страффорду. Один потерял честь, другой — жизнь. Карл I обезглавлен в первый раз в лице Страффорда. Лорды оказывают поддержку нижней палате. Король созывает парламент в Оксфорде, революция созывает его в Лондоне; сорок три пэра принимают сторону

короля, двадцать два — сторону республики. Приобщив таким образом народ к власти, лорды подготовляют почву для «Билля о правах», первоначального наброска «Декларации прав человека», — из глубины грядущего французская революция бросает бледную тень на революцию английскую.

Такова польза от сословия пэров. Пускай невольная. И дорого стоившая народу, ибо пэрство — чудовищный паразит. Но польза все же значительная. Все то, что имело место во Франции, — укрепление деспотизма при Людовике XI, Ришелье и Людовике XIV; установление чисто султанского режима; приниженность, выдаваемая за равенство; превращение скипетра в палку; всеобщий гнет, весь этот турецкий уклад миновали Англию именно благодаря лордам. Это они сделали из аристократии стену, которая, с одной стороны, сдерживала, точно плотиной, королевскую волю, с другой — защищала народ. Свое высокомерие по отношению к народу они искупают дерзостью по отношению к королю. Граф Саймон Лестер сказал в лицо Генриху III: «Король, ты солгал». Лорды навязывают короне ряд ограничений; они задевают чувствительное место короля — охоту. Всякий лорд, проезжая

через королевский парк, имеет право убить в нем серну. Лорд чувствует себя как дома во дворце короля. Предусмотренная законом возможность заключения короля в Тауэр и определение ему в этом случае еженедельного содержания в размере двенадцати фунтов стерлингов, то есть не больше, чем пэру, — это дело палаты лордов. Мало того, ей же Англия обязана развенчанием ряда королей. Лорды лишили престола Иоанна Безземельного, свергли Эдуарда II, удалили Ричарда II, сломили Генриха VI и сделали возможным появление Кромвеля. Какой Людовик XIV таился в Карле II! Но Кромвель помешал ему развернуться. Кстати, упомянем мимоходом об одном обстоятельстве, на которое не обратил внимания ни один историк, а именно: Кромвель сам домогался пэрства; в этих целях он женился на Елизавете Борчир, родственнице и наследнице лорда Борчира, пэрство которого угасло в 1471 году, и другого Борчира, лорда Робсарта, род которого угас в 1429 году. Стараясь не отстать от событий, развивавшихся со страшной быстротой, Кромвель, однако, нашел, что проще прийти к власти, убрав короля, чем домогаясь от него пэрства.

Мрачный церемониал суда, установленный для лордов, распространился и на короля. Если

король представал перед судом пэров, у него, как у обыкновенного лорда, по бокам стояли два вооруженных топорами тюремщика из Тауэра. На протяжении пяти веков древняя палата лордов упорно придерживалась одного и того же направления. Можно перечесть по пальцам те редкие случаи, когда ее подозрительность и настороженность ослабевали, как, например, в тот злополучный день, когда она позволила соблазнить себя присланное папой Юлием II галерой, груженной сырами, окороками и греческими винами. Английская аристократия была беспокойна, надменна, упряма, сурова и недоверчива. Именно она в конце XVII столетия десятым актом 1694 года лишила местечко Стокбридж в Саутгемптоне права представительства в парламенте и заставила палату общин кассировать выборы в этом местечке, запятнавшем себя приверженностью папистам. Это она предложила Иакову, герцогу йоркскому, принести присягу в отречении от католических догматов и устранила его от престолонаследия, когда он отказался. Правда, он все-таки стал королем, но лордам в конце концов удалось захватить его и изгнать из пределов страны. За долгий период своего существования английская аристократия не раз проявляла

бессознательное тяготение к прогрессу. Она в какой-то мере была носительницей просвещения, правда за исключением последнего времени, то есть наших дней. При Иакове II она соблюдала в нижней палате определенную пропорцию между горожанами и дворянами, а именно — на триста сорок шесть горожан приходилось там девяносто два дворянина; шестнадцать баронов, представители от Пяти Портов, имели вполне достаточный противовес в лице пятидесяти граждан, депутатов от двадцати пяти городов. Несмотря на свое развращающее влияние и эгоизм, эта аристократия в некоторых случаях проявляла беспристрастие. Ее судят слишком строго. История относится снисходительно только к палате общин; это едва ли справедливо. Мы находим, что роль лордов весьма значительна. Олигархия — довольно первобытная форма независимости, но все-таки это независимость. Взять, например, Польшу, которая, будучи королевством по названию, в действительности являлась республикой. Английские пэры относились к престолу с подозрением и держали его под опекой. Во многих случаях лорды навлекали на себя королевскую немилость в большей мере, чем палата общин. Они нередко делали шах королю. Так,

в достопамятном 1694 году билль о трехлетнем парламенте, отвергнутый палатой общин как неугодный Вильгельму III, был утвержден в палате пэров; Вильгельм III, придя в ярость, отнял у графа Бата замок Пенденнис и лишил виконта Мордаунта всех занимаемых им должностей. Палата лордов была своего рода Венецианской республикой в самом сердце королевской Англии. Низвести короля до уровня дожа — такова была ее цель, и она обогащала народ тем, что отнимала у короля.

Королевская власть сознавала это и ненавидела пэров. Обе стороны старались ослабить одна другую. Ущерб, наносимый ими друг другу, шел на пользу народу. Эти две слепые силы — монархия и олигархия — не замечали, что работают в интересах третьей — демократии. Как ликовал в прошлом столетии королевский двор, когда удалось повесить одного из пэров, лорда Ферерса!

Впрочем, отдавая дань учтивости, его повесили на шелковой веревке.

«Пэра Франции не повесили бы», — гордо заметил герцог Ришелье. Совершенно верно. Ему отрубили бы голову. Это еще учтивее. Монморанси-Танкервилл подписывался: «Пэр Франции и Англии», отодвигая, таким образом, англий-

ское пэрство на второе место. Французские пэры стояли выше английских, но были менее могущественны, так как дорожили титулом больше, чем действительной властью, и почетным первенством больше, чем фактическим господством. Между ними и английскими лордами была такая же разница, как между тщеславием и гордостью. Стоять выше чужестранных принцев, идти впереди испанских грандов во время церемоний, затмевать венецианских патрициев; сажать в парламенте на скамьи низших рядов маршалов Франции, коннетабля и адмирала Франции, хотя бы им был сам граф Тулузский, сын Людовика XIV; устанавливать различие между герцогством по мужской и женской линии, проводить грань между простым графством вроде Арманьякского или Альбретского и графством-пэрством вроде Эвре; носить чуть ли не в двадцатипятилетнем возрасте голубую орденскую ленту через плечо или орден Золотого Руна; противопоставлять герцогу де ла Тремуйль, старейшему пэру королевства, герцога д'Юзеса, старейшего пэра парламента; домогаться права иметь столько же пажей и запрягать в карету столько же лошадей, сколько полагалось немецкому курфюрсту; требовать, чтобы председатель государственного совета на-

зывал пэров «монсеньерами»; обсуждать вопрос; вправе ли герцог Мэнский, имеющий в качестве графа д'Э звание пэра с 1458 года, проходить через большой зал заседаний по диагонали или вдоль стен, — вот что было самым важным для пэров Франции. Английских лордов гораздо больше занимали вопросы о навигационном акте, о клятвенном отречении от католических догматов, об использовании Европы в интересах Англии, о господстве на морях, об изгнании Стюартов, о войне с Францией. Для первых главное — этикет, для вторых — подлинная власть. Пэры Англии захватили добычу, пэры Франции гонялись за призраком.

В общем, английская палата лордов сыграла существенную роль в истории цивилизации страны. Ей выпала честь основать нацию. Она явилась первым по времени воплощением народного единства. Сопротивление английского народа — эта мрачная, но могучая сила — зародилось в палате лордов. Рядом насилий над своим монархом бароны подготовили почву для окончательного низвержения королей. Нынешняя палата лордов сама несколько удивлена и огорчена тем, что она когда-то бессознательно и помимо своей воли совершила. Тем более что все

это непоправимо. Что такое уступки? Восстановление в правах. И народы прекрасно понимают это. «Жалую», — говорит король. «Беру свое», — говорит народ. Думая добиться привилегий для пэров, палата лордов давала права гражданам. Аристократия подобна ястребу, высидевшему яйцо орла — свободу.

В наши дни это яйцо разбито, орел парит в облаках, ястреб издыхает.

Аристократия корчится в предсмертных судорогах, народ Англии растет.

Но будем справедливы к аристократии. Она удерживала королевскую власть в известных границах, она была ее противовесом. Она служила преградой для деспотизма; она была барьером.

Поблагодарим же ее и предадим земле.

3. Старинный зал

Близ Вестминстерского аббатства стоял старинный нормандский дворец, сгоревший в царствование Генриха VIII. От этого здания уцелело два флигеля. В одном из них Эдуард VI поместил палату лордов, в другом — палату общин.

Ни флигелей, ни обоих залов в настоящее время уже не существует, — все перестроено.

Мы уже упоминали и теперь снова повторяем, что между прежней и нынешней палатой лордов

нет никакого сходства. Разрушив старинный дворец, уничтожили и некоторые старинные обычаи. Удары лома, наносимые древним памятникам, отзываются также на обычаях и на хартиях. Старый камень, падая, увлекает за собой какой-нибудь старый закон. Поместите в круглом зале сенат, заседавший в зале квадратном, и он окажется другим. Форма моллюска изменяется по мере изменения формы раковины.

Если вы хотите сохранить какое-нибудь старинное установление, будь оно происхождения человеческого или божественного; будь оно кодексом или догматом, аристократией или жреческим сословием, — ничего не переделывайте в нем заново, даже наружной оболочки. В крайнем случае положите заплату. Орден иезуитов, например, — заплата на католицизме. Если хотите уберечь от перемен учреждения, ничего не меняйте в зданиях.

Тени должны жить среди развалин. Обветшалой власти не по себе в заново отделанном помещении. Если учреждение пришло в упадок, ему нужен полуразрушенный дворец.

Показать внутренность прежней палаты лордов — значит показать неведомое. История — та же ночь. В ней нет заднего плана. Все, что не

находится на авансцене, немедленно пропадает из виду и тонет во мраке. Когда декорации убраны, память о них исчезает, наступает забвение. Прошедшее и неведомое — синонимы.

Пэры Англии в качестве верховных судей заседали в большом зале Вестминстера, а в качестве законодателей — в особом зале, носившем название «дома лордов», house of the lords.

Кроме суда пэров, созывавшегося только по инициативе короны, в большом Вестминстерском зале заседали еще два судебных учреждения, стоявших ниже суда пэров, но выше всех остальных судебных органов. Они занимали два смежных отделения в передней части этого зала. Первое из них, носившее название «суда королевской скамьи», возглавлялось самим королем, второе именовалось канцлерским судом, и в нем председательствовал канцлер. Одно было органом карающим, другое — милующим. Именно канцлер возбуждал перед королем вопрос о помиловании, но случалось это редко. Оба эти судилища, существующие и поныне, толковали законы, а иногда слегка изменяли их. Искусство судьи состоит в том, чтобы судебной практикой устранять шероховатости свода законов — ремесло, от которого справедливость нередко страдает.

В суровом большом Вестминстерском зале вырабатывались и применялись законы. Сводчатый потолок этого зала был из каштанового дерева, на котором не может завестись паутина; достаточно было и того, что она завелась в законах.

Заседать как суй и как законодательная палата — две разные вещи. Из двух этих прерогатив слагается верховная власть. «Долгий парламент», начавший заседать 3 ноября 1640 года, почувствовал необходимость вооружиться в революционных целях этим двойным мечом. Поэтому, подобно палате лордов, он объявил себя не только властью законодательной, но и властью судебной.

Эта двойная власть с незапамятных времен принадлежит палате лордов. Мы только что говорили, что в качестве судей лорды занимали Вестминстер-Холл, а в качестве законодателей заседали в другом помещении.

Палата лордов в собственном смысле занимала продолговатый и узкий зал. Он освещался только четырьмя окнами, проделанными в потолке, так что свет проникал в него через крышу и через затянутое занавесками круглое оконце в шесть стекол над королевским балдахином; вечером здесь зажигали только дюжину канделябров,

висевших на стенах. Освещение в зале венецианского сената было еще более скудным. Подобно совам, всемогущие вершители народных судеб любят полумрак.

Над залом, где заседали лорды, высился огромный многогранный, украшенный позолотой свод. В палате общин потолок был плоским; в сооружениях, воздвигаемых при монархическом строе, все имеет свой определенный смысл. В одном конце длинного зала палаты лордов находилась дверь, в другом, противоположном, — трон. В нескольких шагах от двери тянулся барьер, пересекая зал поперек и образуя своего рода границу, обозначавшую, где кончается место народа и начинаются места знати. Направо от трона, на камине, украшенном наверху гербом, выступали два мраморных барельефа: один с изображением победы Кетуольфа над бретонцами в 572 году, другой — с планом местечка Денстебль, в котором было только четыре улицы, соответственно четырем странам света. К трону вели три ступени. Он назывался «королевским креслом». По обе стороны от трона стены были обтянуты рядом тканых шпалер, подаренных Елизаветой палате лордов и в последовательном порядке представлявших все злоключения испанской Армады,

начиная с ее отплытия из Испании и кончая ее гибелью у берегов Англии. Надводные части судов были вытканы золотыми и серебряными нитями, почерневшими от времени. Под этими шпалерами, разделенными стенными канделябрами, стояли направо от трона три ряда скамей для епископов, налево столько же рядов скамей для герцогов, маркизов и графов; скамьи шли уступами и разделялись проходами. На трех скамьях первого сектора восседали герцоги, второго — маркизы, третьего — графы. Скамьи виконтов, поставленные под прямым углом одна к другой, помещались прямо против трона, а между ними и барьером стояли две скамьи для баронов. Верхнюю скамью направо от трона занимали два архиепископа — Кентерберийский и Йоркский, среднюю — три епископа: Лондонский, Дерхемский и Винчестерский, нижнюю — остальные епископы. Между архиепископом Кентерберийским и другими епископами существует важное различие: он является епископом «промыслом божиим», между тем как прочие — епископы лишь «соизволением божиим». Направо от трона стояло кресло для принца Уэльского, налево — складные стулья для принцев крови, а позади этих стульев — скамья для несовершеннолетних

пэров, не имеющих еще права заседать в палате. Всюду — множество королевских лилий, а на всех четырех стенах над головами пэров, так же как и над головой королевы, — громадные щиты с гербом Англии. Сыновья пэров и наследники пэрств присутствовали на заседаниях, стоя позади трона, между балдахином и стеной. Между троном, находившимся в глубине зала, и тремя рядами скамей вдоль стен оставалось еще большое свободное пространство в форме четырехугольника. На ковре с гербами Англии, устилавшем это пространство, лежало четыре мешка, набитых шерстью[332]

; один, прямо перед троном, — для канцлера, который сидел на нем, держа булаву и государственную печать; второй, перед епископами, — для судей — государственных советников, имевших право присутствовать без права голоса; третий, против герцогов, маркизов и графов, — для государственных секретарей; четвертый, против виконтов и баронов, — для клерков: коронного и парламентского; на нем писали, стоя на коленях, их помощники. В центре этого четырехугольника стоял большой, покрытый сукном стол, заваленный бумагами, списками, счетными книгами, с массивными, чеканной работы, чернильница-

ми и с высокими светильниками по четырем углам. Пэры занимали места «в хронологическом порядке» — каждый соответственно древности его рода. Они рассаживались, соблюдая двойное старшинство — титула и времени его пожалования. У барьера стоял пристав черного жезла, держа в руке эту эмблему своей должности; у дверей — его помощник, за дверьми — глашатай черного жезла, на обязанности которого лежало открывать заседание возгласом: «Слушайте». Он трижды произносил это слово по-французски, торжественно растягивая первый слог. Рядом с глашатаем стоял булавоносец канцлера.

Когда заседания палаты происходили в присутствии короля, светские пэры надевали корону, а духовные — митру. Архиепископы носили митры с герцогской короной, а епископы, приравненные к виконтам, — митру с короной баронской.

Странное и вместе с тем поучительное обстоятельство: четырехугольник, образованный троном, скамьями епископов и баронов, с коленопреклоненными чиновниками посредине, был точной копией древнего парламента Франции при двух первых династиях. И во Франции и в Англии власть принимала одни и те же внешние формы. В 853 году Гинкмар в трактате «De

ordinatione sacri palatii»[333]

как будто описывает заседание палаты лордов, происходящее в Вестминстере в восемнадцатом веке. Курьезный протокол, составленный за девятьсот лет до самого события.

Что такое история? Отголосок прошедшего в будущем. Отсвет, отбрасываемый будущим на прошедшее.

Созыв парламента был обязательным лишь через каждые семь лет.

Лорды совещались тайно, при закрытых дверях. Заседания же палаты общин были публичными. Гласность казалась умалением достоинства.

Число лордов было неограниченным. Назначение новых лордов королем было своего рода угрозой. Это было способом дать почувствовать строптивым лордам королевскую власть.

В начале восемнадцатого столетия число заседавших в палате лордов достигло весьма внушительной цифры. С тех пор оно возросло еще больше. Такое разбавление аристократии новыми лицами преследовало определенную политическую цель. Елизавета, быть может, допустила ошибку, сократив число пэров до шестидесяти пяти. Чем малочисленнее знать, тем она сильнее. Чем многолюднее ее сборище, тем

меньше в нем голов. Иаков II отлично сознавал это, увеличивая число лордов в верхней палате до ста восьмидесяти восьми или до ста восьмидесяти шести, если исключить отсюда двух герцогинь королевского алькова — Портсмут и Кливленд. При Анне общее число пэров, включая и епископов, достигло двухсот семи.

Не считая герцога Кемберлендского, супруга королевы, герцогов было двадцать пять, из коих первый, Норфолк, не заседал в палате, так как был католиком, а последний, герцог Кембриджский, курфюрст Ганноверский, входил в ее состав, хотя и был иностранцем. Винчестер, называвшийся первым и единственным маркизом Англии, подобно тому как в Испании единственным маркизом был Асторга, был якобитом[334]

и потому отсутствовал; но вместо него было еще пять маркизов: старшим из них считался Линдсей, а младшим — Лотиан; семьдесят девять графов: из них старшим был Дерби, а младшим — Айлей; девять виконтов: из них старший — Герфорд, а младший — Лонсдейл; шестьдесят два барона: из них старший — Эбергевени, а младший — Гарвей, который в качестве самого младшего члена палаты назывался «меньшим». Дерби, который при Иакове II был четвертым по

старшинству, так как выше него стояли графы Оксфорд, Шрусбери и Кент, при Анне занял среди графов первое место. В ту пору из списков баронов исчезли имена двух канцлеров: Верулама, известного истории как Бэкон, и Уэма, известного под именем Джеффриса; Бэкон и Джеффрис — имена мрачные, каждое по-своему. В 1705 году из двадцати шести епископов оставалось двадцать пять, так как Честерская епархия была вакантна. Среди епископов встречались знатные вельможи, как, например, Вильям Талбот, архиепископ Оксфордский, глава протестантской ветви своего дома. Другие были выдающимися учеными, как, например, Джон Шарп, архиепископ Йоркский, бывший деканом в Норвике, поэт Томас Спратт, епископ Рочестерский, человек апоплексической наружности, или епископ Линкольнский Уэйк, противник Боссюэ, умерший в сане архиепископа Кентерберийского.

В особо важных случаях, когда, например, верхней палате предстояло выслушать какое-либо королевское сообщение, все это величественное сборище в мантиях, в париках, митрах или шляпах с белыми перьями заполняло пэрский зал и рассаживалось ступенчатыми рядами вдоль стен, на которых в полумраке можно было разглядеть

изображение бури, уничтожающей испанскую Армаду. Эта картина как бы говорила: «И буря повинуется Англии».

4. Палата лордов в старину

Вся церемония посвящения Гуинплена в звание пэра и введения в палату лордов, начиная со въезда в Королевские ворота и кончая торжественным отречением от католических догматов в стеклянной ротонде, происходила в полутьме.

Лорд Вильям Коупер не допустил, чтобы ему, канцлеру Англии, слишком подробно докладывали об уродстве молодого лорда Фермена Кленчарли; он находил ниже своего достоинства знать, что пэр может быть некрасивым, и счел бы себя оскорбленным дерзостью подчиненного, который отважился бы сообщить ему такого рода сведения. Без сомнения, какой-нибудь простолюдин скажет с особенным злорадством: «А ведь принц-то горбат». Поэтому уродство оскорбительно для лорда. Когда королева Анна мельком упомянула о наружности Гуинплена, лорд-канцлер ограничился тем, что заметил; «Красота вельможи — в его знатности». Но в общем из ее слов и из протоколов, которые пришлось проверить и засвидетельствовать, он понял все. Потому-то он и принял некоторые предосторожности.

Лицо нового лорда при его вступлении в палату могло произвести нежелательное впечатление. Это нужно было как-то предотвратить. Лорд-канцлер принял некоторые меры. Как можно меньше неприятных происшествий — таково упорное стремление и неизменное правило поведения всех сановных лиц. Отвращение к скандалам — неотъемлемая черта всякой важной персоны. Необходимо было позаботиться о том, чтобы представление Гуинплена произошло без осложнений, подобно тому как происходит представление любого наследника пэрства.

Вот почему лорд-канцлер назначил эту церемонию на вечер. Канцлер, будучи как бы привратником, quodammodo ostiarius, как говорится в нормандских хартиях, или j'anuarum cancellorumque potestas[335]

, по выражению Тертуллиана, может исполнять свои обязанности не только в самой палате, но и в преддверии ее; лорд Вильям Коупер воспользовался этим правом и выполнил все формальности посвящения лорда Фермена Кленчарли в стеклянной ротонде. Кроме того, он назначил церемонию на ранний час, чтобы новый пэр вступил в палату еще до начала вечернего заседания.

Что касается возведения в пэрское достоинство

вне парламентского зала, то примеры этому бывали и прежде. Так, первый наследственный барон Джон Бошан из Холт-Касла, получивший в 1387 году от Ричарда II титул барона Киддерминстера, был принят в палату именно таким образом.

Впрочем, последовав этому примеру, лорд-канцлер сам поставил себя в затруднительное положение, все неудобства которого он понял только два года спустя, при вступлении в палату лордов виконта Ньюхевена.

Благодаря своей близорукости, о которой мы уже упоминали, лорд Вильям Коупер почти не заметил уродства Гуинплена; лорды же восприемники также не разглядели его: оба они были почти совершенно слепы от старости.

Потому-то лорд-канцлер и остановил на них свой выбор.

Мало того, лорд-канцлер, видевший только фигуру и осанку Гуинплена, нашел, что он весьма представителен.

В ту минуту, когда оба привратника распахнули перед Гуинпленом двустворчатую дверь, в зале находилось лишь несколько лордов: почти все они были стариками. Старики так же аккуратно являются на собрание, как усердно ухаживают за молодыми женщинами. На скамье герцо-

гов были только два герцога. Один, белый как лунь, — Томас Осборн, герцог Лидс, другой, с проседью, — Шонберг, сын того Шонберга, который, будучи немцем по происхождению, французом по маршальскому жезлу и англичанином по пэрству, воевал сначала как француз против Англии, а затем, изгнанный Нантским эдиктом, стал воевать уже как англичанин против Франции. На скамье князей церкви в верхнем углу сидел лишь архиепископ Кентерберийский, старшая духовная особа Англии, а внизу — доктор Саймон Патрик, епископ Илийский, беседовавший с Эвелином Пирпонтом, маркизом Дорчестером, который объяснял ему разницу между габионом и куртином, между палисадами и штурмфалами; палисады представляли собой ряд столбов, водруженных перед палатками, и предназначались для защиты лагеря, штурмфалами же назывался ряд остроконечных кольев перед крепостным валом, преграждавший доступ осаждающим и не позволявший бежать осажденным; маркиз объяснял епископу, как обносят этими кольями редут, врывая их до половины в землю. Томас Тинн, виконт Уэймет, подойдя к канделябру, рассматривал представленный ему архитектором план устройства в его английском парке в

Уилтшире дерновой лужайки, разбитой на квадраты, окаймленные желтым и красным песком, речными раковинами и каменноугольной пылью. На скамье виконтов сидели, не соблюдая старшинства, старые лорды Эссекс, Оссалстоун, Перегрин, Осборн, Вильям Зулстайн, граф Рошфор и несколько молодых лордов, из числа тех, что не носили париков; они окружали Прайса Девере, виконта Герфорда, и обсуждали вопрос, можно ли заменить чай настоем из листьев зубчатолистника. «Можно отчасти», — говорил Осборн. «Можно вполне», — утверждал Эссекс. К их разговору внимательно прислушивался Полете Сент-Джон, двоюродный брат Болингброка, учеником которого в какой-то степени был позднее Вольтер, ибо его развитие, начавшееся в школе отца Поре[336]

, завершилось влиянием Болингброка. На скамье маркизов Томас Грей, маркиз Кент, лорд-камергер королевы, уверял Роберта Берта, маркиза Линдсея, лорда-камергера Англии, что главный выигрыш большой английской лотереи в 1614 году достался двум французским выходцам: Лекоку, бывшему члену парижского парламента, и господину Равенелю, бретонскому дворянину. Граф Уаймс читал книгу под заглавием «Любопытные предсказания сивилл». Джон Кемпбел,

граф Гринич, известный своим длинным подбородком и редкой для старика восьмидесяти семи лет игривостью писал письмо своей любовнице. Лорд Чандос занимался отделкой ногтей. Ввиду того, что предстояло королевское заседание, то есть такое, на котором корона должна была быть представленной комиссарами, два помощника привратников ставили перед троном обитую ярко-красным бархатом скамью. На втором мешке с шерстью сидел блюститель списков, sacrorum scriniorum magister, занимавший в те времена дом, в котором прежде жили обращенные в христианство евреи. На четвертом мешке два помощника клерка, стоя на коленях, перелистывали актовые книги.

Между тем лорд-канцлер занял место на первом мешке с шерстью, парламентские чиновники тоже заняли свои места, кто сидя, кто стоя; архиепископ Кентерберийский, поднявшись, прочел вслух молитву, и заседание палаты началось. К тому времени Гуинплен уже вошел, не обратив на себя ничьего внимания; скамья баронов, на которой он сидел, была ближайшей к перилам, так что ему пришлось пройти лишь несколько шагов. Лорды-восприемники сели по обе стороны его, благодаря чему появление нового лорда

осталось незамеченным. Никто не был предупрежден, и парламентский клерк вполголоса, чуть ли не шепотом, прочел все документы, относившиеся к новому лорду, а лорд-канцлер объявил о его принятии в сословие пэров среди «всеобщего невнимания», как говорится в отчетах.

Все были заняты разговорами. В зале стоял тот особый гул, пользуясь которым, в собраниях часто «под шумок» проводят постановления, впоследствии вызывающие удивление самих участников.

Гуинплен сидел молча, с обнаженной головой, между двумя стариками, своими восприемниками, — лордом Фицуолтером и лордом Эранделом.

Необходимо заметить, что Баркильфедро, в качестве шпиона осведомленный обо всем и решивший во что бы то ни стало с успехом довести до конца свой замысел, в официальных донесениях лорд-канцлеру скрыл до известной степени уродство лорда Фермена Кленчарли, особо настаивая на том, что Гуинплен мог усилием воли подавлять на своем лице выражение смеха и сообщать серьезность своим изуродованным чертам. Баркильфедро, быть может, даже преувеличил эту способность. Впрочем, какое могло все это иметь значение в глазах аристо-

кратии? Ведь сам лорд-канцлер Вильям Коупер был автором знаменитого изречения: «В Англии восстановление пэра в его правах имеет большее значение, чем реставрация короля». Разумеется, красоте и знатности следовало бы быть неразлучными; досадно, что лорд обезображен; это, конечно, злобная насмешка судьбы, но в сущности разве это может отразиться на его правах? Лорд-канцлер принял известные предосторожности и поступил правильно, но в конце концов даже если б они и не были приняты, что могло бы помешать пэру вступить в палату лордов? Разве родовитость и королевское происхождение не искупают любого уродства и увечья? Разве в древней фамилии Кьюменов, графов Бьюкен, угасшей в 1347 году, не передавался из рода в род, наравне с пэрским достоинством, дикий, хриплый голос, так что по одному уж этому звериному рыку узнавали отпрысков шотландского пэра? Разве отвратительные кроваво-красные пятна на лице Цезаря Борджа помешали ему быть герцогом Валантинуа? Разве слепота помешала Иоанну Люксембургскому быть королем Богемии? Разве горб помешал Ричарду III стать королем Англии? Если вдуматься как следует, то окажется, что увечье и безобразие, переносимые с высокомерным

равнодушием, не только не умаляют величия, но даже поддерживают и подчеркивают его. Знать так величественна, что ее не может унизить никакое уродство. Такова другая, не менее важная, сторона вопроса. Как видит читатель, ничто не могло воспрепятствовать принятию Гуинплена в число пэров, и благоразумные предосторожности лорд-канцлера, целесообразные во всяком ином случае, оказались совершенно излишними с точки зрения аристократических принципов.

При входе в зал Гуинплен, следуя наставлению герольдмейстера и напоминаниям обоих восприемников, поклонился «королевскому креслу».

Итак, все было кончено. Он стал лордом.

Он достиг ее, этой чудесной вершины, перед ослепительным сиянием всю свою жизнь с ужасом преклонялся его учитель Урсус. Теперь Гуинплен попирал ее ногами.

Он находился в самом знаменитом и самом мрачном месте Англии.

Это была древнейшая вершина феодализма, на которую в продолжение шести веков взирали Европа и история. Страшное сияние, вырвавшееся из царства тьмы.

Он вступил в круг этого сияния. Вступил безвозвратно.

Он был теперь в своей среде, на своем месте, как король на своем.

Отныне ничто не могло помешать ему остаться здесь.

Эта королевская корона, которую он видел над балдахином, была родной сестрой его собственной короне. Он был пэром этого трона.

Перед лицом королевской власти он олицетворял собою знать. Он был меньше, чем король, но подобен ему.

Кем был он еще вчера? Скоморохом. Кем стал он сегодня? Властелином.

Вчера он — ничто, сегодня — все.

Столкнувшись внезапно лицом к лицу в глубине одной души, ничтожество и могущество стали двумя половинами одного и того же сознания.

Два призрака — призрак нищеты и призрак благоденствия, — овладев одной и той же душой, влекли ее каждый в свою сторону. Эти братья-враги, бедность и богатство, вступив в трагическое столкновение, делили между собою разум, волю и совесть одного человека. Авель и Каин воплотились в одном лице.

5. Высокомерная болтовня

Мало-помалу скамьи палаты заполнились.

Начали появляться лорды. В порядке дня стоял билль об увеличении на сто тысяч фунтов стерлингов ежегодного содержания Георгу Датскому, герцогу Кемберлендскому, супругу королевы. Кроме того, было объявлено, что несколько биллей, одобренных ее величеством, будут представлены в палату коронными комиссарами, на которых возложено право и обязанность утвердить их; тем самым заседание приобретало значение королевского. Все пэры были в парламентских мантиях, накинутых поверх своей обычной одежды или придворных костюмов. На всех были одинаковые мантии, такие же, как и на Гуинплене, с той лишь разницей, что у герцогов было по пять горностаевых, обшитых золотом полос, у маркизов четыре, у графов и виконтов три, а у баронов две. Лорды входили группами, продолжая беседу, начатую еще в коридорах. Некоторые появлялись поодиночке. Одеяния были парадными, в позах же и в словах не было ничего торжественного. Входя, каждый из лордов кланялся трону.

Пэры все прибывали. Все эти обладатели громких имен входили в зал почти без всякого церемониала, так как посторонней публики не было. Вошел Лестер и пожал руку Личфилду; затем явились Чарльз Мордаунт, граф Питерборо,

и Монмут, друг Локка, по инициативе которого он в свое время предложил переливку монеты; Чарльз Кемпбел, граф Лоудоун, которому что-то нашептывал Фук Гревилл, лорд Брук; Дорм, граф Карнарвон; Роберт Сеттон, барон Лексингтон, сын того Лексингтона, который посоветовал Карлу II прогнать историографа Грегорио Лети, слишком недостаточно догадливого, чтобы быть историком; красивый старик Томас Белласайз, виконт Фалькомберг; трое двоюродных братьев Ховардов: Ховард, граф Биндон, Боур-Ховард, граф Беркшир, и Стаффорд-Ховард, граф Стаффорд; Джон Ловлес, барон Ловлес, чей род прекратился в 1736 году, что позволило Ричардсону[337]

ввести Ловлеса в свой роман и создать под этим именем определенный тип. Все эти лица, выдвинувшиеся либо в области политики, либо на войне и прославившие собою Англию, смеялись и болтали. Это была сама история в домашнем халате.

Меньше чем за полчаса палата оказалась почти в полном составе. Дело объяснялось просто — предстояло королевское заседание. Более необычным обстоятельством были оживленные разговоры. Палата, еще недавно погруженная в сонную тишину, загудела, как потревоженный

улей. Пробудило ее от дремоты появление запоздавших лордов. Они принесли с собой любопытные вести. Странное дело: пэры, находившиеся в палате с начала заседания, не подозревали о том, что произошло в палате, тогда как те, что отсутствовали, знали обо всем.

Многие лорды приехали из Виндзора.

Уже несколько часов, как все происшедшее с Гуинпленом стало достоянием гласности. Тайна — та же сеть: достаточно, чтобы порвалась одна петля, и все расползается. Весть о происшествиях, уже известных читателю, вся история о пэре, найденном на подмостках, о скоморохе, признанном лордом, еще утром разнеслась по Виндзору в кругу приближенных королевы. Об этом заговорили сначала вельможи, затем лакеи. Вслед за королевским двором событие стало известно всему городу. События имеют свой вес, и к ним вполне применим закон квадрата скоростей. Обрушиваясь на публику, они с невероятной быстротой вызывают всевозможные толки. В семь часов в Лондоне никто и понятия не имел об этой истории. В восемь часов в городе только и говорили, что о Гуинплене. Лишь несколько пожилых лордов, прибывших до открытия заседания, ни о чем не догадывались, так как не успели побывать в

городе, где о случившемся кричали на всех перекрестках, а провели это время в палате и ровно ничего не заметили. Они невозмутимо сидели на скамьях, когда вновь прибывшие члены взволнованно обратились к ним.

— Каково? — спрашивал Френсис Броун, виконт Монтекьют, маркиза Дорчестера.

— Что?

— Неужели это возможно?

— Что?

— Да «Человек, который смеется»!

— Что это за «Человек, который смеется»?

— Как, вы не знаете «Человека, который смеется»?

— Нет.

— Это клоун. Ярмарочный комедиант. Невероятно уродливый, такой уродливый, что его доказывали в балагане за деньги. Фигляр.

— Ну и что же?

— Вы только что приняли его в пэры Англии.

— Вы сами — человек, который смеется, милорд Монтекьют.

— Я нисколько не смеюсь, милорд Дорчестер.

Виконт Монтекьют знаком подозвал парламентского клерка, и тот, поднявшись с мешка, набитого шерстью, подтвердил их светлостям

факт принятия нового пэра. Затем он сообщил всякие подробности.

— Вот так штука, — сказал лорд Дорчестер, — а я все время беседовал с епископом Илийским!

Молодой граф Энсли подошел к старому лорду Юру, которому оставалось жить лишь два года, так как он умер в 1707 году.

— Милорд Юр?

— Милорд Энсли?

— Знали вы лорда Линнея Кленчарли?

— Старого лорда? Знал.

— Того, что умер в Швейцарии?

— Да. Мы были с ним в родстве.

— Того, что был республиканцем при Кромвеле и остался республиканцем при Карле Втором?

— Республиканцем? Вовсе нет. Он попросту обиделся. У него были личные счеты с королем. Я знаю из достоверных источников, что лорд Кленчарли помирился бы с ним, если бы ему предоставили место канцлера, доставшееся лорду Хайду.

— Вы удивляете меня, милорд Юр! Мне говорили, что лорд Кленчарли был честным человеком.

— Честный! Да разве честные люди существуют? Молодой человек, на свете нет честных людей.

— А Катон?[338]

— Вы верите в Катона?
— А Аристид?[339]

— Его прогнали, и поделом.
— А Томас Мор?[340]

— Ему отрубили голову, и хорошо сделали.
— И, по вашему мнению, лорд Кленчарли…
— Был из той же породы. К тому же человек, добровольно остающийся в изгнании, просто смешон.
— Он там умер.
— Честолюбец, обманувшийся в своих расчетах. Знал ли я его? Еще бы! Я был его лучшим другом.
— Известно ли вам, милорд Юр, что в Швейцарии он женился?
— Что-то слыхал об этом.
— И что от этого брака у него был законный сын?
— Да. Этот сын умер.
— Нет, он жив.
— Жив?
— Жив.
— Невозможно.
— Вполне возможно. Доказано. Засвидетельствовано. Официально признано судом. Зареги-

стрировано.

— В таком случае этот сын унаследует пэрство Кленчарли?

— Нет, не унаследует.

— Почему?

— Потому что он уже унаследовал. Дело сделано.

— Уже?

— Поверните голову, барон Юр. Он сидит за вами на скамье баронов.

Лорд Юр обернулся, но Гуинплен сидел, опустив голову, и лица его не было видно.

— Смотрите! — воскликнул старик, не видя ничего, кроме волос Гуинплена. — Он уже усвоил новую моду. Он не носит парика.

Грентэм подошел к Колпеперу.

— Вот кто попался-то!

— Кто?

— Дэвид Дерри-Мойр.

— Почему?

— Он больше уже не пэр.

— Как так?

И Генри Оверкерк, граф Грентэм, рассказал Джону, барону Колпеперу, весь «анекдот», то есть историю о выброшенной морем и доставленной в адмиралтейство бутылке, о пергаменте

компрачикосов, о королевском приказе, скрепленном подписью Джеффриса, об очной ставке в саутворкском застенке, о том, как отнеслись ко всем этим событиям лорд-канцлер и королева, об отречении от католических догматов в стеклянной ротонде, наконец о принятии лорда Фармена Кленчарли в члены палаты перед началом заседания. Оба лорда старались разглядеть сидевшего между лордом Фицуолтером и лордом Эранделом нового пэра, о котором столько говорилось, но, так же как и лорду Юру и лорду Энсли, им это не удалось.

Быть может, случайно, а может быть, потому, что об этом позаботились его восприемники, предупрежденные канцлером, Гуинплен сидел в тени, укрывавшей его от любопытных взоров.

— Где он, где же он?

Все, входя, задавали себе этот вопрос, но никому не удавалось как следует рассмотреть нового лорда. Некоторые, видевшие Гуинплена в «Зеленом ящике», сгорали от любопытства, но все их усилия были тщетны. Как иногда старые, вдовы благоразумно заслоняют собою от нескромных взоров молодую девушку, так и Гуинплен был укрыт за широкими спинами пожилых, немощных и ко всему безучастных лордов. Старики,

страдающие подагрой, мало интересуются тем, что не имеет к ним прямого отношения.

По рукам ходила копия письма в три строки, которое, как уверяли, герцогиня Джозиана прислала своей сестре, королеве, в ответ на предложение ее величества выйти замуж за нового пэра, законного наследника баронов Кленчарли, лорда Фермена. Письмо это было следующего содержания:

«Государыня!

Я согласна. Это даст мне возможность взять себе в любовники лорда Дэвида».

Внизу стояла подпись: «Джозиана». Письмо это, настоящее или вымышленное, возбуждало всеобщий восторг.

Молодой лорд Чарльз Окемптон, барон Мохен, из числа тех, кто не носил парика, с наслаждением читал и перечитывал эту записку. Льюис Дюрас, граф Фивершем, англичанин, отличавшийся чисто французским остроумием, с улыбкой поглядывал на Мюхена.

— Вот женщина! — воскликнул лорд Мохен. — На такой стоит жениться!

И два лорда, сидевшие рядом с Дюрасом и Мохеном, услышали следующий разговор:

— Жениться на герцогине Джозиане, лорд

Мохен?

— А почему бы нет?

— Черт возьми!

— Это было бы счастье!

— Это счастье делили бы с вами другие.

— Разве бывает иначе?

— Лорд Мохен, вы травы. Когда дело касается женщины, нам всегда перепадают крохи чужого пиршества. Кто положил этому начало?

— Адам, должно быть.

— Вовсе нет.

— Верно, сатана.

— Дорогой мой, — заметил в заключение Льюис Дюрас, — Адам только подставное лицо. Его надули, беднягу. Он взвалил себе на плечи весь род людской. Дьявол сотворил мужчину для женщины.

Натанаэль Крью, бывший вдвойне пэром, светским в качестве барона Крью и духовным в качестве епископа Дерхемского, сидя на епископской скамье, окликнул Гью Чолмлея, графа Чолмлея, известного законоведа:

— Возможно ли это?

— Вы хотите сказать — законно ли это? — поправил его Чолмлей.

— Принятие нового лорда совершилось не в

зале палаты, — продолжал епископ, — хотя, как говорят, подобные примеры бывали и раньше.

— Да. Лорд Бошан при Ричарде Втором, лорд Ченей при Елизавете.

— И лорд Брогил при Кромвеле.

— Кромвель в счет не идет.

— Что вы думаете, обо всем этом?

— Как сказать…

— Милорд граф Чолмлей, какое же место будет занимать в палате молодой Фермен Кленчарли?

— Милорд епископ, так как республика нарушила исконный порядок старшинства, то пэрство Кленчарли занимает теперь среднее место между пэрством Барнард и пэрством Сомерс, следовательно, при подаче мнений лорд Фермен Кленчарли будет говорить восьмым.

— Подумать только! Ярмарочный фигляр!

— Происшествие само по себе не удивляет меня, милорд епископ. Такие вещи случаются. Бывают и еще более удивительные. Разве накануне войны Алой и Белой Розы первого января тысяча триста девяносто девятого года не высохла вдруг рева Уза в Бедфорде? Но если река может высохнуть, то и вельможа может впасть в унизительное состояние. Улиссу, царю Итаки, приходилось браться за всякую работу. Фермен Кленчарли

оставался лордом под внешней оболочкой скомороха. Одежда простолюдина не умаляет того, в чьих жилах течет благородная кровь. Однако принесение присяги и принятие в члены палаты вне зала заседаний, хотя они и произведены вполне законно, могут все же вызвать возражения. Я полагаю, что нам необходимо сговориться, следует ли позднее сделать лорд-канцлеру запрос по этому поводу. Через несколько недель станет ясно, как нам поступить.

Епископ заметил:

— Все равно. Такого происшествия не было со времени графа Джесбодуса.

На всех скамьях только и было разговору, что о Гуинплене, о «Человеке, который смеется», о Тедкастерской гостинице, о «Зеленом ящике», о «Побежденном хаосе», о Швейцарии, о Шильоне, о компрачикосах, об изгнании, об изуродовании, о республике, о Джеффрисе, об Иакове II, о приказе короля, о бутылке, откупоренной в адмиралтействе, об отце, лорде Линнее, о законном сыне, лорде Фермене, о побочном сыне, лорде Дэвиде, о возможных столкновениях между ними, о герцогине Джозиане, о лорд-канцлере, о королеве. Громкий шепот пробегал по залу с быстротою огня по пороховой дорожке. Без конца смаковали

подробности. От всех этих толков в зале стоял непрерывный гул. Гуинплен лишь смутно слышал это гуденье, не подозревая, что причиной этого является он сам. Однако он был по-своему внимателен ко всему окружавшему, но только внимание его было обращено куда-то вглубь, а не на внешнюю сторону происходившего в зале. Избыток внимания вызывает обособленность.

Шум в палате не мешает заседанию идти своим чередом, так же как дорожная пыль не препятствует продвижению войск. Судьи, присутствующие в палате лордов в качестве зрителей и имеющие право говорить не иначе, как отвечая на предлагаемые им вопросы, уселись на втором мешке с шерстью, а три государственных секретаря — на третьем. Наследники пэрских титулов собрались в отведенном им отделении позади трона, несовершеннолетние пэры заняли свою особую скамью. В 1705 году их было не меньше двенадцати: Хентингтон, Линкольн, Дорсет, Уорик, Бат, Берлингтон, Дервентуотер, которому впоследствии суждено было трагически погибнуть, Лонгвил, Лонсдейл, Дадлей, Уорд и Картрет; среди этих юнцов было восемь графов, два виконта и два барона.

Каждый лорд занял свое место на одной из

скамей, тремя ярусами окружавших зал. Почти все епископы были налицо. Герцогов было много, начиная с Чарльза Сеймура, герцога Сомерсета, и кончая Георгом-Августом, курфюрстом Ганноверским, герцогом Кембриджским, младшим по времени пожалования, а потому и младшим по рангу. Все сидели в порядке старшинства. Кавендиш, герцог Девоншир, чей дед приютил у себя в Гартвике девяностодвухлетнего Гоббса; Ленокс, герцог Ричмонд; три Фиц-Роя: герцог Саутгемптон, герцог Грефтон и герцог Нортемберленд; Бетлер, герцог Ормонд; Сомерсет, герцог Бофорт; Боклерк, герцог Сент-Олбенс; Раулет, герцог Болтон; Осборн, герцог Лидс; Райотсли Рессел, герцог Бетфорд, чьим девизом и военным кличем было: «Che sara sara» («Будь что будет»), выражавшее полную покорность судьбе; Шеффилд, герцог Бекингем; Меннес, герцог Ретленд, и прочие. Ни Ховард, герцог Норфолк, ни Талбот, герцог Шрусбери, будучи католиками, не присутствовали на заседании, не было также Черчилля, герцога Мальборо — по-вашему Мальбрука, который к тому времени «в поход собрался» и воевал во Франции. Не было также шотландских герцогов Куинсбери, Монтроза и Роксберга, так как они были приняты в палату лордов только в 1707 году.

6. Верхняя и нижняя палаты

Вдруг зал ярко осветился. Четыре привратника принесли и поставили по обеим сторонам трона четыре высоких канделябра со множеством восковых свечей. Освещенный таким образом трон предстал в пурпурном сиянии. Пустой, но величественный. Сиди на нем сама королева, это вряд ли прибавило бы торжественности.

Вошел пристав черного жезла и, подняв кверху свой жезл, возгласил:

— Их милости комиссары ее величества.

Шум сразу прекратился.

На пороге большой двери появился клерк в парике и длиннополой мантии, держа в руках расшитую геральдическими лилиями подушку, на которой лежали свитки пергамента. Эти свитки были не что иное, как билли. От каждого из них свешивался шелковый плетеный шнурок с прикрепленным к концу шариком; некоторые из этих шариков были золотые. По этим шарикам — bills, или bulles, — законы зовутся в Англии биллями, а в Риме буллами.

За клерком выступали три человека в пэрских мантиях и шляпах с перьями.

Это были королевские комиссары. Первый из них был лорд-казначей Англии Годольфин, вто-

рой — лорд-председатель совета Пемброк, третий — лорд-хранитель собственной ее величества печати Ньюкасл.

Они шествовали один за другим не по старшинству титулов, а по старшинству должностей; Годольфин шел поэтому первым, а Ньюкасл последним, хотя и был герцогом.

Подойдя к скамье, стоявшей перед троном, они отвесили поклон «королевскому креслу», затем, снова надев шляпы, сели на скамью.

Лорд-канцлер, обратившись к приставу черного жезла, произнес:

— Позовите представителей палаты общин.

Пристав черного жезла вышел.

Парламентский клерк положил на стол, стоявший посредине помещения, подушку с биллями.

Наступил перерыв, продолжавшийся несколько минут. Два привратника поставили перед барьером трехступенчатый, обитый пунцовым бархатом помост, на котором золотые головки гвоздей были расположены узором геральдических лилий.

Двустворчатая дверь снова распахнулась, и чей-то голос возвестил:

— Верноподданные представители английской палаты общин!

Это пристав черного жезла объявил, о прибытии второй половины парламента.

Лорды надели шляпы.

Члены палаты общин, предшествуемые спикером, вошли с обнаженными головами.

Они остановились у барьера. На них были костюмы горожан, преимущественно черного цвета; каждый имел при себе шпагу.

Спикер, достопочтенный Джон Смит, эсквайр, депутат от Андовера, поднялся на помост перед барьером. На нем была длинная мантия черного атласа с широкими рукавами и разрезами спереди и сзади, обшитыми завитушками из золотых шпуров; парик у него был немного меньше, чем у лорд-канцлера. Несмотря на его величественный вид, чувствовалось, что здесь он исполняет второстепенную роль.

Все члены палаты общин почтительно стояли с обнаженными головами перед лордами, сидевшими в шляпах.

Среди представителей нижней палаты можно было увидеть Джозефа Джекиля, главного судью города Честера, трех присяжных законоведов ее величества — Хупера, Пауиса и Паркера, генерального прокурора и генерального стряпчего Саймона Харкорта. За исключением нескольких

баронетов, дворян и девяти лордов — Харпингтона, Виндзора, Вудстона, Мордаунта, Гремби, Скьюдемора, Фиц-Хардинга, Хайда и Беркли — сыновей пэров и наследников пэрств, все остальные принадлежали к среднему сословию. Они стояли темной молчаливой толпой.

Когда стих шум их шагов, глашатай пристава черного жезла, стоявший у дверей, воскликнул:

— Слушайте!

Коронный клерк встал. Он взял с подушки пергамент и, развернув, прочел его. Это было послание королевы, в котором сообщалось, что своими представителями в парламенте с правом утверждать билли она назначает трех комиссаров, а именно…

Тут клерк повысил голос:

— Сиднея, графа Годольфина.

Клерк поклонился лорду Годольфину. Лорд Годольфин приподнял шляпу. Клерк продолжал:

— Томаса Герберта, графа Пемброка и Монтгомери.

Клерк поклонился лорду Пемброку. Лорд Пемброк прикоснулся к своей шляпе. Клерк продолжал:

— Джона Голлиса, герцога Ньюкасла.

Клерк поклонился лорду Ньюкаслу. Лорд Нью-

касл в ответ кивнул головой.

После этого коронный клерк снова сел. Поднялся парламентский клерк. Его помощник, стоявший на коленях позади него, последовал его примеру. Оба стали лицом к трону, а спиною к членам палаты общин.

На подушке лежало пять биллей. Эти пять биллей, принятые палатой общин и одобренные палатой лордов, ожидали королевской санкции.

Парламентский клерк прочел первый билль.

Этим актом нижней палаты издержки в сумме одного миллиона фунтов стерлингов, произведенные королевою на украшение ее резиденции в Гемптон-Корте, относились за счет государства.

Окончив чтение, клерк низко поклонился трону. Его помощник поклонился еще ниже, затем, став вполоборота к представителям палаты общин, произнес:

— Королева принимает ваше добровольное даяние и изъявляет на то свое согласие.

Затем клерк прочел второй билль.

Это был проект закона, присуждавшего к тюремному заключению и к штрафу всякого уклоняющегося от службы в войсках ополчения. Это ополчение, служившее в царствование Елизаветы без жалованья, в ту пору, когда ожидалось

прибытие испанской Армады, выставило сто восемьдесят пять тысяч пехотинцев и сорок тысяч всадников.

Оба клерка снова поклонились «королевскому креслу», после чего помощник клерка, опять обернувшись через плечо в сторону палаты общин, произнес:

— Такова воля ее величества.

Третий билль увеличивал десятину и пребенду личфилдской и ковентрийской епархии, одной из самых богатых в Англии, устанавливал ежегодную ренту кафедральному собору этой епархии, умножал число ее каноников и повышал доходы духовенства, для того чтобы, как говорилось во вступительной части проекта, «удовлетворить нужды нашей святой церкви». Четвертый билль вводил в бюджет новые налоги: на мраморную бумагу, на наемные кареты, которых в Лондоне насчитывалось около восьмисот и которые облагались пятьюдесятью фунтами стерлингов ежегодно; на адвокатов, прокуроров и судебных стряпчих — ежегодно по сорок восемь фунтов стерлингов с каждого; на дубленые кожи, «невзирая, — как говорилось во вступительной части, — на жалобы кожевников»; на мыло, «несмотря на протест городов Эксетера и Девоншира, в которых

вырабатывается много саржи и сукна, а потому употребляется на промывку тканей много мыла»; на вино по четыре шиллинга с бочонка, на муку, на ячмень и хмель, причем этот последний налог подлежал возобновлению каждые четыре года ввиду того, что «нужды государства, — как говорилось все в том же предисловии, — должны быть выше коммерческих соображений»; далее устанавливался налог на корабельные грузы в размере от шести турских фунтов с тонны товаров, привозимых с запада, и до тысячи восьмисот турских фунтов с тонны товаров, привозимых с востока; кроме того, билль, объявляя недостаточной обычную подушную подать, уже собранную в текущем году, вводил дополнительный сбор во всем государстве по четыре шиллинга, или сорок восемь турских су, с каждого подданного, причем указывалось, что уклонившиеся от уплаты этого сбора будут обложены вдвойне. Пятый билль гласил, что ни один больной не может быть принят в больницу, если он не внесет одного фунта стерлингов на оплату своих похорон в случае смерти. Три последние билля, как и первые два, были утверждены палатой путем изложенной выше процедуры: поклона, отвешиваемого трону, и традиционной формулы: «такова воля короле-

вы», которую произносил помощник клерка, став вполоборота к членам палаты общин.

Затем помощник клерка опять опустился на колени около четвертого мешка с шерстью, и лорд-канцлер возгласил:

— Да будет все исполнено, как на том согласились.

Этим завершалось «королевское заседание».

Спикер низко склонился перед канцлером и, пятясь, спустился с помоста подбирая сзади волочившуюся по полу мантию; все члены палаты, общин поклонились до самой земли и удалились из зала, между тем как лорды, не обращая внимания на вое эти почести, занялись очередными делами.

7. Жизненные бури страшнее океанских

Двери снова затворились; пристав черного жезла возвратился в зал; лорды-комиссары покинули государственную скамью и заняли отведенные им по должности три первых места на скамье герцогов, после чего лорд-канцлер взял слово:

— Милорды! Прения по обсуждавшемуся уже несколько дней биллю об увеличении на сто тысяч фунтов стерлингов ежегодного содержания его королевскому высочеству, принцу супругу ее величества, ныне закончены, и нам надлежит

приступить к голосованию. Согласно обычаю, подача голосов начнется с младшего на скамье баронов. При поименном опросе каждый лорд встанет и ответит «доволен» или «недоволен», причем ему предоставлено право, если он сочтет это уместным, изложить причины своего согласия или несогласия. Клерк, приступите к опросу.

Парламентский клерк встал и раскрыл большой фолиант, лежавший на позолоченном пюпитре, так называемую «книгу пэрства».

В ту пору младшим по титулу членом парламента был лорд Джон Гарвей, получивший баронское и пэрское звание в 1703 году, — тот самый Гарвей, от которого впоследствии произошли маркизы Бристол.

Клерк провозгласил:

— Милорд Джон, барон Гарвей.

Старик в белокуром парике поднялся и заявил:

— Доволен.

И снова сел.

Помощник клерка записал его ответ.

Клерк продолжал:

— Милорд Фрэнсис Сеймур, барон Конуэй Килтелтег.

— Доволен, — пробормотал, приподнявшись, изящный молодой человек с лицом пажа, не

подозревавший в ту пору, что ему суждено стать дедом маркизов Гартфордов.

— Милорд Джон Ливсон, барон Гоуэр, — продолжал клерк.

Барон Гоуэр, будущий родоначальник герцогов Саутерлендов, встал и, опускаясь на место, произнес:

— Доволен.

Клерк продолжал:

— Милорд Хинедж Финч, барон Гернсей.

Предок графов Эйлсфордов, столь же молодой и изящный, как прародитель маркизов Гертфордов, оправдал свой девиз «Aperto vivere vote»[341]

, громко объявив:

— Доволен.

Не успел он опуститься на место, как клерк вызвал пятого барона:

— Милорд Джон, барон Гренвилл.

— Доволен, — ответил, быстро поднявшись и снова сев на скамью, лорд Гренвилл Потридж, роду которого, за неимением наследников, предстояло угаснуть в 1709 году.

Клерк перешел к шестому лорду:

— Милорд Чарльз Монтег, барон Галифакс.

— Доволен, — ответил лорд Галифакс, носитель титула, под которым угасло имя Севилей и пред-

стояло угаснуть роду Монтегов. Эту фамилию не следует смешивать с фамилиями Монтегю и Монтекьют.

И лорд Галифакс прибавил:

— Принц Георг получает известную сумму в качестве супруга ее величества, другую — как принц Датский, третью — как герцог Кемберлендский, четвертую — как главный адмирал Англии и Ирландии, но не получает ничего по должности главнокомандующего. Это несправедливо. В интересах английского народа необходимо положить конец такому беспорядку.

Затем лорд Галифакс произнес похвалу христианской религии, выразил осуждение папизму и подал свой голос за увеличение сумм на содержание принца.

Когда он уселся, клерк продолжал:

— Милорд Кристоф, барон Барнард.

Лорд Барнард, от которого впоследствии произошли герцоги Кливленды, услыхав свое имя, встал и объявил:

— Доволен.

Он не торопился садиться, так как на нем были прекрасные кружевные брыжи и ими стоило щегольнуть. Впрочем, это был вполне достойный джентльмен и храбрый воин.

Пока лорд Барнард опускался на скамью, клерк, до сих пор бегло читавший все знакомые имена, на мгновение запнулся. Он поправил очки и с удвоенным вниманием наклонился над книгой, потом, снова подняв голову, провозгласил:

— Милорд Фермен Кленчарли, барон Кленчарли-Генкервилл.

Гуинплен поднялся.

— Недоволен, — сказал он.

Все головы повернулись к нему. Гуинплен стоял во весь рост. Свечи канделябров, горевшие по обеим сторонам трона, ярко освещали его лицо, отчетливо выступившее из мглы полутемного зала, словно маска среди клубов дыма.

Гуинплен сделал над собой то особое усилие, которое, как помнит читатель, было иногда в его власти. Огромным напряжением воли, не меньшим, чем то, которое потребовалось бы для укрощения тигра, ему удалось согнать со своего лица роковой смех. Он не смеялся. Это не могло продлиться долго. Лишь короткое время способны мы противиться тому, что является законом природы или нашей судьбой. Бывает, что море, не желая повиноваться закону тяготения, взвивается смерчем, вздымается кверху горой, но оно вскоре возвращается в прежнее состояние. Так

было и с Гуинпленом. Сознавая торжественность минуты, он невероятным усилием воли на один лишь миг отразил на своем челе мрачные думы, отогнал свой безмолвный смех, удалил со своего изуродованного лица маску веселости; теперь он был ужасен.

— Что это за человек? — раздался всеобщий крик.

Всех охватило неописуемое волнение.

Густая грива волос, два черных провала под бровями, пристальный взор глубоко запавших глаз, чудовищно уродливые черты, искаженные жуткой игрою светотени, — все это произвело ошеломляющее впечатление. Это превосходило всякие пределы. Сколько бы ни толковали о Гуинплене, лицо его всегда вызывало невольный ужас. Даже те, кто был в какой-то мере подготовлен к его виду, не ожидали такого потрясения. Вообразите себе вершину горы, где обитают боги, ясный вечер, веселое пиршество, собравшее всех небожителей, и вдруг, словно кровавая луна на горизонте, возникает перед ними исклеванное коршуном лицо Прометея. Олимп, взирающий на грозный Кавказ, — какое зрелище! Старые и молодые лорды, онемев от изумления, смотрели на Гуинплена.

Уважаемый всей палатой старик, перевидавший на своем веку много людей и событий, Томас, граф Уортон, представленный к герцогскому титулу, в ужасе вскочил со своего места.

— Что это значит? — закричал он. — Кто впустил этого человека в палату? Выведите его!

И высокомерно обратился к Гуинплену:

— Кто вы? Откуда вы явились?

Гуинплен ответил:

— Из бездны.

И, скрестив руки на груди, окинул взглядом палату.

— Кто я? Я — нищета. Милорды, вы должны меня выслушать.

Дрожь охватила присутствующих. Воцарилась тишина.

Гуинплен продолжал.

— Милорды, вы — на вершине. Отлично. Нужно предположить, что у бога есть на то свои причины. В ваших руках власть и богатство, все радости жизни, для вас всегда сияет солнце, вы пользуетесь неограниченным авторитетом, безраздельным счастьем, и вы забыли обо всем прочих людях. Пусть так. Но под вами, а может быть и над вами есть еще кое-кто. Милорды, я пришел, чтобы сообщить вам новость: на свете

существует род человеческий.

Люди в собраниях похожи на детей; неожиданное происшествие для них — то же, что для ребенка коробка с сюрпризом: немного страшно и любопытно. Порой кажется, что стоит лишь нажать пружинку — и выскочит чертик. Во Франции эта роль выпала на долю Мирабо, который тоже был безобразен.

Гуинплен чувствовал в эту минуту, что он внутренне будто вырастает. Те, к кому обращается оратор, служат для него как бы пьедесталом. Он стоит, так сказать, на возвышении, образованном людскими душами. Он чувствует у себя под ногами трепещущие человеческие сердца. Теперь Гуинплен был уже не тем человеком, который прошлой ночью был почти ничтожен. Дурман, вскруживший ему голову при внезапном подъеме, уже рассеялся, уже не застилал ему взора, и в том, что раньше соблазняло его тщеславие, Гуинплен видел теперь свое назначение. То, что сперва унизило его, теперь вознесло его на высоту. В душе его вспыхнул вдруг тот ослепительный свет, который рождается чувством долга.

Вокруг Гуинплена со всех сторон неслись крики:

— Слушайте! Слушайте!

Судорожным, сверхчеловеческим усилием воли ему асе еще удавалось удержать на своем лице зловеще-суровое выражение, сквозь которое готов был прорваться смех, точно дикий конь, стремящийся вырваться на свободу. Гуинплен продолжал:

— Я поднялся сюда из низов. Милорды, вы знатны и богаты. Это таит опасность. Вы пользуетесь прикрывающим вас мраком. Но берегитесь, существует великая сила — заря. Заря непобедима. Она наступит. Она уже занимается. Она несет с собой потоки неодолимого света. И кто же помешает этой праще взметнуть солнце на небо? Солнце — это справедливость. Вы захватили в свои руки все преимущества. Страшитесь! Подлинный хозяин скоро постучится в дверь. Кто порождает привилегии? Случай. А что порождают привилегии? Злоупотребления. Однако ни то, ни другое не прочно. Будущее сулит вам беду. Я пришел предупредить вас. Я пришел изобличить ваше счастье. Оно построено на несчастье людей. Вы обладаете всем, но только потому, что обездолены другие. Милорды, я — адвокат, защищающий безнадежное дело. Однако бог восстановит нарушенную справедливость. Сам я ничто, я только голос. Род человеческий — уста,

и я их вопль. Вы услышите меня. Перед вами, пэры Англии, я открываю великий суд народа — этого властелина, подвергаемого пыткам, этого верховного судьи, которого ввергли в положение осужденного. Я изнемогаю под бременем того, что хочу сказать. С чего начать? Не знаю. В безмерном море человеческих страданий я собрал по частям основные доводы моей обличительной речи. Что делать мне с ними теперь? Меня гнетет этот груз, и я сбрасываю его с себя наугад, в беспорядке. Предвидел ли я это? Нет. Вы удивлены? Я тоже. Еще вчера я был фигляром, сегодня я лорд. Непостижимая прихоть. Чья? Неведомого рока. Страшитесь! Милорды, вся лазурь неба принадлежит вам. В беспредельной вселенной вы видите только ее праздничную сторону; знайте же, что в ней существует и тьма. Среди вас я — лорд Фермен Кленчарли, но настоящее мое имя — имя бедняка: меня зовут Гуинплен. Я — отверженный; меня выкроили из благородной ткани по капризу короля. Вот моя история. Некоторые из вас знали моего отца, я не знал его. Вас связывает с ним то, что он феодал, меня — то, что он изгнанник. Все, что сотворил господь — благо. Я был брошен в бездну. Для чего? Чтобы измерить всю глубину ее. Я водолаз, принесший со дна ее жемчужину

— истину. Я говорю потому, что знаю. Вы должны выслушать меня, милорды. Я все видел, я все испытал. Страдание — это не просто слово, господа счастливцы. Страдание — это нищета, я знаю ее с детских лет; это холод, я дрожал от него; это голод, я вкусил его; это унижения, я изведал их; это болезни, я перенес их; это позор, я испил чашу его до дна. И я изрыгну ее перед вами, и блевотина всех человеческих бедствий, забрызгав вам ноги, вспыхнет огнем. Я колебался, прежде чем согласился прийти сюда, ибо у меня есть другие обязанности. Сердце мое не с вами. Что произошло во мне — вас не касается; когда человек, которого вы называете приставом черного жезла, явился за мной от имени женщины, которую вы называете королевой, мне на одну минуту пришла мысль отказаться. Но мне показалось, будто незримая рука толкает меня сюда, и я повиновался. Я почувствовал, что мне необходимо появиться среди вас. Почему? Потому, что вчера еще на мне были лохмотья. Бог бросил меня в толпу голодных для того, чтобы я говорил о них сытым. О, сжальтесь! О, поверьте, вы не знаете того гибельного мира, к которому будто бы принадлежите. Вы стоите так высоко, что находитесь вне его пределов. О нем расскажу вам я. У меня

достаточный опыт. Я пришел от тех, кого угнетают. Я могу сказать вам, как тяжел этот гнет. О вы, хозяева жизни, знаете ли вы — кто вы такие? Ведаете ли вы, что творите? Нет, не ведаете. Ах, все это страшно… Однажды ночью, бурной ночью, еще совсем ребенком, вступил я в эту глухую тьму, которую вы называете обществом. Я был сиротой, брошенным на произвол судьбы, я был совсем один в этом беспредельном мире. И первое, что я увидел, был закон, в образе виселицы; второе — богатство, в образе женщины, умершей от голода и холода; третье — будущее, в «образе умирающего ребенка; четвертое — добро, истина и справедливость, в лице бродяги, у которого был только один спутник и товарищ — волк.

В эту минуту Гуинплен, охваченный душераздирающим волнением, почувствовал, что к горлу у него подступают рыдания.

И одновременно с этим — о ужас! — его лицо перекосилось чудовищной гримасой смеха.

Этот смех был до того заразителен, что все присутствующие захохотали. Над собранием только что нависала мрачная туча; она могла разразиться чем-то страшным, — она разразилась весельем. Смех, словно припадок радостного безумия, охватил всю палату. Вершители народ-

ных судеб всегда рады позабавиться. Насмехаясь, они мстят за свою вынужденную чопорность.

Смех королей похож на смех богов, в нем всегда есть нечто жестокое. Лорды стали потешаться. К смеху присоединились издевательства. Вокруг говорившего раздались рукоплескания, послышались оскорбления. Его осыпали градом убийственно ядовитых насмешек.

— Браво, Гуинплен! — Браво, «Человек, который смеется»! — Браво, харя из «Зеленого ящика»! — Браво, кабанье рыло с Таринзофилда! — Ты пришел дать нам представление! Прекрасно! Болтай сколько влезет! — Вот кто умеет потешить! — Здорово смеется эта скотина! — Здравствуй, паяц! — Привет лорду-клоуну! Продолжай свою проповедь! — И это пэр Англии?! — А ну-ка еще! — Нет! Нет! — Да! Да!

Лорд-канцлер чувствовал себя довольно неловко.

Глухой лорд Джеме Бутлер, герцог Ормонд, приставил в виде рупора руку к уху и спросил у Чарльза Боклерка, герцога Сент-Олбенс:

— Как он голосовал?

Сент-Олбенс ответил:

— Он недоволен.

— Еще бы, — заметил герцог Ормонд, — можно

ли быть довольным с эдаким лицом!

Попробуйте вновь подчинить себе толпу, когда она вырвется из-под вашей власти; а ведь любое собрание — та же толпа. Красноречие — удила; когда удила лопнули, собрание встает на дыбы, как необузданный конь, и будет брыкаться до тех пор, пока не выбьет оратора из седла. Аудитория всегда ненавидит оратора. Это — истина, недостаточно известная. Некоторым кажется, что стоит лишь натянуть поводья, и порядок восстановится. Однако это не так. Но всякий оратор бессознательно прибегает к этому средству. Гуинплен тоже прибегнул к нему.

Некоторое время он молча смотрел на хохотавших вокруг него людей.

— Значит, вы издеваетесь над несчастьем! — крикнул он. — Тише, пэры Англии! Судьи, слушайте же защитительную речь. О, заклинаю вас, сжальтесь! Над кем? Над собой. Кому угрожает опасность? Вам. Разве вы не видите, что перед вами весы, на одной чаше которых ваше могущество, на другой — ваша ответственность? Эти весы держит в руках сам господь. О, не смейтесь! Подумайте. Колебание этих весов не что иное, как трепет вашей совести. Вы ведь не злодеи. Вы такие же люди, как и все, не хуже и не лучше дру-

гих. Вы мните себя богами, но стоит вам завтра заболеть, и вы увидите, как ваше божественное естество будет дрожать от лихорадки. Все мы стоим един другого. Я обращаюсь к людям честным — надеюсь, что такие здесь есть; я обращаюсь к людям с возвышенным умом — надеюсь, такие здесь найдутся; я обращаюсь к благородным душам — надеюсь, что их здесь немало, Вы — отцы, сыновья и братья, значит вам должны быть знакомы добрые чувства. Тот из вас, кто видел сегодня утром пробуждение своего ребенка, не может не быть добрым. Сердца у всех одинаковы. Человечество не что иное, как сердце. Угнетатели и угнетаемые отличаются друг от друга только тем, что одни находятся выше, а другие ниже. Вы попираете ногами головы людей, но это не ваша вина. Это вина той Вавилонской башни, какою является наш общественный строй. Башня сооружена неудачно, она кренится набок. Один этаж давит на другой. Выслушайте меня, я сейчас объясню вам все. О, ведь вы так могущественны, будьте же сострадательными; вы так сильны — будьте же добрыми. Если бы вы только знали, что мне пришлось видеть! Какие страдания — там, внизу! Род человеческий заключен в темницу. Сколько в нем осужденных, ни в чем не

повинных! Они лишены света, лишены воздуха, они лишены мужества; у них нет даже надежды; но ужаснее всего то, что они все-таки ждут чего-то. Отдайте себе отчет во всех этих бедствиях. Есть существа, чья жизнь — та же смерть. Есть девочки, которые в восемь лет уже занимаются проституцией, а в двадцать обращаются в старух. Жестокие кары ваших законов — они поистине ужасны. Я говорю бессвязно, я не выбираю слов; я высказываю то, что приходит мне на ум. Не далее, как вчера, я видел закованного в цепи обнаженного человека, на грудь ему навалили целую гору камней, и он умер во время пытки. Знаете ли вы об этом? Нет. Если бы вы знали, что творится рядом с вами, никто из вас не осмелился бы веселиться. А бывал ли кто-нибудь в Ньюкасле-на-Тайяе? Там, в копях, люди зачастую жуют угольную пыль, чтобы хоть чем-нибудь наполнить желудок и обмануть голод, Или взять, например, Риблчестер в Ланкастерском графстве: он так обнищал, что превратился из города в деревню. Я не верю, чтобы принц Георг Датский нуждался в этих ста тысячах гиней. Пусть лучше в больницу принимают больного бедняка, не требуя с него заранее платы за погребение. В Карнарвоне, в Трейт-Море, так же как в Трейт-

Бичене, народная нищета ужасна. В Стаффорде нельзя осушить болото потому, что нет денег. В Ланкашире закрыты все суконные фабрики. Всюду безработица. Известно ли вам, что рыбаки в Гарлехе питаются травой, когда улов рыбы слишком мал? Известно ли вам, что в Бертон-Лезерсе еще есть прокаженные; их травят, как диких зверей, стреляя в них из ружей, когда они выходят из своих берлог? В Элсбери, принадлежащем одному из вас, никогда не прекращается голод. В Пенкридже, в Ковентри, где вы только что отпустили ассигнования на собор и где вы увеличили оклад епископу, в хижинах нет кроватей, и матери вырывают в земляном полу ямы, чтобы укладывать в них своих малюток, — дети, вместо колыбели, начинают жизнь в могиле. Я видел это собственными глазами. Милорды, знаете ли вы, кто платит налоги, которые вы устанавливаете? Те, кто умирает с голоду. Увы, вы заблуждаетесь. Вы идете по ложному пути. Вы увеличиваете нищету бедняка, чтобы возросло богатство богача. А между тем следовало бы поступать наоборот. Как! Отбирать у труженика, чтобы давать праздному, отнимать у нищего, чтобы дарить пресыщенному, отбирать у неимущего, чтобы давать государю! О да, в моих жилах

течет старая республиканская кровь! По-моему, все это отвратительно. Я ненавижу королей. А как бесстыдны ваши женщины! Недавно мне рассказали печальную историю. О, я ненавижу Карла Второго! Этому королю отдалась женщина, которую любил мой отец; распутница! она была его любовницей в то время, как мой отец умирал в изгнании. Карл Второй, Иаков Второй; после негодяя — злодей. Что такое в сущности король? Безвольный, жалкий человек, раб своих страстей и слабостей. На что нам нужен король? А вы кормите этого паразита. Из дождевого червя вы выращиваете удава. Солитера превращаете в дракона. Сжальтесь над бедняками! Вы увеличиваете налог в пользу трона. Будьте осторожны, издавая законы! Берегитесь тех несчастных, которых вы попираете пятой. Опустите глаза. Взгляните себе под ноги! О великие мира сего, на свете есть и обездоленные! Пожалейте их! Пожалейте самих себя! Ибо народ — в агонии, а те, кто умирает внизу, увлекают к гибели и тех, кто стоит наверху. Смерть уничтожает всех, никого не щадя. Когда наступает ночь, никто не в силах сохранить даже частицу дневного света. Если вы любите самих себя, спасайте других. Если корабль гибнет, никто из пассажиров не может

относиться к этому равнодушно. Если потонут одни, то и других поглотит пучина. Знайте, бездна равно подстерегает всех.

Неудержимый смех усилился, хохотала вся палата. Впрочем, одной уже необычности этой речи было достаточно, чтобы развеселить высокое собрание.

Быть внешне смешным, когда душа переживает трагедию, — что может быть унизительнее таких мучений, что может вызвать в человеке большую ярость? Именно это испытывал Гуинплен. Слова его бичевали, лицо вызывало хохот. Это было ужасно. В голосе его зазвучали вдруг пронзительные ноты:

— Им весело, этим людям! Что ж, прекрасно. Они смеются над агонией, они издеваются над предсмертным хрипом. Ах да, ведь они всемогущи. Возможно. Ну, хорошо, будущее покажет. Ах, да ведь я тоже один из них. Но я и ваш, о бедняки! Король продал меня, бедняк приютил меня. Кто изувечил меня? Монарх. Кто исцелил и вскормил? Нищий, сам умиравший с голоду. Я — лорд Кленчарли, но я останусь Гуинпленом. Я из стана знатных, но принадлежу к стану обездоленных. Я среди тех, кто наслаждается, но душой я с теми, кто страждет. Ах, как неправильно устроено наше

общество! Но настанет день, когда оно сделается настоящим человеческим обществом. Не будет больше вельмож, будут только свободные люди. Не будет больше господ, будут только отцы. Вот каково будущее. И тогда исчезнут и низкопоклонство, и унижение, и невежество, не будет ни людей, превращенных в вьючных животных, ни придворных, ни лакеев, ни королей. Тогда засияет свет! А пока — я здесь. Это право дано мне, и я пользуюсь им. Есть ли у меня это право? Нет — если я пользуюсь им для себя. Да — если я пользуюсь им для других. Я буду говорить с лордами, ибо я сам — лорд. О братья мои, томящиеся там, внизу, я поведаю этим людям о вашей нужде. Я предстану перед ними, потрясая вашими жалкими отрепьями, я брошу эти лохмотья рабов в лицо господам; и им, высокомерным баловням судьбы, уж не избавиться от воспоминания о страждущих; им, владыкам земли, не освободиться от жгучей язвы нищеты, и тем хуже для них, если в этих лохмотьях кишит всякая нечисть, тем лучше, если она обрушится на львов.

Тут Гуинплен обернулся к писцам, стоявшим на коленях и писавшим на четвертом мешке с шерстью.

— Кто это там, на коленях? Что вы делаете?

Встаньте! Ведь вы же люди.

Это внезапное обращение к подчиненным, которых лорду не подобает даже замечать, придало веселью палаты еще более бурный характер. Раньше кричали «браво», теперь стали кричать «ура». От рукоплесканий перешли к стуку ногами. Можно было подумать, что находишься в «Зеленом ящике». Но в «Зеленом ящике» хохот толпы был торжеством Гуинплена, здесь же этот хохот уничтожал его. Смех стремится стать смертоносным оружием. Иногда хохотом пытаются убить человека.

Хохот превратился в пытку. Беда, когда сборище тупоголовых начинает изощряться в остроумии. Своим тупым зубоскальством оно отстранит от себя самый очевидный факт и осудит его, прежде чем разберется, в чем дело. Всякое происшествие — это вопросительный знак. Смеяться над ним — значит смеяться над загадкой. Но позади загадки — сфинкс, и он отнюдь не смеется.

Слышались противоречивые восклицания:

— Довольно! Долой! — Продолжай! Дальше!

Вильям Фармер, барон Лестер, кричал Гуинплену, как некогда Рик-Квайни Шекспиру:

— Histrio! Mima![342]

Лорд Воган, занимавший двадцать девятое ме-

сто на баронской скамье и любивший изрекать сентенции, восклицал:

— Вот мы опять вернулись к временам, когда пророчили животные. Среди человеческих уст заговорила и звериная пасть.

— Послушаем валаамову ослицу, — подхватил лорд Ярмут. Мясистый нос и перекошенный рот придавали лорду Ярмуту глубокомысленный вид.

— Мятежник Линней наказан в могиле, такой сын — кара отцу, — изрек Джон Гауф, епископ Личфилдский и Ковентрийский, на доходы которого посягнул в своей речи Гуинплен.

— Он лжет, — сказал лорд Чолмлей, законодатель и законовед. — То, что он называет пыткой, не что иное, как разумная мера, именуемая «длительный допрос с пристрастием». Пыток в Англии не существует.

Томас Уэнтворт, барон Реби, обратился к канцлеру:

— Милорд канцлер, закройте заседание!

— Нет! Нет! Нет! Пусть продолжает. Он забавляет нас. Гип! Гип! Гип! Ура!

Это кричали молодые лорды; их веселость граничила с неистовством. Особенно бесновались, захлебываясь от хохота и от ненависти,

четверо из них: Лоуренс Хайд, граф Рочестер, Томас Тефтон, граф Тенет, виконт Хеттон и герцог Монтегю.

— В конуру, Гуинплен! — кричал Рочестер.

— Долой его! Долой! Долой! — орал Тенет.

Виконт Хеттон вынул из кармана пенни и бросил его Гуинплену.

Джон Кемпбел, граф Гринич, Севедж, граф Риверс, Томсон, барон Гевершем, Уорингтон, Эскрик, Ролстон, Рокингем, Картрет, Ленгдейл, Банистер Мейнард, Гудсон, Карнарвон, Кавендиш, Берлингтон, Роберт Дарси, граф Холдернес, Отер Виндзор, граф Плимут, — рукоплескали.

В этом адском шуме и грохоте терялись слова Гуинплена. Можно было расслышать только одно слово: «Берегитесь!»

Ральф, герцог Монтегю, юноша с едва пробивавшимися усиками, только что кончивший курс в Оксфордском университете, сошел с герцогской скамьи, на которой он занимал девятнадцатое место, и, подойдя к Гуинплену, стал против него, скрестив руки на груди. На каждом лезвии есть наиболее острое место, и в каждом голосе есть наиболее оскорбительные интонации. Герцог Монтегю придал своему голосу именно такое выражение и, смеясь прямо в лицо Гуинплену,

крикнул:

— Что ты тут рассказываешь?

— Я предсказываю, — ответил Гуинплен.

Снова раздался взрыв хохота, сквозь который немолчным рокотом прорывался глухой гнев. Один из несовершеннолетних пэров, Лайонел Кренсилд-Секвилл, граф Дорсет и Миддлсекс, стал ногами на скамью, со степенным видом, как подобает будущему законодателю, и, не смеясь, не говоря ни слова, обратил к Гуинплену свое свежее мальчишеское лицо и пожал плечами. Заметив это, епископ Сент-Асафский наклонился к уху своего соседа епископа Сент-Дэвидского, шепнул, указывая на Гуинплена: «Вот безумец!» и, указав на подростка, прибавил: «А вот мудрец».

В хаосе насмешек выделялись громкие выкрики:

— Страшилище!

— Что означает все это?

— Оскорбление палаты!

— Это выродок, а не человек!

— Позор! Позор!

— Прекратить заседание!

— Нет, дайте ему кончить!

— Говори, шут!

Лорд Льюис Дюрас крикнул, подбоченясь:

— Ах, до чего же хорошо посмеяться! Как это полезно для моей печени! Предлагаю вынести постановление в нижеследующей редакции: «Палата лордов изъявляет свою признательность забавнику из „Зеленого ящика“.

Как помнит читатель, Гуинплен мечтал совсем о другом приеме.

Тот, кто подымался по крутому песчаному, осыпающемуся скату над глубокой пропастью, кто чувствовал, как из-под его рук, из-под его пальцев, колен и ног ускользает точка опоры, кто тщетно пытался двигаться вверх по непокорному обрыву, опасаясь каждую минуту поскользнуться, скатываясь вниз вместо того, чтобы подыматься, спускаясь вместо того, чтобы восходить, увеличивая опасность при каждой попытке добраться до вершины, сползая все больше и больше при каждом движении, вызванном желанием спастись, кто чувствовал, что страшная бездна все ближе, кто ощущал мрачный холод и зияние разверзающейся перед ним пропасти, — тот испытал то, что испытывал в эти минуты Гуинплен.

Он чувствовал, как рушатся его гордые мечты, как мрачной пропастью разверзается перед ним вражда этих людей.

Всегда находится человек, способный в немно-

гих словах выразить общее мнение.

Лорд Скерсдейл выразил единодушное чувство собрания, воскликнув:

— Зачем явилось сюда это чудовище?

Гуинплен вздрогнул, словно от нестерпимой боли; он резко выпрямился и пылающим взором окинул все скамьи.

— Зачем я явился сюда? Затем, чтобы повергнуть вас в ужас. Я чудовище, говорите вы? Нет, я — народ. Я выродок, по-вашему? Нет, я — все человечество. Выродки — это вы. Вы — химера, я — действительность. Я — Человек. Страшный «Человек, который смеется». Смеется над кем? Над вами. Над собой. Надо всем. О чем говорит этот смех? О вашем преступлении и о моей муке. И это преступление, эту муку он швыряет вам в лицо. Я смеюсь — и это значит: я плачу.

Он остановился. Шум утих. Кое-где еще смеялись, но уже не так громко. Он подумал было, что снова овладел вниманием слушателей. Передохнув, он продолжал:

— Маска вечного смеха на моем лице — дело рук короля. Этот смех выражает отчаяние. В этом смехе — ненависть и вынужденное безмолвие, ярость и безнадежность. Этот смех создан пыткой. Этот смех — итог насилия. Если бы так смеялся

сатана, этот смех был бы осуждением бога. Но предвечный не похож на бренных людей. Он совершенен, он справедлив, и деяния королей ненавистны ему. А! Вы считаете меня выродком! Нет. Я — символ. О всемогущие глупцы, откройте же глаза! Я воплощаю в себе все. Я представляю собой человечество, изуродованное властителями. Человек искалечен. То, что сделано со мной, сделано со всем человеческим родам: изуродовали его право, справедливость, истину, разум, мышление, так же как мне изуродовали глаза, ноздри и уши; в сердце ему, так же как и мне, влили отраву горечи и гнева, а на лицо надели маску веселости. На то, к чему прикоснулся перст божий, легла хищная лапа короля. Чудовищная подмена! Епископы, пэры и принцы, знайте же, народ — это великий страдалец, который смеется сквозь слезы. Милорды, народ — это я. Сегодня вы угнетаете его, сегодня вы глумитесь надо мной. Но впереди — весна. Солнце весны растопит лед. То, что казалось камнем, станет потоком. Твердая по видимости почва провалится в воду. Одна трещина — и все рухнет. Наступит час, когда страшная судорога разобьет ваше иго, когда в ответ на ваше гиканье раздастся грозный рев. Этот час уже наступил однажды — ты

пережил его, отец мой! — этот час господень назывался республикой: ее уничтожили, но она еще возродится. А пока помните, что длинную череду вооруженных мечами королей пресек Кромвель, вооруженный топором. Трепещите! Близится неумолимый час расплаты, отрезанные когти вновь отрастают, вырванные языки превращаются в языки пламени, они взвиваются ввысь, подхваченные буйным ветром, и вопиют в бесконечности; голодные скрежещут зубами; рай, воздвигнутый над адом, колеблется; всюду страдания, горе, муки; то, что находится наверху, клонится вниз, а то, что лежит внизу, раскрывает зияющую пасть; тьма стремится стать светом; отверженные вступают в спор с блаженствующими. Это идет народ, говорю я вам, это поднимается человек; это наступает конец; это багряная заря катастрофы. Вот что кроется в смехе, над которым вы издеваетесь! В Лондоне — непрерывные празднества. Пусть так. По всей Англии — пиры и ликованье. Хорошо. Но послушайте! Все, что вы видите, — это я. Ваши празднества — это мой смех. Ваши пышные увеселения — это мой смех. Ваши бракосочетания, миропомазания, коронации — это мой смех. Празднества в честь рождения принцев — это мой смех. Гром над

вашими головами — это мой смех!

Как можно было сдержаться, слыша такие слова? Смех возобновился, на этот раз с удручающей силой. Из всех видов лавы, которые извергает, словно кратер вулкана, человеческий рот, самый едкий — это насмешка. Никакая толпа не в состоянии противиться соблазну жестокой потехи. Не все казни совершаются на эшафотах, и любое сборище людей, будь то уличная толпа или законодательная палата, всегда имеет наготове палача: палач этот — сарказм. Нет пытки, которая сравнялась бы с пыткой глумления. Этой пытке подвергся Гуинплен. Насмешки сыпались на него градом камней и градом картечи. Он оказался в роли детской игрушки, манекена, истукана, ярмарочного силомера, который бьют по голове, пробуя крепость кулака. Присутствующие подпрыгивали на своих местах, кричали «Еще!», покатывались от хохота, топали ногами, хватались за брыжи. Ни торжественность места, ни пурпур мантий, ни белизна горностая, ни внушительные размеры париков — ничто не могло остановить их. Хохотали лорды, хохотали епископы, хохотали судьи. Старики смеялись до слез, несовершеннолетние надрывались от смеха. Архиепископ Кентерберийский толкал

локтем архиепископа Йоркского. Генри Комптон, епископ Лондонский, брат графа Нортгемптона, хватался за бока. Лорд-канцлер опускал глаза, чтобы скрыть невольную улыбку. Смеялся даже пристав черного жезла, стоявший у перил, как живое олицетворение почтительности.

Гуинплен скрестил руки на груди: он был бледен. Окруженный всеми этими лоснящимися от удовольствия лицами, старыми и молодыми, среди взрывов гомерического хохота, в этом вихре рукоплесканий, топота, криков «ура», среди этого безудержного ликования, этого необузданного веселья, он чувствовал в душе могильный холод. Все было кончено. Отныне он не мог уже совладать ни с выражением смеха на своем лице, ни с теми, кто осыпал его оскорблениями.

Никогда еще не проявлялся с такой очевидностью извечный, роковой закон близости великого и смешного: хохот оказывается отзвуком мучительного вопля, пародия движется следом за отчаянием; никогда еще противоречие между кажущимся и действительным не вскрывалось столь, ужасно. Никогда еще более зловещий свет не озарял непроглядной тьмы человеческой души.

Гуинплен присутствовал при полном кру-

шении своих чаяний: они были уничтожены смехом. Произошло нечто непоправимое. Упавший может встать, но человек раздавленный уже не подымется. Нелепая, всепобеждающая насмешка обратила его в прах. Отныне у него не было никакой надежды. Все зависит от среды. То, что в «Зеленом ящике» было торжеством, в палате лордов оказалось падением и катастрофой. Рукоплескания, служившие там наградою, были здесь оскорблением. Он почувствовал теперь как бы изнанку своей личины. По одну сторону была симпатия простого люда, принимающего Гуинплена, по другую — ненависть знати, отвергающей лорда Фермена Кленчарли. Притягательная сила одних и отталкивающая сила других — обе одинаково влекли его во мрак. Ему казалось, будто кто-то напал на него сзади. Рок нередко наносит такие предательские удары. Потом все разъяснится, но пока судьба оказывается западней, и человек попадает в волчью яму. Гуинплену казалось, что он возносится вверх, а его осмеяли. Порой апофеозы завершаются мрачно. Существует зловещее слово: отрезвление. Это — трагическая мудрость, которую рождает опьянение. Застигнутый этой беспощадной бурей веселья, Гуинплен задумался.

Отдаться сумасшедшему смеху — то же, что плыть по воле волн. Сборище людей, охваченное неудержимым хохотом, — то же, что судно, потерявшее компас. Никто уже не знал, ни чего он хочет, ни что он делает. Пришлось закрыть заседание.

«Ввиду происшедшего» лорд-канцлер отложил голосование на следующий день. Члены палаты стали расходиться. Поклонившись королевскому креслу, лорды покидали зал. Их смех еще звучал в коридорах, теряясь где-то в отдалении. Кроме официальных выходов, во всех залах заседаний есть еще много дверей, скрытых коврами, лепными украшениями стен и нишами; просачиваясь в эти выходы, как просачивается влага в трещины сосуда, публика быстро освобождает помещение. В несколько минут зал пустеет. Такие перемены наступают быстро, почти без переходов. В местах шумных сборищ сразу же воцаряется безмолвие.

Углубившись в раздумье, можно забыть обо всем и в конце концов оказаться как бы на другой планете. Гуинплен вдруг словно очнулся. Он был один в пустом зале; он и не заметил, как закрыли заседание. Все пэры куда-то исчезли, даже оба его восприемника. Осталось лишь несколько служителей палаты, ожидавших ухода «его милости»,

чтобы покрыть чехлами мебель и погасить свет. Он машинально надел шляпу, сошел со своей скамьи и направился к большим дверям, распахнутым в галерею. Когда он проходил мимо перил, привратник снял с него пэрскую мантию. Он едва обратил на это внимание. Мгновение спустя он был уже в галерее.

Слуги, находившиеся в зале, с удивлением заметили, что новый лорд вышел, не поклонившись трону.

8. Был бы хорошим братом, если бы не был примерным сыном

В галерее уже никого не было. Гуинплен прошел через стеклянную ротонду, откуда успели убрать кресло и столы и где не оставалось больше никаких следов церемонии его посвящения в пэры. Горевшие на равном расстоянии друг от друга люстры и канделябры указывали ему путь к выходу. Благодаря этой веренице огней Гуинплену удалось легко отыскать в путанице залов и коридоров дорогу, по которой он шел в палату вслед за герольдмейстером и приставом черного жезла. Он не встретил ни души, если не считать нескольких замешкавшихся старых лордов, тяжелыми шагании бредущих к выходу.

Вдруг среди безмолвия этих огромных пу-

стынных залов до него долетел неясный гул человеческих голосов, необычный для такого места и в столь поздний час. Он направился в ту сторону, откуда доносился шум, и очутился в широком, слабо освещенном вестибюле, служившем выходом из платы. Сквозь распахнутую стеклянную дверь виден был подъезд, лакей с факелами, площадь и ряд карет, ожидавших у подъезда.

Отсюда и исходил шум, услышанный Гуинпленом.

Около двери, под фонтаном, в вестибюле стояла кучка людей, которые бурно жестикулировали и громко о чем-то спорили. Незамеченный в полумраке Гуинплен подошел ближе.

Очевидно, здесь происходила ссора. Десять — двенадцать молодых лордов толпились у выхода, а какой-то человек в шляпе, как и они, стоял перед ними, гордо вскинув голову и преграждая им дорогу.

Кто был этот человек? Том-Джим-Джек.

Некоторые из лордов еще не сняли пэрской мантии, другие уже сбросили с себя парламентское одеяние и были в обыкновенном платье.

На шляпе Том-Джим-Джека развевались перья, но не белые, как у пэров, а зеленые с оранжевыми завитками; его костюм, сверху донизу расшитый

золотыми галунами, был украшен у ворота и на рукавах целыми каскадами лент и кружев; левой рукой он крепко сжимал рукоять висевшей сбоку шпаги, на бархатных ножнах и на перевязи которой были вышиты золотом адмиральские якоря.

Гуинплен услышал, как он говорил, обращаясь ко всем этим молодым лордам:

— Я назвал вас трусами. Вы требуете, чтобы я взял свои слова назад. Извольте. Вы не трусы. Вы идиоты. Вы все накинулись на одного. Это не трусость? Пожалуй. В таком случае это глупость. Вы слушали, но ровно ничего не поняли. Старики здесь тугоухи, а молодежь тупоумна. Я в достаточной мере принадлежу к вашей среде, чтобы иметь право высказывать вам такие истины. Этот новый лорд — существо странное, он наговорил кучу нелепостей, — согласен, но среди этих нелепостей было и много верного. Его речь была сбивчива, бестолкова, он произнес ее неумело, — не спорю; он слишком часто повторял «знаете ли вы, знаете ли вы», но человек, еще вчера бывший ярмарочным фигляром, не обязан говорить, как Аристотель или как Гильберт Барнет, епископ Сарумский. Его слова о нечисти, о львах, его обращение к помощникам клерков — все это было безвкусно. Черт возьми! Кто же

спорит с вами? Это была безрассудная, беспорядочная речь, где все было спутано, но иногда в ней проскальзывала настоящая правда. Говорить так, как он, не будучи опытным оратором, — это уже немалая заслуга. Хотел бы я увидеть вас на его месте. То, что он рассказал о прокаженных Бертон-Лезерса — факт бесспорный. К тому же не он первый говорит глупости в парламенте. Наконец, милорды, я не люблю, когда все нападают на одного, таков уж мой характер, а потому разрешите мне считать себя оскорбленным. Ваше поведение не нравится мне, я возмущен. Я не очень-то верю в бога, но когда он совершает добрые поступки, что случается с ним не каждый день, я готов склониться к мысли, что он существует; поэтому, например, я весьма признателен ему, если только он есть, за то, что он извлек из общественных низов пэра Англии и возвратил наследство законному владельцу; независимо от того, на руку мне это или нет, я рад, что мокрица внезапно превратилась в орла, Гуинплен — в Кленчарли. Милорды, я запрещаю вам держаться иного мнения. Жаль, что здесь нет Льюиса Дюраса. Он получил бы от меня по заслугам! Милорды, Фермен Кленчарли вел себя как лорд, а вы — как скоморохи. Что касается его смеха, он в нем не

повинен. Вы потешались над его смехом. Нельзя смеяться над несчастьем. Вы глупцы, и глупцы жестокие. Вы очень ошибаетесь, если полагаете, что нельзя посмеяться и над вами, вы сами безобразны, и вы не умеете одеваться. Милорд Хавершем, я видел третьего дня твою любовницу, она отвратительна. Хоть и герцогиня, но настоящая мартышка. Господа насмешники, повторяю вам, мне очень хотелось бы послушать, сумеете ли вы связать три-четыре слова кряду. Болтать может всякий, говорить — далеко не каждый. Вы воображаете себя образованными людьми на том лишь основании, что протирали штаны на скамьях в Оксфорде или Кембридже, и потому, что, прежде чем усесться в качестве пэров Англии на скамьи Вестминстер-Холла, вы хлопали ушами на скамьях Гонвиллского или Кайского колледжа. Я говорю вам в лицо: вы вели себя нагло с новым лордом.

Конечно, он чудовище, но чудовище, отданное на съедение диким зверям. Я предпочел бы быть на его месте, чем на вашем. Я присутствовал на заседании в качестве возможного наследника пэрства. Я все слышал. Я не имел права высказываться, но имею право быть порядочным человеком. Ваши насмешки возмутили меня.

Когда я зол, я способен подняться на гору Пендлхилл и набрать там травы «собачий зуб», хотя она навлекает молнию на голову того, кто срывает ее. Вот почему я поджидал вас здесь, у выхода. Объясниться никогда не лишнее, и мне нужно поговорить с вами. Понимаете ли вы, что в известной степени оскорбили и меня? Милорды, я твердо решил отправить кое-кого из вас на тот свет. Все вы, присутствующие здесь, — Томас Тефтон, граф Тенет, Севедж, граф Риверс, Чарльз Спенсер, граф Сендерленд, Лоуренс Хайд, граф Рочестер, и вы, бароны Грей-Ролстон, Кери Хенсдон, Эскрик, Рокингем, ты, маленький Картрет, ты, Роберт Дарси, граф Холдернес, ты, Вильям, виконт Хеттон, и ты, Ральф, герцог Монтегю, и все остальные, — я, Дэвид Дерри-Мойр, моряк английского флота, бросаю вам вызов и настоятельно предлагаю вам запастись секундантами и свидетелями; я буду ждать вас, чтобы встретиться лицом к лицу и грудь с грудью нынче же вечером, сейчас же или завтра, днем или ночью, при солнечном свете или при свете факелов, в любом месте, в любое время и на каких угодно условиях, всюду, где только хватит места, чтобы скрестить два клинка; вы хорошо сделаете, если осмотрите ваши пистолеты и лезвия ваших шпаг, ибо я имею

намерение сделать вакантными ваши пэрства. Огль Кавендиш, прими меры предосторожности и вспомни свой девиз: «Cavendo tutus»[343]

Мармедьюк Ленгдейл, ты поступишь благоразумно, если, по примеру твоего предка Гундольда, велишь нести за собою гроб. Джордж Бутс, граф Уорингтон, не видать тебе больше своего графства в Честере, своего критского лабиринта и высоких башен Денгем-Месси. Что касается лорда Вогана, он достаточно молод, чтобы говорить дерзости, но слишком стар, чтобы отвечать за них; поэтому за его слова я привлеку к ответу его племянника Ричарда Вогана, депутата города Мерионета в палате общин. Тебя, Джон Кемпбел, граф Гринич, я убью, как Эгон убил Мэтеса, но только честным ударом, а не сзади, так как я привык становиться к острию шпаги грудью, а не спиной. Это решено, милорды. А теперь, если угодно, прибегайте к колдовству, обращайтесь к гадалкам, натирайте себе тело мазями и снадобьями, делающими его неуязвимым, вешайте себе на шею дьявольские или богородицыны ладанки, — я буду драться с вами, невзирая ни на какие благословения или колдовские заговоры, и не стану ощупывать вас, чтобы узнать, нет ли на вас талисманов. Я буду биться с вами пеший

или конный. На любом перекрестке, если хотите — на Пикадилли или Черинг-Кроссе, пусть даже для нашего поединка разворотят мостовую, как это сделали во дворе Лувра для Гиза с Бассомпьером. Слышите вы? Я вызываю вас всех! Дорм, граф Карнарвон, я заставлю тебя проглотить мою шпагу до рукоятки, как это сделал Мароль с Лилем-Мариво; тогда увидим, будешь ли ты смеяться, милорд. Ты, Барлингтон, похожий на семнадцатилетнюю девчонку, ты можешь выбрать себе место для могилы, где пожелаешь: на лужайке ли твоего Миддлсекского замка или в твоем Лендерсбергском саду в Йоркшире. Ставлю в известность ваши милости, что я не терплю дерзостей и накажу вас по заслугам, милорды. Я не допущу, чтобы вы глумились над лордом Ферменом Кленчарли. Он лучше вас. Как Кленчарли, он не менее знатен, чем вы, а как Гуинплен, он обладает умом, которого у вас нет. Я объявляю его дело своим делом, оскорбление, нанесенное ему, считаю нанесенным мне и возмущен вашими издевательствами над ним. Посмотрим, кто из нас останется жив, ибо я вызываю вас, слышите ли вы, на смертный бой; оружие и способ смерти выбирайте какие вам угодно, но так как вы в то же время и джентльмены и грубые скоты, я

соразмеряю свой вызов с вашими качествами и предлагаю вам все существующие способы взаимного истребления, начиная с дворянского оружия — шпаги и кончая простонародной кулачной расправой.

Этот яростный поток был встречен всеми молодыми людьми высокомерной улыбкой.

— Согласны, — ответили они.

— Я выбираю пистолет, — сказал Барлингтон.

— Я, — заявил Эскрик, — выбираю старинный поединок в огороженном месте на палицах и на кинжалах.

— Я, — сказал Холдернес, — рукопашную схватку на двух ножах, одном длинном и одном коротком.

— Лорд Дэвид, — ответил граф Тенет, — ты шотландец, и я выбираю палаш.

— Я — шпагу, — сказал Рокингем.

— Я, — объявил герцог Ральф, — предпочитаю бокс. Это благороднее!

Гуинплен вышел из темноты.

Он направился к человеку, который до сих пор назывался Том-Джим-Джеком, но теперь оказался кем-то совсем другим.

— Благодарю вас, — сказал он, — но это касается только меня.

Все обернулись к нему.

Гуинплен подошел еще ближе. Какая-то сила толкала его к тому, кого все называли лордом Дэвидом и кто стал его защитником, если не более. Лорд Дэвид отступил.

— А! — воскликнул лорд Дэвид. — Это вы! Вы здесь? Прекрасно. Мне и вам надо сказать несколько слов Вы осмелились говорить о женщине, которая сперва любила лорда Линнея Кленчарли, а потом короля Карла Второго?

— Да, говорил.

— Сударь, вы оскорбили мою мать.

— Вашу мать? — воскликнул Гуинплен. — Значит… я чувствовал это… значит, мы…

— Братья, — закончил лорд Дэвид.

И он дал Гуинплену пощечину.

— Мы — братья, — повторил он. — Поэтому мы можем драться. Поединок возможен только между равными. Кто же мне более равен, чем собственный брат? Я пришлю к вам секундантов. Завтра мы будем драться насмерть.

Часть девятая. На развалинах

1. С высоты величия в бездну отчаяния

В то время, как на колокольне собора святого Павла пробило полночь, какой-то человек, перейдя Лондонский мост, углублялся в сеть

саутворкских переулков. Фонари уже не горели, ибо в то время в Лондоне, как и в Париже, гасили городское освещение в одиннадцать часов, то есть именно тогда, когда оно всего нужнее. Темные улицы были безлюдны. Отсутствие фонарей сокращает количество прохожих. Человек шел большими шагами. На нем был костюм, совсем не подходящий для поздней прогулки по улицам: шитый золотом атласный камзол, шпага на боку, шляпа с белыми перьями; плаща на нем не было. Ночные сторожа при виде его говорили: «должно быть, какой-нибудь лорд, побившийся об заклад», — и уступали ему дорогу с уважением, с каким должно относиться и к лордам и к пари.

Человек этот был Гуинплен.

Он бежал из Лондона.

Куда он стремился, он и сам не знал. Как мы уже говорили, в душе, человека иногда бушует смерч, и для него земля и небо, море и суша, день и ночь, жизнь и смерть сливаются в непостижимый хаос. Действительность душит нас. Мы раздавлены силами, в которые не верим. Откуда-то налетает ураган. Меркнет небесный свод. Бесконечность кажется пустотой. Мы перестаем ощущать самих себя. Мы чувствуем, что умираем. Мы стремимся к какой-то звезде. Что испытывал Гуинплен?

Только жажду видеть Дею. Он весь был полон одним желанием: вернуться в «Зеленый ящик», в Тедкастерскую гостиницу, шумную, ярко освещенную, оглашаемую взрывами добродушного смеха простого народа; снова встретиться с Урсусом, с Гомо, снова увидеть Дею, вернуться к настоящей жизни.

Подобно тому, как стрела, выпущенная из лука, с роковою силою устремляется к цели, так и человек, истерзанный разочарованиями, устремляется к истине. Гуинплен торопился. Он приближался к Таринзофилду. Он уже не шел, он бежал. Его глаза впивались в расстилавшийся перед ним мрак; таким же жадным взором всматривается в горизонт мореплаватель в поисках гавани. Как радостна будет минута, когда он увидит освещенные окна Тедкастерской гостиницы!

Он вышел на «зеленую лужайку», обогнул забор: на противоположном конце пустыря перед ним выросло здание гостиницы — единственной, как помнит читатель, жилой постройки на ярмарочной площади.

Он стал всматриваться. Света не было. Все окна были темны.

Он вздрогнул. Затем стал убеждать себя, что уже поздно, что харчевня закрыта, что дело

объясняется просто: все спят, и ему надо только разбудить Никлса или Говикема, постучав в двери. Он двинулся туда. Он уже не бежал — он мчался изо всех сил.

Добравшись до харчевни, он остановился, с трудом переводя дыхание. Если человек, измученный жестокой душевной бурей, судорожно сопротивляясь натиску нежданных бедствий, не зная, жив ли он или мертв, все же способен с бережной заботливостью относиться к любимому существу — это верный признак истинно прекрасного сердца. Когда все оказывается поглощенным пучиной, всплывает наверх одна только нежность. Первое, о чем подумал Гуинплен, это как бы не испугать спящую Дею.

Он подошел к дому, стараясь производить как можно меньше шума. Он хорошо знал чуланчик, служивший ночным убежищем Говикему; в этом закоулке, примыкавшем к нижнему залу харчевни, было маленькое оконце, выходившее на площадь. Гуинплен тихонько постучал пальцем по стеклу. Надо было только разбудить Говикема.

Но в каморке никто не пошевелился. «В его возрасте, — решил Гуинплен, — спят очень крепко». Он стукнул в оконце еще раз. Никакого

движения.

Он постучал сильнее два раза подряд. В чуланчике по-прежнему было тихо. Тогда, встревоженный, он подошел к дверям гостиницы и постучался.

Никакого ответа.

Чувствуя, что весь холодеет, он подумал: «Дядюшка Никлс стар, дети спят крепко, а у стариков сон тяжелый. Постучу погромче».

Он барабанил, бил кулаком, колотил изо всей силы. И это вызвало в нем далекое воспоминание об Уэймете, когда он, еще мальчиком, бродил ночью с малюткой Деей на руках.

Он стучался властно, как лорд; ведь он и был лордом, к несчастью.

В доме по-прежнему стояла мертвая тишина.

Он почувствовал, что теряет голову. Он уже перестал соблюдать осторожность. Он стал звать:

— Никлс! Говикем!

Он заглядывал в окна в надежде, не вспыхнет ли где-нибудь огонек.

Никакого движения. Ни звука. Ни голоса. Ни малейшего света. Он подошел к воротам, стал стучаться, яростно грясти их и кричать:

— Урсус! Гомо!

Волк не залаял в ответ.

На лбу Гуинплена выступил холодный пот.

Он оглянулся вокруг. Стояла глухая ночь, но на небе было достаточно звезд, чтобы рассмотреть ярмарочную площадь. Его глазам представилась мрачная картина — кругом был голый пустырь; не осталось ни одного балагана. Ни одной палатки, никаких подмостков. Ни одной повозки. Цирка тоже не было. Там, где еще совсем недавно шумно кишел бродячий люд, теперь зияла зловещая черная пустота. Все исчезло.

Безумная тревога овладела Гуинпленом. Что это значит? Что случилось? Разве тут больше нет никого? Разве с его уходом рухнула вся его прежняя жизнь? Что же сделали с ними со всеми? Ах, боже мой!

Как ураган, он снова ринулся к гостинице. Он стал стучать в боковую дверь, в ворота, в окна, в ставни, стены, стучал кулаками, ногами, обезумев от ужаса и тоски. Он звал Никлса, Говикема, Фиби, Винос, Урсуса, Гомо. Стоя перед стеной, он надрывался в криках, он стучал что было мочи. По временам он умолкал и прислушивался. Дом оставался нем и мертв. В отчаянии он снова принимался стучать и звать. Все вокруг гудело от его ударов, стука и криков. Это было похоже на раскаты грома, пытающиеся нарушить молчание

гробницы.

Есть такая степень страха, когда человек сам делается страшен. Кто боится всего, тот уже ничего не боится. В такие минуты мы способны ударить ногой даже сфинкса. Мы не страшимся оскорбить неведомое. Гуинплен бушевал как помешанный, иногда останавливаясь, чтобы передохнуть, затем опять оглашал воздух непрерывными криками и зовом, как бы штурмуя это трагическое безмолвие.

Он сотни раз окликал всех, кто, по его предположению, мог находиться внутри, — всех, кроме Деи. Предосторожность, непонятная ему самому, но которую он, несмотря на всю свою растерянность, еще инстинктивно соблюдал.

Видя, что крики и призывы напрасны, он решил пробраться в дом. Он сказал себе: «Надо проникнуть внутрь». Разбив стекло в каморке Говикема и порезав при этом руку, он отодвинул задвижку и отворил оконце. Шпага мешала ему, и он, гневно сорвав с себя перевязь, пояс и шпагу, швырнул все это на мостовую. Потом, вскарабкавшись на выступ стены, влез, несмотря на узкую оконную раму, в каморку; оттуда он пробрался в гостиницу.

В темноте еле была видна постель Говикема, но

мальчика на ней не было. Раз не было Говикема, очевидно не было и Никлса. Весь дом был погружен во мрак. В этом совершенно темном помещении угадывалась таинственная неподвижность пустоты и та зловещая тишина, которая означает: «Здесь нет ни души». Содрогаясь, Гуинплен прошел в нижний зал; он натыкался на столы, ронял на пол посуду, опрокидывал скамьи, жбаны, шагал через стулья и, очутившись, у двери, выходившей на двор, так сильно ударил в нее коленом, что сбил щеколду. Дверь повернулась на петлях, Гуинплен заглянул во двор. «Зеленого ящика» там не было.

2. Последний итог

Гуинплен вышел из гостиницы и осмотрел во всех направлениях Таринзофилд. Он ходил всюду, где накануне стояли подмостки, палатки, балаганы. Теперь ничего от этого не осталось. Он стучался в лавки, хотя отлично знал, что в них нет никого, колотил во все окна, ломился во все двери. Ни один голос не откликнулся из этой тьмы. Казалось, здесь вымерло решительно все.

Муравейник был разрушен. Очевидно, полиция приняла меры. Казалось, здесь прошел разбойничий набег. Таринзофилд не то что опустел, он был разорен; во всех его углах чувствовались следы

чьих-то свирепых когтей. У этой жалкой ярмарки вывернули, так сказать, наизнанку карманы и опорожнили их.

Внимательно обследовав всю площадь, Гуинплен покинул «зеленую лужайку», свернул в извилистые переулки той части предместья, которая носит название Ист-Пойнта, и направился к Темзе.

Миновав запутанную сеть переулков, обнесенных заборами и изгородями, он почувствовал, что на него пахнуло свежестью воды, услыхал глухой плеск реки и вдруг очутился перед парапетом Эфрок-Стоуна.

Парапет окаймлял очень короткий и узкий участок набережной. Под парапетом высокая стена отвесно спускалась в темную воду.

Гуинплен остановился, облокотился на парапет, сжал обеими руками голову и задумался, склонясь над водой.

На что он смотрел? На реку? Нет. Во что же он вглядывался? Во мрак. Но не в тот, что окружал его, а в тот, что наполнял его душу.

В унылом ночном пейзаже, которого он не замечал, в темноте, куда не проникал его взор, можно было различить черные силуэты рей и мачт. Под Эфрок-Стоуном не было ничего, кроме воды,

но неподалеку, вниз по течению, набережная полого спускалась к берегу, где стояло несколько судов, только что прибывших или готовящихся к отплытию и сообщавшихся с сушей маленькими пристанями, сооруженными из камня или дерева, или дощатыми мостками. Одни суда стояли на якоре, другие — на причале. На них не слышалось ни шагов, ни разговоров, так как матросы имеют похвальную привычку спать как можно дольше и вставать только для работы. Даже если какому-либо из этих судов и предстояло уйти ночью во время прилива, то пока на нем еще никто не просыпался.

Во мгле смутно вырисовывались черные пузатые кузовы и такелаж, переплетения снастей и веревочных лестниц. Все затягивала сизая мглистая дымка. Местами ее прорезывал красный фонарь.

Ничего этого Гуинплен не замечал. Он созерцал собственную судьбу.

Он был погружен в раздумье, этот мечтатель, растерявшийся перед лицом неумолимой действительности. Ему чудилось, будто он слышит позади себя какой-то грохот, словно гул землетрясения. Это был хохот лордов.

Он только что бежал от этого хохота. Бежал,

получив пощечину.

От кого? — От родного брата.

И, убежав от этого хохота, оглушенный пощечиной, спеша укрыться в своем гнезде, словно раненая птица, спасаясь от ненависти и надеясь встретить любовь, что встретил он?

Мрак.

Ни души.

Все исчезло.

Он сравнивал этот мрак со своими мечтами.

Все, все рухнуло!

Гуинплен подошел к самому краю зловещей пропасти, к зияющей пустоте.

«Зеленый ящик» исчез, и это было гибелью вселенной.

Над ним как бы захлопнулась крышка гроба.

Он размышлял.

Что с ними могло произойти? Где они? Очевидно, их всех куда-то убрали. Тем же самым ударом, каким она вознесла его на высоту, судьба уничтожила его близких. Было ясно, что он их больше никогда не увидит. Для этого приняли необходимые меры. Сразу удалили всех до одного обитателей ярмарочной площади, начиная с Никлса и Говикема, чтобы он нигде не мог получить никаких сведений. Их смели беспощадной рукой.

Та же грозная общественная сила, жертвой которой он стал в палате лордов, уничтожила Урсуса и Дею в их убогом жилище.

Они погибли. Дея погибла. Во всяком случае для него. Навсегда. О силы небесные, где она? И его не было рядом, и он не защитил ее!

Строить догадки об отсутствующих, которых любишь, значит подвергать себя пытке. И Гуинплен переживал эту пытку. Куда бы ни устремлялась его мысль, какие бы предположения ни приходили ему на ум, все причиняло ему жестокую внутреннюю боль, и он глухо стонал.

В вихре проносившихся в его голове мучительных мыслей у него возникло внезапно воспоминание о том, несомненно роковом, человеке, который назывался Баркильфедро. Это он оставил в его мозгу те неясные слова, которые загорались теперь в его памяти, как будто были начертаны огнем. Он чувствовал, как пылают они в его мозгу — эти, прежде загадочные, теперь ставшие понятными слова:

«Судьба никогда не отворяет одной двери, не захлопнув прежде другой».

Все было кончено. Последние тени сгустились над ним.

В жизни каждого человека бывают минуты,

когда для него как будто бы рушится мир. Это называется отчаянием. Душа в этот час полна падающих звезд.

Итак, вот что с ним случилось!

Откуда-то вдруг надвинулось облако дыма. Оно покрыло его, Гуинплена. Дым закрыл ему глаза; он проник в его мозг, он ослепил и одурманил его. Все это длилось недолго, только пока рассеялся дым. И вот рассеялось все — и дым и жизнь его. Очнувшись от этого страшного сна, он оказался одиноким.

Все исчезло. Все ушло. Все погибло. Ночь. Небытие. Вот что он видел вокруг себя.

Он был одинок.

Синоним одиночества — смерть.

Отчаяние — великий счетчик. Оно всему подводит итоги. Ничто не ускользает от него. Оно все подсчитывает, не упуская ни одного сантима. Оно ставит в счет богу и громовый удар и булавочный укол. Оно хочет точно знать, чего следует ждать от судьбы. Оно все принимает во внимание, взвешивает и высчитывает.

Как страшен этот наружный холод, под которым клокочет огненная лава!

Гуинплен заглянул в свою душу и посмотрел прямо в глаза своей судьбе. Оглядываясь назад,

человек подводит страшный итог.

Находясь на вершине горы, мы всматриваемся в пропасть.

Упав в бездну, созерцаем небо.

И говорим себе: «Вот где я был».

Гуинплен познал всю глубину несчастья. И как быстро это случилось! Несчастье надвинулось на него так внезапно! А между тем оно так тяжело, что от него можно было бы ждать большей медлительности. Увы, это не так! Казалось бы, холод, присущий снегу, должен был сообщить ему оцепенелость зимы, а белизна — неподвижность савана. Однако это опровергается стремительным падением лавины.

Лавина — это снег, ставший огненной печью. Она ледяная, но все пожирает. Такая лавина увлекла за собой Гуинплена. Она оторвала его, как лоскут, вырвала с корнем, как дерево, швырнула, как камень.

Он припомнил все обстоятельства своего падения. Сам задавал себе вопросы и сам же на них отвечал. Страдания — это допрос. Ни один судья не допрашивает обвиняемого так пытливо, как допрашивает нас собственная совесть.

В какой мере отчаяние Гуинплена было вызвано угрызениями совести?

Он пожелал дать себе в этом отчет и, как анатом, вскрыл свою душу. Мучительная операция.

Его отсутствие привело к катастрофе. Зависело ли оно от него? Действовал ли он по собственной воле? Нет. Он все время чувствовал себя пленником. Что же удерживало и останавливало его? Тюрьма? Нет. Цепи? Нет. Что же? Липкая смола. Он завяз в собственном величии.

Кому не случалось быть с виду свободным, но чувствовать, что у него связаны крылья!

Он будто попался в расставленные тенета. То, что вначале было соблазном, стало в конце концов пленом.

Совесть не давала ему покоя: разве он только подчинился обстоятельствам? Нет. Он охотно принял то, что предлагала ему судьба.

Правда, в известной мере над ним совершили насилие, его захватили врасплох, но и он в свою очередь не воспротивился этому. В том, что его похитили, он не был виноват, но он проявил слабость, позволив одурманить себя. Была ведь решительная минута, когда ему задали вопрос: Баркильфедро предложил ему сделать выбор и предоставил полную возможность одним-единственным словом решить свою участь.

Гуинплен мог сказать «нет». Он сказал «да».

Это «да», произнесенное в состоянии полной растерянности, и повлекло за собою все остальное. Гуинплен сознавал это. И воспоминание об этой минуте вызвало теперь прилив горечи в его душе.

И все же Гуинплен пытался оправдаться перед самим собой, — неужели он так провинился, вступив в свои права, в свое исконное наследие, в свой дом, заняв в качестве патриция положение, принадлежавшее его предкам, и в качестве сироты приняв имя своего отца? На что он согласился? На восстановление своих прав. И с чьей помощью? С помощью провидения.

Но при мысли об этом его охватывал порыв возмущения. Какую глупость он совершил, дав свое согласие! В какую недостойную сделку вступил он! Какой нелепый обмен! Эта сделка принесла ему несчастье. Как! За два миллиона ежегодного дохода, за семь-восемь поместий, за десять — двенадцать дворцов, за несколько особняков и за псовую охоту, кареты и гербы, за право быть судьей и законодателем, за честь носить корону и пурпурную мантию, как король, за титул барона, маркиза и пэра Англии он отдал балаган Урсуса и улыбку Деи! За всепоглощающую жизненную пучину он отдал подлинное счастье! За

океан — жемчужину! О, безумец! О, глупец! О, простофиля!

Однако — и это возражение было достаточно основательным — разве в охватившей его горячке все было только нездоровым тщеславием? Быть может, отказаться от предложенных ему благ было бы эгоистичным; быть может, соглашаясь принять их, он действовал, повинуясь чувству долга? Что оставалось ему делать, когда он так внезапно превратился в лорда? Сложный круговорот событий повергает в замешательство каждого. Это случилось и с ним, Гуинпленом. Он растерялся, когда на него нахлынули со всех сторон бесчисленные, многообразные, противоречившие одна другой обязанности. Именно этой сковавшей его растерянностью и объясняется его покорность — в частности, то, что он позволил доставить себя из Корлеоне-Лоджа в палату лордов.

То, что в жизни называют «возвышением», — не что иное, как переход с пути спокойного на путь, полный тревоги. Где же прямая дорога? В чем состоит наш основной долг? В заботе ли о близких нам людях? Или обо всем человечестве? Не следует ли оставить малую семью ради большой? Человек поднимается вверх и чувствует на своей совести все увеличивающееся бремя. Чем

выше подымается он, тем больше становится его долг по отношению к окружающим. Расширение прав влечет за собой увеличение обязанностей. Возникает соблазнительная иллюзия, будто перед нами расстилается одновременно несколько дорог и на каждую из этих дорог нам указывает наша совесть. Куда идти? Свернуть в сторону? Остановиться? Пойти вперед? Отступить? Что делать? Это странно, но у долга тоже есть свои перекрестки; ответственность бывает иногда настоящим лабиринтом.

И когда несешь в себе какую-то идею, когда ты не просто человек из плоти и крови, но и воплощение, но и символ, — разве твоя ответственность не больше? Вот чем объяснялись и сознательная покорность и немая тревога Гуинплена, вот почему согласился он заседать в палате лордов.

Человек, много думающий, часто бывает бездеятельным. Гуинплену казалось, что он повинуется голосу долга. Разве его вступление в парламент, где можно было бороться за угнетенный народ, не было осуществлением одной из самых заветных грез Гуинплена? Разве мог он отказаться, когда ему дано было право голоса, ему, чудовищному образчику уродливого общественного строя, ему,

наглядной жертве произвола, под игом которого вот уже шесть тысяч лет стонет человеческий род? Имел ли он право уклониться от сходящего на него с неба огненного языка?

Что говорил себе Гуинплен в таинственном и ожесточенном споре с собственной совестью? Он говорил: «Народ молчит. Я буду неустанным глашатаем этого безмолвия; я буду говорить за немых. Я расскажу великим о малых, могущественным о слабых. В этом смысл моей судьбы. Господь знает, чего хочет, он осуществляет свои предначертания. Конечно, поразительно, что фляга Хардкванона, заключавшая в себе все необходимое для превращения Гуинплена в лорда Кленчарли, пятнадцать лет носилась по морю и ни бурные волны, ни рифы, ни шквалы не причинили ей никакого вреда. Я понимаю, почему. Есть жизненные жребии, остающиеся навеки тайной. Я владею тайной своей судьбы; я знаю ее разгадку. Я предназначен богом. На меня возложена миссия. Я буду лордом бедняков. Я буду говорить за всех молчащих и отчаявшихся. Я передам их несвязный лепет; я передам их ропот и стоны; я переведу на человеческий язык и неясный гул толпы, и невнятные жалобы, и косноязычные речи — все звериные крики, исторгаемые из

людских уст страданием и невежеством. Ведь вопль страдания столь же невнятен, как вой ветра. Люди кричат, но слов у них нет, никто их не понимает, ибо вопить — то же, что молчать, а молчать — значит быть безоружным. Людей обезоружили насилием, и они зовут к себе на помощь. И я приду им на помощь. Я буду обличителем. Я буду голосом народа. Благодаря мне все станет понятно. Я буду окровавленными устами, с которых сорвана повязка. Я выскажу все. Это будет великим делом.

Да, говорить за немых — это прекрасно, но как тяжело говорить перед глухими! Это и было второй частью пережитой им трагедии.

Увы! Его постигла неудача.

Неудача непоправимая.

Его внезапное возвышение, в которое он поверил, видимость счастья, блестящая будущность рухнули, едва только он коснулся их.

Какое падение! Потонуть в море смеха!

Он считал себя сильным, — столько лет его носили ветры в беспредельном море людских страданий, так чутко прислушивался он к его рокоту и слышал во мраке столько горестных воплей.

И вот он потерпел крушение, натолкнувшись

на исполинский подводный камень — на ничтожество баловней счастья. Он считал себя мстителем, а оказался клоуном. Он думал разить громом, но только пощекотал противника. Вместо глубокого впечатления он вызвал только насмешки. Он рыдал, а ему ответили хохотом. Пучина этого смеха поглотила его. Мрачная гибель.

Над чем же смеялись? Над его смехом.

Итак, отвратительное насилие, след которого навсегда остался запечатленным на его лице, увечье, сообщившее ему выражение вечной веселости, клеймо смеха, скрывающее муки угнетенных, забавная маска, созданная пыткой, гримаса, исказившая его черты, рубцы, обозначавшие jussu regis, это вещественное доказательство преступления, совершенного королевской властью над целым народом, — вот что восторжествовало над ним, вот что сразило его; то, что должно было обвинить палача, стало приговором для жертвы. Неслыханная несправедливость! Королевская власть, погубив отца, поражала теперь и сына. Совершенное некогда зло служило теперь предлогом для нового злодейства. На кого обратилось негодование лордов? На мучителя? Нет. На его жертву.

С одной стороны — трон, с другой — народ; здесь

Иаков II, там — Гуинплен. Очная ставка проливала свет на посягательство и на преступление.

В чем заключалось посягательство? Он посмел жаловаться. В чем заключалось преступление? Он посмел страдать. Пусть нищета прячется и молчит, иначе она виновна в оскорблении величества. Были ли злы по природе люди, поднявшие Гуинплена на смех? Нет, но над ними также тяготел рок, неизбежная жестокость богатых и счастливых: они были палачами, сами того не подозревая. Они были весело настроены. Они просто нашли Гуинплена лишним.

У них на глазах он вскрыл себе грудь, он вынул из себя печень и сердце, он показал им свои раны, а они кричали ему: «Валяй, ломай комедию!» Всего ужаснее было то, что он сам смеялся. Страшные цепи сковывали его душу, не давая мысли отразиться на его лице. Все его существо было изуродовано этой насильственной улыбкой, и в то время, как в нем бушевала ярость, черты его, противореча этой ярости, расплывались в смехе. Все кончено. Он — «Человек, который смеется», кариатида мира, исходящего слезами. Он — окаменевшая в смехе маска отчаяния, маска, запечатлевшая неисчислимые бедствия и навсегда обреченная служить для потехи и

вызывать хохот; вместе со всеми угнетенными, чьим олицетворением он являлся, он разделял страшную участь — быть отчаянием, которому не верят. Над его терзаниями смеялись, он был чудовищным шутом, порожденным безысходной человеческой мукой, беглецом с каторги, где томились люди, забытые богом, бродягой, поднявшимся из народных низов, из «черни» до ступеней трона, к созвездиям избранных, скоморохом, забавлявшим вельмож, после того как он увеселял отверженных! Все его великодушие, весь энтузиазм, все красноречие — его сердце, душа, ярость, гнев, любовь, невыразимая скорбь — все это вызывало только смех. И он убеждался, как уже сказал лордам, что это не было исключением, а, напротив, заурядным, обычным фактом, настолько распространенным и неразрывно связанным с повседневной жизнью, что никто уже не замечал его. Смеется умирающий с голоду, смеется нищий, смеется каторжник, смеется проститутка, смеется сирота, чтобы заработать себе на хлеб насущный, смеется раб, смеется солдат, смеется народ. Человеческое общество устроено так, что все его беды, все несчастья, все катастрофы, все болезни, все язвы, все агонии здесь, над зияющей бездной, разрешаются ужа-

сающей гримасой смеха. И олицетворением этой гримасы был он.

Небесная воля, неведомая сила, правящая нами, пожелала, чтобы доступный взору и осязанию призрак, призрак из плоти и крови, явился исчерпывающим выражением чудовищной пародии, которую мы называем миром. Этим призраком был он, Гуинплен.

Рок неумолим.

Он взывал: «Сжальтесь над страждущими!» Тщетный призыв.

Он хотел вызвать жалость, а вызвал отвращение. Появление призрака пробудило только это чувство. Но, будучи призраком, он был и человеком — мучительное осложнение. У привидения была человеческая душа. Он был человеком в большей мере, быть может, чем кто бы то ни было, ибо двойственная судьба его воплощала в себе все человечество. Однако, являясь выразителем человечества, он все же чувствовал себя вне его.

Какое-то неодолимое противоречие крылось в самой его судьбе. Кем был он? Обездоленным бродягой? Нет, ведь он оказался лордом. Кем он стал? Лордом? Нет, ведь он мятежник. Он был светоносцем и грозным нарушителем общественного спокойствия. Правда, не сатана, но

Люцифер. Он явился как зловещее привидение с факелом в руке.

Зловещее для кого? Для зловещих. Грозное для кого? Для грозных. Потому-то они и отвергли его. Находиться в их среде? Быть допущенным в нее? Никогда! Препятствие, каким являлось его лицо, было ужасно, препятствие, каким были мысли, оказалось необоримым. Его речь казалась еще более отталкивающей, чем его лицо. Его понятия были несовместимы с понятиями того особого мира знатных и могущественных людей, где он по роковой случайности родился и откуда его изгнала другая роковая случайность. Между людьми и его лицом стояла преградой маска смеха, а между высокородным обществом и его образом мыслей высилась стена. Бродячий фигляр, с детства сроднившийся с живучей, крепкой средою, которую называют простонародьем, вобравший в себя магнитные токи бесчисленных людских толп, насквозь пропитавшийся всеми стремлениями необъятной души человечества, он чувствовал себя частицей его угнетенных масс и не мог смотреть на мир глазами господствующих классов. Ему не было места наверху общественной лестницы. Он поднялся из колодца Истины и все еще был покрыт ее влагой. От него исходило

зловоние омута. Он внушал отвращение этим вельможам, благоухающим ложью. Тому, кто живет обманом, истина кажется смрадной. Того, кто жаждет лести, тошнит от правды, если ему нечаянно придется отведать ее. Все, что принес с собой Гуинплен, было неприемлемо для лордов. Что же он принес с собою? Разум, мудрость, справедливость. Они с гадливостью оттолкнули его.

В палате заседали епископы. Он был неугоден их богу. Кто он такой, этот непрошенный гость?

Противоположные полюсы взаимно отталкиваются. Соединить их невозможно. Переходных ступеней нет между ними. Читатель видел, к какому взрыву глумящегося хохота привела страшная очная ставка людских страданий, сосредоточенных в одном человеке, с высокомерием и гордостью, сосредоточенными в касте.

Обвинять бесполезно. Достаточно установить факт. И Гуинплен, размышляя в эту трагическую для него минуту, понял глубочайшую бесполезность своих усилий, понял глухоту представителей знати. Привилегированные слои общества глухи к воплям обездоленных. Виновны ли они в этом? Нет. К сожалению, это закон их существования. Простим им это. Если бы их тронул голос несчастных, им пришлось бы

отказаться от своих привилегий. От принцев и вельмож нечего ждать хорошего. Тот, кто всем удовлетворен, — неумолим. Сытый голодного не разумеет. Баловни счастья ничего не хотят знать, они отгородились от несчастных. На пороге их рая, так же как на вратах ада, следовало бы написать: «Оставь надежду навсегда».

Гуинплена встретили так, как встретили бы призрак, явившийся в чертоги богов.

Гнев закипал в нем при этом воспоминании. Нет, он не призрак, он человек. Он говорил им это, он кричал им, что он Человек.

Он не был привидением. Он был трепещущей плотью. У него был мозг, и мозг этот мыслил; у него было сердце, и сердце это любило; у него была душа, и он надеялся. В том-то и состояла его ошибка, что он надеялся понапрасну.

Увы, он до того увлекся надеждами, что поверил в блестящий и таинственный мир, имя которому — общество. Он, которого когда-то вышвырнули из общества, решился вернуться в него.

И общество сразу же поднесло ему три своих дара: брак, семью и сословие. Брак? На пороге брака он столкнулся с развратом. Семья? Брат дал ему пощечину и ждал его завтра с оружием в руке. Сословие? Оно только что хохотало ему в лицо, ему,

патрицию, ему, отверженному! Оно изгнало его, едва успев принять. Он ступил только три шага в глубоком мраке, каким оказалось это общество, а под его ногами уже разверзлось три бездны.

Его несчастье началось с предательского превращения. Катастрофа подкралась к нему под видом апофеоза! «Подымайся!» означало: «Падай!»

Он был своего рода противоположностью Иову: источником его бедствий оказалось его благоденствие.

О трагическая загадка человеческой судьбы! Сколько козней скрывается в ней! Ребенком он боролся с ночью и одолел ее. Став взрослым, он боролся с выпавшим ему жребием и одержал над ним верх. Из урода сделался существом, окруженным сиянием славы, из несчастного — счастливцем. Место своего изгнания он превратил в свой приют. Бродяга, он преодолевал пространство и, подобно птицам небесным, скитаясь, находил себе пропитание. Нелюдим, он померился силами с толпой и завоевал ее расположение. Атлет, он боролся с народом, с этим львом, и лев стал его другом. Неимущий, он боролся с нуждою; став лицом к лицу с суровой необходимостью добывать себе хлеб насущный и умудряясь даже нищету

сочетать с сердечными радостями, он превратил свою бедность в богатство. Он имел право считать себя победителем жизни. И вдруг из неведомой глубины перед ним возникли новые враждебные силы — на этот раз уже не грозные, а ласковые и льстивые; ему, охваченному чистой любовью, предстала чувственная, хищная любовь; он, живший идеалом, оказался во власти плотских вожделений; он услышал слова страсти, походившие на яростные вопли; он испытал женские объятия, напоминавшие змеиные кольца, свет истины сменился очарованием лжи, ибо правда не плоть, а душа. Плоть — зола, душа — пламя. Горсть людей, связанных с ним узами бедности и труда и составлявших его настоящую семью, заменила семья кровных родственников, хотя и смешанной крови, и, едва вступив в эту семью, он сразу очутился лицом к лицу с призраком братоубийства. Увы, он позволил ввести себя в то самое общество, о котором Брантом[344]

(впрочем, Гуинплен и не читал его) писал: «Сын может вызвать отца на дуэль, и это считается в порядке вещей». Роковая судьба крикнула ему: «Ты не принадлежишь к толпе, ты принадлежишь к сонму избранных!» — и распахнула у него над головой, точно врата на небо, свод обще-

ственного здания; втолкнув его в это отверстие, она заставила его нежданным и грозным видением появиться среди сильных мира сего.

И вдруг, вместо простого люда, рукоплескавшего ему, он увидал вельмож, осыпавших его проклятиями. Печальная перемена. Постыдное возвышение. Внезапная гибель всего, что составляло его счастье. Дикая травля, крушение всей его жизни. Удары орлиных клювов, рвавших на части Гуинплена, Кленчарли, лорда, фигляра, его прошлое и его будущее.

Стоило ли одолевать препятствия в начале жизненного пути? Стоило ли одерживать победу? Увы, ему суждено было быть ниспровергнутым, чтобы завершилась его судьба.

Итак, отчасти подчиняясь насилию, отчасти по доброй воле (ведь после жезлоносца ему пришлось иметь дело с Баркильфедро, и переезд в палату лордов совершился не без его, Гуинплена, согласия), он променял действительность на химеру, истину на ложь, Дею на Джозиану, любовь на тщеславие, свободу на могущество, гордый честный труд на богатство и связанную с ним тяжкую ответственность, сумрак, укрывающий божество, на адское пламя, где обитают демоны, рай на Олимп!

Он вкусил от золотого плода, и во рту у него остался пепел.

Скорбный итог! Разгром, банкротство, падение, гибель, поругание всех надежд, уничтоженных злобным смехом, беспредельное отчаяние. Что делать теперь? Что сулит ему завтрашний день? Острие обнаженной шпаги, направленной в его грудь рукою брата. Он видел только ужасный блеск этой шпаги. Остальное — Джозиана, палата лордов — все было позади в чудовищном полумраке, полном трагических теней.

А этот брат, показавшийся ему таким отважным, таким рыцарски благородным! Увы, этот Том-Джим-Джек, защищавший Гуинплена, этот лорд Дэвид, вступившийся за лорда Кленчарли, мелькнул перед ним лишь на одно короткое мгновение, успев только внушить любовь к себе и дать ему пощечину.

Сколько горестных событий!

Идти дальше было некуда: все вокруг рухнуло. Да и к чему? Отчаяние лишает человека последних сил.

Опыт был сделан, и повторять его было незачем.

Гуинплен оказался игроком, сбросившим один за другим свои козыри. Он позволил заманить

себя в страшный игорный дом. Не отдавая себе отчета в своих поступках, ибо таков тонкий яд обольщений, он поставил на карту Дею против Джозианы — и выиграл чудовище. Поставил Урсуса против семьи — и выиграл бесчестье. Поставил подмостки фигляра против скамьи лорда — и вместо восторженных криков услыхал проклятия.

Последняя его карта упала на роковой зеленый ковер опустевшей ярмарочной площади. Гуинплен проиграл. Оставалось одно — расплатиться. Расплачивайся же, несчастный!

Пораженные молнией не двигаются. Гуинплен как будто оцепенел. Всякий, кто издали увидал бы его, застывшего неподвижно у края парапета, подумал бы, что это каменное изваяние.

Ад, змея и человеческая мечта могут образовать замкнутый круг. Гуинплен все глубже и глубже погружался в мрачное раздумье.

Он мысленно окинул только что представшее ему общество холодным прощальным взглядом.

Брак без любви, семья без братской привязанности, богатство без совести, красота без целомудрия, правосудие без справедливости, порядок без равновесия, могущество без разума, власть без права, блеск без света. Беспощадный

итог! Он мысленно перебрал все проносившиеся перед его взором видения. Последовательно подверг оценке свою судьбу, свое положение, общество и самого себя. Чем была для него судьба? Западней. Его положение? Отчаянием. Общество? Ненавистью. А он сам? Побежденным. В глубине души он воскликнул: «Общество — мачеха, природа — мать. Общество — это мир, в котором живет наше тело, природа — мир нашей души. Первое приводит человека к гробу, к сосновому ящику в могиле, к червям и на том и кончается. Вторая ведет к вольному полету, к преображению в лучах зари, к растворению в беспредельности, где сияют звезды и не иссякает жизнь».

Мало-помалу Гуинпленом овладевал вихрь скорбных мыслей. Все, с чем мы расстаемся перед смертью, предстает нам, словно при вспышке молнии.

Кто судит, тот сопоставляет. Гуинплен сравнил то, что дало ему общество, с тем, что дала ему природа. Как она была добра к нему! Как она поддерживала его, как помогала ему! Все было отнято у него — все, вплоть до лица; природа все возвратила ему — все, даже лицо, ибо на земле жил слепой ангел, созданный нарочно для него, не видевший его безобразия и разгадавший его

красоту.

И он позволил разлучить себя со всем этим! Он покинул восхитительное существо, сердце, сроднившееся с ним, нежную любовь, божественный слепой взор, единственный взор, сумевший его разглядеть! Дея была его сестрой, ибо он чувствовал между собой и ею те высокие братские узы, ту тайну, в которой заключено все небо. С детских лет Дея была его невестой, ибо каждый ребенок имеет такую избранницу, и жизнь всегда начинается чистым союзом двух непорочных душ, двух маленьких невинных существ. Дея была его супругой, ибо у них на самой вершине высокого дерева Гименея было свое гнездо. Больше того, Дея была его светом: без нее все казалось небытием и пустотой, и он видел ее окруженною лучезарным сиянием. Как жить без Деи? Что делать ему с собой? Без нее все в нем было мертво. Как же мог он потерять ее из виду хотя бы на мгновение? О, несчастный! Он позволил себе уклониться от своей путеводной звезды, а там, где действуют грозные, неведомые силы притяжения, всякое уклонение сразу влечет в бездну. Куда же закатилась его звезда? Дея! Дея! Дея! Дея! Увы! Он потерял свое светило. Удалите заезды с неба, — что останется от него? Сплошной

мрак. Но почему же все это исчезло? О, как он был счастлив! Бог создал для него рай, вплоть до того, что впустил туда и змия! Но на этот раз искушению подвергся мужчина. Его похитили оттуда, и он попал в страшную западню, в адский хаос мрачного хохота. Горе! Горе! Как ужасно было все то, что околдовало его! Что такое эта Джозиана? Страшная женщина, не то зверь, не то богиня! Из пропасти, куда его низвергли, Гуинплен видел теперь оборотную сторону того, что недавно так ослепляло его. Это было отвратительное зрелище. Знатность оказалась уродливой, корона отвратительной, пурпурная мантия мрачной, стены дворцов насквозь пропитанными ядом, трофеи, статуи, гербы — фальшивыми; в самом воздухе было что-то нездоровое, что-то предательское, способное свести с ума. О, как великолепны были лохмотья фигляра Гуинплена! Как вернуть теперь «Зеленый ящик», бедность, радость, счастливую бродячую жизнь вместе с Деей, похожую на жизнь ласточек? Они не расставались друг с другом, встречались ежеминутно, вечером, утром, за столом касались друг друга локтями, коленями, пили из одного стакана. Солнце заглядывало в окошко, но оно было только солнцем, Дея же была любовью. Ночью они чувствовали, что спят

почти рядом, и сновидения Деи витали над Гуинпленом, а сновидения Гуинплена реяли над Деей! Пробуждаясь, они не могли поручиться, что не обменялись поцелуями в голубой дымке сонных грез. Вся невинность была воплощена в Дее, вся мудрость — в Урсусе. Они переходили из города в город, напутствуемые и поддерживаемые неподдельным весельем любившего их народа. Они были странствующими ангелами, в достаточной мере людьми, чтобы ступать по земле, и недостаточно крылатыми, чтобы улететь на небо. А теперь все исчезло. Куда? Неужели они скрылись бесследно? Каким могильным ветров унесло их? Они поглощены мраком, потеряны безвозвратно. Увы! Неумолимые деспоты, угнетающие малых людей, имеют в своем распоряжении все темные силы и способны на все. Что сделали с ними? И его не было тут, чтобы заступиться за них, чтобы заслонить их грудью, защитить своим титулом лорда, своей знатностью и шпагой, своими кулаками фигляра! И вдруг ему в голову пришла горькая мысль, быть может самая горькая из всех. Нет, он не мог бы их защитить. Именно он был причиной их гибели. Ведь только для того, чтобы уберечь его, лорда Кленчарли, от них, чтобы оградить его достоинство от соприкосновения

с ними, на них и обрушился всей своей гнусной тяжестью полновластный общественный произвол. Лучшим средством защитить их было бы для Гуинплена исчезнуть, тогда отпали бы все поводы их преследовать. Не-будь его, их оставили бы в покое. Это леденящее душу открытие придало новый оборот его мыслям. О, почему он позволил разлучить себя с Деей? Разве его первым долгом не было охранять Дею? Служить народу и защищать его? Но разве Дея не воплощение народа? Дея — сирота, слепая, само человечество! Ах, что сделали с ними? Жгучее, мучительное сожаление! Катастрофа разразилась только потому, что его не было с ними. Иначе он разделил бы их участь: он увел бы их с собою, либо погиб бы с ними вместе. Что станется с ним теперь? Разве может существовать Гуинплен без Деи? С ее утратой потеряно все. Ах, все кончено! Эта горсточка любимых, родных людей пропала безвозвратно. Наступил конец всему. Зачем теперь ему продолжать борьбу, если он осужден и отвержен? Нечего больше ждать ни от людей, ни от неба. Дея! Дея! Где Дея? Потеряна! Неужели потеряна? Тот, кто утратил душу, может снова обрести ее лишь в смерти.

В скорбном волнении Гуинплен положил руку

на парапет, как бы найдя решение, и посмотрел на реку.

Он не спал уже третью ночь. Его била лихорадка. Мысли, казавшиеся ему ясными, в действительности были смутны. Он испытывал неодолимую потребность уснуть.

Несколько мгновений стоял он, наклонившись над водой; черная гладь сулила ему спокойное ложе, вечное забвение… Страшный соблазн.

Он снял с себя кафтан и положил его на парапет, затем расстегнул камзол; когда он начал снимать его, рука наткнулась на какой-то предмет, лежавший в кармане. Это была красная книжечка, которую ему вручил «библиотекарь» палаты лордов. Он вынул книжечку из кармана, посмотрел на нее три тусклом свете, нашел карандаш и написал на первой чистой странице следующие две строки: «Я ухожу. Пусть мой брат Дэвид займет мое место и будет счастлив». И подписал: «Фермен Кленчарли, пэр Англии».

Затем он снял камзол и положил его на кафтан. Снял шляпу и положил ее на камзол; записную книжку, открытую на той странице, где сделал надпись, он положил в шляпу. Увидев на земле камень, он поднял его и тоже положил в шляпу.

Потом посмотрел вверх, в беспредельный мрак,

расстилавшийся над ним.

Голова его медленно поникла, как будто его тянула в пучину незримая нить.

В нижней части парапета было отверстие; он вставил в него ногу, чтобы опереться коленом на парапет, и теперь ему оставалось только броситься вниз.

Заложив руки за спину, он подался вперед.

— Да будет так, — промолвил он.

И устремил взор на воду.

В эту минуту он почувствовал, что кто-то лижет ему руки.

Он вздрогнул и обернулся.

Перед ним был Гомо.

Заключение. Море и ночь

1. Сторожевая собака может быть ангелом-хранителем

У Гуинплена вырвался крик:

— Это ты, волк!

Гомо завилял хвостом. Глаза его сверкали в темноте. Он смотрел на Гуинплена.

Затем он снова начал лизать ему руки. Одну минуту Гуинплен был точно пьяный. Он был потрясен внезапно вернувшейся к нему надеждой. Гомо! Откуда он явился? За двое последних суток Гуинплен испытал всякие неожиданно-

сти; ему оставалось еще пережить нежданную радость. Эту радость принес Гомо. Вновь обретенная уверенность или по крайней мере надежда, внезапное вмешательство таинственной, благодетельной силы, быть может присущей судьбе, жизнь, проникшая в непроглядный мрак могилы, свет исцеления и освобождения, блеснувший, когда уже не ждешь ничего, точка опоры, обретенная в минуту крушения, — всем этим оказался Гомо для Гуинплена. Волк казался ему озаренным сиянием.

Между тем волк побежал назад. Сделав несколько шагов, он обернулся, словно для того, чтобы посмотреть, идет ли за ним Гуинплен.

Гуинплен последовал за ним. Гомо помахал хвостом и двинулся дальше.

Он бежал по спуску набережной Эфрок-Стоуна. Спуск вел к берегу Темзы. Гуинплен, следуя за Гомо, сошел вниз по этому спуску.

Время от времени Гомо поворачивал голову назад, чтобы удостовериться, идет ли за ним Гуинплен.

Бывают в жизни случаи, когда самый проницательный ум не может сравниться с чутьем преданного животного. Животное как будто обладает даром ясновидения.

В некоторых случаях собака следует за хозяином, в иных же — ведет его за собой, и тогда инстинкт животного руководит разумом человека. Тонкое чутье зверя безошибочно разбирается там, где мы теряемся во мраке. Животное испытывает смутную потребность стать нашим проводником. Знает ли оно, что нам угрожает опасность сделать неверный шаг и что надо помочь нам избежать опасности? Вероятно, нет. А может быть, и да; во всяком случае кто-то знает это за него; мы уже говорили, что нередко помощь, которую в решительные минуты оказывают нам существа низшие, на самом деле приходит к нам свыше. Мы не знаем, в каком обличье может явиться божество. Иногда зверь служит выразителем воли провидения.

Дойдя до берега, волк спустился вниз на отмель, тянувшуюся вдоль Темзы.

Он не издал ни единого звука, он не лаял, он бежал молча. Подчиняясь своему инстинкту, Гомо при любых обстоятельствах исполнял свой долг с мудрой осторожностью существа, преследуемого законом.

Пройдя шагов пятьдесят, он остановился. Направо виднелась пристань на сваях, за ней темнел грузный корпус довольно большого судна. На па-

лубе, недалеко от носа, светился тусклый огонек, похожий на гаснущий ночник.

В последний раз удостоверившись, что Гуинплен тут, волк вскочил на пристань, представлявшую собою длинный помост из просмоленных досок, укрепленный на толстых бревнах, под которыми текла река. Через несколько мгновений Гомо и Гуинплен дошли до конца пристани.

Судно, стоявшее здесь на причале, представляло собой пузатую голландскую шхуну с двумя палубами без бортов, одной — в носовой части, другой — в кормовой, и с устроенным между ними по японскому образцу открытым трюмом, куда спускались по прямому трапу и который предназначался для грузов. Таким образом, на шхуне было две палубы — бак на носу, ют на корме, как в старину на наших речных сторожевых судах. Пространство между палубами заполнялось грузом. Приблизительно такую форму имеют бумажные детские кораблики. Под палубами находились каюты, сообщавшиеся с центральным отделением дверцами и освещенные иллюминаторами, пробитыми в обшивке. При погрузке оставляли проход между тюками. На шхуне было две мачты, по одной на каждой палубе. Передняя мачта называлась Павлом, а кормовая — Петром,

так что судно, подобно католической церкви, возглавлялось двумя апостолами. Над центральным грузовым отделением были переброшены с одной палубы на другую деревянные мостки. В дурную погоду глухие стенки мостков откидывались с обеих сторон при помощи особого механизма, образуя крышу над межпалубным отделением, так что в бурю трюм оказывался плотно закрытым. На этих громоздких шхунах рулем служило толстое бревно, так как сила руля должна соответствовать тяжести судна. Для управления этими грузными морскими судами достаточно было трех человек: хозяина с двумя матросами, не считая мальчика-юнги. Носовая и кормовая палубы были, как мы уже сказали, без бортов. На черном пузатом корпусе этой шхуны можно было даже в темноте разобрать надпись белыми буквами: «Вограат. Роттердам».

В ту эпоху ряд событий, разыгравшихся на море, и, в частности, совсем недавняя катастрофа, постигшая у мыса Карнеро 21 апреля 1705 года восемь кораблей барона Пуанти и заставившая весь французский флот отойти к Гибралтару, совершенно расчистила Ла-Манш и освободила от военных судов весь путь между Лондоном и Роттердамом, так что торговые суда могли пла-

вать безо всякого конвоя.

Шхуна «Вограат», к которой подошел Гуинплен, была подтянута к пристани левым краем кормовой палубы и находилась почти на одном уровне с помостом. Надо было спуститься на одну ступеньку. Одним прыжком Гомо и Гуинплен очутились на корме. Палуба была пуста, и на всем судне не замечалось никакого движения; судя по тому, что шхуна готовилась отчалить и погрузка была закончена, на что указывал переполненный тюками и ящиками трюм, пассажиры на борту были, но они, по всей вероятности, спали в каютах между палубами, так как переезд должен был произойти ночью. В подобных случаях путешественники показываются на палубе лишь утром. Что касается экипажа, то в ожидании скорого отплытия он, очевидно, ужинал в помещении, которое тогда носило название матросской каюты. Этим объяснялось совершенное безлюдье на обеих палубах.

По пристани волк почти бежал; но очутившись на судне, он пошел медленно, словно крадучись. Он вилял хвостом, но уже не радостно, а беспокойно и уныло, как пес, чующий недоброе. По-прежнему идя впереди Гуинплена, он перешел по мостику с кормовой палубы на носовую.

Вступив на мостки, Гуинплен увидел перед собой свет. Это был фонарь, стоявший у подножия передней мачты; при свете фонаря вырисовывались очертания какого-то большого ящика на четырех колесах.

Гуинплен узнал старый возок Урсуса.

Эта убогая деревянная лачуга, одновременно и возок и хижина, в которой протекло его детство, была прикреплена к подножию мачты толстыми канатами, продетыми сквозь колеса. Давно выйдя из употребления, она совершенно обветшала; ничто не действует так разрушительно на людей и вещи, как праздность; лачуга печально покосилась набок. От бездействия ее точно разбил паралич, не говоря уже о том, что она была больна неисцелимым недугом — старостью. Ее бесформенный, источенный червями остов производил впечатление совершенной развалины. Все, из чего она была сооружена, разрушалось: железные части заржавели, кожа потрескалась, дерево сгнило. Стекло переднего окошечка, сквозь которое проходил свет фонаря, было разбито. Колеса покривились. Стенки, потолок и оси обветшали и словно изнемогали от усталости. Все в целом носило на себе отпечаток чего-то бесконечно жалкого и молящего о пощаде. Торчавшие вверх

оглобли походили на руки, воздетые к небу. Вся повозка расползалась по швам. Внизу висела цепь Гомо.

Казалось бы вполне законным и совершенно естественным, вновь обретя все, в чем заключается наша жизнь, наше счастье, наша любовь, броситься ко всему этому очертя голову. Да, но не в тех случаях, когда мы пережили глубокое потрясение. Человек, вышедший совершенно подавленным, обезумевшим из целого ряда катастроф, похожих на предательство, становится недоверчивым даже в радости, боится приобщить к своей злополучной судьбе тех, кого он любит, чувствует себя носителем зловещей заразы и даже к самому счастью подходит с опаской. Перед ним вновь раскрывается рай, но, прежде чем вступить в него, он боязливо всматривается.

Гуинплен, еле держась на ногах от волнения, глядел на родное жилище.

Волк тихо улегся рядом со своей цепью.

2. Баркильфедро метил в ястреба, а попал в голубку

Подножка возка была спущена, дверь приотворена; внутри никого не было, скудный свет, пробивавшийся сквозь переднее окошечко, смутно обрисовывал внутренность балагана, то-

нувшую в печальном полумраке. На обветшалых досках, служивших одновременно наружными стенами и внутренней обшивкой, еще можно было (разобрать надписи, сделанные Урсусом и прославлявшие величие лордов. Близ двери Гуинплен увидел свой кожаный нагрудник и рабочий костюм, висевшие на гвозде, как одежда покойника в морге.

На Гуинплене не было ни кафтана, ни камзола.

Возок загораживал собою какой-то предмет, лежавший на палубе у подножия мачты и освещенный фонарем. Это был край тюфяка, видневшийся из-за повозки. На тюфяке, очевидно, кто-то лежал. По палубе двигалась какая-то тень.

Слышался чей-то голос. Гуинплен, притаившись за возком, стал прислушиваться.

Говорил Урсус.

Этот голос, казавшийся столь грубым, но скрывавший такую нежность, так часто бранивший Гуинплена с самого детства и так хорошо его воспитавший, теперь утратил свою звучность и живость. Он стал глухим, вялым и беспрестанно прерывался вздохами. Лишь отдаленно напоминал он прежний ясный и твердый голос Урсуса. Он принадлежал человеку, похоронившему свое счастье. Голос тоже может стать тенью.

Урсус, казалось, говорил сам с собою. У него, как известное была привычка к монологам. Из-за этого многие считали его помешанным.

Гуинплен затаил дыхание, чтобы не проронить ни слова из того, что говорил Урсус, и вот что он услыхал:

— Суда такого типа очень опасны. У них нет бортов. Ничего не стоит скатиться в море. Если разыграется непогода, Дею придется перенести в трюм, а это будет ужасно. Одно неловкое движение, малейший испуг, и у нее может сделаться разрыв сердца. Я видал такие примеры. Ах, боже мой, что с нами будет! Спит она? Да, спит. Кажется, спит. А может быть, она без сознания? Нет. Пульс хороший. Наверное, она спит. Сон — это отсрочка. Благодетельная слепота! Как бы устроить, чтобы никто здесь не ходил? Господа, если кто-нибудь тут есть на палубе, прошу вас, не шумите. Не подходите сюда, если можно. Нужно бережно обращаться с людьми слабого здоровья. У нее лихорадка, видите ли. Она совсем еще молоденькая. У этой девочки горячка. Я вытащил ее тюфяк на воздух, чтобы ей легче было дышать. Я объясняю это для того, чтобы вы были осторожнее. От усталости она свалилась на тюфяк, словно лишилась чувств. Но она спит. Очень прошу — не будите ее.

Обращаюсь к женщинам, если здесь есть леди. Как не пожалеть молоденькую девушку? Мы только бедные фигляры, будьте снисходительны к нам; если нужно заплатить, чтобы не шумели, я готов заплатить. Благодарю вас, милостивые государи и милостивые государыни. Есть здесь кто-нибудь? Нет. Кажется, никого. Я трачу слова впустую. Тем лучше. Господа, благодарю вас, если вы здесь, но еще больше вам признателен, если вас нет. — На лбу у нее капельки пота. — Ну что ж, вернемся на каторгу. Опять впряжемся в лямку. К нам возвратилась нищета. Нам снова приходится положиться на волю волн. Чья-то рука, страшная рука, которой мы не видим, но которую постоянно чувствуем над собой, внезапно повернула нашу судьбу в худшую сторону. Пусть так, не будем терять мужества. Только бы она не хворала. Глупо, что я говорю вслух с самим собой, но надо же, чтобы она почувствовала, если проснется, что рядом с нею кто-то есть. Лишь бы только не разбудили ее внезапно. Не шумите, ради бога. Всякий толчок, малейшее волнение может ей повредить. Будет ужасно, если здесь начнут ходить. Мне кажется, на судне все спят. Благодарю провидение за эту милость. А где же Гомо? Во всей этой суматохе я забыл посадить

его на цепь. Я сам не знаю, что делаю. Вот уже больше часу, как я его не видел. Он, верно, ушел промышлять себе ужин. Лишь бы с ним ничего дурного не случилось Гомо! Гомо!

Волк тихо застучал хвостом по палубе.

— А, ты здесь! Слава богу! Потерять еще и Гомо — это было бы слишком. Она шевелит рукой. Она, пожалуй, сейчас проснется. Тише, Гомо! Начинается отлив. Сейчас мы отчалим. По-моему, ночь будет спокойной. Ветер затих. Вымпел повис вдоль мачты, плаванье будет благополучным. Я не вижу, где луна, но облака еле движутся. Качки не будет. Погода будет хорошая. Как она бледна! Это от слабости. Нет, щеки у нее горят. Это лихорадка. Да нет, она порозовела. Значит, она здорова. Я ничего не могу разобрать. Мой бедный Гомо, я уже ничего не понимаю. Итак, надо начинать жизнь сызнова. Надо будет опять приняться за работу. Ведь нас теперь только двое. Мы с тобой будем работать для нее. Это наше дитя. А! Судно тронулось. Отправляемся. Прощай, Лондон! Добрый вечер, доброй ночи, к черту! Ах, проклятый Лондон!

Судно действительно стало понемногу отчаливать от берега. Расстояние между ним и пристанью все увеличивалось. На другом кон-

це судна, на корме, стоял человек, очевидно судовладелец; он только что вышел из каюты и, отдав причал, взялся за руль. Человек этот, отличавшийся хладнокровием моряка и флегматичностью голландца, устремил все свое внимание на фарватер; он ничего не видел, кроме поверхности воды, ничего не слышал, кроме шума ветра; еле выделяясь в темноте, он походил на призрак и медленно двигался по палубе от одного края кормы к другому, согнувшись под тяжестью румпеля. Он был один на палубе. Пока судно шло по реке, ему не нужны были помощники. Через несколько минут шхуна поплыла по течению. Ни боковой, ни килевой качки не было. Почти не нарушая спокойствия Темзы, волна отлива быстро увлекала судно. За ним в тумане уменьшался черный силуэт Лондона.

Урсус продолжал:

— Все равно, я дам ей выпить настоя наперстянки. Боюсь, как бы у нее не начался бред. Ладони у нее влажные. Но чем же это мы прогневили бога? Как неожиданно пришла беда! Как торопится обрушиться на нас несчастье! Коршун падает камнем, вонзает когти в жаворонка. Такова судьба. И вот ты слегла, моя дорогая малютка. Приезжаем в Лондон, думаем: вот большой го-

род с прекрасными монументами, вот Саутворк, великолепное предместье. Поселяемся. А оказывается, что это ужасная страна. Что прикажете делать? Я рад, что уезжаю. Сегодня — тридцатое апреля. Я всегда опасался апреля; в этом коварном месяце только два счастливых дня: пятое и двадцать седьмое, а несчастливых четыре: десятое, двадцатое, двадцать девятое и тридцатое. Это неопровержимо доказано вычислениями Кардано. Хоть бы поскорее миновал нынешний день. Хорошо, что мы уже отчалили. На рассвете будем в Гревсенде, а завтра вечером в Роттердаме. Ну что же, черт возьми, опять примемся за прежнюю жизнь, опять будем тащить на себе наш возок, не правда ли, Гомо?

В знак согласия волк тихо стукнул о палубу хвостом.

Урсус продолжал:

— Если б можно было так же легко расстаться со своим горем, как расстаешься с городом! Гомо, мы могли бы быть еще счастливы. Но увы, нам всегда будет кого-то не хватать. Тень умершего всегда остается с тем, кто его пережил. Ты знаешь, о ком я говорю, Гомо. Нас было четверо, теперь нас только трое. Жизнь — лишь длинная цепь утрат любимых нами существ. Идешь и

оставляешь за собою вереницу скорбей. Рок оглушает человека, осыпая его градом невыносимых страданий. Как после этого удивляться, что старики вечно твердят одно и то же? Они глупеют от отчаяния. Мой славный Гомо, все еще дует попутный ветер. Уже совсем не видать купола святого Павла. Мы сейчас пройдем мимо Гринича. Это значит — отхватили добрых шесть миль. Ах, меня всегда воротит от этих мерзких столиц, кишащих священниками, судьями и чернью. Я предпочитаю видеть, как колышутся листья в лесу. А лоб у нее все еще влажный! Не нравятся мне эти вздувшиеся выше локтя лиловые вены. Это у нее от жара. Ах, все это меня убивает! Спи, дитя мое. О да, она спит.

В эту минуту послышался неизъяснимо нежный голос, казалось, звучавший издалека, доносившийся одновременно я с высоты небес и из глубин земли, чудесный и страдальческий голос Деи.

Все, что Гуинплен до сих пор испытал, сразу было позабыто. Говорил его ангел. Ему чудилось, что он слышит слова, произносимые где-то за пределами жизни, как бы в блаженном забытьи. Голос говорил:

— Он хорошо сделал, что ушел. Этот мир не для

него. Только и мне нужно уйти вслед за ним. Отец, я не больна, я слышала все, что вы говорили; мне хорошо, я чувствую себя прекрасно; я спала. Отец, я буду счастлива.

— Дитя мое, — с тоскою спросил Урсус, — что ты хочешь этим сказать?

— Отец, не огорчайтесь, — ответила Дея.

Наступила пауза; очевидно, она перевела дух, затем до Гуинплена донеслись медленно произнесенные слова:

— Гуинплена больше нет. Теперь я действительно слепа. Раньше я не знала ночи. Ночь — это разлука.

Голос ее опять прервался, потом снова зазвенел:

— Я всегда боялась, что он улетит; я знала, что он спустился ко мне с неба. И вот он исчез. Этого и нужно было ожидать. Душа улетает, как птица. Но гнездо души находится в глубине, там, где скрыт великий магнит, притягивающий к себе все; я хорошо знаю, где можно найти Гуинплена. Поверьте, я найду к нему дорогу. Отец, он там. Позднее и вы будете с нами. И Гомо тоже.

Услышав свое имя, Гомо слегка ударил хвостом по палубе.

— Отец, — продолжал голос, — вы же понима-

ете — все кончено с тех пор, как Гуинплена нет. Если бы я и хотела, я не могла бы здесь остаться: без воздуха нечем дышать. Не надо требовать невозможного. Когда со мною был Гуинплен, я жила — это было так просто. Теперь Гуинплена больше нет, и я умираю. Либо он должен вернуться, либо я должна умереть. Но так как возвратиться он не может, я ухожу сама. Так хорошо умереть! Это совсем не страшно. Отец, то, что гаснет здесь, вновь зажигается там. Когда живешь, постоянно чувствуешь, как от боли сжимается сердце. Нельзя же страдать вечно. И вот люди уходят, как вы говорите, к звездам, там сочетаются браком, не расстаются никогда и любят, любят друг друга; это и есть царство небесное.

— Ну, не волнуйся так, — сказал Урсус.

Голос продолжал:

— В прошлом году, весной, мы были вместе, были счастливы, не то что теперь. Я уж не помню где, в каком-то маленьком городке; там шелестели деревья, и я слышала пение малиновок. Потом мы приехали в Лондон, и все переменилось. Я никого не упрекаю. Перебираясь на новое место, никто не знает, что там случится. Помните, отец, однажды вечером в большой ложе сидела женщина, которую вы называли герцогиней? Мне

стало грустно. Я думаю, было бы лучше избегать больших городов. Но Гуинплен поступил хорошо. Теперь моя очередь. Вы сами мне рассказывали, что я была совсем малюткой, когда моя мать умерла, что я ночью лежала на земле и снег падал на меня, а Гуинплен тогда тоже был ребенком и тоже совершенно одиноким; он подобрал меня, и лишь потому я осталась в живых; не удивляйтесь же, если я сегодня должна покинуть вас и уйти в могилу, чтобы узнать, там ли Гуинплен. Ведь единственное, что у нас есть при жизни, — это сердце, а когда жизнь кончится, — душа. Отец, вы хорошо понимаете, о чем я говорю. Что это колышется? Мне кажется, будто наш дом движется. Однако я не слышу стука колес.

После некоторого перерыва голос Деи продолжал:

— Я немного путаю вчерашний и нынешний день. Я не жалуюсь. Я не знаю, что произошло, но словно чувствую какую-то перемену.

Слова эти были произнесены с кроткой, но безутешной грустью, и до Гуинплена донесся слабый вздох.

— Я должна уйти, если только он не вернется.

Урсус угрюмо буркнул вполголоса:

— Не верю я в выходцев с того света.

И продолжал:

— Это судно. Ты спрашиваешь, почему движется дом? Потому что мы плывем на шхуне. Успокойся. Тебе вредно много говорить. Если ты хоть немного любишь меня, дочурка, не волнуйся, не доводи себя до горячки. Я стар и не перенесу твоей болезни. Пожалей меня, не хворай.

Снова зазвучал голос Деи:

— Зачем искать на земле то, что можно найти только на небе?

Урсус возразил, пытаясь придать своему голосу повелительный тон:

— Успокойся! Иногда ты совсем ничего не соображаешь. Ты должна лежать смирно. В конце концов тебе незачем знать, что такое полая вена. Если ты успокоишься, я тоже буду спокоен. Дитя мое, подумай немного и обо мне. Он тебя подобрал, но я тебя приютил. Ты сама себе вредишь. Это плохо. Ты должна успокоиться и заснуть. Все будет хорошо. Даю тебе честное слово, все будет хорошо. Погода отличная. Как будто нарочно установилась для нас. Завтра мы будем в Роттердаме, это город в Голландии, у самого устья Мааса.

— Отец, — произнес голос, — когда с детства живешь неразлучно друг с другом, нельзя расста-

ваться, лучше умереть, так как другого выхода нет. Я очень люблю вас, но чувствую, что я уже не с вами, хотя еще и не с ним.

— Ну, попробуй опять заснуть, — уговаривал Урсус.

— О, мне еще предстоит спать долгим, долгим сном.

Голосом, дрожащим от волнения, Урсус возразил:

— Говорю тебе, мы едем в Голландию, в город Роттердам.

— Отец, — продолжал голос, — я вовсе не больна; если это вас тревожит, вы можете не волноваться, лихорадки у меня нет, мне только немного жарко, вот и все.

Урсус пробормотал:

— У самого устья Мааса.

— Мне хорошо, отец, но я чувствую, что умираю.

— Как тебе не стыдно говорить такую чушь! — проворчал Урсус.

И прибавил:

— Господи, лишь бы только что-нибудь ее не взволновало.

Наступило молчание.

Вдруг Урсус вскрикнул:

— Что ты делаешь? Зачем ты встаешь? Умоляю тебя, лежи!

Гуинплен вздрогнул и выглянул из-за повозки.

3. Рай, вновь обретенный на земле

Он увидал Дею. Она стояла на тюфяке, выпрямившись во весь рост. На ней было длинное белое платье, наглухо застегнутое, позволявшее видеть только верхнюю часть плеч и нежную шею. Рукава спускались ниже локтей, складки платья скрывали ее ступни. На кистях рук выступала сеть голубых жилок, вздувшихся от лихорадки. Молодая девушка не шаталась, но вся дрожала и трепетала, как тростник. Фонарь освещал ее снизу. Лицо ее было невыразимо прекрасно. Распущенные волосы ниспадали на плечи. Ни одна слезинка не скатилась по ее щекам. Но глаза ее горели мрачным огнем. Она была бледна той бледностью, которая является как бы отражением божественной жизни на человеческом лице. Ее тонкий, хрупкий стан точно слился с ее одеждой. Вся она колебалась, словно пламя на ветру. В то же время чувствовалось, что она уже становится тенью. Широко раскрытые глаза сверкали ярким блеском. Она казалась бесплотным призраком, душой, воспрянувшей в лучах зари.

Урсус, стоявший к Гуинплену спиною, в испуге

всплеснул руками:

— Дочурка моя! Ах, господи, у нее начинается бред. Вот чего я так боялся. Малейшее потрясение может ее убить или свести с ума. Смерть или безумие. Какой ужас! Что делать, боже мой? Ложись, доченька!

Но Дея снова заговорила. Ее голос был еле слышен, как будто некое облако уже отделяло ее от земли.

— Отец, вы ошибаетесь. Это не бред. Я прекрасно понимаю все, что вы говорите. Вы говорите, что собралось много народу, что публика ждет и что мне надо сегодня вечером играть; я согласна, видите, я в полном сознании, но я не знаю, как это сделать; ведь я умерла, и Гуинплен умер. Но все равно, я иду. Я готова играть. Вот я, но Гуинплена нет.

— Детка моя, — повторил Урсус, — послушайся меня. Ляг опять в постель.

— Его больше нет! Его больше нет. О, как темно!

— Темно, — пробормотал Урсус. — Она впервые в жизни произносит это слово.

Гуинплен бесшумно проскользнул в возок, снял с гвоздя свой костюм фигляра и нагрудник, надел их и вышел на палубу, скрытый от взоров

балаганом, снастями и мачтой.

Дея продолжала что-то лепетать, едва шевеля губами; понемногу ее лепет перешел в мелодию. Она стала напевать, иногда умолкая и забываясь в бреду, таинственный призыв, с которым столько раз обращалась к Гуинплену в «Побежденном хаосе». Ее пение, звучал о неясно и было не громче жужжанья пчелы:

Noche, quita te de alli

La alba canta…

Она перебила сама себя:

— Нет, это неправда, я не умерла. Что это я говорю? Увы! Я жива, а он умер. Я внизу, а он наверху. Он ушел, а я осталась. Я не слышу ни его голоса, ни его шагов. Бог дал нам на краткий миг рай на земле, а потом отнял его. Гуинплен! Все кончено. Я никогда больше не коснусь его рукой. Никогда. Его голос! Я больше не услышу его голоса.

И она запела:

Es rnenester a cielos ir…

…Dexa, quiero,

A tu negro

Caparazon.

Она простерла руку, словно ища опоры в пространстве.

Гуинплен, выступив из темноты и очутившись

рядом с остолбеневшим от ужаса Урсусом, опустился перед нею на колени.

— Никогда! — говорила Дея. — Никогда я уже не услышу его!

И опять запела в полузабытьи:

Dexa, quiero

A tu negro

Caparazon!

И тогда она услыхала голос любимого, отвечавший ей:

O ven! ama!

Eres alma,

Soy corazon.

В ту же минуту Дея почувствовала под своей рукой голову Гуинплена. Из груди ее вырвался крик, звучавший невыразимой нежностью:

— Гуинплен!

Ее бледное лицо озарилось как бы звездным светом, в она пошатнулась.

Гуинплен подхватил ее на руки.

— Жив! — вскрикнул Урсус.

Дея повторила:

— Гуинплен!

Прижавшись головой к щеке Гуинплена, она прошептала:

— Ты опустился обратно с неба. Благодарю

тебя.

Сидя на коленях у Гуинплена, сжимавшего ее в объятиях, она обратила к нему свое кроткое лицо и устремила на него слепые, но лучезарные глаза, словно могла видеть его.

— Это ты! — промолвила она.

Гуинплен осыпал поцелуями ее платье. Бывают речи, в которых слова, стоны и рыдания представляют неразрывное целое. В них слиты воедино и выражаются одновременно и восторг и скорбь. Они не имеют никакого смысла и вместе с тем говорят все.

— Да, я! Это я! Я, Гуинплен! А ты — моя душа, слышишь? Это я, дитя мое, моя супруга, моя звезда, мое дыхание! Ты — моя вечность! Это я! Я здесь, я держу тебя в своих объятиях. Я жив! Я твой! Ах, подумать только, что я хотел покончить с собой! Еще одно мгновенье и, не будь Гомо... Я расскажу тебе об этом после. Как близко соприкасается радость с отчаянием! Будем жить, Дея! Дея, прости меня! Да, я твой навсегда! Ты права: дотронься до моего лба, убедись, что это я. Если бы ты только знала! Но теперь уже ничто не в силах нас разлучить. Я вышел из преисподней и возношусь на небо. Ты говоришь, что я спустился с неба, — нет, я подымаюсь туда. Вот я

опять с тобою. Навеки, слышишь ли? Вместе! Мы вместе! Кто бы мог подумать? Мы снова нашли друг друга. Все дурное кончилось. Впереди нас ждет блаженство. Мы опять заживем счастливо и запрем двери нашего рая так плотно, что никакому горю уже не удастся к нам проникнуть. Я расскажу тебе все. Ты удивишься. Судно отошло от берега. Никто не может теперь его задержать. Мы в пути, и мы свободны. Мы направляемся в Голландию, там мы обвенчаемся; я не боюсь, я добуду средства к жизни, — кто может помешать мне в этом? Нам ничего больше не угрожает. Я обожаю тебя.

— Умерь-ка свой пыл! — буркнул Урсус.

Дея, замирая от блаженства, трепетной рукой провела по лицу Гуинплена. Он услышал, как она прошептала:

— Такое лицо должно быть у бога.

Затем дотронулась до его одежды.

— Нагрудник, — сказала она. — Его куртка. Ничего не изменилось. Все как прежде.

Урсус, ошеломленный, вне себя от радости, смеясь и обливаясь слезами, смотрел на них и разговаривал сам с собой:

— Ничего не понимаю. Я круглый идиот. Ведь я же сам видел, как его несли хоронить! Я плачу и

смеюсь. Вот и все, на что я способен. Я так же глуп, как если бы сам был влюблен. Да я и на самом деле влюблен. Влюблен в них обоих. Ах, я старый дурак! Не слишком ли много для нее волнений? Как раз то, чего я опасался. Нет, как раз то, чего я желал. Гуинплен, побереги ее! Впрочем, пусть целуются. Мне-то что за дело? Я лишь случайный свидетель. Какое странное чувство! Я — паразит, пользующийся чужим счастьем. Я тут ни при чем, а между тем мне кажется, что и я приложил к этому руку. Благословляю вас, дети мои!

В то время как Урсус произносил свой монолог, Гуинплен говорил Дее:

— Ты слишком прекрасна, Дея. Не знаю, где был у меня рассудок в эти дни. Кроме тебя, на земле для меня нет никого. Я снова вижу тебя и глазам своим не верю. На этой шхуне! Но объясни, что с вами произошло? Ах, до чего вас довели! Где же «Зеленый ящик»? Вас ограбили, вас изгнали! Какая низость! О, я отомщу за вас! Отомщу за тебя, Дея! Им придется иметь дело со мной. Ведь я пэр Англии.

Урсус, которого последние слова точно обухом ударили по голове, отшатнулся и внимательно посмотрел на Гуинплена.

— Он не умер — это ясно, но не рехнулся ли

он?

И недоверчиво насторожился.

Гуинплен продолжал:

— Будь спокойна, Дея. Я подам жалобу в палату лордов.

Урсус еще раз пристально взглянул на него и постучал пальцем себя по лбу.

Потом, очевидно приняв какое-то решение, пробормотал:

— Все равно. Это дела не меняет. Будь сумасшедшим, если тебе так нравится, мой Гуинплен. Это — право каждого из нас. Во всяком случае я счастлив. Но что означает все это?

Судно легко и быстро двигалось вперед; ночь становилась все темнее и темнее; туман, наплывавший с океана, благодаря безветрию, поднимался вверх и заволакивал небо, сгущаясь в зените; можно было различить только несколько крупных звезд, но вскоре они исчезли одна за другой, и над головами людей, находившихся на палубе, простерлась сплошная черная пелена спокойного бескрайнего неба. Река становилась все шире, берега ее казались темными узкими полосками, почти сливавшимися с окружающим мраком. Ночь дышала глубоким покоем. Гуинплен присел, держа в объятиях Дею. Они

говорили, обменивались восклицаниями, лепетали, шептались. Бессвязный, взволнованный диалог. Как описать тебя, о радость!

— Жизнь моя!

— Небо мое?

— Любовь моя!

— Счастье мое!

— Гуинплен!

— Дея! Я пьян тобою! Дай мне поцеловать твои ноги!

— Так это ты?

— Мне так много надо сказать. Не знаю, с чего начать.

— Поцелуй меня!

— Жена моя!

— Не говори мне, Гуинплен, что я хороша собой. Это ты красавец.

— Я опять нашел тебя, я прижимаю тебя к сердцу. Да, ты моя. Я не грежу наяву. Это ты. Возможно ли? Да. Я снова оживаю. Если бы ты знала, что мне пришлось испытать, Дея!

— Гуинплен!

— Люблю тебя!

А Урсус шептал про себя:

— Я радуюсь, как дедушка.

Гомо вылез из-под возка и, неслышно ступая,

переходил от одного к другому; не притязая ни на чье внимание, он лизал наудачу все, что попадалось, — грубые сапоги Урсуса, куртку Гуинплена, платье Деи, тюфяк. Это был его волчий способ изъявлять радость.

Миновали Четэм и устье Медуэя. Приближались к морю. Черная гладь реки была так спокойна, что шхуна спускалась вниз по течению Темзы без малейшего труда; незачем было прибегать к парусам, и матросов не вызывали на палубу. Судохозяин, по-прежнему один у руля, управлял шхуной. Кроме него на корме не было ни души; на носу фонарь освещал горсточку счастливых людей, неожиданно встретившихся снова и в пучине скорби внезапно обретших блаженство.

4. Нет, на небесах

Вдруг Дея, высвободившись из объятий Гуинплена, привстала. Она прижала обе руки к сердцу, словно желая сдержать его биение.

— Что со мной? — оказала она. — Мне трудно дышать. Но это ничего. Это от радости. Это хорошо. Я сражена твоим появлением, мой Гуинплен. Сражена внезапным счастьем. Что может быть упоительнее мгновения, когда все небо нисходит нам в сердце? Без тебя я чувствовала, что умираю. Ты возвратил меня к жизни. Точно раздвинулась

какая-то тяжелая завеса, и я почувствовала, как в грудь мою хлынула жизнь, кипучая жизнь, полная волнений и восторгов. Как необычайна эта жизнь, которую ты пробудил во мне! Она так чудесна, что мне даже больно. Мне кажется, что душа моя становится все шире и ей как будто тесно в теле. Эта полнота жизни, это блаженство охватывает меня всю, пронизывает меня. У меня точно выросли крылья, — я чувствую, как они трепещут. Мне немного страшно, но я очень счастлива. Ты воскресил меня, Гуинплен.

Она вспыхнула, потом побледнела, затем снова разрумянилась и вдруг упала.

— Увы! — сказал Урсус. — Ты убил ее!

Гуинплен простер руки к Дее. Какое страшное потрясение — переход от высочайшего блаженства к глубочайшему отчаянию. Гуинплен сам упал бы, если бы ему не нужно, было поддержать ее.

— Дея! — вскрикнул он, весь задрожав. — Что с тобой?

— Ничего, — ответила она. — Я люблю тебя.

Она безжизненно лежала у него в объятиях. Руки ее беспомощно повисли.

Гуинплен и Урсус уложили ее на тюфяк.

Она прошептала слабым голосом:

— Мне трудно дышать лежа.

Они посадили ее.

Урсус спросил:

— Дать тебе подушку?

Она ответила:

— Зачем? Ведь у меня есть Гуинплен.

И она прислонилась головой к плечу Гуинплена, который сел позади и поддерживал ее; в глазах его отражались отчаяние и растерянность.

— Ах, как мне хорошо! — сказала она.

Урсус взял ее руку и считал пульс. Он не качал головой, не говорил ни слова, и о том, «что он думал, можно было догадаться лишь по быстрым движениям его век, судорожно мигавших, словно для того, чтобы удержать готовые политься слезы.

— Что с нею? — опросил Гуинплен.

Урсус приложил ухо к левому боку Деи.

Гуинплен нетерпеливо повторил свой вопрос, с трепетом ожидая ответа.

Урсус посмотрел на Гуинплена, потом на Дею. Он был мертвенно бледен.

— Мы, должно быть, находимся на высоте Кентербери, — сказал он. — Расстояние отсюда до Гревсенда не очень велико. Тихая погода продержится всю ночь. На море нам нечего бо-

яться нападения, потому что весь военный флот крейсирует у берегов Испании. Наш переезд совершится вполне благополучно.

Дея, бессильно склонясь и все более бледнея, судорожно мяла в руках складки своего платья. Погруженная в раздумье о чем-то, не передаваемом никакими словами, она глубоко вздохнула:

— Я понимаю, что со мной. Я умираю.

Гуинплен в ужасе вскочил. Урсус подхватил Дею.

— Умираешь? Ты умираешь? Нет, не может этого быть. Не можешь ты умереть. Умереть теперь? Умереть сейчас? Но это невозможно. Бог не так жесток. Возвратить тебя для того, чтобы в ту же минуту отнять снова? Нет, так не бывает. Ведь это значило бы, что бог хочет, чтобы мы усомнились в нем. Это значило бы, что все, все обман — и земля, и небо, и сердце, и любовь, и звезды. Ведь это значило бы, что бог — предатель, а человек — обманутый глупец… Ведь это значило бы, что нельзя верить ни во что, что надо проклясть весь мир, что все — бездна. Ты сама не знаешь, что говоришь, Дея. Ты будешь жить! Я требую, чтобы ты жила. Ты должна мне повиноваться. Я твой муж и господин. Я запрещаю тебе покидать меня. О небо! О несчастные люди! Нет, это невозможно.

И я останусь на земле один, без тебя? Да это было бы так чудовищно, что самое солнце померкло бы! Дея, Дея, приди в себя. Это у тебя ненадолго, это сейчас пройдет. У человека бывает иногда вот такой озноб, а потом он забывает о нем. Мне нужно, мне необходимо, чтобы ты была здорова и больше не страдала. Ты хочешь умереть! Что я тебе сделал? При одной мысли об этом я теряю рассудок. Мы принадлежим друг другу. Мы любим друг друга. У тебя нет причин уходить. Это было бы несправедливо. Разве я совершил какое-нибудь преступление? Ведь ты же простила меня. О, ты ведь не хочешь, чтобы я впал в отчаяние, чтобы я стал злодеем, безумцем, осужденным на вечные муки! Дея, прошу тебя, заклинаю, умоляю, не умирай!

Судорожно схватив себя за волосы, в смертельном ужасе, задыхаясь от слез, он бросился к ее ногам.

— Мой Гуинплен, — сказала Дея, — я в этом не виновата.

На губах у нее выступила розовая пена, которую Урсус вытер краем ее одежды; Гуинплен, лежавший ничком, не замечал ничего. Он обнимал ее ноги и бессвязно молил:

— Говорю тебе, я не хочу! Я не перенесу твоей

смерти. Умрем, но вместе. Только вместе. Тебе — умереть, Дея! Я никогда не соглашусь на это! Божество мое! Любовь моя! Пойми же, я здесь. Клянусь тебе, ты будешь жить! Умереть? Ты, значит, не представляешь себе, что будет со мною после твоей смерти. Если бы ты только Знала, как ты мне нужна, ты бы поняла, что это решительно невозможно, Дея! Ведь кроме тебя у меня никого нет. Со мною случилось нечто необычайное. Представь себе, я только что пережил за несколько часов целую жизнь. Я убедился в том, что на свете нет ровно ничего. Существуешь только ты, ты одна. Если не будет тебя, мир не будет иметь никакого смысла. Сжалься надо мной! Живи, если ты любишь меня. Я нашел тебя вновь не для того, чтобы сейчас же утратить. Погоди немного. Нельзя же уходить, едва успев свидеться. Успокойся! О господи, как я страдаю! Ты ведь не сердишься на меня, правда? Ты ведь понимаешь, что я не мог поступить иначе, так как за мной пришел жезлоносец. Вот увидишь, тебе сейчас станет легче дышать. Дея, уже все прошло. Мы будем счастливы. Не повергай меня в отчаяние! Дея! Ведь я не сделал тебе ничего дурного.

Слова эти он не выговорил, а прорыдал. В них чувствовались и скорбь и возмущение. Из гру-

ди Гуинплена вырывались жалостные стоны, которые привлекли бы голубку, и дикие вопли, способные устрашить льва.

Голосом все менее и менее внятным, прерывающимся почти на каждом слове, Дея ответила:

— Увы, зачем ты говоришь так! Любимый мой, я верю, что ты сделал бы все, что мог. Час назад мне хотелось умереть, а теперь я уже не хочу этого. Гуинплен, мой обожаемый Гуинплен, как мы были счастливы! Бог послал тебя мне, а теперь отнимает меня у тебя. Я ухожу. Ты не забудешь «Зеленого ящика», правда? И своей бедной слепой Деи? Ты будешь вспоминать мою песенку. Не забывай звука моего голоса, не забывай, как я говорила тебе: «Люблю тебя». Я буду возвращаться по ночам и повторять тебе это, когда ты будешь спать. Мы снова встретились, но радость была слишком велика. Это не могло продолжаться. Я ухожу первая, так решено. Я очень люблю моего отца Урсуса и нашего брата Гомо. Вы все добрые. Как здесь душно! Распахните окно! Мой Гуинплен, я не говорила тебе этого, но однажды я приревновала тебя к женщине, которая приезжала к нам. Ты даже не знаешь, о ком я говорю. Не правда ли? Укройте мне руки. Мне немного холодно. А где Фиби и Винос? В конце концов начинаешь

любить всех. Нам приятны люди, которые видели нас счастливыми. Чувствуешь к ним благодарность за то, что они были свидетелями нашей радости. Почему все это миновало? Я не совсем понимаю, что произошло за последние два дня. Теперь я умираю. Оставьте на мне вот это платье. Когда я надевала его, я так и думала, что оно будет моим саваном. Пусть меня похоронят в нем. На нем поцелуи Гуинплена. Ах, как мне хотелось бы еще жить! Как нам чудесно жилось в нашем возке! Мы пели. Я слышала рукоплескания. Как это было хорошо — никогда не разлучаться! Мне казалось, что мы живем, окутанные облаком. Я отдавала себе отчет во всем, различала один день от другого; несмотря на свою слепоту, я знала, когда наступает утро, потому что слышала голос Гуинплена, и знала, когда наступает ночь, потому что видела Гуинплена во сне. Я чувствовала, что меня окружает нежное, теплое облако: это была его душа. Мы так долго любили друг друга. Теперь конец, не будет больше песен. Увы! Неужели жизнь кончилась? Ты будешь помнить обо мне, мой любимый?

Голос ее постепенно ослабевал. Жизнь явно ее покидала, ей уже не хватало дыхания. Она судорожно сжимала пальцы — знак приближе-

ния последней минуты. Предсмертное хрипение девушки уже переходило с лепет ангела.

Она прошептала:

— Вы будете вспоминать обо мне, неправда ли? Мне было бы грустно умереть, зная, что никто не вспомнит обо мне. Иногда я бывала злая. Простите меня, прошу вас. Я уверена, что, будь на то воля божья, мы могли бы быть очень счастливы, нам ведь нужно так немного, мой Гуинплен; мы зарабатывали бы себе на жизнь и поселились бы вместе в чужих краях; но господь не захотел этого. Я не знаю, почему я умираю. Я ведь не жаловалась на свою слепоту, я никого не обижала. Каким счастьем было бы для меня навеки остаться слепой, никогда с тобой не разлучаясь! Ах, как горько расставаться!

Она прерывисто дышала, ее слова угасали одно за другим, точно огоньки, задуваемые ветром. Ее уже почти не было слышно.

— Гуинплен, — шептала она, — не правда ли, ты будешь помнить обо мне? Мне это будет нужно, когда я умру.

И прибавила:

— Ах, удержите меня!

Потом, помолчав, шепнула:

— Приходи ко мне как можно скорее! Даже у

бога я буду несчастной без тебя. Не оставляй меня слишком долго одну, мой милый Гуинплен! Рай был здесь, на земле. Там, наверху, только небо. Ах, я задыхаюсь! Мой любимый! Мой любимый! Мой любимый!

— Сжалься! — крикнул Гуинплен.

— Прощай! — прошептала она.

— Сжалься! — повторил Гуинплен.

И прильнул губами к прекрасным холодеющим рукам Деи.

Одно мгновение она, казалось, уже не дышала.

Вдруг она приподнялась на локтях, глаза ее вспыхнули ярким блеском, и на лице появилась неизъяснимая улыбка.

Ее голос обрел неожиданную звонкость.

— Свет! — вскрикнула она. — Я вижу!

И, упав навзничь, она вся вытянулась и застыла на тюфяке.

Бедный старик, словно раздавленный тяжестью отчаяния, припал лысой головой к ногам Деи и, рыдая, зарылся лицом в складки ее одежды. Он лишился сознания.

Гуинплен был страшен.

Он вскочил на ноги, поднял голову и стал пристально всматриваться в расстилавшееся перед ним бескрайнее черное небо.

Потом, никому не видимый, — разве только некоему незримому существу, присутствовавшему в этом мраке, — он простер руки кверху и сказал:

— Иду!

Он пошел по палубе шхуны, направляясь к ее борту, точно притягиваемый каким-то видением.

В нескольких шагах от него расстилалась бездна.

Он двигался медленно, не глядя себе под ноги.

Лицо его было озарено улыбкой, которая была у Деи перед смертью.

Он шел прямо, словно видя что-то перед собой. В глазах у него светился как бы отблеск души, парящей вдалеке.

Он крикнул:

— Да!

С каждым шагом он приближался к борту.

Он шел решительно, простирая кверху руки, с запрокинутой назад головой, пристально всматриваясь в одну точку, двигаясь, словно призрак.

Он не спешил, не колебался, ступая твердо и неуклонно, как будто перед ним была не зияющая пропасть, не отверстая могила.

Он шептал:

— Будь спокойна, я иду за тобою. Я хорошо вижу знак, который ты подаешь мне.

Он не сводил глаз с одной точки на небе, в самом зените. Он улыбался.

Небо было совершенно черно, звезд не было, но он, несомненно, видел какую-то звезду.

Он пересек палубу.

Еще несколько решительных роковых шагов, и он очутился на самом ее краю.

— Я иду, — сказал он. — Вот и я, Дея!

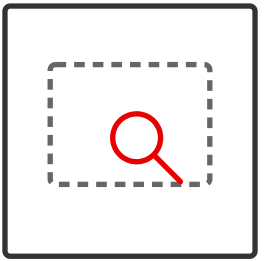
И продолжал идти. Палуба была без борта. Перед ним чернела пропасть. Он занес над ней ногу.

И упал.

Ночь была непроглядно темная, место глубокое. Вода поглотила его. Это было безмолвное исчезновение во мраке. Никто ничего не видел и не слышал. Судно продолжало плыть вперед, река по-прежнему катила свои волны.

Немного спустя шхуна вышла в океан.

Когда Урсус очнулся, Гуинплена уже не было. Он увидал только Гомо, стоявшего на самом краю палубы, глядя на море, волк жалобно выл в темноте.



1

медведь (*лат.*)

2

человек (*лат.*)

3

Бюффон Жорж Луи Леклерк (1707–1788) — известный французский естествоиспытатель, автор многотомной «Естественной истории».

4

Плиний — имеется в виду Плиний Старший» (I в.) — римский писатель и ученый.

5

…шел по стопам и Гиппократа и Пандара. — Гиппократ (V–IV вв. до н. э.) — греческий врач-естествоиспытатель, один из основоположников античной медицины. Пандар (VI–V вв. до н. э.) —

древнегреческий поэт-лирик; известен своими одами.

6

…мог состязаться с Раненом и с Видой. — Ранен Никола (1540–1608) — французский поэт; писал по-французски и по-латыни. Вида Марк Иероним (1480–1568) — итальянский епископ и писатель, автор трактата «О поэтическом искусстве».

7

Салернская школа — известная в средние века медицинская школа, находившаяся в южноитальянском городе Салерно.

8

…отдавал предпочтение Галену перед Кардана… — *Гален Клавдий* (130–200) — римский врач и естествоиспытатель, оказал большое влияние на последующее развитие медицины; изучая анатомию, производил вскрытия на животных. *Кардана Иеронимо* (1501–1576) — итальянский математик, философ и медик, сторонник религиозно-мистического объяснения явлений природы.

9

Виола-да-гамба — старинный смычковый

струнный музыкальный инструмент.

10

Шерифы, прево, маршалы — представители административной и судебной власти.

11

Джеффрис Джордж (1640–1689) — английский политический деятель; будучи главным судьей при Карле II, проявлял крайнюю жестокость.

12

Это значит: остальных дочерей обеспечивают по мере возможности (примечание Урсуса рядом, на стене)

13

мольба (*лат.*); так называлась жалоба, обращенная к королю

14

Акротерион, или акротерий — лепное украшение на карнизе здания.

15

позор тому, кто подумает дурное (*франц.*)

16

доблесть сильнее тарана (*лат.*)

17

Караибы — немногочисленное индейское племя, жившее в Южной Америке; в XIX веке слово караибы было синонимом нецивилизованного народа.

18

Одного зовут Тюрлюпен, другого — Трибуле. — *Тюрлюпен* — прозвище французского комического актера Анри Леграна, бывшего шутом Людовика XIII. В молодости он был ярмарочным скоморохом. *Трибуле* — прозвище известного шута Людовика XII и Франциска I.

19

Мадам де Севинье Мари (1626–1696) — французская писательница; приобрела известность письмами к дочери, отразившими нравы французского дворянства XVII века.

20

Венсен де Поль — французский священник XVI века, известный своей благотворительностью. Основатель первого приюта для брошенных и искалеченных детей.

21

Тюренн Анри де ла Тур д'Овернь (1611–1675) —

французский полководец.

22

Сикстинская капелла — часовня в Ватикане — папском дворце в Риме; славилась своим хором, в котором партии женских голосов исполнялись кастратами.

23

Coq — петух (*франц.*)

24

Боссюэ Жак-Бенинь (1627–1704) — французский епископ, придворный проповедник; идеолог абсолютизма, автор работ на богословские темы.

25

…курфюрст Гессенский продавал… — В годы войны американских колоний за свою независимость (1775–1783) Англия посылала в Америку наемные войска, покупая для этого крестьян главным образом у немецких князей.

26

…после трагической авантюры герцога Монмута… — Герцог Монмут (1649–1685) — незаконный сын английского короля Карла II Стюарта, поднял в 1685 году восстание против вступившего на престол Иакова II; восстание было подавлено,

Монмут казнен.

27

Пенн Вильям (1644–1718) — основатель английской колонии в Пенсильвании в Северной Америке.

28

орудие власти (*лат.*)

29

Нельзя ведь наводнить Европу железными масками… — Имеется в виду легендарный таинственный узник, будто бы содержавшийся в Бастилии по приказу Людовика XIV; на голове заключенного была укреплена железная маска, никогда не снимавшаяся. Предполагалось, что король устранил таким образом одного из претендентов на престол.

30

…здесь играла роль тесная связь между католической Ирландией и католической Испанией. — В конце XVI века англичане, пользуясь междоусобными войнами ирландских феодалов, сгоняли ирландцев с их земель. На стороне ирландцев-католиков против англичан сражались также испанские и итальянские отряды. К концу XVI

века сопротивление ирландцев было сломлено и последние ирландские феодальные поместья, в том числе Литрим, превращены в английские графства.

31

берегись, детка, не то я позову компрачикосов (*исп.*)

32

бродячий человек страшнее бродячего зверя (*лат.*)

33

«Помилуй» — молитва (*лат.*)

34

не приемлющих присяги (*англ.*)

35

Урки входили в состав Армады... — Имеется в виду Непобедимая Армада — флот, посланный Испанией против Англии в 1588 году; большая часть его кораблей погибла во время жестокой бури, остальные были разбиты соединенными силами английского и голландского флота. Гибель Армады явилась началом конца морского господства Испании.

36

Лампа Кардана — тип особо устойчивой подвесной лампы, употреблявшейся на кораблях.

37

Св. Крепин — католический святой, покровитель цеха сапожников.

38

Латинские названия разных видов акул.

39

…вроде панагии древних кантабров. — Панагия — изображение богоматери, которое носили на груди как амулет, предохраняющий от несчастья. Кантабры — племя, жившее в древности на севере Испании.

40

идемте (*исп.*)

41

…напоминало расставание теней на берегу подземной реки Стикса. — Стикс — подземная река, через которую души умерших перевозились в царство мертвых *(греч. миф.)*.

42

заставь войти (*лат.*)

43

Палимпсест — в древности и в раннем средневековье — рукопись, написанная на пергаменте по смытому или соскобленному тексту.

44

Магеллан Фердинанд (ок. 1480–1621) — знаменитый португальский мореплаватель, совершивший первое кругосветное путешествие.

45

Сюркуф — французский корсар XVIII века, грабивший английские торговые суда.

46

Картуш — прозвище Луи Бургиньона, главаря воровской шайки, казненного в Париже в 1721 году.

47

баск (*исп.*)

48

Уроженец Лангедока орал: «caougagno!» — Во французском фольклоре — Кокань — сказочная страна изобилия.

49

род рыбной солянки (*франц.*)

50

Горячий винегрет — национальное испанское блюдо из мяса, овощей и пряностей (*исп.*)

51

Антарес — звезда первой величины в созвездии Скорпиона.

52

…и авгура древнего Рима. — Авгуры — в древнем Риме жрецы-прорицатели, предсказывавшие будущее по полету и пению птиц.

53

…уселся на взельгофте… — Эзельгофт — часть снасти парусного корабля, служащая для крепления к мачте поперечной реи.

54

…эвменид… фурий… химеры… — *Эвмениды* (благосклонные) — так называли эринний (в древнегреческой мифологии — богини мщения), благосклонно относившихся к раскаявшимся преступникам. *Фурии* — богини мщения в древнеримской мифологии. *Химеры* — сказочные чудовища*(греч. миф.)*.

55

Люди, спускайте все! (*исп.*)

56

Издеваешься ты над нами? (*исп.*)

57

мир во время войны (*лат.*)

58

…после гибели «Бланш-Нефа»… — Имеется в виду французский корабль «Бланш-Неф», погибший в проливе Ла-Манш.

59

Сцилла и Харибда — скалы-чудовища, бывшие причиной гибели многих мореплавателей *(греч. миф.)*.

60

Жан Барт — французский моряк, живший в XVII веке. За исключительную храбрость во время войны Франции с Голландией получил от Людовика XIV звание дворянина и был назначен командующим эскадры.

61

грешен (*лат.*)

62

да будет так (*исп.*)

63

в добрый час (*баскск.*)

64

аминь (*лат.*)

65

отче наш, иже еси на небесех (*лат.*)

66

да святится имя твое (*лат.*)

67

да приидет царствие твое (*лат.*)

68

да будет воля твоя (*лат.*)

69

как на небе, так и на земле (*лат.*)

70

Арпан — старинная французская мера земли — около 0,5 гектара.

71

Георг III — английский король (1760–1820); активно поддерживал европейскую реакцию в ее борьбе против французской буржуазной революции 1789 года.

72

Рубенс Питер (1577–1640) — великий фламандский художник.

73

Филоксен (V–IV вв. до н. э.) — древнегреческий писатель, живший в Сиракузах. Был известен своим остроумием.

74

Анаксагор (V–IV вв. до н. э.) — древнегреческий философ, непоследовательный материалист.

75

Гарвей Вильям (1578–1658) — английский врач, открывший систему кровообращения.

76

Кеплер Иоганн (1571–1630) — немецкий астроном.

77

о людях, лишенных носа (*лат.*)

78

Рот твой разодран до ушей, десны обнажены, нос изуродован — ты станешь маской и будешь вечно смеяться (*лат.*)

79

Кромвель Оливер (1599–1658) — крупнейший

деятель английской буржуазной революции XVII века; с 1653 по 1658 год — лорд-протектор, фактический диктатор Англии. Сыграл прогрессивную роль в борьбе за ниспровержение старого общественного порядка в стране.

80

Карл II Стюарт — английский король (1660–1685). Сын казненного Карла I, нашедший во время английской революции убежище при французском дворе; был возведен на престол буржуазией и обуржуазившейся аристократией, стремившимися восстановить монархию из страха перед углублением революции.

81

…между Шильоном, где был заточен Бонивар, и Веве, где похоронен Ледло. — Шильон — имеется в виду Шильонский замок, построенный на скале среди Женевского озера. В XVI веке его подземелье служило тюрьмой. Здесь с 1530 по 1536 год был заключен швейцарский республиканец *Франсуа Бонивар* (1493–1570), судьба которого послужила сюжетом поэмы Байрона «Шильонский узник». *Веве* — город в Швейцарии. Ледло Эдмунд (1620–1693) — деятель английской буржуазной революции XVII века, после ее поражения бежал

в Швейцарию, где прожил до самой смерти.

82

…он продал Дюнкерк Франции… — В 1662 году Карл II, находившийся в тайном сговоре с французским королем Людовиком XIV, изменнически продал Франции морскую крепость Дюнкерк, опорный пункт англичан на севере Франции.

83

Монк Джордж (1608–1669) — английский генерал, ближайший помощник Кромвеля, политический авантюрист; в 1660 году содействовал реставрации в Англии Стюартов.

84

Только потому, что я Тримальхион, вы считаете меня неспособным быть Катаном? — Тримальхион — персонаж романа «Сатирикон» римского писателя Петрония (I в.); нарицательное имя богача, предающегося излишествам. *Катон* — здесь имеется в виду Марк Порций Катон Старший (III–II вв. до н. э.) — римский государственный деятель. Его имя являлось нарицательным для человека сурового образа жизни и строгих принципов.

85

Фронда — социально-политическое движение французского феодального дворянства XVII века против абсолютизма.

86

Мазарини Жюль (1602–1661) — первый министр и фактический правитель Франции в годы малолетства Людовика XIV. Во время протектората Кромвеля вынужден был, оберегая торговые интересы французской буржуазии, добиваться восстановления дипломатических отношений с Англией.

87

Восстание Мазаньелло — под предводительством Томазо Маваньелло в Неаполе в 1647 году произошло восстание против испанских поработителей.

88

Тромп Мартин Гапперц (1597–1653) — голландский адмирал; после ряда побед над испанским и английским флотом был разбит англичанами в морском сражении близ Шевенингена в 1653 году.

89

Навигационный акт — имеется в виду акт, опуб-

ликованный в 1651 году Долгим парламентом, согласно которому ввозимые в Англию товары должны были доставляться только на английских кораблях или на судах той страны, где они произведены; наносил удар по посреднической торговле Голландии.

90

Бредская декларация, подписанная Карлом II в 1660 году, перед его вступлением на английский престол, в голландском городе Бреде, содержала обещание сохранить некоторые завоевания революции.

91

Вавилонская башня — по библейской легенде башня, которую начали строить люди, чтобы достичь неба; в наказание за дерзость, бог заставил их заговорить на разных языках и, перестав понимать друг друга, они не смогли докончить постройки.

92

Цивильный лист — при конституционной монархии денежная сумма, ежегодно определяемая парламентом для личного пользования короля.

93

Мильтон Джон (1608–1674) — выдающийся английский поэт и деятель английской буржуазной революции XVII века. Его поэма «Потерянный рай» полна отголосков революционных событий.

94

Эвелин Джон (1620–1706) — английский писатель, автор «Дневника», в котором дана картина современных ему нравов.

95

Алакок Мария — французская монахиня, жившая во второй половине XVII века.

96

на смену одной золотой ветви — другая (*лат.*)

97

Герцог Йоркский — титул короля Иакова II, в бытность его наследником.

98

Вильгельм Оранский — зять Иакова II Стюарта, изгнанного из Англии в результате переворота 1688 года. Возведен на английский престол буржуазией и обуржуазившейся аристократией. Царствовал под именем Вильгельма III (1689–1702).

99

…вспомнив хотя бы Нинон и Марион. — Имеются в виду французские куртизанки XVII века Нинон де Ланкло и Марион Делорм.

100

…изящный Калибан оставляет позади, бедного Ариэля. — *Калибан, Ариэль* — аллегорические образы драмы Шекспира «Буря». Уродливый Калибан — воплощение темных сил природы, одухотворенно-прекрасный Ариэль — ее светлого начала.

101

Локк Джон (1632–1704) — английский буржуазный философ-материалист. Его труд «Опыт о границах человеческого разума» пользовался большой популярностью среди образованных людей XVII–XVIII веков.

102

Если бы она заколола себя кинжалом, она сделала бы это, как Лукреция, после падения. — Лукреция — героиня древнеримского предания. Обесчещенная Секстом, сыном римского царя Тарквиния Гордого, Лукреция закололась кинжалом.

103

В этой Диане таилась Астарта. — *Диана* — в древнеримской мифологии богиня охоты, воплощение девственности. *Астарта* — богиня плодородия и чувственной любви у некоторых восточных народов.

104

«Послание к Пизонам» — произведение римского поэта Горация.

105

оканчивается рыбьим хвостом (*лат.*)

106

Вспомним Елизавету. — *Елизавета Тюдор* — английская королева (1558–1603), представительница английского абсолютизма. Восстановила англиканскую церковь, упраздненную при Марии Тюдор. При ней Англия вела успешную войну против Испании, оспаривая у нее колониальное и морское первенство.

107

Сикст Пятый — римский папа (1585–1590); осуществлял политику воинствующего католицизма.

108

Мария Стюарт — шотландская королева (1560–1567). Опираясь на английских католиков, католическую Испанию и папство, претендовала на английский престол. Была заключена в тюрьму королевой Елизаветой Тюдор и казнена в 1587 году.

109

Гораций Флакк Квинт (I в. до н. э.) — знаменитый римский поэт. Автор од, сатир, посланий в др.

110

Она сделала для Бассомпьера то же, что сделала когда-то царица Савская для Соломона. — Бассомпьер Франсуа (1579–1646) — французский маршал и дипломат, в 1626 году был послом при английском дворе. *Царь Соломон, царица Савская* — персонажи библейской легенды.

111

Современная Англия, имеющая своего Лойолу в лице Уэсли… — Лойола Игнатий (1491–1556) — испанец, основатель ордена иезуитов, один из главных деятелей воинствующей католической реакции XVI века. *Уэсли Джон* (1703–1791) — английский богослов, основатель одной из религиозных сект англиканской-церкви (методистов).

112

Риччо Дэвид (ум. в 1566 г.) — фаворит Марии-Стюарт.

113

Анна Болейн (1507–1536) — королева Англии, вторая жена Генриха VIII.

114

Лавальер Франсуаза (1644–1710) — фаворитка Людовика XIV.

115

Маргарита Валуа (1552–1616) — первая жена французского короля Генриха IV Наваррского.

116

За неимением Олимпа можно удовольствоваться отелем Рамбулье. — *Олимп* — согласно греческой мифологии гора, где обитали боги и музы — покровительницы искусств и литературы. *Отель Рамбулье* — литературный салон парижской аристократии, основанный в начале XVII века маркизой де Рамбулье. Являлся законодателем светских нравов и литературных вкусов.

117

Уолпол немногим отличался от Дюбуа. —

Уолпол Роберт, граф (1676–1745) — английский государственный деятель, лидер партии вигов, с 1721 по 1742 — премьер-министр. *Дюбуа Гильом* (1656–1723) — французский кардинал, в годы малолетства Людовика XV фактический правитель Франции.

118

Мальборо Джон Черчилль (1650–1722) — английский полководец и дипломат, выдвинулся благодаря связи своей сестры Арабеллы Черчилль с герцогом йоркским, будущим Иаковом II. В 1688 году перешел на сторону Вильгельма Оранского и сражался против Иакова II.

119

Болингброк Генри (1678–1751) — английский государственный деятель и писатель. Премьер-министр при Анне Стюарт.

120

…мадемуазель Скюдери не имела другого основания уступить Пелиссону. — Мадлена де Скюдери(1607–1701) — французская писательница, автор галантно-героических романов. *Пелиссон Поль* (1624–1693) — писатель и поэт, связанный с ней тесной дружбой. Был обезображен оспой.

121

Свифт Джонатан (1667–1745) — знаменитый английский писатель и государственный деятель. Автор «Путешествий Гулливера».

122

Деверия Эжен (1805–1855) — французский живописец.

123

В зале клуба были развешаны портреты уродливых людей: Терсита… Дума, Гудибраса, Скаррона… между двумя кривыми — Коклесом и Камоэнсом — стоял Эзоп… — Терсит — один из персонажей «Илиады» Гомера, безобразный горбун. *Дунс Скотт* — английский философ XIII века. *Гудибрас* — герой одноименной сатирической поэмы Бетлера, английского сатирика XVII века. *Скаррон Поль* (1610–1660) — французский писатель. *Коклес Гораций* — легендарный римский герой. *Камоэнс Луис* (1524–1580) великий португальский поэт. *Эзоп* (VI в. до н. э.) — знаменитый греческий баснописец. По преданию был чрезвычайно уродлив.

124

Мирабо Оноре (1749–1791) — деятель французской буржуазной революции 1789 года; за

безобразную внешность современники называли его чудовищем.

125

Лукреций — Тит Лукреций Карр (I в. до н. э.) — известный римский поэт, автор философской поэмы «О природе вещей».

126

Там Венера в лесах соединяла в объятиях любовников (*лат.*)

127

…посещал таверны и балаганы Лондона и Пяти Портов. — Пять Портов. - так, начиная с XI века, называются порты Гастинг, Сэндвич, Дувр, Ромней и Гайт, расположенные на юго-западном побережье Англии.

128

Королева Анна (1702–1714) — дочь Иакова II, унаследовала английский престол после смерти Вильгельма Оранского. При ней Англия и Шотландия были объединены в единое королевство — Великобританию (1707 г.).

129

…нарушая все старинные хартии вольностей… — Имеется в виду «Великая хартия воль-

ностей», данная в 1215 году английским королем Иоанном Безземельным под давлением феодалов; она ограничивала власть короля в их пользу.

130

…стала королевой благодаря… революции 1688 года. — Речь идет о государственном перевороте 1688 года, который английские буржуазные историки называли «славной» или «бескровной» революцией; в результате переворота 1688 года была окончательно ликвидирована феодальная монархия. Иаков II был свергнут; буржуазия в союзе с земельной аристократией возвела на престол Вильгельма Оранского.

131

оплаченная девственность (*лат.*)

132

войною и миром (*лат.*)

133

Эссекс Роберт (1567–1601) — фаворит английской королевы Елизаветы Тюдор.

134

…тогда в Англии происходят события 1649 года, а во Франции — 1793 года. — В 1649 году английская буржуазия под давлением народных

масс предала казни Карла I; в 1793 году был гильотинирован французский король Людовик XVI.

135

Галионы — испанские парусные суда XVI–XVII веков.

136

Люлли Жан-Батист (1632–1687) — известный французский композитор.

137

…Кристофер Рен вполне подходящий Мансар, Сомерс не хуже Ламуаньона. У Анны был… свой Буало — Поп, свой Кольбер — Годольфин, свой Лувуа… — Кристофер Рен (1632–1723) — английский архитектор. *Мансар Франсуа* (1598–1662) — французский архитектор. *Сомерс Джон* (1651–1716) — английский писатель, один из лидеров вигов. *Ламуаньон Гильом* (1617–1677) — президент парламента при Людовике XV. *Буало Никола* (1636–1711) — французский поэт, теоретик классицизма. *Поп Александр* (1688–1744) — английский поэт, теоретик английского классицизма. *Кольбер Жан-Батист* (1619–1683) — министр финансов Людовика XIV, фактически руководил внутренней и внешней политикой Франции во второй половине XVII века. *Годольфин Сидней* (ок.

1645–1712) — первый министр казначейства при английской королеве Анне Стюарт. *Лувуа Франсуа*, маркиз (1639–1691) — военный министр Людовика XIV.

138

…Виндзор в то время почти не уступал Марли. — *Виндзор* — дворец английских королей на берегу Темзы. Марли — дворец французских королей вблизи Версаля.

139

Маркиза де Мальи — одна из фавориток Людовика XV.

140

Фабр д'Эглантин Филипп-Назер (1755–1794) — французский поэт и деятель французской революции 1789 года. Был членом Конвента.

141

приношения по обету (*лат.*)

142

…сообщник Гая Факса в пороховом заговоре папистов… — имеется в виду неудачная попытка группы реакционеров-католиков взорвать здание английского парламента в день открытия сессии 1605 года с целью уничтожить короля и

его приближенных. Гай Фокс — один из главных участников заговора, который должен был, пожертвовав собой, поджечь мину.

143

Домициан Тит Флавий (I в.) — римский император.

144

Гелиогабал (III в.) — римский император, известный своей жестокостью. Был убит в результате заговора преторианцами — привилегированным отрядом римской гвардии.

145

Альберони восхищается здесь герцогом Вандомским… — Альберони Джулио (1664–1752) — политический деятель, дипломат и авантюрист; посланный от Испании во время «войны за испанское наследство» с дипломатическим поручением во враждебную Францию, пользовался доверием герцога Вандомского и с его помощью сделал при французском дворе блестящую карьеру.

146

Мария Медичи (1573–1642) — вторая жена французского короля Генриха IV, с 1610 года —

правительница Франции.

147

Лебель — камердинер французского короля Людовика XV.

148

Данжо — маркиз Филипп Данжо де Курсильон (1638–1720) — придворный Людовика XIV, интриган и сводник.

149

Маркиза де Моншеврейл — придворная дама при дворе Людовика XIV.

150

Нерон любил смотреть на работу Локусты. — *Локуста* (I в.) — профессиональная отравительница; с помощью ее ядов римский император Нерон устранял своих политических противников.

151

Роклор Гастон (1617–1683) — французский генерал, известный при дворе Людовика XIV своим шутовством. Считался автором сборника непристойных анекдотов.

152

…вместо головы бочка Данаид. — Данаиды — дочери аргосского царя Даная, убившие в первую брачную ночь своих мужей и за это осужденные богами вечно наполнять бездонную бочку (греч. миф.).

153

Так Зоил ненавидит Гомера. — Зоил (IV в. до н. э.) — греческий грамматик и ритор, подвергавший мелочной критике поэмы Гомера.

154

Герцог Альба Фернандо Альварес (1507–1582) — испанский государственный деятель и полководец; будучи с 1567 по 1578 год наместником в Нидерландах, с фанатической жестокостью пытался подавить нидерландскую буржуазную революцию.

155

здесь обитают львы (*лат.*)

156

Сизифов труд — синоним бесплодного труда; царь Сизиф, провинившийся перед богами, был осужден ими на то, чтобы вечно вкатывать в гору камень, который, достигнув вершины, снова скатывался вниз*(греч. миф.)*.

157

Лестер Роберт (1531–1558) — граф Лестерский, фаворит английской королевы Елизаветы Стюарт.

158

Бекингем Джордж (1592–1628) — английский генерал. Фаворит Иакова I и Карла I.

159

…пасть жертвой сарказмов Шеридана… — Известный английский драматург-сатирик *Ричард Шеридан* (1751–1816) был политическим деятелем и примыкал к радикальному крылу партии вигов.

160

…с развалинами приорства святой Марии Овэр-Рэй, разрушенного Генрихом VIII. — Борясь с папской властью в Англии, английский король Генрих VIII (1509–1547), объявил себя главой новой англиканской церкви, упразднил монастыри и конфисковал церковные земли.

161

лишить носа (*лат.*)

162

Представьте себе голову веселой Медузы. —

Медуза — в греческой мифологии одна из трех горгон (чудовищ женского пола). Взглянув в глаза Медузе, человек превращался в камень.

163

Если верить манихеям... — *Манихеи* — последователи религиозного учения, возникшего на Ближнем Востоке в III веке. Основным их догматом являлось учение о добром и злом началах, лежащих якобы в основе мира.

164

имеющий рваные ноздри (*лат.*)

165

Дафнис и Хлоя — герои одноименного пасторального романа, приписываемого древнегреческому писателю Лонгу (предположительно III в.); нарицательные имена страстных любовников.

166

Солон (ок. VII–VI вв. до н. э.) — древнегреческий законодатель.

167

Феспис (или Феспид) — современник Солона, греческий актер и поэт, считался основоположником греческой трагедии.

168

Конгрив Вильям (1670–1729) — английский драматург, автор сатирических комедий.

169

…грегорианские канонические напевы… столкнулись в Италии с амброзианским каноном, а в Испании — с мозарабическим… — *Грегорианские канонические напевы* — имеется в виду музыка, введенная в католическое богослужение римским папой Григорием I (590–604). *Амброзианский канон* — ритмическая мелодия, введенная в церковное пение архиепископом Амвросием (IV в.). *Мозарабический канон* — церковная музыка мозарабов, отличавшаяся от музыки римско-католического богослужения. *Мозарабы* — христиане, жившие в части Испании, завоеванной арабами.

170

«Медведь наизнанку» (*лат.*)

171

Плавт Тит Макций (III–II вв. до н. э.) — знаменитый римский комедиограф.

172

«Закланный агнец» (*лат.*)

173

«Свят господь» (*лат.*)

174

Молись! плачь!

Из слова

Родится разум,

Из пения — свет

(*исп.*)

175

Ночь, уходи!

Заря поет победную песню.

(*исп.*)

176

Вознесись на небо

И смейся, плакавший

(*исп.*)

177

Разбей ярмо!

Сбрось, чудовище,

Свою черную

Оболочку

(*исп.*)

178

О, подойди! люби!

Ты — душа,

Я — сердце

(*исп.*)

179

Оратор, осыпь его градом галек, которые ты держишь у себя во рту! — Подразумевается знаменитый афинский оратор Демосфен (III в. до н. э.), который, по преданию, был косноязычен и упражнялся в произнесении речей, держа во рту гальки — мелкие камешки.

180

для предстоящего совета (*лат.*)

181

для согласования (*лат.*)

182

Эрпениус Томас (1584–1624) — голландский ученый-востоковед.

183

мы (*лат.*)

184

равные нам по крови (*лат.*)

185

Иов — библейский образ бедного, гонимого праведника, безропотно переносящего все посланные ему богом испытания.

186

Орест — герой античного мифа и трилогии «Орестейя» древнегреческого трагика Эсхила (525–456 до н. э.), сын царя Агамемнона и Клитемнестры, убил свою мать, мстя ей за убийство отца, и, преследуемый за это богинями кровной мести — эринниями, впал в безумие.

187

люблю тебя (*франц.*)

188

Вожирар — прежде деревня и предместье Парижа; с середины XIX века — один из округов

Парижа.

189

Демокрит (V–IV вв. до н. э.) — великий древнегреческий философ-материалист.

190

Лактанций (III–IV вв.) — римский писатель, автор христианских проповедей. Утверждал, что римский поэт Вергилий является провозвестником христианства.

191

Сильвестр II — римский папа с 999 по 1003 год. Автор сочинений на богословские темы.

192

Диоскорид (I в.) — греческий врач; сочинения его явились основой средневековой медицины.

193

Хризипп (III в. до н. э.) — греческий философ.

194

Иосиф — имеется в виду Иосиф Флавий (I в.), историк Иудеи.

195

Кадм — мифический основатель греческого города Фивы.

196

Кадамосто Алоизий (1432–1480) — итальянский путешественник, оставил обстоятельные описания своих путешествий.

197

Клавдий Пульхр (III в. до н. э.) — римский консул. Командуя флотом во время первой Пунической войны, он, по преданию, начал битву вопреки неблагоприятным предсказаниям жрецов и, потерпев поражение, покончил с собой.

198

Люцифер, Вельзевул — в христианской религиозной литературе имена духов зла.

199

я лекарь (*лат.*)

200

…если бы Вольтер… не помог Шекспиру… — Вольтер усиленно пропагандировал во Франции произведения Шекспира.

201

Тринобанты — одно из племен, населявших древнюю Британию.

202

Атробаты, белги, паризии — племена, населявшие в древности современную территорию Франции и Англии.

203

…с обличительными речами в духе Гортензия… — Гортензий (II в. до н. э.) — римский оратор.

204

во всех предметах, доступных познанию (*лат.*)

205

болтун, исцелись сам (*лат.*)

206

Минос, Эак и Радамант — судьи в царстве мертвых *(греч. миф.)*.

207

трое составляют капитул (*лат.*)

208

Фарсальская битва (48 г. до н. э.) — сражение, в котором войска Юлия Цезаря разбили войска Помпея.

209

Актеон — юноша-охотник, случайно увидевший купающуюся богиню-девственницу Диану

и в наказание превращенный ею в оленя *(греч. миф.)*.

210

Митридат (I в. до н. э.) — понтийский царь; стремясь изгнать римлян из Малой Азии, вел с ними ряд войн. Потерпел поражение от римского полководца Помпея.

211

Сципион Младший Эмилий (II в. до н. э.) — римский полководец, которому удалось закончить многолетнюю войну с Карфагеном победой Рима.

212

Элиан (II–III вв.) — римский писатель и оратор, автор сочинений о животных.

213

Оппиан (II в.) — греческий поэт, автор поэмы о рыбной ловле.

214

Мандрагора или «адамова голова» — многолетнее растение с разветвленными корнями, которому в средние века приписывали чудесные свойства.

215

Паризатида — жена персидского царя Дария II (V в. до н. э.), славившаяся жестокостью и коварством.

216

Тремеллий Эмануил (1510–1581) — итальянский ученый, востоковед.

217

Кастелл Эдмунд (1606–1685) — итальянский востоковед.

218

Аэций (IV в.) — философ и богослов, родом из Сирии.

219

Урсус почувствовал приблизительно то же, что чувствовал Иона… — По библейскому преданию пророк Иона остался невредимым, пробыв трое суток во чреве кита.

220

дрозд роняет помет себе на беду (*лат.*)

221

слуга (*исп.*)

222

мальчик-слуга (*исп.*)

223

Бедлам — больница для умалишенных в Лондоне.

224

Авиценна — латинизированное имя таджикского философа, врача и писателя Ибн Сина Абу Али (980-1037).

225

Эмпирей — по представлению древних греков наиболее высокая часть неба, являвшаяся якобы местопребыванием богов.

226

Гнафрон — уродливая комическая марионетка французского кукольного театра.

227

по знаку встань и выйди (*лат.*)

228

Нейгоф Теодор — авантюрист XVIII века. Объявил себя в 1736 году корсиканским королем.

229

Собаки лают, служители закона безмолвствуют. Служить закону — значит молчать (*лат.*)

230

император водворяет безмолвие (*лат.*)

231

мы будем содержать многих жезлоносцев, которым надлежит молча исполнять свои обязанности (*лат.*)

232

Встань по приказу, данному знаком. Будь безмолвен. Так должно вести себя при задержании по королевской воле (*лат.*)

233

древний нормандский статут в рукописи (*лат.*)

234

служители меча — из хартии Людовика Восьмого о норманнах (*лат.*)

235

сержанты шпаги (*лат.*)

236

Мортимер Роджер (1284–1330) — во время малолетства Эдуарда III был правителем Англии. Казнен Эдуардом III по обвинению в измене.

237

Уорик Ричард Невил (1428–1471) — крупный английский феодал XV века; во время войны Алой и Белой Розы неоднократно участвовал в свержении и провозглашении королей, за что получил прозвище «делателя королей».

238

Ормонд Джон, граф (1610–1688) — английский политический деятель; будучи вице-королем Ирландии, участвовал в борьбе с войсками Кромвеля.

239

Дефо Даниэль (ок. 1660–1731) — английский писатель и политический деятель, автор романа «Робинзон Крузо». Дефо написал несколько политических памфлетов против дворянства и церкви. За один из них был приговорен к позорному столбу.

240

Стиль Ричард (1671–1729) — английский журналист, писатель и драматург, один из родоначальников буржуазной просветительской литературы в Англии; член парламента, из которого был изгнан во время правления тори.

241

…Гоббоа и Гиббона, вынужденных спасаться бегством, подвергшихся преследованиям Чарльза Черчилля, Юма и Пристли; посаженного в Тауэр Джона Уилкса. — Гоббс Томас (1588–1679) — английский философ, представитель механистического материализма; в 1640 году бежал во Францию, преследуемый за свои политические убеждения. *Гиббон Эдуард* (1737–1794) — английский буржуазный историк; подвергался преследованиям за антиклерикализм и вынужден был покинуть Англию. *Чарльз Черчилль* (1731–1764) — английский поэт-сатирик. *Юм Давид* (1711–1776) — известный английский философ, субъективный идеалист. *Пристли Джозеф* (1733–1804) — английский естествоиспытатель, философ-материалист и политический деятель. Преследовался реакционными кругами за сочувствие французской революции. *Уилкс Джон* (1727–1797) — английский публицист и политический деятель. Был заключен в Тауэр за резкую критику королевского послания парламенту, невзирая на то, что, будучи членом парламента, пользовался неприкосновенностью.

242

о крамольных пасквилях (*англ.*)

243

…Георг III арестовал… претендента на престол. — Имеется в виду сын Иакова II — Иаков Стюарт.

244

Тристан Отшельник (XV в.) — верховный судья при французском короле Людовике XI. Был известен необыкновенной жестокостью.

245

Шенонсо — французский королевский замок близ города Тура.

246

Ховард Джон — английский филантроп XVIII века, изучавший состояние современных ему тюрем.

247

Бесноватые — это те, кого мучат многие бесы.

Тот, кем владеет лишь один бес, — только одержимый (*лат.*)

248

Сен-Симон Клод Анри (1760–1825) — известный социалист-утопист XIX века.

249

страж башни (*лат.*)

250

преславный и светлейший (*лат.*)

251

правильный акт (*лат.*)

252

не знаем (*лат.*)

253

Д'Аржансон Рене — начальник полиции при Людовике XIV.

254

Аид — царство мертвых *(греч. миф.)*.

255

вводятся привратниками, блюстителями тишины (*лат.*)

256

Ирландского фения Бюрке (в мае 1867 года) *(прим. авт.)*

257

пожиратель достояния, расточитель, мот, любострастник, сводник, пьяница, прожигатель

жизни, лицемер, истребитель родового наследства, растратчик, транжир и обжора (*лат.*)

258

…подобен Диомеду, ранившему богиню. — Диомед, один из героев «Илиады», ранил во время боя богиню любви Афродиту, спасающую своего сына Энея.

259

Английская хартия (*лат.*)

260

цепи, и яма, и колодки, и прочее (*лат.*)

261

сверх того (*лат.*)

262

узы, законом установленные (*лат.*)

263

полное воздержание от пищи (*лат.*)

264

увеличить еще более воздержание от пищи уменьшением количества ее. Британское обычное право (*лат.*)

265

смерть преступника есть дань уважения закону (*лат.*)

266

признающийся в своей вине да получит meldefeoh. Закон Ины (*лат.*)

267

любовное свидание перед смертью (*лат.*)

268

на четвертый день назначь очную ставку (*лат.*)

269

рот, разодранный до ушей (*лат.*)

270

по повелению короля (*лат.*)

271

присвоил (*лат.*)

272

противозаконное присвоение (*лат.*)

273

тебе, продающему детей, имя — плагиатор (*лат.*)

274

Бидлоу Роберт (1649–1713) — голландский анатом и естествоиспытатель.

275

Бекон Фрэнсис (1561–1626) — знаменитый философ, родоначальник английского материализма. При Иакове I занимал должность лорд-канцлера.

276

желает, чтобы его видели впереди (*лат.*)

277

Ласнер Пьер Франсуа — французский уголовный преступник, казненный в 1836 году; оставил записки, опубликованные после его казни.

278

Христина велит схватить Мональдески… — Шведская королева Христина (1626–1689) отреклась от престола в 1654 году и поселилась во Франции. Мональдески — ее фаворит; заподозренный в измене, был убит по ее приказанию в 1657 году.

279

Симанкасские архивы — архивы испанских королей, хранящиеся в древнем замке испанского города Симанкас.

280

наушник (*лат.*)

281

исторгаемый из среды дворянства становится лицом недворянского сословия (*лат.*)

282

жизнь и имущество наших подданных принадлежат нам (*лат.*)

283

в состоянии неизвестности (*англ.*)

284

ничему не удивляться (*лат.*)

285

Мене, текел, фарес — по библейской легенде эта надпись, обозначающая — «Подсчитано, взвешено, поделено», была начертана невидимой рукой на стене зала, где пировал царь Вавилона Валтасар, и предвещала ему близкую гибель.

286

главный сеньер (*англ.*)

287

…Иакова Шестого и Первого… — Сын Марии Стюарт, король Шотландии Иаков VI в 1603 году,

после смерти Елизаветы Тюдор, стал королем Англии под именем Иакова I.

288

старческая любовь — постыдна (*лат.*)

289

чернь — подонки столицы (*лат.*)

290

Альбукерк — португальский мореплаватель и завоеватель XV века.

291

пусть леса будут достойны консула (*лат.*)

292

Ювенал (I–II вв.) — древнеримский писатель-сатирик, обличавший в своих произведениях нравы современного ему императорского Рима.

293

Рукоплещите, граждане! (*лат.*)

294

бык на языке (*лат.*)

295

немой (*лат.*)

296

после этого еще не значит вследствие этого (*лат.*)

297

да будет свет (*лат.*)

298

Герцог Гиз Генрих (1550–1588) — один из главарей реакционной лиги католиков в период религиозных войн во Франции; был убит по приказанию короля Генриха III, во время приема во дворце.

299

запутанный тайник со сложными поворотами (*лат.*)

300

Тараск — в фольклоре народов южной Франции — сказочный зверь со множеством лап, напоминающий дракона.

301

собачка в ногах (*исп.*)

302

нагая при ярком светильнике (*лат.*)

303

«Коран Магомета» (*лат.*)

304

Мессалина — жена римского императора Клавдия (I в.), известна своим распутством.

305

Геба — богиня вечной юности *(греч. миф.)*.

306

Дамьен Робер — француз, бросившийся в 1757 году с ножом на Людовика XV. Был казнен четвертованием.

307

…обнаженную ногу, достойную восхищения Перикла и резца Фидия… — *Перикл* (V в. до н. э.) — правитель Афин; покровительствовал искусствам. *Фидий* (V в. до н. э.) — знаменитый греческий скульптор.

308

Альдебаран — звезда в созвездии Тельца.

309

…прямо из пасти Эреба. — *Эреб* — самая мрачная часть подземного царства *(греч. миф.)*.

310

Графиня де Шеврез, герцогиня де Лонгвиль — французские аристократки, участницы Фронды,

известны своими любовными приключениями.

311

Родопис — греческая куртизанка, по преданию стала женой фараона.

312

Фта — создатель земли и неба (*егип. миф.*)

313

Пентесилея — царица амазонок (*греч. миф.*)

314

Анна Австрийская (1601–1666) — французская королева, жена Людовика XIII. Будучи после смерти последнего регентшей Франции, состояла в тайном браке с кардиналом Мазарини.

315

заседание происходило вечером (*лат.*)

316

а все-таки она движется (*итал.*)

317

первого баронета Англии (*лат.*)

318

Битва при Фонтенуа — битва 1745 года, в результате которой французы одержали победу над

англо-голландскими и австрийскими войсками.

319

библиотекарь (*англ.*)

320

…отрекается ли ваша милость от догмата пресуществления… — Гуинплен должен заявить, что он не католик; по английскому законодательству католики не могли быть членами парламента.

321

«Книга страшного суда» — всеобщая земельная перепись, проводившаяся в Англии при Вильгельме-Завоевателе в 1086 году и явившаяся актом закрепления крестьян. Проводилась писцами, от которых «как от страшного суда» нельзя было скрыться.

322

Филипп-Август II — французский король (1180–1223); во время его царствования Франция и Англия боролись за владения на севере Франции. Победили английские войска Иоанна Безземельного.

323

приди, дух святой (*лат.*)

324

без просьбы, без подкупа, без попойки (*лат.*)

325

Филипп IV Красивый — король Франции с 1285 по 1314 год.

326

Уот Тайлер, лолларды, Уорик, «делатель королей»… — эти зачаточные попытки добиться вольностей… — *Уот Тайлер* — вождь восстания английских крестьян (1381), требовавших отмены крепостной зависимости. *Лолларды* — последователи английского религиозного реформатора Уиклифа; вели активную пропаганду социального равенства, участвовали в восстании Уота Тайлера. Восстание Тайлера и движение лоллардов не имели ничего общего с феодальными междоусобицами, во главе которых стоял Уорик.

327

…выставляют против Генриха IV лже-Ричардов… — Генрих IV (герцог Ланкастерский) захватил в 1399 году английский престол и сверг Ричарда II Йорка; после смерти последнего феодальная знать выдвигала против Генриха IV ряд самозванцев под именем Ричарда II.

328

Маргарита Анжуйская (1429–1482) — жена английского короля Генриха VI, возглавляла партию ланкастеров в войне Белой и Алой Розы. С помощью Уорика восстановила своего мужа на престоле.

329

Англия, бывшая бретонской при Утэре Пендрагоне, римской при Цезаре, саксонской при семивластии, датской при Гарольде, нормандской после Вильгельма… — *Пендрагон* — верховный вождь кельтских племен. В 55–54 годах до нашей эры Британия была завоевана *Юлием Цезарем* и принадлежала Риму до конца III века. В IV–V веках ее завоевали англы, саксы и юты и образовали семь королевств (эпоха семивластия). В IX — X веках Англия была завоевана датчанами; юго-западной части Англии удалось освободиться от них, но при короле *Гарольде* (1036–1039), датчане снова ее заняли. В 1066 году Англия была покорена нормандским герцогом *Вильгельмом* Завоевателем.

330

Уолсей Томас (ок. 1475–1530) — кардинал, министр английского короля Генриха VIII.

331

Лорды, которые при Иакове I привлекали к суду взяточничество в лице Бэкона, при Карле I судят государственную измену в лице Страффорда. — *Бэкон*, будучи лорд-канцлером при Иакове I, привлекался к суду по обвинению во взяточничестве. *Страффорд Томас Вентворт* (1593–1641) — первый министр английского короля Карла I, рьяный проводник его политики. Долгий парламент, который вынужден был созвать Карл I в обстановке начинающейся буржуазной революции, обвинил Страффорда в государственной измене. Страффорд был казнен.

332

...четыре мешка, набитых шерстью... — Мешки, набитые шерстью, на которых сидят должностные лица на заседаниях английского парламента, являются традиционным символом процветания Англии, основным источником доходов которой первоначально была шерсть.

333

«Об устройстве королевских палат» (*лат.*)

334

Якобиты — сторонники английского короля Иакова II, изгнанного в 1688 г. из Англии.

335

смотритель дверей и решеток (*лат.*)

336

Поре Шарль (1675–1741) — французский иезуит, преподававший в коллеже, где в юности учился Вольтер.

337

Ричардсон Самюэль (1689–1761) — английский писатель-романист, автор романа в письмах «Кларисса Гарлоу». *Ловлес* (или Ловелас) — отрицательный герой этого романа, развратный светский щеголь.

338

Катон — здесь имеется в виду Катон Младший (I в. до н. э.) — римский республиканец, ярый противник Юлия Цезаря. После победы последнего и гибели республики покончил с собой.

339

Аристид (VI–V вв. до н. э.) — афинский политический деятель и полководец. Был прозван Справедливым.

340

Томас Мор (1478–1535) — один из основоположников утопического социализма, выдающийся

ученый-гуманист, автор «Утопии». При Генрихе VIII занимал крупные государственные посты. Был казнен по обвинению в государственной измене.

341

«Жить, открыто изъявляя свою волю» (*лат.*)

342

Скоморох! Комедиант! (*лат.*)

343

«Остерегаясь, будешь в безопасности» (*лат.*)

344

Брантом Пьер (1540–1614) — французский писатель, автор мемуаров, посвященных быту и нравам придворной среды и аристократии.